С. П. ЖИХАРЕВ

ЗАПИСКИ СОВРЕМЕННИКА

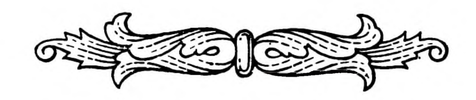
АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



С. П. ЖИХАРЕВ

ЗАПИСКИ СОВРЕМЕННИКА



РЕДАКЦИЯ,
СТАТЬИ И КОММЕНТАРИИ
Б. М. ЭЙХЕНБАУМА



ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА ЛЕНИНГРАД
1955

РЕДАКЦИОННАЯ КОМИССИЯ СЕРИИ
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»

Серия основана академиком *С. И. Вавиловым*

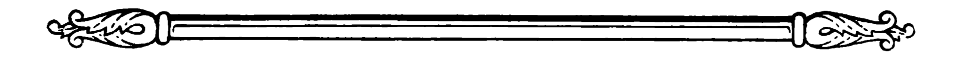
Академик *В. П. ВОЛГИН* (председатель), академик *В. В. ВИНОГРАДОВ*, член-корреспондент АН СССР *Н. И. КОНРАД* (зам. председателя), член-корреспондент АН СССР *С. Д. СКАЗКИН*, академик *М. Н. ТИХОМИРОВ*, член-корреспондент АН СССР *Д. Д. БЛАГОЙ*, член-корреспондент АН СССР *Д. С. ЛИХАЧЕВ*, профессор *И. И. АНИСИМОВ*, профессор *С. Л. УТЧЕНКО*

Ответственный редактор
Б. В. ТОМАШЕВСКИЙ



СТЕПАН ПЕТРОВИЧ ЖИХАРЕВ

Литография работы неизвестного художника. (Гос. Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина). Воспроизводится впервые.



ОТ ИЗДАТЕЛЯ[1]

«Записки современника» остались после покойного князя Степана Степановича Борятинского[2] в письмах к нему близкого его родственника С. П. Ж‹ихаре›ва, с которым, несмотря на разность в летах и на обстоятельства, их разлучавшие, он соединен был, сверх уз родства, искреннею и безусловною дружбою до самой своей кончины.

Князь Борятинский еще при жизни своей успел пересмотреть все эти письма и сделать им строгий разбор: из одних многое, по разным отношениям и уважениям, исключил, другие совсем уничтожил, остальные приведены им в периодический порядок двух «Дневников»: а) Студента, с 1805 по 1807 год, и б) Чиновника, с 1807 по 1819 год, к которым объяснения и замечания сделаны прежде князем, а впоследствии самим С. П. Ж‹ихаревы›м.

Эти «Дневники», кроме собственных приключений писавшего, заключают в себе живую панораму большей части тогдашних современных лиц и происшествий. Трудно настоящим образом судить о степени теперешней их занимательности, ибо самое занимательное в них большею частию уничтожено; но кажется, что и в настоящем виде они не лишены интереса, который, по мере продолжения «Записок», возрастает, точно так же как возрастает неопытный, откровенный и словоохотливый студент в наблюдательного и деятельного чиновника, познакомившегося короче с жизнью и ее превратностями.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



ДНЕВНИК СТУДЕНТА

Если нам так приятно встречать давно знакомых людей, то еще приятнее встретиться с самим собою в прежней мысли, в прежнем чувстве или в прежнем происшествии.

Дневник, 13 мая 1805 г.





1805-й год

2 января, понедельник.

Не беспокойся, любезный брат, я не перестану быть твоим неизменным Гриммом.[1] Писать к тебе обратилось мне в привычку. Благодарю за присылку денег; теперь, вероятно, не одна красненькая запечатывается в пакет для подарка новому студенту. Звание мое не безделица и порадует моих домашних. Ожидаю непременно экстраординарной благостыни. Правду сказать, если б кто шесть месяцев назад вздумал предрекать мне, что в нынешний новый год я поеду поздравлять родных и знакомых моих в синем мундире с малиновым воротником и при шпаге, я бы принял это за обидную насмешку. Однако ж это сбылось. Конечно, прилежания, трудов и хлопот было немало, но что значило бы все это без помощи и содействия доброго моего Петра Ивановича?* Он об успехах моих заботился более меня самого. Математика мне не очень далась; но на нее не обратили внимания, и Алексей Федорович** — дай бог ему здоровья — сильно поддерживал меня.

Вчера ездил с поздравлением к графу Ивану Андреевичу,*** Ивану Петровичу Архарову, к тетке Вишневской, к брату Ивану Петровичу,**** к Аксеновым и к Кудрявцевым; разумеется, заезжал и к Лобковым — как хорошеет Арина Петровна! Нельзя довольно

* Магистр Богданов.

** Мерзляков, адъюнкт-профессор.

*** Остерман, государственный канцлер.

**** Поливанов, впоследствии сенатор.

налюбоваться ею; что за глаза! И эту красавицу, к общей досаде нашей, мать зовет Орюшкою! Звали вечером танцовать; танцами распоряжать будет Иогель. Танцы не по моей части, но как не полюбоваться олицетворенною Терпсихорою!

Граф Иван Андреевич добивался, сколько мне лет и куда я намерен определиться в службу.[1] Не хотел верить, что мне только 16 лет. Не советовал служить в архиве, но ехать прямо в Петербург и определиться в коллегию,[2] сперва на черную работу; обещал дать к кому-то письмо; обласкал, однако ж не посадил. Старик чем-нибудь огорчен или угрюм по природе. Зато как обнимал меня Иван Петрович Архаров![3] Созвал все семейство смотреть на мой мундир и чего-чего не наговорил: называл милым, умницею, родным и проч. Заставлял насильно завтракать, приглашал обедать, хотел пить шампанское за мое здоровье — словом, я не знал куда деваться от его нежностей. Говорят, что он со всеми таков, и чем малозначительнее человек, тем больше старается обласкать его. Это мне растолковала тетка, которая, бог знает почему, называет эту приветливость кувырканьем; иначе я мог бы возмечтать о себе и бог знает что! Между тем я сегодня попал туда, куда бы и ездить не следовало. Кудрявцев, в великой заботе о моих знакомствах, возил меня к графу Михаилу Федотовичу Каменскому,[4] бог весть зачем, разве только для того, чтоб похвастаться своими связями и что он некогда в кадетском корпусе преподавал графу немецкий язык. Граф, бесспорно знаменитый полководец и недаром фельдмаршал, но мог бы и не уничтожать меня своим приемом: «В какой это ты, братец, мундир нарядился? В полку бы тебе не мешало послужить солдатом: скорее бы повытерли». И только. Не посадил; простоял больше часу, покамест старики вдоволь не наговорились о прежнем житье-бытье: видишь, в их время будто бы все было лучше. Немудрено: в их время у них зрение было острее, слух был тонее и желудок исправнее.

Таскался по профессорам: я начал с Страхова и кончил Снегиревым. Добрые, благонамеренные, почтенные люди! все время жизни своей посвящают другим, в беспрерывных трудах, а с нашей стороны признательности немного. Вот, например,

хоть бы взять Никифора Евтроповича.* До сих пор, как только появится на кафедре, так тотчас наши шалуны и давай повторять третьегоднишную его фразу: «Оное Гарнереново воздухоплавание не столь общеполезно, сколько оное финнов Петра Великого о лаптях учение есть».[1] Разумеется, конструкция фразы смешна, да зато в ней есть глубокий смысл.

Обнимался с Алексеем Федоровичем и Буринским, который написал превосходные стихи. Сказывали, что С. Смирнов переводит «Kabale und Liebe», которую разыгрывать будут на пансионском театре.[2] Хотят мне назначить роль Вурма, потому что я смугл и тощ, а главное, потому что ее никто не берет. Благодарен; будет с меня и Франца Моора, которого отхлестал я, к полному неудовольствию переводчика.**

3 января, вторник.

Обедал у князя Михаила Александровича Долгорукова и время провел чрезвычайно приятно. Князь попрежнему такой же любитель театра и покровитель русских актеров. Я встретил у него Плавильщикова, Померанцева, Украсова и Злова. Сила Николаевич Сандунов перестал к нему ездить, и о нем не жалеют. Бойкий талант, ума палата, язык — бритва, но неуживчив. За обедом много рассуждали о театре и театральном искусстве. Ораторствовал Плавильщиков. В качестве действительного студента позволил я себе некоторые возражения, что нашему Росциусу, кажется, было не по нраву, особенно когда я упомянул о петербургских актерах Шушерине и Яковлеве. «Шушерин еще и так и сяк, — сказал он, — но Яковлев неуч». Я не видал их, следовательно защищать не мог. Плавильщиков написал новую комедию «Братья Своеладовы», которая представлена будет в его бенефис. Злов сказывал, что в половине месяца пойдет и моя опера «Любовные шутки», которую переводил я по заказу Соломони.[3] Эта глупая страсть к театру отнимает у меня пропасть времени. С завтрашнего числа запрусь дня на три дома, чтобы выиграть прошатанное время.

* Профессор Черепанов.

** Ник. Ник. Сандунов.

6 января, пятница.

Большой бал у Высоцких.[1] Кузины наши показывали мне свои наряды: кружева, кружева и кружева; есть в четверть аршина шириною. Много денег оставлено в магазине мадам Обер-Шальме! достаточно было бы на годовое продовольствие иному семейству. Недаром старики эту Обер-Шальме переименовали в Обер-Шельму.[2] Мы с Петром Ивановичем ездили взглянуть на освещенные окна дома Высоцкого. Вся Басманная до Мясницких ворот запружена экипажами: цуги, цуги и цуги. Кучерам раздавали по калачу и разносили по стакану пенника. Это по-барски. Музыка слышна издалече: экосез и а-ла-грек так и заставляют подпрыгивать.

8 января, воскресенье.

Были на пирушке у Гаврилы Ивановича Мягкова.* Домик на Мясницком Валу прехорошенький, жена красавица в полном смысле слова. Счастливец! Домик и жена приобретены трудами; тем более они для него драгоценны. Пили пунш и слушали игру хозяина на арфе — прекрасно! Как находит он время заниматься музыкою! Геометрия и музыка, арфа и фортификация как-то не гармонируют между собой. Все были несколько навеселе, и Алексей Федорович острил беспрестанно. Нет человека любезнее его, когда он нараспашку. Я все смотрел на хозяйку: какой бы этюд для Тончи! Завтра приглашает нас И. И. Дмитриев на вечер. Петру Ивановичу нельзя: у него вечерние уроки у Скульских и графинь Гудовичевых. Поеду один.

9 января, понедельник.

У Ивана Ивановича никого из записных охотников читать стихи свои не было. Зато сам хозяин заставил меня прочитать послание его к Державину в ответ на присланные стихи без подписи нашего Пиндара.[3]

Бард безымянный, тебя ль не узнаю?
Орлий издавна знаком мне полет,
Я не в отчизне, в Москве обитаю,
В жилище сует!

* Преподаватель фортификации.[4]

Вот так стихи! Иван Иванович владеет языком мастерски. Платон Петрович Бекетов[1] толковал все о своей типографии. Это истинный ревнитель отечественного просвещения; при бо́льших способностях он был бы другим Новиковым и особенно теперь, когда нет ни одной отрасли наук, которой бы правительство не поощряло. Иван Иванович, которому Бекетов близкий родственник, говорит, что он не щадит ничего для учебных и литературных предприятий и даже расстроил на них свое состояние. Иван Иванович жалеет, что пособия Платона Петровича падают большею частью на бездарных писателей, довольно назойливых. Дождит на злыя и благия!

12 января, четверг.

Наконец, вот письмо из дома с деньгами: 300 р. от матушки, 5 золотых империалов и 10 червонцев от батюшки и тетки княжны Марьи Гавриловны очень, очень кстати. Отец посылает мерлушек на два тулупа для обоих нас с Петром Ивановичем и ему особенно пару лошадей. Эти пегасы также очень ко времени, потому что уроки Петра Ивановича умножаются; одной моей пары становилось для обоих нас недостаточно; теперь, когда я перешел Рубикон, некоторые лишние выезды не могут быть для меня предосудительны; я успел уже заказать Занфтлебену пюсовый фрак из лучшего сукна и синие панталоны, с узорами по бантам à la hussard за 40 р. — дорого, да мило. Между тем, по случаю радостного события, едем завтра к отцу Иоанну* на вечеринку. Там будет и Василий Иванович,** которого слово в институте так всем понравилось. Как удачно он умел выбрать текст к этому слову: «иныя не имам радости, да вижду чада моя во истинне ходяща». Для преподавателя закона божия нельзя было отыскать текста приличнее.

Говорят о назначении И. И. Дмитриева сенатором. Дай бог! Кроме таланта, нелицеприятен и не подвержен ни чьему влиянию.

---

* Отец П. И. Богданова, умный и благочестивый старец, бывший диаконом в приходе архидиакона Евпла и отказавшийся добровольно от священства.

** Старший брат Петра Ивановича, священник и законоучитель института со времени его учреждения. Скончался в запрошлом году.

16 января, понедельник.

Сегодня у Антона Антоновича[1] встретил Жуковского. Чуть ли не будет он сотрудником Каченовского в издании «Вестника Европы»; по крайней мере Антон Антонович этого желает. Как удивился Жуковский, когда я прочитал наизусть новые стихи его, которые нигде еще не напечатаны и никому не были читаны, кроме самых его близких. Антон Антонович очень забавлялся этим, и «вот (сказал) каковы-та у нас студенты-та: все-та на лету ловят; а кабы поменее-та по театрам шатались, так бы и в математике-та не отставали». Я сгорел: не в бровь, а прямо в глаз; да, впрочем, за дело, за дело: что за бессчетный студент! Однако ж не теряю надежды: Андрей Анисимович* вдолбит что-нибудь в бедную мою голову во время вакаций. Но как отстать от театра?

17 января, вторник.

Поспешая сегодня на обед к Лобковым во всю прыть моих каурок, я наехал на какую-то женщину и совершенно смял ее, так что она очутилась под санями. Вопли и крики! Ехавший мне навстречу частный пристав соскочил с саней, остановил лошадей моих и высвободил беднягу, которая продолжала кричать без памяти. Он спросил меня, кто я таков, и объявил, что, хотя по принятым правилам должен бы был отправиться со мною в полицию, но что он не хотел бы мне сделать эту неприятность и потому предлагает дать женщине сколько-нибудь денег на лекарство и тем предупредить ее формальную жалобу. Я бы рад был дать все, что угодно, но со мною не было денег, и когда я объявил о том приставу, то он заплатил женщине 5 рублей своих, с тем чтобы я после возвратил их ему, а впредь старался ездить осторожнее. Этого почтенного человека зовут Иван Петрович Гранжан, и Петр Тимофеевич за обедом сказывал мне, что он бывает с семейством у них, принят в лучших домах и уважаем начальством. Вот какие люди служат в здешней полиции! Николай Петрович Аксенов также был здесь несколько

* Сокольский, преподаватель арифметики и геометрии.

лет, еще при Эртеле, частным приставом; а какой человек, что за душа и обращение и как вообще уважаем всеми, несмотря на недостаточное состояние! Правду говорят, что не место красит человека, а человек — место.

19 января, четверг.

Любовные мои шутки — вовсе плохие шутки. Опера не понравилась публике, а еще более мне: холодно, вяло и скучно. Бедная Соломони пела хорошо, голос у ней огромный, да как-то все не ладилось. Лизета крестьянка, а она представляла какую-то барыню, хотя и брала уроки у Сандуновой. Я думаю, без этой наставницы, которая порядочно жеманится, она сыграла бы лучше. Впрочем, в неуспехе пьесы виноват один бенефициант: зачем выбирать такой вздор? Петр Иванович говорит, что я лучше бы сделал, если б не отказался от предложенных мне Соломони 50 р. за перевод: по крайней мере душа бы не болела.

Балет «Мщение за смерть Агамемнона», во вкусе Новерра, как гласит афиша, прошел так и сяк: какой Эгист, какой Орест и какая Электра! В этой Электре ни искры электричества. Говорят, что она выходит замуж за старика-англичанина Банкса, известного торговца лошадьми. Он большой приятель с Н. П. Аксеновым, который содействием и пособием его развел свой конный завод и свой известный огромностью рогатый скот — единственные теперь источники его доходов.

Старшая Соломони играла концерт на скрипке с полным оркестром. Это лучшая часть бенефиса.

20 января, пятница.

Ай-да Freiherr von Steinsberg! Ай-да Malteser Ritter! как ухитрился он поставить такую сложную пьесу, какова вторая часть «Русалки», на маленькой сцене демидовского театра, со всеми переменами декораций, полетами, превращениями и бог весть с какими еще затеями, при его ограниченных средствах! Как бы то ни было, «Русалка» прошла весело.[1] Театр ломился от зрителей, несмотря на возвышен-

ные цены: ложа 12 р., кресла 2 р. 50 к., партер 1 р. 50 к., галерея 1 р. — дорогонько! Мамзель Штейн играла русалку, Штейнсберг — Минневарта, Короп — Ларифари, мадам Гебгард — старуху Jungfer Salome, Литхенс — рыцаря Адальберта, Вильгельм — ловчего, мадам Штейнсберг — Берту, и проч. Мамзель Штейн принимали прекрасно, кричали несколько раз voraus, а Kanon между ею, Штейнсбергом и Вильгельмом: «Nach Regen folget Sonnenschein» заставили повторить три раза. Право, Штейнсберг — волшебник. В продолжение одного года сформировать труппу, в которой одни и те же сюжеты играют сегодня шиллеровских «Разбойников», а завтра «Русалку», сегодня «Kabale und Liebe», а завтра «Die deutschen Kleinstädter» или «Zigeuner», сегодня «Беньовского», а завтра уморительного «Das neue Sonntagskind», и играют очень недурно. Это, право, непостижимо; и между тем из каких лиц составлена эта труппа? Кроме Штейнсберга, который, несмотря на свое баронство и мальтийский крест, может назваться превосходным актером во всех амплуа, все актеры его труппы большею частью Anfänger из петербургских мастеровых. Даровитая мамзель Штейн, играющая русалку, Амалию, Луизу и проч. — булочница, брат ее — переплетчик, Литхенс — каретный обойщик, Короп — сиделец из винного погреба, Петер — столярный подмастерье, Кан — садовник, Беренс — портной, Вильгельм Гас — писец из конторы нотариуса, после нотный переписчик и, наконец, музыкант, Эме — деревенский эконом, Кистер* — золотых дел подмастерье. Подумаешь, какой сброд! и что из него вышло? Все эти актеры — сами декораторы, сами костюмеры, сами машинисты, сами портные, сами копиисты. Штейнсберг не нанимает ни одного постороннего для надобностей своего театра. Удивительное свойство угадывать дарование в людях, привлекать их к своей цели и в то же время заставлять их любить и уважать себя. Сколько ни осторожен пастор Гейдеке в суждении о людях, как он ни проницателен и опытен в сношениях с ними, однако ж утверждает, что молчаливый и задумчивый Штейнсберг имеет способность неотразимо действовать на кого он захочет.

* Нынче камергер одного немецкого двора, барон и миллионер.

22 января, воскресенье.

Приходил Ф. П. Граве. Он непременно хочет играть на немецком театре. Сколько мы ему ни возражали и ни указывали на неприличие такого поступка, он стоит на своем. На прощанье объявил, что уже выучил несколько ролей и скоро дебютировать будет в какой-то роле влюбленного башмачника. Завтра же отправлюсь к Штейнсбергу и попрошу, чтоб не допускал такого скандала. Один из лучших воспитанников университета благородного пансиона, студент, получивший золотую медаль, и которого имя, как отличнейшего воспитанника, осталось на золотой доске, будет играть роль влюбленного башмачника и большею частью перед вовсе не влюбленными сапожниками. Есть от чего с ума сойти!

23 января, понедельник.

Дело Граве могли уладить только вполовину. Сколько его ни усовещивали, он и в ус не дует. Несет свое, уверяет, что это вдохновение и он чувствует свое призвание. Непонятно, что случилось с ним: ему давно за двадцать, а стал хуже всякого капризного ребенка. Положили покамест на том, что будет по крайней мере дебютировать после пасхи и под другим именем. Он выбрал себе латинское прозвание: Nemo. Теперь, если убеждения на него не действуют, придется прибегнуть к другому лекарству — свисткам: авось они отучат его от паясничества. Добро бы имел настоящий талант или был какой красавец — сердце бы не болело; а то вроде рыцаря печального образа, с присовокуплением огромной сутулины. Впрочем, Штейнсберг говорил qu'il ne faut rien précipiter и заранее огорчать его, а что дело обойдется само собою.

За хлопотами о нашем Nemo не был сегодня во французском спектакле. Давали оперу «Paul et Virginie» и комедию «Fausses consultations». Может быть и к лучшему: деньги дома, а мадам Кремон что за Виргиния! Кругленького личика и затянутой талии недостаточно для этой милой роли.

Белавин сказывал, что С а в и н о в, дебютировавший вчера в роли Алексея в драме «Беглый солдат», ниже всякой критики. Это будто бы Прусаков, помноженный на Кондакова.

26 января, четверг.

Был в бенефисе Сандуновой, в ложе князя Михаила Александровича. Та же вечная первая часть «Русалки». Княжны восхищались бенефицианткою, а мне как-то грустно видеть эту даровитую певицу в таких ролях, которые вовсе к ней не пристали. Я не смел высказать свое мнение, потому что предвидел обыкновенное возражение: «Небось ваша мамзель Штейн лучше?». Но, помилуйте, женщина в летах, небольшого роста, очень, очень полная, чтоб не сказать толстая, прыгает, пляшет или, вернее, хочет прыгать и плясать, как 18-летняя хорошенькая, безыскусственная, веселая немочка, у которой роль русалки в ее природе, ибо эта роль составлена большею частью из вальсов, национальных немецких песен и танцев и проч. Что же тут хорошего? Удивительно, как люди мало знают свои средства! Сандунова не играет в «Волшебной флейте», предоставляет прекрасную роль Памины Бутенброковой и ломается в «Русалке»! Настоящие роли талантливой Сандуновой, как певицы и актрисы, в операх итальянских: в «Molinara», в «Дианином древе», в «Cosa rara», в «Венецианской ярмарке», в «Serva padrona» и проч. и проч. Пусть играет и Наталью в «Старинных святках»: тут ей можно пощеголять своим пением в куплетах: «Слава богу на небе» и проч., пусть поет в «Водовозе», в «Элизе, или Путешествии по ледяным горам» и проч., слова нет: это ее амплуа; но русалка — ах, господи! Полунагая, вертлявая нимфа с ее фигурою и формами и с ее итальянским жеманством! . . Лицо до сих пор сохранило свою приятность, физиономия игрива, но нет натуры, как утверждает и сам Штейнсберг, а он непогрешительный и беспристрастный судья в этом деле. Отчего русалки не играет Насова, хорошенькая, веселенькая актриска и премиленькая певичка с верным голоском? Я редко в ком видал столько натуры, при совершенном отсутствии всякого жеманства. Говорят танцовать не умеет; да у кого ж ей, бедняге, было и учиться?

Штейнсберг говорит, что в Петербурге русалку бесподобно играет Черникова,* воспитанница театрального училища, и что

* Впоследствии Самойлова.

такой актрисы в роли русалки никогда не бывало, по крайней мере видеть ему не случалось ни в Вене, ни в Берлине. Как бы хотелось взглянуть на этот феномен! Говорит, что и Воробьев, ученик Мартини, или Маркетти, отлично играет Тарабара и хотя спал с голосу, но умеет управлять им так, что этого почти незаметно.

Я слышал от А. А. Арсеньева, что управляющий театром от воспитательного дома князь Волконский посылал Волкова, играющего здесь Тарабара, нарочно в Петербург поучиться у Воробьева — как он выражается — тарабарской грамоте, и Волков точно усвоил будто бы манеру своего образца; может быть; только кажется пересолил и вместо пения лает по-собачьи.

28 января, суббота.

Сегодня, в бенефис мадам Дюпаре и Mérienne, давали мелодраму «Le Jugement de Solomon» и оперку «La Danse interrompue». Первая пьеса, несмотря на пространное и высокопарное объявление о ее высоком достоинстве, о господствующей в ней с первой до последней сцены нравственности и проч., есть такое литературное уродство, которому и названья придумать не умею, и, сверх того, так скучна, так скучна, что мочи нет! Это древняя мистерия вроде той, «как Олоферну царю Юдифь отрубила голову». Рыжая m-me Duparai играла Соломона, а m-me Mérienne — настоящую мать ребенка. Охота же французам давать такой вздор, а нам платить за него деньги! Зато «La Danse interrompue» — премиленькая пьеска и прошла весело.

Николай Иванович Кондратьев разгадал мне, отчего в афишах перед фамилиею некоторых актеров и актрис ставится буква Г., т. е. господин или госпожа, а перед другими нет. Это оттого, что последние из крепостных людей, например Уваров, Кураев, Волков, Баранчеева, Лисицына и проч., и что когда они зашибаются, что случается нередко, то им делается выговор особенного рода. Однако ж носятся слухи, что русский театр присоединится к театральной дирекции, от которой назначится особый директор, и что все эти н е - г о с п о д а приобретутся в принадлежность дирекции, с присвоением им буквы Г. Дай бог! Нет сомнения, что казенное управ-

ление исправит теперешнюю неурядицу и обратит внимание на некоторые отличные таланты, не имеющие покамест никакой будущности.

Завтра опера «Иван-царевич». Непременно еду; а на днях у французов «L'Amant-statue» — опера, в которой Сандунова играет роль Селимены по-французски. Вот еще новость!

29 января, воскресенье.

Под шляпку-невидимку
Скрою белую личинку.
Сапожки-самоходы
Отслужат мне походы,
и проч.

кажется вздор, а так и поется. Очень понимаю, отчего немцы любят пьесы, составленные из их национальных Märchen и преданий. Все родное как-то шевелит сердце, и, несмотря на нелепость вымысла, тарабарский язык и варварские стихи, нарочно подобранные из сочинений Тредьяковского, пьеса смотрится и музыка слушается с бо́льшим удовольствием, чем какой-нибудь «Суд Соломона» и подобные ему пьесы, от которых да избавит Аполлон всякого посетителя русского театра! Дело в том, чтоб только не умничать и не искать премудрости там, где ее быть не должно. Опера «Иван-царевич» — сказка в действии, и действие расположено просто и не сбивчиво: начало и конец на своих местах; напевы нехитрые, без заморских вычур, но как-то давно знакомые, затверженные в детстве. Кому не нравятся эти напевы, тому придется воскликнуть вместе с Карлом Моором: «O meine Unschuld, meine Unschuld!» [1] Петр Иванович смеется, что я езжу в такие пьесы, в которых нет пищи ни для ума, ни для сердца. В этом мы никогда не согласимся с ним: он воспитанник города, а я выкормок деревенский.

Мочалов — Иван-царевич хоть куда, играл и пел очень порядочно: разумеется, Уваров был бы превосходнее Мочалова во всех отношениях, но как быть! сравнения в сторону: они убивают наслаждения. Comparaison n'est pas raison. Сцена леших шла уморительно: Волков и Кураев оба на своих местах.

4 февраля, суббота.

В эту неделю много кой-чего насмотрелся и наслушался. Во французском театре даны были «La Petite ville» и «Le Calif de Bagdad». Мне кажется, первая пьеса есть не очень удачное подражание комедии Коцебу «Die deutschen Kleinstädter», но вторая — очень миленькая опера, и музыка прекрасная. Мы смеялись от души, когда пел хор: «C'est ici le séjour des Graces», тогда как сцена наполнена была преуродливыми французскими харями. Видел Сандунову в роли Селимены в «L'Amant-statue». Французы пригласили ее играть для сбора, точно так же как в прошлом году приглашали они здешнего французского каллиграфа Le Maire, урода и дурака, читать на сцене оду его первому консулу с посвящением пука перьев своего очина. Ле-Мер принят во всех домах, служит общим plastron, и потому театр был полон: все хохотали, когда при громком завывании всех бывших на сцене французов: «Allons, enfants de la patrie!» стали поднимать Ле-Мера на воздух, будто бы в храм славы, в виде гения, в прическе à la Louis XIV. Все это могло идти к Ле-Меру, но Сандуновой не следовало бы входить в эту французскую аферу. Пощеголять французским языком могла бы она и не на сцене, хотя, впрочем, и щеголять нечем: болтает так себе, как и все наши барыни.

Третьего дня в бенефис Плавильщикова театр был полон. Чтоб судить о комедии его «Братья Своеладовы», надобно прежде ее прочитать, а то я не очень ее понял. Мне показалось, что она не так-то понравилась, хотя публика после и аплодировала, и особенно — горячие друзья бенефицианта не сидели поджав руки. Жаль, что и первый наш трагик, наш Гаррик и Лекен, как называет его князь Михайло Александрович, прибегает к паясническим средствам для привлечения публики. Заставили плясать какого-то карло, которого в афише называют маленьким карло, как будто карло может быть большой!

Ездили с Хомяковым [1] к М. И. Ковалинскому,[2] бывшему при покойном государе нашим рязанским губернатором. Я видел его в малолетстве и теперь рад был познакомиться с ним покороче. Очень умный, приятный и приветливый человек, хотя в бытность

его губернатором и не то о нем говорили; но другие времена — другие нравы. Он, кажется, немного мистик. Обещал со временем ссудить меня сочинениями Сковороды, который был его наставником. Манускрипт этих сочинений беспрестанно у него на столе перед глазами. Я просил дозволения пробежать несколько страниц в то время, как он разговаривал с другими, и напал на какую-то статью под названием «Потоп Змиин».[1] Ничего не понял. Петр Иванович говорит, что это оттого, что в голове m-lle Stein да «Русалка». На этот раз не угадал: то, да не то.

8 февраля, среда.

Рассказывают об остроумном ответе главнокомандующего графу Хвостову, который в разговоре очень негодовал, что Ив. Ив. Дмитриеву присвоили в Москве название русского Лафонтена. Чтобы утешить графа, Александр Андреевич сказал ему: «Ну так что ж? Пусть Дмитриев будет нашим Лафонтеном, а ты — нашим Езопом».

Как неприятно разочарование![2] Еще намедни вечером у Прасковьи Михайловны Толстой слушал я премилое послание к ней князя Ивана Михайловича Долгорукова, читанное самим автором. Некоторые другие стихотворения его я уже знал и всегда любовался ими как отголоском нежного и любящего сердца. Но вот вчера доставили мне старую запачканную тетрадь, которая оказалась копией с определения пензенского верхнего земского суда 20 июля 1795 г. о побоях, причиненных прокурором Улыбышевым вице-губернатору князю Долгорукову за привлечение жены его, Улыбышева, к распутству.[3] Что кн. Долг. человек весьма нежных чувств, в том нет сомнения; что он влюбился в Улыбышеву, то это весьма естественно; но чтобы мог писать такие пошлые любовные письма, какие находятся в этом определении, я никогда бы поверить не мог. Вот небольшой образец слога обоих любовников. Он: «Нет, не страшись! Отдай мне больше справедливости: не только на театре, но в собраниях целого света скажу, что ты мне не только мила, но ниже́ какая женщина в силах будет отвлечь мое сердце от тебя и скинуть те легкие и дорогие цепи, кои ты одна в моем нынешнем положении

могла и умела накинуть; тебе дано было судьбою все сердце мое себе присвоить, отняв его даже у тех, кои от начала мира имели право по всем законам (!!); так не страшись ничьих прелестей: никакие красоты Лизаньки моей в глазах моих не превзойдут. Ах, друг мой, в естестве нет сильнее моей страсти; душа моя, будь здорова!!! Матушка, жизнь моя! бог мой! как воображу, что я в твоих объятиях, то я вне себя», и проч. Она: «Ах, на что вы дали повод открыть мои чувства? Знай, что я тебя люблю; если тебе надобно, я всему свету оное сказать готова. Ах, что вы делаете, какое вы пронзаете сердце! Меня все в страх и трепет приводит; по крайности из жалости выведите меня из сего адского положения». Или: «Там. . . жизнь моя, кинувшись на шею к тебе, прижимая тебя к груди моей, попрошу одного слова, одно, что меня любишь, сделает меня счастливою! Скажи это, друг мой, скажи, утешь свою подданную, воскреси рабу твою, дай жизнь вашей любовнице,—ах, как я вас люблю! или научи, как выдрать пламя из недра моего сердца», и проч. Он: «Я, любовь и природа нас соединяет, потому что не свечи влекут нас и никакие клятвы богу, пред престолом брачным воссылаемые от супругов, но любовь и глас природы, то есть связь и сила чувств природы, в сердца наши влагаемые, нас соединяют тесными узами, кои никогда не разорвутся» и проч.

Из этого следует, что сочинять прекрасные стихи и писать хорошо любовные письма — не одно и то же. Suum cuique. Видно, при всяком начинании необходимо иметь в виду латино-греческий девиз Аретина Арецкого: «Nosce te ipsum».

10 февраля, пятница.

Кузины мои Семеновы и княжны Борятинские возили вчера меня на бал к Петру Тимофеевичу Бородину, откупщику и одному из московских крезов. Я охотно поехал — не для танцев, которых по застенчивости моей терпеть не могу, а так, из любопытства. Что за тьма народа, что за жар и духота! Прыгали до рассвета. Много было хорошеньких личик, но только в начале бала, а с 11 часов и особенно после ужина эти хорошенькие личики превратились в какие-то вакханские физиономии от усталости и невыносимой духоты;

волосы развились и рассыпались, украшения пришли в беспорядок, платья обдергались, перчатки промокли и проч. и проч. Как ни суетились маменьки, тетушки и бабушки приводить в порядок гардероб своих дочек, племянниц и внучек, для чего некоторые по временам выскакивали из-за бостона, но не успевали: танцы следовали один за другим беспрерывно, и ни одна из жриц Терпсихоры не хотела сойти с паркета. Меня уверяли, что если девушка пропускает танцы или на какой-нибудь из них не ангажирована, то это непременно ведет к каким-то заключениям. Правда ли это? Уж не оттого ли иные mamans беспрестанно ходили по кавалерам, особенно приезжим офицерам, и приглашали их танцовать с дочерьми: «Батюшка, с моею-то потанцуй». Многие не раз подходили и ко мне, но меня спасала кузина Александрина с Ариной Петровной: «Il ne danse pas, madame. C'est un campagnard qui ne vient au bal que manger des glaces». Проказницы! В кабинете хозяина кипела чертовская игра: на двух больших круглых столах играли в банк. От роду не видывал столько золота и ассигнаций. На одном столе банк метали князь Шаховской, Киселев, Чертков и Рахманов попеременно; на другом — братья Дурновы, Михель и Раевский; понтировало много известных людей. Какой-то Колычев проиграл около пяти тысяч рублей, очень хладнокровно вынул деньги, заплатил и отошел, как ни в чем не бывалый. Я думал, что он миллионер, но мне сказали, что у него не более 200 душ в Вологде. Как удивился я, встретив Димлера с мелом в руках, записывавшего выигрыш вместо банкомета! Говорит, что он в части у Дурновых: видно, это выгоднее, чем давать уроки на фортепьяно.

Угощение было на славу. Несмотря на раннюю пору, были оранжерейные фрукты; груш и яблок бездна; конфектов груды; прохладительным счету нет, а об ужине и говорить нечего. Что за осетр, стерляди, что за сливочная телятина и гречанки-индейки!* Бог весть чего не было! Шампанское лилось как вода: мне кажется, более ста бутылок было выпито. Хозяин подходил к каждому и приглашал покушать; сам он был несколько навеселе. Хозяйка не пока-

* То есть откормленные грецкими орехами.

зывалась: она не выходит в дни больших собраний. Дам принимала хозяйская дочь, молодая княгиня Касаткина, недавно вышедшая замуж.

Я возвратился домой разбитый и усталый, не делав ничего, с обремененным желудком, евши без аппетита и вкуса, и с головною болью от шампанского, которое глотал без жажды. Ничего не вывез я с этого бала, кроме воспоминания о прекрасных глазах Арины Петровны; но и это ведет к одной бессоннице; следовательно, время потрачено напрасно. Чесо ради гибель сия бысть?

11 февраля, суббота.

Рождение мое ровно чрез неделю. Мы сговорились с П. И. обедать в этот день дома и пригласить Гаврила Ивановича, Андрея Анисимовича, Афанасия Михайловича и старого учителя моего Хр. Ив. Кейделя. Угостим их чем бог послал. Деревенской провизии у нас вволю, а кухмарник авось не ударит лицом в грязь; наливки почти не початы и варенья еще много. Приглашу также Граве и кого-нибудь из немецких актеров für die Übung der deutschen Sprache. После обеда, может быть, отправлюсь в немецкий театр, на котором дают Беньовского. Поехал бы вместо театра к Л., потому что у них вечер, но, право, за себя страшно: эта А. П. того и гляди, что с ума сведет: велит себя звать не иначе, как ma tante, потому что двумя годами меня старше; а мне так иногда совсем не то приходит в голову.

12 февраля, воскресенье, вечер.

Ездили в голицынскую больницу к обедне. Певчие очень хороши, но все не то, что колокольниковские у Никиты-мученика. Из числа последних тенор Самойлов взят на петербургский театр. Отлично также поют у Дмитрия Солунского. Черномазый Визапур — не знаю, граф или князь, — намедни пришел в такой восторг, что осмелился зааплодировать.[1] Полицеймейстер Алексеев приказал ему выйти.[2] После обедни смотрели мы картинную галерею.[3] Какие сокровища собраны покойным князем! и все предоставлены на подвиги человеколюбия. Поучение священника было на текст из евангелия: «Не

скрывайте сокровищ ваших на земли, иде же тля тлит и татие подкопывают и крадут». В голицынской больнице это чрезвычайно кстати. Из картин больше всех мне понравились «Благословение Иакова слепцом Исааком» Риберы и «Снятие со креста» Каведони.* Какая натура и какие лица! Сказывали, что эта неоцененная галерея когда-нибудь поступит в продажу, ибо считается мертвым капиталом. Многие охотники до картин острят зубы.

Из больницы заезжали мы по соседству на бег графа А. Г. Орлова. Герой чесменский, в бархатной малиновой шубе, сам несколько раз принимался ездить на любимых рысаках своих Любезном и Катке. Охотников было много, и все щеголяли друг перед другом, кто на рысаках, кто на иноходцах. Я заметил обоих Всеволожских, Чемоданова, Савелова, Муравьева, братьев Яковлевых-Собакиных, Мосоловых и многих первостатейных купцов.

16 февраля, четверг.

Как ни красивы бабушкины империалы и теткины червонцы, а пришлось разменять их. Лаж на золото вздорожал: империал отдал по 12 р. 90 к., а червонец — по 3 р. 85 к. сер. Рубль принимают в 1 р. 29 к.

Проезжая по Ильинке, купил у Соколова десять бутылок отличного цымлянского, по 40 коп. за бутылку.

19 февраля, утро.

Рождение мое вчера отпраздновали славно: по письму матушки, утром был у Всех-скорбящих и, по собственному побуждению, служил молебен при раке своего патрона у Спаса-на-бору. Обед хоть куда! Щи с завитками, сальник из обварных круп, окорок ветчины, белужья тешка, жареный индык и бесподобные оладьи с бабушкиным липовцом. Наливкам досталось, а цымлянского как не бывало. Все объедались. Я так рад, что гости наши были чрезвычайно довольны и веселы! Гаврила Иванович играл на клавикордах, а Граве с Сокольским плясали. За столом, при питье моего

* Обе эти картины куплены впоследствии братьями Мосоловыми. Первая из них принадлежала старшему, Федору Семеновичу. *Позднейшее примечание*

здоровья, П. И. прослезился. Кейдель мой очень обиделся, когда Гаврила Иванович спросил его: долго ли он был у меня дядькою? «То-есть учителем, хотите вы сказать?», — отвечал Кейдель. Странно, каким он прежде казался мне мудрецом, а теперь как будто поглупел. Короп пел немецкие песни и, между прочим, одну: «Der Kuss», которая так и просится в душу. Это история поцелуя от колыбели до могилы. Если сумею, непременно переведу ее. Пировали до 11 часов. Ехать мне никуда не хотелось, и лошадей употребили на развозку гостей.

Сегодня утренний маскарад в Петровском театре. Вчера не был в вечернем, так должно бы ехать проститься с масляницею и взглянуть на глазки ma tante, да берет раздумье. Нет, лучше поеду обедать к князю Михаилу Александровичу, а туда на вечер. Нынче день прощеный; простим друг друга. Что если б пришло ей в голову сказать мне: «Возлюбим друг друга!».

20 февраля, понедельник.

Превесело кончил я вчера день свой. У Лобковых было много гостей. Старик С. А. Всеволожский, человек распремилый, настоящий камергер двора Великой Екатерины, говорил без умолку. Как он мастерски умеет найтись с барышнями, которых с дюжины его окружало! всякой из них сказал он ласковое и приветное слово. Сказал бы что-нибудь и я — только одной, да не достает смелости и во рту каша. Говорится: «от избытка сердца глаголят уста»; а у меня напротив, от избытка сердца уста немотствуют. Были адъютант государя П. А. Кикин[1] и капитан Лукин, известный силач.[2] Первый говорил со мною о литературе и профессорах и очень дельно; кажется, очень ласковый и внимательный человек; а последний — тихий и скромный моряк: все сидел и молчал у карточного стола; сколько молодой Всеволожский ни заговаривал с ним о силе и ни рассказывал ему о прежней чудесной силе графа А. Г. Орлова, у которого Всеволожские домашние люди, Лукин ни слова о себе и за ужином говорил только о посторонних и самых обыкновенных предметах, например, что Москва обильна красавицами и богата радушием.

Обед у князя М. А. был прекрасный: простой, вкусный, всего вдоволь. В доме говорят, что за старшую княжну[1] сватается жених, только князь покамест слышать не хочет и говорит, что прежде двух или трех лет не выдаст. За обедом в почетном месте опять сидел Плавильщиков, а Злов подле меня и важно потягивал мадеру. Князь приказал поставить ему особую бутылку, примолвив: «Никому, братец, своей порции не давай». Плавильщиков признался, что комедия его была худо вырепетирована и разыграна и оттого не могла иметь успеха, но что в следующий раз она пойдет лучше, тем более, что он сократит ее. Может так, а может и не так — увидим.

После обеда заставили Злова петь арию из «Волшебной флейты»: «In diesen heiligen Hallen». Перевод этой арии показался мне похожим на мой перевод хора в опере «Элиза», которую мы переводили вшестером, за 50 руб. Сенбернардские отшельники, найдя живописца, засыпанного снежною лавиною, звонят в колокол и трагически поют:

Хоть висит недавно,
А звонит исправно!

Как ни мало внимательна публика к оперным стихам, но мой хор заставляет ее всякий раз смеяться, хотя положение действующих лиц и очень печальное. Зато Злов без умничанья и с чувством пропел на голос: «Freut euch des Lebens», подражание песни Коцебу: «Es kann ja nicht immer so bleiben». Последние куплеты в пении недурны:

И прежде нас много бывало
У жизни веселых гостей,
И вот мы, на память почившим,
Бокал осушаем, друзья!
И после нас будет немало
У жизни веселых гостей:
И также, нам в память, счастливцы!
Они опорожнят бокал.

Да, да, круговая порука! Злова заставили повторить, и он повторил куплеты и потроил запамятный бокал.

Немецкая масляница во всем разгаре. Завтра 2-я часть «Русалки» и после бал. Штейнсберг прислал билеты на спектакль и на бал,

но я возвратил: как-то совестно, а чувствую, что на бале не обойдется без потех и взглянуть бы не мешало. Приносивший билеты Петерс сказывал, что Штейнсберг ожидает Гальтенгофа и Гунниуса с семейством. Один — славный тенор, а другой — бас, знаменитый в Германии. Потом будут репетировать большие оперы: «Волшебную флейту», «Дон-Жуана», «Die Entführung», «Аксура», «Оберона» и проч. и проч. Приятельница моя, меньшая Соломони, поступает в труппу примадонною, и нет сомнения, что с ролями доны Анны, Констанции и Памины справится лучше, нежели с ролью вертлявой Лизеты. Простить ей не могу эту Лизету: из чего я трудился?

23 февраля, четверг.

Неожиданно посетили меня Максим Иванович и общий дедушка Василий Алексеевич.* Первый приходил узнать, говею ли я. Что за умный и добрый человек этот Максим Иванович, каких гонений ни натерпелся он за свою резкую правду и верность в дружбе![1] Как искренно прощает он врагам своим и как легко переносит свое положение! При всей своей бедности, он не ищет ничьей помощи, хотя многие старинные сотоварищи его в несчастии, как, например, Иван Петрович Тургенев, Лопухин и Походяшин, принимают в нем живое участие и желали бы пособить ему. Ходит себе в холодной шинелишке по знакомым своим, большею частью из почетного духовенства, и не думает о будущем. Говорит: «довлеет дневи злоба его».

С дедушкою всё оказии: потерял последний свой зуб и жалуется, что ноги лениво ходят. Немудрено: недавно стукнуло полные 78, а между тем какая удивительная память! Все пьесы, какие суфлировал он в продолжение 45-летней бытности своей суфлером в Петербурге и Москве, помнит наизусть; а биографии и закулисные похождения актеров и актрис его времени рассказывает во всей подробности, как по книге читает. Преинтересный старичок! Теперь живет у Николая Петровича Аксенова, который призрел и успокоил старика, а сверх того, добывает несколько и сам перепискою бумаг у знакомых и пишет хотя медленно, но четко, жемчужком. Для

---

* Булов, отставной суфлер.

меня он сущий клад: вот два года, как я пользуюсь его досужством хорошего переписчика и анекдотиста — живой ходячий театральный архив, а к тому же имеет настоящее понятие об искусстве. Любопытны рассказы его о прежних придворных французских актерах и сравнение их с нашими русскими. Когда-нибудь запишу все его анекдоты. Он оживляется за бутылкою хорошего пива — это одна его прихоть; а за пивом дело не станет. Надобно пользоваться памятью старика, которого время «близь есть и дни изочтени суть».

26 февраля, воскресенье.

Отговели, как следует христианам. Я отдохнул и освежился. Кажется смешно, чтоб в 17 лет нужно было освежение, однако ж это так: в продолжение года насмотришься, наслушаешься и наберешься невольно такой дряни, что чувствуешь себя гораздо легче, когда смоешь ее с себя банею покаяния. Теперь только я начинаю понимать, как полезно было для меня это русское деревенское воспитание, над которым так издевались соседи, — эти ежедневные утрени, молебны и всенощные, в которых я исправлял должность дьячка: читал славословие, кафизмы, паремии, пел ирмосы, кондаки, антифоны и проч.: все это пригодилось мне не только в нравственном, но и в общественном отношении. Нашлись добрые люди, которые оценили это воспитание и обратили его мне в с р е д с т в о; а прочее, чего, по мнению великолепных В* и велеумных М* и Б*, мне недоставало, пришло само собою, так что я успел не только догнать, но и перегнать пресловутых товарищей моего детства, старейших меня летами, которых мне всегда в образец ставили. Но вот, кажется я и превозноситься стал, а давно ли еще повторял молитву: «Дух целомудрия, смиренномудрия и любви даруй ми, рабу твоему!». Таков человек!

У французских актеров затеялась история по случаю перемещения актера Бальи в петербургскую придворную труппу на трехтысячный оклад, по одному его письму к А. Л. Нарышкину и без ведома его товарищей. Вся труппа в большой суматохе и посылала депутатов Дюпаре, Белькура и Мериенна жаловаться главнокоман-

дующему, который это дело от себя отклонил. Делать нечего: они, то есть актеры, хотят публиковать в газетах о поступке Bailli, а с тем вместе и объявить публике, что, по принятым ими мерам, таких случаев больше не будет. Смирнов переводил им объявление.

Кстати о французах. Венюков приносил какую-то вышедшую на днях повесть или сатиру «Француз на дрожках, или Забавное приключение m-r Petit Diablette в Москве».[1] Охота же покупать такой вздор! Где он его откапывает?

28 февраля, вторник.

Завтра именинница А. С. Небольсина. Вероятно, весь город, по обыкновению, будет у ней. Нельзя не поздравить хромую, ласковую соседку, которая в такой связи со всеми боярами.

Насилу, насилу мог добыть «Четвероевангелие», изданное нашим Харитоном Андреевичем и посвященное государю.[2] Все издание в 600 экземпляров разошлось в два года. Что за необъятный, почтенный труд! Ни одного слова не упущено, ни одного не прибавлено, а между тем все происшествия евангельской истории и все поучения Спасителя следуют в хронологическом порядке и читаешь их как будто писанные одним человеком. Митрополит чрезвычайно уважает Харитона Андреевича за этот труд, и преосвященный викарий Августин отзывается о нем с чрезвычайною похвалою. Непременно послал бы эту книгу к матушке, да боюсь бабушки: пожалуй, старушка почтет франмасонскою книгою и прогневается. Досталось же от нее и покойному М. В. М. за то, что в приделах великолепной церкви своей устроил печи! С тех пор перестала ссужать его деньгами, а прежде отказа не было.

2 марта, четверг.

Вчерашним утром ездил с поздравлением к имениннице,[3] но она не принимала, а швейцар объявил, что покорнейше просят на вечер. «А много у вас будет гостей?». — «Да приглашают всех, кто приедет утром, а з в а н н ы х нет: т и х и й б а л назначен».

Нечего сказать, т и х и й б а л: вся Поварская, в буквальном смысле, запружена была экипажами, которые по обеим сторонам

улицы тянулись до самых Арбатских ворот. Кажется, весь город втиснут был в гостиные А. С. Чужая душа — потемки, но принимать гостей мастерица: всем одинаковый поклон, знатному и незнатному, всем равное ласковое слово и приглашение на полную свободу. Играй, разговаривай, молчи, ходи, сиди — словом, делай что хочешь, только не спорь слишком громогласно и с запальчивостью: этого хозяйка боится. Кого тут не было, начиная с главнокомандующего до нашего брата, студента, от альфы до омеги! Гр. Растопчин, кн. Юр. Влад. Долгорукий, П. С. Валуев, Обресков, кн. Вяземский, сенатор Алябьев, Мухановы, кн. Голицыны, Марков, Кутузов, Волконский, Спиридов, Лопухины, Мамонов, Обольянинов, гр. Салтыков со своим неразлучным Броком, и проч. и проч. — словом, почти вся московская знать. Я заслушался гр. Растопчина: что это за увлекательный образ изъяснения — анекдот за анекдотом; одной чертой так и обрисует человека, и между тем о своей личности ни слова. По короткости своей с именинницей он, говорят, сделал ей сегодня пресмешной сюрприз. Заметив, что она любит пастеты, он прислал с Брокером к ней за минуту до обеда преогромный пастет, будто бы с самою нежною начинкою, который и поставил перед хозяйкою. В восхищении от внимания любезного графа, она после горячего просила Брокера вскрыть великолепный пастет — и вот показалась из него прежде безобразная голова Миши, известного карла кн. Х., а потом вышел он весь с настоящим пастетом в руках и букетом живых незабудок.

Ужин был человек на сто, очень хороший, но без преступного бородинского излишества. За одним из маленьких столиков, неподалеку от меня, сидели две дамы и трое мужчин, в числе которых был Павел Иванович Кутузов, и довольно горячо рассуждали о литературе, цитируя поочередно любимые стихи свои. Анна Дорофеевна Урбановская, очень умная и бойкая девица, хотя уже и не первой молодости, прочитала стихотворение Колычева [1] «Мотылек» и сказала, что оно ей нравится по своей наивности и что Павел Иванович такого не напишет. Поэт вспыхнул. «Да знаете ли, сударыня, что я на всякие заданные рифмы лучше этих стихов напишу?». — «Нет, не напишете». — «Напишу». — «Не напишете». — «Не угодно ли по-

пробовать?». Урбановская осмотрелась кругом, подумала и, услышав, что кто-то из гостей с жаром толковал о персидской войне и наших пленных, сказала: «Извольте; вот вам четыре рифмы: плен, оковы, безмен, подковы; даю вам сроку до конца ужина». Павел Иванович с раскрасневшимся лицом и с горящими глазами вытащил бумажник, вынул карандаш и погрузился в думу. Прочие продолжали разговаривать. Чрез несколько минут поэт с торжеством выскочил из-за стола. «Слушайте, сударыня, а вы, господа, будьте нашими судьями», и он громко начал читать свои bouts-rimés:

Не бывши на войне, я знаю, что есть п л е н,
Не быв в полиции, известны мне о к о в ы,
Чтоб свесить прелести, не нужен мне б е з м е н.
Падешь к твоим стопам, хоть были б и п о д к о в ы.

«Браво, браво!» вскричали судьи и приговорили Урбановскую просить извинения у Павла Ивановича, который так великодушно отмстил своей противнице.

Алексей Михайлович Пушкин сказал, что если кузен его, Василий Львович Пушкин, считающий себя первым докою на bouts-rimés и экспромты, узнает об этих стихах, то с ним сделаются спазмы. если что-нибудь не хуже, тем более, что Павел Иванович д р у г о й с е к т ы в л и т е р а т у р е.

Говорят, что гр. Растопчин пишет большую комедию в русских нравах.[1] Вот бы Кудрявцев к кому свозил меня вместо гр. Каменского: полезнее бы для меня было. Но я попрошу обязательную соседку, чтоб она меня ему представила.

4 марта, суббота.

Дедушка притащил мне мои лекции и вместе сведение о составе русской труппы, сказывал, что она точно присоединяется к императорской дирекции и что некоторые сюжеты перемещены будут на петербургский театр. Между прочим, беседуя о том, о сем за бутылкою б а р х а т н о г о, дедушка разговорился о прежних петербургских актерах и, к удивлению моему, осмелился восстать с критикою на великого Дмитревского,[2] который, по мнению его, был человек у м н ы й, в е ж л и в ы й и т о н к и й п р и д в о р н ы й, но в сущности превосходным актером никогда не был и быть им не мог,

потому что не имел ни сильных чувств, ни звучного органа, ни чистого произношения; читал стихи и даже прозу нараспев и, за недостатком физических средств, гонялся кстати и некстати за какими-то эффектами... Славу будто бы приобрел он оттого, что императрица изволила его жаловать, что он был муж просвещенный и образованный путешествиями и что в то время другого никого не было. Но зато актриса Михайлова, которая едва-едва знала грамоте, а писать вовсе не умела, которой всякую роль начитывали, была удивительная актриса. «У, господи боже мой! (дедушка припрыгнул) что за буря! суфлировать не поспеешь, забудешься; рвет и мечет, так и бросает в лихорадку; а сойдет со сцены — дура-дурой!». О некоторых тогдашних французских актерах относился он с восторгом. «Вот, — говорит, — например, хоть Флоридор, подлинно было кого послушать и посмотреть в «Магомете» или «Танкреде». На сцене красавец, голос звучный, поступь благородная; что слово скажет — как рублем подарит; или Офрен, кажется, сам по себе и невзрачен, а уж что за актер! Когда бывало играет Зопира, Аржира или Августа — так все навзрыд и плачут. Я, грешный человек, по-французски худо маракую, но, стоя за кулисами, от Офрена всегда приходил в душевное волнение и даже плакал. А уж какие благородные люди!». Тут дедушка рассказал мне, как одна знатная и богатая дама после представления «Танкреда» призвала Флоридора и, наговорив ему тысячу вежливостей, просила принять от нее в память доставленного ей удовольствия золотую табакерку со вложением ста империалов, что Флоридор принял табакерку с благодарностью, но от денег отказался, сказав, что актер, имеющий счастье принадлежать театру Великой Екатерины, в деньгах нужды иметь не может, и всякая сумма, приобретенная в России мимо высочайших щедрот, для него предосудительна. Разумеется, императрица узнала о том на другой же день, и при первом случае гордый Танкред получил двойное вознаграждение.

8 марта, среда.

Физические лекции П. И. Страхова час от часу более привлекают публику. Они чрезвычайно занимательны по своим экспериментам.

Я не пропускаю и не пропущу ни одной, сколько бы ни было другого дела. Страхов говорит просто, ясно и увлекательно.[1] Из дам обыкновенные посетительницы — княжна Урусова и Полунина. Прекрасно также говорит и Павел Афанасьевич: он основательно изучил свой предмет и предлагает его убедительно.[2] Я не слыхал других эстетиков и потому не могу определить достоинства нашего профессора сравнительно с прочими, но, признаюсь, слушаю его с величайшим удовольствием. Однако ж вот и он, скромный и благородный человек, попал на зубок какому-то зоилу, который сострил эпиграмму на журнал его: [3]

Каков журнал? — не хватский.
Издатель кто? — Сохацкий.
Читатель кто ж? — Посадский.

10 марта, пятница.

Сегодня, наконец, я слышал эту знаменитую певицу, которою некогда восхищалась вся Европа. В Вене носили ее на руках, в Дрездене и Берлине в карету ее запрягались немцы, а в Италии сходили от нее с ума. Я слышал эту Мару, [4] от которой теперь с ума сойти нельзя, а взбеситься можно за истраченные без удовольствия на концерт ее деньги. Что славная певица постарела и подурнела — это в порядке вещей; но не в порядке вещей с дребезжалым голосом и фальшивыми нотками давать концерты и собирать с нас по пяти рублей. Добро бы она принадлежала к разряду тех певиц, которые, как описывает их глупейшими стихами остроумный враль Бородулин,

Выводят больно громко трели
Затем, что ничего не ели.

Нет Мара не в этой категории, а, вероятно, поет оттого, что хочется аплодисментов или путешествовать на чужой счет. Говорят: она великая музыкантша. Да что из этого? Это домашнее ее качество (если она ничего не сочиняет), которое ничем не доказывается. Вот Маджорлетти так певица! тоже немолода и нехороша: зубы хуже зубов всякой московской купчихи, уголь углем, а заслушаешься,

Пусть она не музыкантша, да послушав ее, кто может сказать, чтоб она не была музыкантшею?

Однако ж, как ни черны зубы г-жи Маджорлетти, но они чуть не были причиною дуэли на пистолетах между двумя немолодыми уже повесами. Демидов, сидя в креслах возле Черемисинова и будучи в восторге от певицы, изъявлял его громким и беспрестанным повторением всех гласных букв русской азбуки: «а! э! и! о! у!». Видно, это надоело Черемисинову, который, вдруг обратясь к дилетанту, сказал: «Да чем восхищаетесь вы? Посмотрите: что за рот и какие зубы!». — «М. г., — отвечал Демидов, — это ваше дело; а мне смотреть ей в зубы незачем: она не продажная лошадь». Слово за слово, и дуэль бы состоялась, если б умный Александр Александрович Волков не помирил противников. Надобно сказать, что Черемисинов когда-то и кому-то продал лошадь с поддельными зубами, а это в матушке-Москве *не забывается* и в свое время *отзывается*.

13 марта, понедельник.

Мы воспользовались свободною субботою и вчерашним воскресеньем, чтоб съездить в Кусково [1] гр. Шереметева и Люблино, принадлежащее Н. А. Дурасову,[2] взглянуть на пространные оранжереи, наполненные померанцевыми, лимонными и лавровыми деревьями и несметным количеством самых роскошных цветов. Нам сказали, что эти оранжереи в настоящее время года бывают во всей пышности и красоте своей. В самом деле, я никогда не видал ничего подобного: совершенное царство Флоры. Кусковские оранжереи удивляют количеством и огромностью своих померанцевых деревьев и богатством произрастаний, но не так чисто содержимы, как люблинские; последние несравненно приятнее и роскошнее: видно, что за всем бдительно наблюдает сам хозяин, которого, как нарочно, тут и повстречали. Он в продолжение всей зимы имеет привычку по воскресным дням обедать с приятелями в люблинских своих оранжереях. Не предполагая этой встречи, мы было сами хотели завтракать в зелени, для чего и привезли с собою кое-какой провизии, но гостеприимный Николай Алексеевич до того не допустил. Он видал

Петра Ивановича в доме родственника своего, бригадира Мельгунова, и тотчас же пригласил нас обедать с ним вместе. Сколько мы ни отговаривались (разумеется, из церемонии), но он настоял, говоря, что отказ наш его обидит. Он очень богат, а еще более, кажется, радушен. В два часа приехали гости: князь Дмитрий Евсеевич Цицианов, князь Оболенский, какой-то красивый француз Моро, две очень хорошенькие и бойкие иностранки, Еф. Еф. Ренкевич, Александр Александрович Арсеньев и доктор Доппельмайер. Всех нас было человек двенадцать, но стол был накрыт кувертов на тридцать. Только что сели за стол, подоспели новые гости: старинный и любимейший учитель пения кастрат Мускети, который дает в Москве уроки дамам и девицам в третьем их поколении, рослый и тучный bon vivant и gourmé, и с ним знакомец мой, молодой Нейком *, капельмейстер и сочинитель музыки, один из любимейших учеников великого Гайдна, живущий у Штейнсберга. Я удивился, увидя их вместе, но загадка скоро объяснилась: Мускети, как истинный и беспристрастный знаток в дарованиях музыкальных, желая удержать непременно Нейкома в Москве, хлопотал об определении его капельмейстером к Дурасову или к Всеволоду Андреевичу Всеволожскому, которых оркестры считаются лучшими и полнейшими. Я едва мог узнать Нейкома в его огромном жабо, закрывавшем ему всю бороду, и не знаю, как он мог справиться с кушаньем. А серьги? — серьги чуть-чуть не с передние колеса моих дрожек! Бог знает, кто научил его так одеться. Хорошенькие мамзели, смотря на даровитого музыканта, беспрестанно ухмылялись.

Обед был чудесный и, как сказывал хозяин, состряпан из одной домашней провизии крепостною его кухаркою. У него есть и отличные повара, но он предпочитает кухарку, по необыкновенной ее опрятности. Стерляди и судаки из собственного его пруда; чудовищные раки ловятся в небольшой протекающей по Люблину речке; спаржа, толщиною чуть не в палку, из своих огородов; нежная и

* Умерший в Германии только в 1857 г. Последующая биография Нейкома чрезвычайно любопытна: он некоторое время был доверенным лицом у Талейрана. *Позднейшее примечание.*

белая, как снег, телятина со своего скотного двора; фрукты собственных оранжерей; даже вкусное вино, вроде шампанского, которым он беспрестанно всех нас потчевал, выделывается у него в крымских деревнях из собственного же винограда. Необыкновенный хозяин, а к тому же и не дорожит ничем: «дрянь, совершенная дрянь-с!». Князь Цицианов рассказывал множество случившихся с ним происшествий, которым нельзя было не удивляться.[1] Между прочим, говорил он о каком-то сукне, которое он поднес князю Потемкину, вытканное по заказу его из шерсти одной рыбы, пойманной им в Каспийском море. Каких чудес нет на свете! К числу этих чудес можно отнести и то, что рассказчик, кушая с величайшим аппетитом, и все жирное, ничего не пил, кроме полузамороженной воды; говорил, что от роду не отведывал ни вина, ни пива, ни даже квасу, а водки и подавно. Он также сам великий хлебосол и мастер выдумывать и готовить кушанье. Александр Львович Нарышкин, первый гастроном своего времени, когда ни приезжает в Москву, ежедневно почти у него обедает; зато и князя в Петербурге угощают по-барски. После кофе мы хотели было откланяться, но хозяин опять не пустил, прося послушать домашних его песенников, которые, точно, пели прекрасно с аккомпанементом кларнета и рожка; между тем разносили поминутно разных сортов ликеры, домашнего же приготовления, удивительно вкусные: я в жизнь свою таких не пивал. Заметив, что иные наиболее понравились Петру Ивановичу, хозяин приказал несколько бутылок положить нам в сани. Мы уехали поздно; да и как иначе! Не будь дела, а главное, если б я был один, то долго бы еще не уехал. Когда оранжерею осветили, она превратилась в какой-то сад Армиды.

Счастливец! сколько удовольствия и добра он может сделать другим!

16 марта, четверг.

Неужто же в самом деле в воскресном похождении моем было только наполовину правды? Неужели домашние стерляди и спаржа, дома упитанный телец и домашнее вино и ликеры — словом, все

было недомашним? А опрятная кухарка, а сукно из рыбьей шерсти и приключения на Каспийском море неужто были одни сказки de ma mère-l'oie. Опростоволосился же я порядочно! Пусть основанием этих сказок и служит искреннее желание угостить, однако ж зачем вводить в такое заблуждение? Мы бы ели с таким же аппетитом и пили с тем же наслаждением и столько же, хотя бы и знали, что за столом, кроме фруктов, ничего не было домашнего. А я, конопляник, давай рассказывать встречному и поперечному за неслыханное диво о знаменитом хозяйстве люблинского владельца, у которого в доме все свое и купленного ничего нет, давай повторять историю о рыбьем сукне, и очень удивлялся, почему без смеха никто меня не слушал, покамест серьезный Петр Тимофеевич и вовсе несерьезный Кондратьев не вывели меня из заблуждения, объяснив мне загадку. Так оно вот что! Впрочем, à tout bien prendre, у всякого есть свой конек, и сердечная доброта заставит простить многое. К подобным росказням привыкли: они исчезают в воздухе; но радушное гостеприимство нашего амфитриона и клеврета его остается и вошло в пословицу. Пусть у одного будет все домашнее, а другой носит фраки из выдуманного им сукна, а я бы не прочь водиться всегда с такими людьми. Одна беда: востроглазая Арина Петровна не перестанет теперь преследовать меня рыбьим сукном, а злодей Н. А. Новиков советовал уже мне обратиться, по принадлежности, к Антонскому как профессору энциклопедии и натуральной истории за сведениями о рыбьей шерсти.

Но вот мистификация почище. Вчера в Петровском театре смотрели мы искусника Транже, который объявил в газетах, что он, невидачный вольтижер, покажет искусство свое на 50 футах от земли и будет ходить по потолку вниз головой.[1] Как не взглянуть на такое диво! Прежде вертелся он мельницею на повешенном довольно высоко канате, а после, заставив себя раскачать, бросился в повешенный пред ним бумажный тамбур и выскочил из него переодетый старухою. Затем, подвязав к подошвам крючья, начал цепляться ногами, одна за другою, за вбитые в потолок такие же крючья, и так перебрался через весь театр. Вот и все тут хождение по потолку; по мнению моему, эти штуки приличествовали бы масля-

ничному балагану, а между тем Транже * собрал не менее 1000 руб. Он открывает манеж и школу вольтижирования в доме князя Дадьянова, на Лубянке.

20 марта, понедельник.

У Катерины Александровны Муромцевой [1] продолжают собираться по вечерам лучшие музыканты и любители немецкой ученой музыки. Вчера неожиданно приехал угрюмый и строгий преподаватель генерал-баса старик Геслер.[2] Знаю, что Москва любит своих музыкантов, то есть тех, которые в ней долго живут и к которым она привыкла, но таких знаков уважения, какие вообще оказывают этому товарищу и другу Гайдна, я, признаюсь, не ожидал: только что на руках не носят. Геслер точно достоин всякого уважения как сочинитель музыки и как человек. Старик очень обрадовался, встретив Нейкома, и дружески пенял за то, что редко его видит; потом, оборотясь к хозяйке, сказал: «Wir sind Kinder des nähmlichen Vaters», разумея Гайдна. Потом сел за фортепьяно и начал разыгрывать турецкий хор и марш сочинения Нейкома из «Sitah-Mani» (Карла XII), которым искренно восхищался; говорил, что время настоящей музыки прошло, что теперь, кроме французских романсов и ученических арий Крейслера и Венцель-Миллера из «Donauweibchen» и «Teufelsmühle», он ничего другого в обществах не слышит и что он всегда сердечно радуется, когда изредка попадаются ему такие сочинения, как нейкомовы, которые так изобилуют богатством, разнообразием и силою музыкальных идей. Сказывал, что по старости лет он сбирается оставить уроки и желал бы их передать Нейкому, если б он поселился в Москве. Но, кажется, это дело несбыточное: Нейком имеет в виду Веймар, а оттуда, по совету Гёте, намерен ехать в Париж. Великий германский поэт покровительствует молодому Нейкому за сочинение превосходных хоров к «Фаусту» и снабдил его письмом к петербургскому другу своему генералу Клингеру.

* Этот Транже в 1818 г. состоял в должности главного конюшего у известного в Варшаве конного охотника графа Ржевуского, в присутствии которого застрелился, огорчась сделанным ему замечанием. *Позднейшее примечание.*

На другом конце города, то есть на Пречистенке, бывают музыкальные собрания в другом роде. У В. А. Всеволожского еженедельно по четвергам разыгрываются квартеты, в которых участвуют все лучшие музыканты, какие только находятся в Москве. В прошедшем году первую скрипку держал Роде, а в нынешнем будет играть примо Бальо, альта Френцель и на виолончели попрежнему Ламар.[1] Есть чего послушать: вся знать бывает на этих концертах. Братец Иван Петрович Поливанов, короткий приятель Всеволожскому, обещал меня ему представить. Нетерпеливо этого ожидаю.

Я и не знал, что комедия «Бот, или английский купец» переведена молодым князем Долгоруковым.[2] Недаром старый князь так занимается театром, а любимец его Плавильщиков так хорошо играет Бота. Эта роль — его торжество.

25 марта, суббота.

Колымажный манеж есть покамест лучший манеж в городе для обучения. Старик Кин самый добросовестный немец и мастер своего дела. Граф Орлов-Чесменский покровительствует ему не без причины: Кин этого стоит; он не дает зашаливаться ученикам своим, кто бы они такие ни были: угодно учиться — милости просим, а гонять без цели лошадей не позволяет. Учишься, так езди без стремян, покамест их не заслужишь; когда же дадут стремена, заслуживай шпоры. Что дело, то дело. Со временем все будут ему благодарны, хотя теперь и ропщут. Кроме учеников и молодых людей, кончивших ученье и ездящих на собственных своих лошадях для проездки их, в определенные часы собирается в манеж много известных любителей верховой езды, кавалеров и дам. Последним дает уроки помощник Кина, берейтор Шульц, красивый мужчина средних лет и отличный ездок. Сегодня в манеже были: молодая княгиня Урусова, княжны Гагарины, Щербатовы и Катерина Андреевна Карамзина вместе с мужем. Последний ездит ежедневно по утрам для моциона. Лучшими ездоками в городе считаются братья Соковнины, князь Дадьянов, младший Алябьев, Иван Петрович Бибиков и Брок, живущий у графа Салтыкова; у них затевается большая карусель только не условились еще в назначении распорядителя.

Кин особенно расположен ко мне за то, что я кротко обращаюсь с лошадьми. Зато я имею исключительную привилегию ездить на старом белом Фрипоне, фаворитной лошади покойного государя, которая находится в колымажном на пансионе. Мы взаимно друг другу полезны: мне ученье, а ему моцион. Фрипон очень любит сахар, и я никогда не сажусь на него и с него не слезаю, без того чтоб не дать ему по нескольку кусочков. Бедняга отвык от этого лакомства; и когда я его потчую, он смотрит на меня своими большими черными глазами так умно, так умно, что, кажется, так и хочет сказать мне спасибо. Непродажному коню цены нет; но что, если бы этот старичок продавался?

Намедни мой Петр Иванович, проезжая мимо манежа, захотел взглянуть на наши подвиги. Вдруг пришла ему фантазия самому поездить верхом — то-то был смех! Он от роду не садился на лошадь. Сделав несколько вольтов, держась то за гриву, то за луку седла, он сошел с лошади, говоря, что это не магистерское дело. Я заметил, что Антонский и профессор, а летом ежедневно катается верхом, даже иногда и с дамами. «Дело другое, — возразил он, — Антонский профессор энциклопедии».

Завтра свободный день. Надобно исполнить комиссию батюшки и потаскаться по англичанам для выбора заводского жеребца. В этом деле мог бы вернее всех руководствовать меня Николай Петрович Аксенов, но у него есть продажные жеребцы своего завода, которые батюшке не нравятся, потому что не того сорта, какие ему нужны; следовательно, Аксенова тревожить некстати. Авось обойдемся и без него.

27 марта, понедельник.

Ни один из англичан не показал вчера лошадей своих, отзываясь воскресеньем: просили приехать в простой день. Воскресенье у них то же, что у жидов суббота: полный шабаш для людей и животных. Не спорю, что этого обычая можно держаться в отношении к работе; но разве вывести из конюшни лошадь на показ — работа? Теперь придется ехать не иначе, как в субботу, или уже на страстной, потому что на этой неделе решительно свободного времени не будет;

между тем в субботу утреннее гулянье на вербах; так, видно, до страстной.

Как я рад, что добрый Сокольский становится довольнее мною: я выучил дроби и скоро примемся за тройное правило. Дашков смеется, что я того и гляди заткну за пояс Загорского с его курсом Безу. Нет, поздно! Чтобы успеть в каком-нибудь деле, надобно любить его: а я без отвращения не могу смотреть на этот проклятый цыфирь. То ли дело наша деревенская бирка или конторские счеты?

29 марта, среда, вечер.

Короп сказывал, что дебют Граве назначен одиннадцатого апреля, т. е. во вторник на святой неделе, в какой-то преглупой пьеске «Der Gimpel auf der Messe», т. е. «Снегирь на ярмарке», под условленною фамилиею Nemo. На пробах он не показывал ни искры таланта, был очень дурен и смешон и заботился только о том, чтоб целовать мад. Штейнсберг, как предписывала пьеса. Сколько ему ни говорили, что на репетициях этого не водится, но он настаивал на своем, что чрезвычайно забавляло Штейнсберга. Ну, г. Снегирь-Nemo, просим не прогневаться, а мы отделаем тебя ни в строй, ни к смотру. Кажется, малый — душа, а делает глупость, которая может испортить ему всю карьеру по службе его в кремлевской экспедиции. Пострел!

1 апреля, суббота, вечер.

Вместе с присланным от батюшки конюшим, обрыскали мы вчера и сегодня утром всех англичан и даже не-англичан, и я успел попасть на гулянье в свое время. Народу было бездна, но блистательных экипажей и упряжек не было: берегут для святонедельных гуляний. Главнокомандующий два раза проехал со всею свитою. Знакомых встретил мало; но тем, которых встретил, был рад-радешенек и завтра, по приглашению, поеду обедать к ним:

И пусть над мною неизбежный
Судьбы свершится приговор.

А тут и рифма кстати: в з д о р! Разумеется, вздор! Пообедаем, порезвимся, меня поласкают, надо мной потрунят; спросят, не из

р ы б ь е г о ли сукна мой фрак? — и только. Да чего же больше? Я уверен, что если б могло быть б о л ь ш е, было б ы м е н ь ш е. Разгадка этой загадки — моя тайна, а другим до ней дела нет.

Такой лошади, какая нужна отцу моему, у англичан не нашли, но у графа Орлова, Загряжского и Давыдова видели несколько лошадей, которых конюший облюбовал и говорит, что именно такого жеребца и приказано купить. Больше всех понравился нам жеребец у Загряжского: бурый в масле, большого роста, широкий, ноги плотные, шея лебединая с зарезом, голова небольшая, уши вострые, глаза на выкате и оскал такой, что в ноздрю хоть кулак суй; хвост и грива жиденькие, но зато мягки, как шелк, — признак породы. Конечно, дорог: меньше 800 руб. не отдадут, да еще придется давать на повод, однако ж делать нечего, купить необходимо: весна на дворе. Дай только бог угодить отцу.

Видели у Банкса: Даппля от Дельпини и Гарт-оф-Ока от Метеора; у Ив. Смита: Сер-Роуланда от Вальпута и Фопа от Волонтира; у Жаксона: фаворита московских охотников Тромпетера от Трумпатора. Все лошади отличные, но Даппль — царь лошадей. Тромпетер очень красив, но мал и тонок. Да, у Москвы свой собственный вкус. Теперь мода на рыжих лошадей с ф о н а р я м и, то есть с проточинами. Каковы бы они качеством ни были, цена им вдвое.

6 апреля, четверг.

Лыковский староста привез от матушки письмо, которым уведомляет о кончине добрейшего Ивана Николаевича и поручает мне выбрать ему надгробный памятник, на покупку которого крестьяне миром посылают 400 руб. Такая сумма для деревни в 60 душ немаловажна. Приходский священник придумал для памятника и надписи; с одной стороны: «Благодетельному помещику (имя-рек) от благодарных крестьян», а с другой: «Бе человек послан от бога, имя ему Иоанн». Первую вырезать можно и должно; но последняя ни к селу, ни к городу: этот текст пригоден был для надгробного слова Собиескому, но для надписи Ивану Николаевичу, которого христианская деятельность заключалась в кругу весьма ограничен-

ном, он слишком не у места. Прикажу вырезать просто: память праведного с похвалами!

И точно: дядя Ваня, как я называл его в детстве, был совершенно праведный муж, хотя образ жизни его и весь он сам казались непостижимо странными. Уступив женатому брату, по его настоятельной просьбе, из отцовского наследства более 400 душ, со всею почти движимостью, он оставил себе одно небольшое имение в 60 душ, и жил в версте от него, в лесу, в сообществе единственной своей прислуги: старого псаря Климыча и брюзгливой старой стряпухи; три борзые собаки и несколько вятских лошадок, за которыми ходил и присматривал сам, составляли все его движимое имущество. Он был или казался страстным псовым охотником и часто приезжал к деду на условленные полеванья. Как теперь вижу его лысую голову, его большие на выкате глаза, его смелый, решительный взгляд и эту вечную добродушную улыбку; как теперь слышу его громкую и отрывистую поговорку и почти беспрерывный хохот, увлекавший к безотчетной веселости всю беседу. Помню синий патенкоровый его кафтан и зеленый с откладными полями картуз, длинный, в серебряной оправе охотничий нож и огромную коренковую, домашнего изделия, с коротким чубуком трубку, служившую ему кистенем и дубинкою; помню неразлучных его спутников — двух больших псовых собак Пожара и Пылая и соловую лошадку, на которую он, старый Немврод, сажал меня, пятилетнего баловня, к ужасу моей няни и прочих приставниц, соблазнявшихся его издевками. Помню, как все домашние всегда радовались его приезду, с которым как будто водворялось благословение божие не токмо в доме, но и в целом селении, какая-то свобода и миролюбивые между всеми отношения: дедушка не кричал на приказчика, приказчик не тузил мужиков, дворовые люди сидели все налицо безотлучно в передней, девки не таскались по застольным, и все принимало вид какого-то праздничного порядка, как будто бы наступало другое светлое воскресенье. Памятны мне все разговоры домашних, гостей и соседей, когда, проводив Ивана Николаевича, начнут толковать, что другого подобного ему не сыскать, что он, кажись, так, старичонок-непосед, сегодня здесь, а завтра там; собачник и хо-

хотник, без проказ ни на час, а между тем, что ни затевает, все к добру и все добром сводит; что он Филатьева помирил с женою и заставил их жить душа в душу; что у князя Одоевского выпросил сыну прощение и ввел опять в дом; что бедному Владычинскому отхлопотал землю, которую отнимали ябедники; что попа, отца Евдокима, которого оклеветали и чуть было не отрешили, отстоял пред владыкою; что макарьевского однодворца, на которого насел голова с волостным писарем и повез без очереди в рекруты, вынес из беды на плечах; что нащокинских крестьян, добивавшихся в суде воли под предлогом, что они из поляков, и не ходивших на барщину, отхлестал по одиночке из своих рук арапником, так что и забыли думать о вольности; а между тем помещику шепнул: «отпусти, брат, людей: ведь они подлинно не твои», и тот отпустил, переведя их прежде, как будто в наказание, в степную деревню. Все эти толки я живо помню — и вот, наконец, этого праведника не стало! Мир праху твоему, почтенный старец, почивший в благословениях!

Едем в собор на умовение ног поучаться смирению. От души помолюсь об усопшем и о себе: что-то давно не было так грустно.

10 апреля, понедельник, вечер.

Спешу мысленно обнять тебя, любезнейший брат, и поздравить с наступившим праздником. Как бы желал сказать тебе лично обычное, животворящее «Христос воскресе!» и в возврат услышать отрадное «воистину!». Когда-то это сбудется?

Спасибо, сердечное спасибо за все про все. Ты начинаешь уж слишком баловать меня. Для скромного прожитка нам достаточно было бы одного жалованья матушки с присовокуплением домашней ее провизии, а ты непременно хочешь озолотить нашу жизнь! Боюсь, что щедрость твоя приучит меня к мотовству. Впрочем, нет, без пособия твоего я не видал и не слыхал бы много такого, что послужило мне в истинную пользу. Наглядная наука спорее.

Ты и понятия иметь не можешь о той ночи, какую мы провели с страстной субботы на светлое воскресенье в нашем Кремле. «Воистинну сия предпразднественная и спасительная нощь и светозарная

светоносного дня восстания провозвестница». Мне кажется, что эта боговдохновенная песнь св. И. Дамаскина ни в каком другом месте, кроме Иерусалима, не может так сильно и благодатно действовать на все чувства христианина, как в этой священной ограде нашего православия. Мы приехали в одиннадцатом часу, когда только начали освещать соборы, между тем как все безграничное замоскворечье с его храмами и высокими колокольнями горело уже бесчисленными огнями в ожидании благословения с высот священного Кремля к начатию благовеста и затем божественной службы. Вскоре раздался первый призывный к молитвословию удар огромного ивановского колокола, и в одну минуту, как будто по какому-то электрическому сотрясению, загудела вся Москва. Я в жизнь свою не забуду этой минуты! Но когда, после получасового благовеста, внезапно начался общий оглушающий звон всех колоколов кремлевских и целого города и в то же время из всех соборов потянулись древние хоругви, златокованные иконы и кресты, духовенство в праздничном облачении с дымящимися кадилами, а за ним тьма тьмущая народу с зажженными свечами, при громогласном и торжественном пении этой божественной песни: «Воскресение твое, христе спасе, ангели поют на небесех», то, признаюсь, я пришел в какое-то небывалое со мной положение, какой-то духовный восторг и со слезами повторял в глубине души моей: «и нас на земли сподоби чистым сердцем тебя славити» всегда и повсюду, как здесь в настоящую минуту!

Ну, что бы кн. Горчакову или Карину [1] побывать у пасхальной заутрени в Успенском соборе? Нет сомнения, чтоб они вышли от нее другими людьми и, отложив ветхого человека, в нового облеклися.

На днях опишу тебе свои праздничные визиты и завтрашний дебют в «Снегире».

12 апреля, среда.

Праздничные поздравления мои окончились довольно скоро, хотя я почти всех заставал дома. В продолжение этого идолопоклонства не встретилось ничего такого, что бы заслуживало особенное твое внимание, кроме многознаменательных вопросов Т* и К* о

твоем житье-бытье и некоторой пени за твое молчание. Не могу сказать наверное, но, кажется, как будто хотели о чем-то говорить со мною: вероятно о том же, как тебя любят и жалуют, жалеют и желают. Горе вам, богатым! Вот наша братья — дело другое: нас не жалеют и не желают, а просто христосоваются с нами без церемоний, по-русски: cela ne peut pas tirer à conséquence. Но после необходимого воскресного поцелуя, тут же и необходимый вопрос: «а фрак ваш не из рыбьего ли сукна?» О, ma tante, ma tante! Бога она не боится!

Ну ж! Федор Павлыч, одолжил! Думаю, что с тех пор как существует театр, не было актера, которому бы пришлось играть приличнейшую своей фигуре роль. Вот уж настоящий скитающийся башмачный подмастерье! Маленький, толстенький, сутуловатый, грудочка вперед, голова ушла в плечи, физиономия препечальная, голос нищего и, ко всему этому, серый изношенный сюртук по щиколодку, дырявая шляпа и огромный чемодан за плечами — словом, умора! По случаю праздничных дней театр был битком набит. Едва только появился наш Nemo, публика встретила его общим рукоплесканием, продолжавшимся, конечно, минут пять. Мы было хотели пошикать да посвистать — куда тебе! никто из нас не в состоянии был сжать губ от смеха. Nous avons ri — nous voilà désarmés,[1] а мы не то чтоб смеялись, но буквально находились в припадке истерического конвульсивного смеха. Неистовые крики «браво, браво!», топанье ногами, стучанье палками — словом, все обыкновенные принадлежности театрального восторга сопровождали каждую фразу Снегиря-Nemo и почти не давали ему говорить; все находившиеся на сцене актеры не могли воздержаться от хохота. Но вот кой-как доплелся Nemo до сцены поцелуев; с каким-то бешенством бросился он на бедную мадам Штейнсберг и начал — не то чтоб целовать ее, а просто грызть, и повис у ней на шее. Что происходило за сим — я не умею того выразить. Вся праздничная публика вышла совершенно из себя, так что умный и ловкий полицеймейстер Волков, хотя и сам помирал со смеху, принужден был обратиться к публике с просьбою об умерении своего восторга. По окончании пьесы мы отправились за кулисы взглянуть на нового дебютанта и нашли, что мадам Штейнс-

берг в слезах, а Nemo, приложа руку к челюсти, охает: она только что пред нами отвесила ему прежестокую пощечину. «Что, каково? — спрашивает дебютант. — Ведь я говорил, что произведу необыкновенный эффект!». — «Да, — отвечали мы, — но когда же играешь опять?». — «Нет, довольно: кажется, я в два часа постарел двадцатью годами». Слава богу! А ведь свистков не было и принят с восторгом. Штейнсберг великий знаток человеческого сердца!

Гулянье под Новинским началось блистательно. Время стоит прекрасное; экипажам счета нет и кавалькад много. Из числа первых более всех обратила на себя внимание карета какого-то Павлова: голубая, с позолоченными колесами и рессорами, соловые лошади с широкими проточинами и с гривами по колени, в бархатной пунцовой, с золотым набором, сбруе. Чрезвычайно нарядно! Коренные, как львы, развязаны на позолоченных цепях, а подручная беспрестанно на курбетах. Из кавалькад лучшею показалась мне та, в которой видел я графа П. И. Салтыкова: немногочисленна, но все лошади — прелесть! Иван Петрович Поливанов также отличался в ней, и его старушка Бетси до сих пор считается самою красивою лошадью в Москве.

13 апреля, четверг.

Гулянье под Девичьим было чрезвычайно многолюдно. Но все это хорошо только для нового человека, а то приглядишься не только к лошадям и экипажам, но даже и к тем фигурам, которые в них сидят и стоят на запятках; все одно и то же — однообразно и скучно, и тем более скучно, что почти в каждой физиономии едущего или едущей напоказ в публику, заметно одно чувство: желание блеснуть и возбудить зависть в других своим достатком или вкусом. Я это заключаю, право, не из какой-нибудь мизантропии, в мои лета непростительной и даже невозможной, но из тех самодовольных взглядов, улыбок, киваний головами, маханий руками, которые заметил я у всех почти владельцев раззолоченных экипажей. Какая разница в физиономии щеголей, едущих на гулянье казать себя, и тех, которые едут смотреть других из одного любопытства или по обязанности; говорю «по обязанности», потому что, как мне толковал

умный Нил Андреевич Новиков, всякий коренной москвич обязан быть на известных гуляньях во избежание заключений о нем, точно так же как и всякая московская барышня обязана не пропускать на балах ни одного танца. Я не бывал на гулянье 1 мая в Сокольниках, но говорят, что при хорошей погоде это гулянье восхитительно и превосходит все другие. Нынешний год не пропущу его.

По случаю сегодняшнего гулянья под Девичьим во всех домах, находящихся на Пречистенке, начиная с Всеволожского до Хитровых, назначены большие вечера. Это для тебя не новость, потому что так ежегодно бывает; но вот одна достойная твоего любопытства и которой ты не ожидаешь: Катерина Евдокимовна Б—ва, у которой был назначен также вечер, неожиданно в обед разрешилась от бремени, после двадцатичетырехлетнего неплодия. Муж очень доволен тем, что это случилось именно в четверг, когда в ожидании гостей он должен был поневоле оставаться дома; иначе он был бы в отчаянии, потому что такой казус воспрепятствовал бы ему ехать по обыкновению в английский клуб. Крестины новорожденного и празднество серебряной свадьбы родителей назначаются в один день.

18 апреля, вторник.

Я полагал, что сам князь Одоевский в целый месяц не получит от всех своих корреспондентов столько вестей, сколько получишь ты от одного меня в несколько дней, а ты еще все пеняешь и вопишь! Я описываю тебе только то, что сам слышал и видел и рассказываю собственные свои похождения: чем богат, тем и рад; не сочинять же мне для тебя романов вроде толстого романа толстейшей барышни Извековой, за который недавно бедняга проглотила такую злую и обидную, хотя и не совсем острую эпиграмму:

И—ой роман с И—ой и сходен:
Он так же, как она, дороден
И так же ни к чему не годен!

Уж не уведомлять ли тебя о двух американцах, муже и жене, которых балаганщики, налощив черным воском, называют гуронскими дикарями[1] и заставляют глотать какую-то мерзость;

или о молодом, прекрасном — как опубликовано — мужчине о трех руках? Очень нужны тебе подобные сведения!

Однако ж за гуляньями и другими подобными недосугами я точно не успел рассказать тебе в подробности о праздничных своих визитах. Объездил всех: важных и неважных, угрюмых и приветливых — словом от аза до ижицы. Нигде не скучал, но от Ивана Петровича Архарова и его семейства просто в восхищении. Пусть толкуют, что хотят, а без сердечной доброты невозможно так радушно и ласково принимать людей маловажных и ни на что не нужных. Графа И. А. Остермана случилось мне в первый раз видеть во всех великолепных аттрибутах его звания. Настоящий канцлер! До сих пор я видел его не иначе, как в малиновом тулупе и в желтых туфлях. Застал у него множество известных лиц: доброго пузанчика губернатора Аршеневского, с сыном которого я был в пансионе у Ронка́; генерала князя Лобанова-Ростовского, такого проворного и живого, как ртуть; Н. Н. Бантыша-Каменского и помощника его А. Ф. Малиновского, автора «Старинных святок» и издателя театральных пьес Коцебу, которые заставлял он переводить молодых людей, служащих в архиве;[1] этим пьесам князь Горчаков дал общее название «коцебятины»;[2] были также пастор Гейдеке, старик А. А. Юни, известный своею службою в Сибири и уваженный великою Екатериною за примерное свое бескорыстие, и еще очень замечательное лицо или, вернее, личико, А. П. Нечаев, крошечный, худенький, на тоненьких, как спички, ножках старичок, такой, что его без затруднения спрятать можно в редикюль Натальи Дмитриевны Офросимовой,[3] и что ж, эта тщедушная куколка был — как тут рассказывали — в молодости красавец и такой необъятно-огромной тучности, что, будучи адъютантом графа З. Г. Чернышева, имел один из всей свиты исключительную привилегию: сопровождать его в особенной карете или коляске, между тем как другие, по обязанности, должны были ехать верхами. Нечаев подтвердил это с каким-то приятным воспоминанием.

В этот раз старый дипломат обошелся со мною ласковее и даже рекомендовал меня Бантышу-Каменскому, заметив, однако, что в архиве служить не советует, потому что молодые люди в нем балуются

и не привыкают к труду. Граф чрезвычайно хвалил историю дипломатических сношений наших с Китаем от самого их начала, собранную Бантыш-Каменским, и советовал всем прочитать ее; но автор заметил, что она не напечатана и что в качестве начальника архива коллегии иностранных дел он без разрешения высшего начальства не считает себя в праве делать свою компиляцию известною.

21 апреля, пятница.

Поручик нашенбургского полка Сементовский, встретив какую-то уличную барышню, хотел тотчас же увезти ее, но не удалось. Начальство узнало об этой проделке: молодец остановлен и посажен под арест. Спрашивают: «Что побудило вас к этому насилию?». — «Понравилась». — «Знаете ли вы коротко эту девушку?». — «Вовсе не знаю». — «Как зовут ее?». — «Не знаю». — «Где и у кого живет она?». — «Не знаю». — «Какое было ваше намерение?». — «Жениться». — «Как же вы хотели жениться, если ее совсем не знаете?». — «Я узнал бы после». — «Но она не хотела ехать с вами». — «Что мне за дело до ее хотенья, у меня своя воля!». Поручик недель шесть высидел под арестом, забыл о красавице и вышел как встрепанный, а между тем цыгане на этот случай тотчас сложили песню на голос «Пряди, моя пряха», которую записной цыганофил, Андрей Новиков, ввел в моду под названием «Верные приметы». Мы ездили слушать ее. Степанида, что твой соловей — так и разливается. Вот эта песня:

— Ах, зачем, поручик,
Сидишь под арестом,
В горьком заключеньи,
Колодник бесшпажный?
— Ах, затем я, бедный,
Сижу под арестом,
Что свою милую
Любил очень больно.
— Кто ж твоя милая
Княжна иль графиня,
Простая ль дворянка,
Фрейлина ль какая?
Дай снесу поклончик!

— Ах, моя милая
Без гнездышка пташка,
Без племени, рода;
Любит свою волю,
Волю удалую.
Узнаешь милую:
Она по бульвару
Все ходит да бродит
Немецким развальцом,
В шелковом наряде;
Талийка с прихватцом;
В вязаных перчатках,
С алым редикюлем;
Ходит да гуляет,
Головкой кивает,
Себя забавляет,
Народ потешает. . .
Узнаешь милую —
Так отдай поклончик.

От песни перейдем к элегии. Ты, вероятно, слыхал о Саше Давыдовой, прелестной и преисполненной талантов девушке, которую все так любили; она скончалась в прошлом году, вскоре после бала в благородном собрании. Неутешные отец и мать поставили в Даниловом монастыре над прахом милой дочери прекрасный памятник, на котором после имени, фамилии и лет ее приказали, вместо эпитафии, вырезать незабудку. Буринский, по желанию брата покойницы, написал на этот случай экспромтом премиленькие стихи, а Нейком положил их на музыку, исполненную чувства и немецкой мечтательности. Посылаю тебе этот романс: мелодия очаровательна, и все знакомые твои певицы скажут за него спасибо.

На ее могиле есть цветок незримый;
Всюду разливает он благоуханье;
Он цветок заветный, он цветок любимый.
    Он воспоминанье!
И вечно-душистый, цветок неизменный
Не боится бури, не вянет от зною,
Сторожит сохранно имя преселенной
    К вечному покою!

Когда Снегирь-Nemo, переставший мечтать об актерстве, сделал подстрочный перевод этих стихов для Нейкома, то он, обрадовавшись, сказал: «так и веет Матисоном».

25 апреля, вторник.

Из университета с лекций завернул я в Хамовники к счастливцу Степану Шиловскому. Он не перестает ковать деньги и третьего дня выиграл еще пять тысяч рублей у генерала Измайлова, который заплатил ему деньги не только без неудовольствия, но еще в придачу подарил ему славного горского полевика. Каюсь, любезный, что мне как будто стало завидно. Я подумал: сколько на эти деньги накупил бы книг и эстампов, каких бы завел лошадей! и проч., а Шиловский вовсе не дорожит своим выигрышем и говорит, что, может быть, сегодня же опять спустит все до последней копейки. Он, по дружбе, предлагал взять меня в маленькую долю без проигрыша. Очень заманчиво, да страшно: будешь только и думать о приобретении, а сверх того тяжело войти в обязательство, которое может сделаться гробом независимости. Я не решился, но зато не в состоянии был отказаться от предложения ехать с ним на гусиный и петушиный бой к князю Ивану Сергеевичу Мещерскому. Мне чрезвычайно показалось любопытным взглянуть на это состязание птиц.

Посреди большой залы устроена была арена, обнесенная кругом холстинными кулисами в три четверти аршина вышины; хозяин и все приглашенные гости сидели вокруг, а другие любопытствующие охотники всякого звания, купцы, мещане и дворовые люди, стояли как и где кто мог поместиться. Прежде пустили в арену белую гусыню, которая тотчас же начала жалобно гагакать. Один из сермяжников обратился с уверениями к хозяину, что «э т о-де редкая самка-с д л я е в т о в а д е л а-с». — «Ну, где же Варлам? — спросил кривошея-князь Д. П. Голицын. — Подавай Ц и ц е р о н а!». И вот огромный гайдук вынул из мешка прематерого, белого с сизыми крыльями гуся и пустил его в арену. «Так как же, Петр Петрович, — продолжал горделиво князь Голицын, обращаясь к одному толстому и рябому господину, сидевшему против него, — угодно вам будет спустить охоту вашу или нет?». — «Почему же бы и не спу-

стить, ваше сиятельство? — отвечал рябой господин, — только как велик будет заклад?». — «Я держу пятьдесят рублей». — «Больше двадцати пяти рублей я не могу». — «Остальные придерживаю я», — решил хозяин, и партия состоялась. «Манушка, давай Туляка!», — крикнул Петр Петрович, и мальчик в сером казакинчике тотчас же притащил темносерого гуся и также пустил его в арену. Сначала состязатели около десяти минут ходили вокруг гусыни, которая не переставала гагакать, потом стали мало-помалу вытягивать шеи с каким-то шипеньем и, наконец, после всех этих проделок, бросились друг на друга. Туляк, будучи поменьше и попроворнее, первый поймал Цицерона за правое крыло и начал жестоко его жевать; потом и Цицерон ухитрился ухватить Туляка за правое же крыло и также начал его мять и жевать, кружась около гусыни. В этом обоюдном жеванье и круженье заключалось все единоборство бедных птиц, и только одно гагаканье царицы гусиного турнира да невольные по временам восклицания посторонних охотников, державших заклады: «ну, Цицерон! ну, Туляк!» или «ай-да молодец! ай-да варвар!» прерывали однообразие этого жеванья. Кончилось тем, что Цицерон прежде покинул крыло своего соперника, и Туляк провозглашен победителем. Владелец Цицерона был неутешен: с сложенными крест-на-крест на груди руками и с плачевною миною он обращался к охотникам с уверениями, что он сам всему виноват и что «Цицерона окормили, право окормили, истинно окормили!» и проч. «Ну ж охота!», — подумал я и собрался уехать; но Шиловский просил подождать его и посмотреть на сражение петухов, которое, по уверению его, должно было быть поживее и позадорнее.

Если первое единоборство есть пошлая глупость, то петуший бой можно назвать сущею жестокостью, не менее отвратительною, как и медвежья травля. Выпущены, предварительно свешанные, два петуха с остриженными и обдерганными шеями и хвостами, так что каждое перышко представляло какую-то иглу. Ноги были вооружены косыми острыми шпорами. Они тотчас же бросились друг на друга с необыкновенною яростью и, несмотря на наносимые друг другу раны, продолжали биться до тех пор, пока у одного не были совсем выбиты глаза, и он не ослабел совершенно от истекавшей крови.

Бедняга упал и подняться не мог, но соперник не переставал бить и терзать его до тех пор, покамест он не остался без всякого движения. Их не разнимали, потому что условием заклада был бой на смерть.

Сказывали, что за победителя-гуся предлагали рябому господину сто рублей, а триумфатор-петух, принадлежавший купцу из охотного ряда, несмотря на свои раны, был продан за двести рублей.

Прекрасное употребление денег и времени! Впрочем, о вкусах не спорят.

28 апреля, пятница.

Вот презарлатанское объявление французских актеров о представленных вчера пьесах: «Les deux soeurs», «Fabrice et Caroline» и «La Cloison». Эти люди считают нас, право, невеждами, что позволяют себе подобные выходки: «De toutes les pièces qui ont été représentés à Moscou, ces deux ouvrages sont sans contredit les mieux écrits et ne peuvent manquer d'obtenir suffrage des véritables connaisseurs et amateurs du répertoire français. Nous nous permettons d'annoncer au public, que la Cloison a obtenu samedi dernier un succès complet. Nous regrettons seulement qu'il n'y ait point assez eu de spectateurs pour admirer ce charmant ouvrage digne des connaissances de la noblesse de Moscou, et nous l'invitons à honorer le spectacle de sa présence encore quelques représentations avant son départ pour la campagne».

Несмотря на восписуемые похвалы двум первым пьесам, последняя мне лучше нравится и разыгрывается очень мило. Немудрено, что Duparai в ней хорош: он хорош везде, где ни играет; но странно, что и другие актеры, от первого до последнего, от него не отставали и так же были хороши.

Москва в больших приготовлениях к гулянью 1 мая. В Сокольниках разбиваются пренарядные палатки и устроиваются кавалькады. Скачка назначена на другой день и, говорят, будет блистательна, потому что записано много отличных лошадей. Увидим.

2 мая, вторник, утро.

Сколько народу, сколько беззаботной, разгульной веселости, шуму, гаму, музыки, песен, плясок и проч.; сколько богатых турец-

ких и китайских палаток с накрытыми столами для роскошной трапезы и великолепными оркестрами и простых хворостяных, чуть прикрытых сверху тряпками шалашей с единственными украшениями — дымящимся самоваром и простым пастушьим рожком для аккомпанемента поющих и пляшущих поклонников Вакха, сколько щегольских модных карет и древних, прапрадедовских колымаг и рыдванов, блестящей упряжи и веревочной сбруи, прекрасных лошадей и претощих кляч, прелестнейших кавалькад и прежалких дон-Кихотов на прежалчайших россинантах! Нет, признаюсь, я и не воображал видеть такое многочисленное, разнообразное и живописное гулянье, на какое, наконец, попал я вчера в Сокольники!

Погода стояла бесподобная: теплая, тихая, светлая — настоящий день для праздничной встречи весны. Утренний дождь сделал его еще приятнее, потому что освежил зелень и уложил пыль, столь обыкновенную на песчаной дороге гулянья и столь несносную не только для самих гуляющих, но и для тех, которые в качестве зрителей оградили себя более или менее разными навесами и завесами.

Нас заманил к себе в палатку знакомец и сосед твой, гостеприимный Ефим Ефимович Ренкевич,[1] у которого нашли мы прекрасное общество и роскошное угощение. Палатка его поставлена была на самом бойком месте: несколько наискось против палатки главнокомандующего и других вельмож; отсюда все гулянье на всем его протяжении в обе стороны было видно. Между тем народ, наиболее тут толпившийся, нетерпеливо посматривал к стороне заставы и, казалось, чего-то нетерпеливо поджидал, как вдруг толпа зашевелилась и радостный крик: «едет! едет!» пронесся по окрестности; и вот началось шествие необыкновенного торжественного поезда, без которого, говорили, гулянье 1 мая было бы не в гулянье народу. Впереди, на статном фаворитном коне своем, Свирепом, как его называли, ехал граф Орлов в парадном мундире и обвешанный орденами. Азиатская сбруя, седло, мундштук и чепрак были буквально залиты золотом и украшены драгоценными каменьями. Немного поодаль, на прекраснейших серых лошадях, ехали дочь его и несколько дам, которых сопровождали А. А. Чесменский, А. В. Новосильцев, И. Ф. Новосильцев, князь Хилков, Д. М. Полторацкий и мно-

жество других неизвестных мне особ. За ними следовали берейторы и конюшие графа, не менее сорока человек, из которых многие имели в поводу по заводной лошади в нарядных попонах и богатой сбруе. Наконец, потянулись и графские экипажи: кареты, коляски и одноколки, запряженные цугами и четверками одномастных лошадей. Этот поезд графа Орлова, богатого, знатного, тучного и могучего вельможи, с такою блестящею свитою, с таким количеством нарядных служителей, с таким множеством прекрасных лошадей и разнородных экипажей, представляет, точно, необыкновенно великолепное зрелище и не может не действовать на толпу народную. Впрочем, сказывают, что граф Орлов и не одним своим богатством и великолепием снискал любовь и уважение москвичей, что он доступен, радушен и, как настоящий русский барин, пользуясь любимыми своими увеселениями — скачками, бегами, цыганскими песнями, плясками и прочим, — обращает их также в потеху народа и как будто разделяет с ним преимущества, судьбою ему предоставленные.

А. А. Чесменский, проезжая мимо палатки Ефима Ефимовича, приглашал всех находящихся в ней дам на сегодняшнюю скачку и предлагал послать за билетами для входа в галерею к какому-то коллежскому комиссару Гавриле Ершову, живущему у графа Орлова. Многие тотчас же воспользовались этим предложением.

4 мая, четверг, утро.

Скачка была отличная по количеству и качеству лошадей, и погода чрезвычайно ей благоприятствовала. Галереи наполнены были московскою знатью обоего пола, и тут в первый раз мне удалось видеть князя Прозоровского. Вообще молодые люди и много дам были большею частью верхами и ездили внутри скакового круга. На приз в 500 руб., пожертвованный, как публиковано было, одним охотником (вероятно, самим графом или Д. М. Полторацким), скакало девять лошадей: графа Орлова, Полторацкого, Чемоданова, братьев Мосоловых, Савеловых, Загряжского, Муравьева и еще не помню чьи-то две лошади. Дистанция назначена была два круга, то есть четыре версты с перескачкою. Этот приз выиграл г. Муравьева

гнедой жеребец Травлер, родившийся в Англии, обскакав двукратно своих соперников; второю лошадью в оба раза приходила лошадь Мосоловых; ездоком на Травлере был крепостной мальчик Муравьева Андрей, достигший цели с оборванным стременем, но не потерявший его; иначе, по недостатку веса, он должен бы считаться проигравшим скачку. Когда взвесили мальчика, многие из присутствовавших давали ему деньги за мастерское или удачное сохранение веса. Второе состязание было на подписку четырех охотников по 50 руб. с каждого; из четырех лошадей, гр. Орлова, Полторацкого, Савелова и Мосолова, выиграла кобыла Добрая, принадлежащая последнему, оставив прочих весьма далеко, чуть не за флагом.

Засим скакало несколько благородных охотников на кубок в 50 руб. по подписке, ими сделанной. На дистанции одного круга, или двух верст, князь Ив. Ал. Гагарин, скакавший на лошади, купленной им у англичанина Шмита, оставил всех своих состязателей за флагом, и это случилось будто бы оттого, что их лошади не были по надлежащему приготовлены. Я, право, не понимаю, зачем же было и пускать их в скачку? Это non-sens. После скачки пред беседкою гр. Орлова пели и плясали цыгане, из которых один немолодой, необычайной толщины, плясал в белом кафтане с золотыми позументами и заметно отличался от других. Оттого ли, что он богатым костюмом своим обращал на себя более внимания, чем другие, или точно был мастер своего дела, только этот толстяк показался мне чрезвычайно искусным, даже красноречивым в своих телодвижениях. Он как будто и не плясал, а так просто, стоя на месте, пошевеливал плечами, повертывая в руках шляпу, изредка пригикивая и притопывая по временам одною ногою, а между тем выходило прекрасно: ловко, живо и благородно. После цыганской пляски завязался кулачный бой, в который вступая, соперники предварительно обнимались и троекратно целовались. Победителем вышел трактирный служка из певческого трактира, Герасим, ярославец, мужичок лет 50, небольшой, но плечистый, с длинными мускулистыми руками и огромными кулаками. Говорили, что он некогда был подносчиком в кабаке и сотоварищем нынешних знаменитых откупщиков-богачей Р* и Ч*,[1] которых колачивал напропалую. Этого атлета, лет восемь

назад, отыскала княгиня Е. Р. Дашкова и рекомендовала графу Орлову.

По окончании всех этих проделок граф сел с дочерью в подвезенную одноколку, запряженную четырьмя гнедыми скакунами в ряд, ловко подобрал вожжи и, гикнув на лошадей, пустился во весь опор по скаковому кругу и, обскакав его два раза, круто повернул на дорогу к дому и исчез, как ураган какой. Смотря на этого, до сих пор еще могучего витязя, я вспомнил стихи к нему Державина:

Он в колеснице с гор бедрой
Минервы удержал паденье![1]

Пусть говорят, что хотят, а граф Орлов лицо очень замечательное.

7 мая, воскресенье.

Помещик Ивантеев очень хороший, средних лет человек, довольно образованный, то есть говорит по-французски и по-немецки, имеет слабость считать себя поэтом, протежировать каких-то ничтожных музыкантов и казаться аристократом, прибавляя, между тем, к каждой почти речи совсем неаристократическое слово: к а т а в а с и я. Этот Ивантеев влюбился в Катеньку Боровикову, небогатую, но милую и умную девушку, живущую с малолетства у Натальи Матвеевны Вердеревской, и предложил ей свою руку. Это было ничего; только он неловко сделал это предложение. В день рождения Катеньки Боровиковой он отправил к ней преогромный букет каких-то пошлых цветов и в нем объяснение в любви с формальным предложением в уморительно напыщенных куплетах. Катя, разумеется, тотчас же отдала то и другое своей благодетельнице, которая, прочитав стихи и не очень понимая их, сказала: «Кажется, сватается. Если не противен тебе, то я не препятствую: не век же сидеть в девках». — «Конечно, maman, — отвечала Катя с живостью, — им пренебрегать не должно, о нем отзываются хорошо; но ведь он мне лично никогда ни слова не говорил, а если положиться на эти глупые стихи и вонючий букет, то может выйти к а т а в а с и я». Это словцо подцепил зубоскал Мневский, и вот тебе написанные им экспромтом куплеты:

Вот Кате пленительной
Осьмнадцать уж лет;
Такой восхитительной
Другой в Москве нет.
Помещик значительный
Вдруг шлет ей букет,
И в нем объяснительный
Запрятан куплет,
Куплет уморительный,
Любовный привет!
Он ждет утвердительный
От Кати ответ.
Но Катя в претензии:
— В стихах смысла нет;
Из чахлой гортензии
И самый букет.
Пусть автор с талантами,
Как все говорят:
Всегда с музыкантами
И аристократ;
Но мне из согласия
Всех этих даров,
Видна катавасия
Под формой цветов!

Эти куплеты поются во многих домах на разные напевы и дошли уже до сведения нашего помещика. Он очень петушится и угрожает Мневскому, но до дуэли не дойдет, а свадьба состоится.

10 мая, среда.

Москва начинает пустеть: по улицам ежеминутно встречаешь цепи дорожных экипажей и обозов; одни вывозят своих владельцев, другие приезжают за ними. Скоро останутся в Москве только коренные ее жители: лица обязанные службою, купцы, иностранцы и наша братья, принадлежащая к учащемуся сословию. Дедушка* говорит, что и еще один класс людей не выедет из Москвы: именно, класс должников, которых не выпустят кредиторы. Странно, что

* Упомянутый прежде отставной суфлер Булов.

одна часть города в Москве не пустеет летом, это — Немецкая слобода: она всегда в нормальном своем состоянии.

Вчера ездил проститься с Лобковыми, у которых провел целый день. Не поверишь, как мне сделалось грустно: право, хоть плакать.

Арина Петровна сказала: «Не грустите: скоро приедем назад». —«А как скоро?» — спросил я. — «Да вот папа говорит, что непременно к тому времени, как привозят невест — к рождеству, с поросятами». Я лопнул со смеху. «Почему ж не сказали вы с цыплятами? Тогда бы я отвечал вам, не боясь обидеть вас сравнением». — «А что же бы вы отвечали?» — «Я сказал бы, que les poulets sont aussi bons a croquer que les. . .» — «Не извольте договаривать, monsieur l'insolent au drap de poisson!». Однако ж, несмотря на эту размолвку, мне подарили маленький кошелек своей работы, а я должен был нарисовать что-нибудь в альбом и написать стихи. Я ничего не мог придумать умнее этой глупости: нарисовал реку и стоящего на берегу человека с растрепанными волосами и с приложенною к сердцу рукою и разинутым ртом; а под рисунком подписал:

Выйду я на реченьку,
Посмотрю на быструю;
Унеси ты мое горе,
Быстра реченька, с собой!

Уж если пошло на пошлости, так, по-моему, они должны быть самые пошлые, и в этом отношении рисунок мой, кажется, вполне удался.

Получил письма от своих: зовут на вакации в деревню. Матушка и отец пишут, что они рады будут, если привезу кого-нибудь из товарищей и еще какого-нибудь немца, позатейливее, для общей компании. Я намерен предложить Снегирю-Nemo-Граве быть моим спутником, а из немцев — чего лучше, возьму Адальберта-Фердинанда-фон-Кибурга-Косинского-Литхенса.* Этот бывший обойный подмастерье, а нынешний трагик, имеет прекрасный характер, необъятную память и так добродушно болтлив и весел, что с ним

* Роли, игранные Литхенсом на немецком театре.

не задумаешься. Наши думают провести лето в Липецке, для сестер; девяносто верст от деревни, все равно, что в самой деревне, плюс хорошее общество: летом бывает там много приезжающих. Буду рад пожить на родимой сторонке после пятилетнего отсутствия; погуляю, поохочусь, поезжу верхом и попью целительных вод, которые могут быть для меня струями Леты в отношении к известной вострухе, о чем втайне молюсь благому провидению.

13 мая, суббота.

На-днях М. И. Невзоров познакомил меня с Ф. Н. Карцевым. Где он отыскивает таких оригиналов? Видно, пословица справедлива, что рыбак рыбака далеко в плёсе видит. Кто в Москве знает о Карцеве, переводчике стольких лучших сочинений Вольтера: «Генриады», «Брута», «Разрушения Лиссабона», «Орлеанской девственницы» и проч., некоторых сатир и эпистол Буало и разных мелких стихотворений других авторов? А между тем этот переводчик, очень недурной, живет на Поварской улице, в собственном доме, приглашает иногда знакомых на вечеринки и даже по временам дает приятельские обеды; этот переводчик, кроме литературного достоинства, необыкновенно умный и добрый человек. Я его спрашиваю: «Читали ли вы кому-нибудь стихи свои?».—«Да, — говорит, — читал жене и еще, отрывками, князю Горчакову и Карину». — «И вы не имели и не имеете намерения их напечатать?». — «А на что, батюшка? Я пишу и перевожу сам для себя, потому что люблю труд. Будто, не имея в виду известности, и писать нельзя!».—«Так; однако ж эта известность служит поощрением таланту». — «Это, батюшка, могут думать одни праздные люди, которые не понимают, что есть наслаждение в самом процессе труда. Знаете ли вы умное слово одного англичанина своему приятелю, который заметил ему, что работа его должна быть (most tedious) очень скучна. (This tediousness is very amusing). — „Эта скука очень занимательна", — отвечал он, и это совершенная правда. Вот, батюшка, вы, молодой человек, если хотите быть неизменно счастливым во всех превратностях жизни, то любите труд, как любят любовниц, — бескорыстно. Я не знаю по-немецки, но мне сказывали, что у вашего Шиллера — я

говорю «вашего», потому что он считается теперь любимым автором нового поколения наших писателей — есть в одном из его стихотворений прекрасный стих: „ты надеялся, следовательно получил уже свою награду“. Этот стих можно применить к труду: „ты трудился, следовательно был уже счастлив“». Невзоров, с своим gros bon sens, заметил, что едва ли, без ясного сознания цели предпринятого труда и убеждения в пользе, можно полюбить какой бы то ни было труд. «Вот, например, возьмите четверик маку и считайте, сколько находится в нем зерен — это будет также труд; но разве можно полюбить его, не будучи сумасшедшим?». — «Это сравнение больше остроумно, чем справедливо, — возразил Карцев, — во-первых, говоря о любви к труду, я разумел любовь к занятиям умственным, c'est notre point de départ; а во-вторых, бывают обстоятельства в жизни человека, когда и ваш четверик с маком может ему пригодиться, если он считать умеет. . . Когда вы, любезный Максим Иваныч, попали случайно, ни за что, ни про что, на шесть месяцев в подземелье к Шешковскому, без всякого способа к занятиям, то, верно, обрадовались бы вашему четверику с маком как средству с бо́льшим терпением ожидать вашего освобождения. Вы меня не очень поняли: речь моя клонилась к тому, что в одном только труде заключается вся н а у к а счастья, то есть уменье наполнить пустоту жизни; с этим уменьем — сочиняете ли вы поэму, или считаете маковые зерна — можно легко сносить свою участь, какова бы она ни была, не изменяя малодушным ропотом достоинству человека. Не от нас зависит переменить эту участь, но от нас зависит пристраститься к какому-нибудь постоянному занятию, которое, на зло всем обстоятельствам, наполнит нашу душу и будет, как верный утешительный товарищ, как ангел Товии, сопровождать нас до могилы». Максим Иванович шутя жаловался ему на излишнее мое, будто бы, любопытство, страсть к театру и рассеяниям светским, но между тем, pour dorer la pilule, говорил, что я учуся прилежно, люблю заниматься и что постоянно веду ежедневный журнал всем случающимся со мною происшествиям. На это Карцев отвечал, что в мои лета рассеяние даже необходимо, но не должно исключительно посвящать ему все свое время, потому что рассеяния светские не наполнят пустоты,

которую чувствует человек в самом себе, а, напротив, увеличивают ее, как соленая вода увеличивает жажду. «Если б вы, — прибавил он, — не захотели писать или переводить, то читайте больше, только с размышлением: чужие мысли большею частию могут скорее руководить нас к достижению внутреннего спокойствия, чем свои собственные. А журнал ваш — прекрасное дело: он приучает к труду и заставляет вас отдавать отчет самому себе в ваших помыслах, чувствах и действиях. Продолжайте его всегда: со временем слюбится».

Так, поэтому, я и не даром докучаю тебе своим мараньем? «Слюбится», — сказал умный старик, и я тому верю: если нам так приятно встречать давно знакомых людей, то еще приятнее некогда встретиться с самим собою в прежней мысли, в прежнем чувстве и в прежнем происшествии.

17 мая, среда.

Брат любезный, я лишился Трезора, лохматого моего Трезора, доброго, верного, неразлучного моего товарища и друга в продолжение двенадцати лет, того самого Трезора, над которым все вы некогда так издевались и которого, между тем, так любили за привязанность ко мне, необыкновенную сметливость и доброту. Он умер от старости, бедный Трезор мой, охранявший меня почти от самой колыбели и бывший моим спутником и стражем во всех переселениях, которым подвергалось мое юношество. Теперь некому будет подать мне так часто забываемый платок, ни отыскать затерянную вещь и неожиданно принести ее мне на колени, тряся мохнатою своею головою, шевеля кудлатым хвостом и посматривая на меня такими умильными глазами. Нет, воля твоя, а долго, долго не забыть мне этих ежеминутных доказательств привязанности и самоотвержения, этих первых утренних «здравствуй», этих последних вечерних «прости» — словом, всего этого домашнего счастья, которое называл я Трезором. Если б ты мог видеть как умирал он и как за минуту до смерти, несмотря на совершенное изнеможение, он усиливался подать мне, по обыкновению, косматую свою лапу. Не смейся над моим горем: это первая чувствительная утрата в моей жизни. Дай бог, чтоб она не была предвестницею других, более горестных!

20 мая, суббота.

С горя таскаюсь по прощальным обедам и вчера на одном встретил приехавшего из Петербурга переводчика двух частей «Русалки»,[1] Краснопольского, которому назначен за перевод бенефис. Правду сказать, есть за что! Сказали бы нашей компании, и она бы рублей за сто перевела все три части, а если б захотели торговаться, то взяла бы и менее. На такие арии, как

Отнюдь я не стану грешить,
С чертями чтоб дружбу водить,

или:

Беляночку бы в воскресенье,
Чернавку в понедельник взял,

мы превеликие мастера и доки и можем всех русалок и с «Чортовою мельницею» перевести вшестером за один присест. Этот бенефис Краснопольского назначен во вторник 23 числа. Желаю ему собрать побольше денег (хотя, судя по времени, это и невероятно), но вкладчиком в кассу его не буду и денежки приберегу на 24 число, чтоб видеть «Рекрутский набор» [2] Ильина, в котором так хороши Померанцев с женою и Сандунов в роли Клима Гавриловича; затем, в пятницу, 26 числа, дебют Кавалерова в роли Семена, в комедии «Братом проданная сестра», который видеть должно. Сандунов многие из лучших ролей своих передает начинающим. Это с его стороны благородно и похвально, а для дебютантов совершенное счастье, потому что, по неимению другой сцены, они не могут иметь и случая совершенствоваться в своем искусстве.

Кстати, о Сандунове. Намедни, повстречавшись на вечеринке у Павла Андреевича Вейделя с старшим братом своим, известным переводчиком шиллеровых «Разбойников» и сенатским обер-секретарем, таким же остряком, как и он сам, они о чем-то заспорили; а как братья ни за что ни упустят случая попотчевать друг друга сарказмами, то старший в пылу спора и сказал младшему: «Тут, сударь, и толковать нечего: вашу братью всякий может видеть за рубль!» — «Правда, — отвечал актер, — зато вашей братьи без красненькой и не увидишь». Остро; однако ж в отношении к Ни-

колаю Николаевичу несправедливо, потому что он есть утешительное исключение из категории большей части его сослуживцев и не без причины пользуется общим доверием и уважением.[1]

Я слышал, что он, то есть Н. Н. Сандунов, едет также на лето лечиться в Липецк с молодою женою, совершенною красавицею. Как бы я был рад с ним там встретиться!

24 мая, среда.

Померанцева можно назвать актером par excellence. Какая натура, какое чувство, какая простота! Абрам — не на сцене: он в своей избе, истый русский крестьянин, патриархальный владыка своего семейства и, между тем, нежный отец. Хороша и Померанцева в роли матери Алексея. Сандунов превосходен в роли Клима Гавриловича: настоящий подьячий с приписью; однако ж подьячий, который существует только в нашем воображении, которого знаем по преданиям, но которого, конечно, никто из нас не видал: это карикатура и на бывших некогда подьячих.[2] Молодой Орлов в сцене, когда Ипполит бросается к ногам отца и просит благословения идти вместо Алексея в рекруты, был увлекателен и заставил плакать, и самый Кондаков в роли Герасима, великодушного извозчика-резонёра, играл с чувством и жаром; словом, пьеса разыграна была бы прекрасно, если б несчастная Караневичева, Варвара, не портила всего хода пьесы. Что за претензии, что за жеманство и отсутствие всякого чувства, что за льдина такая! Вместо этой Варвары, доброй простодушной крестьянки-сироты, чувствующей сиротство свое, мы видели горничную, жеманницу, которая даже и при вопросе: как вас зовут, отвечает: «Извините, мы не из таковских». И вот говорят, что эта же Караневичева будет играть Антигону в «Эдипе», которого разучивают к осени. Что ни говори, а русскую оперу можно смотреть с бóльшим удовольствием, чем русские трагедии и драмы: ни даровитый Плавильщиков, ни превосходный Померанцев, одни, без женщин, не могут произвести никакого действия. Как-то случилось мне видеть «Беверлея», где в некоторых сценах так отлично хорош Плавильщиков, — и что же? Как только появлялась на сцене Баранчеева, игравшая роль жены его, то вся иллюзия исчезала.

Померанцев в отце семейства превосходен, но лишь появится женщина — прости очарование!

Генерал Сергей Алексеевич Тучков показал Петру Ивановичу свои стихотворения и признался ему, что любит чрезвычайно поэзию и в свободное время только и занимается ею сколько по страсти, столько же и потому, что там, где он обязан постоянно жить по службе, других развлечений нет. В этих стихотворениях нет никаких правил: ни меры, ни ударений — словом, ни складу, ни ладу, но между тем есть очень дельные мысли. Петр Иванович заметил автору, что надобно бы прежде узнать правила и тогда уже приняться за сочинение, иначе лучше писать прозою. Генерал пожелал взять несколько уроков тайком, и Петр Иванович в неделю истолковал ему все тайны стихосложения, отказываясь от всякого возмездия, и, в заключение, послал свою пиитику при следующем послании с эпиграфом из Державина: «Учиться никогда не поздно!».

Т. . . . . . . командир,
Кому маневры и сраженья
Не горький труд, но сладкий пир!
Вот правила стихосложенья:
Прими, учись и будь поэт.
Теперь, исполнив мой обет,
Я ожидаю исполненья
Обета твоего: втеснить
Порывы своевольной музы
Обыкновенных правил в узы.
Тебе легко поэтом быть:
Доступным сделай лишь искусство,
Решась воображенье, чувство
Науке строгой покорить.
Наука лишь талант венчает,
И божий дар без ней — одно
Вечногниющее зерно;
Без ней оно не прозябает
И не цветет в красе оно!

Стихи не гениальные, но в них есть толк. Генерал прислал Петру Ивановичу на память золотую табакерку прекрасной работы.

27 мая, суббота.

Несколько дней я чувствую себя нехорошо, а между тем не утерпел, чтоб вчера не взглянуть на нового дебютанта в роли слуги Семена в комедии Ефимьева «Братом проданная сестра». К сожалению, должен сказать, что лучше бы сделал, оставшись дома: Кавалеров покамест не из числа настоящих кавалеров, а просто из разряда тех лиц, которых представляет; о будущем не говорю. Между тем прости: голова жестоко болит и чувствую то жар, то озноб. Добрый мой Петр Иванович испугался и послал за Г. И. Доппельмайером. Если б я писать к тебе был не в состоянии, то поручу Петру Ивановичу или Снегирю-Nemo, которому решительно делать нечего. Обнимаю.

24 июня, суббота.

Вот уж несколько дней, как я начал прогуливаться и дышать чистым воздухом, который, видимо, меня укрепляет. Между тем я так изменился, что не могу ничего делать и даже, мне кажется, тяжело написать к тебе несколько строк. Меня посетила сильная горячка, со всею свитою: бредом, пятнами и проч., и если б не старик Доппельмайер, который так меня любит, если б не истинно отеческие попечения Петра Ивановича, то, может быть, переписка наша навсегда прекратилась бы. Нет слов благодарить и Снегиря-Nemo, который, мало того, что просиживал у моего изголовья целые ночи без сна, но и теперь ссужает меня своей рукою, и потому ты можешь считать на получение обыкновенных моих донесений и всех сплетней, какими они сопровождаются. Начну со вчерашнего вечера. Вместо оперы «Die Zauber-Zitter», которую нам хотелось видеть, мы, не заходя в театр, отправились спозаранку в назначенный после спектакля воксал[1] и уселись у пруда смотреть на ловлю лягушек, которых в этом пруде бездна. Эта ловля гораздо занимательнее уженья рыбы и, видно, входит в моду у немецко-слободских обывателей, потому что их человек пятнадцать сидело с удочками, на которых вместо обыкновенной приманки нацеплены были кусочки красного сукна. Лягушки беспрестанно подпрыгивали из воды, жадно хватались за сукно и становились добычею ватрахоловов.[2]

Эту забаву с месяц назад ввели в моду братья Бранстетеры, для которых она служит не только забавою, но и средством к удовлет ворению своей гастрономии: они страстные охотники до фрикасе из лягушек, а потому весь улов этой водяной дичины предоставляется в их пользу.

А знаешь ли, что за люди братья Бранстетеры, Франц и Антон? Это люди исторические и недаром носят свое прозвание. Они находились прежде в услужении князя Потемкина, в качестве фейерверкмейстеров, устроивали потешные огни в Молдавии и Валахии и участвовали в изготовлении знаменитого фейерверка, который был пущен во время известного бала, данного князем в Таврическом дворце;[1] сверх того они механики, землемеры, инженеры, гидрографы и живописцы. Антона Бранстетера я помню еще с детства, когда он расписывал церковь у соседа нашего, генерала Муромцева, и ежегодно в день именин жены его, 24 ноября, пускал фейерверки, на которые съезжались все окружные помещики и, в том числе, возили меня. Теперь эти Бранстетеры живут на покое, имеют свою лабораторию, снабжают всю Москву и сопредельные губернии потешными огнями и ловят лягушек, употребляя их в продолжение лета в пищу, вместо цыплят. Дешево и вкусно!

28 июня, среда.

Мы непременно выезжаем в воскресенье, 2 июля, и прямо в Липецк; потому что мои домашние должны быть теперь уже там. Болезнь унесла у меня много времени и осадила меня по крайней мере на месяц. Мы едем целою колониею: Снегирь-Nemo, Литхенс и фортепьянист Димлер, которому в Москве теперь делать нечего: у дольщиков его, Дурновых, летом игры нет, а ученики и ученицы разъехались по деревням. Что, если бы ты мог приехать также в Липецк и пожить на свободе? Но это мечта!

Сообщаю тебе последнее из Москвы сведение: табель профессорских лекций на будущий университетский курс, о которой ты так заботился для Верзилина. Предчувствую, что недолго слушать мне добрых моих профессоров. Отец, обрадовавшись моему 12 классу, торопит службою.

Физику	Страхов.
Натуральную историю	Пр. Антонский.
Философию .	Брянцев.
Статистику .	Гейм.
Эстетику	Сохацкий.
Чистую математику .	Аршеневский.
Историю . . .	Черепанов.
Российское право	Горюшкин.
Теорию законов	Цветаев.
Теорию поэзии	Мерзляков.
Приложение алгебры к геометрии . . .	Загорский.

На французском языке

Историю натуральную и сравнительную анатомию	Фишер.
Естественное и народное право	Шлецер.
Химию	Рейс.
Нравственную философию	Рейнгард.
Астрономию	Гольдбах.

На немецком

Высокую геометрию	Иде.
Ботанику	Гофман.
Немецкую литературу	Санглен.

Особенные уроки, lectiones privatae, и особеннейшие, privatissimae, зависят от взаимных условий желающих учиться с профессорами.

Теперь жди от меня писем из Липецка, попрежнему в ежедневных рапортичках, разумеется, если попадаться будут случаи и люди, о которых стоило бы сообщать тебе; иначе о чем писать, разве только о количестве застреленных уток и прочей дичины? Но я решусь и на это, лишь бы только болтать с тобою.

Ты не любишь, чтоб тебя благодарили, а потому я и не хочу говорить, сколько я тебе обязан за все про все. Мне кажется, я никогда не расплачусь с тобою... Да, я забыл, что ты не любишь этого слышать! Извини.

8 июля, суббота.

Солнышко только что показалось из-за горизонта, и мы все четверо сладко дремали в коляске, когда сидевший на козлах человек мой разбудил нас громогласным: «Вон Липецк виден!». Мы

проснулись. Первою нашею мыслью было остановиться и несколько промедлить, во-первых, для того чтоб слишком ранним приездом не потревожить домашних, а во-вторых, чтоб дать время Снегирю-Nemo и Адальберту-Литхенсу оправить туалеты свои, потому что, будучи великими шематонами, они непременно хотели, при первом появлении своем, произвести благоприятное на незнакомых впечатление. Так и сделали: простояли более часу, потом поехали шагом и к восьми часам ровно явились у подъезда дома Вишневских, в котором наши жили.

Нечего говорить тебе о минуте моего свидания с домашними, слезах матери и сестер и удовольствии отца: подробности этого свидания могут быть интересны только для меня, а для тебя достаточно знать, что вот уже третий день, как я нахожусь в кругу своих, совершенно довольный и счастливый. Отец радешенек, что я привез немца и щеголяет пред ним немецким языком, когда-то изученным на зимних квартирах в Пруссии, а Литхенс отпускает ему фразы из драматических ролей своих. Матушка не наговорится с Nemo, который поет ей обо мне турусы на колесах; а сестры ухватились за старого знакомца, Димлера, которого, несмотря на усталость, тотчас же засадили за фортепьяно и заставили отколачивать русалочный польский:[1] «На что так чудесить, к чему куралесить?», — словом, кажется, я всем угодил. Слава богу, свои и чужие — все в восхищении! Тотчас же пошли расспросы, кто любит какое кушанье, чтоб всех равно удовольствовать. Литхенс объявил, что он обожает жареных кур с саладом. «А индеек?», — спрашивает отец. — «В индейках я вкусу не знаю, потому что никогда их не едал», — отвечает Фердинанд. Такое признание всех удивило, и теперь рассказывают за диво встречному и поперечному, что у нас в доме есть немецкий трагик, которому никогда в жизни не случалось есть индеек.

Снегирь-Nemo успел уже напутать: матушка под величайшим секретом мне объявила, что ей сказывали верные люди, будто я очень влюблен в известную особу и оттого занемог, и что если это подлинно справедливо, то со временем можно подумать и о свадьбе. «Ну, а если она не пойдет за меня?», — спросил я. – «Ах, батюшка, как же это можно, чтоб за тебя нейти?».

Хорошо, если б все так думали обо мне, как добрая моя мать; а еще лучше, если б я сам о себе так думал! Карамзин говорит:

Блажен не тот, кто всех умнее —
Ах, нет! он часто всех грустнее;
Но тот, кто, будучи глупцом,
Себя считает мудрецом![1]

Ita est.

16 июля, воскресенье.

Я познакомился со всеми почти приезжими больными и нашел, что они, за весьма немногими исключениями, все, слава богу, здоровы и, кроме того, необыкновенно любезны и приветливы. Граф Григорий Иванович Чернышев, старик князь Иван Сергеевич Гагарин, Иван Петрович Тургенев,[2] отец наших студентов, — умные, ученые и добрые люди. Николай Петрович Архаров, бывший некогда московским губернатором или обер-полицеймейстером, — право не знаю — cordon bleu, родной брат Ивану Петровичу, добродушному и ласковому моему патрону.[3] Николай Петрович не похож на брата: тучный, серьезный и, кажется, холодный старик. Камергер князь Голицын, проживший в продолжение весьма короткого времени сорок тысяч душ и вследствие того уступивший жену свою графу Разумовскому[4] и теперь живущий небольшим пенсионом, который производят ему племянники его князья Гагарины, — очень образованный, любезный и веселый человек. Генерал Яков Петрович Лабат де Виванс, бывший при покойном императоре кастеланом Михайловского замка, старинный гасконский дворянин, семидесятилетний юноша,[5] с премилыми добродушными и говорливыми, хотя и некрасивыми дочерьми, охотницами до споров и, что удивительно, до возражений; Н. Н. Сандунов с женою-красавицею. Из молодых же людей, приехавших лечиться от здоровья, находятся твои знакомцы: князь С. Г. Щербатов, А. В. Новосильцев, Н. Д. Нарышкин, Зотов и много других.

Директором вод Ив. Ник. Новосильцев, родной брат статс-секретаря государева, Николая Николаевича, добрый и приветливый человек. Петербургский доктор А. А. Альбини,[6] любимейший

ученик знаменитого Франка, находящегося теперь в качестве лейб-медика при государе, состоит официальным при водах врачом. Жена его, дочь известного в Петербурге медика Эллизена, необыкновенная красавица. . . что я говорю «красавица!», нет, существо неземное, какая-то гурия, пери!

Все общество по утрам собирается в галерею, устроенную при источнике. Здесь условливаются об обедах, вечеринках и других parties de plaisir. Сад вокруг галереи только что начинает разводиться. Со временем место может быть прекрасное, но и теперь Липецка в сравнении с тем, что он был за пять лет назад, узнать нельзя. Город разрастается и выстроивается не по дням, а по часам.

Много встретил я таких знакомых, которые знали меня в ребячестве, и между прочим старого городничего Петра Тим. Бурцова,[1] живущего теперь лет пятнадцать на покое, отличного человека, у которого дочери такие неблагообразные, но зато добрые и премилые. Старик огорчен поведением единственного сына, гусарского поручика,* доброго будто бы малого, но величайшего гуляки и самого отчаянного забулдыги из всех гусарских поручиков. Встретил также и доброго Ив. Ник. Лодыгина, прекрасного человека на всякое дело и безделье; с ним неразлучно воспоминание о родном дяде его, Петре Лукиче Вельяминове, друге Николая Александровича Львова и Алексея Николаевича Оленина, одном из ближайших по сердцу людей Г. Р. Державину. В послании своем «К Музе», исполненном очаровательной меланхолии, несмотря на жесткость некоторых стихов, певец Фелицы называет его любителем муз и оплакивает его отсутствие в числе четырех друзей своих:

. . . Где Хариты?
И друзей моих уж нет:
Львов, Хемницер в гробе скрыты,
За Днепром Капнист живет;
Вельяминов, муз любитель,
Согнут горестьми в дугу
и проч.[2]

---

* Того самого, к которому Денис Давыдов написал известное послание: «Бурцов йора, забияка», и проч. *Позднейшее примечание.*[3]

Наконец увидел я и еще старого знакомца и баловника моего, Ив Егор. Штейна. Он попрежнему здесь лесничим, попрежнему добряк, попрежнему не выпускает изо рта трубки, попрежнему воображает себя великим знатоком в музыке и теперь беспрерывно у нас и впился в Димлера. Обязательный человек! Узнав, что у меня нет охотничьей подружейной собаки, он тотчас же подарил меня двумя преогромными польскими лягавыми псами, которым кличка: Дурак № 2 и Дурак № 3. Дурак же № 1 у него заветный. Я не утерпел и в тот же день попробовал их в поле. Эти дураки умнее многих умных: послушны, вежливы, плавают как рыба и чутье диковинное; добротою своею они напоминают мне моего Трезора. Здесь не постигают, как решился Иван Егорович подарить мне таких собак, от которых даже и щенка никто у него допроситься не мог, и не знают, чему приписать такое великодушное пожертвование.

18 июля, вторник.

Между тем как все общество, прогуливаясь по галерее и около источника, наполняло желудки свои вонючею влагою, большею частью пополам с парным молоком, Н. Н. Сандунов подсадил меня к себе, чтоб потолковать о литературе: стихах и прозе, о поэтах и прозаиках. Я всегда полагал, что Николай Николаевич, несмотря на свое юридическое призвание, любил литературу и особенно театральную, чему доказательством служат его разные пьесы, которые мы разыгрывали на пансионском театре, не говоря уже о капитальном переводе шиллеровых «Разбойников», но никогда не думал, чтоб он сам был стихотворцем. Он прочитал мне свою песню под названием «Денежный мешок». Стихи нехороши и, сверх того, есть куплеты de très mauvais genre, например:

Чернобровы, белокуры
Не откажут ни одна:
Денег не клюют лишь куры,
А любовь до них жадна
и проч.

Но со всем тем сенатский обер-секретарь-поэт — явление замечательное и отрадное. Говорят, что при покойной императрице

в числе обер-секретарей было много литераторов и, между прочим, Иван Хмельницкий, издавший «Зримый свет в лицах», книгу с картинами, составлявшую отраду детей от 7 до 10-летнего возраста[1] и мою, и Федор Эмин, автор комедии «Знатоки»,[2] в которой так смешон астроном, открывший новое созвездие Собаки и так логически и важно отвечающий тем, которые сомневаются в его открытии:

Коль есть в планетах раки,
Так почему ж не быть там и моей Собаки?

У источника я познакомился с одним израненным, или, вернее, изрубленным в котлету майором Ф. А. Евреиновым, страстным охотником до книг и литературы, но литературы отсталой, то есть семидесятых годов. Он бредит Вольтером, Дидротом, Гельвецием и прочими энциклопедистами и вне их сочинений не находит ничего заслуживающего внимания и уважения. Пресмешной! Я часто пробовал разуверять его насчет этих философов, которых сочинения никогда не наполнят так души и не утешат сердца, как задушевные стихотворения Шиллера и многих других авторов — куда тебе! Глаза нальются кровью, пена у рта; не даст слова выговорить. «Да читали ли вы что-нибудь, кроме ваших фаворитных писателей?».— «Не читал и читать не хочу и не буду». Изволь с ним спорить!

Нельзя довольно налюбоваться милою докторшею. Что за прелестная женщина — простая, веселая, без всякого жеманства! Она бывает ежедневно у нас, и муж доволен, что она подружилась с нашим семейством и остается у нас иногда по целым дням, потому что ей не скучно, а, может быть, он и рад прятать свое сокровище под крыло матушки. Чужая душа — потемки.

20 июля, четверг.

Я решительно в восторге от своих Дураков: эта команда, конечно, не слишком вострая и проворная, но умная, терпеливая и верная. Если они уже раз почуяли что-нибудь, то следуйте за ними смело: они приведут вас прямо к птице и стоят на месте как вкопанные. Честь и слава утешителю моему, Ивану Егоровичу! Отец, по просьбе матери, подарил ему славного верхового донца, в котором он нуж-

дался. Не хотел брать, насилу упросили. Чтоб дать тебе понятие об изобилии дичи в здешних окрестностях, скажу только одно, что вчера в два ружья с охотником Павлом, которого ты знаешь, мы убили более пятнадцати пар разнородной дичи, не считая тех частых пуделей, которые я давал, к великому изумлению и неудовольствию дурацкой моей компании; сверх того, какая приятная охота, нет мокрых, трясинных болот, по берегам огромного озера растут камыш и осока: удобно подкрадываться под птицу; река, кусты и вокруг зелень и ковыль: всякую птицу найдешь, большую и малую, от кряквы до чирка, от кроншнепа до гаршнепа. Дорожные спутники мои не ездят со мною на охоту, говоря, что им и без того весело и что они не хотят сами ни париться, ни жариться, а довольны тем, что по моей милости для них напарят и нажарят.

Завтра граф Чернышев дает un goûter dansant в галерее для всей липецкой публики, пьющей и непьющей. Мне кажется, это один из самых любезных людей в свете — умный, острый, приветливый; а как образован, какой дар слова! Надобно видеть, как занимаются своим туалетом местные красавицы. Monsieur Lebourg, плутоватый француз, продал почти все свои модные товары, а сверх того спустил содержателю галерейного буфета Приори для графского goûter рублей на 300 разных вин, которых у Приори не случилось. Стол заказан ему на сто человек; но на столько персон у него не достанет серебра, которое пополнится присылкою из разных домов.

Здесь находится для сбора на какой-то монастырь один иеромонах, отец Па́влин, человек весьма замечательный. Отроду ему, должно быть, лет 35, но какой ум, какой мастер говорить, какое приличие во всех движениях и поступках и ко всему этому—совершенный красавец! Он, конечно, стоял бы высоко в своем звании, если б был из ученых, то есть схоластик; впрочем, знаний практических он имеет слишком достаточно. Есть и еще собиратель, но совершенно в другом роде: этот еще не монах и почитает себя недостойным ангельского образа. Он по временам находится как будто в каком-то исступлении и нередко предрекает многим будущее. На днях он сказал что-то матушке, которая очень уважает его.

23 июля, воскресенье.

Графский goûter dansant был чудесный — без всяких затей, изобильный, веселый. Ели, пили и танцевали с 5 часов до 12; протанцевали бы и всю ночь, если б не запрещали того правила, учрежденные для больных. Немцы мои не сходили с паркета, и особенно германо-русс Nemo вальсировал без устали. Я так увлекся общею веселостью, что, несмотря на свою неловкость, несколько раз вальсировал с мадам Альбини, которая танцевать любит. Что это за женщина — прелесть! Добрейшие demoiselles Labat, которые с нею давно знакомы, потому что отец ее, Эллизен, был у них домашним врачом, сказывали, что она прежде не была так хороша, но что теперь она так прелестна, что другой подобной они не знают. Сегодня мы едем с ней прогуливаться верхами.

Когда гости уселись за стол, распорядитель праздника, Приори, сделал им сюрприз: с полным оркестром, принадлежащим помещику Дегтереву,[1] он, в качестве итальянца, supposé toujours chanteur, пропел, или, вернее, проревел арию из оперы «Cantatrice Villane» в русском переводе. Ну, уж ария!

Все женщины — сирены!
Страх любят перемены;
Молоденьки девицы,
Замужни и вдовицы —
Все на один покрой:
И муж глаза закрой.
Мужья! не горячитесь;
А если взбеленитесь,
В ревнивцы посвятят;
А там. . . не горячитесь,
Рога то возвестят!

Я думал, что это перевод нашего обыденного общества, а вышло напротив: Н. Н. Сандунов сказывал, что это перевод нашего почтенного А. Ф. Мерзлякова, сделанный по заказу смоленского генерал-губернатора С. С. Апраксина, у которого есть домашняя опера и будто бы отличный доморощенный буф, Иван Гаврилович

Гуляев,* ученик капельмейстера Мориани. Попался же Алексей Федорович! Теперь есть средство отомстить ему за насмешки над нами с Петром Ивановичем. Эта ария так похожа на романс Бородулина:

Все женщины — метресы,
Престрашные тигресы,
На них мы тигры сами
С предлинными усами, —

что, кажется, вылилась с одного пера.

Я, кажется, писал к тебе обо всем и о всех, а забыл упомянуть об одном из замечательнейших персонажей: эта особа — секретарь директора, тит. сов. Иван Кузьмич Киселев, ростом с версту, имеющий притязания на красоту, bon ton и политическое значение, а впрочем, кажется, очень добрый малый. Я часто подслушиваю его в объяснениях с дамами; но третьего дня напал на такие выходки, что из рук вон! Например: одна дама, довольно полная, жаловалась на жар и духоту, и он говорит ей: «Вам жарко, а каково же мне? Вы согреваетесь одним солнцем, а я (глубокий вздох) двумя!». Другая из туземок, также плотная, объявляет, что больше танцовать не станет, потому что очень устала, а он умильно возражает: «Не верю: сильфиды уставать не могут!». Наконец совсем зарапортовался. Подсев к премилой княжне Кат. Иван. Гагариной, у которой, буквально, пре-к р а с н ы е волосы, хотя, впрочем, длинные, густые и вьющиеся, он начал восхищаться цветом ее лица, выхваляя его белизну, нежность и проч. Та все молчала и только улыбалась; но когда отпустил он фразу: «Вы точно лилия, окруженная золотым, лучезарным сиянием!», бедная княжна не выдержала. «Ах, Иван Кузьмич! — вскричала она, — не можете представить себе, как вы нам всем надоели!», и ушла от докучного кавалера.

Давеча, после обедни, которую отправляли в приделе собора, потому что в главном храме ставят иконостас, я зашел посмотреть на работы и познакомился с живописцем Трофимом Федоровичем Дурновым, которому они поручены и который сам писал все образа.

* Гуляев по смерти Воробьева в конце 1808 г. был вызван на петербургскую сцену и занял его роли. Но какая разница! *Позднейшее примечание.*

Вот оригинал! Он был крепостным человеком графа Воронцова, учился долго в Академии художеств, за успехи в живописи отпущен помещиком на волю и женился на своей натурщице. С роду не видывал такого бахвала, хотя и знаком со многими псовыми охотниками. Он показал мне запрестольный образ «Снятия со креста», разумеется, скопированный с какой-нибудь гравюры, и восхищался им удивительно забавно. Счел ли он меня каким-либо невеждою в живописи или в самом деле убежден в своем превосходстве, только утверждал преважно, что «Рубенс — мазилка, а Каррачи, также писавший „Снятие со креста“, в ученики ему не годится». Я слушал разиня рот, не зная, что и отвечать ему; однако ж осмелился спросить: «А что вы скажете о Рафаэле?». — «Ну, Рафаэль, — отвечал он с миною знатока, — конечно, живописец хороший; иной раз пишет хоть бы и нашему брату!». Ах, господи, я полагал, что этот Дурнов пьяница или сумасшедший — ни того, ни другого: решительно ничего хмельного в рот не берет, примерной аккуратности и самый попечительный отец семейства. После поставки иконостаса он едет опять в Петербург писать картину на звание (будто бы) профессора. Если буду в Петербурге, непременно отыщу чудака: это сущее золото!

25 июля, вторник.

Вчера утром с час сидел я у Н. П. Архарова. Я виноват пред ним: он не так угрюм, как в первый раз мне показался, напротив, довольно разговорчив и сообщителен. Сколько раз я давал себе слово не поддаваться первому впечатлению — и всегда попадал впросак. Старик много видел и испытал в жизни; беседа с ним любопытна и поучительна. У него собралось человек пять посетителей, и он много рассказывал нам анекдотов о себе, о прежних вельможах, о великолепии, которым они себя окружали, о благодетельных распоряжениях правительства касательно эмигрантов во время французской революции, о вспомоществованиях, которые им делали, о способах, какие употреблялись к прекращению необыкновенного распространения фальшивых ассигнаций, и проч. и проч. «Но знаешь ли ты, — спросил он меня, — историю твоего деда с отцовской стороны?

Если не знаешь, так я когда-нибудь тебе ее расскажу; а теперь, покамест, будет с тебя и одного анекдота». Тут он рассказал нам, как по увольнении графа Румянцева от командования армиею, дедушка, который был одним из любимейших его полковых командиров, попал в немилость князя Потемкина и по этому случаю определен вятским губернатором; а чтоб не было ему с к у ч н о, то и трое детей помещены в Вятскую же губернию на разные места, и в том числе отец мой определен советником казенной палаты. (Хороша немилость!). Недели через две по прибытии деда на губернаторство в Вятку, он как-то случайно узнал, что у одного из богатейших тамошних купцов умерла жена, замучившись родами, но что смертных признаков нет, и тело, несмотря на летнее, довольно жаркое время, оставалось невредимым, а между тем церковно-служители и все те, которым назначалась большая сумма денег в раздачу на поминовение и подаяния, спешили пышными похоронами. Дед послал лекаря разведать о том под рукою и осмотреть тело; но лекарь явился к осмотру вооруженный анатомическим ножом, как будто имел приказание анатомировать тело. Все знают отвращение нашего русского народа от этой операции, и потому лекаря одарили, с тем чтоб он удостоверил в действительной смерти усопшей. Он так и сделал, и потому умершую отнесли в церковь, отпели, заколотили гроб, вынесли и хотели уже опускать в могилу, как вдруг является дедушка со свитою, приказывает немедленно вытащить гроб и отколотить его; сам, к ужасу предстоявших, вскрывает крышку, снимает покрывало, вглядывается в лицо умершей и, призвав всех медиков и лекарей, каких только могли отыскать в городе, объявляет им решительно, что если они не оживят умершей, то он того лекаря, который послан был от него для осмотра тела, как убийцу, самого закопает живого в могилу, а прочих велит судить как соучастников в убийстве, и вместе с тем приказывает городничему приставить к ним караул и не давать им ни пить, ни есть, покамест они не воскрестят умершей. «Что ж ты думаешь? — заключил Николай Петрович, — ведь умершая-то ожила, разрешившись мертвым младенцем! Но с тех пор деду твоему житья не было: кто бы в губернии ни умер — к нему гонец с просьбою от родных

умершего: „Прикажи лекарям оживить покойника“. Кто просит о родителях, кто о детях; не случалось только, чтоб мужья просили о воскрешении жен; а что всего страннее, что отказ твоего деда не считали отказом по невозможности исполнения, но по нежеланию. С тем он и вышел в отставку, что не мог разубедить в своем всемогуществе. А если пошло на воспоминания о твоих стариках, то знаешь ли, что за человек был прадед твой, Абрам Иванович Спешнев, которого данковское имение теперь принадлежит твоей матери и о котором, вероятно, она тебе сказывала? Он был отставной майор и добился этого чина, никогда не выезжая из-за межи своего села Ивановского, в котором и умер, имея более 80 лет от роду. Добрый и честный был человек, но такой чудак, каких теперь и в Англии, земле чудаков по преимуществу, более не сыщешь. У него была, во-первых, страсть крестить детей, которых для того свозили к нему десятками из соседних городов и всех окружных селений, потому он был довольно щедр на дары своим крестникам: давал им по рублю денег и снабжал ризками. В особенности же любил быть воспреемником у духовных лиц и каждому крестнику из этого звания жаловал на зубок по десятине земли, так что при кончине его вся дача вашего села Ивановского, как слышал я, изрезана была на сотню участков. К счастью, все это по-тогдашнему делалось на словах, и бабка твоя, войдя после него в наследство, оставила землю за собою, а владельцев вознаградила небольшими деньгами; но главное-то заключалось в том, что он в уезде всех перероднил между собою до такой степени, что лет 25 спустя после его смерти не находилось женихам невест и невестам женихов. Другую страсть имел он к голубям и белым иноходцам (на которых, однако ж, никогда не езжал), и по этому случаю рассказывали о нем преуморительные анекдоты. Например: конюхи и голубятники его, состоявшие из самой продувной дворни, зная простодушие своего барина, не пропускали ни одного праздничного дня, чтоб не выманить у него или вина, или молока, или пшеничной муки и проч., под предлогом, что все это нужно для его фаворитных животных. „Прикажите отпустить вина“. — „А на что, братцы?“. — „Да надобно вспрыснуть голубей: что-то запечалились, летать не станут“, и отказа не было.

„Прикажите отпустить ведра два молока“. — „А на что столько?“. — „Да надобно вымыть иноходца?“. — „А воды-то в Вязовке мало?“. — „Да нельзя, кормилец: иноходец белый, так водой замараешь“. — „Так бы и сказали; ин возьмите“».

У Фердинанда Литхенса завелись шуры-муры: он нашел себе здесь Луизу, которой он очень нравится, и распивает с нею лимонад, разумеется, без яду, отпуская преуморительные тирады; а Nemo прикомандировался к сестрам: они не расстаются с ним и делают из него, что хотят: выводят ему усы, водят его в бумажном колпаке, одевают в женское платье, а намедни заставили его ездить на конюшенном козле верхом по двору. Все это исполняет он с удовольствием — и совершенно счастлив!

Я продолжаю охотиться только по вечерам, когда спадет жар; утра же провожу в галерее или у кого-нибудь из знакомых. Время летит быстро, незаметно: того и гляди, что меня скоро выпроводят отсюда. Но покамест я здесь, не хочу и думать о грустной минуте отъезда. Мне приходит иногда желание съездить в Задонск, который так близко отсюда: что-то неизвестное тянет меня поклониться гробу преосвященного Тихона, искреннего друга покойных деда и бабки моих и настоящего уврачевателя сердечных и душевных их скорбей и болезней. Мне стоит только заикнуться о том матушке, так она сама не даст мне покоя и будет торопить отъездом, а между тем не хочется оставить и Липецка. Впрочем, на поездку нужно не более двух суток.

1 августа, вторник.

Пелеринаж [1] свой кончил я в трои сутки и чрезвычайно им доволен, несмотря на нестерпимый жар и ужасную пыль, которые меня сопровождали во всю дорогу. Как человеку бывает легко, когда он исполнит обязанность, принятую им на себя волею или неволею, точно душа из заперти выпускается на волю.

Во время трехсуточного отсутствия моего в здешнем обществе не произошло никакого изменения, и нового ничего нет, кроме того, что Ив. Куз. Киселева, наконец, короче узнали, и теперь ни барыни, ни барышни не бегают уже от его комплиментов, а,

напротив, напрашиваются на них. После лучезарного сияния, которым попотчевал он княжну Гагарину, иначе и быть не могло: «Les sots sont ici bas pour nos menus plaisirs», — говорит граф Gresset [1]—Чернышев. Только воля их, а мой Трофим Федорович, серьезно убежденный и еще серьезнее убеждающий, что Рафаэль живописец хоть бы ему подстать, стоит десятка Киселевых. Я, наконец, залучил к себе этого Трофима Федоровича и нахожу, что вне круга своего искусства он очень неглупый и дельный человек. К сожалению, он почти не выходит из этого круга; теперь начал говорить, что какой-то новый живописец, Егоров, недавно приехавший из чужих краев, может быть, со временем заменит его.

Ну, не премилые ли люди эти все Лабаты, и старик со старухою, и добрые болтливые его дочери? Как-то услышав от матушки, с которою крепко подружились, что ей бы хотелось записать меня в иностранную коллегию, они тотчас же поручили зятю своему, Ив. Петр. Эйнбродту, лейб-хирургу императрицы Марии Федоровны, чтоб немедленно хлопотал об определении меня в коллегию, и сегодня, когда я пришел благодарить их и объявил, что я еще не уволен из университета и не имею аттестата, они мне сказали, «что это ничего не значит», что пусть Эйнбродт все подготовит, «et quand vous recevrez vos papiers vous viendrez à Pétersbourg tout droit chez nous et vous serez inscrit au Collège dans l'espace de 8 jours». Альбини утверждает, что Эйнбродту легко это сделать, но что и он, с своей стороны, желал бы оказать мне услугу и для этого предлагает, по получении мною в будущем марте университетского аттестата, прислать его с другими нужными бумагами прямо к нему; что он уже отдаст их Эйнбродту и вместе с ним похлопочет, чтобы меня определили в службу заглазно, и затем вот что говорит он: «Et comme à la fin du mois d'avril, je devrai probablement revenir à Lipetzk, alors ne serait-il pas possible d'arranger les choses de manière, que vous puissiez partir pour Pétersbourg ensemble avec moi, après la saison des eaux, car je serai enchanté d'être votre Cicerone dans une ville, que vous ne connaissez pas encore et de vous faciliter les moyens de faire des bonnes connaissances». Боже мой, да это такое

счастливое стечение обстоятельств, которого я никогда не смел надеяться и за которое не знаю, как благодарить провидение.

И. Н. Ладыгин недаром племянник П. Л. Вельяминову, «муз любителю», как называл его Державин, и не напрасно он был домашним человеком в поэтическом кругу Н. А. Львова. Он сам пишет недурные стихи, хотя по скромности и не любит всякому читать их; во всех его стихотворениях проявляется мысль и чувство и эти достоинства могут извинить в них некоторую неопределенность выражений и неправильность в словоударении. Из числа этих стихотворений мне понравилось одно, под названием «Соловей на могиле певицы», написанное вот по какому случаю. Лет двенадцать назад автор был страстно влюблен в К. П. С., милую и образованную девицу, которая любила музыку, как он любил ее, т. е. без памяти, имела прекрасный, обработанный голос и пела с большим чувством. К несчастью, эта девица неожиданно умерла и погребена в деревне у церкви, на родовом кладбище. Спустя несколько лет после ее смерти Ладыгин, проезжая поздно вечером мимо кладбища, услышал соловья, распевавшего на одной из берез, окружавших церковную ограду, и вот этот соловей сделался сюжетом следующей элегии:

Что так громко, соловей,
Стонешь над могилой,
Где соперницы твоей
Прах почиет милой?

Иль ты хочешь, соловей,
Ночи в час унылой
Звучной песнею твоей
Разбудить прах милой?

Песня сладостна твоя,
Но стократ нежнее
Раздавалась песнь ея,
Слаще и милее!

Песня девы молодой
В сердце западала,
Как воздушной арфы строй,
Душу проникала.

Много, много вас, певцов,
С весною прибудет,
Но весна почившей вновь
К песням не разбудит!

Голос смолк, погаснул взор,
Здесь она отпела
И к певцам бесплотным в хор —
В небо улетела!

«Поверите ли, — говорил мне Ладыгин с слезами на глазах, — что эти стихи вылились у меня из души тут же, в самую минуту, как я проезжал мимо церкви, возле которой погребена первая и последняя любовь моя?». Верю!

6 августа, воскресенье.

Вот сегодня ровно месяц, как мы приехали сюда, а мне кажется, что я здесь только со вчерашнего дня — так незаметно пролетело все это время. Нам и в голову не приходило бы возвращение в Москву, если б не письма Петра Ивановича, которые постепенно приучают нас к идее оставить Липецк: с 17 числа начнутся курсы профессорских лекций и, по совести, я должен бы поспешить к их началу. Но что делать? Бывают такие обстоятельства, которые разрушают самые благие намерения. Я отвечал П. Ив—чу, чтобы прежде 1 сентября он меня не ждал.

Сегодня разгавливаются яблоками. Из окрестных селений навезли груды этих плодов, так что не знают, куда с ними деваться. Приезжим запасать впрок их нельзя, а у коренных липецких жителей свои сады. Чтоб помочь бедным крестьянам в сбыте их произведений, на который они с такою уверенностью рассчитывали, мы решились собрать подпискою некоторую сумму и скупить привезенные яблоки. Так и сделали: все охотно давали деньги, даже и сам скупой Бологовский предложил пять рублей в коллекту без всякого приглашения красавицы Альбини, которой принадлежит эта филантропическая идея. Но что же делать с таким количеством яблок? Волшебница и тут нашлась: она решила собрать со всех дворов детей, мальчиков и девочек, и также пригласить дворовых

людей из свиты приехавших на воды господ и разделить им скупленные фрукты. Исполнителями этого распоряжения были Nemo и Кузьмич, который, утратив имя и оставшись при одном отчестве, решительно делается дамским фаворитом и несет такую гиль, что перещеголял и самого Бородулина. А что ты скажешь про милую коллектрису? Как добрая душа пользуется всеми случаями, чтоб сделать доброе дело!

Один из здешних старожилов, горный чиновник Матвеевский, у которого теперь в заведывании небольшие остатки бывшего здесь некогда огромного чугунного завода, желая удивить нас своим хозяйством, принес огромное яблоко, около двух фунтов весом, и рассказывал способ, какой употреблял он для произведения плода такой чудной величины. Для этого он выбирал молодое и сильное деревцо во время его цвета и, не допуская цвет до завязи, общипывал его весь, кроме трех или четырех цветочков, которые и оставлял цвести до тех пор, покамест сделается в них завязь. Из этих трех или четырех завязей он уже выбирал самую полную и сочную и, оставляя ее одну, уничтожал другие. Этим способом производил он всех родов плоды необыкновенно крупные. Матушка не хотела отстать от опытного садовода и снабдила его огромным домашним арбузом, слишком в пуд весом, прекраснейшего вкуса.

На вопрос мой: откуда брали дрова для чугунного завода, когда вокруг Липецка я не видал ни одного крупного дерева, Матвеевский мне сказал, что все пространство за озером, которое с горы теперь представляется пустынею и простирается верст на 20 до самого селения Ольшанки, было некогда непроходимым бором, в котором водились медведи и россомахи, и что он сам даже запомнит много лесов по ту сторону озера; что причиною истребления этих лесов в такое непродолжительное время была прежде неумеренная, сплошная рубка дров для завода, без разделения на лесосеки, а после неограниченное попущение всякому рубить сколько душе угодно. Жаль! Какой, думаю, великолепный был прежде вид с горы, когда это бесподобное озеро окаймлялось густым лесом и эта теперешняя липецкая Ливия отенялась зелеными рощами!

12 августа, суббота.

Во вторник назначен в галерее танцовальный пикник. Это затеи графа Чернышева, к величайшему удовольствию всей липецкой публики, молодых людей и стариков, из которых редкие, вопреки общему мнению, не рады чужой радости и не веселы чужим весельем. Между тем этот пикник нас не очень занимает. У нас ежедневно свои домашние танцы под фортепиано Димлера: сестры, несколько их приятельниц, очаровательная Альбини, беспечный Nemo, веселый трагик Логомах-Кузьмич, двое молодых застенчивых соседей, вальсирующих мастерски, и я на подставу; бал хоть куда; а затем — кто во что горазд!

Но в этих беспрерывных семейных удовольствиях по временам восстает предо мною угрожающий призрак — мысль о приближающемся отъезде. Что ж! нельзя, чтобы счастье было продолжительным: иначе оно не было бы счастьем. Однако ж, кто знает? для меня в Липецке открылась какая-то новая перспектива: не знаю, куда приведет она, но я исполнен отрадных надежд и твердо решился идти по ней.

Сейчас я получил твое письмо. Ну не грешно ли церемониться и не сказать прямо: «пришли мне Дурака». Чтобы угодить тебе как можно скорее, отец нынче же посылает нарочного в твое Никольское за Гаврилою, по прибытии которого он немедленно отправлен будет к тебе на почтовых с Дураком № 2.

16 августа, среда.

Я так недолго здесь пробуду, что надобно забыть об охоте, и потому решился послать к тебе оба №№ моих Дураков, с тем что, если б на будущий год мне случилось опять сюда приехать, то ты пришлешь мне одного из них на то время, которое я здесь пробыть могу. Отец снарядил тебе славного верхового горца, которого подарил ему Л. Д. Измайлов, в припадке излишней щедрости. Уведомь, когда и с кем велишь прислать его. Мне кажется, что тот же Гаврик может исполнить и это поручение. Вероятно, ты спросишь: отчего я полагаю быть опять здесь в будущем году? Вот отчего: матушка имеет доверенность к Альбини и чувствует себя лучше

здесь, чем в Ивановском; сестрам веселее, а в прожитке большой разницы нет: так же все почти свое — деревня под руками.

Пикник удался как нельзя лучше: время благоприятствовало; танцовали много; полдник был преизобильный; в заключение пускали небольшой фейерверк. При первой ракете я вспомнил Бранстетеров и любимое их лакомство — лягушек, которых в здешнем озере бездна. Кстати об озере: как жаль, что здесь вовсе нет никаких средств для прогулок по воде: не только шлюпки, но и простой порядочной лодки найти нельзя!

Историк Гиббон и медик Тиссот имели склонность к какой-то красавице, помнится, леди Фостер, и ревновали ее друг к другу. Разумеется, при каждом их свидании у предмета их страсти не обходилось без взаимных колкостей. Однажды, когда Гиббон, по желанию леди, читал ей отрывки из своей истории, Тиссот сказал ему: «Господин историк, когда леди Фостер занеможет от скуки, слушая вас, я ее вылечу». — «Господин медик, — отвечал Гиббон, — когда леди Фостер умрет от вашего леченья, я сделаю ее бессмертною».

Нечто подобное случилось со мною.

Гиббон-Лабат, и Тиссот-Альбини, в порывах своего доброжелательства ко мне, заспорили вчера о той карьере, которую я избрать должен, и о средствах выйти в люди. Альбини говорил, что вообще для успехов в службе мне полезнее будут занятия серьезные и что я должен продолжать учиться; а Лабат утверждал, в качестве француза de la vieille roche, что все это вздор и что для успехов по службе мне скорее нужна благосклонность общества и особенно женщин. «Но знаете ли вы, генерал, — возразил Альбини, — что ваши советы могут вскружить ему голову, и тогда мне придется лечить его от рассеяния!». — «А знаете ли вы, доктор, — отвечал живой старик, — что когда от ваших советов он будет в чахотке, тогда я, мимо вас, вылечу его рассеянием».

24 августа, четверг.

Вот тебе последнее мое донесение из Липецка. Мы выезжаем послезавтра или, наипозже, в воскресенье 27 числа, прямо в Мо-

скву, не заезжая в деревню. Мои остаются еще здесь на неделю. Все мы, отъезжающие и остающиеся, грустны до того, что даже прогулки наши прекратились. Сегодня сделал я несколько церемониальных прощальных визитов, а завтра сделаю остальные, нецеремониальные.

Н. П. Архаров сказывал, что война с французами у нас неизбежна, потому что государь, по милосердию своему, верно, захочет помочь немцам; иначе они пропали. Старик читает иностранные газеты и постоянно следит за политическими происшествиями в Европе, а сверх того, и по положению своему имеет случай знать больше других; следовательно, ему можно верить.

С нами по пути едет до Лебедяни отставной мичман Андреев, довольно бодрый старик и чудак преуморительный. По мнению его, вся природа изменилась теперь к худшему, а люди стали обезьянами. «Господи, воля твоя, что это за господа бывали в старину! — говорит он. — Вот, например, хоть бы взять покойника деда твоего, князя Гаврила Федорыча Борятинского — царство ему небесное — уж подлинно был настоящий барин: человек серьезный, тучный, грузный, бригадир; ходил всегда с натуральною тростью с золотым набалдашником; сюртук носил светлозеленый с красными лацканами и обшлагами — что твоя риза: нынешних три выкроить можно. Бывало, кто хочет ему кланяйся, а он только что кивнет головою; а как задумает в гости к воеводе, либо к какому соседу на храмовый праздник, так сборы-то и пойдут еще с вечера: призовет дворецкого, да при нем и учнет приказывать кучерам: под такой-то лакипаж такую-то шестерню, а под такой-то такую-то. Сам, бывало, сядет с княгинею в линею на шестерке пегих. . . А теперь что? ничего, так, стрень-брень. Вот я тебе расскажу, как он встречал из похода сынка своего, князя Михайла, что опосля с ума сошел. . .».[1]

Эту историю я не дал рассказывать мичману, потому что мне теперь некогда слушать, да надобно же и приберечь что-нибудь для дороги.

Если рассказ о нашем дедушке покажется мне сколько-нибудь занимательным, то сообщу его тебе из Москвы. Прости!

3 сентября, воскресенье.

Мы приехали третьего дня. Петр Иванович обрадовался мне, как родному брату. Он не понимает, что меня могло задержать так долго и как столько времени я мог оставаться в совершенной праздности, и всю вину сваливает на моих товарищей. Я уверяю, что, напротив, всему причиною один я; и это совершенно справедливо, потому что насчет отъезда мои товарищи были всегда в моем распоряжении.

Между тем говори, что хочешь, а у меня тоска по Липецку; авось не разобьют ли ее лекции, на которые начну ездить с завтрашнего дня. Я пропустил их немного и, при небольшом прилежании, в неделю войду опять в свою колею.

Говорят, что на роли старухи m-me Lavandaise, игравшей любовниц и даже «Федру»(!!), приехала новая актриса. Надлежало бы взглянуть на нее, но я дал себе слово нынешний месяц не заниматься театром, и разве съезжу посмотреть «Эдипа в Афинах», которого скоро давать будут. Правда, надобно однажды побывать и у немцев, чтоб они не думали, что я их забыл. Роли m-lle Stein заняла m-me Schröder, тоже очень приятная и миловидная актриса, с хорошим голосом.

Нетерпеливо жду от тебя писем: хочется знать, доволен ли ты мною.

А знаешь ли, что недорассказанная история о сиятельном предке не без интереса? В этой встрече, которую сделал старик проказнику-сыну, много характеристического. Когда-нибудь я передам ее словами самого рассказчика.

7 сентября, четверг.

Весь город толкует о войне: ненависть к Бонапарте возрастает, между тем как любовь к государю доходит до обожания и доверенность к нему беспредельна. Не умею выразить тех чувств, которые одушевляют каждого при чтении указа от 1 сентября о рекрутском наборе, в котором государь изволит говорить, что «не может равнодушно смотреть на опасности, угрожающие России, и

что безопасность империи, достоинство ее, святость союзов и желание, единственную и непременную цель государя составляющее, — водворить в Европе на прочных основаниях мир — решили его двинуть ныне часть войск за границу и сделать к достижению намерения сего новые усилия».

Ну, как при этом случае не вспомнить пророческих стихов вдохновенного Державина о государе:

Не на словах ты милосердье
Покажешь — на делах твоих;

. . . .

Посадишь Мудрость ты с собою,
Велишь ей научать себя,
Пройдешь с народною толпою —
Проникнет правда до тебя;
Ты в мире брань готовить станешь,
Войну обымешь тишиной.[1]

Наконец, вот и письмо твое! Сердечно рад, что ты мною доволен, но зато я не очень доволен собою: занимаюсь прилежно, чтоб управиться с пропущенными лекциями, да туго идет — избаловался.

Вчера утром ездил я к П. Т. Бородину с письмом от М. А. Устинова для получения 300 руб. в числе денег, следующих отцу за вино.

Меня ввели в тот самый кабинет, в котором зимою во время бала происходила такая ужасная игра в банк. Откупщик, как видно с похмелья, сидел в кресле, и какой-то домашний эскулап-немец щупал у него пульс: «Фам натать принимаит лекарство. Я пропишет фам габли». — «А как принимать их?». — «На сахар». — «Дурак, брат, немец: я ведь не ребенок». — «Ну, на вода». — «Совсем, брат, дурак. Пей воду сам». — «Пошалуй с водка». — «Ну, так бы и сказал, любезный друг!».

Хорош пациент, да и лекарь недурен!

Штейнсберг говорит, что желал бы сдать свой театр, потому что нехватает здоровья и сил на исполнение двоякой обязанности: директора и актера. Кажется, А. М. Муромцеву хочется попасть

в театральные султаны: он крепко увивается около Штейнсберга; но с таким директором театр уйдет недалеко, так же как и он сам недалеко уйдет с театром: все утверждают, что состояние расстроится непременно.

12 сентября, вторник.

На вопрос Ив. Ив. Дмитриева у приехавшего из Петербурга г. Максимовича, служащего в комиссии составления законов, что делают тамошние литераторы и в особенности Державин, Максимович отвечал, что, «по слухам, он сочиняет какую-то оперу, вроде Метастазия. . .».[1] — «Разве вроде безобразия», — возразил Дмитриев.

Иван Иванович не может скрыть своего сожаления, что величайший лирический поэт нашего времени на старости лет предпринимает сочинения, совершенно не свойственные его гению: пишет и даже переводит трагедии, комедии и оперы в подрыв своей славе, которою Иван Иванович, как старинный его приятель и усердный почитатель его таланта, так дорожит, что желал бы видеть ее неприкосновенною для критики.

Англоман Н. М. Гусятников много рассказывал о покойном графе Федоре Григорьевиче Орлове, который, по его словам, был человек большого природного ума, сильного характера, прост в обхождении и чрезвычайно оригинален иногда в своих мыслях, суждениях и образе их изъяснения. Например, он никогда не предпринимал ничего, не посоветовавшись с кем-нибудь одним, но терпеть не мог советоваться со многими, говоря: «ум — хорошо, два — лучше, но три с ума сведут». Он уважал науки и искусства, но называл их п р и л а г а т е л ь н ы м и; с у щ е с т в и т е л ь н о ю же наукою называл одну ф и ф и о л о г и ю, то есть уменье пользоваться людьми и своевременностью, равно как и важнейшим из искусств — искусство терпеливо сидеть в засаде и ловить случай за шиворот.

Получено известие, что государь выехал уже из Петербурга. Общие усердные молитвы и благословения сопровождают нашего а н г е л а в о п л о т и, как величает его Москва.

На-днях провожали мы в С.-Петербург П. С. Молчанова. Вот распремилый-то человек! Иван Иванович говорит, что он непременно будет статс-секретарем, о чем сказывал ему граф Н. П. Румянцев, который рекомендовал его государю. Князь Александр Борисович Куракин и Александр Андреевич Беклешов любят его, как душу. Иван Иванович советует мне держаться этого знакомства, которое может со временем быть для меня чрезвычайно полезным.

16 сентября, суббота.

Сегодня на французском театре дебют Девремона в пяти пьесах: «Le marquis par hasard», «Le galant Savetier», «M-r et m-me Fatillon», «Le remouleur et la meunière» и «La Dinde des mains». И следовало бы поехать, но не поеду: в будущем предстоит слишком много удовольствий, а может быть и счастья. Потерпим, reculons pour mieux sauter. Я теперь бы с удовольствием съездил к Троице-Сергию помолиться угоднику — вот куда меня тянет! Никогда не чувствовал я такой полноты сердца, как теперь: знаю, что без молитвы его не опорожнишь, а для молитвы здесь я как-то рассеян. Непременно в будущую субботу поеду.

Добрейшие Лабаты приехали из Липецка и завтра отправляются в Петербург. Они сказывали, что Альбини будет сюда к 1 октября и, по желанию матушки, остановится у нас в доме, чего сами они не могли сделать, потому что не хотели пробыть здесь более суток; просили прислать как можно скорее нужные бумаги для определения в службу.

Говорят, что какой-то Ламберт нашел средство управлять воздушным шаром и обещает произвести опыт в Париже. Он намерен отправиться из Тиволи, спуститься на купол инвалидной церкви и потом отправиться в Версаль и проч. П. И. Страхов уверяет, что это не что иное, как шарлатанство, и состояться не может; но Андрей Чеботарев, великий физик, химик и алхимик, который ни в чем не сомневается и почитает все возможным, утверждает, что он сам добирается уже до этой тайны.[1] Желаю успеха!

Москва наполняется помаленьку: на улицах заметно больше движения; но из моих коротких знакомых почти никого еще нет.

19 сентября, вторник.

А. А. Беклешов получил известие, что граф Платон Александрович Зубов имел счастие 11 числа сего месяца угощать государя в витебском имении своем Усвяте, в самом том доме, в котором останавливалась императрица Екатерина Великая в 1780 и 1786 годах. Граф Зубов так был восхищен пребыванием в его доме государя, что воздвигает памятник, в виде обелиска, с надписью, которой я добыть не мог, хотя она и ходит в английском клубе по рукам. Говорят, что 17 числа государь назначил быть в Пулаве, у князя Чарторижского, который сопровождает его в путешествии. В Пулаве соберется вся польская знать и все известные красотою и любезностью женщины тамошнего края. Государя всюду носят на руках. Отрадно и весело слышать!

Дедушка видел репетицию «Эдипа» и уверяет, что такой трагедии на русском языке не бывало. Он в восхищении от стихов и от самого содержания трагедии; но игрою актеров не очень доволен. Говорит, что, «кажется, не понимают ролей своих, а вразумить некому: кто в лес, кто по дрова». Представление назначено 27 числа. Очень любопытно видеть Воробьеву в греческом костюме. Слава богу, что играет не Караневичева!

Теперь уж нет сомнения, что русский театр в будущем году поступит в ведомство императорской театральной дирекции, от которой и назначен будет директор. Актеры чрезвычайно довольны; к довершению их благополучия им объявлено, что все время бытности их в звании актеров будет зачтено им в срок, назначенный для получения пенсионов; следовательно, прежние труды их не пропадут. Драматические авторы также радуются. Я видел Н. И. Ильина и В. М. Федорова, которые утверждают, что теперь драматическая литература в Москве очень оживится и получит настоящие, свойственные ей размеры, потому что всякий сочинитель будет знать, с кем иметь дело.

21 сентября, четверг.

Вместо субботы отправляюсь к Троице завтра и пробуду там до понедельника, то есть 25 числа, потому что это день праздника преподобного Сергия и митрополит будет отправлять службу собором. Буньковский ямщик подрядился свозить меня взад и вперед за 15 руб., с тем чтоб ехать на тройке, останавливаться в Пушкине для корма не долее двух часов, от Троицы съездить в Вифанию и, наконец, возвратиться в Москву во вторник, не позже 8 часов утра. Дорого, да по крайней мере покойно и без хлопот.

Воздушные путешествия входят у нас в моду. Вот и еще новый воздухоплаватель, какой-то Кашинский,[1] объявляет о своем полете и приглашает с собою попутчика; но если с самим Гарнереном [2] никто из москвичей лететь не решился, то кто же вверится малоизвестному человеку? Сказывали, что в Петербурге с Гарнереном летал генерал Сергей Лаврентьевич Львов, бывший некогда фаворитом князя Потемкина, большой остряк, и что по этому случаю другой такой же остряк, Александр Семенович Хвостов, напутствовал его, вместо подорожной, следующим экспромтом:

Генерал Львов
Летит до облаков
Просить богов
О заплате долгов,

на что генерал, садясь в гондолу, ответствовал без запинки такими же рифмами:

Хвосты есть у лисиц, хвосты есть у волков,
Хвосты есть у кнутов —
Берегитесь, Хвостов! [3]

Я достал надпись, которая должна быть вырезана на обелиске, сооружаемом графом Зубовым в память пребывания государя в Усвяте. Вот она:

«Великий государь император Александр I присутствием своим сентября 11 дня 1805 года ознаменовал память двукратного присутствия 1780 и 1786 годов великия государыни императрицы Екатерины II, на сем месте облаготворившей присоединением под

державу свою жребий народов отторженных, ныне блаженствующих».

Чувства и мысль есть; но мне кажется, что, по важности случая, надпись требовала бы выражений сильнейших в слоге лапидарном.

26 сентября, вторник.

Трои сутки на ногах, почти не отдыхая. Вчерашнюю ночь всю в дороге, сегодняшнее утро проболтал, рассказывая Петру Ивановичу свои похождения и — ничего не устал: бодр и здоров, как говорят немцы, ganz munter. А отчего? оттого, что все делал по влечению сердца. Чувствую себя довольным и счастливым; на сердце легко. Бог весть, продолжится ли только это состояние сердечного блаженства!

У Троицы насмотрелся, наслушался и намолился вдоволь. А сколько воспоминаний! Четыре года прошло с тех пор, как при вступлении моем в пансион Ронка́ матушка возила меня к Троице за благословением преподобного чудотворца. В теперешнюю поездку мне хотелось непременно совершить пелеринаж мой по прежним следам моим. Приехав в пятницу, я начал с молебна, прикладывался к раке угодника, удостоился прикоснуться губами к деревянному гробу его и затем, в субботу, ездил в Вифанию — словом, все исполнил точно так же, как и в первую поездку, по матушкиному указанию. В Вифании встретил митрополита во время его прогулки. Он часто останавливался, подзывал к себе проходящих, раздавал какие-то приказания, вероятно, по случаю наступающего в лавре праздника, и долго разговаривал с семинаристами. Преосвященный Платон показался мне древним Платоном, беседующим в афинской академии с своими учениками; только я уверен, что языческий Платон не был так благообразен и не имел такой силы убеждения, как наш Платон, христианский. Про него, не обинуясь, сказать можно: п о у ч а е т — я к о в л а с т ь и м е я й.

В лавру преосвященный переехал в воскресенье ко всенощной, а вчера, в день праздника, служил литургию и говорил поучение, которого я, стоя, за теснотою, далеко, расслушать не мог.

Стечение поклонников было чрезвычайное: настоящий христианский праздник.

Эпоха первого переселения из деревень в столицу наступила: многие возвратились уже из подмосковных, теперь потянутся помещики из степных деревень; на днях ожидают Лобковых. Очень желаю видеть востроглазую Арину Петровну: перестанет ли она издеваться надо мною? — Едва ли. Впрочем, теперь пусть забавляется: угар проходит, если уже не прошел совсем.

28 сентября, четверг.

Дедушка прав: такой трагедии, какова «Эдип в Афинах», конечно, у нас никогда не бывало ни по стихам, ни по правильному расположению. Последнее достоинство соблюдено в ней от первой до последней сцены — а это главное; стихи бесподобные; действующие лица говорят все свойственным им языком, без чего, впрочем, стихи не были бы и хороши; мысли прекрасные, чувства бездна; есть сцены до того увлекательные, что невольно исторгают слезы; никакой напыщенности: все так просто, естественно — словом, «Эдип» такое произведение, от которого нельзя не быть в восхищении.[1] Театр был полон — ни одного пустого места, и восторг публики был единодушный. Плавильщиков, игравший роль Эдипа, был большею частью хорош, а в некоторых сценах даже превосходен: в 1-м явлении второго действия, когда он узнает, что находится близь храма Эвменид:

Храм Эвменид! Увы, я вижу их: оне
Стремятся в ярости с отмщением ко мне
и проч.

он, кажется мне, слишком горячился, но зато с каким высоким чувством печального воспоминания сказал он следующую тираду:

Гора ужасная, несчастный Киферон,
Ты первых дней моих пустынная обитель,
Куда на страшну смерть извлек меня родитель
и проч.

или:

Видала ль ты, о дочь, когда извергнут волны
Обломки корабля?
Вот жизнь теперь моя!

но верхом совершенства игры его была сцена с Полиником, в которой он точно выказал дарование необыкновенное и был преимущественно превосходен:

Зри руки ты мои, прошеньем утомленны,
Ты зри главу мою, лишенную волос:
Их иссушила скорбь и ветер их разнес.

или:

. . . Тебя земля не примет:
Из недр отвергнет труп и смрад его обымет!

Я не мог хорошо запомнить стихов, потому что плакал, как и другие, и это случилось со мною в первый раз в жизни, потому что русская трагедия доселе к слезам не приучала.

Зато какой Креон — Колпаков, какой Полиник — Прусаков, какая Антигона — Воробьева и какой Тезей! Правда, Тезей — Злов, туда и сюда: немного холоден, немного на ходулях, по крайней мере не смешон. При следующих стихах, которые произнес он недурно:

. . . Мой меч союзник мне
И подданных любовь к отеческой стране,
Где на законах власть царей установленна,
Сразить то общество не может и вселенна,

театр поколебался от рукоплесканий и криков: «браво» и проч. Спасибо нашей публике, которая какова ни есть, не пропускает, однако ж, ничего, что только может относиться к добродетелям обожаемого нашего государя.

Матушка пишет, что послезавтра должен приехать Альбини и чтоб я приготовил им спокойное помещение и угостил их как можно радушнее и лучше. Об этом мне напоминать нечего: мы с Петром Ивановичем не занимаем и половины дома; следовательно, все остальные комнаты к услугам любезного доктора и распремилой его подруги. Что же касается угощения, то об этом я также

давно позаботился: от кислых щей до разных медов и наливок — всего приготовлено вдоволь, а о кушанье нечего и говорить: одних разве фазанов не будет. Сколько бы ни пробыли здесь они, не почувствуют решительно ни в чем недостатка; даже снарядил для них и карету. Итак, милости просим, желанные гости!

1 октября, воскресенье.

Всюду толки об «Эдипе» и, странное дело, есть люди из числа староверов литературных, которые находят, что какая-нибудь «Семира» Сумарокова или «Росслав» Княжнина больше производят эффекта на сцене, чем эта бесподобная трагедия. Мне кажется, что можно безумствовать так из одного только упрямства. Все лучшие литераторы: Дмитриев, Карамзин, Мерзляков, отдают полную справедливость автору; да и нельзя: труд его достоин не токмо хвалы, но и уважения: до него никто у нас на театре не говорил еще таким языком, и те, которые показывают вид, что предпочитают ему Сумарокова и Княжнина, действуют не весьма добросовестно, потому что хотя и запрещается спорить о вкусах, но это запрещение относится скорее к огурцам и арбузам и прочему, нежели к произведениям ума. Впрочем, и то сказать: если человек иногда может быть вещественно-близорук, косоглаз и даже слеп, то почему ж ему не быть близоруким, косоглазым и слепым и в нравственном отношении? А если допустить это, пословица выйдет справедлива: о вкусах не спорь.

Как жаль, что Озеров, при сочинении прекрасной тирады проклятия Эдипом сына, не имел в виду превосходных дантовых стихов, которые так были бы кстати и так согласовались бы с положением самого Эдипа, испытавшего на себе все бедствия, им сыну предрекаемые:

Tu proverai si come sà di sale
Il pane altrui и проч. и проч.[1]

то есть:

«Ты испытаешь, как солон чужой хлеб и как жестки ступени чужого крыльца, но что еще более для тебя будет тягостным, это — скучное и развратное общество, в которое ты впадешь и которое,

несмотря на свою гнусность, неистовство и безбожие, обратится, однако ж, против тебя и посмеется над тобою». В этом сухом и плохом переводе нет и тени тех красот, которые заключаются в строфе божественного Данта, но гений Озерова умел бы облечь этот скелет в надлежащий образ и вдохнуть в него жизнь и движение.

Сегодняшний спектакль на Петровском театре, несмотря на воскресенье, отменен, по причине — так гласит афиша — «воздушного путешествия г. Кашинского, предпринимаемого им во второй раз». Хороша причина!

3 октября, вторник.

Альбини приехали сегодня к обеду и пробудут до 7 числа. Комнатами и устройством помещения чрезвычайно довольны. Обед был превкусный, а с дороги после трехдневной голодухи показался им еще вкуснее. Петр Иванович в восхищении от петербургской красавицы, да иначе и быть не может. У Альбини здесь много дел, и он должен выезжать беспрерывно. Не знаю, буду ли уметь занять милую гостью, которая все это время должна оставаться одна, но, во всяком случае, постараюсь и даже приглашу Снегиря-Nemo летать к нам почаще: он знаком уже с нею и бывает забавен.

5 октября, четверг.

Вчера ездили в немецкий театр, а сегодня возил гостей смотреть «Эдипа». Милая докторша находит, что мадам Шредер играет русалку не токмо приятнее, нежели в Петербурге мамзель Брюкль,* которая хотя имеет и огромный голос, но зато неловка и дурна собою, но даже лучше самой мадам Кафка. От Штейнсберга в восхищении: говорит, что лучше Минневарта видеть невозможно и что он и в Петербурге отличался в этой роли, несмотря на то что Линденштейн, который в фарсах почитается несравненным, играл Ларифари. Между прочим, они сказывали, что главною причиною удаления Штейнсберга из Петербурга было соперничество его с Линденштейном, потому что директор немецкого театра, Мире, передал Линденштейну половину ролей, занимаемых Штейнсбергом. Я никак не

* Впоследствии мадам Линденштейн.

предполагал, чтоб Альбини посещали русский театр и видели «Эдипа» уже в Петербурге. Они находят, что Плавильщиков в «Эдипе» превосходнее Шушерина, но что все прочие роли играются в Петербурге гораздо лучше и особенно роль Антигоны, которую исполняет воспитанница театральной школы, Семенова, с необыкновенным талантом.

Мне хотелось бы свозить гостей моих во французский спектакль в субботу посмотреть две очень хорошие пьесы: «La Femme comme il y en a peu» и «Les Folies amoureuses»; но, к сожалению, они в этот день намерены выехать.

Получено известие, что талантливая мамзель Штейн вышла замуж за отличного актера, Гебгарда, и принята на петербургский немецкий театр, на котором муж ее занимает амплуа первых любовников. Говорят, что она с каждым днем видимо совершенствуется и что публика принимает ее лучше, нежели мамзель Брюкль в операх и холодную красавицу мамзель Леве в комедиях и драмах. Пастор Гейдеке уверяет, что если семейные хлопоты и заботы не воспрепятствуют ей, она может сделаться первою актрисою Германии.

Здоровье Штейнсберга чрезвычайно расстроивается, а между тем он всякий раз играет. Сдача театра Муромцеву решена. Хорошо будет управление!

6 октября, пятница.

Сегодня посещали Альбини многие из здешних почетных медиков. Странное дело! Никто лучше их не знает, что делается в свете, оттого ли, что они, рыская беспрестанно по разным домам, имеют случаи узнавать вообще о всех происшествиях или имеют какие-нибудь особые источники, из которых могут почерпать новости; только им все известно лучше и обстоятельнее, нежели самому князю Одоевскому, который тратит такие большие суммы на содержание своих городских и загородных корреспондентов. Между прочим, гг. медики рассказывали, что вообще во всех сословиях одна речь: «благословения государю, и что, по одному его слову, все бы готовы были — старый и малый, знатный и простолюдин — не токмо жертвовать своим состоянием, но сами лично приняться за оружие

и стать в ряды воинов на защиту престола и отечества». Как теперь кстати стих Дмитриева:

Речешь — и двигнется полсвета и проч.[1]

Между тем как гости мои были заняты докторами, я воспользовался свободным временем и сделал несколько необходимых визитов, которые должен бы сделать несколько дней назад. Был у тетки Прасковьи Гавриловны, был у твоих Семеновых. Милые кузины наши Вишневские и твои сестры добреют и полнеют, но не молодеют: пора, пора! Но я боюсь, чтобы пора уже не прошла. Заезжал к Лобковым: востроглазая Арина Петровна так же хороша, так же весела и так же насмешлива попрежнему; и нельзя не любить ее; но четырехмесячное отсутствие и серьезные размышления много меня изменили. К чему могла повести меня эта исключительная привязанность?

8 октября, воскресенье.

Гости мои выехали из Москвы совершенно довольные мною, дав честное слово, в проезд свой через Москву в будущем апреле, опять остановиться у нас, а осенью ехать вместе в Петербург. Мы с Петром Ивановичем провожали их до Всесвятского, где роспили бутылку шампанского за здоровье ненаглядной Schwester Dorchen, как она мне под сурдиною велела называть ее, говоря, что это название klingt besser in die Ohren; а я прибавил: und lautet noch besser im Herzen.

Только что распростились мы с ними и они хотели садиться уже в карету, как, обернувшись, увидели мы над Москвою преогромное зарево пожара. Долго-долго стояли мы в недоумении, что такое так жарко гореть могло, пока едущий из Москвы почтальон не объяснил, что горит Петровский театр, и, несмотря на все усилия пожарной команды, едва ли она в состоянии будет отстоять его.[2]

Наконец мы расстались не без взаимного горя:

Jede zarte Blume der Bekanntschaft
Pflanzt der Trennung Dorn ins Herz, —

сказали они, и справедливо: бог весть, удастся ли опять встретиться в жизни? Столько непредвидимых случаев, столько неожиданных бедствий! Державин прав:

Сегодня льстит надежда лестна,
А завтра, что ты, человек? [1]
. . . .

Петру Ивановичу очень хотелось заехать на пожар, но я решительно отказался: из огня да в полымя! Приехал домой, и вот несколько гекзаметров на немецкую тэму Schwester Dorchen:

Смертные в жизни подобны былинкам, брошенным в море:
Ярые волны их разлучают, там съединяют внезапно,
Там разлучают опять, и кто знает, на долгое ль время?
Мило знакомство, но тяжко мгновенье разлуки. Ах! буря
Жизни может унесть за могилу минуту свиданья!

Не дай бог случиться последнему!

9 октября, понедельник.

Петровского театра как не бывало: кроме обгорелых стен, ничего не осталось. Жаль, очень жаль! Что теперь будут делать актеры? Куда деваться публике? Время спектаклей только что наступило. Теперь один ресурс — немецкий театр, но, к сожалению, Штейнсберг хиреет не на шутку, и хотя есть новые, очень хорошие сюжеты, особенно в опере, но все эти господа без Штейнсберга, как тело без души.

Чего иногда ни выдумает народ? Многие находятся в полном убеждении, что театр сгорел оттого, что в воскресенье назначено было представление «Русалки», в которой столько чертовщины, что христианину смотреть страшно и в будни, не токмо в праздник. Самые жаркие последовательницы этого мнения две наши соседки: старухи Бушуева и знаменитая башмачница, известная под прозванием раскольницы. Первой эту глупость простить можно за миловидность дочки ее, Настасьи Васильевны, но другую извинить нечем, потому что работницы ее все, как на подбор, одна другой безобразнее.

Кстати о Настасье Васильевне. Чем кончится страсть Петра Петровича Свиньина, которую он слишком неосторожно обнаруживает к этой бедной девушке? Она вовсе невинно пострадать может во мнении своих знакомых: наш околоток — царство сплетень.

Не раз посылал он ей записки, а наконец, я встретил несчастного воздыхателя под ее окошком: уверял, что дожидается ее появления, чтоб послать ей поцелуй. Что-то уж чересчур глупо! О матери говорить нечего: под носом ничего не видит, но братья могут узнать, и дело не обойдется без истории.

Намедни какой-то помещик Перхуров, отставной прапорщик и громогласный толстяк, в великом раздражении на французов кричал в Английском клубе: «Подавай мне этого мошенника Буонапартия! Я его на веревке в клуб приведу». Услышав грозного оратора, Иван Александрович Писарев, только что приехавший из деревни, скромный тихоня, спросил у Василья Львовича Пушкина: не известный ли это какой-нибудь генерал и где он служил? Пушкин отвечал экспромтом:

Он месяц в гвардии служил
И сорок лет в отставке жил,
Курил табак,
Кормил собак,
Крестьян сам сек —
И вот он в чем провел свой век!

Иван Иванович говорит, что Пушкин и не воображает, какая верная и живая биография Перхурова заключается в его экспромте.

С удивлением рассказывают, с какою малою свитою государь изволит путешествовать. Его сопровождают не более восьми человек: обер-гофмаршал граф Толстой, князь Чарторижский, генерал-адъютант князь Долгорукий, граф Ливен и Уваров, лейб-медик Вилье, статский советник Убри и камергер принц Бирон.

11 октября, среда.

Вот что рассказывал генерал Бардаков, находившийся некогда в главной квартире князя Потемкина-Таврического.

Князь обложил какое-то турецкое укрепление и послал сказать начальствовавшему в нем паше, чтоб сдался без кровопролития; между тем, в ожидании удовлетворительного ответа, приготовлен был великолепный обед, к которому приглашены были генералитет и все почетные особы, к свите князя принадлежащие. По расчету

светлейшего, посланный парламентер должен был явиться к самому обеду, однако ж он не являлся. Князь сел за стол в дурном расположении духа, ничего не ел, грыз, по обыкновению своему, ногти и беспрестанно спрашивал, не едет ли посланный. Обед приходил к окончанию, и нетерпение князя возрастало. Наконец вбегает адъютант с извещением, что парламентер едет. «Скорей, скорей сюда его!», — восклицает князь, и чрез несколько минут входит запыхавшийся офицер и подает князю письмо; разумеется, в ту же секунду письмо распечатано, развернуто. . . Но вот беда: оно писано по-турецки — новый взрыв нетерпения! «Скорее переводчика!». Переводчик является. «На, читай и говори скорее, сдается ли укрепление или нет?». Переводчик принимает бумагу, читает, оборачивает письмо, вертит им перед глазами туда и сюда, пожимает плечами и не говорит ничего. «Да говори же скорее, сдается укрепление или нет?», — восклицает князь в величайшем порыве нетерпения. «А как вашей светлости доложить? — прехладнокровно отвечает переводчик. — Я в толк не возьму. Вот изволите видеть, в турецком языке есть слова, которые имеют двоякое значение: утвердительное и отрицательное, смотря по тому, бывает поставлена над ними точка или нет; так и в этом письме находится именно такое слово. Если над этим словом поставлена точка пером, то укрепление не сдается, но если эту точку насидела муха, то на сдачу укрепления паша согласен». — «Ну разумеется, что насидела муха!» — воскликнул светлейший и тут же, соскоблив точку столовым ножом, приказал подавать шампанское и первый провозгласил тост за здравие императрицы. Укрепление точно сдалось, но только чрез двои сутки, когда паше обещаны были какие-то подарки; а между тем донесение государыне о сдаче этого укрепления послано было в тот же день, когда светлейший соскоблил точку, будто бы мухой насиженную.

Вот какие дела прежде сходили с рук! Впрочем, князю Потемкину многое извинить было можно за веру его во всемогущество русского народа и премудрость Екатерины. Он был именно тот человек, который, по словам Державина:

. . . взвесить смел
Мощь Росса, дух Екатерины,

И, опершись на них, хотел
Вознесть их гром на те вершины,
На коих древний Рим стоял
И всей вселенной колебал![1]

14 октября, суббота.

Шурин Г. Р. Державина, Н. А. Дьяков, показывал несколько его писем и, между прочим, собственноручное его послание, в котором наш бард делает намеки на увольнение Дьякова от должности московского прокурора и как будто утешает его в невзгоде:

Коль с невинных снял железы,
Ускорил коль правый суд,
Коль утер сиротам слезы,
Не брал лихвы, не был плут,
Делал то, что делать должно —
И без чина ты почтен и проч. и проч.[2]

Прочие стихи не припомню, только Иван Иванович говорит, что Дьяков совсем не из разряда тех людей, которые бы могли внушать поэтические послания. И точно, мне показался он не более, как прокурором, но прокурором зажиточным и наторелым в хорошем обществе. Между прочим, к слову о Державине. Наблюдательный Иван Иванович рассказывал, что Гаврила Романович по кончине первой жены своей (Катерины Яковлевны, женщины необыкновенной по уму, тонкому вкусу, чувствам приличия и вместе по своей миловидности) приметно изменился в характере и стал еще более задумчив и хотя в скором времени опять женился, но воспоминание о первой подруге, внушавшей ему все лучшие его стихотворения, никогда его не оставляет. Часто за приятельскими обедами, которые Гаврила Романович очень любит, при самых иногда интересных разговорах или спорах, он вдруг задумается и зачертит вилкою по тарелке вензель покойной, драгоценные ему буквы К. Д. Это занятие вошло у него в привычку. Настоящая супруга его, заметив это ежедневное, несвоевременное рисованье, всегда выводит его из мечтания строгим вопросом: «Ганюшка, Ганюшка, что это ты делаешь?». — «Так, ничего, матушка», — обыкновенно с торопливостью отвечает он, вздохнув глубоко и потирая себе глаза и лоб как будто спросонья.

18 октября, среда.

Москва находится в каком-то волнении по случаю объявленной войны с французами. В обществах о ней только и говорят; ожидают чего-то чрезвычайного. Многие, кажется мне, чересчур уже храбрятся и презирают французов, говоря, что первою схваткою все должно окончиться и что мы непременно поколотим этих забияк; а другие думают, что одно выигранное сражение еще не решит дела; вообще же все надеются на государя, и очень мало находится таких людей, которые не уверены были бы в успешном окончании кампании, тем более что армиею командует генерал Кутузов. Намедни у князя Несвицкого П. С. Валуев рассказывал, что Кутузов соединяет все качества настоящего военачальника: обширный ум, необыкновенное присутствие духа, величайшую опытность и ничем непоколебимое мужество, и что он был чрезвычайно уважаем самим Суворовым, который называл его правою своею рукою.

Вот обещанный список русских, французских и немецких актеров и актрис с обозначением их амплуа. Сведения о первых двух труппах, которые теперь, по случаю пожара театра, находятся без всякого дела, притащил мне дедушка, а о немцах я позаботился сам. Как жаль, что не успею передать тебе и всех закулисных сплетень, которых у меня, по милости дедушки, порядочный запас! Разве удастся только сообщить историю о том, отчего из двух актрис, сестер Лисицыных, старшая сделалась госпожею Бутенброк и почему она перед самым венчанием была высечена розгами. История очень интересная, только извини, до будущей недели не скажу ничего.

Русский театр

1) Плавильщиков — в трагедиях, драмах и некоторых комедиях, что называется, первые роли.
2) Померанцев — в драмах и комедиях роли благородных отцов. Высокий талант, которому цены не знают.
3) Колпаков — поступил на роли благородных отцов, а покамест играет иногда роли и не своего амплуа.

4) Кондаков — играет что велят, а по-настоящему резонер и порядочный Тарас Скотинин.
5) Прусаков — герой и первый любовник в трагедиях, драмах и операх: всюду на ходулях.
6) Украсов — несмотря на преклонные лета, остался на амплуа вертопрахов и, надобно отдать справедливость, играет отлично, хотя иногда ему изменяет орган: хрипит.
7) Мочалов — малый видный; играет везде: в трагедиях, комедиях и операх и нигде, по крайней мере, не портит.
8) Жебелев — в трагедиях и драмах первый любовник, но, говорят, хочет поступить на комические роли. И хорошо сделает.
9) Зубов — очень хороший актер всюду, а вместе и певец. Голос удивительный. По смерти Уварова пел принца Тамино в «Волшебной флейте» и даже лучше, чем его предшественник. Жаль, что для таких ролей не очень взрачен собою. Отлично хорош в «Клейнсбергах» Коцебу, в роли волокиты старого графа.
10) Орлов — в ролях молодых людей, а иногда и слуг в драмах и комедиях. Талант есть.
11) Злов — играет в трагедиях, драмах и операх. Всюду хорош, где горячиться не нужно. В драме «Сын любви», в роли пастора бесподобен. Славный собеседник.
12) Сандунов — по амплуа своему слуга отличный, но теперь большею частью любит играть гримов: Клима Гавриловича, голодного поэта в комедии «Черный человек», и проч.
13) Волков и 14) Кураев — оперные комики в одном и том же амплуа. Оба с талантом, но последний умнее и натуральнее, хотя и не так любим публикою.
15) Соколов — молодой человек с хорошим голосом: игра непринужденная. Путь будет.
16) Лисицын — любимец райка. Гримаса в разговоре, гримаса в движении — словом, олицетворенная гримаса даже и в ролях дураков, которых он представляет.
17) Кавалеров — недавно поступил на роли слуг из учеников Сандунова.

18) Медведев — бесподобен в роли Еремеевны в «Недоросле», которую, по каким-то преданиям, играют всегда мужчины; даже и на петербургском театре играет ее актер Черников.
19) Сандунова — об этой и говорить нечего.
20) Померанцева — старуха, каких мало. В драмах заставляет плакать, в комедиях морит со смеху. Играет и в операх. Талант необыкновенный.
21) Воробьева — в трагедиях и драмах роли первых любовниц. Иногда бывает недурна.
22) Баранчеева — роли благородных матерей и больших барынь в драмах и комедиях.
23) Караневичева — роли молодых любовниц превращает в старых.
24) Насова — премиленькая оперная актриса и была бы еще лучше, если б кто-нибудь занялся ею. Чистая натура; жеманства ни на грош и прекрасный голос.
25) Бутенброк — певица недурная. Баба плотная, белая и румяная, но зубы уголь-углем.
26) Лисицына — сестра ее; недавно поступила на роли старух. Есть талант. Играет в комедиях и операх, только стихов читать не умеет: рубит их с плеча, не соблюдая ни цезуры, ни ударений. Охотница повеселиться.

Nota bene: Волков, Кураев, Баранчеева и Лисицына — крепостные люди: первый князя Волконского, а последние Столыпина, которому принадлежала также актриса Бутенброк, бывшая Лисицына, недавно выданная замуж за немца, и покойный Уваров, отличный певец, красавец собою и прекрасный актер. Вот был настоящий принц Тамино! Жаль его!

Французская труппа

1) Дюпаре — отличный актер во всех амплуа. Это другой Штейнсберг, разумеется, на французский лад.
2) Белькур — благородный отец. Прекрасно играет аббата Лепе и Фенелона.
3) Мерьеннь — недурен в ролях, что называется financiers: Оргонов, Сганарелей и проч.

4) Брюне и
5) Девремон — любовники в драмах и комедиях.
6) Арман — гримов.
7) Роз — слуг.
8) Кремон — тоже слуга и, говорят, еще покорный жены своей у которой шашни с графом Салтыковым. Сверх того, дирижирует оркестром и дает уроки на скрипке.
9) Мадам Дюпаре — первая любовница вроде Караневичевой.
10) Мадам Сериньи — первые роли в драмах и комедиях. Поступила вместо мадам Лавандез.
11) Мадам Мериеннь — играет старух и дуэнь.
12) Мадам Роз — служанка.
13) Мадам Брюне — амплуа благородных матерей.
14) Мадам Кремон — красивенькая актриса. Недурна в оперетках, напр. в «Арестанте», мило поет «Lorsque dans une tour obscure», но совсем не Виргиния, роль которой непременно присвоивает себе

Остальные сюжеты не стоят того, чтоб упоминать о них: простые подносчики писем.

Немецкая труппа

1) Штейнсберг — абсолют.
2) Литхенс — Карл Моор, Фердинанд и проч.
3) Кистер — любовник, злодей и проч.
4) Нейгауз — роли благородных отцов и комических стариков.
5) Короп — комические роли.
6) Эме,
7) Кюн,
8) Беренс и
9) Петер — куклы, которыми двигает по произволу Штейнсберг.
10) Вильгельм Гас — хороший певец и актер в ролях стариков.
11) Гальтенгоф — отличнейший тенор и музыкант, но спадает с голоса.
12) Гунниус — известный в Германии бас и отличный певец и актер. В ролях Лепорелло в «Дон-Жуане», Осмина в «Похи-

щении», Хоразмина в «Обероне», Зороастра в «Волшебной флейте» и Аксура в «Аксуре» Салиери удивительно хорош.

13) Актрисы Шредер и

14) Кафка — поступили на роли мамзель Штейн в драмах, комедиях и операх. Обе хороши, но первая лучше; обе русалки, только последняя второго разряда: eine gemeine coquette.

15) Мамзель Соломони — первая певица в бравурных партиях.

16) Мадам Гунниус — огромная и толстая женщина с превысочайшим сопрано; только и годна, что для роли царицы ночи в «Волшебной флейте».

17) Мамзель Гунниус — милая певичка, Церлина, крестьянка.

18) Мадам Штейнсберг — молодая любовница в драмах и комедиях.

19) Мадам Гебгард — роли старух в драмах, комедиях и операх.

20) Мадам Гальтенгоф — буквально на всякое употребление.

21) Маленькая Шредер — удивительный, премилый ребенок. В роли Лили в «Русалке», право, чуть ли не лучше матери.

22 октября, воскресенье.

Государь пробыл в Берлине несколько часов и отправился в Потсдам, где пробудет несколько дней, и после поедет в Веймар к великой княгине Марии Павловне.[1] Москва мысленно следует за ним повсюду, и я никогда не замечал в обществах такой жадности к политическим новостям, как теперь. Князь Одоевский нарочно нанимает на Мясницкой, против почтамта, маленькую квартирку, чтоб видеть, когда приходит почта, и чтоб первому получать известия, с которыми тотчас и отправляется по своим знакомым или в английский клуб, где вокруг него всегда собирается кружок нувеллистов. Говорят, наши войска находятся в необыкновенном одушевлении, от которого ожидают многого.

Как бы хотелось мне попасть в этот клуб, а возможности нет: ни служащих в Москве, ни учащихся, ни домовладельцев гостями не пускают, а в члены попасть нашему брату очень трудно, да, признаться, как-то и страшно: разом попадешь в шалопаи, к чему, между нами, я, кажется, имею великую наклонность.

Бедный русский театр, бедная французская труппа! Со времени пожара все актеры без дела и повесили головы. Что же касается актрис, то Сила Сандунов говорит, что их жалеть нечего, потому что они имеют свои ресурсы. Селивановский заметил, что жена его также актриса. «Так что ж? — возразил Сандунов, — жена сама по себе, а актриса сама по себе: два амплуа — и муж не в убытке».

Уж подлинно, как говорит о нем князь Юрий Владимирович, настоящий Сахар Медович Патокин: никому нет пощады.

Немецкий театр пользуется безвременьем театров русского и французского и беспрестанно усиливает свои представления. Посетителей много, и Штейнсберг делает хорошие сборы. Так-то бывает на свете: несчастье одного составляет благополучие другого.

Вот хоть бы и наш Альберт Великий, физик и химик, Андрей Харитонович Чеботарев, прочитав в какой-то иностранной газете, что двум механикам, Полю и Лемерсье, удалось, наконец, разрешить задачу управления полетом воздушных шаров, находится в величайшем отчаянии, уверяя, что эта тайна давно уже им открыта и что он «обокраден, кругом обокраден, даже фигура шара самая та, какую изобрел я (говорит он); форма птицы в пропорциях 10 сажен ширины и 3 сажен вышины с крыльями по бокам!». Страхов, читавший также об этом в журнале «Публицист», решительно удостоверяет, что все это просто мистификация, не заслуживающая никакого внимания.[1]

26 октября, четверг.

Целый день таскался с поздравлениями по именинникам. Я, право, не думал, чтоб у меня столько было знакомых Дмитриев; и все они, на беду мою, живут в противоположных частях города: одни в Лефортове, другие на Пречистенке, третьи у Серпуховских ворот, а Цицианов на Поварской. Околесил, конечно, пол-Москвы, покамест добрался до Газетного переулка к чудаку Митро Хотяйнцеву. Накормил, напоил или, лучше, окормил и опоил. Он сделался еще оригинальнее: так потолстел, что кубарь-кубарем, и стал плешивее полного месяца. Недели три гуляет напропалую и теперь только и знается, что с земским судом, от секретаря до последнего

подьячего. Шампанское льется, как вода, и когда компания упьется, задерет хором козелка: «Как пошел наш козелчик в лесочек гулять: зум-зум, зум-зум и проч.». — «Да помилуй, Митро, — говорит ему брат, — что тебе за охота водиться с этим пустым народом?». — «Как что за охота? Ну, а неравно, под следствие попадешь». — «Да ведь ни у тебя, ни у меня дел никаких нет». — «Теперь нет, да могут случиться». — «Именья также у нас в московской губернии, кроме дома, нет». — «Теперь нет, да быть может: надо думать о будущем». Толкуй с ним! А ведь у молодца больше тысячи душ.

Между тем с этими поздравлениями и бражничаньем, кажется, я далеко не уйду. Еще слава богу, что прошлого года успел перейти Рубикон; иначе, чувствую, что пришло бы мне плохо: бог весть отчего теперь мне стоит такого напряжения быть внимательным. Намедни Антонский заказал для предстоящего акта стихи, и до сих пор ничего не лезет в голову. Зато добрый мой Петр Иванович оседлал Пегаса и корпит над одою под названием «Гений», в которой вовсе незаметно присутствие гения. Мерзлякову заказаны стихи на благость, Грамматину «Гимн Истине» и Соковнину стансы «На счастье». «Все-т а предметы-т а нравственные, — говорит Антон Антонович, — вот и ты- т а написал бы что-нибудь „На невинность“-т а, а то все актерки-т а на уме».

Брани, Антон, ругай меня!
Что стою брани — сам я знаю,
И за нее, поверь, тебя
Еще я больше уважаю:
Ты хочешь мне добра, и я —
В театр немецкий уезжаю!

Все так, а чуть ли Антонский не прав! Мне кажется, я просто не оправился еще от июньской моей горячки. Иначе быть не может.

Между тем, за что ты щуняешь меня? Где это умничанье, которым ты мне попрекаешь? Ты хочешь, чтоб я писал обо всем без разбора, но я и так поступаю, как долгоруковская калмычка Чума, которая, по выражению умного дурака Савельича,[1] «все воспевает, на что ни взирает»: кажется, рублю с плеча все, что ни попадется под руку. Неблагодарный!

30 октября, понедельник.

Вчера после обедни отправились мы с Колычевым за тверскую заставу на садку и как раз попали на драку двух охотников, смешную и жалкую. Вот как происходила баталия: полупьяному содержателю садки вздумалось похвастаться перед многочисленным собранием охотников, что к нему доставлены какие-то отличные бойкие степные русаки, которых он предлагает сажать на уход, с тем, что если русак затравлен будет, то за него денег не платить, а если уйдет, то он, содержатель, получает с охотника, пускающего свою собаку, 10 руб. Предложение принято единодушно, и двое из самых отчаянных охотников и, к несчастью, старинных по охоте соперников, Лихарев и Похвиснев, приказали начать садку. Надобно сказать, что вчера целый день моросил дождик, а к ночи сделался мороз, и Ходынское поле покрылось тонким и ровным слоем льда, так что собаки должны были непременно разъезжаться и перепортить ноги, что, кажется, хитрый пьянюга и имел в виду. Сначала пущена была собака Н. А. Лихарева, какая-то знаменитая Акушка, которая довольно скоро приспела к русаку, дала несколько угонок, но, разъезжаясь, не успевала захватить его и, ослабев, начала мало-помалу отставать, а наконец и совсем остановилась. У Лихарева заметно побагровело лицо и напружились жилы. «Что, батюшка, Никита Андреич, — сказал Похвиснев, — видно русачек-то не по силам вашей собачке». Лихарев промолчал, но бросил на Похвиснева такой ужасный взгляд, что у меня замерло сердце. Вот посадили собаку Похвиснева. Была ли она лучше собаки лихаревской или второй русак был тупее первого — право, не знаю, только после нескольких угонок похвисневская собака мастерски вздернула на щипец зайца, к великому огорчению содержателя травли и торжеству своего владельца. «Браво, браво!», — вскричали охотники. «Какое тут браво, — завопил Лихарев, — это просто стачка между двумя подлецами: один сажает полумертвого русака, другой пускает на него свою полудворнягу, чтоб только сделать мне афронт!». При этой выходке Похвиснев бросился на Лихарева с арапником, но тот предупредил его сильным ударом кулака в лицо, так что разбитые вдребезги очки почти врезались в глаза Похвисневу и —

тут уже пошло сущее кровопролитие. Многие из охотников, общих знакомых воителям, бросились разнимать их; но все известные и почетные люди, как то: Алябьев, Мясоедов, Всеволожский, князь Голицын, Поливановы, Новиковы и проч., тотчас же уехали, что сделал и я, человек неизвестный и непочетный, поспешая на обед к князю Михаилу Александровичу. Храбрецов отвезли к обер-полицеймейстеру Балашеву.

У князя обедали несколько литераторов: князь Шаликов, Макаров и какой-то Иванов, о котором я не слыхивал, и обычные его посетители Плавильщиков и Злов. Очень дельно замечание Плавильщикова насчет нынешних молодых людей обоего пола, которые являются с желанием поступить на сцену: «Вы не поверите, — говорит он, — что это за народ: у одних ни рожи ни кожи; у других вместо голоса какое-то гортанное шипенье; третьи едва читать умеют — и все ссылаются на страсть свою к театру; а наши старшины тотчас и заголосят: талант! и мы же виноваты, что не хотим, будто бы из зависти, заняться претендентами. Ой уж мне эти протекторы! В мое время для поступления в актеры являлись люди, которые соединяли в себе хотя какие-нибудь условия для актерского звания, например порядочную фигуру, довольно звучный орган и некоторую образованность, приобретенную если не ученьем, так некоторою начитанностью: с такими способностями и посредственные актеры могут быть сносны для публики. Вот хоть бы взять нашего Кондакова: он из семинаристов и, по-настоящему, плохой актер, но публика его терпит, потому что он читает внятно, слова нижет как жемчуг, ни одного не проронишь. Такой человек если не оттенит своей роли, то и не проглотит ее, но передаст публике верно, что хотел сказать и написать автор. Если имеешь орган и чистое произношение, то есть и возможность заставить слушать себя. Другой пример — Караневичева: у ней один тон, что на сцене, что за кулисами, о движенье страстей понятия не имеет, о пластике не слыхивала, актриса вовсе плохая, а читает хорошо и, будучи на месте зрителя, я предпочел бы ее многим пресловутым актрисам, с которыми мне играть доводилось и которые только что шептали свои роли, потому что сцену почитали пьедесталом, на котором

могли поломаться пред публикою. Разумеется, я говорю о Кондакове и Караневичевой только по отношению к недостатку у нас хороших актеров и актрис, выбирая из худого лучшее; потому что, если б у нас все были Крутицкие, Померанцевы и Шушерины, а в женщинах Синявские, Померанцевы и Рахмановы, то Кондакову и Караневичевой никогда бы не бывать на сцене».

Князь Шаликов так и расстилался перед княжнами в комплиментах, которые напомнили мне липецкого Ивана Кузьмича. Он намерен издавать с нового года журнал под заглавием: «Московский зритель»,[1] о чем хочет публиковать в газетах, а между тем напечатал особое объявление, которого экземпляры носит с собою для раздачи их знакомым и незнакомым, встречным и поперечным. Вот тебе эта чушь: «Будут словесность русская и иностранная, отрывки, повести, анекдоты, басни и стихи. Хороший вкус и чистота слога, тонкая разборчивость литераторов (почему не литературы?) и нежное чувство женщин будут одним из главных предметов моего внимания. Будет статья и для критики — не брань, но критика здравая и беспристрастная должна быть в журнале такого рода непременно: она служит светильником в путях искусства, занимает читателя, еще более артиста, и научает самого критика — польза важная и неоспоримая! Иногда журнал будет заключаться смесью!!».

А вот и мадригал его старшей княжне, как нарочно написанный для твоего сборника курьезных сочинений:

Как светит сладостно прекрасная луна
На мрачную небес безбрежность
И на тревожный мир лиет с высот она
Спокойствие и безмятежность:
Так в мрак моей души и сердца в безнадежность
Ты льешь покой и свет, прелестная княжна!

2 ноября, четверг.

Все наши столбовые москвичи находятся в ожидании чего-то чрезвычайного. У главнокомандующего ежедневно большой приезд, и он принимает во всякое время. Всюду какая-то ажитация, а об английском клубе и толковать нечего: говорят, что это настоящий воскресный базар; все хотят непременно что-нибудь узнать,

а за недостатком верных известий верят всяким небылицам. С одной стороны, смешно, а с другой — извинительно. Граф Иван Андреевич говорит, что это любопытство, в каком бы виде оно ни представлялось, доказывает искреннее участие в судьбах отечества и его славе и преследуемо быть не должно.

Вот прекрасные стихи, которые ходят везде по рукам; иной и не знает по-немецки, а все-таки непременно хочет иметь их. Яков Иванович де Санглен сказывал, что будто бы они взяты из берлинских газет. В наших ведомостях таких не ожидай. Чудо, какая энергия!

Die Ehre ruft! die Pflicht gebeut!
Zum Schwerte zuckt die Hand —
Und jedes Kriegers Herz erneut,
Durchflammt von Gluth der Tapferkeit
Den Schwur: «fürs Vaterland!».

Наконец нашли какой-то балаган в доме князя Волконского на Самотеке, который обращают в театр. Сказывают, что человек двести поместиться могут. Но покамест все это одни разговоры; а когда откроются спектакли — знают лишь про то першие.

5 ноября, воскресенье.

За обедом у Ростислава Евграфовича Татищева видел я Дмитрия Ардальоновича Лопухина, бывшего калужского губернатора, непремиримого врага Державину за то, что этот, в качестве ревизующего сенатора, сменил его за разные злоупотребления. Лопухин не может слышать о Державине равнодушно, а бывший секретарь его, великий говорун Николай Иванович Кондратьев, разделивший участь своего начальника и до сих пор верный его наперсник, приходит даже в бешенство, когда заговорят о Державине и особенно если его хвалят. Этот Кондратьев пописывает стишки, разумеется, для своего круга, и, по выходе Державина в отставку, спустил, по выражению, кажется, Сумарокова, свою своевольную музу, аки цепную собаку, на отставного министра и выразил удовольствие свое следующим стихотворным бредом:

Ну-ка, брат, певец Фелицы,
На свободе от трудов

И в отставке от юстицы
Наполняй бюро стихов.
Для поэзьи ты свободен,
Мастер в ней играть пером,
Но за что стал неугоден
Министерским ты умом?
Иль в приказном деле хватки
Стихотворцам есть урок?
Чьи, скажи, были нападки?
Или изгнан за порок?
Не жена ль еще причиной,
Что свободен стал от дел?. . .[1]

Далее, слава богу, не припомню. Кроме неудовольствия слышать эти гадкие, кабачные стихи, грустно видеть в них усилие мелочной души уколоть гениального человека, который, вероятно, никогда и не узнает об этих виршах. Просто: кукиш из кармана.

Тут же повстречал я симбирского помещика, старика Степана Степановича Кроткова с молодою женою. Он известный богач, владелец шести тысяч душ крестьян, и богатство его имело источником совершенно романическое приключение. Кротков был прежде очень бедный дворянин, обремененный семейством. Бунтовщик Пугачев, во время разгрома симбирской губернии проезжая мимо деревушки Кроткова, полюбил местоположение этой деревушки и обратил ее в главное свое становище, а из гумна, риги и овинов поделал магазины и кладовые для всего награбленного им в губернии имущества. Когда налетевшие отряды войск выгнали самозванца из его становища, Кротков, следовавший за отрядами, немедленно возвратился в свое именьице и нашел в риге, овинах и даже, говорят, в хлебных скирдах множество всякого добра и, между прочим, несколько баулов с деньгами, серебряной посудой и другими разными драгоценными вещами, всего тысяч на двести. Тут накупил он имений и, будучи хорошим хозяином, год от году приобретал более и более, зажил, что называется, паном и век свой изжил бы паном без горя, присовокупя еще столько же тысяч душ, сколько уже имел, если б не позамотались служившие в Петербурге сынки. Один из них, видно, понаходчивее и поудалее других, имея нужду

в деньгах, вздумал продать отцовское имение и в числе крестьян, в главе подворной описи поместил в продажу и самого родителя своего, под скромным званием бурмистра Степана Степанова сына Кроткова. Разумеется, пошло дело, и купчая уничтожена; однако ж старик, для избавления сына от преследования уголовных законов, принужден был помириться с покупщиком, заплатив ему едва ли не двойную цену против той, какую получил за имение сын. Но в наказание мотоватых деток, он женился на бедной девушке и лучшее имение свое, подмосковное село Молоди, укрепил уже за молодою женою.[1]

Это добрая заметка для тех, которые полагают, что человек может быть постоянно во всем счастлив.

7 ноября, вторник.

На ловца зверь бежит. Петр Иванович привез мне от Селивановского только что оттиснутый проект любопытного объявления об издании «Дамского журнала», которое будет напечатано и в газетах. Это просто объяденье, что твой князь Шаликов!

«Из уважения к почтеннейшим российским дамам(!) в следующем — 1806 — году будет издаваться ежемесячное издание под названием „Дамский журнал“.[2] В нем помещаться будут пьесы разных родов в стихах и прозе. Главным предметом будет: нежная чувствительность, сопряженная с моралью. Иногда помещаемы будут статьи о модах, переводимые из иностранных журналов. Критика и политика исключаются. Издатель поставит себе за особливую честь, если удостоен будет от почтенных российских поэтов присылкою их произведений».

Я непременно хочу попасть в число почтенных российских поэтов и пошлю издателю некоторые из моих произведений. Не поместит ли он моих куплетов из переводных пьес, например хоть из оперы «Братья-охотники», в которой меньшой брат поет:

Заячьи ножки
Больно востры,
Все их дорожки
Страх как пестры.

Средний отвечает:

Заяц больно чуток,
Нам тут не клад;
Станем лучше уток
Становить мы в ряд.

Старший замечает:

Ваши зайцы, ваши утки —
Всё одни пустые шутки.
Вот как волка приберем —
Не рублем тогда запахнет:
Вся деревня наша ахнет,
Как десятка два возьмем.

А между тем хозяйка постоялого двора, за которою они приволакиваются, кокетничает перед ними и угощает их:

Вот вам, милые дружочки,
Очень вкусные кусочки,
Вот тебе, Петруша, щи;
Если дурны — не взыщи:
Я варила как умела
И капусты не жалела.
Вот тебе, Иван, мясца,
Кушай до поту лица;
А тебе, Алеша, кашки;
После всем налью и бражки.

Уж если тут мало нежной чувствительности, сопряженной с моралью, так где же искать ее более? Ссылаюсь на умного и милого Мерзлякова, которому показывал я свой перевод и который с тех пор, как узнал я о его переводах итальянских опер, удивительно как снисходителен стал к моему вдохновению и называет меня парнасским люстихом.[1]

12 ноября, воскресенье.

Нынешний день начались и русские спектакли на театре князя Волконского. Театрик хоть куда: помещается до 300 человек. Давали «Беглого солдата», и пьеса шла не очень удачно. Главный персонаж был в каком-то курчавом, рыжем парике, который безобра-

зил его до такой степени, что сидевший со мною рядом в партере толстый купец, садовод Лебедев, не вытерпел, чтоб не вымолвить: «Ишь, батюшка, точно как у принца со сковороды ушел». Я в первый раз слышу эту поговорку и ума не приложу, откуда она проистечь могла.

В среду, 15 числа, немцы дают в первый раз большую оперу «Der Spiegel von Arcadien», в которой мадам Hunnius играет роль Юноны. Вот уж настоящая Юнона, какую изобразили Гомер и Виргилий! Во-первых, глаза у ней как у быка и, во-вторых, одним ударом широкой длани своей может угомонить какого хочешь Юпитера и все другие олимпийские божества, которые с нею будут на сцене.

Получено известие, что государь пробыл самое короткое время в Дрездене и уже выехал оттуда. Войска наши идут к месту назначения в порядке, и как генералы, так и офицеры горят нетерпением сразиться с французами. Граф Ростопчин говорит, что русская армия такова, что ее не понуждать, а скорее сдерживать надобно, и если что может заставить иногда страшиться за нее, так это одна излишняя ее храбрость и даже запальчивость. Он уверяет, что нашим солдатам стоит только сказать: «За бога, царя и святую Русь», чтоб они без памяти бросились в бой и ниспровергли все преграды, но что с французами и немцами говорить надобно умеючи. Так, Генрих IV говорил первым: «Господа! вы — французы и неприятель пред вами»; а с последними генерал Цитен логически рассуждал: «Государи мои! сегодня у нас сражение, следовательно, все должно итти как по маслу». Всякому свое. Suum cuique. Балагур!

15 ноября, среда.

Иван Владимирович Лопухин сказывал Невзорову, что в Германии встречают нашего государя как защитника и избавителя и что восторг всех классов народа при встрече с государем превосходит всякое описание. Он обворожил всех, от мала до велика, простым и милостивым своим обращением: мужчины бегают за ним толпами, а женщины придумывают разные способы для доказательства своего к нему уважения. Так, в память пребывания его в Берлине дамы ввели в моду носить букеты под названием александров-

ских, которые собраны из цветов, составляющих по начальным буквам своих названий имя Alexander. Без этих букетов ни одна порядочная женщина не смеет показаться в общество, ни в театр, ни на гулянье. Вот из каких цветов составляются букеты, которые разнятся только величиною и ценностью; большие носят на груди, а маленькие в волосах: Anemone (анемон), Lilie (лилия), Eicheln (жолуди), Xeranthenum (амарант), Accazie (акация), Nelke (гвоздика), Dreifaltigkeitsblume (веселые глазки), Epheu (плющ) и Rose (роза).

Мило и остроумно! Непременно закажу такой букет и поднесу его востроглазой Арине Петровне, на коленях à la Visapour и при мадригале à la Schalikoff. Кстати же, готовятся по воскресеньям и балы у графа Орлова. При первом хорошем известии из армии пойдет дым коромыслом; но покамест молятся богу о государе и толкуют о новостях.

По милости Невзорова я не попал ни в один театр и не видал ни «Spiegel von Arcadien», ни «Catherine ou la belle Fermière» и сердечно этому рад. Иногда таскаешься по театрам только от скуки, и я не ропщу, когда есть случай посидеть вечером дома, лишь бы не одному.

17 ноября, пятница.

Почтенный начальник Москвы, Александр Андреевич Беклешов, столь известный своим здравым русским умом, неколебимостью и праводушием своего характера, есть вместе человек самого доброго и нежного сердца. Кто бы мог это сказать, смотря на угрюмую его физиономию и некоторую жесткость в обхождении? П. И. Аверин, отлично умный человек, находящийся с Александром Андреевичем в самых близких отношениях по службе и пользующийся полною его доверенностью, рассказывал за обедом у Арсеньева такие черты его доброты, которые невольно извлекают слезы. Александр Андреевич очень-очень небогат, даже в сравнении с прочими вельможами может назваться вовсе бедным, а между тем так охотно и с таким радушием благодетельствует всем, кто ни прибегает к его помощи! Не говоря уже о брате его, Николае Андреевиче, которому как отцу

многочисленного семейства предоставил он все доходы с небольшого родового своего имения, он все почти карманные деньги свои раздает неимущим. Как-то на днях опять явилась к нему с просьбою о детях вдова надворного советника Федорова, умершего под судом за растрату казенных денег. «Ну, ты опять пришла, — говорит ей Беклешов, — ведь я сказал уж тебе, что муж твой был плут и я за тебя, хоть ты расплачься, государя беспокоить не стану. А вот тебе на бедность от меня еще сто рублей; как проешь их, так добрые люди еще помогут. О старших же ребятишках попрошу губернского предводителя или кого-нибудь из ученых, чтоб поместили в какое-нибудь училище. Ну, теперь пошла!». Учеными называет Александр Андреевич университетское начальство.

А вот и резолюция его на докладную записку Балашева о баталии на садке: «Лихарева с Похвисневым содержать как озорников, под арестом, покуда искренно не примирятся; а примирятся, так тотчас выпустить, сделав нотацию, что благородным людям, к соблазну публики, приходить в азарт и драться стыдно!».

Витязи в тот же день разъехались от обер-полицеймейстера совершенными друзьями.

Вот каков наш добрый начальник, которого наставление московским властям должно бы напечатать золотыми буквами: слабостям снисходи, проступки исправляй, злонамерение преследуй, преступления предотвращай, а раскаянью прощай. Где Беклешов ни служил, какие высокие должности ни занимал — генерала ли прокурора, генерала ли губернатора, — всюду снискивал он любовь и уважение и всюду был, по словам поэта Петрова,

Защитник строгого зеноно̀ва закона
И стоик посреди великолепий трона![1]

20 ноября, понедельник.

22 числа у французов бенефис Брюне: «Portrait de Michel Servantes» и «Heure du mariage» Етьенна,[2] а у немцев бенефис Гунниуса: «Die Luft-Bälle», опера Френцеля. Куда ехать? Я думаю —

к немцам, потому что объявление о французском спектакле прекурьезное и не внушает доверия, точно паяцы вопят с балаганного балкона: «к нам, публика, к нам! уж мы для вас постараемся!», а на поверку вся штука в том, что вместо двух рублей медью они за кресла хотят брать по два рубля серебром, то есть по 2 р. 60 к. Вот их объявление: «Les deux pièces viennent d'obtenir le plus grand succès à Paris tant à cause de leur style agréable, que par la manière ingénieuse dont elles sont traitées. Les acteurs redoubleront de zèle pour que le spectacle soit favorablement accueilli!!!».

От шарлатанства французов мочи нет, но что досаднее всего, что и русские актеры хотят подражать им. Отчего же не делают этого немцы? Оттого, что у Штейнсберга ума палата. Он говорит, что хвастовство завлекает постепенно: прихвастнув немного один раз, надобно — хочешь не хочешь — хвастать в другой и в третий побольше, а там хвастовству меры не будет и, наконец, — caput.

Червонцы в цене возвысились до 4 р. 60 к. Серебряный рубль ходит 1 р. 30 к. Говорят, что это плохой знак. Но мало ли что говорят!

23 ноября, четверг.

В немецком театре давали вчера оперу «Die Luft-Bälle», которая шла отлично, и мы смеялись до истерики. Бенефициант пел мастерски, а Короп уморительно представлял воздухоплавателя, и если б говорил по-русски, то сказали бы, что на сцене не Короп, а наш премилый чудак Андрюша Чеботарев. Точь в точь та же история пускания бумажного шара на Девичьем поле, за которое едва всех нас не забрали в полицию, потому что чуть не сожгли грачевского дома, на который опустился горящий шар.

Видно уж вышел день такой — une folle journée.[1] Из театра Хомяков увез меня на танцовальный вечер к Веревкиным. Танцовальные вечера не по моей части, однако ж этот балик был превеселый и бесцеремонный. Столько было хорошеньких девушек, начиная с хозяйских дочерей до красавицы Алмазовой,* что и я

---

* Впоследствии — г-жи Шереметевой.[2]

соблазнился попрыгать экосез и а ла грек, хотя немножко и медведем. Востроглазая Арина Петровна, qui me cherche noise, прислала Белавина спросить меня: у какого танцмейстера я учился, чтоб предостеречь своих знакомых от такого учителя: она забыла, что учился я вместе с ней у Иогеля. Насмешница! Ужин был не пышный, но вкусный. Шампанское не всем подавали, зато ратафий, наливок и шипучек было вволю; а все это, по примеру Петра Ивановича, я предпочитаю всякому вину. После ужина я вздумал было полюбезничать, но не нарочно так громко зевнул, что барышни расхохотались, и я со стыдом отправился восвояси. Вот оно что! Месяцев шесть назад, я бы не зевал и никак бы не прозевал, а теперь, hin ist hin und alles dahin![1] Таков человек! Заметка психологам.

25 ноября, суббота.

15 числа государь был в Лигнице. Ожидают жестокого боя, но верного никто ничего не знает. Много отцов и матерей находится в великой тревоге за детей своих, служащих в гвардии и армии. Конечно, не беспокоиться нельзя, но мне кажется, что не будь сплетень и пустых толков, поддерживающих это беспокойство, оно уменьшилось бы наполовину. Однако ж между малодушными есть и крепкодушные. Вот, например, Настасья Дмитриевна Офросимова, барыня в объяснениях своих, как известно, не очень нежная, но с толком. У ней в гвардии четыре сына, в которых она души не слышит, а между тем гоголь-гоголем, разъезжает себе по знакомым да уговаривает их не дурачиться. «Ну, что вы, плаксы, разрюмились? будто уж так Бунапарт и проглотит наших целиком! На все есть воля божия, и чему быть, тому не миновать. Убьют, так убьют, успеете и тогда наплакаться». Дама презамечательная своим здравомыслием, откровенностью и безусловною преданностью правительству.[2]

26 ноября, воскресенье.

Рескрипт государя с.-петербургскому главнокомандующему генералу Вязмитинову читают во всех домах, восхищаются им и благословляют провидение, ниспославшее России такого царя-отца.

Какие чувства, какая великость души и какая любовь к своему народу!

«Сергей Кузьмич! Со всех сторон доходят до меня известия о неоднократном изъявлении привязанности ко мне публики петербургской и вообще всех жителей сего любезного мне города. Не могу довольно изобразить, сколь лестно для меня сие чувство. Изъявите им от имени моего искреннюю и чувствительную мою признательность. Никогда более не наслаждался я честью быть начальником столь почтенной и отличной нации. Изъявите равномерно всем, что единое мое желание есть заслужить то звание, которое я на себе ношу, и что все мои старания к сему одному предмету обращены».[1]

28 ноября, вторник.

Кажется, любопытство заразительнее чумы. Так из дома и тянет, чтоб добыть вестей. Мы решительно ничего не знаем, а должно случиться чему-нибудь важному, потому что кареты беспрестанно шныряют по Тверской, останавливаясь у подъезда главнокомандующего, точно как в большой праздник, когда приезжают с поздравлениями. У графа Ивана Андреевича и под Донским у графа Орлова также бывают утренние съезды. Митрополит прибыл из лавры. В английском клубе заметили, что некоторые notabilités, например князь Юрий Владимирович Долгорукой, Петр Степанович Валуев, генерал Марков и другие, как-то всё особятся и долго о чем-то втихомолку рассуждают. Многих из ежедневных посетителей английского клуба вовсе не видно. И. И. Дмитриев, Карамзин и князья Оболенские вечера проводят у князя Андрея Петровича Вяземского; Ю. А. Нелединский и Обресков тоже там. Всеволожские, Мятлев и Давыдовы у графа А. Г. Орлова. Непременно что-нибудь да знают или вскоре узнать должны.[2]

А между тем жизнь частных людей идет своим чередом:

. . . die ewige Natur
Geht kalt in ihre alte Gleise, — и
Буйные страсти кипят и бушуют в сердцах земнородных.

Вот в соседстве нашем случилось недавно происшествие, драма или роман — как угодно — которое стоит рассказа. Молодой, до-

статочный помещик Зубарев влюбился в воспитанницу тетки своей, Софью Ивановну Благову (имена и фамилии не выдуманные), девушку бедную, но пригожую и получившую очень хорошее светское образование, и, уверенный в взаимной склонности, решился на ней жениться. Перед свадьбой старуха говорила племяннику: «Жениться вам я не препятствовала, но, повторяю, смотри в оба: девушка умная, но скрытная и без намерения и расчета шагу не ступит. Ты добросердечен, доверчив, самонадеян и нехорош собою — берегись!». Такое предостережение для влюбленного — то же, что шелест листьев на кустарнике: мигом забыто. Свадьба состоялась, и молодые жили около четырех лет душа в душу, прижили двух ребятишек и прожили бы век свой спокойно и счастливо, если б горничной Таньке не вздумалось выйти замуж за повора Сергея, принадлежавшего сенатору Мясоедову. Вот Танька и говорит барыне: «Позвольте мне выйти замуж». — «Что ж, выходи, милая, мы дадим тебе приданое». — «Приданое приданым, но прежде надобно жениха выкупить на волю». — «И на это согласна, только у меня денег нет, а муж едва ли на это согласится». — «Знаю, сударыня, да вы можете сказать П е т р у А н д р е и ч у». Барыня вспыхнула, однако ж, подумав немного, отвечала: «Хорошо, я скажу Петру Андреичу».

Петр Андреевич Мошин был молодой, хорошо воспитанный человек, красивой наружности, знакомый Софье Ивановне еще до ее замужства, а после — закадычный друг ее мужа, его советник, его оракул, его душа — словом, другой он сам. Петр Андреевич прежде не имел решительно никакого состояния, но года за полтора до происшествия, о котором идет речь, получил в наследство около сотни душ и тысяч с восемь рублей денег, жил чрезвычайно скромно, никуда не ездил, не хотел иметь никаких знакомств и довольствовался одним развлечением бывать у Зубаревых, с которыми проводил все свое время. Когда Зубарев отлучался куда-нибудь из Москвы по хозяйственным делам своим, он поручал попечению Мошина жену, детей и весь дом свой, которые обыкновенно называл своею в с е л е н н о ю.

Между тем повар Сергей, при деятельном пособии проворной горничной, откупился на волю, заплатив за себя более трех тысяч рублей, и женился на Таньке, которой дали хорошее приданое. Но свободному человеку нужно занятие, а какое может быть лучше занятие для повара, как не завести трактир и не записаться для этого в купцы? И вот Танька опять, пользуясь милостью бывшей госпожи своей, просит о записке мужа в купцы и о ссуде его несколькими тысячами на обзаведение трактира. «Да у меня, милая, право, денег нет», — говорит ей Софья Ивановна. «И, сударыня, — отвечает Танька, — вам стоит вымолвить одно слово Петру Андреичу». Барыня горько заплакала, но, подумав, опять сказала: «Хорошо, я скажу Петру Андреичу».

И вот московским купцом Сергеем Ивановым открывается на Солянке съестной трактир город Данциг. В этом трактире с раннего утра по поздней ночи едят и пьют, поют и пляшут, и все дело ведется приказчиком, лихим парнем, который заведывает всеми приходами и расходами, а хозяин с хозяюшкою только что приказывают, живут себе барами, нежатся в постели часов до 9, принимают гостей, новых знакомых, распивают с ними чай и кофе, кушают цыплят и телятинку и блаженствуют, как наши праотцы в раю.

Однако ж месяца через три трактирщику приходит плохо: вместо гостей, квартира наполняется заимодавцами — одному отдай за сахар и чай, другому за мясные припасы, третьему за дрова, и проч. Выручка есть, да расходы вдвое. Итог: тысячи три убытку. Ступай, Танька, опять к Софье Ивановне!

На этот раз, сколько ни уговаривала Танька бывшую свою барыню напомнить о ней Петру Андреичу, но Софья Ивановна предпочла отдать ей половину своего гардероба, шаль, часы, цепочки, то есть все, без чего порядочная женщина может только обойтись, не обнаруживая своего недостатка, чем беспокоить Петра Андреича.

Но все эти пожертвования принесли мало пользы и не пособили делу. Некоторые вещи проданы за бесценок, а шаль, часы и цепочки украсили Таньку и ее супруга. Да и как содержателю трактира быть без часов, а жене его без турецкой шали?

И вот Танька, в несколько приемов обобравшая кругом Софью Ивановну, и видя, что она не хочет более напоминать о ней Петру Андреичу, отправилась к нему сама и, вооружившись всем бесстыдством, к какому только была способна и которое усовершенствовала в продолжение трактирной своей жизни, выманила постепенно у бедного Мошина все деньжонки, бывшие у него налицо, и, сверх того, он принужден был заложить именьице свое в опекунский совет и полученную за него небольшую сумму также отдать в удовлетворение ненасытной жадности трактирной четы.

Однажды, когда Мошин, истощив все свои средства, принужден был невольно отказать в деньгах Таньке, озлобленная тварь, побледнев, бросилась вон из комнаты, хлопнув дверью и пробормотав: «Ну, так вспомните ж меня!».

На другой день несколько писем Софьи Ивановны к Мошину было в руках Зубарева, а сам он, разбитый параличом, лежал без чувств на диване. В этом положении застал его близкий ему родственник и добрый наш сосед И. И. Затрапезный, за которым посылали. Вскоре приехала и старуха-тетка; но Затрапезный, во избежание соблазна, успел до приезда ее высвободить письма из рук Зубарева и оставил их у себя до времени.

Из этих писем, которые переносила Танька, бывшая единственною поверенною любовников с самого начала преступной их связи, и которые она, вероятно, затаила или украла, обнаруживается, что Софья Ивановна еще до замужства своего имела тайные свидания с Мошиным, что первый ребенок был плодом их любви и что она вышла замуж за Зубарева единственно для того, чтоб скрыть свое бесчестье и иметь какое-нибудь положение в свете, потому что Мошин жениться на ней не мог, ибо решительно не имел тогда никакого состояния, и что вследствие этого намерения она завлекла Зубарева и, видя его привязанность, торопила свадьбою. Некоторые другие подробности слишком отвратительны, чтоб о них рассказывать. Мошин совершенно потерялся, да и есть отчего, а Софья Ивановна. . .

У Мартына-исповедника во время ранних обеден ежедневно можно встретить молодую женщину, стоящую в углу придела на ко-

ленях и обливающуюся слезами со всеми признаками отчаяния. Она молится об исцелении полумертвого мужа и, вероятно, об отпущении собственных ее грехов.

Все люди, все человеки, говорит наш добрый, снисходительный отец Иоанн. Что делать! В свое время все омоется банею покаяния. А к Мошину очень применить можно четыре стиха из бесподобного послания Буринского:

Вот до чего доводят страсти,
И вот как низко ты упал,
Что подчинен лакеев власти
И вдруг краснеть пред другом стал!

29 ноября, среда.

Ездили с Невзоровым к Карцеву, у которого я так долго не был. Он недомогает и был нам искренно рад. Застали у него князя Гундорова. Этот князь, толстый, громогласный человек, считается одним из лучших наездников на рысаках и за эту способность находится в большом почете у охотников и в милости у графа Орлова; он также известен неугомонностью своего аппетита, которому, однако ж, не всегда расположена служить его натура, несмотря на свою солидность: случается под конец обеда или ужина, что, наложив себе верхом тарелку какого-нибудь кушанья и приготовясь наслаждаться им, он вдруг с глубоким вздохом оттолкнет его от себя с досадою, примолвив: не могу! Невзоров преуморительно передает это отчаянное движение Гундорова.

Карцев читал нам кой-какие стихи и, между прочим, один стихотворный рассказ под заглавием «Цыган», который тут же и дозволил мне списать. Рассказ несколько растянут, но язык хорош и даже лучше многих нынешних пресловутых писателей. Мне кажется, что Карцев метил на какое-нибудь лицо, хотя и не признается в том.

Цыган

(Пословица)

Цыган, барышник лошадиной,
Мужик догадливый, да храбрости гусиной,
Купаяся, попал в водоворот

И стал тонуть; кричит и вопит: «Гей, ребята!
Спасите! Кто спасет, тому уж будет плата:
Отдам последнее — топор отдам!». Народ,
Как водится у нас, ни с места, лишь глазеет:
    Народ, вишь, плавать не умеет,
Зато пересужать других собаку съел:
— Зачем попал в реку? Не чорт носил купаться!
    Знай, дома бы сидел, пострел,
    Стерег табун да лапти плел,
Так нет, туда ж в реке задумал полоскаться!
По счастью, кум Семен шел мимо: слышит крик,
Бултых в реку, давай барахтаться с волнами
(Он парень ловкий был, не только что с реками —
      Он был знаком с морями)
И вытащил утопленника вмиг;
А тот без памяти; однако же очнулся,
          Вздохнул,
          Зевнул,
          Чихнул
       И потянулся,
    Затем как встрепанный вскочил
И норовит домой, забывши о посуле:
Он домоседничать любил.
Меж тем Семен стоял на карауле
    И куманька остановил.
— Послушай, говорит, и не ворочай рыла;
Ты, кажется, тому сулил топор,
    Кто вытащит тебя скорее из бучила!
— Топор? какой топор? Ну, это что за вздор?
— Как вздор! Все слышали. Хоть я с тобой и дружен,
    Однако же, признаться, мне
    Теперь топорик очень нужен.
— Тебе топор? на что? Да в вашей стороне
    Им делать нечего; к тому ж ты недосужен.
— Досужен я иль нет — мне следует топор:
    Я вытащил тебя. Отдай! к чему тут спор?
— Уж полно, ты ль тащил? Кажися мне, Петруха,
А впрочем, ты иль он — в том нет большой нужды.
Уж коли сделалась с товарищем проруха,
    По христианству, должен ты
    Его избавить от беды:
Так, слышь ты, писано; к тому ж, признаться,

Куда не хочется мне с топором расстаться!
— «Давно б ты напрямки сказал,
Чем проповеди петь, дружище,
Ему Семен без сердца отвечал:
— Ну, жалко топора, отдай хоть топорище,
Оно и все-то грош, а я его искал. . .
— Вот это дело, кум, и не одно, а пару
Добуду я тебе, лишь бы господь привел
Мне побывать в лесу, а там бы я нашел,
Хоть бы пришлось таскаться до угару.
Да что! тут нечего напрасно тратить слов,
Уж просто куму верь! — сказал — и был таков.
Не даром говорят:
Как тонут, так топор сулят
И отказать ни в чем не смеют;
А вытащи — попятятся назад
И топорища пожалеют!

На-днях, кажется, 2 декабря, в круглой зале Зарубина, у Никитских ворот, дает концерт скрипач Бальо, соперник знаменитого Роде, который два года назад обворожил всю Москву волшебным (как тогда говорили) смычком своим. Теперь мнения разделились, и некоторые знатоки отдают преимущество Бальо, в игре которого находят более беглости, силы и энергии, но Всеволожские, Мосоловы и другие дилетанты одного с ними круга утверждают, что хотя Бальо точно отличный скрипач и одарен необыкновенною силою, но что Роде превосходит его чистотою, нежностью и певучестью игры. «Так играет, — говорят они, — что невольно плачешь, сердце выскочить хочет и не слышишь земли под собою». Вот как! Но я слышал, что то же говорили и даже писали о Жарновике и помешанном Дице.[1] Чему верить? Мне кажется, что нет лучше т о г о, что нравится, а нравится сегодня одно, завтра другое. Бедные мы люди и бедный я студент!

Непостоянство — доля смертных,
В пременах вкуса — счастье их![2]

Мало того, что Державин великий поэт, он и великий мудрец; а Н. И. Кондратьев, губернский секретарь, пишет на него кабачные стихи! Вот поди ты с ним!

30 ноября, четверг.

Москва не в плену, однако же:

. . . Москва уныла
Как мрачная осенняя ночь! [1]

Ни одни стихи так не были кстати и не выражали лучше настоящего состояния Москвы, как эти стихи нашего Дмитриева. Получено известие, что 20 числа мы претерпели жестокое поражение под Аустерлицем. Подробностей никаких еще не знают, по крайней мере не знаем мы, только эта роковая весть вдруг огласила всю Москву, как звук первого удара в большой ивановский колокол. Я не видал никого из знатных, но много незнатных разного рода людей приходило и приезжало к нам с вопросами: «Не знаете ли чего?». Завтра поеду и я с таким же вопросом по своим знакомым и, вероятно, также ничего достоверного не узнаю.

Мы не привыкли не только к большим поражениям, но даже и к неудачным стычкам, и вот отчего потеря сражения для нас должна быть чувствительнее, чем для других государств, которые не так избалованы, как мы, непрерывным рядом побед в продолжение полувека. Очень, очень хочется знать в подробности о всех обстоятельствах, тем более, что знакомые подстрекают своим любопытством. Один мой охранитель-гений, Петр Иванович, корпит над своим «Гением», почти не принимая участия в происшествиях политических, да и мне советует не слишком заниматься ими. «Уж поверь, любезный, — говорит он, — что государь знает лучше нас с тобой, что для чего делается, и если нас потрепали, то видно, что так надобно». Может быть, и правда, но правда и то, что из его «Гения» ничего не выйдет. Он мне кой-что из него читал: грустно сказать, но совершенно пустой набор слов.

Сегодня в городе много именинников и все людей знатных и почетных: князь Оболенский, Колокольцов, сосед наш богач Баташев и проч., только вряд ли у кого именины будут веселые: у всякого в сражении был кто-нибудь из ближних, или дети, или родственники, о судьбе которых еще ничего неизвестно. Вот у нашего Андрея Анисимовича Сокольского родных в походе, слава богу, никого нет,

а все безопасно поют на клиросах, и потому пирушка его будет не совсем скучна. Поедем к доброму имениннику!

2 декабря, суббота.

Известия из армии становятся мало-помалу определительнее, и пасмурные физиономии именитых москвичей проясняются. Старички, которые руководствуют общим мнением, пораздумали, что нельзя же, чтоб мы всегда имели одни только удачи. Недаром есть поговорка: «лепя, лепя и облепишься»,[1] а мы лепим больше сорока лет и, кажется, столько налепили, что Россия почти вдвое больше стала. Конечно, потеря немалая в людях, но народу хватит у нас не на одного Бонапарте, как говорят некоторые бородачи-купцы, и не сегодня, так завтра подавится, окаянный. Впрочем, слышно, что потеряли не столько мы, сколько немцы, которые будто бы яшася бегу тогда, как мы грудью их отстаивали.

3 декабря, воскресенье.

Всюду толкуют о подвигах князя Багратиона, который мужеством своим спас арьергард и всю армию. Я сегодня воспользовался воскресеньем и объездил почти всех знакомых, важных и неважных, и у всех только и слышал, что о Багратионе. Сказывали, что генерал Кутузов доносит о нем в необыкновенно сильных выражениях. Кажется, что мы разбиты и принуждены были ретироваться, по милости наших союзников, но там, где действовали одни, и в самой ретираде войска наши оказали чудеса храбрости. Так и должно быть.

Удивительное дело! Три дня назад мы все ходили как полумертвые и вдруг перешли в такой кураж, что боже упаси! сами не свои, и чорт нам не брат. В Английском клубе выпито вчера вечером больше ста бутылок шампанского, несмотря на то что из трех рублей оно сделалось 3 р. 50 к. и вообще все вина стали дороже.

Войскам нашим велено возвратиться, и государь скоро будет в Петербург.

А между тем, пока мы деремся с заграничными французами, здешние французы ломают разные комедии и потешают Москву

как ни в чем не бывало. Никогда французский театр не видал у себя столько посетителей, сколько съехалось в сегодняшний бенефис мадам Сериньи и мсье Роз. Правда, что театр не велик, но зато был набит битком; давали трехактную комедию «Les Conjectures ou le Faiseur des nouvelles». Эта пьеса как будто нарочно сочинена для настоящей эпохи и представляет довольно верно непобедимую страсть нашего общества к новостям, разным заключениям и пересудам (чтоб не сказать сплетням). Она разыграна была удачно, с большим ансамблем.

5 декабря, вторник.

Рассказывают пропасть анекдотов об удальстве наших солдат в продолжение трехдневной баталии. Между прочим, на одного гренадера фанагорийского полка напали четыре француза и закричали: пардон, то есть сдавайся! Но он выстрелом убил одного, другого повалил прикладом, третьего приколол штыком, а четвертый бежал. Государь приказал представить себе храбреца.

«О чем вы задумались? — шутя спросил я сегодня Петра Ивановича, — кажется с „Гением“ уладили, девицам Скульским стихотворения их исправили, графиням Гудович просодию объяснили и с барышней Баташевой склонения и спряжения кончили: день ваш наполнен, о чем же думать?». — «А вот, любезный, о чем я думаю, — пресерьезно отвечал мне Петр Иванович, — у какого Николы завтра слушать обедню? У Николы явленного, у Николы дербенского, у Николы-большой-крест, у Николы-красный-звон, у Николы-на-щепах, у Николы-в-столпах, у Николы-в-кошелях, у Николы-в-драчах, у Николы-в-воробине, аль у Николы-на-болвановке, у Николы-в-котелках, или у Николы-в-хамовниках? Ко всем не поспеешь, а поехать к одному, так чтоб другие причты не обиделись: все приглашали на храмовый праздник и угощение».

Вот подлинно душа-то ангельская!

Я-так завтра отправлюсь к Николе-на-курьих ножках: там у Лобковых три праздника: приходский, именины сына и рождение насмешницы ma tante, которой, по уверению отца, минет 19 лет, хотя мать считает ей только 17. Но сколько бы ни было, она точно

мила; со временем насмешливость исчезнет, потому что с летами, говорят, чувствуют больше нужды в людях, а веселость и остроумие останутся. Я поеду поздравить ее и повезу ей букет, разумеется, стихотворный или, лучше, смехотворный.

7 декабря, четверг.

Вчерашний день прошел весело, несмотря на то что мое самолюбие очень страдало. Как быть! Не всякое лыко в строку.

Видел приезжего из Петербурга г. Стратиновича, человека средних лет, с умной физиономией, очень плешивого и очень серьезного. Он служит цензором, говорит как книга, прехладнокровно рассказывает пресмешные вещи и, повидимому, в связи со многими знатными людьми. Много толковал о графе Головкине, которого признает одним из остроумнейших и образованнейших людей в России, и выхвалял его дипломатические способности, которые были причиною назначения его послом в Китай. [1]

Между прочим, Стратинович, описывая некоторые черты характера графа Головкина, рассказывал, что он не может равнодушно слышать трех русских пословиц: 1) «Все божье да царское», 2) «Хоть не рад да готов» и 3) «Без вины виноват»; а насчет наших дельцов, или почитаемых такими, отзывается, что все они состоят из людей, которые хотят и не умеют, или умеют и не хотят, или не хотят и не умеют; но что таких, которые бы хотели и умели, он еще не встречал. Любопытно его замечание насчет некоторых особ известного круга: «Они, — утверждает граф Головкин, — при всех добрых своих качествах, имеют такие недостатки, которые уничтожают эти качества; например много говорят и мало знают; много проживают и мало имеют доходов; много о себе думают, а мало значат». Стратинович прибавил, что все замечания графа заключают в себе какую-то тройственность.

В театре давали оперу «Глупость, или Тщетная предосторожность» — плохой перевод с французского. Эта опера, которая шла как нельзя хуже, называется в оригинале «Une Folie». Кто же видал называть «Folie» глупостью? Содержание пьесы — шалость молодых

любовников, и так бы должно назвать ее. Приезжие из Петербурга рассказывают чудеса об игре и пении в этой опере французской актрисы Philis Andrieux, которая производит необыкновенный восторг, о каком здесь и понятия не имеют.

10 декабря, воскресенье.

Все наши власти и знать в великой ажитации по случаю послезавтрашнего дня. У главнокомандующего огромный обед, а вечером нарядный бал в дворянском собрании. На Кузнецком мосту точно гулянье: в магазинах толпа, а у мадам Обер-Шальме такой приезд, что весь переулок заставлен каретами. Записным танцовщикам нашим Валуеву, Козлову, Демидову с товарищи много предстоит работы; сколько им будет упрашиваний от маменек, тетушек и бабушек, чтоб не обошли их дочек, племянниц и внучек! Этим господам теперь лафа: в городе нет ни гвардейцев, ни армейцев; есть несколько гарнизонных, отживших свое время офицеров, но кто же из наших барышень решится танцовать с такими кавалерами?

5 числа уехал в Петербург молодой наш ученый Двигубский, недавно с таким отличием возвратившийся из чужих краев — человек очень умный и ловкий. Он будет здесь профессором. Это новый дар М. Н. Муравьева и новое доказательство его попечений об университете.

Ф. И. Евреинов сказывал, что несколько московских хватов и, в том числе, Черемисинов, Зотов и Крюков вытребованы были к главнокомандующему на головомытьё за какую-то болтовню. Думали, что расправа с ними будет, попрежнему, потаенная, но вышло напротив: Александр Андреевич приказал представить их к себе в приемный день, когда соберется больше публики, да при всех отщелкал их по-свойски, так, что они сгорели от стыда и не знали куда деваться. «Ах вы, негодные мальчишки! служили без году неделю, да туда же суетесь судить и рядить о политике и критиковать поступки таких особ! Знаете ли, что вас, как школьников, следовало бы выпороть хорошенько розгами? И вы еще называетесь дворянами и благородными людьми — беспутные! какие вы, к чорту, благородные люди! так, шавель, сущая дрянь!».

Евреинов говорит, что начальник рассердился больше на то что эта непростительная болтовня происходила в троицком трактире, при большом стечении купцов и простого народа, который с неудовольствием слушал ее, и что из этого мог бы произойти какой-нибудь гвалт, неравно гибельный для самих болтунов; иначе он бы пренебрег этим, зная, что сам государь пренебрегает подобными россказнями и не желает, чтоб их преследовали.

12 декабря, вторник.

Между тем как наши знатные москвичи праздновали рождение государя и благополучное возвращение его из армии, сперва на большом обеде у начальника столицы, а после на бале в дворянском собрании, незнатный студент праздновал «сей нареченный и святой день» дома, с несколькими добрыми знакомцами. У нас обедали неизменный Максим Иванович и любезный дедушка. У одного в голове журнал «Друг юношества»; другой до смерти сердит на всех актеров и особенно на актрис. Говорит: «Горничные, сударь, настоящие горничные: никакого священного огня в груди не имеют». Пресмешной! хочет найти священный огонь в груди у Баранчеевой.[1]

Говоря о священном огне, я, к стыду моему, должен признаться, что он и в моей груди погасает: решительно учиться не могу и с нового года прощусь с университетом. Не знаю, тотчас ли поеду в Петербург: это будет зависеть от воли моих домашних; но только наука не лезет мне в голову. Петр Иванович говорит, что это пройдет и что я нахожусь в каком-то переходном состоянии. Я не понимаю этого выражения, но чувствую, что обманывать себя глупо, а других — грешно, и нечего тратить время попустому. Невеждою не останусь, а полуневеждою быть — куда ни шло!

Антонский призывал меня и спрашивал: приготовил ли я стихи для акта? Я отвечал, что нет и что написать ничего не могу. «Ну, так и тебе-та ничего не будет-та, — сказал он серьезно рассердившись, — и ленишься-та и балахрысничаешь-та». Я возразил, что, по уверению Петра Ивановича, я нахожусь в переходном состоянии, и потому я не виноват; к тому же он сам написал прекрасную пьесу

«Гений», и мне с ним, как со старшим, входить в соперничество непристойно, тем более что мы живем вместе.

Доброжелатель мой засмеялся, et le voilà désarmé.

13 декабря, среда.

Все это время дни мои так же пусты, как и моя голова. Готовимся к акту, а чтоб не совсем огорчить Антонского, который постоянно ко мне так благосклонен, хотя и нередко журит меня, я решился потешить его и написал немецкую речь о пользе изучения иностранных языков, которую де Санглен находит очень хорошею и не требующею многих поправок: «Hochzuverehrende Versammlung! In unsere Zeiten ist das Studium der lebenden Sprachen ein nothwendiges und wesentliches Stück einer guten Erziehung» и проч. и проч.

Напротив, Тургеневы, воспитанники Лемана и записные немцы, говорят, что это просто какая-то жижа, которую даже и водою назвать нельзя, но что, впрочем, я смело могу читать ее, потому что, кроме их, никто меня не поймет (довольно самолюбиво!). Де Санглен гладит меня по головке, вероятно, потому, что мы часто видаемся с ним на вечерах у Катерины Александровны Муромцевой, где я бываю постоянным свидетелем его любезничанья. И в самом деле, он человек хорошего тона и очень веселый в обществе: великий затейник на всякие игры и умеет занять молодых дам и девиц. Все его любят и все ему рады. Я не видывал человека, который бы так ловко соединял педагогику с общежитием.

В воскресенье открытие нового театра в доме Пашкова на Моховой. Дают «Прекрасную Арсену»: разумеется, прекрасною Арсеною будет Сандунова, а монстром — Прусаков. Постараюсь попасть в этот спектакль, благо свободный день.

18 декабря, понедельник.

Я слышал вчера, что Петербург встретил государя с таким восторгом, какому не бывало примера. Последствием этой встречи был рескрипт петербургскому главнокомандующему, с которого списки ходят уже здесь по рукам; он скоро должен появиться и в газетах, но покамест еще не напечатан и не дошел до нас. Вот некото-

рые из него подлинные фразы, достопамятные по чувству и выражению. Государь, поручая главнокомандующему повторить жителям Петербурга признательность его, между прочим, изволит изъясняться так: «Любовь любезного мне народа есть моя лучшая награда и единый предмет всех моих желаний». Наши москвичи, и особенно стихотворцы, в порывах своего усердия и преданности к государю, обыкновенно называют его Титом, Марком Аврелием, Антонином и проч., потому что не могут ступить шагу без древних громких имен, но я спрашиваю: справедливо ли нашего благочестивого батюшку-царя сравнивать с римскими нехристианскими владыками? Те кесари любили триумфы, любили лесть и обожание, а наш император отказывается даже и от тех почестей, которые принадлежат, независимо от сана, его личным заслугам, и вот тому разительный пример. В день рождения государя кавалерская дума поднесла ему, чрез депутатов своих, князей Прозоровского и Куракина, орден св. Георгия 1-й степени, но государь, не приняв его, приказал сказать думе, что «он благодарит ее за внимание к таким деяниям его, которые он почитает своею обязанностью, но что знаки 1-й степени ордена св. Георгия должны быть наградою за распоряжения начальственные; что он не командовал, а храброе войско свое привел на помощь своего союзника, который всеми оного действиями распоряжал по собственным своим соображениям, и что потому не думает он, чтоб все то, что он в сем случае сделал, могло доставить ему сие отличие; что во всех подвигах своих разделял он только неустрашимость своих войск и ни в какой опасности себя от них не отделял и что сколько ни лестно для него изъявленное кавалерской думой желание, но, имев еще единственный случай оказать личную свою храбрость, и в доказательство, сколь уважает он военный орден, находит теперь приличным принять только знак 4-й степени».

Стоит только прочитать этот отзыв государя, чтоб вполне почувствовать блаженство быть его подданным и жить под его державою. Князь Одоевский, который вменяет себе в честь, славу и обязанность прежде всех получать все известия — на что употребляет важные суммы — первый распустил этот отзыв государя думе по городу,

приказав в своей домашней конторе переписать его в большом количестве экземпляров, и раздал их своим знакомым. Предрагоценный человек, этот князь! даром что под векселями и другими деловыми бумагами не иначе подписывается, как действительным камергером и старшиною российского благородного собрания.

Нам сказывали по секрету, что Александр Андреевич также ожидал рескрипта, но, не получив его, очень прикручинился и даже не скрывает своей грусти; говорит, что он бы желал получить доказательство государева внимания не для себя собственно, потому что он век свой отжил, но для Москвы, которой усердие и любовь к государю проявились во всем блеске во время отсутствия его из России.

Новый театр в доме Пашкова ни хорош, ни дурен, а так, ни то, ни се. Сделан из манежа и узок не по длине.[1] «Прекрасная Арсена» в том виде, как ее представляют, вовсе не прекрасна. Во время представления я узнал, что товарищ наш, Морозов, без памяти влюблен в Сандунову и ходит потихоньку в театр всякий раз, как она играет. Сегодня мы отрыли у него целую кипу посланий, мадригалов и сонетов к знаменитой актрисе, и все это в прозе. Ну, кто видал писать мадригалы и сонеты в прозе? Преоригинальная мысль! Впрочем,

Amis, respectons ses amours
Pour qu'il respecte aussi les nôtres.

20 декабря, среда.

Завтра экзамен, послезавтра акт и затем прощайте навсегда пансион и университет! Около трех лет назад я только и бредил, что об университете, и еще в начале нынешнего года думал не оставить его иначе, как с званием кандидата, а, может быть, и магистра, а теперь бегу из него без оглядки простым недоучившимся студентом, бегу, не зная сам куда. Видно, по выражению Жуковского, таков человек:

Игралище сует, волнуемый страстями,
Как ярым вихрем лист; ужасный жребий твой:
Бороться с горестьми, болезньми и собой![2]

Не без сердечного, однако ж, сожаления оставлю многих моих доброхотов и пособников и никогда не забуду их забот и попечений обо мне. Да и как забыть умного, положительного Страхова, ученого, красноречивого и добродушного Сохацкого, гениального Мерзлякова и даже самого кропотуна Антонского, превосходного наставника и в некоторых отношениях доброго человека, хотя и плохого профессора! Не говоря уже о Петре Ивановиче, с которым еще не так-то скоро расстанусь и который был мне другом и братом и, несмотря на свое педантство, один из превосходнейших людей на свете по качествам сердца и образу мыслей. Не забуду и тебя, милый, беспечный мой Буринский, будущее светило нашей литературы, поэт чувством, поэт взглядом на предметы, поэт оборотами мыслей и выражений и образом жизни — словом, поэт по призванию! Не забуду тебя, скромный обитатель бедной кельи незабвенного нашего поэта Кострова, которого наследовал ты талант, но не наследовал его слабостей.[1]

23 декабря, суббота.

Экзамены кончились благополучно, и акт прошел как следует, то есть как проходил он двадцать лет назад и проходить будет опять через двадцать лет. Спрашивали известное, отвечали заученное, представляли судебное действие Горюшкина,[2] в котором нет никакого действия; любовались рисунками, рисованными учителем Синявским, под видом поправок; играли на клавикордах те же пьесы, которые играли прошлого года и будут играть в будущем году все те же братья Лизогубы; танцовали тот же балет с гирляндами, которым старик Морелли [3] угощает посетителей ежегодно в продолжение почти четверти века; читали «Благость» Мерзлякова,[4] «Гения» Петра Ивановича, «Гимн истине» Грамматина с поправками Жуковского, очень несчастное «Счастие» Соковнина, «Французский диалог» вроде разговора: comment vous portez vous? — très bien, monsieur. Провозгласил и я немецкую речь Hochzuverehrende Versammlung, которую подсказывал мне приехавший в отпуск Александр Тургенев и которой никто не слушал — словом, все прошло как нельзя лучше. Столичное начальство делало комплименты Антонскому, а он пере-

давал их учителям и некоторым воспитанникам. Все довольны, но более всех доволен я, потому что все это кончилось.

Однако ж, как теперь, на свободе, пораздумаешь, что это значит: мы, действительные студенты, ездим на лекции в университет, а принадлежим еще начальству пансионскому? Согласен, что те, которые живут в пансионе, обязаны считаться от него зависящими, но я и некоторые другие вступили в пансион полупансионерами и никогда в нем не жили: почему ж мы принадлежим пансиону? Вот этого никто не хотел или не умел мне растолковать! А что-то неладно.

Завтра отдых. Постараюсь выспаться хорошенько, чтобы как можно бодрее встретить праздник. Для меня одной рождественской заутрени мало: поеду прежде в Успенский собор, а там поищу, не будет ли где другой и третьей попозже. Готов бы их прослушать хоть десять, лишь бы послужили ноги. Что это за прелесть такая! Этот громкий, торжественный, всепотрясающий клик пророка: с нами бог! этот канон, составленный из таких чудных песен Дамаскина, как, например, жезл из корене Иессеова и проч., эти богородичны и синаксари, право, кажется, что, исключая пасхальной, превосходнее рождественской службы ничего не было и нет. По крайней мере для меня она есть самое высокое и утешительное наслаждение и переносит меня в эпоху моего детства, когда, бывало, я, непременный чтец покойной бабки, прочитав великое повечерие, корифеем восклицал: «с нами бог!», а за мною уже двухорный клир певчих провозглашал громогласно: «Разумейте, языцы» и проч. Итак, до времени все мирское в сторону.

26 декабря, вторник.

Все праздничные обязанности мои выполнил я исправно и совесть моя покойна. У одних был с поздравлением, у других с благодарностью, а к иным заезжал по влечению сердца. У последних оставался долее. Зато как и устал!

Слышал, что градоначальник, наконец, получил рескрипт и что он очень доволен. Эту медленность приписывают тому, что государю угодно было обрадовать Москву и ее начальника в самый день празд-

ника. Завтра узнаю о содержании рескрипта и о прочем в подробности, а теперь, покамест,

Неодолимый клонит сон.
Спешу в объятия к Морфею:
Пусть мне представит в грезах он
Ту благодетельную фею,
Кому судьбой я обречен,
С кем я соединюсь душею,
С кем буду сердцем обручен!

Что ж? стихи как стихи и не хуже виршей князя Шаликова с товарищи, даром что писаны на сон грядущий, а говорят, что их писать мудрено. Пустяки!

28 декабря, четверг.

Весь рескрипт градоначальнику состоит из необыкновенно сильных и милостивых выражений. Ждали долго, но зато ожидание вознаграждено сторицею. Вот что, между прочим, изволит писать государь:

«Любовь народа составляет для меня единственный предмет, начало и конец всех моих действий и желаний. Я поручаю вам снова удостоверить обывателей московской столицы в совершенной признательности моей к толь приятному для меня их расположению. Удостоверьте их, что покой и счастие народа, мне любезного, считаю я драгоценнейшим залогом, от провидения мне врученным, и важнейшею обязанностью моей жизни».

Я думаю, что едва ли когда-нибудь Москва осчастливлена была подобным изъявлением монаршего к ней благоволения. Вот бы ей случай поусердствовать и ознаменовать радость свою чем-нибудь непреходящим: что бы стоило воздвигнуть монумент или какое-нибудь другое красивое здание, на котором бы и начертать, в память родам грядущим, незабвенные слова: «Любовь народа составляет для меня единственный предмет, начало и конец всех моих действий и желаний!». В этих словах весь Александр I. Не поверишь, как хочется в Петербург! как нетерпеливо желается взглянуть на государя — душу матушки святой Руси!

По случаю этого рескрипта все наши записные стихотворцы приударили в перья. И граф Хвостов, и Кутузов и прочие, чиновные и нечиновные, корпят над виршами и говорят, что не далее, как завтра, постигнет нас настоящее стиховное наводнение. Но я думаю, что никто ничего путного не напишет, потому что Державина здесь нет, Дмитриев од не пишет, Херасков дряхл, возлюбленный Мерзляков без заказа начальства на торжественный случай писать не решится, а для других предмет слишком недоступен, и все их вирши могут состоять из одного набора громких слов и казенных рифм.

29 декабря, пятница.

Вот что рассказывают: вскоре по возвращении государя, с.-петербургскому главнокомандующему подали или подложили безымянное письмо с эпиграфом: now or never, в котором заключались очень здравые мысли, благонамеренные суждения и множество дельных замечаний о настоящей политике нашего кабинета и об отношениях наших к другим европейским державам. Между прочим, неизвестный сочинитель письма изложил также мнение, что, несмотря на победы Бонапарте, не должно оставлять его в покое и давать ему усиливаться, а, напротив, беспрерывно воевать с ним и тревожить его, хотя бы то было с некоторыми потерями; что настоящее время есть самое удобнейшее для того, чтоб соединенными силами иметь над ним поверхность, и что если это время будет упущено, то с ним после не сладишь: now or never.

Генерал Вязмитинов, получив это письмо, представил его государю, который не токмо не прогневался на смелость сочинителя письма, но пожелал даже узнать его и потому приказал обвестить чрез полицию с.-петербургских жителей и вместе публиковать в газетах, чтоб тот, кто обронил бумагу с надписью «now or never», явился к нему, генералу Вязмитинову, без всякого опасения. Премудро и премилосердо! Полагают, что это письмо сочинял какой-нибудь иностранец, потому что некоторые выражения не совсем-то русские.

Сегодня спектакль в пользу актеров и актрис г. Столыпина. Дают «Прекрасную Арсену», а скрипач Элуа играет концерт на

скрипке. Поехал бы, если б давали не «Арсену». Впрочем, и лучше: отправлюсь с братом Иваном Петровичем Поливановым к Робертсону в фантасмагорию и кинетозографию: ничего этого я еще не видал.

Любезные мои немцы и немки пеняют мне, что я давно у них не был и они не видали меня в третьей части «Русалки», которую третьего дня давали в первый раз. Они думают, что возвышенные цены были тому причиною, и уверяли меня, что я всегда имею свободный вход в театр без всякой платы. Взяли с меня слово, что непременно приеду к ним под новый год в маскарад. Это добродушное их объяснение и приглашение заставило краснеть меня и будет стоить мне недешево.

О самолюбие! ты наших дней отрава.

Штейнсберг болен и болен опасно, между тем ему не дают покоя. Боюсь, чтоб мы не лишились его: Штейнсберга никто не заменит. Какой актер и какой человек! В последнем отношении если кто наиболее приближается к нему по качеству ума, так это разве трансцендентальный пастор Гейдеке.

30 декабря, суббота.

Представление Робертсона началось кинетозографиею; это крошечный театр, состоящий из нескольких перемен разных видов: то перед вами Зимний дворец с огромною площадью, то Академия художеств с широкою рекою, то селение с церковью и почтовою станциею, то прозрачное озеро с раскинувшимися по берегам его рощами и проч. Но как все это сделано! как освещено и как оживлено! По площади разъезжают разные экипажи, скачут верхами офицеры, идут пешеходы: кто бежит, а кто идет тихо, едва передвигая ноги; по набережной гуляют кавалеры и дамы, встречаются друг с другом, снимают шляпы, кланяются и делают ручкой; вот скачет почтовая тройка и останавливается у станции: выходят ямщики, осматривают повозку и проч.; по озеру плавают лодки, одне на парусах, другие управляются гребцами, а третьи стоят на месте и с них рыболовы удят рыбу; между тем по небу ходят прозрачные облака, ветерок качает деревцами; наконец, смеркается, и из-за горизонта

выплывает полная луна — словом, прелесть! Умники говорят, что это хорошо для детей. Согласен; да все-таки хорошо, и так хорошо, что я хочу быть ребенком. Всякое верное подражание природе есть уже художество, которое причисляется к категории художеств изящных. Послушайте Сохацкого.

Вот вам нечто и неребяческое. Вы в комнате, обитой черным сукном, в которой не видно зги, темно и мрачно, как в могиле. Вдруг вдали показывается светлая точка, которая приближается к вам и, по мере приближения, все растет, растет и наконец возрастает в огромную летучую мышь, сову или демона, которые хлопают глазами, трепещут крыльями, летают по комнате и вдруг исчезают. Засим появляется доктор-поэт Юнг, несущий на плечах труп своей дочери, кладет его на камень, берет заступ и начинает рыть могилу. Эта чуха называется фантасмагорией.[1]

Бог с ней, с этой фантасмагорией! Перед самым представлением этого плаксы-Юнга такая поднялась в темноте возня, что боже упаси! Гам кричат: «ай!», там слышны «ах!», там чмоканье губ, там жалобы на невежество, там крик матушек и тетушек: «Что такое, Маша? Что с тобою, Лиза?», там глубокие вздохи, прерываемые сердитым голосом: «Да перестаньте!», — словом такая суматоха и такой соблазн, что мочи нет! Зрителей было человек более двухсот и большею частью молодых людей обоего пола, размещенных весьма тесно на скамейках. В такой толпе, и особенно в такой темноте, виноватых не сыщешь: все правы. Опомниться не могу от этой потехи.

31 декабря, воскресенье.

Услышав поутру о приезде Ивана Александровича Загряжского, знаменитого владельца еще более знаменитого села Кареяна, искреннего друга и сослуживца моего деда, я тотчас же отправился к нему и, к великой моей радости, застал его дома. Все семейство его, два сына и три дочери, находится в Петербурге, а он живет на холостую ногу и, кажется, не упускает случая повеселиться.[2] Он рад был меня видеть, благодарил, что приехал сегодня, а не завтра, потому что наверное не застал бы его дома; спрашивал о старшей сестре,

которую отец, после кончины первой жены своей, оставлял у него в доме на воспитании, покамест не женился на моей матери. Он попрежнему окружен пышностью и не изменяет своим привычкам, приобретенным в штабе князя Потемкина, которого был он из первых любимцев и ежедневным собеседником. Узнав, что я очень знаком с немецким театром, он сказывал, что привез собственную свою балетную труппу и чрез балетмейстера своего, итальянца Стеллато, уже поладил с будущим антрепренером Александром Муромцевым насчет определения своих танцоров к немецкому театру за известную плату, с тем условием, чтоб первая его танцовщица, Наташа, и славный прыгун, Иваницын, отпущенные на волю, получали особое жалованье.

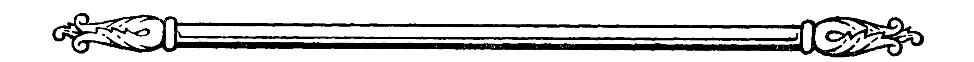
При мне у Загряжского перебывало довольно гостей, старых его приятелей и сослуживцев. Говорили, рассуждали, смеялись, шутили, так что время прошло незаметно, и Загряжский оставил меня обедать. Мне чрезвычайно понравились анекдоты, рассказанные хозяином о Льве Александровиче Нарышкине, отце Александра Львовича, нынешнего главного директора театральных зрелищ. Одного из них не расскажу, потому что он не очень благопристоен, но другие готов сообщить тебе, и вот из них первый. Однажды императрица Екатерина, во время вечерней эрмитажной беседы, с удовольствием стала рассказывать о том беспристрастии, которое заметила она в чиновниках столичного управления, и что, кажется, изданием «Городового положения» и «Устава благочиния» она достигла уже того, что знатные с простолюдинами совершенно уравнены в обязанностях своих пред городским начальством. «Ну, вряд ли, матушка, это так», — отвечал Нарышкин. — «Я же говорю тебе, Лев Александрыч, что так, — возразила императрица, — и если б люди твои и даже ты сам сделали какую несправедливость или ослушание полиции, то и тебе спуску не будет». — «А вот завтра увидим, матушка, — сказал Нарышкин, — я завтра же вечером тебе донесу». И в самом деле на другой день, чем свет, надевает он богатый кафтан со всеми орденами, а сверху накидывает старый, изношенный сюртучишка одного из своих истопников и, нахлобучив дырявую шляпенку, отправляется пешком на площадь, на которой в то время

под навесами продавали всякую живность. «Господин честной купец, — обратился он к первому попавшемуся ему курятнику, — а по чему продавать цыплят изволишь?». — «Живых — по рублю, а битых — по полтинке пару», — грубо отвечал торгаш, с пренебрежением осматривая бедно одетого Нарышкина. «Ну так, голубчик, убей же мне парочки две живых-то». Курятник тотчас же принялся за дело: цыплят перерезал, ощипал, завернул в бумагу и положил в кулек, а Нарышкин между тем отсчитал ему рубль медными деньгами. — «А разве, барин, с тебя рубль следует? Надобно два». — «А за что ж, голубчик?». — «Как за что? За две пары живых цыплят. Ведь я говорил тебе: живые по рублю». — «Хорошо, душенька, но ведь я беру не живых, так за что ж изволишь требовать с меня лишнее?». — «Да ведь они были живые». — «Да и те, которых продаешь ты по полтине за пару, были также живые, ну я и плачу тебе по твоей же цене за битых». — «Ах ты, калатырник! — взбесившись завопил торгаш, — ах ты, шишмонник этакой! Давай по рублю, не то вот господин полицейский разберет нас!». — «А что у вас за шум?» — спросил тут же расхаживающий, для порядка, полицейский. «Вот, ваше благородие, извольте рассудить нас, — смиренно отвечает Нарышкин, — господин купец продает цыплят живых по рублю, а битых по полтине пару; так, чтоб мне, бедному человеку, не платить лишнего, я и велел перебить их и отдаю ему по полтине». Полицейский вступился за купца и начал тормошить его, уверяя, что купец прав, что цыплята были точно живые и потому должен он заплатить по рублю, а если он не заплатит, так он отведет его в сибирку. Нарышкин откланивался, просил милостивого рассуждения, но решение было неизменно. «Давай еще рубль или в сибирку». Вот тут Лев Александрович, как будто ненарочно, расстегнул сюртук и явился во всем блеске своих почестей, а полицейский в ту же секунду вскинулся на курятника: «Ах ты, мошенник! сам же говорил живые по рублю, битые по полтине и требует за битых как за живых! Да знаешь ли, разбойник, что я с тобой сделаю?. . . Прикажите, ваше превосходительство, я его сейчас же упрячу в доброе место: этот плутец узнает у меня не уважать таких господ и за битых цыплят требовать деньги как за живых!».

Разумеется, Нарышкин заплатил курятнику вчетверо и, поблагодарив полицейского за справедливое решение, отправился домой, а вечером в эрмитаже рассказал императрице происшествие, как только он один умел рассказывать, пришучивая и представляя в лицах себя, торгаша и полицейского. Все смеялись, кроме императрицы, которая, задумавшись, сказала: «Завтра же скажу обер-полицеймейстеру, что, видно, у них попрежнему: „расстегнут — прав, застегнут — виноват“».

О прочих анекдотах, например, как Нарышкин одного посланника, вызвавшего его за шутку на дуэль, оставил на месте, и каким образом объявлял он строптивой супруге своей о кончине ее отца, о которой никто объявить ей не решался, сообщу по времени, а теперь навстречу новому году к немцам, в маскарад!





1806-й год

1 января, понедельник.

«С преподобными преподобен будеши и со строптивыми развратишися».

Это богомудрое изречение сбылось на мне в полном значении слова. Благодаря некоторым знакомым повесам, вчерашнюю ночь напролет я прогулял в маскараде, хотя об руку с разными масками двусмысленного поведения, которые все так хорошо замаскированы были, что их можно было бы узнать за четверть версты. Одна из них, Марья Ивановна Козлова, открылась мне, что выходит замуж за берейтора колымажного манежа, Шульца, товарища старика Кина, и вместе с ним моего наставника в верховой езде. Поздравляю ее: супружество блистательное. Но, правду сказать, она женщина чудесная, собою красавица и стоит такого мужа. О прежнем говорить нечего: кто старое помянет, тому глаз вон.

Слава богу, что посреди этих соблазнов удержался я еще от пьянственного окаянства! И так сегодня не поспел никуда и визиты справлять придется завтра; а что буду отвечать, если иные прочие спросят: «Où avez-vous été hier, monsieur?» или отпустят такую фразу: «Vous avez la mine toute bouleversée, monsieur: seriez-vous par hasard malade?». Что же? Сказал напрямки всю правду, да и в сторону. Признание заставит все извинить.

Маскарад не обошелся без истории: двое закадычных приятелей, Лисенко и Батурин, чуть было не вцепились друг другу в волосы за мадам Кафка, которая одного предпочла другому. Это напомнило мне лафонтенову басню, которая, кажется, начинается так:

Duex coqs vivaient en paix: une poule survint
Et voici la guerre allumée.
Amour, tu perdis Troye! и проч.[1]

Штейнсберг опасно болен и не сходит с постели. Дирекция театра передана уже Муромцеву, и некоторые актеры и актрисы переезжают к нему в дом в Посланников переулок.

Получил премилое письмо из Петербурга. Пишут о скорейшем доставлении аттестата и просьбы для поступления на службу. Прежде будущего месяца сделать этого не могу et pour cause.

Плохо начал я этот год. Как-то бог приведет кончить его?

3 января, среда.

Истинная правда: настоящее стиховное наводнение. У кого только я ни был, у всех находил в разных видах и размерах оды по случаю получения всемилостивейшего рескрипта и, в том числе, одну, поднесенную градоначальнику, которая, к сожалению, из рук вон плоха: ни одной мысли, ни одного чувства, ни одного выражения! Господи боже мой! Неужели же наш московский Парнас до такой степени обнищал, что для такого важного случая не выставит ни одного достойного песнопевца? Право, такую жижу и посылать к тебе совестно и грустно; разве отправить ее только для приобщения к прочим курьезностям твоей литературной кунсткамеры.

О д а

Градов полунощных царица,
Седяща на горах крутых,
Почтенна древняя столица
Обширнейшей из стран земных,
С к л о н я п о д т я ж к и м и с т е н а м и
Г л а в у, п о к р ы т у с е д и н а м и,
Вкушала сладостный покой;
О г р о м н ы б а ш н и п о з л а щ е н н ы,
О д е ж д о й б е л о й п о к р о в е н н ы,
Д р е м а л и т о м н о н а д р е к о й,

Почто по зимней ночи мрачной
Восток зарделся от огней,
И Ф е б в р у м я н о й р и з е б р а ч н о й

Сугубит свет своих лучей,
Снега алмазами блеснули,
Из льдов наяды воспрянули
И вся природа толь красна,
Что в хладе мертвом и суровом
Она играет под покровом
И жизни радостной полна?

Не звук ли ангельский несется
От норда с невских берегов?
Нет, сладкий голос раздается
Отца в сердцах его сынов;
Его драгое начертанье,
Души небесной излиянье,
Москву и в старости живит.
Имея ангела на троне,
Нам сладко жить в его законе,
Когда он нам любовь дарит.

Живи, наш царь, живи во веки,
Как ты от нас был отлучен,
В мольбах мы лили слезны реки,
А ныне дух наш восхищен!
Москва горит к тебе любовью,
В сединах старцы, хладны кровью.
Понесши долго службы труд,
Огни почувствовавши новы,
Служить тебе еще готовы
И кровь застывшую прольют.

А ты, с которым мы встречаем
В веселье сладком новый год,
В ком любим мы и почитаем
Славянов древних дух и род:
О! сколько видеть нам приятно,
Что ты за доблесть многократно
Щедротой царской озарен,
Почтен заслугами, душою,
Нещетны годы правь Москвою
И буди в век благословен!

Ух! чего тут нет? Во-первых, есть древняя столица, которая склоняет покрытую сединами главу под тяжкими стенами!

есть и позлащенные башни, покровенные белой одеждой, которые томно дремлют над рекою! есть и Феб в брачной румяной ризе, сугубящий свет лучей своих! есть и наяды, воспрянувшие из льдов! есть и хладные кровью старцы, которые, почувствовав новые огни, готовы пролить застывшую кровь! — словом, все тут есть, кроме здравого смысла. Право, через пятьдесят лет не поверят, чтоб эта чепуха была сочиняема серьезно и еще на такой случай!*

О, Дмитриев, много толку в твоем «Чужом толке»![1]

5 января, пятница.

Не жури меня, потому что мне и без того грустно. Беды большой в том нет, что я сказал тебе от искреннего сердца спасибо. Да и как не сказать, когда ты беспрестанно меня выручаешь! «Лучше даяти, чем принимати», — говорит писание, и если у принимателя отнять одно средство, которым он может расквитаться с даятелем, то есть чувство благодарности, то это значило бы надеть на него вечные кандалы, и потому ты делай свое дело, а мне не препятствуй делать моего. Поступим по тому же писанию, которое слышали сегодня и услышим завтра: «Остави, тако бо подобает нам исполнити всяку правду».

Сегодня выезжал я только в церковь, а после навестить умирающего Штейнсберга, и с тех пор целый день дома. На свободе проглотил, наконец, многохвальный роман «Тереза и Фальдони»,[2] перевода Каченовского, и чуть было не подавился. А отчего мне грустно? Не от «Терезы же и Фальдони» и даже не от того, что Катерину Ивановну Яковлеву-Собакину, девушку-красавицу и наследницу огромного состояния — которую я коротко знаю и с которою случалось мне болтать по несколько часов без умолку, потому что она болтать любит — кто-то увез из театра. Мать, женщина простая и сама не выезжающая в свет, отпускала ее всюду с француженкой. Я предчувствовал, что это когда-нибудь случится. Барышня девят-

* Предсказание студента, сделанное в 1806 г., сбылось в 1856: без справки не поверили.

надцати лет, богатая, своенравная и своеобычливая, легкомысленная, ежеминутно увлекающаяся, должна была быть жертвою какого-нибудь отчаянного спекулатора. Нет, Катерина Ивановна, не вы причиною, что мне грустно,

И все мне смутное желанье давит грудь,
И что-то все влечет меня к кому-нибудь;
Чего-то хочется, чего — и сам не знаю.
Как ветка по реке, ношусь от края к краю!

Давеча, проходя от Штейнсберга мимо комнаты мадам Шредер, я зашел к ней и застал ее за фортепьяно (у них сочевника нет). Она спела мне по-русски песню Кавелина (одного из старых лучших наших воспитанников, товарища Магницкого и Ханенко), да так спела, что я прослезился. И как выговаривает она слова! совершенно русская, даже милее, чем русская:

На что, с любезной расставаясь,
На что прости ей говорить,
Как будто с жизнью разлучаясь,
Счастливым больше уж не быть?
Не лучше ль просто до свиданья,
До новых радостей, сказать
И в сих мечтах очарованья
Себя и время забывать?

А последние куплеты:

В приятну ночь, при лунном свете,
Представить счастливо себе,
Что некто есть еще на свете,
Кто думает и о тебе!
Что и она, рукой прекрасной
По арфе золотой бродя,
Своей гармониею страстной
Зовет к себе, зовет тебя!
Еще день, два — и рай настанет. . .
Но, ах! твой друг не доживет![1]

Эта полная тихого чувства песня, этот милый, трогательный голос хорошенькой, бесцеремонной женщины почти у самых дверей умирающего приятеля, мысль о моем одиночестве, несмотря на

дружбу доброго моего Петра Ивановича, и какое-то непонятное влеченье в Петербург, соединенное с некоторыми воспоминаниями о Липецке, — совершенно возмутили меня, и мне сделалось грустно, так грустно, что я изъяснить не в состоянии.

На ту беду, как нарочно, никого нет. Хоть бы дедушка зашел, так потолковали бы о закулисных происшествиях.

Ну кто бы подумал, что эту песню мадам Шредер выучила и пела еще в Ревеле, когда в Москве о ней и теперь понятия не имеют?

7 января, воскресенье.

Вчера ездил на иордан, устроенный против кремлевской стены на Москве-реке. Несмотря на сильный мороз, преосвященный викарий собором служил молебен и погружал крест в воду сам. Набережные с обеих сторон кипели народом, а на самой реке такая была толпа, что лед трещал, и я удивляюсь, как он мог не провалиться! В первый раз удается мне видеть эту церемонию в Москве: она меня восхитила. При погружении креста и громком пении архиерейских певчих и всего клира: «Во Иордане крещающуся тебе, господи», палили из пушек и трезвонили во все кремлевские колокола, и это пение, и эта пальба, и звон, и этот говор стотысячного народа, с знамением креста, усердно повторявшего праздничный тропарь, представляли такую торжественность, что казалось, будто искупитель сам плотию присутствовал на этом обряде воспоминания о спасительном его богоявлении погибавшему миру. Говорят, что в Петербурге эта церемония еще великолепнее; может быть, но сомневаюсь, чтоб она была поразительнее и трогательнее.

По окончании церемонии народ стал расходиться, и Нил Андреевич Новиков повел меня на смотр невест, который у низшего купечества и мещанства бывает ежегодно в праздник крещения и о котором я понятия не имел. По всей набережной стояло и прохаживалось группами множество молодых женщин и девушек в довольно богатых зимних нарядах: штофных, бархатных и парчевых шубах и шубейках; многие из них были бы очень миловидны, если б не

были чересчур набелены, нарумянены и насурмлены, но при этой штукатурке и раскраске они походили на дурно сделанных восковых кукол. Перед вереницею невест разгуливали молодые купчики, в лисьих шубах и высоких шапках, и все были, по выражению Новикова, с кондачка, то есть чистенько одеты и прикидывались молодцами. Между тем какая-то проворная бабенка подбежала к нам и прямо обратилась ко мне с вопросом: «А ты, золотой мой, невесту, что ли, высматриваешь?». — «Невесту высматриваем вот с тятенькою, — отвечал я очень учтиво, показав на Новикова, — да только по мысли-то не найдем». — «А вот, постойте, мои красавцы, я вашей милости покажу: такая, матушка, жирненькая, да и приданьице есть: отец в Рогожской постоялый двор держит», и с этими словами привела нас к одной группе, в которой стояла девушка, в малиновой штофной шубе, лет, повидимому, двадцати пяти, недурная собою, но так же намалеванная и такого необъятного для девушки дородства, что она, в сравнении с другими, казалась тыквою между огурцами. «Вот вам, сударики, невеста, так уж невеста!», — с самодовольствием сказала сваха. «Коли приглянулась, так скажите, где жить изволите и как вашу милость звать, а я завтра понаведаюсь и о вашем житье-бытье невесте порасскажу». Я объявил на ушко свахе, что невеста нам очень понравилась и что тятеньку моего зовут Нилом Андреевичем Новиковым, а живем мы на Ордынке, в своем доме, и чтоб она не замешкалась явиться к нему для переговоров. Хоть бы этим пронять старого проказника, который не пропускает ни одного случая поднять меня на смешки.

Этот выбор невест показался мне очень похожим на выбор молодых канареек в Охотном ряду: выбирай из сотни любую, покрупнее или помельче, пожелтее или позеленоватее, а которая из них петь будет — бог один весть.

А слыхал ли ты, как этот любезный оригинал, Нил Андреевич, увозил цыганку из Епифани, как весь цыганский табор гнался за ним более ста верст, и чем он от него отделался? Это случилось еще до нашего рождения, однако ж происшествие в памяти у многих и так занимательно, что я когда-нибудь тебе его расскажу.

9 января, вторник.

Кудрявцев рассказывал при мне генералу Дурнову, что граф Каменский получил от государя собственноручное письмо, которым он приглашается приехать к известному времени в Петербург и, между тем, быть готовым к принятию какого-то важного поручения, что по сему случаю фельдмаршал вчера отправился в свои нижегородские деревни.

Николай Николаевич Сандунов также скоро едет в Петербург. Говорит, что должен там быть к 17 числу. Кажется, он хочет сенатскую службу свою променять на ученую.

Нашего губернского предводителя, Льва Дмитриевича Измайлова,[1] ждут к 18 числу. То-то пойдѐт потеха! Большая часть из его ассистентов и согуляк, Шиловский, Рославлев, Кобяков и проч., уже здесь. Эти господа очень грозятся на губернатора и говорят, что Измайлов непременно в феврале поедет в Петербург хлопотать о его смене. По всему видно, что этот губернатор не захотел поклоняться рязанскому Аману.

Завтра на бегу большое состязание между некоторыми знатными охотниками. Мы едем смотреть: такого важного случая в жизни москвичей пропустить нельзя.

11 января, четверг.

Пастор Гейдеке[2] утверждает, что Штейнсберг проживет недолго. Жаль! Это был такой человек, каких на белом свете мало бывает. Какою жизнью и какими трудами искупил он заблуждения своей молодости! И вот, я думаю, почему он был так увлекателен в первых сценах 4-го действия шиллеровых «Разбойников». С каким чувством говорил он тираду: «Die Blätter fallen», в которой Карл Моор вспоминает о прежних днях своей невинности: «O meine Unschuld, meine Unschuld!». Пастор Гейдеке сознается, что он прежде имел против Штейнсберга какое-то предубеждение и даже критиковал его в своем журнале, но что после, узнав его короче, он не только стал уважать его, но даже искренно его полюбил. Однако ж я говорю о бедном Штейнсберге, как об умершем, тогда как, может быть, он еще и вы-

здоровеет; у бога милости много! — кроме того, его пользуют лучшие здешние медики и пользуют безмездно, следовательно усердно, с дружеским вниманием и осторожностью.

Вчерашний бег был оживлен необыкновенно и казался каким-то охотничьим праздником. Стечение народа, несмотря на будничный день, было чрезвычайное. У Александра Алексеевича Чесменского был охотничий завтрак, и охотники приехали с него на бег, очень подгулявши. Заклад, предложенный г. Мосоловым за своего Буяна против Катка графа Орлова, не принят, но это не помешало охотникам состязаться между собою из одной славы. Чесменский на Катке, Мосолов на Буяне, Давыдов на Потешном, А. И. Яковлев на каком-то сибирском буланом мерине, князь Гундоров, Исаков и много других пустились на своих рысаках по бегу перегонять друг друга, и, вопреки обыкновению, они не приостанавливали их на поворотах, но поворачивали круто на всей рыси и таким образом бегали до тех пор, пока лошади их не изнурились и не стали. Один только рысак г. Мосолова не токмо не изнурился и не стал, а, напротив, остальные концы продолжал бежать один с возраставшею быстротою, и г. Мосолов остановил его уже сам, когда все другие съехали с бега. Я очень боялся, чтоб, при такой быстрой езде, не случилось какого несчастья, тем более, что охотники были навеселе, однако ж бог миловал. Николай Петрович Аксенов, знающий охотник, сказывал, что мосоловский рысак скаковой породы и оттого так силен, а между тем его не очень уважают, потому что он не так красив и происходит не от лошадей графа Орлова. Этот несчастный esprit de parti мешается всюду и во все, даже и в самую охоту.

12 января, пятница.

Сию минуту из бенефиса Гальтенгофа. Давали «Дон-Жуана». Сгоряча не могу выразить всего, что я прочувствовал в продолжение представления этой оперы. Какая прелестная музыка! Нейком, в своих огромных серьгах, дирижировал оркестром. Театр был полон. Я никогда не видывал столько дам высшего общества в ложах немецкого театра, как в сегодняшнем представлении. Все извест-

ные любители-музыканты занимали кресла. Я заметил Сандунову и Злова в одной из лож 2-го яруса.

На-днях опишу представление во всей подробности, а теперь не до того. Довольствуйся, покамест, этим заключением недельной моей тетради, которая полетит к тебе завтра.

15 января, понедельник.

«Дон-Жуана» играл Гальтенгоф, Лепорелло — Гунниус, дону Анну — мамзель Соломони, дону Эльвиру — прежняя мадам Гебгард, для которой входная ария была выпущена, дона Оттавио — мадам Шредер, Церлину — мамзель Гунниус, Мазетто — Эме, коменданта — Вильгельм Гас. Если говорить о каждом в особенности, то все исполняли дело свое хорошо, но в целом опера была изувечена: партия дона Жуана написана для баса, а ее пел тенор; дон Оттавио — роль тенора, а ее исполняла мадам Шредер — сопрано; Церлина, если не совсем контральто, то самый низкий меццо-сопрано, а ее пела маленькая Гунниус, сопрано самый высокий; о Мазетто нечего и говорить: басовую партию пел контральтино. Для всех этих господ Нейком должен был партии транспонировать, и оттого в morceaux d'ensemble произошла некоторая нескладица. Я не музыкант, но у меня хороший слух, а Катерина Александровна Муромцева — мачеха нынешнего директора немецкого театра, великая музыкантша и некогда сама необыкновенная певица — утверждает, что настоящая гармония оперы потеряна. Только трое из действовавших лиц были на своих местах: мамзель Соломони, Гунниус и Вильгельм. Я простил Соломони мою Лизету, которую она исковеркала, за партию доны Анны, которую исполнила она, по уверению Катерины Александровны, согласному с мнением всей публики, совершенно удовлетворительно. Бог даровал ей талант огромный — большой, гибкий и приятный голос, прекрасную наружность и много чувства: стоит только все это усовершенствовать ученьем и опытностью, и нет сомнения, что в серьезных оперных партиях она может быть первоклассною певицею и актрисою. Не помню, у Буало или Грессета, есть стих:

Tel brille au second rang qui s'éclipse au premier;[1]

но в отношении к Соломони смысл этого стиха должно изменить на следующий:

Tel brille au premier rang qui s'éclipse au dernier.

Кто видел Соломони в простой роли Лизеты и после слышал ее в важной партии доны Анны, тот, конечно, заметит эту поразительную разницу в исполнении ею обеих ролей и необыкновенно быстрые ее успехи в области искусства. Не знаю, отчего дирекция русского театра не догадается завербовать ее на свою сцену. Она родилась в России, итальянского у нее один только голос, говорит по-русски как русская и прекрасно образована, играет на скрипке и фортепьяно и танцует прелестно. Вот еще талант, которым публика будет обязана Штейнсбергу, умевшему угадать его.

18 января, четверг.

Наконец удалось мне побывать у Походяшина, с кем и как — о том знать тебе нет надобности. Это человек тихий, скромный и молчаливый, живет более жизнью созерцательною, однако ж не забывает исполнять и некоторые светские обязанности в своем кружку; ростом не мал, худощав и физиономию имеет бесстрастную. Он принял меня ласково, с любовью, но без излишней доверчивости, как следовало принять недоучку-студента. Делал мне кой-какие вопросы, на которые я отвечал как умел, запинаясь и краснея, потому что ничто так не лишает присутствия духа, как желание внушить о себе доброе мнение и опасение проговориться. Спрашивал, где я служить намерен. Я отвечал, что меня обещали определить в иностранную коллегию и что я имею полное удостоверение в исполнении этого обещания, как скоро доставлю в Петербург нужные для сего бумаги. «Это служба довольно видная, — сказал Походяшин, — и для молодого образованного человека может быть очень выгодна в отношении к повышению чинами и другим отличиям; сверх того, она дает средства путешествовать и в чужих краях приобресть такие познания, какие нам здесь бывают недоступны, но между тем в этой службе — разумея ее в некоторой высшей степени действования — есть и свое неудобство: надобно уметь более или менее притворствовать,

иначе хорошим дипломатом быть нельзя». Здесь он взглянул на образ спасителя старинного письма, стоящий в переднем углу маленького его кабинета на каком-то продолговатом черном пьедестале, и потом, взглянув на меня, продолжал: «Да, к сожалению, нельзя отвергать, что чем человек простее и прямодушнее, тем менее его понимают в свете, а бескорыстную честность почитают каким-то неслыханным дивом, и так как большая часть людей привыкла судить по своим чувствам, своим видам или своим склонностям, то самые простые, благонамеренные поступки всегда приписывают лицемерию, скрытным намерениям и видам своекорыстным, а между тем настоящим лицемерам тепло на свете: и в политике, и в общественных сношениях, и даже — страшно вымолвить — в самой религии они приобретают народность и уважение. Эгоисты и прошлецы действуют мастерски: для них ничего не значат ни лживые уверения в дружбе, ни предложения услуг тогда, когда знают, что в них не нуждаются, ни коварные улыбки кстати, ни изменническое молчание, ни вероломные рукожатия — словом, все эти средства обращают они в свою пользу и похищают незаслуженную благосклонность. Вот отчего, при этом несчастном состоянии нашего общества, трудно сохранить себя от увлечения и не притворяться, когда другие притворствуют, не лицемерить, когда вокруг вас лицемерят другие, вот отчего так трудно исполнить заповедь христову: будите мудри, то есть осторожны, яко змия и цели, то есть чисты, яко голубие. Согласить осторожность поведения с чистотою сердца: зде премудрость!».

И много еще говорено было кой-чего, о чем долго рассказывать. Странное дело! Походяшин никогда не говорит иначе, как вдвоем или втроем; при лишних людях он молчит и кажется человеком очень ограниченным, за какого мне его и выдавали. Он из старинного купеческого звания, был некогда очень богат, но призревал нища и убога и отдал все в заем богови. Теперь сам немного разве богаче Максима Ивановича, если не считать капитала, скрытого в небесах.

Петр Иванович испугался, когда я объявил ему, что был у Походяшина. Тотчас пошли расспросы: как, с кем и когда? Но мой Петр

Иванович всегда пугается: он испугался до смерти, что мадам Шредер в сочевник пропела мне с глазу на глаз песню; испугался, что я был на смотру невест; испугался немецкого письма, которое получил я из Петербурга, и говорит, что меня в Липецке испортили.[1] Не пугается только он, когда мы бываем у его учениц, девиц Скульских, откормленных двадцатипятилетних пулярдок, которых называет он удивительными невинностями и которые, вопреки своему призванию, хотят непременно попасть в поэтессы или поэтиссы, в Сафо или Дезульер. А сколько бы теперь детей было у этих белых, румяных и дородных поэтесс или поэтисс, если б они похлопотали о своем замужстве! Право, люди не знают настоящего своего назначения!

20 января, суббота.

В минувший понедельник приехал Николай Петрович Архаров, и я сегодня был у него. Чуть ли старик не сбирается в Петербург. Но зачем? Он человек не нынешней эпохи, в которую м и л о с т ь х в а л и т с я н а с у д е, крут, упрям и властолюбив. Сказывал, что встретил старого своего знакомца, смоленского военного губернатора Степана Степановича Апраксина, который в один и тот же день с ним приехал и, кажется, более не возвратится в Смоленск: хочет пожить на покое. Если этот барин поселится в Москве, то можно ее поздравить с добрым обывателем. Богат-пребогат, фамилия не только знатная, но и заслуженная, дом как полная чаша; своя музыка, свой театр, свои актеры, любит жить на большую ногу, приветлив и радушен — гуляй Москва! Николай Петрович спрашивал меня, часто ли бываю у его брата, Ивана Петровича. Я отвечал, что давно не был. «Дурно, — сказал он, — у него общество всегда хорошее, и тебе полезно бывать там».

Приехавший новый танцмейстер Ламираль в прошедшее воскресенье дебютировал с женою и восьмилетнею дочерью в каком-то турецком дивертисменте. Я их не видал, но те, которые видели, хвалят. Только преудивительное дело: в воскресенье дебютировали, а чрез неделю, то есть послезавтра, в понедельник, танцуют они в свой бенефис. Мне кажется, что бенефисы должны даваться в награду

за некоторое время службы, а не за один раз прыганья в турецком наряде.

Я очень понимаю, что талантом можно возвысить свое положение в свете, и ни мало не удивляюсь, если горничная, булочница или швея поступают на сцену, делаются актрисами, певицами или танцовщицами, но чтоб актриса, жена превосходного актера, обратилась добровольно в швею — этого постичь не могу. Однако ж пример перед глазами. Проезжая Кузнецкий мост, я заметил на доме Дюмутье новую вывеску: «Nouveau magasin de modes: Madame Duparay, ci-devant actrice du théâtre français à Moscou». Вот куда спустилась рыжая А р и с и я![1] Sic transit gloria mundi!

21 января, воскресенье.

Добродушный хитрец Антон Антонович в самом деле думает, что я ни чем не занимаюсь, кроме театра. Я пришел просить его о выдаче мне студенческого аттестата, а он свое: «А больше учиться-та не хочешь?». — «Не хочу, Антон Антоныч». — «Как Митрофанушка-та: не хочу учиться, хочу жениться?». — «Хочу, Антон Антоныч». — «Небось, туда же в дармоеды-та, в иностранную коллегию?». — «Туда и отправляюсь, Антон Антоныч». — «Ректора-та попроси, а я изготовить аттестат велю. А новые стихи-та Жуковского знаешь?». — «Знаю, Антон Антоныч». — «Ну-ка, прочитай-ка».

. . . Поэзия, с тобой
И скорбь и нищета теряют ужас свой!
В тени дубравы, над потоком,
Друг Феба с ясною душей
В укромной хижине своей,
Забывший рок, забвенный роком,
Поет, мечтает — и блажен!
И кто, и кто не оживлен
Твоим божественным влияньем?
Цевницы грубыя задумчивым бряцаньем
Лапландец, дикий сын снегов,
Свою туманную отчизну прославляет
И неискусственной гармонией стихов,
Смотря на бурные валы, изображает
И хладный свой шалаш и шум морей,

И быстрый бег саней,
Летящих по снегам с еленем быстроногим.
Счастливый жребием убогим,
Оратай, наклонясь на плуг,
Влекомый медленно усталыми волами,
Поет свой лес, свой мирный луг,
Возы скрипящи под снопами,
И сладость зимних вечеров,
Когда, при шуме ,вьюг пред очагом блестящим,
В кругу своих сынов,
С напитком пенным и кипящим
Он радость в сердце льет
И мирно в полночь засыпает,
Забыв на дикие бразды пролитый пот. . .[1]

«Полно-та, полно-та! — вскричал мой Антонский, развеселившись, — уж вижу, что знаешь. Когда успеваешь выучивать-та? все с актерками танцуешь-та!». — «Я стихов не учу, Антон Антоныч, сами в память врезываются». — «Ну, а прозу также помнишь-та?». «Помню, Антон Антоныч». — «Ну-ка, прочитай что-нибудь, хотя из Марфы Посадницы или из Вадима-та!».

«Раздался звук вечевого колокола — и вздрогнули сердца в Новегороде! Безмолвные дубравы, тихие долины, обители меланхолии! к вам стремлюсь душою, певец природы, незнаемый славою: сокройте меня, сокройте! . .».[2]

Я отхватал ему пол-«Посадницы» и чуть не треть «Вадима», и мой Антонский давай целовать меня! «Слышал, слышал, что у тебя память-та хороша, а этого не ожидал. Говорят, что и „Пророков“ знаешь, и „Притчи“ и „Иисуса Сираха“». — «Знаю, Антон Антоныч». — «Ну, жаль, жаль, что я прежде-та не знал, а теперь христос с тобой. Да съезди в Донской и молебен отслужи».

Антонский полагает, что молебны действительнее в Донском монастыре, потому что брат его там архимандритом.

23 января, вторник.

По милости брата И. П. Поливанова, я, наконец, хотя гостем, попал в Английский клуб — и как доволен! Он обещает записывать меня когда только захочу, и я завтра же буду там обедать. Какой

дом, какая услуга — чудо! Спрашивай чего хочешь — все есть и все недорого. Клуб выписывает все газеты и журналы, русские и иностранные, а для чтения есть особая комната, в которой не позволяется мешать читающим. Не хочешь читать — играй в карты, в бильярд, в шахматы, не любишь карт и бильярда — разговаривай: всякий может найти себе собеседника по душе и по мысли. Я намерен непременно каждую неделю, хотя по одному разу, бывать в Английском клубе. Он показался мне каким-то особым маленьким миром, в котором можно прожить, обходясь без большого. Об обществе нечего и говорить: вся знать, все лучшие люди в городе членами клуба. Я нашел тут князей Долгоруких, Валуева, смоленского Апраксина, екатерининского генерала Маркова с георгиевскою звездою, трех князей Голицыных, из которых у князя Михайла Петровича такой великолепный дом в Новой Басманной и почти такая же славная картинная галерея, какая была у однофамильца его, знаменитого филантропа; встретил Ивана Петровича Архарова, который очень удивился, увидев меня в клубе; сенаторов: Мясоедова, приятеля некогда славного государственного человека Дмитрия Прокофьевича Трощинского, праводушного Мамонова, Алябьева, Ивана Владимировича Лопухина, столь известного умом и подвигами человеколюбия, Нелединского, умного, острого, любезного куртизана и образцового поэта; встретил также и князя Ивана Сергеевича Гагарина, с которым познакомился в Липецке, Карамзина, И. И. Дмитриева, Пушкиных, А. А. Тучкова, П. И. Кутузова и губернского предводителя дворянства Дашкова, сына столь славной в свое время Екатерины Романовны, угадавшей гений Державина. Некоторые сидели в кружку и много кой о чем говорили и рассуждали; между прочим, услышал я, что герой князь Багратион прибыл 19 числа в Петербург, а в последней половине будущего месяца приедет и в Москву. Толковали, каким бы лучше образом сделать ему торжественный прием. П. С. Валуев предлагал дать ему большой обед в клубе с музыкою и певчими, а Кутузов вызвался написать в честь его кантату, но Иван Владимирович Лопухин и Нелединский были такого мнения, что прежде чем на что-нибудь решиться, надобно переговорить с градоначальником и без его согласия ни к чему не приступать.

Князь Михаил Александрович сказывал, что послезавтра бенефис Померанцева, и приглашал к себе в ложу. Дают драму Ильина Лиза, или торжество благодарности», в которой Померанцев, говорят, превосходен. Уж, конечно, поеду, во-первых, потому, что от игры Померанцева заплáчу, а во-вторых, что за нее не заплачу́. Вот и мои concetti! Они стоят державинского, которое ходит здесь по рукам:

О, как велик На-поле-он
И хитр и быстр и тверд во брани,
Но дрогнул, как простер лишь длани
К нему с штыком Бог-рати-он.[1]

Иван Иванович говорит, что ему сгрустнулось от этих стихов, потому что они доказывают, как низко может упасть гений, подточенный старостью, и что приобрести славу легче, чем до конца уберечь ее. Он, шутя, замечает, что из всех человеческих дел самое трудное уметь остановиться во-время, и ничего так за себя не опасается, как выжить — если не из ума, так из вкуса.

25 января, четверг.

Сегодняшний спектакль, не в счет годовых лож и кресел, а в пользу актера Померанцева, как нынче печают в афишах (хорошу выдумали фразу!), был порядочно скучен и никому не принес удовольствия. Даже и строптивая Верещагина, подруга князя Михайла Александровича и записная любительница слезных драм, зевала порядочно. Померанцев точно хорош в своей роли, но что мог сделать он один в этом обществе неблагообразных персонажей? За драмой дана была комедия в одном действии «Слуга двух господ» и разыграна лучше. В ней особенно отличался Сандунов, который, по рассказам, стал с недавнего времени очень гордиться своим происхождением будто бы от древних грузинских владетелей. Охота же умному человеку приплетаться в родню Митридату и подражать татарам-халатникам, которые все считают себя потомками Чингис-хана!

Платон Петрович Бекетов рассказывал в университете, что на пансионском акте 22-го прошедшего месяца какой-то провинциал подсел к графу Хвостову и, желая, видно, польстить ему как сена-

тору, начал хвалить его сочинения и, между прочим, с подобострастием уверял его, что он наизусть знает все его шуточные оды. На вопрос графа Хвостова, какие же это оды, провинциал прочитал несколько строф из следующей:

Хочу к бессмертью приютиться,
Нанять у славы уголок,
Сквозь кучу рифмачей пробиться,
Связать из мыслей узелок;
Хочу и я сварганить оду
И выкинуть такую моду,
Чтоб был ненадобен Пегас,
Ни Аполлон, детина строгой;
Хочу проселочной дорогой
На долгих ехать на Парнас.

Горшки не боги ж обжигают,
А нам кто не велел строчить?
и проч.[1]

Граф Хвостов сделал прекислую мину, встал и отошел от любителя шуточных стихотворений.

Дело в том, что несчастный льстец принял одного Хвостова за другого и вместо забавного сатирика наткнулся на вовсе незабавного и совсем угорелого лирика и баснописца.

26 января, пятница.

Катерину Ивановну Яковлеву-Собакину догнали, воротили, сдали с рук на руки больной матери, и она — как ни в чем не бывала. Да и в самом деле она была увезена против воли: к подъезду театра подъехала карета, несколько голосов закричало: «Карета Яковлевой-Собакиной!». Она, по обыкновенной своей ветренности, не осмотрясь, вскочила в карету, дверцы захлопнули, кучер ударил по лошадям и — похищение совершилось! Только проехав Кузнецкий мост, ветренница заметила, что вместо француженки, возле нее сидит какой-то немолодых лет мужчина; хотела закричать, но похититель уверял, что везет ее домой. И точно, он провез ее по Немец-

кой слободе мимо самого дома Яковлевых, но вместо того чтоб поворотить в ворота, он отправился за лефортовскую заставу.

3-го числа февраля назначен у графа Орлова большой бал, что называется пир на весь мир. Танцовщиц в виду много, но танцоров, напротив, почти вовсе нет. Некоторые известные дамы, коротко знакомые в доме графа, имеют поручение от молодой графини вербовать хороших кавалеров. Не знаю, почему Катерина Александровна Муромцева считает меня в числе хороших кавалеров и предложила взять меня с собою вместе с старшим ее сыном. «Но я решительно танцевать не умею, — сказал я, — застенчив и неловок». — «Et pourtant vous avez dansé chez les Werevkines et vous dansez souvent chez les Lobkoff, comme si je ne le savais pas». — «Это правда, но у Веревкиных был бал запросто, а у Лобковых я танцую pour rire в своем кружку, да и не танцую, а прыгаю козлом». — «А у Орловых будешь прыгать бараном — вот и вся разница! Болтай себе без умолку с своей дамой — и не заметят, как танцуешь». Я отнекивался, но мне Катерина Александровна решительно объявила: «Vous irez, mon cher; je le veux absolument: à votre âge on ne refuse pas un bal comme celui du comte Orloff, ni une femme qui vous a vu naître. C'est ridicule».

Делать нечего, буду снаряжать свой бальный костюм: пюсовый фрак и белый жилет с поджилетником из турецкой шали. Разоденусь хватом!

28 января, воскресенье.

Сегодня был я у немцев на репетиции «Der Kaufmann von Venedig» Шекспира. Эта пьеса, которую разучивают уже три месяца, так плохо идет, что, кажется, и совсем не пойдет. Шейлока должен был играть Штейнсберг, а теперь вместо него вздумал играть Кистер, которому эта роль не по силам. Отсутствие Штейнсберга заметно и в самой репетиции; какая-то неладица, путаница; бедные актеры и актрисы точно гурт овец без хозяина.

Однако ж, что это за пьеса «Венецианский купец» и что она доказывает? Приготовляясь видеть ее на сцене, я прочитал ее и, право, не понимаю, а растолковать некому. Венецианскому купцу понадо-

бились для услуги приятелю деньги, и он занимает их у жида с таким обязательством, что если не заплатит в срок, то жид имеет право вырезать из него фунт мяса. Срок пришел, купец денег заплатить не мог, и жид требует исполнения обязательства. Дело по своей важности перенесено на суд дожа, который не знает, как рассудить его. Является женщина под видом ученого юриспрудента и, с дозволения дожа, берется разрешить небывалый случай. Она начинает тем, что, по буквальному смыслу обязательства, обвиняет купца и предоставляет жиду вырезать из него фунт мяса, но вместе с тем налагает и на жида обязанность вырезать ни больше, ни меньше, как только один фунт и совершенно без пролития крови; в противном же случае подвергает его наказанию, какому подлежат жиды за пролитие крови христианской. По мнению моему, это просто подбор под закон: если в обязательстве не означено дозволения при вырезывании мяса проливать кровь, то не означено также и запрещения, а между тем, как же можно из живого человека вырезать кусок мяса без того, чтоб при этой операции не было крови? Это несогласно с природою и здравым рассудком; и что ж в этом ложном истолковании смысла и речи обязательства может быть трагического? Разве только ненависть жида против христианина.*

Пожалуй, если пойдет на игру слов в юриспруденции и на превратные толки о действиях подсудимых лиц, то и у нас найдется много случаев, из которых иному русскому Шекспиру вздумается сочинить трагедию, и вот, например, один анекдот, рассказанный П. И. Авериным и слышанный им от Д. П. Трощинского. Какого-то харьковского помещика обокрала дворовая девка и бежала. Барин подал объявление о побеге и сносе разных вещей. Девку поймали, посадили под караул и предали суду. Но девка была смазлива, а судья человек чувствительного сердца, и потому непременно хотел оправдать красавицу; для этого он составил следующий приговор: «А как из учиненного следствия оказывается, что означенная дворовая женка Анисья Петрова вышеупомянутых пяти серебряных

* Теперь я совсем не так уже думаю, но 52 года в жизни человека большая разница. Я воспретил себе всякую перемену в изложении. *Позднейшее примечание.*

ложек и таковых же часов и табакерки не к р а л а, а просто в з я л а, и с оными вещами не б е ж а л а, а только так п о ш л а, то ее Анисью Петрову от дальнейшего следствия и суда, как в вине не признавшуюся и неизобличенную, навсегда освободить».

То ли еще бывает! Да где же тут трагедия?

29 января, понедельник.

Лапин был очень хороший трагический актер и чрезвычайно любим петербургскою публикою. Он соединял в себе все качества, составляющие отличного трагика: счастливую наружность, звучный и гибкий орган, чистую и правильную дикцию. В игре его много было благородства, и он чрезвычайно напоминал собою Флоридора, которого постоянно брал себе в образец. Одного недоставало в нем: увлечения, что французы называют entrailles, и это происходило более от недоверчивости к самому себе и строгого благоразумия, и оттого он преимущественно хорош был в таких ролях, которые этого увлечения не требовали, как то: в Тите, в Росславе, в Гусмане и проч. Лапин перешел на московскую сцену, потому что не поладил с Дмитревским, а не поладил по причине делаемых ему притеснений, чтобы дать ход Плавильщикову, который, в свою очередь, спроважен в Москву, чтобы очистить место Яковлеву. Это рассказывал мне дедушка, и слова его подтвердили Сила Сандунов, Украсов и Григорий Иванович Жебелев, которые были свидетелями всех этих закулисных проделок. Боже мой! как эти проклятые исчадия ада — зависть, недобросовестность и своекорыстие — умеют проползти всюду, чтобы помешать всякому согласию и уничтожить всякое доброе дело в самом его зародыше! Конечно, мы скудны талантами, но все-таки они изредка появляются и появлялись бы чаще, если б одних не душила интрига, а других не сбивало с настоящего пути невежество — б о г о п р о т и в н о е невежество, как называет его Невзоров.

31 января, среда.

Все наши журналисты взволнованы статьею любезного пастора Гейдеке под заглавием «Карамзин», помещенною во второй книж-

ке периодического его издания «Русский Меркурий», напечатанного в прошлом году в Риге и недавно здесь появившегося.[1] Дошла же весть до глухих! За эту бесподобную статью, которою Гейдеке так благородно отстаивает Карамзина и так хлещет его недоброжелателей, я простил ему жестокую и несправедливую статью на Штейнсберга, писанную тотчас по приезде последнего в Москву, когда он не успел еще сформировать своего театра, ни узнать вкуса публики. Я постараюсь непременно доставить тебе эту статью, хотя и в плохом переводе; стоит прочитать: есть чему порадоваться и о чем попечалиться. Порадоваться, потому что нашлись и в числе иностранцев люди, которые умели оценить нашего гениального писателя, а попечалиться о том, что не нашлось ни одного человека из русских, который бы вооружился за него против его недоброжелателей, и что честь защищать Карамзина похитил у нас иностранец. Правда, этот иностранец Гейдеке. Он знает Россию, знает русский язык лучше многих русских и в душе русский. Иван Иванович Дмитриев не разумеет по-немецки и потому желал бы прочитать эту статью по-русски. Я понял намек и постараюсь передать ему ее, как умею. Хотя бы что-нибудь удалось сделать для него приятное за его приветливость.

2 февраля, пятница.

Вот что à peu près пишет Гейдеке в своем «Русском Меркурии» о Карамзине:

«Известный в Германии российский писатель г. Карамзин подвергся той же участи, какой подвергаются и все люди, возвышающиеся над посредственностью, то есть он находится между двумя партиями: одною доброжелательствующею и другою ему враждебною В продолжение нескольких лет большая часть читающей публики нарасхват раскупала все издания, которых заглавия украшены были именем Карамзина, но между тем в числе стольких читателей, жаждущих сочинений Карамзина, находились и такие литературные соглядатаи, которые искали этих сочинений единственно для того, чтоб найти в них какой-нибудь признак якобинских правил, которые можно было бы обратить в предосуждение сочинителю. Прови

дение, так неусыпно пекущееся о людях добродетельных, разрушило все эти козни, и гений-хранитель провел Карамзина невредимо посреди мытарств цензуры. Любовь Карамзина к истине и его откровенность остались неизменными во всех обстоятельствах. С мужеством древнего римлянина и настоящего свободного гражданина и патриота он не преставал совершенствовать русский язык и обогащать его слово, и когда недоброжелатели его убедились, что со стороны политических мнений задеть его нет возможности, то задумали достичь своей цели другим способом: стали унижать достоинство его сочинений и подвергать сомнению самый его талант. Между прочим, упрекали его в том, что он изменяет русский язык и ослабляет силу его выражений, что он вводит в него несвойственные ему обороты речи и новые слова, отчего русский язык так же мало походить будет на свой коренной, славянский, как нынешний изнеженный итальянский язык мало походит на латинский Цицерона, Ливия и Тацита. На все эти обвинения Карамзин не отвечал ничего и похвальным словом Екатерине II доказал, что он не нуждается в оправданиях. Но закоренелая вражда непримирима. Многие, почитающие себя ветеранами русской литературы, не могут простить Карамзину, что он в таких молодых летах успел приобресть такую славу, что современники почитают его любимейшим своим писателем».

Засим Гейдеке объясняет, что он не излагает собственного мнения своего о сочинениях Карамзина, потому что по чувствам особенного уважения, которые он питает к сочинителю как к человеку высокой души и благороднейших свойств, суждения его могли бы показаться пристрастными, а ограничивается только несколькими выписками из критик и рецензий на Карамзина (напечатанных в 8-й книжке «Северного Вестника» 1804 года, издаваемого г. Мартыновым, стр. 111), из которых ясно, без всяких комментарий, усмотреть можно, какая из двух партий справедливее в своих суждениях о Карамзине: доброжелательствующая ему или враждебная. Эти выписки могут в то же время служить примером, как доселе еще в России неосновательны положения критики в отношении к словесным наукам.

Гейдеке прибавляет, «что если издателя „Северного вестника“ и нельзя прямо назвать врагом Карамзина, то уже ни в каком слу-

чае нельзя считать его в числе людей, ему благоприятствующих. Кроме того, что издатель поместил в своем журнале критику на Карамзина, написанную в тоне весьма насмешливом, он еще присовокупил к ней собственное примечание, в котором говорит, „что почитает приятнейшею обязанностью засвидетельствовать искреннюю благодарность любезному сочинителю этой критики“. Следовательно, он вполне разделяет с ним мнение, в критике изложенное, а между тем этот любезный сочинитель, обозревая все рецензии, которые напечатаны были в „Московском журнале“ в 1791—1792 годах, издаваемом Карамзиным, не позаботился даже узнать, которая из них написана самим Карамзиным и которая нет, и все их приписывает Карамзину потому только, что журнал издавался под его именем».

В заключение Гейдеке предлагает свои выписки, о которых распространяться не буду, потому что «le secret d'ennuyer est celui de tout dire»,[1] и упомяну только о замечательном окончании статьи его. Вот оно: «Но если б г. Карамзин захотел обращать внимание на отзывы этих партий, если б вздумал дорожить хвалою непризванных ценителей его таланта или ставить во что-нибудь хулу своих завистников и если б, сверх чаяния, современники его оказались неблагодарными к его заслугам, то пусть удастся ему получить то же, чего так желал и что, наконец, получил Овидий: „Si tamen a memori posteritate legar“».[2]

5 февраля, понедельник.

Охота пуще неволи, говорит пословица, а я скажу: неволя пуще охоты. В субботу плясал до упаду и все с такими дамами, которые без меня просидели бы целый вечер на одном месте: их никто не ангажировал. Как весело!

Бал огромный, но совсем не такой великолепный, как того ожидали: все запросто, точно большой семейный вечер.[3] Дом старинный. Пропасть картин, статуй, японских ваз и бог знает чего-чего нет! Но все как-то не на виду. Могучий хозяин сидел в углу передней гостиной с некоторыми почетными гостями и распивал с ними чай и какие-то напитки. Все они очень были веселы, громко хохотали

и, кажется, что-то друг другу рассказывали. Возле хозяина сидели Сергей Алексеевич Всеволожский и Мятлев, женатый на графине Салтыковой.

Ужин, кувертов на двести, изобильный, но не пышный: на одном столе сервиз серебряный, на другом и третьем, за которым мы сидели, — фарфоровый. Услуга проворная. За большим столом служили всё почти старики, а около нас суетились официанты второго разряда. Молодая хозяйка почти не садилась и заботилась о дамах. О нашей братье, слава богу, никто не заботился, зато мы сами о себе заботились вдвое. После ужина, который кончился в одиннадцать часов, граф приказал музыкантам играть русскую песню «Я по цветикам ходила» и заставил графиню плясать по-русски. Танцмейстер Балашов, учивший ее русским пляскам, находился тут же на бале, для всякого случая: иногда граф заставляет и его плясать вместе с дочерью; для этого у них есть пребогатейшие русские костюмы, но на этот раз они вместе не плясали. В других же танцах почти постоянными кавалерами графини были губернский предводитель Дашков, очень тучный, но чрезвычайно легкий на ногу, и молодой человек Козлов,* танцующие точно мастерски. В половине второго часа граф остановил танцы, закричав: «Пора по домам!». Музыка замолкла, и все стали подходить прощаться с ним. Коротко знакомых дам он иных обнимал, у других целовал руки, третьих дружески трепал по плечу и говорил им не иначе, как т ы.

Очень удивлялись, отчего градоначальник не был на бале, и выводили из того разные заключения; но говорят, что матушка Москва выводит заключения из всего; так что ж? в том худого нет: всякий будет жить осторожнее.

Сказывали, что у толстого Дашкова есть какие-то датские собаки, чрезвычайно складные, необыкновенно красивой шерсти и такого огромного роста, что англичане предлагали ему за них большие суммы. Разумеется, Дашков предложения не принял и велел отвечать, что «русский барин собаками не торгует».

* Впоследствии автор «Чернеца», слепец и расслабленный.

8 февраля, четверг.

Ездил к ректору просить о выдаче аттестата. Он сердечно рад отпустить меня скорее и советовал похлопотать у Антонского. Застал у него шестичувственного Брянцева, которого наши забавники прозвали так потому, что добрый профессор как-то однажды на лекции объяснял, что некоторые известные ученые не без основания признают в человеке вместо пяти чувств шесть, и это шестое чувство называют вожделением. Насмешникам только попадись на зубки, а между тем лучше быть шестичувственным, нежели совсем бесчувственным, как бо́льшая часть всех зубоскалов.

Брянцев сказывал, что новое издание гражданской печатью «Четвероевангелия» покойного Харитона Андреевича скоро поступит в продажу по 4 р. 50 к. за экземпляр. Говоря об этом издании, удивлялись огромному труду Чеботарева, труду почтенному и бескорыстному, обратившему на себя внимание не только всей религиозной публики, но и таких учителей церковных, каков преосвященнейший митрополит Платон и др. Страхов, между прочим, подтвердил, что Чеботарев действительно три раза переделывал свой свод, покамест не добился до точного и непогрешительного порядка в повествовании евангельских происшествий. Какова добросовестность и каково терпение![1]

Далеко сынку до батюшки! Наш Андрюша с своей Фелицией Вильмар (пустым романом Бланшара),[2] с своими открытиями да воздушными шарами сам скоро обратится в мыльный пузырь. Зато Софья Харитоновна* — дело другое: ум серьезный, учености бездна и в двадцать лет, кроме древних языков, знает столько наук и знает так основательно, что впору было бы иному профессору: это Паскаль в юбке. Зато уж и дурна собою — ах, боже мой, как дурна! Видно природа в дарах своих всегда соблюдает равенство и заменяет одни другими.

Вот как иностранцы толкуют о Чеботареве:

«Ректор Московского университета г. Чеботарев издал духовное сочинение, которое не перестает обращать на себя внимание

* Бывшая впоследствии замужем за известным доктором Мудровым.

ученых теологов: мы говорим о Своде четырех евангелистов. Это в высшей степени занимательное творение напечатано было в синодальной типографии и теперь должно скоро появиться напечатанным в типографии университетской, и в другом формате. Чрезвычайно любопытно появление такого важного творения, принадлежащего по существу своему к области высших теологических наук и написанное лицом, не принадлежащим к духовенству, творения, требовавшего стольких экзегетических, герменевтических знаний и критических исследований, из которых автор, к удивлению всех, вышел с такой честью, так что, несмотря на превосходство существовавших прежде сочинений в этом роде и глубокие исследования новейших истолкователей, он не токмо сравнился с ними, но и превзошел их. Впрочем, почему же и не ожидать было этого от настоящего ученого, который хотя занимался и посторонним для своей части предметом, но занимался долгое время, с любовью и неутомимым прилежанием. И говоря об этом ученом муже, почему не отвечать людям, которые, судя по свойствам его простодушного характера, сомневались прежде в его таланте и удивляются теперь успешному окончанию предпринятого им огромного труда, изречением самого евангелия, которое так изучил он в продолжение полувекового почти труда своего: „Аще у человек невозможна, у бога вся возможна суть“».[1]

9 февраля, пятница.

Очень любопытна сравнительная ведомость о ценах некоторых жизненных припасов в Иркутске и Москве в продолжение января прошлого года.[2] В Москве, кроме дров, все дешевле, а между тем утверждают, что в Сибири жить очень дешево, разве потому, что кроме насыщения желудка нет других случаев к издержкам. Я воображаю, как весело мало-мальски образованному человеку проводить жизнь в таком краю, в котором единственным наслаждением его может быть удовлетворение только скотских побуждений: аппетита, жажды и прочего, хотя о прочем там и помину нет. Генерал Маркловский, маленький, кругленький старичок, которого иногда встречаю я у моих знакомых, рассказывал, что в быт-

ность его губернатором в Тобольске единственным его рассеянием были карты и охота, когда дозволяла погода; прекрасные занятия для губернатора! Он мог бы найти и другое рассеяние, несколько полезнее.

Этот Маркловский величайший охотник до лягавых собак и создал (видно, от безделья) какую-то особенную их породу, которая очень уважается охотниками.

Название припасов	Цены в Иркутске		Цены в Москве
Ржаная мука, куль	10 р. — к.		5 р. 40 к.
Овес, четверть	10 — 30 —		4 — 50 —
Пшеничная, пуд	1 — 50 —		1 — 20 —
Сено	— — 50 —		— — 25 —
Пшено	2 — 50 —		1 — 10 —
Гречневая крупа	2 — 40 —		1 — — —
Горох	2 — — —		1 — 45 —
Масло коровье	12 — — —	лучшее	11 — — —
Говядина	5 — — —	лучшая	5 — 50 —
Ветчина	8 — — —		3 — 40 —
Свечи сальные, пуд	6 — — —		6 — 50 —
Сахар	60 — — —		8 — — —
Кофе	60 — — —		11 — — —
Ведро простого вина	5 — — —		5 — 50 —
Ведро плохого виноградного вина, красного или белого	20 — — —		6 — — —
Ведро кизлярской водки	65 — — —		5 — 80 —
Мерзлые лимоны, штука по	1 — — —	свежие	— — 10 —
Сажень березовых дров	1 — 50 —		6 — — —
Сажень еловых	1 — 30 —		5 — 15 —
Аршин сукна	12 — — —		4 — — —
Аршин холстины	1 — — —	одной доброты	— — 40 —
Десть писчей бумаги	— — 50 —		— — 15 —
Круглая шляпа	18 — — —	одинаковой доброты и качества	3 — 50 —
Трехугольная	22 — — —		4 — 25 —
Пара сапогов	15 — — —		3 — — —
Корова (очень малого роста)	25 — — —	порядочная	20 — — —
Теленок	5 — — —		4 — — —
Серебряный рубль	2 — — —		1 — 29 —

11 февраля, воскресенье.

Наш рязанский атаман Л. Д. Измайлов отправляется завтра в Петербург. Я был у него, по приказанию отца, который, не знаю почему, видит в нем какого-то феномена в роде человеческом, но я, грешный студент, вижу в нем только избалованного льстецами барича, совершенного неуча, который не только не покровительствует просвещению, как бы то ему следовало, по его званию и богатству, но еще не пропускает ни малейшего случая, чтоб не издеваться с какою-то язвительностью не только над науками, но и над всеми, которые себя им посвятили и носят на себе благородный отпечаток образованности. Для этого Измайлова ничего нет достойного уважения, даже, кажется, и жизни человеческой. В книге его деяний есть такие страницы, от которых захватывает дух и дыбятся волосы. Он некогда был неизменным участником афинских вечеров графа Валериана Александровича Зубова, который иногда любил попировать и покуликать наславу, и воображает, что похож на Зубова, потому что охотник бражничать. Но какая разница! Зубов знал во всем меру, был человек отличных свойств, необыкновенно умен и такой сердечной доброты, что невольно привлекал к себе любовь всех его знавших. И не даром Державин в то время, когда Зубов впал в опалу и возвращен из Персии, написал к нему одну из прелестнейших своих од, в которой встречаются такие глубокомысленные и доказывающие необыкновенное знание человеческого сердца стихи, как, например:

О! вспомни в том, как восхищенье
Пророча, я тебя хвалил:
«Смотри, — я рек, — триумф минуту,
А добродетель век живет».
Сбылось! Игру днесь счастья люту
И как оно к тебе хребет
Свой с грозным смехом повернуло —
Ты видишь, видишь, как мечты
Сиянье вкруг тебя заснуло,
Прошло, остался только ты.

Остался ты! и та прекрасна
Душа почтенна будет в век,

С которой ты внимал несчастна
И был в вельможе человек,
Который с сердцем откровенным
Своих и чуждых принимал,
Старейших вкруг себя надменным
Воззрением не огорчал.
Ты был что есть, и не страшися
Объятия друзей твоих:
Приди ты к ним! и проч.[1]

Вот каков был Зубов; а вот Измайлов: подарить вновь избранному исправнику тройку лошадей с дрожками, дать ему полюбоваться этим подарком и после, когда тот в восхищении вздумал узнать лета лошадей своих и посмотреть им в зубы, — приказать тройку отложить, снять с коренной хомут и надеть его на исправника, запречь его самого в дрожки и заставить отвезти их в каретный сарай под прихлестом арапника, с приговоркою, что даровому коню в зубы не смотрят; или [2] напоить мертвецки пьяными человек пятнадцать небогатых дворян-соседей, посадить их еле живых в большую лодку на колесах, привязав к обоим концам лодки по живому медведю, и в таком виде спустить лодку с горы в реку, или проиграть тысячу рублей приверженцу своему Шиловскому, вспылить на него за какое-то без умысла сказанное слово, бросить проигранную сумму мелкими деньгами на пол и заставить подбирать его эти деньги под опасением быть выброшенным за окошко! Каприз, один только безотчетный каприз — стихия этого человека. К сожалению, находятся еще люди, которые ищут в нем и, не взирая на все унижение, которому он их подвергает, они смотрят ему в глаза, как жрецы далай-ламы своему идолу. Исправник лошадей все-таки взял, соседи проспались и также продолжали безвыездно пользоваться его гостеприимством, а депутат Шиловский разбросанные па полу денежки все подобрал и опять по временам мечет ему банк, как будто между ними ничего и не происходило. О tempora!

13 февраля, вторник.

Бывший наш учитель французского языка в пансионе Ронка́, Лаво, с таким же учителем Алларом намерены основать обшир-

ную торговлю французскими книгами и завести в центре города, на Лубянке, книжную лавку. Библиографических знаний у них достанет, но достанет ли капитала — это вопрос. Утверждают, что они могут поддержать себя, подобно другим, оборотами кредита, но это все ненадолго: à la longue этот кредит и задушит их.

А, право, желательно, чтоб в Москве хотя французская книжная торговля развилась и процвела, если уж русская не развивается и не процветает. Все вообще жалуются на недостаток учебных пособий и средств к высшему образованию: специальных и технических книг вовсе здесь не сыщешь, надобно выписывать их из Петербурга. Русские книгопродавцы не могут понять, что для книжной торговли необходимы сведения библиографические, зато и в каком закоснелом невежестве они находятся! Ни один из них не решится предпринять ни одного издания новой книги на свой счет, потому что не сумеет оценить ее достоинства. Уверяют, что известнейшие московские книгопродавцы все хорошие люди, но какая в том прибыль литературе и литераторам? Ни в Мее и Грачеве, ни в Акохове, Немове и Козыреве нет даже глазуновской сметливости, чтоб кормить типографии изданием хотя «Оракулов» и «Сонников», а Клаудий сделался типографщиком. О прочих не стоит и упоминать: просто мелкие букинисты. Впрочем, немного доброго сказать можно и об иностранных книгопродавцах: ни одного в Москве из них нет, которого можно было бы сравнить с каким-нибудь Гартнохом, Рейхом или Николаи, а цены за книги назначают баснословные: опытные люди утверждают, что втрое дороже, нежели они стоят за границею, да и то промышляют большею частью всяким хламом текущей литературы. Французские книги еще можно найти у Riss et Saucet. С тех пор, как завелся здесь французский театр, они выписывают много драматических новинок, но итальянских и английских книг не сыщешь ни в одной лавке; старейший из здешних книгопродавцов, Ридигер, бывал некогда богат книгами классической литературы, но теперь жалуются на его бездействие. Люби, Гари и Попов не что иное, как обыкновенные содержатели типографии без всякой предприимчивости: отстали от века.[1] Куртенер сдал торговлю зятю своему, Готье, и еще неизвестно, что

будет. У Горна много старых немецких книг, большею частью педагогических, но о пополнении своей лавки новыми он, кажется, вовсе не думает. Теперь выступает на сцену Лангнер с собственным своим изданием отрывков иностранной литературы. Будет ли в нем прок — увидим.

Что же касается книжной торговли во внутренних губерниях России, то пастор Гейдеке, который всегда так уморителен в своих уподоблениях и сравнениях, говорит, что она походит на осла, играющего на лютне («gleicht immer einem Esel, der auf der Laute spielt»). Этот немецкий Witz иным покажется не очень понятным, но в сущности так.[1] Вот в Костроме какой-то закоренелый раскольник с давних лет ведет обширную торговлю книгами, а между тем почитает смертным грехом прикоснуться сам к книге, напечатанной гражданской печатью.

15 февраля, четверг.

Наконец, получил я сегодня аттестат свой, подписанный вчера Страховым, и окончательно распростился как с ним, так с Антонским и со всеми профессорами, кроме Мерзлякова, с которым прощусь 18 числа, в день моего рождения, у нас на пирушке. Не думал я так скоро оставить университет и оставить его таким олухом, в каком-то нравственном расслаблении; а каким молодцом, с какими энергическими надеждами, с какою самоуверенностью в непременных успехах я вступал в него! Вот тебе и успехи! Прежде болезнь, а потом Липецк уходили меня в притчу: да не похвалится всяка плоть пред богом.

Впрочем, все к лучшему! С самого детства я так привык верить в промысл, что теперь, не будучи ни ханжею, ни суевером, ни изувером,[2] ни лицемером, без всякого опасения и предосторожности пускаюсь в житейское море, предаваясь какому-то особому безотчетному путеводному чувству. Знаю, что человек посылается в этот пестрый мир не для того только, чтоб покоиться на розах; но знаю также, что он и не осужден целую жизнь жариться на решетке св. Лаврентия.[3] Если бог продлит веку, придется отведать всего: и горького и сладкого, но я убежден в одном, что если мера горестей

превзойдет меру радостей, то последние, в замену, будут сильнее и живее, и наоборот, а потому:

Смелее с жизнью в бой! advienne que pourra.
Ура! ура!

16 февраля, пятница.

Граф Растопчин даже и в отставке не пропускает ни одного случая, чтоб словом или делом не содействовать славе отечества. Теперь одаряет всех знакомых своих выгравированным и отпечатанным на счет его портретом прапорщика Емельянова, который в 1799 г., будучи простым солдатом, в сражении под Цюрихом был ранен, взят в плен и в плену умел сохранить спасенное им знамя, которое после и возвратил генералу Спренгпортену по размене им пленных.[1] Вот что бы Измайлову с его богатством не подражать графу, вместо того чтоб швырять деньги на удовлетворение мелочного губернского тщеславия и безумных прихотей во вкусе времен феодальных!

В Английском клубе делаются большие приготовления к принятию князя Багратиона, которого на днях ожидают. Сказывали, что стихи заказаны П. И. Кутузову и Николеву: мало одного стихотворца, надобно двух. Не знаю, почему не составили уже полного парнасского триумвирата, присоединив к ним и графа Хвостова? Решено, что обед будет с музыкою, а после обеда будут петь песенники и цыгане попеременно. Не знаю, удастся ли мне попасть на этот праздник, в число избранных пятидесяти человек гостей, но во всяком случае постараюсь. Та беда, что желающих слишком много, и дело не обойдется без затруднений, а признаюсь, очень хочется поближе увидеть этого витязя, который сделался так дорог сердцу каждого русского.

19 февраля, понедельник.

Вчерашняя пирушка наша не похожа была на прошлогоднюю: обед и ужин были еще изобильнее и вакховых даров всякого разбора и качества вдоволь, но как-то все сбивалось на заупокойную трапезу. За обедом

Холодный царствовал рассудок,
Сухих приличий важный тон,

а после, за ужином, хотя гости несколько и поразвеселились, однако ж без настоящего увлечения. Напитки уничтожались, но вино претворилось в воду и хмель, по выражению Буринского, благословенное чадо беспечности, отказывался споспешествовать общей веселости.

«А знаете ли, господа, отчего мы сегодня сидим повесив носы?», — сказал Злов, который запел было: «mihi est propositum» и остановился, видя, что никто ему не подтягивает. — «А это от того, Петр Васильич, что мы их не вздернули», — отвечал Буринский. Все засмеялись. «Не угадал, любезный, — возразил Злов, — это от того, что мы чересчур жеманимся». — «А так как жеманство есть вывеска пошлой посредственности, — сказал Мерзляков, — следовательно, мы сегодня, по мнению вашему, люди посредственные: consequentia valet». — «И сегодня и завтра, Алексей Федорыч, если захотите быть не тем, что вы есть; я запеваю вам одну из любимых ваших песен, и никто из вас не думает подтянуть мне: этого не бывало, и я недоволен вами». — «Часто бываешь недоволен другими от того, что недоволен самим собою, Петр Васильич». — «Буринский сострн за меня: это по твоей части, а я, видишь, дополняю гостям стаканы — тружусь». — «От того-то Алексей Федорыч и не в духе, что праздные не любят трудолюбивых». — «Ай-да умная голова!», — вскричал Злов. «Десяток умных голов не стоит одной веселой, — подхватил Мерзляков, — все умны по-своему». — «Я желал бы быть умным по-вашему, — сказал Федор Павлович, — и тогда бы я был счастлив». — «За доброе слово спасибо, Федор Павлыч. Мы старые приятели, но предположение твое ошибочно». — «Как ошибочно? а талант, а слава!». — «Твое восклицание годилось бы в заказную речь для пансионского акта, а за приятельским ужином оно не у места: талант, любезный, не проложит пути к счастию, а славу надобно выстрадать». — «Не всегда, Алексей Федорыч, — возразил дотоле молчавший, скромный Василий Иванович, — не всегда: большею частью талант сопровождается общим уважением и рано или поздно зависть и недоброжелательство должны заплатить дань истинному достоинству и смириться пред ним». — «А до тех пор, почтеннейший отче, можно десять раз

умереть с голоду. Но, впрочем, говоря о счастье, я понимал его так, как привыкли понимать его в свете, и повторяю, что счастье и талант — несогласимые противоречия. Дело другое в отношении духовном: и я постигаю, что настоящее счастие состоит в одном только исполнении своих обязанностей к богу и ближним, каких бы оно самопожертвований ни требовало». — «Но другого счастия на земле и нет, любезнейший Алексей Федорыч; все прочее, что называют счастием, есть не что иное, как только удовлетворение страстей». — «Согласен, Василий Иваныч, очень согласен с вами, но для того чтоб находить счастье в самопожертвовании, надобно возродиться духовно, а покамест мы не удостоились сей благодати, страсти останутся солью жизни и без них она будет безвкусна. . .».

Мы расстались поздно, и все невеселы.

20 февраля, вторник.

Помещик Д. В. Улыбышев рассказывал в клубе, что в числе умерших в запрошлом году в Нижегородской губернии 31 000 с чем-то душ находилось до 25 человек, имевших от 100 до 120 лет, но что такое долголетие довольно обыкновенно в России и особенно в Сибирском краю, в котором люди замечательны крепостью телосложения и отличаются умеренностью в жизни, но что ему однажды удалось видеть пример такой долговечности, какого, вероятно, никто и нигде не встречал. Наследовав после отца небольшое имение в Рязанской губернии, он ездил осмотреть его, и так как в нем не было господской усадьбы, то ему и отвели у одного зажиточного крестьянина, по прозвищу Генварева, простую светелку. У самой квартиры встретили его два старика, седые, как лунь, но еще довольно бодрые, судя по их летам, и, по обычаю, пали на колени и, кланяясь в землю, просили принять хлеб-соль. «Я, — продолжал Улыбышев, — удивился почтенной наружности и благообразию этих стариков и тотчас начал с ними ласковый разговор: „Вы здешние хозяева?“. — „Да, кормилец“. — „А велико у вас семейство?“. — „Да всех-то душ с пятьдесят будет“. — „И живете нераздельно?“. — „Нераздельно, отец родной“. — „Как же вы это умещаетесь?“. — „Да вон в трех избах, а четвертая — светлица, для свадебок“. —

„Много ли ж тебе лет, старик?“. — „Кому, государь, мне или сынку-то?“. — „А это разве сынок твой?“. — „А как же, кормилец; вишь ему только восьмидесятый с петрова дня пошел“. — „Да тебе-то сколько ж?“. — „Без двух годков сто будет“. — „Хорошо, старина, благодари бога, что сподобил пожить столько. Если в семье старший есть, так и порядок есть и дело спорится“. — „Вестимо, родимый, без старшего какой уряд? Вот и я остался после родителя-батюшки чуть не малолетный, годков тридцати, и кабы не дедушка — дай бог ему здравствовать — то проку было бы немного“. — „А дедушка-то долго жил?“. — „Да он и теперь еще здравствует, только ноги плохо двигаются, все больше на палатях пребывает“. Я обомлел и поскорее вошел в избу, в которой жило семейство этих Мафусаилов. „Здорово, дедушка, — сказал я, входя в избу, довольно громко, — как поживаешь?“. — „А ты кто такой?“. — откликнулся с палатей голос довольно зычный. — „Вишь, молодой барин приехал, — сказал ему внук, — у нас в светлице стоять будет“. — „Ну що ж, на здоровье, — проговорил старик. — Надо барана зарезать, али птицу какую, да выломать медку“. — „Все есть, — отвечал я, — не тревожься, старик. Да скажи, не помешал ли я тебе, а если нет, так вот хотел бы спросить тебя кой о чем“. — „Ну що ж, почему и не спросить: лет с десять ничего уж не делаю, на одном месте лежу“. — „А много лет тебе?“. — „Да господь ведает. Как наряжали под подводы государю Петру Алексеевичу, как в Воронеж ехал, в ту пору было годков шестьдесят“. — „И ты видел государя и помнишь его?“. — „Ну, как не помнить? Такой был дюжий да здоровенный, а уж любопытный какой — и, господи, упаси! Чего сам не спрошает, так другим спрошать велит. Вишь, проведал, что нам было наказано отмалчиваться перед ним, так, бывало, через других и норовит о чем-нибудь у нас допытаться. . . “.

«Я после справился по ревизской сказке о летах этого старика: ему показано было 142 года, но все думают, что в сущности он был старее. У меня не достало духа поближе взглянуть на эту развалину человеческую».

Обжегся на молоке, будешь дуть и на воду, говорит пословица. Поверив рассказам о рыбьем сукне и домашнем шампанском, я,

прежде чем поверить рассказу о долговечном крестьянине, справился кой у кого о самом рассказчике — общий голос в его пользу: 25 лет известен в Москве за скромнейшего и правдивейшего человека, который, что называется, лишнего слова не выпустит на ветер.

21 февраля, среда.

Сегодня приехал генерал-адъютант государя, Уваров, а на днях прибудет и князь Багратион. Ждут также Александра Львовича Нарышкина для окончательного устройства и принятия театра в ведение императорской дирекции. Надобно видеть, в каком восхищении актеры, и особенно те, которые доселе были крепостными. Пора была подумать об участи этих бедных людей. Директором, говорят, назначен будет Всеволод Андреевич Всеволожский. Нельзя было сделать лучшего выбора: богат, живет на роскошную ногу, знаком с целой Москвой, гостеприимен и приветлив, имеет свой отличный оркестр — словом, настоящий директор императорского театра. Думают, что это звание введет его в большие издержки, но что ж в том худого, если богатый человек употребит в пользу службы свои избытки? Это похвальнее, чем живиться и крохоборничать от службы, как то делают многие.

23 февраля, пятница.

Над нашей Катериной Ивановной Яковлевой учреждается опекунство; только не такое нежное опекунство, под каким была она у маменьки и дядюшек до своего совершеннолетия — нет, это опекунство будет тягостное, стеснительное, жестокое, и стражем интересов доброй ветренницы назначается строгий и расчетливый генерал Струговщиков. Увы! ее разлучают с магазинами и магазинщицами, с мадам Шалме, Дюпаре и прочими отъявленными разбойницами, запрещают забирать в долг на Кузнецком мосту всякое тряпье и подписывать счеты разных усердных услужников, не взглянув на итог. Увы! увы! А между тем имя и звание искателя приключений, увозившего ее, сделалось известным: это какой-то пожилой полковник или генерал Дембровский.

Князь Д. А. Хилков, не только не знакомый с Катериною Ивановною, но и никогда ее не видавший, однажды, играя в бостон у тетки ее, М. И. Суровщиковой, услышал, что приехала какая-то дама и в другой комнате громко разговаривает и поминутно хохочет, вдруг положив карты на стол, сказал: «Ах, боже мой, какие у этой дамы или барышни прекрасные зубы!». — «А почему вы так заключаете?», — спросил Жеребцов. — «Да все хохочет, — отвечал Хилков, — а не имея прекрасных зубов, женщина хохотать не станет». И в самом деле, у ней зубы, что твои перлы, и рыжий князь Волконский уверяет, что он дал бы за каждый по мужику. Бедный князь, видно его собственные плохо жуют!

Говорят, что эта перлозубая ветренница чуть ли не выходит замуж за какого-то Шереметева.[1] Пора, пора!

25 февраля, воскресенье.

Вчера вечером у князя Сибирского

Я познакомился с одною
Распрепочтенною княжною
Елизаветой Трубецкою,

которая с будущего года намерена издавать модный журнал для женщин под названием «Амур». Не знаю, кто мог надоумить сиятельную издательницу просить у меня совета насчет эпиграфа к будущему ее журналу, только она выбрала советника невпопад. Я сказал ей, что к такому журналу, который называется Амур и будет издаваться дамою, приискать эпиграф очень нелегко и что, по мнению моему, для полного успеха в столь важном деле ей следует обратиться за советом к князю Шаликову как лучшему специалисту в столице по части эпиграфов, мадригалов и всего, что касается до амурной литературы. Княжна осталась очень довольна моим указанием на князя Шаликова и хотела непременно посоветоваться с ним при первой встрече — на Пресненских прудах! В добрый час!

При сем случае я узнал, что князь Юрий Трубецкой, переводчик с французского небольшой комедии под заглавием «Платье без

галунов», близкий родственник будущей издательнице «Амура». Видно таланты наследственны в этой фамилии.[1]

Вот и еще одна дама, г-жа фон Фрейтаг (Мария Франциска Регина, урожденная Pfundheller), переводчица комедии Гингера «Наш пострел везде поспел» и знаменитой иффландовой драмы «Охотники» (скорее, стрелки — die Jäger), разрешилась оригинальною драмою в пяти действиях «Великодушная женщина». Мне случилось прочитать ее — и грешный человек! полагаю, что зрители слишком будут великодушны, если при представлении досидят до окончания первого действия.[2]

26 февраля, понедельник.

Вот роман, так роман, которым снабдил меня добрый Платон Петрович Бекетов. Во-первых, одно имя героя уже приводит в трепет: Дон Коррадо де Геррера! А эпиграф? Посмотрите, посмотрите! Все законы света нарушены, узы природы прерваны, древняя вражда из ада возникла! У-у! у-у! так мороз и подирает по коже! и однако ж этот роман — сочинение очень доброго, миролюбивого и умного человека, бывшего нашего студента — Гнедича. Некогда в университете его называли l'étudiant aux échasses, или просто ходульником, потому что он любил говорить свысока и всякому незначительному обстоятельству и случаю придавал какую-то важность. Между прочим он замечателен был неутомимым своим прилежанием и терпением, любовью к древним языкам и страстью к некоторым трагедиям Шекспира и Шиллера, из которых наиболее восхищался «Гамлетом» и «Заговором Фиеско». Х. А. Чеботарев очень уважал его, и когда, во избежание припадков подагры или хирагры, должен был, по предписанию врачей, решаться на сильный моцион, то одного только Гнедича приглашал с собою играть в бабки. В «Гамлете» особенно нравилась Гнедичу сцена привидения, а в «Фиеско» — монолог Веррины, в котором этот беспощадный заговорщик (карикатура на Катона) говорит, что он «готов распороть себе брюхо, вымотать кишки, свить из них веревку и на ней удавиться!». Не бойсь не верится? Не угодно ли

взглянуть? Трагедия напечатана у старого знакомца нашего Гари в 1803 г. и продается по цене неслыханной. И вот результатом этой страсти к «Гамлету» и «Фиеско» появился «Дон Коррадо де Геррера, или дух мщения и варварства испанцев»![1]

А Бородулин тут как тут: вышел роман, как обойтись без эпиграммы?

Коррадо говорит,
Что ш т у к у он такую сотворит,
Ч т о л о п н е т а д с о с м е х у.
Он сделает потеху:
Все грешники лишатся ада,
Кроме читателей Коррада.

Натянул, злодей, крепко натянул, да как быть! подчас обмолвишься и вместо умной глупости скажешь глупость и пошлую.

Гнедич, который увлекался всем, что выходило из обыкновенного порядка вещей, который три раза прочитал «Телемахиду» от доски до доски и даже находил в ней бесподобные стихи, предпринял было сочинение какой-то драмы в 15 действиях, но не успел, по случаю отъезда своего в Петербург.[2] Когда приятели его, в особенности сметливый Алексей Юшневский, стали издеваться над его намерением, он доказал, что большие пьесы, в которых сюжет разделяется на несколько суток, совсем не диковина, что, не говоря уже о народных немецких представлениях, каковы, например, «Русалка» и проч., состоящих из трех и более частей, есть у Шиллера трагедия «Валленштейн» в двух частях,[3] так же как и у Шекспира «Король Генрих» в трех; а наконец, в подтверждение своей мысли, он откопал в какой-то старой, завалявшейся книге, что в Италии (помнится, в Генуе) была представлена пьеса «Генрих IV» в 15 действиях и 3 частях; ее давали по три дня сряду и каждую часть под особым названием: 1) «Генрих, король наварский, при французском дворе», 2) «Генрих в лагере, или сражение при Иври» и 3) «Генрих IV на престоле, или торжественное вступление его в Париж».

А для чего вся эта театральная эрудиция, если не для извинения безрассудного литературного предприятия?

27 февраля, вторник.

Бывший тамбовский губернатор Александр Борисович Палицын, с сыном которого я учился в пансионе Ронка́, затащил меня к себе, по старому знакомству с тамбовскими моими родными. Преинтересный старик! Он кой-что пописывал и во время своего губернаторства, а теперь сделался литератором не на шутку: ни на час без дела и занимается переводами сочинений большею частью серьезных. Перевел и издал: Макартнея,[1] Делилев «Дифирамб на бессмертие души», творение Жирардена о составлении ландшафтов и «Новую Элоизу» Руссо. Кроме того, я видел у него в манускриптах почти уже изготовленные к изданию поэмы «Времена года» Ст. Ламбера и «Сады» аббата Делиля и еще очень любопытное «Послание к Привете, или воспоминание о некоторых российских писателях его времени».[2] Вот каков! Кажется, этот эксгубернатор с большею пользою употребляет свое время, чем эксгубернатор добрейший Маркловский, составитель новой собачьей породы.

У Палицына встретился я с Алексеем Дурновым, родным племянником земляка твоего Александра Воейкова, который задает такие славные литературные вечера и попойки Мерзлякову, Жуковскому, Измайлову, Мартынову, Сумарокову, Каченовскому и многим другим у себя в доме, на Девичьем поле. Дурнов, отлично играющий на скрипке и флейте и вообще величайший охотник до музыки, с энтузиазмом рассказывал об изобретении каким-то парижским часовщиком Лораном необыкновенной флейты из хрусталя, издающей такие очаровательные звуки, что, слушая их, какие бы кто крепкие нервы ни имел, а непременно разразится рыданьем. Но это изобретение ничто в сравнении с тем, о котором рассказывала возвратившаяся из чужих краев известная здешняя богачка Шепелева. В бытность ее в Париже выдумали и ввели в большую моду какие-то прозрачные рубашки, о которых путешественница отзывалась с восторгом таким образом: «Не можете представить себе, что это за прелестные сорочки: как наденешь на себя, да осмотришься, ну так-таки все насквозь и виднехонько!».

28 февраля, среда.

Утром заезжал к саратовскому откупщику Устинову, который иногда снабжает меня, по переводу отца, деньжонками — почивает! Заезжал к нему во втором часу — почивает! заезжал вечером — и ответ тот же, только во множественном числе: «почивают». Ах, ты господи! Со мною чуть ли не делается то же, что с одним путешественником, который, приехав в Астрахань, тотчас отправился к тамошним индийцам смотреть их идолов. «Можно видеть пагоду?», — спрашивает он у привратника. — «Нельзя, — отвечает привратник, — идолы почивают!». — «А когда же их видеть можно?». — «Когда проснутся». — «Когда же они проснутся?». — «А когда все в городе започивают».

На что же тут ученье, если надобно к разбогатевшему целовальнику ездить три раза в день из собственных своих ста пятидесяти рублей, а он все почивать будет?

Рассказывали об одном помещике Долгове, большом ревнивце, которому, по его мнению, изменила молодая жена. Сутки двои или трои разъезжал он по родным и знакомым своим рассказывать постигшее его бедствие и объяснять все подробности измены и случай, по которому он будто бы узнал о ней. Никакие увещания и представления этих родных и знакомых и все их доводы к извинению поступка жены — как, например, что он мог ошибиться, что не надобно принимать так горячо к сердцу маленького кокетства молодой женщины и проч. — не могли успокоить несчастного мужа, и он все оставался безутешен и хотел завести процесс, покамест не напал на Михайла Константиновича Редкина, очень хладнокровного, очень доброго и чрезвычайно здравомыслящего и начитанного старика с сократовской физиономией. «А вот, изволишь видеть, мой любезный друг, — говорил Редкин Долгову, — если и в самом деле приключение такое с тобой последовало и тебя не обманули глаза, так, по мнению моему, все-таки печалиться очень не имеется достаточной причины. Случалось ли тебе читать „Премудрость Соломоню“, сиречь его „Притчи“? Если не случалось, так вот прочитай, что он, величайший из всех мудрецов прошедших, настоящих

и будущих, глаголет в главе 30, стихи 18—20. „Трие ми суть невозможная уразумети и четвертаго не вем: следа орла паряща по воздуху и пути змия ползуща по камени и стези корабля пловуща по морю и путей мужа в юности его. Таков путь жены блудницы: яже егда сотворит, и измывшися, ничто же, рече, содеях нелепо".[1] Следовательно, уж если великий Соломон почитает невозможным у р а з у м е т ь подлинность содеянной неверности, потому что она не оставляет по себе следа, так уж нам-то с тобою и подавно нечего искать, с позволения сказать, п у с т о г о м е с т а».

Вот что значит настоящее красноречие и кстати приведенный пример из древних писателей! Муж подумал, утешился и теперь опять разъезжает по знакомым, но только для того, чтоб каяться пред ними в слишком поспешном и напрасном обвинении жены своей.

2 марта, пятница.

Вчера изъездил пол-Москвы с поздравлениями именинниц и насилу сегодня отдохнул. Будь это не по обязанности, изъездил бы всю Москву и, конечно бы, вовсе не устал. Таков человек! Кончил день у Авдотьи Петровны Карамышевой, в надежде встретить Петра Степановича Молчанова, которого хозяйка завербовала к себе в племянники, но вместо этого любезного человека встретил братца ее, известного кащея Василья Петровича Нестерова и несколько других вовсе невзрачных рож, которые только и толковали, что о доходах да о количестве принадлежащих им душ (вероятно, des véritables â m e s e n p e i n e). Тетушка очень сетовала на племянничка: говорила прежде какими-то обиняками, а наконец, перед ужином разразилась прямым и очень ясным упреком: «Нынче, батюшка, случайные родные неслучайных родных знать не хотят. Вот и наш обер-прокурор не удостоил нас своим посещением». Нечего сказать, превеселый вечер! Да и поделом: не умничай, и если тебе хорошо, то не ищи лучшего. Отвечерял бы на Поварской, у Небольсиной, так нет: мы, видишь ты, п р о з и р а е м в будущее!

Получил письмо из Петербурга: просьба моя с аттестатом представлены в иностранную коллегию, и я вскорости определен буду.

Зять Лабата, лейб-хирург Иван Петрович Эйнбродт, просил министра Будберга, который дал приказание не медлить определением. Альбини же пишут, что они в конце апреля будут в Москве и надеятся, что я провожу их в Липецк, а за то, по окончании сезона вод, они проводят меня в Петербург. Schwester Dorchen от себя прибавляет, что по принятым мерам я, несмотря на определение в службу, могу до осени пожить на свободе, под предлогом пользования липецкими минеральными водами. Кажется, все улаживается по желанию, как нельзя лучше.

Благодаря покровителям моим я попал в число гостей на завтрашний обед в Английском клубе; следовательно увижу героя Багратиона лицом к лицу, а праздник должен быть на славу: у садовников Лебедева и Соколова подряжено одних цветов для уборки лестницы и померанцевых деревьев для украшения стола на двести рублей.

4 марта, воскресенье.

Г о с т ь. — Благодарю за угощенье,
За ласку и за все про все.
(В сторону)
Мысль хороша, но исполненье,
Мне кажется, ни то, ни се.

(Из оперы «Откупщик-хлебосол»).

Конечно, князь Багратион не только сказать, но и подумать этого не может. Прием торжественный, радушие необыкновенное, энтузиазм неподдельный, а угощение подлинно на славу — вот что вчера встретил желанный гость в Английском клубе.

Стол накрыт был кувертов на 300, т. е. на все число наличных членов клуба и 50 человек гостей, убранство великолепное, о провизии нечего и говорить: все, что только можно было отыскать лучшего и редчайшего из мяс, рыб, зелени, вин и плодов, — все было отыскано и куплено за дорогую цену, а те предметы, которых, по раннему времени года, у торговцев в продаже не было, доставлены богатыми владельцами из подмосковных оранжерей бесплатно: все наперерыв старались оказать чем-нибудь свое усердие и участие в угощении.

Ровно в два часа пополудни, обыкновенное время обедов в клубе, приехали князь Багратион, градоначальник и генерал-адъютант Уваров и вместе вошли в большую гостиную. Члены клуба, жадничая видеть ближе героя, так столпились вокруг его и в дверях, что старшины, предшествовавшие ему и градоначальнику по обязанности, в качестве хозяев, насилу могли проложить им дорогу. Князь Багратион имеет физиономию чисто грузинскую: большой с горбиною нос, брови дугою, глаза очень умные и быстрые, но в телодвижениях он показался мне не очень ловким.

Лишь только отворили двери в столовую, оркестр заиграл тот же вечный польский, которым всегда начинаются танцы в благородном собрании: «Гром победы раздавайся!», а старшины поднесли князю на серебряном подносе приветные стихи и тотчас же потом начали раздавать или, вернее, совать их в руки прочим присутствующим. Мне досталось три экземпляра этого высокопарного произведения Николева, в котором, разумеется, не обошлось без Тита, Цезаря, Алкида и прочих нехристей. Вот последние стихи:

Славь тако Александра век
И охраняй нам Тита на престоле,
Будь купно страшный вождь и добрый человек,
Рифей в отечестве, а Цесарь в бранном поле:
    Да счастливый Наполеон,
Познав чрез опыты, каков Багратион,
Не смеет утруждать Алкидов росских боле.

За обедом князь сидел между двумя Александрами: А. А. Беклешовым и А. Л. Нарышкиным, а против них двое старшин, для угощения. За Нарышкиным особенно ухаживали князья Цицианов и Грузинский и В. А. Всеволожский, потчевая его то тем, то другим, и надобно отдать ему справедливость, что он не обижал их отказом. С Уваровым не расставался красавец генерал князь Андрей Иванович Горчаков, племянник Суворова, командующий здесь каким-то полком (чуть ли не нашенбургским).

С третьего блюда начались тосты, и когда дежурный старшина, бригадир граф Толстой, встав, провозгласил: «Здоровье государя императора!», все, начиная с градоначальника, встали с мест своих

и собрание разразилось таким громогласным «ура», что, кажется, встрепенулся бы и мертвый, если б в толпе этих людей, одушевленных такою живою любовью к государю и отечеству, мог находиться мертвец. За сим последовал тост в честь князя Багратиона, и такое же громкое «ура» трижды опять огласило залу. Но вместе с этим «ура» грянул хор певчих, и вот раздалась, наконец, кантата Павла Ивановича Кутузова:

Тщетны россам все препоны:
Храбрость есть побед залог.
Есть у нас Багратионы:
Будут все враги у ног!

В продолжение пения этих камплетцов, как называл их умный циник З. Н. Посников (вместо куплетцов), сочинитель поминутно выскакивал из-за стола, подбегал то к градоначальнику, то к князю Багратиону и к другим почетным лицам и оделял всех, кто только попадался под руку, экземплярами своей кантаты. Простодушный старик Бабенов, которому достался также экземпляр этой кантаты, прочитывая ее несколько раз, никак не мог вразумиться, кому именно принадлежат эти ноги, у которых будут враги, упоминаемые в последнем куплете, и адресовался ко многим с просьбою разрешить его недоумение. «Тут нечего и думать, — преважно заметил ему красноносый весельчак Дружинин, — смысл этого стиха „будут все враги у ног“, есть тот, что все враги будут побеждены нами, т. е. русскими. Конечно, автор мог бы сказать это яснее: „будет враг у наших ног“, но, как быть! в пылу поэтического вдохновения немудрено ошибиться выражением». Ай да толки! Вот, что называется пересыпать из пустого в порожнее! [1]

Между тем тосты продолжались: сперва в честь почтенного начальника Александра Андреевича, А. Л. Нарышкина и генерал-адъютанта Уварова, потом некоторых почетных москвичей: князя Долгорукого, Апраксина, Валуева и многих других и, наконец, старшин клуба и всех его членов. Эти тосты были причиною, что многие нечувствительно понаклюкались. По окончании обеда гости перешли в гостиную, и там старшины объявили князю Багратиону, что он единогласно и без баллотировки избран членом клуба в воспо-

минание того дня, в который он осчастливил клуб своим посещением. Этой церемонии я не видал, потому что в гостиную попасть не мог — et pour cause. [1]

Многие утверждали, что генерал Уваров прислан от государя с секретным поручением: узнать мнение московской публики насчет несчастного аустерлицкого сражения и делаемых приготовлений к новой войне с французами. Не думаю: это просто пустые разглагольствия. Государь, вероятно, знает и без того, что мнение Москвы состоит единственно в том, чтоб не иметь никакого мнения, а делать только угодное государю, в полной к нему доверенности.

7 марта, среда.

Нейком написал прелестную музыку на две небольшие комические интермедии, сочинения Гунниуса: «Der Schauspiel-Director» и «Ehestand Wehestand». Какой разнообразный и вместе какой трудолюбивый талант этот Нейком! Не проходит недели, чтобы он не попотчевал публику чем-нибудь новым: то сочинит сонату, то симфонию, то квартет, и вот, pour changer, написал в одно почти время две интермедии! Теперь оканчивает хоры для элегическо-драматического представления, которое будет дано в воспоминание усопшего Штейнсберга. Это «Elegisch-dramatishe Vorstellung» сочинил Гейдеке. Начало не слишком поэтическое:

Auch hieher jagt das ruhelose Herz
Verfolgend unbesiegbar mit herbem Schmerz,

т. е., как водится у немцев: где Herz, тут и Schmerz;

Entflohne Lust
Aus Freundes Brust,

и опять, разумеется, где Lust, тут и Brust; однако ж умный пробст скоро поправляется:

Der Liebe Thränen,
Der Freundschaft Sehnen,
Ist alles nicht genug die Vorsicht zu versöhnen,
Den Menschen Werth durch Menschen Todt verhöhnen?

Но дело не в стихах, а в музыке. Я слышал некоторые хоры — прелесть! Перед пьесою исполнен будет небольшой реквием, сочинения также Нейкома: есть аккорды, раздирающие душу.

По смерти Штейнсберга как-то пропадает охота ездить к немцам. Ни скромная прелестница Шредер, ни болтливая кокетка Кафка, одни, не в состоянии поддержать тех пьес, в которых играли они с Штейнсбергом; устоят разве одни только большие оперы, по милости Соломони, Гальтенгофа и Гунниуса.

В два с небольшим года Штейнсберг «Русалками», «Чортовою мельницею» и «Духовидцем» («Das neue Sonntagskind») приобрел тысяч до 20 рублей, которые оставил жене своей, доброй, но бесталанной немочке. Будет ли она уметь сохранить их? Едва ли. Чудное дело! Кажется, вдова Штейнсберга должна была бы в своем кругу внушать к себе уважение, а между тем этого вовсе нет. Вот уж она и сбирается в Петербург вместе с Кистером. Добрый путь, милая Anastasia! Мы не забудем вашего супруга, а Снегирь-Nemo не забудет вас и вашей полновесной пощечины.

8 марта, четверг.

Штейнсберг был не только отличный актер, но и отличный поэт, хотя поэзия его, как поэзия и всех немецких студентов, воспитывавшихся под влиянием кантовой философии, несколько отвлеченна и туманна, но зато недостаток этот искупается необыкновенною энергиею мыслей и выражений. Рифмы Штейнсбергу нипочем и нисколько его не затрудняют. Как хороши его октавы, к которым прибран им так счастливо эпиграф:[1]

Si male nunc, non olim sic erit.
Der Gegenwart will sich der Geist entschwingen! и проч.

Все стихотворение от начала до конца выдержано мастерски, а окончание его в особенности превосходно. На днях спишу его непременно целиком, на досуге переведу и посвящу Мерзлякову. Это, во-первых, будет посильная дань моей к нему благодарности, а во-вторых, небольшой косвенный упрек за то, что он не любит немецких поэтов.

10 марта, суббота.

После клубного обеда князю Багратиону и после частных угощений, которыми Москва чествовала дорогого гостя и других петербургских приезжих, она отдыхает. Пора! Надобно же веселой старушке Москве переварить все съеденные ею стерляди и выпитое шампанское. Теперь настоящий пост: тихо и смирно, ни обедов, ни новостей.

Говорят, что обязанности скучны, но я начинаю находить, что скучно и без обязанностей. Решился опять таскаться по лекциям, что очень утешает моего Петра Ивановича, а между тем продолжается переписка насчет моего определения в службу. Не знаю, как благодарить моих добрых покровителей за все хлопоты, которые они на себя по сему случаю принимают.

У князя Ивана Сергеевича Гагарина встретил я знаменитого живописца Тончи. Он женат на старшей дочери князя. Сед как лунь. Судя по виду, ему должно быть лет около шестидесяти, но, по живости разговора, нельзя дать ему и сорока. Он занимал всю беседу. Удивительный человек! кажется живописец, а стоит любого профессора: все знает, все видел, всему учился. Толковал о политике, науках, современных открытиях, рассказывал разные анекдоты, один другого занимательнее. Я слушал разиня рот и не видал, как пролетело время. Между прочим, он сказывал, что когда в Лукке захотели образовать муниципалитет, то один остряк из слова municipalità сделал прекрасную анаграмму, которая может итти за эпиграмму: Capi mal uniti. Рассуждая о сходстве латинского и итальянского языков, он рассказал следующий анекдот. Некоторые богатые жители в Вероне, построив часовню богоматери, захотели украсить ее приличною надписью, но вышло затруднение: одна половина строителей желала, чтоб надпись сделана была на латинском языке, а другая настаивала, чтоб она была на итальянском. Долго продолжался спор, покамест один находчивый академик не помирил обе стороны, сделав следующую надпись:

Inmare, in terra, in subita procella
Invoquo te, Maria, benigna Stella.

Все были удовлетворены: для одних надпись была латинская, для других итальянская. В пример необыкновенной гибкости латинского языка, Тончи написал одну фразу, которую читай как хочешь, с начала или с конца, буква в букву, и она сохраняет свой смысл:

In girum imus noctu ut consumimur igni.

Что за любезный человек и с каким многосложным образованием этот Тончи! После всего, что я слышал о нем и от него, не удивляюсь, что русская княжна вышла за итальянского живописца. Он страстно любит литературу и сам пишет стихи: Микель-Анджело и Сальватор Роза были также поэты; в альбоме одной из его свояčениц я читал написанные им стихи: не ручаюсь, чтоб они были его сочинения, но во всяком случае выбор делает честь его вкусу.

Il passato non è, ma se lo finge
La vana rimembranza.
Il futuro non è, ma se lo pinge
L'indomita speranza.
Il presente sol è, ma in un baleno
Passa del nulla in seno.
Dunque, la vita è appunto
Una memoria, una speranza, un punto.

Тончи теперь мало занимается живописью и пишет иногда только портреты с родных жены своей. Портрет, написанный им с старого князя — произведение образцовое: кроме необычайного сходства, какая работа и какой колорит! Точно живой, так и выходит из полотна; но говорят, что этот портрет, как он ни превосходен, ничто в сравнении с портретом Державина, писанным в Петербурге. Тончи ни за что не хотел представить поэта в парике, а Державин не соглашался писать себя плешивым, и потому художник придумал надеть на него русскую соболью шапку. Сказывают, что это верх совершенства.[1]

14 марта, среда.

Здешний губернский предводитель, князь Дашков, сын знаменитой княгини Екатерины Романовны, получил александровскую

ленту. По сему случаю князь, несмотря на великий пост, хотел дать огромный бал и пировать наславу, но главнокомандующий отсоветовал; говорит: «Неприлично; лучше дай обед или подожди до пасхи». Князь согласился с радостью, а между тем берет четырех сирот из бедных дворян на свое воспитание. Добряк!

А. С. Черепанов рассказывал, что соседи его, здешние откупщики, по-простонародному «компанейщики», перессорились между собою из пустяков. Приехав вечером с какого-то обеда на заседание в контору, один из трех присутствовавших расхвастался пред товарищами об услугах его общему делу, утверждая, что, если б не он, то не миновать бы убытков, и вся бы компания к чорту. Это задело за живое твоего beau-frère Прокофья Михайловича Семенова, который не без основания полагал себя посмышленее, и вот он, приосанившись, отвечал: «Может быть, и так, Петр Тимофеич. Конечно, ты мудрен, очень мудрен, а все-таки загадки моей не разгадаешь».— «Ну-ка, попробуй загадать, так увидишь, что разгадаю». — «Нет, не разгадаешь». — «Да уж разгадаю», — живо отвечал Бородин. — «Ну, слушай, Петр Тимофеич, да слушай обеими: эйн, цвей, дрей — что это такое?». Бородин призадумался, понасупился и вспыхнул. — «Ну, слушай же ты меня, Прошка! этой загадки, конечно, я не разгадаю, да уж и обиды такой тебе не спущу: откуп лопни хоть сейчас, а я тебе не дольщик!». С этими словами он вскочил с кресла — и был таков! На другой только день хромой Соловой успел помирить товарищей.

24 марта, лазарева суббота.

Гулянье наславу! Погода прекрасная. Небольшой мороз осушил площадь. Щегольских экипажей множество. Были кавалькады, в которых отличался князь Касаткин и Зотов: первый на каком-то арабском или турецком жеребце, который все прыгал под своим всадником. Седло и сбруя турецкие, облитые золотом и украшенные драгоценными каменьями — очень картинно, но было бы еще картиннее, если б всадник сам был в турецком костюме, а то убранство лошади не согласовалось с синим фраком и черным спенсером:

точно как будто и седло и мундштук взяты были на прокат у Лухманова. Другой выехал настоящим английским джентльменом: на рыжем жеребце с проточиною во весь лоб; сбруя новенькая, только что из мастерской Шульца, легонький мундштук с серебряными удилами. Сам всадник в черном фраке и сапогах с отворотами: просто, красиво и нарядно. Княжны Щербатовы из новой зеленой кареты своей глаз с него не спускали, да видишь, не то время!

Обедал у Катерины Александровны и, к великому моему удовольствию, встретил, наконец, почтенного Якова Ивановича Булгакова, которого так давно мне хотелось увидеть поближе.[1] Он живет неподалеку от Катерины Александровны и называет ее милой соседушкой. Яков Иванович находился в дружеских связях с покойным ее мужем, и оба были близки к князю Потемкину. Булгаков имеет замечательную наружность: лицо умное и серьезное, однако ж не без приятности; довольно тучен, но в движениях свободен и ловок, говорит, как книга. Где он не был, чего не видал и чего не испытал в своей жизни! Трудолюбие — отличительное его качество. Говорят, что он не может ни минуты оставаться праздным: не пишет, так читает. П. И. Страхов сказывал, что он подарил ему свой перевод первой части «Анахарсиса» и склонил его переводить последние. Непостижимо, как этот человек, при деятельности ума своего, живет без службы! Очень любит Москву. Он утверждал, что для людей, окончивших почему бы то ни было служебное поприще, нет лучшего приюта в мире, как Москва. При этих словах мне пришли на память прекрасные стихи Карамзина:

Кто в мире и любви умеет жить с собою,
Тот радость и любовь во всех странах найдет;[2]

а Булгаков, кажется, находил это счастие повсюду, даже и в Семибашенном замке, куда он заточен был турецким правительством: оставаясь там в заключении более двух лет, он умел не соскучиться и перевел «Всемирного Путешествователя», первую книгу гражданской печати, которую я читал в моем детстве. Я думаю, от того-то я с таким любопытством смотрел на Булгакова и слушал его с такою жадностью.

4 апреля, среда святой недели.

Христос воскресе.

Праздничные визиты мои кончены: я обрыскал весь город. Мне показалось, что некоторые из самых близких моих знакомых как будто на меня дуются. Не знаю причины, что я им сделал. Не за то ли, что редко у них бываю? Да что им во мне? Чувствую, что с каждым днем я становлюсь ничтожнее и скучнее. Они называют меня, как будто в шутку, немцем, но это не шутка, а намек, который я понимаю, хотя и безотчетно. Чтоб отомстить им, я и в самом деле отправился к немцам. Милая малютка Шредер в первый раз играла после тяжкой своей болезни. Мать была так рада ее выздоровлению, что все представление проплакала от удовольствия. Эта чувствительность меня тронула, да и со времени пропетой ею мне русской песни почти у самого смертного одра бедного Штейнсберга, я как-то очень полюбил эту хорошенькую женщину, несмотря на то что она актриса, которых я не великий поклонник. В управлении немецкого театра заметна большая перемена: по всему видно, что Штейнсберга нет, умного доброго Штейнсберга, которого обыкновенная поговорка была:

Ein jeder lerne seine Lektion,
So wird es wohl im Hause flohn.

Теперь всякий делает, что хочет. Не худо бы А. Муромцеву заняться попристальнее своим делом, иначе оно итти не может, и ему предстоит худой конец: закрытие театра, чего очень опасаются актеры. Куда им деваться? Не все имеют талант мамзель Штейн, вышедшей замуж за Гебгарда и тотчас же определенной на театр петербургский. Впрочем, для меня теперь все равно: я и сам скоро уеду, но жаль старых знакомцев: разбредутся бог весть куда. Сказывали, что Арресто уехал в Вену и что роль маркиза Позы в «Дон-Карлосе» играет теперь Кудич, который его не стоит.

7 апреля, суббота.

Пишут из Петербурга, что непременно скоро определен буду. Дай бог! Столько молодых людей, не старее меня летами, давным-

давно не только определены, но, по какому-то слепому счастию, имеют уже и чины: кто переводчик, кто коллежский асессор, а есть некто, Горяинов, который еще в пансионе у Ронка́ был надворным советником. Не знаю как это делается, только, признаюсь, хотелось бы того же и мне, да видно не всякому на роду написано быть тем, чем кто хочет, а только тем, чем бог велит. Так будь же его святая воля! Дарья Егоровна приписывает:

Weine nicht, es ist vergebens,
Iede Freude dieses Lebens
Ist ein Traum der Phantasie.
Mühe dich es zu vergessen
Dass du einst ein Glück besessen;
Denke, du besasst es nie.

Это легко сказать, но трудно выполнить.

Года два назад генерал Чесменский завел прекрасную фабрику разных машин и орудий земледельческих. Теперь вошло в моду ездить на обозрение этой фабрики, и если бы дорога была лучше, то вся Москва поскакала бы любоваться заведением. Устройство на английский манер и много рабочих людей из англичан. Скептик Демидов утверждает, что москвичи ездят на фабрику не смотреть и не учиться, а сытно пообедать и попить хорошего вина. Это легко может быть, да зачем же придумывать все в худую сторону? [1]

Соученик мой, Николай Федорович Грамматин, получивший золотую медаль и остающийся еще в пансионе для получения степени кандидата, задумал состязаться с профессором своим И. А. Геймом в издании французско-русского лексикона.[2] Нет сомнения, что Грамматин знает по-русски лучше Гейма, но зато чрезвычайно смешон с своими логическими выводами. Напр., слово «accoucheur» он переводит словом «повивальный дед». — «Да почему же accoucheur повивальный дед?», — спрашивал его Проташинский. — «А потому, что если есть повивальная бабка, так почему же не быть и повивальному деду? ведь ремесло одно и то же». Ну как не вспомнить Эмина:

Коль есть в планетах раки,
Так почему ж не быть там и моей Собаки?

11 апреля, среда.

С нынешнего дня русский театр поступил в казенное ведомство, и в первый раз актеры играли под названием актеров императорских. Давали драму «Бедность и благородство души» и комедию «Слуга двух господ». Каждый из действующих лиц вырос на пол-аршина, кроме Плавильщикова и Сандуновых, которые некогда уже были придворными актерами. Впрочем, как эти господа ни скрывают свое удовольствие, а оно написано на лицах их. Безделица! им зачитают все время бытности их при частном театре для получения пенсионов, но для некоторых других это событие еще важнее: они приобретают желанную букву «г.» к своим фамилиям, и, сколько я заметить мог, Кураев, Волков, Лисицыны и tutti quanti с театров Столыпина и кн. Волконского ходят уже с возвышенными главами, а некоторые даже и с отяжелевшими. Лисицын, на радости, беспрестанно пел из какой-то оперы, в которой он играет роль слуги-дурака:

У нас деревня близь Китая,
Где очень, очень много чая!

«Слава богу, что нет рому, — сказал ему Злов, — а то бы ты с чаем-то разом его выпил». Наш Петр Васильевич очень смешон: за словом в карман не полезет. Гр. Растопчин очень любит Злова и приглашает его иногда к себе.

15 апреля, воскресенье.

Обедал у Антонского с Страховым, протоиереем Малиновским, Мерзляковым, Буле, Двигубским, Буринским и Петром Ивановичем, которому он поручил непременно привезти меня. «Своего-та привезите, — сказал он Петру Ивановичу, — мы с ним жили-та не в большом ладу, надобно помириться-та». Сверх чаяния моего, обед был очень веселый и очень сытный. Говорили большею частью о новых университетах: Харьковском и Казанском, открытых в прошедшем году; хвалили очень выбор кураторов: графа Потоцкого и Румовского. Страхов утверждал, что они отлично знают свое дело. Превозносили государя, который так печется о распространении просвещения, и удивлялись, как в такое беспокойное военное время он успевает всем заниматься.

Страхов спрашивал Буле и Двигубского, готовят ли они что-нибудь к торжественному акту. Буле отвечал, что он намерен написать диссертацию о лучшем способе сочинить историю народов, населявших Россию прежде IX века, а Двигубский объявил, что будет говорить о нынешнем состоянии земной поверхности. Слава богу! это уже не прежние сухие рассуждения, никого не интересующие, следовательно на акте будут говорить и слушать дельное. Отец Феодор сказывал, что и он, на старости лет, хочет произнести, может быть, в последний раз, написанное уже им слово о том, что милость есть главная обязанность, достойная человека, и вместе собственное его благополучие. Пили за здоровье государя, министра просвещения, куратора и Страхова как ректора университета, а при конце обеда хозяин предложил выпить и заупокойную чашу в воспоминание почтенного Харитона Андреевича, скончавшегося в начале прошлого года.[1] Между прочим, Страхов объявил, что мы, наконец, будем иметь краткую историю университета, которою занимается Павел Афанасьевич Сохацкий, по давнему желанию куратора М. Н. Муравьева.

18 апреля, среда.

Наши опять будут жить летом в Липецке и поручили мне закупить запас вина. Я не очень рад этой комиссии, потому что вина вздорожали. Я боюсь сделать им пренеприятный сюрприз: они не ожидают таких цен. Говорят, что еще будет дороже с возвышением курса на серебро и золото. Серебряный рубль ходит уже 1 р. 31 к., империал — 13 р. 30 к. и червонец 3 р. 98 к. Цена вину лучших сортов следующая: шампанское 3 р. 50 к. бут., венгерское 3 руб., рейнвейн 2 р. 50 к., малага 1 р. 25 к., мадера 1 р. 50 к., медок ведро 9 руб., францвейн 8 руб., водка бордоская 3 р. 50 к. штоф. Но пусть уже это вина французские, и возвышение на них цены может иметь причину в возвышении курса на золото и серебро, да за что же вина и водки русские также в ценах возвышаются? Например, бутылка горского стоит 1 р. 50 к., цимлянского 1 руб., и кизлярской водки

штоф 2 руб. Очень неприятно, а между тем делать нечего, и купить надобно.

Если определение мое в службу замедлится, то я и сам уеду в Липецк, и тогда снабди меня одним из Дураков моих. Впрочем, все должно решиться недели через две. В первых числах мая Альбини будут проездом в Москве, и я достоверно узнаю, чего мне ожидать должно.

22 апреля, воскресенье.

Сегодня на немецком театре «Das neue Sonntagskind», а на русском «Крестьянин маркиз, или колбасники» Паэзиелло. Меня подмывало и туда и сюда, но я решился изменить немцам для Сандуновой и Волкова — и раскаялся: в немецком театре проболтал бы, по крайней мере, за кулисами с немецкими чечотками и похохотал над уморительным Коропом в роли нашего брата, недоучёного студента,[1] а то просидел три часа на партерной лавке с каким-то купцом, который не давал мне слушать музыки своими вопросами, примечаниями и замечаниями: выйдет ли на сцену Сандунова — вопрос: «ведь это, батюшка, Сандуниха?». — «Да-с». — «Вишь какая здоровенькая!». — «Да-с». — Появится ли Волков: «Ведь это, батюшка, тот, что Тарабара-то представляет?». — «Да-с». — «Вишь какой красноносый! А зачем же, батюшка, он в парике?». — «Так надо-с». — «А отчего же, батюшка, он как будто по-собачьи лает?». — «Так надобно-с». — «Этакий Маркобрун! А позвольте спросить, мой отец, ведь это комедия, что ли?». — «Нет-с, опера». — «Так-с!». Словом душу вытянул, злодей, надоел до смерти!

Сказывали, что цены на ложи и кресла будут прибавлены, но партер останется в прежней цене.

При выходе из театра встретил генерала Петра Семеновича Муравьева, приехавшего из деревни нарочно для скачек, которые начнутся с 6 мая. Он привел трех скакунов для состязания с лошадьми графа Орлова и говорит, что надеется обскакать их. Немудрено: в прошлом году выиграл жеребец его Травлер; правда, что он был выписной, а лошади графа Орлова и других охотников — доморощенные. Петр Семенович обещался свозить меня на Донское поле по-

смотреть на приготовление лошадей его к скачке. Не знаю, сдержит ли слово, но, признаюсь, поехал бы с ним с величайшим удовольствием. Он дал мне печатное объявление об этих скачках, с которого вот и список.

«Назначаются на Донском поле скачки по 500 руб. каждая, с подпискою за каждую лошадь по 100 рублей. Каждая скачка с перескачкою.

Для лошадей		Дистанция	Вес	
6 мая	5 лет	6 верст	3 пуд.	15 фун.
14 —	4 —	4 —	3 —	6 —
21 —	5 —	6 —	3 —	15 —
27 —	3 —	2 —	3 —	6 —
3 июня	3 —	2 —	3 —	6 —
10	5 —	6 —	3 —	15 —
17 —	4 —	4 —	3 —	6 —
25 —	5 —	6 —	3 —	15 —
	6 —	—	3 —	19 —
	7 —	—	3 —	23 —

Если трехлетки поскачут с старшими лошадьми, то им иметь 2 п. 20 ф.»

27 апреля, пятница.

По случаю помолвки Луизы Эренталь с майором Бессоновым пастор Гейдеке послал ей черный вуаль при прекрасных стихах. Перевожу их буквально прозою: чем богат, тем и рад.

«К грешнице.

Как бывает сладостно сердцу, когда случается встретить такое доброе и милое существо, как ты, Луиза, хотя доселе и была ты опутана страстями! Но если бог милосердствует к бедным грешникам, если прощает бог, то как смеет не простить человек?

Не отчаивайся ты, слабая дева: в искренности покаяния твоего заключается твое искупление. Тому, кто прибегает к раскаянию, всемогущий внезапно ниспосылает лучший из даров своих: святую, многожеланную надежду.

А я, твой верный, почти отживший уже друг, посылаю тебе печальное покрывало покаяния: прикрой им все твое прошедшее, все бедственные случайности твоей жизни».[1]

Разумеется, что это слабая копия с прекрасного оригинала. Гейдеке из всякого случая всегда выведет поэтическое и вместе христианское заключение.

Был у Всеволожских. Сказывали, что будто бы в Москву назначается другой губернатор и что сам Александр Андреевич просится в отставку. Не думают, однако ж, чтоб его отпустили, а разве дадут другое назначение.

Обер-прокурор Боборыкин рассказывал, что он определил к себе в канцелярию одного приезжего из Орла, бедного гимназиста, вот по какому случаю. Этот гимназист, Корнильев, сын какого-то орловского канцеляриста, по приезде остановился у известного стряпчего Григорьева, великого поклонника Бахусу, который начал его образование тем, что повел в Кремль взглянуть на Ивана-великого, царь пушку и большой колокол. Проходя по Тверской мимо трактира мадам Шню, Григорьев приказал Корнильеву подождать его на улице, а сам забежал в трактир выпить рюмку водки. По возвращении Григорьева юноша спросил его, что это за дом, куда заходил он. — «Дом сумасшедших», — отвечал Григорьев. — «Дом сумасшедших, — возразил без запинки Корнильев, — да как же это вас оттуда выпустили?». Боборыкин узнал об остром ответе мальчика и взял его на свое попечение. Бедняк удачным словом проложил себе дорогу, а то, может быть, и долго прошатался бы без определения в службу.

2 мая, среда.

Вчера прошатался целый день на гулянье в Сокольниках и видел почти всех знакомых. Что-то многие опять начинают толковать о войне, а некоторые и нетерпеливо ее желают. В палатке главнокомандующего было пропасть гостей, но сам он не был, по случаю нездоровья. Поезд графа Орлова так же был наряден, как и в прошлом году, но в нынешний раз он не сделал на меня такого уже впечатления: люди одни и те же, один и тот же порядок и то же убранство;

самые лошади те же; впрочем, ко всему присмотреться можно, даже со временем и к жизни. Nil admirari. Это, может быть, и очень покойно, но чтоб весело было — не думаю.

В палатке Е. Е. Ренкевича дым коромыслом: весь город, начиная от губернатора и обер-полицеймейстера до вральмана Бородулина. Кушают мороженое, пьют шампанское и закусывают бисквитами. Не токмо всякому приходящему, но и мимо идущему предлагается чашка чаю, рюмка вина или какое-нибудь лакомство. Палатка Ренкевича точно приемная трапеза какого-нибудь древнего болярина: милости просим всякого без разбора.

Ренкевич сказывал, что тесть его, Пашков, великий охотник до разных редких птиц, получил недавно из Англии пару черных лебедей, которые в самой Англии считаются еще редкостью; они привезены чуть ли не из Австралии, а теперь плавают по садовому пруду против дома Пашкова на Моховой,[1] где всякий день можно их видеть. Завтра непременно взгляну на них.

Мамзель Соломони-старшая, которая так хорошо играет на скрипке, выходит замуж за известного каретника купца Петрова, который получил недавно золотую медаль на голубой ленте, мимо всех медалей низшего класса. Что сделал этот Петров и какие оказал услуги — это для меня покрыто мраком неизвестности, но знаю только, что он будет иметь хорошенькую, умную и талантливую жену и что я буду пировать у него на свадьбе, потому что все Соломони меня приглашали. Младшей я не советовал бы выходить замуж, чтоб не потерять прекрасный, редкий талант, который требует еще развития, а оно едва ли возможно при домашних хлопотах и заботах супружеской жизни.

Я уверен, что старшую сестрицу через год мы не узнаем: забудет скрипку и фортепьяно, обопьется чаю, растолстеет, обленится — и мамзель Соломони поминай, как звали! Итальянская Сильфида превратится в жирную купчиху.

6 мая, воскресенье.

Сейчас со скачки. Скакали восемь лошадей; выиграл рыжий жеребец Витязь, принадлежащий Мосоловым и собственного их за-

вода. Славная лошадь, от Юби. По окончании первого гита, когда стали взвешивать ездока и обтирать лошадь, граф Орлов сходил с эстрады и долго любовался победителем. После перескачки, которую Витязь опять выиграл легко, граф Орлов подозвал к себе Мосоловых и поздравлял их. Сказывали, что он только с ними держит заклады на деньги, с другими же охотниками бьется на одни калачи. Братья Мосоловы очень умные люди, знающие охотники и ведут дела свои аккуратно. И в этот раз цыгане также пели и плясали, а напоследок был и кулачный бой. Победителем явился курятник из Охотного ряда Сычов, с трех ударов уничтоживший своего противника. Ему накидали денег чуть не полную шляпу и поили вином, но и побежденный не был забыт: достались и ему пригоршни две серебряных рублей. Князь Хилков, секретарь скачек, сказывал, что цыгане записаны были прежде крепостными крестьянами графа Орлова и единственно его попечению обязаны были тем, чем теперь сделались, а до того времени были, как и все кочующие цыгане, просто гадки. Граф, по возвращении уже из чужих краев, даровал им свободу и записал в мещане.

8 мая, вторник.

Нынешнею ночью был такой мороз, что хоть бы в октябре. Думаю, что пострадают все фруктовые деревья, и Москва останется без яблок, груш и вишень.

Вчера ездил в русский театр. Давали «Наталью, боярскую дочь» Глинки. Я скучал и зевал: никак не могу привыкнуть к этим драмам, взятым из повестей Карамзина. Эти повести сами по себе восхитительны, а на сцене до крайности утомительны и скучны. Отчего же? — право не понимаю. Кроме неискусства переделывателей, должна быть и еще какая-нибудь другая причина. И «Лиза» Федорова скучна, а «Наталья», по-моему, еще скучнее.[1] Персонажи все на ходулях, несут такую пошлость, что мочи нет. Какой-то острослов попотчевал автора эпиграммою, которую повторяют все, хотя она вовсе не задорна:

«Наталью» видел ли? — Изрядная новинка.
— Фарфор или фаянс? — О, нет, простая глинка.

Я небольшой охотник до эпиграмм, но не люблю и ничего неестественного и напыщенного, не люблю этих сценических проповедей, которые никого не трогают и не исправляют. Вот, например, так драма «Отец семейства», в которой так превосходен Померанцев. Нравоучение проистекает из действия и потому трогает и врезывается в душу; морализовать на сцене бесполезно: не будешь моралистом лучше Соломона и Сираха. Кто захочет учиться, тот будет читать их, и нашим драматургам и во сне не мечталось такого знания сердца человеческого.

14 мая, понедельник.

Сегодня опять скачка. Как ни хочется видеть ее, но я не поеду. Петербургские гости мои прибыли и завтра отправляются в Липецк, а сегодня повезу их в немецкий театр, на котором дают маленькую оперу «Der Schatzgräber». После спектакля иллюминация в саду, воксал и бал.

Иван Николаевич проехал на-днях, а длинный Иван Кузьмич давно уже распоряжается на водах. Я выеду дней через десять в деревню, а оттуда вместе с своими в Липецк. Альбини сказывал, что определение мое последует непременно чрез месяц, а много, недель чрез шесть. Эйнбродт хлопочет, и тесть его, почтенный гасконец Лабат, не дает ему покоя. Добрые люди! К 10-му будущего месяца пришли мне в Липецк одного Дурака, какого хочешь — для меня все равно, а за это вот тебе вчерашний анекдот.

Алябьев, поссорившись за картами с Яковлевым, вызвал его на дуэль. «А на чем ты хочешь драться?», — спросил последний. «Разумеется, на саблях», — отвечал Алябьев. — «Не могу». — «Почему же не можешь? Я обижен и имею право назначать оружие». — «Воля твоя, не могу». — «Ну так на шпагах». — «О, ни за что не могу! Я наследовал от короля Иакова I, от имени которого фамилия моя происходит, врожденную антипатию к обнаженному оружию и не могу смотреть на него». Все засмеялись, Алябьев также — и шампанское примирило противников.

18 мая, пятница.

Вот последнее мое донесение и последние сплетни из Москвы. Не хотелось и пера брать в руки, а пришло время ложиться спать, так

и потянуло к конторке написать тебе несколько строк. Альбини сказывали, что в Петербурге только и разговоров, что о войне, и думают, что фельдмаршал граф Каменский будет начальствовать войсками. В петербургском обществе господствует самый воинственный дух и явное нерасположение к французам. Это заметно, кажется, еще более здесь. Те охотники до новостей, которые не разъехались еще по деревням, бегают, рыщут и толкуют о каком-то проекте для составления многочисленной армии. Я слышал, что все отставные генералы и офицеры, бывшие некогда в походах и сражениях, будут приглашены вступить опять в службу. И. И. Дмитриев утверждает, что государь не допустит Россию до унижения и во что бы то ни стало начнет новую борьбу с Наполеоном, но, впрочем, говорит: «Заботиться не о чем: нужна только доверенность к правительству». Он советовал мне заняться в деревне чем-нибудь серьезным. Я сам давно об этом думал и решился приступить к сочинению трагедии. Сюжет у меня есть: из истории древних персов. Имя героя громкое — «Артабан». Иной насмешник превратит его в барабан, но к этому готовиться должно, и насмешек не избежишь. Впрочем, надобно точно написать что-нибудь путное, чтоб было с чем приехать в Петербург. Рекомендательных писем у меня будет немного, и те, которые на них вызывались прежде, вероятно, откажутся, когда придется приняться за перо. Но пусть будет, что будет: во всяком случае лучше надеяться на себя. Петр Иванович радуется моей решимости и уверяет, что трагедия выйдет превосходная. Добрая душа! Он не может привыкнуть к мысли, что мы скоро расстанемся, и в случае если б я должен был ехать в Петербург один, то непременно хочет проводить меня и пожить со мною хотя недельку в новом городе.

Был в Иславском у И. П. Архарова: веселый приют! Что за добрейшее семейство! радушно, приветливо, ласково, а о гостеприимстве нечего и толковать. Кокошкин снаряжает у них домашний спектакль — драму «Ненависть к людям и раскаяние» и сам играть будет Мейнау. Предлагали мне роль простяка Петруши, да мне не до того; речь идет о подмостках другого рода. Славное село подмосковное Иславское! Во-первых, на реке, сад боярский, аллеи с трех

концов, оранжереи и пропасть разных затей. Иван Петрович обещал мне дать несколько рекомендательных писем к некоторым петербургским своим знакомым: надеюсь, что они не будут заключать в себе такой же рекомендации, какою снабдил он одного своего соседа. Вот она:

«Любезный друг, Петр Степанович! доброго соседа моего И. А. А. сын Николай отправляется для определения в статскую службу. Он большой простофиля и худо учился, а потому и нужно ему покровительство. Удиви милость свою, любезный друг, на моем дураке, запиши его в свою канцелярию и, при случае, не оставь наградить чинком или двумя, если захочешь, — мы за это не рассердимся. Жалованья ему полагать не должно, потому что он его не стоит, да и отец его богат, а будет и еще богаче, потому что живет свиньей».

Вследствие этой рекомендации юноша был определен и в течение трех лет получил три чина.

23 мая, среда.

О высылке Дурака я к тебе писал, но совсем забыл упомянуть о ружье: снабди меня своим широкодульным старбусом.[1]

«В продолжение шести недель мы виделись с Дарьею Егоровною ежедневно, — говорил Граве, — вместе играли, резвились, шутили, болтали всякий вздор, а я ни разу не заметил, чтоб она когда-нибудь покраснела». — «И не мудрено, — отвечал старик Редкин, — она до сих пор едва ли знает, когда ей краснеть должно».

Сказано умно и справедливо: для невинной души все невинно.

Завтра выезжаю и, к сожалению, один. Прошлогодние товарищи мои сбились с толку: Литхенс публиковал свой отъезд в чужие края, да я уверен, что он не поедет,

Потому что очарован
И к ногам ее прикован;

а на Федора Павловича нашла страсть заниматься в своей экспедиции. «Mais de quoi s'occupe t'on chez vous?», — спросил его Затрапезный. — «Mais on ne fait rien, ou on fait des riens», — отвечал Граве,

и это, кажется, сущая правда. Спасибо, что не умничает, подобно другим, которые, переписав какую-нибудь бумагу, думают, что они уже пределовые люди, на которых должно быть обращено внимание целой России.

29 мая, вторник, Тула.

Тула городок — Москвы уголок. Это так же справедливо, как справедливы, большею частью, и все народные замечания и поговорки. Тула может точно назваться Замоскворечьем, по своим каменным зданиям, красивым улицам, по движению на них народа, по своей торговле и промышленности; один оружейный завод стоит иного города. Я ходил взглянуть на этот завод. Начальник его, генерал Чичерин, ласковый и приветливый, дал мне в проводники заводского пристава, Капитона Карловича Шультена, который все показал мне в подробности и обстоятельно, старался меня вразумить в заводское производство. На заводе встретил и директора П. Г. Цвиленева. Он, между прочим, сказывал, что мастеровые, работающие на этом заводе, составляют какую-то особенную касту, так что всякого из них всегда отличить можно от других мастеровых по ухваткам, походке и по образу изъяснения. Цвиленев утверждал, что тульские оружейники отличаются неимоверною бойкостью в поведении и смышленостью в своем деле, необыкновенно понятливы и переимчивы: им стоит один раз только взглянуть на какую-бы то ни было вещь, чтоб ее сделать, но зато с ними надобно уметь ладить и держать ухо востро, иначе тотчас сядут тебе на голову. «Конечно, — присовокупил Цвиленев, — они не дошли еще до степени плутовства вошанских ямщиков,* однако ж есть из них такие, которые, как говорится, в одно ухо влезут, а в другое вылезут, так что и не услышишь; так поэтому не даром один проезжий, выведенный, видно, из терпения медлительною починкою своего экипажа и вынужденною за нее огромною платою, написал к ним на стене о б щ е с т в е н н о г о трактира, где я останавливался, следующие вирши:

* Село Вошаны, близь Тулы, известное в тогдашнее время удалыми и плутоватыми своими ямщиками. *Позднейшее примечание.*

О вы, мастеровые Тулы!
Вы настоящие акулы:
Мне с вами времени и деньгам лишь изъян.
Все молодцы вы на посулы,
А только смотрите в карман.
В. Б—ъ.

Желал бы я знать, кто этот «В. Б—ъ», и подозреваю близкого соседа.

Некоторые купцы, давно знакомые с нашим домом, приглашали меня к себе и, между прочим, знаменитый некогда торговец лошадьми и поставщик их ко двору, старик Гаврила Рожков, которого я посетил с удовольствием, пил у него чай и пуншевал с ним; «в благодарность за компанию», как он выразился, «и в воспоминание моего детства» подарил он мне прекрасную старинную голландскую картину, изображающую конный завод, и заставил старшего сына Ивана тряхнуть стариной, то есть, спеть несколько русских песен. Этот сын его, Иван, проживавший прежде по торговле своей в Петербурге, был славен в свое время прекрасным голосом. Он до такой степени был мастер петь русские песни, что вошел в пословицу: «поет как Рожков», говорили про певца, которого похвалить хотели. По этому случаю многие знатные особы приглашали его на афинейские вечера; он бывал еженедельно у князя Безбородко или у приятельницы его, которая после выдана была [1] за статского советника Ефремова. Но дар песен был только второстепенным качеством Рожкова, а главным были необыкновенные удальство и смелость, которые доставили ему покровительство тогдашних знаменитых гуляк, графа В. А. Зубова и Л. Д. Измайлова. Они держали за него известный огромный заклад, в тысячу рублей, состоящий в том, что Рожков верхом на сибирском своем иноходце взъедет в четвертый этаж одного дома в Мещанской, к славной в то время прелестнице Танюше, [2] — и Рожков не только взъехал к ней, но, выпив залпом бутылку шампанского, не слезая с лошади, тою же лестницею съехал обратно на улицу. Тысяча выигранных рублей были наградою Рожкову. Бедный Иван Гаврилович не может забыть этого подвига и, несмотря на свои

45 лет и почти лысую голову, с таким энтузиазмом описывает прелести гостеприимной Аспазии, что невольно возбуждает в вас любопытство: «Девица рослая, — говорит он, — дородная, белая, румяная, что называется, кровь с молоком; глаза на выкате, так тебя съесть и хотят; а волосы, волосы чуть не до самых пят.[1] Когда я взъехал к ней в ф а т е р у, окружили меня гости, особ до десяти будет, да и кричат: „Браво Рожков! шампанского!“. И вот ливрейный лакей подает мне на подносе налитую рюмку, но барышня сама схватила эту рюмку и выпила, не поморщась, примолвив: „Это за твое здоровье, а тебе подадут целую бутылку“».

Здешний губернатор Н. П. Иванов человек преобходительный, и его очень любят, а прокурор Василий Петрович Гурьев человек чрезвычайно светский и большой остряк. У него жена красавица, очень образована и, кажется, большая кокетка. Генерал Чичерин признанный ее чичисбей. Мне случалось обедать с ними у губернского предводителя князя Петра Сергеевича Вадбольского, тестя Александра Матвеевича Муромцева, содержателя нынешней в Москве немецкой труппы: предобрый и прекрасный человек, очень сожалеет, что зять его взялся не за свое дело.

4 июня, понедельник. С. Ивановское.

Сижу себе на балконе да почитываю рассуждение Шлецера «О причинах беспрерывно возрастающей в России дороговизны на произведения сельского хозяйства и о средствах к ограничению возвышения на них ценности».[2] Вот, думаю, если б я прочитал это рассуждение до покупки своих винных запасов, то не спрашивал бы, отчего русское вино возвысилось в цене наравне с французским. Причины, изложенные профессором, по-моему, основательны, но справедливы ли предлагаемые способы к отвращению возвышения цен на наши продукты — этого решить не умею. Я слышал, что министр коммерции граф Румянцев не того мнения, чтоб изыскивать средства к уменьшению ценности на произведения сельского хозяйства, а, напротив, радуется, если цены на них возвышаются, потому что тогда, говорит он, оплачивается труд сельского хозяина, помещика или крестьянина — все равно, а сверх того, возвышается

и цена на земли. П. С. Молчанов отзывается о графе Румянцеве как о необыкновенно умном и просвещенном человеке и, сверх того, настоящем патриоте.

У нас дым коромыслом от сборов в Липецк. Один обоз отправили, другой отправляется завтра, а сами выедем 8 или 9 числа. Если б не совестно было оставить домашних, я бы полетел сейчас.

Есть у нас соседка Пелагея Петровна Владыгина, мать моего соученика, который отличался в пансионе талантом рисования. Она из крепостных девок, но такая хозяйка, каких не скоро встретить можно. Доходы получает огромные, а между тем крестьяне в наилучшем положении, и сама живет барынею, не скряжничая. Я удивился, когда взглянул на ее хозяйство: рогатого скота много, и весь претучный, мелкого также пропасть; при мне загоняли птицу: веренице гусей нет конца, уток стада, а индеек и кур, право, столько же, сколько на гумне воробьев. Есть у ней про доброго гостя и бутылка хорошего вина, и московское пивцо, и домашнее шампанское из смородины — словом, все есть в лучшем виде, а едва ли она знает грамоте. Мне приходит иногда в голову: на что же эта грамота?

14 июня, четверг. Липецк.

Как ни хотелось мне скорее быть в Липецке, но я въехал в него с каким-то стеснением сердца. Мы остановились попрежнему в доме Вишневских, и я попрежнему занял ту же прошлогоднюю свою камору, только на этот раз один и не так уже радостен:

Нет ни Литхенса, ни Граве,
Да и сам я весь не свой:
Все мечтается о славе,
Путь к бессмертью предо мной.
Голова́ моя в тумане;
Мысль одна: об «Артабане».

Кроме шуток, я желал бы написать что-нибудь путное, но едва ли удастся, потому что предвижу развлечения беспрерывные. Впрочем, увидим: труд не пойдет на лад, так мы его и бросим.

Ежедневное наше общество составляют И. Н. Новосильцев с неотлучным своим Иваном Кузьмичем, который также комплименти-

рует по прошлогоднему; Ф. Ф. Керн, один из героев прагского штурма; прекрасный человек, умный оригинал, с сократовской физиономией М. К. Редкин, Ив. Егор. Штейн, И. Н. Лодыгин и Альбини. Домашние мои утром ездят к водам, но я не езжу, зато вечером являюсь в галерею на отдых от борьбы с персидским моим пострелом и на болтовню с милыми знакомками.

20 июня, среда.

Мы только что возвратились с Штейном с охоты. Трое суток прорыскали в поле верст за 20 от Липецка, за крупною полевою дичью: стрепетами, драхвами, дикими гусями и журавлями. Брали с собою больших ястребов, которые чрезвычайно нас тешили. Привезли всякой птицы чуть не целый воз — словом, веселились напропалую.

А между тем и «Артабан» мой помаленьку подвигается вперед. Остов готов, надобно облекать его в тело и кожу. И с этим надеюсь сладить, но буду ли уметь вдохнуть в него душу — это дело другое.

Приехавший губернатор Д. Р. Кошелев получил известия из Петербурга, что там все продолжают толковать о войне и что приготовления к ней делаются в огромных размерах. Ему дают чувствовать, чтоб он был деятельнее и, на всякий случай, предупредил помещиков своей губернии, от которых вероятно потребуются, по важности случая, многие пожертвования. Все это не новость, потому что и в Москве только о том и толку, и все желают войны, но жаль одного, что Москва, кажется, лишится доброго своего начальника, который решительно просит увольнения. Если это случится, то последуют и другие перемены во властях, которые для ней чувствительны быть могут.

25 июня, понедельник.

Губернатору дан был в галерее великолепный обед по подписке. Общий угодник Приори распоряжался мастерски, и ни в чем не было недостатка. Мы заплатили по 5 рублей с персоны и проводили почетного гостя с честью. Он поехал в Лебедянский уезд осматривать деревню, которую купить намерен, сельцо Кузьминку, принадлежащее Петру Петровичу Бибикову; оно будет продано с аукциона за

долги. Имение устроенное и отличное во всех отношениях. Я бывал в Кузьминке еще в детстве и помню прекрасное ее местоположение и барский дом.

Жду не дождусь своего определения в службу. Альбини утверждает, что непременно все скоро сделается и чтоб я не тревожился, но, зная, что man versucht in der Welt so manches und es gelingt einem nicht, не могу не тревожиться. Хорошо, что есть еще добрые люди, которые пекутся обо мне, как родные, и почитают великим счастием, что еду в Петербург не один, а с Альбини, и что есть уже у меня там знакомое семейство старика Лабата, а то, пожалуй, пришлось бы сказать вместе с Бородулиным:

Приехал в город новый:
Ну, точно лес сосновый,
И запах неприятный.
Какой народ невнятный!

Я встретил старика Созонова, который коротко был знаком с преосвященным Тихоном задонским. Он много рассказывал о подвигах святителя, о его трудах, смирении, кротости и милосердии. Созонов говорил, что преосвященный был простосердечен, как дитя, и что он не допускал мысли, чтоб кто-нибудь мог обмануть его или солгать перед ним. Живя в Задонске на покое, он не имел никаких доходов и был беден, однако ж никто из нищей просящей братии не отходил от него, не получив чего-нибудь: если не имел денег, то давал просвиру, ломоть хлеба, лоскут холстины или сукна, а однажды зимою отдал одному юродивому свое полукафтанье, чтоб сколько-нибудь согреть бедняка. Преосвященный Симон рязанский был другом Тихона и нередко снабжал его многими вещами для раздачи бедным. Таков подобаше нам архиерэй!

30 июня, суббота.

Вот пример дружбы в прежнее время. В 1771 г. двадцатитрехлетний майор красавец Александров женился по любви и против воли родителей своих на дочери небогатого помещика Чурикова. Молодые супруги жили счастливо целый год, то есть до тех пор, покамест было чем жить; но небольшие средства их скоро истощи-

лись; наступило время жестокой нужды, тяжких забот и лишений всякого рода; а между тем бог даровал им дочь, и недостаток в потребностях жизни стал еще ощутительнее. Горе овладело юною четою, а от сильного горя до тяжкой болезни — один шаг. Молодая женщина занемогла, муж не знал, что делать, писал к отцу и матери, умолял их о пособии, но письма оставались без ответа. К кому прибегнуть и на что решиться в такой крайности? Вступить опять в службу — не было случая, да и мог ли служить он, вовсе не зная службы? Чины получал он, живучи дома: будучи еще в пеленках записан сержантом гвардии в Преображенский полк, лет через восьмнадцать произведен в прапорщики и тотчас выпущен в армию капитаном, а через год уволен от службы с чином секунд-майора. Делать он ничего не умел, а женитьба против воли родителей лишила его уважения и всякого доверия в целой губернии — словом, положение Александрова было безвыходное и ужасное.

Но вот бывший школьный его товарищ и друг Нетунахин, служивший в Петербурге в генерал-прокурорской канцелярии и очень любимый начальством за свою грамотность, расторопность по службе и незазорное поведение, узнав о бедственном состоянии Александрова, выпросил себе кратковременный отпуск и отправился в Тамбовскую губернию навестить своего друга. Он нашел его в отчаянии, а жену изнемогавшую от изнурительной болезни. «Милые друзья мои, — сказал он им, — не время рассуждать нам о причинах бедственного вашего положения: прошедшее невозвратимо, но вспомните, что отчаяние — смертный грех и что у бога милости много! Вот несколько сотен рублей, скопленных мною на деятельной службе. Ты, Петр, начни с того, чтоб поскорее добыть все нужное для больной жены твоей и бедной малютки: эти хлопоты тебя рассеят. А вы, сударыня, вместо того чтоб день и ночь крушиться и плакать, займитесь, хотя через силу, маленьким хозяйством н а ш и м: устройте так, чтоб мы в свое время пили чай, обедали и ужинали, а там, недельки через две, когда бог порадует меня вашим спокойствием, я предложу вам средство избавиться навсегда от зависимости нужд и всех скорбей, которые неразлучны с ними. Итак, за дело! Что было, то прошло, что будет — увидим!».

Сказано — сделано. На деньги, данные Нетунахиным, муж исправил все домашние потребы, а жена слегка озаботилась хозяйством. Прошло несколько дней — и надежда оживила увядшие лица молодой четы: она стала спокойнее. Время проходило в дружеских беседах; когда иссякли разговоры о прошедшем, стали толковать о будущем и делали разные предположения. Муж хотел идти в управители к какому-нибудь богатому помещику другой губернии, не имея ни малейшего понятия о сельском хозяйстве. Жена его советовала лучше искать какой-нибудь губернской должности. Нетунахин молчал и давал волю их предположениям, а между тем тайно написал письмо к родителям Александрова, в котором, изложив все бедственное положение их сына, заключил тем, что хотя между родителями и детьми может быть судьею один только бог, но что он, руководимый человеколюбием, принял на себя обязанность ходатайствовать перед ними за провинившегося сына, что всякому гневу есть предел и что в этом отношении не худо вспомнить выражение священного писания, которым обещается суд без милости несотворшему милости. В ожидании же ответа на свое письмо он продолжал жить с друзьями своими попрежнему и скоро имел несказанное удовольствие замечать иногда улыбку на лицах молодых страдальцев и решительное, хотя и постепенное, возвращение здоровья молодой женщины.

Наконец, ожидаемый ответ получен. Старики Александровы решительно объявили, что они не хотят слышать об ослушном сыне и что он может почитать себя счастливым, если дотоле они не предали его проклятию за неблагодарность и ослушание. Такая жестокость очень огорчила Нетунахина, но он скрыл огорчение от друзей своих и на другой же день за чаем объявил им, что он составил план будущей их жизни: что они должны ехать с ним вместе в Петербург, где он найдет им занятие, и хотя для майорского чина нелегко найти соответственную должность, но что он надеется чрез своих покровителей уладить все к лучшему, а до тех пор они будут жить с ним вместе. Ахнули бедные супруги от такого решения их друга! Ехать в Петербург! но как, с чем и зачем? «Это не ваше дело, мои милые, — возразил Нетунахин, — тот, кто внушил мне мысль приехать сюда

к вам, внушит мне и средства устроить вас. В Петербурге или в Америке — все равно, только я твердо верю, что добрые намерения не остаются без исполнения. Будьте покойны и сбирайтесь в дорогу».

Сборы были непродолжительны: старый чемодан с платьем, небольшой ларец с бельем и узел с дорожными припасами составляли весь скарб семейства эмигрантов. Они отправились в простой ямской повозке. Мать, с дочерью на руках, сидела внутри, а молодые люди расположились по облучкам. Так ехали они всю дорогу до Петербурга, в который прибыли после пятинедельного путешествия.

Первым делом Нетунахина, по возвращении в Петербург, было явиться к своему начальнику и откровенно объяснить ему несчастное положение своего друга. «А что же он думает делать?», — спросил его начальник. — «Искать какой-нибудь должности», — отвечал Нетунахин. — «Должности? Но человека в его чине, который нигде не служил, куда определить можно?». Нетунахин молчал. — «Если б он по крайней мере был мало-мальски расторопен, то конечно нашлась бы ему должность, но, сколько я из слов твоих понять мог, он едва ли на что другое способен, как только обниматься с женою, и потому я едва ли буду уметь придумать, куда и как приютить его». Нетунахин молчал. — «Разве в директоры экономии, если он человек честный?». Нетунахин все молчал. — «А ручаешься ли ты за его честность?». — «О! что касается честности, — подхватил Нетунахин, — то я за него ручаюсь, как сам за себя». —«Ну, хорошо, ступай с богом и прикажи своему приятелю читать все узаконения и постановления, касающиеся должности директора экономии. После увидим».

Словом, Александров вскоре был определен в должность директора экономии, которую, при содействии Нетунахина, исправлял семь лет в Тамбовской губернии, к полному удовольствию начальства. Успехи его по службе обратили к нему сердца престарелых его родителей, которые не только простили его, но и отдали ему все принадлежащее им имение. Он вышел в отставку, а чтоб не сидеть поджавши руки, вошел в откупа, разбогател, нажил в короткое время огромное состояние, из которого половину отдал своему другу, ко-

торый, служа верой и правдой, с бескорыстием примерным, достиг до звания сенатора, но, в заботах о чужих делах, забыл собственные свои и ровно имел столько, чтоб не умереть с голоду. Вот копия с дарственной записи, подаренная мне стариком М. К. Редкиным, который коротко знал обоих друзей и рассказывал мне их историю.[1]

4 июля, среда.

Петр Иванович порадовал меня письмом в два листа. Уведомляет, что публичное торжество в университете было самое блистательное и что все диссертации и речи необыкновенно любопытны; обещается доставить мне их тотчас по напечатании и чрезвычайно хвалит слов Малиновского, которым торжество было открыто. Страхов остается ректором и на следующий год. Слава богу! После Харитона Андреевича назначение всякого другого ректором было бы чувствительно для всего университета, для студентов, для профессоров. Между прочим, мой Петр Иванович ни с того ни с другого вдруг вздумал без меня ездить в театр и 22 июня был в «Русалке», которую играла Насова. Пишет, что ее физиономия ему очень приглянулась и что, смотря на нее, он вспоминал обо мне. Вот он каков наш целомудренный Иосиф! Пишу к нему, что напрасно он лучше не съездил, в мое воспоминание, в немецкий театр; пошел бы за кулисы и поболтал с мадам Шредер или с Кафкою: тогда бы на опыте увидели стоицизм его.

9 июля, понедельник.

Вот прекрасные стихи, присланные из Петербурга молодым Эллизеном к сестре. Он пишет, что актер Кудич говорил их на сцене и произвел восторг неописанный:

Für seinen König muss das Volk sich opfern,
Das ist das Schicksal und Gesetz der Welt,
Nichts würdig ist die Nation, die nicht
Ihr alles freudig setzt an ihre Ehre!

Этот восторг доказывает общее желание борьбы с западным исполином. А вот игра в вопросы и ответы, которая в некоторых петербургских обществах входит в моду. Она производится таким об-

разом, что одна половина участвующих в ней лиц пишет на лоскутках бумаги вопросы, а другая ответы, по произволу. Эти вопросы и ответы скатываются и кладутся каждые в особый ящик, корзинку, хоть, пожалуй, в стакан — все равно. Затем все поочередно вынимают прежде вопрос, а после ответ и читают их вслух. Нынче обыкновенно назначают большею частью вопросы и ответы политические. Эллизен пишет, что на вечеринке у придворного доктора Торсберга играли в эту игру, и некоторые ответы изумительно согласовались с нынешними обстоятельствами. Он приводит несколько примеров, которые я перевел для своих.

1

Вопрос: кто будет победителем в предстоящей войне?
Ответ: тот, кто добрее.

2

Вопрос: кто будет союзником нашего государя?
Ответ: мужество и терпение.

3

Вопрос: много ли нам нужно войск для победы?
Ответ: Россия.

4

Вопрос: Можем ли мы твердо надеяться на своих соседей?
Ответ: наша сила в боге.

А знаешь ли, что сделал твой или, вернее, наш Дурак? Вчера, видно, от скуки, ушел один к озеру и, завидев посредине стадо уток, отправился за ними вплавь. Лодыгинские люди, заметив, что фаворит их поплыл (Дурак — общий фаворит в Липецке) один, вышли на берег ожидать результата этой проделки. Что ж? Дурак, распугав старых уток, которые с криком улетели, давай гоняться за молодыми позднышами и, передушив их несколько штук, благополучно возвратился на берег с одною парою в зубах, которую и принес домой, торжественно провожаемый и превозносимый людьми Лодынина. Что-то делает у тебя его братец?

13 июля, пятница.

Кажется, Буало сказал, что писать стихи должно в городе, а не в деревне, и я начинаю чувствовать справедливость слов угрюмого сатирика. Два действия «Артабана» почти готовы, а прочитать их некому и не с кем разменяться мыслями. Я попробовал было прочитать их старшей сестре, да невпопад: «Охота тебе, братец, душиться в твоей каморе и заниматься пустяками, когда на дворе такая прекрасная погода! Лучше бы поехал прокатиться с Дарьей Егоровной верхом. А вот и Михайло Константиныч говорит: „Над чем это ваш философ коптит так пристально? Этак он и с ума спятит“». Одолжила, голубушка! А чуть ли она не права: в лучшее время года сидеть взаперти и низать рифмы, может быть, для того только, чтоб после служить посмешищем людям — прекрасная будущность! Впрочем, без билета в маскарад не пускают, а мой «Артабан» должен мне служить билетом для входа в маскарад света; после, пожалуй, его хоть в печку — туда и дорога!

Сказывали, что сюда прибудет на-днях труппа актеров, принадлежащих лебедянскому помещику Танееву. Если это именно та, которую я видел некогда в моем детстве на лебедянской ярмарке, то сердечно рад буду взглянуть на нее и сравнить тогдашние мои ощущения с нынешними. Эта труппа давала тогда в Лебедяне оперу «Добрые солдаты»,[1] и я до сих пор не могу забыть музыки одного хора:

Мы тебя любим сердечно,
Будь нам начальником вечно,
Наши зажег ты сердца,
Видим в тебе мы отца.

Стишки как будто нашего изделия! Les beaux esprits se rencontrent.

Пишут из Москвы, что московский французский театр с будущего ноября причислен будет, так же как и русский, к дирекции театральных зрелищ. Актеры получат название «императорских», и труппа будет пополнена. Некоторые сюжеты уже приехали и, между прочим, какой-то monsieur Lanneau, который имеет репутацию хорошего актера. Но мне кажется, что не в актерах дело, а

в актрисах. До сих пор на московской французской сцене мы видели только преужасные женские хари, с которыми никакая пьеса не могла иметь настоящего успеха. Дарование дарованием, но в женщине красота или, по крайней мере, приятная физиономия — не последнее дело на сцене. Какая может быть иллюзия, когда вдруг какую-нибудь Агнесу играет сорокалетнее и красноносое пугало? Уж, конечно, лучше видеть бездарную, но хорошенькую мадам Кремон и слушать, как пропищит она:

Lorsque dans une tour obscure,

или

Jeunes filles qu'on marie и проч.,

чем видеть и слышать беззубую старуху madame Lavandaise в роли кокетки Селимены или рыжую madame Duparai в роли Нанины.

Кстати, о безобразии женщин. Раз как-то в театре молодой Тютчев сделал очень смешное замечание. Он уверял, что из пожилых женщин всех наций старые француженки самые безобразные. «Возьмите, — говорил он, — нашу русскую старуху, немку, англичанку, голландку, итальянку: все более или менее имеют вид не отвратительный; старые же француженки, напротив, всякая похожа на бабу-ягу или посредницу;[1] разумеется есть исключения, но они редки». Поди ты с ним!

17 июля, вторник.

Вчера у отца-протопопа пил я чай с одним стариком, купцом Силиным, который был прежде крестьянином Нарышкина, но внес за себя 5000 рублей, получил увольнение от помещика, записался в купцы и теперь торгует лесами, скотом и салом на полмилльона. Это человек очень здравомыслящий, но чрезвычайно оригинальный в своих объяснениях. Как бы предмет разговора ни был серьезен, он не может удержаться, чтоб не пересыпать его разными прибаутками на виршах своего изделия. Рассуждая о торговле, он утверждал, что для русского малограмотного человека внутренняя торговля, и особенно сельскими хозяйственными произведениями, есть самая

благонадежная. «Если от ней, — говорит он, — не будешь миллионщиком в один год, то не будешь тотчас и банкрутом, то есть плутом. Торговать же с немцами у порта все равно, что ловить за хвост чорта. Немцы торговлю свою ведут по газетам, да по приметам, а нам нет прибыли в этом». Я спросил его не помешает ли война нашей торговле и не ожидает ли он себе убытков? «Ничего, батюшка, — отвечал он, — что война, что мир, а купцу все пир. Вот изволишь видеть, сударик ты мой, убытки-то нашему брату не от войны, а оттого что иные или не по силе забираются, или не по карману проживаются, на войну только ссылаются, а на поверку выходит, что если купец не глупец, так не пуст и ларец». Очень также забавны выходки его против Наполеона, доказывающие, какая глубокая ненависть поселилась к нему во всех классах нашего народа. «На Москве, — говорит он, — народ больно ершиться стал: купцы в городе калякают, что мы-де лавки побросаем и все поголовно пойдем, а уж этого врага прицепим чорту на рога». Нескладно, да ладно.

Отец-протопоп сказывал, что он священствует около 40 лет и в продолжение долгого своего священства заметил, что во время военное бывает рождающихся более, чем в мирное, и, сверх того, менее больных и умирающих. «Это говорю я вам не облыжно, — прибавил он, — и намедни в проезд свой в Москву останавливавшийся у меня помещик из Конь-Колодезя, Г. И. Синявин, сказывал, что и он сделал такое же замечание. Отчего это происходит — господь один ведает, только событие не подвержено сомнению». Вот задача для физиологов, если только эти люди чувствуют себя способными разрешить тайны провидения. Но едва ли!

22 июля, воскресенье.

Почтенный старик Н. А. Алферьев рассказывал, что известный по преданию так называемый Евин клуб никогда в Москве не существовал и что разгласка об нем сделана с намерением повредить франк-масонам, которых хотели выставить его учредителями на тот конец, чтобы с большим успехом обратить на них общее негодование и презрение, но между тем он признавался, что если не было

никакого подобного тайного общества, то в молодых[1] зажиточных людях, живших в Москве в совершенной праздности, было какое-то стремление к разврату всякого рода, и что он сам вовлечен был этим потоком в непростительные шалости. «Как бог вынес из этой бездны, в которую мы погружались, — говорил старик, — я до сих пор постигнуть не могу. Кто поверит теперь, любезный, чтоб молодой человек, который не мог представить очевидного доказательства своей развращенности, был принимаем дурно или вовсе не принимаем в обществе своих товарищей и должен был ограничиться знакомством с одними пожилыми людьми, да и те иногда — прости им господи — бывало суются туда же! Кто не развратен был на деле, хвастал развратом и наклепывал на себя такие грехи, каким никогда и причастен быть не мог, а всему виною были праздность и французские учители. Да и как было не быть праздным? Молодой человек, записанный в пеленках в службу, в двадцать лет имел уже чин майора и даже бригадира, выходил в отставку, имел достаточные доходы, жил барином, привольно, и заниматься, благодаря воспитанию, ничем не умел. Так поневоле приходила в голову какая-нибудь блажь». Алферьев рассказывал также много кой-чего о масонах и мартинистах того времени. «На них, — говорил он, — много лгали и взводили такие небылицы, какие им и в голову не приходили. Напротив, они были люди очень смирные. Их смешивали с иллюминатами-алхимиками, которых секта была действительно вредна,[2] потому что состояла из явных обманщиков. Эти плуты под предлогом обогащения других наживались сами, разоряя в конец своих адептов. Иллюминаты-алхимики употребляли многие непозволительные способы для достижения своих целей: они прибегали к разным одуряющим курениям и напиткам и заклинаниям духов, для того чтоб успешнее действовать на слабоумие вверившихся их руководству; но, что всего хуже и опаснее было: они умели привлекать к себе молодых людей обольщением разврата, а стариков возбуждением страстей и средствами к тайному их удовлетворению. Для этих людей ничего не было невозможного, потому что не было ничего священного, и они не гнушались никакими средствами, как бы они преступны ни были, чтоб исполнить свои преднамерения.

Главою этих гнусных и, к счастью, немногочисленных в Москве людей был француз П е р р е н, мужчина лет сорока, видный собою, ловкий, вкрадчивый, мастер говорить и выдававший себя каким-то баярдом, великодушным, щедрым, сострадательным и готовым на всякое доброе дело; но это был лицемер первого разряда, развративший не одно доброе семейство и погубивший многих молодых людей из лучших фамилий. Я был с ним знаком и помню, что никто громче его не кричал против масонов и мартинистов, приписывая им те самые действия, которых он с своей шайкой был виновником.[1] Этот молодец квартировал на Мясницкой в доме Левашова, но только для виду, а настоящее его логовище было за Москвою-рекою, в Кожевниках, в доме Мартынова или Мартьянова, куда собирались к нему адепты обоего пола. Однако ж П е р р е н не более двух или трех лет мог продолжать свои операции и — благодаря ревнивому характеру одного богатого мужа, следившего за своею женою — мошенничества его были, наконец, открыты: лицемера изобличили, уличили и спровадили за границу со всеми его соумышленниками и помощниками: Мезером, Курбе, Гофманом, мадам Пике и мамзель Шевато. Странное дело! нашлись люди, которые об этих подлецах сожалели и даже хлопотали, чтоб оставить их в Москве».

Но это сказание слишком пространно, и я сообщу его когда-нибудь после, потому что теперь зовет меня к себе «Артабан». Свой своему поневоле друг.

26 июля, четверг.

Пресмешное происшествие! Ф. Г. Вишневскому собака откусила нос! Это приключение составляет теперь предмет разговоров целого Липецка и всех его окрестностей.

Ф. Г. Вишневский, московский барин, добрый, прекрасный, гостеприимный старик, имеет страсть щупать все, что ни увидит и что ни попадется ему под руку: идет ли по улице мимо какого-нибудь нового дома, он ощупает все его углы и стены; войдет ли в дом, ощупает все мебели; увидит люстру или на окнах гардины — подставит стул и полезет щупать гардины и люстру. Но с этой страстью щупать вещи неодушевленные он соединяет другую в отноше-

нии к людям и животным: он их щупает и целует. Мужчины и пожилые дамы не сердятся на него за эту привычку, но девицы бегают его как чумы. Чуть только зазевается какая-нибудь барышня, Ф. Г. тут как тут: обхватит пальцами шейку и тотчас чмок в затылок или в плечо. Что же касается кошек и собак, то сколько бы их ему не встретилось, он перещупает и перецелует всех, от первой до последней. Не проходит дня, чтоб жена его, старуха светская и умная, не напоминала ему о неприличии таких поступков и чтоб дочери его, девицы чрезвычайно образованные, не упрашивали его быть осторожнее и не заставлять их краснеть за него — не тут-то было: они еще не успеют кончить нравоучения, а Ф. Г—ч смотри и спроказит что-нибудь.

Третьего дня в галерее собралось пропасть посетителей. Ф. Г—ч, по обыкновению, расхаживал и щупал все, что ни попало; ощупав галерейную мебель, забрался в буфет и ощупал всю посуду; вышел в сад — ощупал все деревья и все камешки и кирпичи, приготовленные для садовых дорожек; перещупал и перецеловал всех лошадей, привезших материалы для некоторых построек — словом, он был в необыкновенном припадке щупанья; наконец, попалась ему мордашка И. А. Лихонина, прекрасивая, но и презлая собачонка, купленная им с медвежьей травли и очень привязанная к своему хозяину. Ну как же Ф. Г—чу обойтись без того, чтоб не пощупать и не поцеловать такое сокровище? Вот он и начал ухаживать за нею. «Моська, моська, сюда, сюда!». Мордашка ни с места, но Ф. Г—ч не плох: набрал в буфете бисквитов и давай приманивать мордашку бисквитами; бросил ей один — съела, бросил другой — проглотила, третьим приманил к себе и дал ей съесть его из рук. Вот, кажется, и познакомились. Ф. Г—ч погладил мордашку — терпит; за такое снисхождение еще бисквит; он взял ее на руки, сел с нею на стул — мордашка расположилась на коленях и опять получила бисквит. Дело идет совсем на лад; остается только пощупать шейку да поцеловать в мордочку и — подвиг кончен. Ф. Г—ч обхватил шею и уже нагнулся, чтоб поцеловать мордашку, но последняя операция не удалась: неблагодарная вдруг всею пастью впилась ему в нос и, как пиявка, повисла на нем. Кровь брызнула фонта-

ном. Ф. Г—ч заревел белугой, и все бывшие на галерее бросились на помощь к пациенту. Лихонин схватил графин воды, и ну отливать свою мордашку — словом, шум и гам, кончившиеся тем, что бедного щупателя или щупальщика ни живого, ни мертвого посадили в карету с истерзанным носом и отправили домой в сопровождении встревоженного его семейства. Удивительный оригинал! Меньшая дочь его утверждает, что это происшествие нисколько не отучит ее папеньку от несчастной страсти к щупанью и поцелуям. Прекрасная перспектива!

30 июля, понедельник.

Вот продолжение истории о Перрене. Не подумай, чтоб это был вымысел — нет; это настоящее событие, о котором, по свидетельству многих, немало говорено было в свое время. Я только сократил и выпустил некоторые грязные подробности рассказа Алферьева, иначе пришлось бы исписать целую десть бумаги.

Некто Глебов, очень богатый человек, будучи бездетным вдовцом немолодых лет, скучал своим одиночеством. В карты играть он не любил, псовым охотником не был, в вине не находил никакого вкуса, а умственные занятия были не по его способностям; следовательно он, естественно, должен был умирать со скуки. В тогдашнее время публичных развлечений было немного: представления на театре были редки, маскарады еще реже, да и новый содержатель театральной труппы Н. С. Титов (1776)[1] не умел еще приманить публику в Головинский театр свой, стоящий на конце города: не всякому охота была тащиться такую даль и по таким скверным дорогам, какие в то время существовали, чтоб позевать на плохих актеров.

Итак, Глебов скучал. Перрен узнал, что такой-то богатый барин сильно скучает, и на этом основании тотчас же задумал построить здание своего благосостояния.

В этом намерении он чрез приятеля своего, молодого князя, знакомится с Глебовым и при первом свидании очаровывает его своею любезностью, рассказывает ему свои путешествия, смешит разными анекдотами и заставляет его удивляться таким событиям и принимать участие в таких приключениях, в которых не было ни на волос истины.

После двух или трех посещений проворный француз сделался почти необходимым Глебову. Последний прежде скучал, а теперь вдвое стал скучать без Перрена — словом, по прошествии нескольких недель, Перрен совершенно овладел Глебовым, но зато Глебов перестал скучать и, по совету своего друга, решился вступить в супружество.

Но на ком жениться Глебову? Пожилой невесты он взять за себя не захочет, а молодая не будет любить его. «Мсье Перрен, как помочь горю?». — «Мсье Глебов, вы должны жениться на девушке молодой, прекрасной собою, образованной и, главное, на сироте, чтоб не навязывать родных жены вашей себе на шею. Такая девушка есть: вы ее несколько раз видели и говорили с нею у мадам Пике, когда мы с вами вместе пили у ней чай. Скажу более: по ее вопросам и расспросам о вас я заметил, что вы ей приглянулись и, как я после слышал от мадам Пике, она точно к вам неравнодушна. Чего же лучше? От вас зависит быть счастливым».

Глебов развесил уши. Девушка была точно хороша собою и хотя была иностранка, но могла объясняться несколько по-русски, а иностранное произношение придавало разговору ее особенную приятность. «Но она не нашего вероисповедания», — заметил Глебов. «Она так расположена к вам, что завтра же, если захотите, примет вашу религию», - отвечал Перрен. Глебов задумался. «Мсье Перрен, я ревнив. Будучи еще молодым человеком, я ревновал жену свою ко всем знакомым, но, женившись теперь, я могу сделаться турком! Мсье Перрен, я чувствую, что буду любить жену свою потому, что она мила, а любовь без ревности не существует». — «И хорошо сделаете, мсье Глебов. Любите жену вашу и ревнуйте ее сколько хотите: это придаст разнообразие вашей жизни и вы не впадете в апатию. Ревность молодит человека».

Чрез неделю после этого разговора Глебов поехал предложить руку мамзель Рабо, 19-летней сироте, уроженке марсельской и крестнице мадам Пике. Разумеется, эта рука с 40 000 руб. годового дохода была принята с одним только условием, чтоб обращение в православную веру мамзель Рабо оставалось для всех тайною, а венчание происходило в какой-нибудь деревенской церкви, в кото-

рой, кроме священника и церковнослужителей, других присутствующих при браке никого не было. Причиною такого требования была необыкновенная стыдливость невесты, которая прежде не могла без ужаса и отвращения помыслить о браке, и если теперь победила этот ужас и отвращение, то единственно по какому-то невольному влечению сердца. К этому требованию прибавлена была еще просьба: оставить у ней в услужении ее горничную, мамзель Шевато, к которой она так привыкла, что не могла равнодушно подумать о разлуке с нею.

Глебов согласился на все условия, а чтоб еще более угодить своей невесте, принял к себе в должность дворецкого француза Курбе, рекомендованного ему Перреном. По крайней мере, думал он, в первое время нашего супружества жена моя будет иметь человека, с которым объясниться может.

Брак состоялся: мамзель Рабо обращена в Марью Петровну Глебову. Она была весела, довольна, счастлива, обнимала и целовала беспрестанно своего мужа, не сходила у него с колен, трепала его по щечкам, называла его самыми нежными именами: mon tout, mon choux, mon bijou, mon âme, mon ange и проч. и проч — словом, забыла о своей застенчивости. Муж был в восторге, но этот восторг продолжался недолго: на четвертый же день брака он сделался в свою очередь, застенчив, задумчив, молчалив и даже равнодушен к ласкам жены своей. Мсье Перрен и мадам Пике посещали молодых почти ежедневно, но Глебов принимал их не с таким уже удовольствием, как прежде, и видимо избегал какого-то с ними объяснения, хотя оно, казалось, готово было сорваться у него с языка.

Тем временем многочисленные знакомые Глебова, узнав о неожиданном его браке, беспрестанно приезжали к нему, но, под предлогом болезни мадам Глебовой, одни не были принимаемы, другие принимаемы на короткое время и не очень охотно, так что любопытство москвичей видеть молодую и узнать о подробностях брака не могло быть вполне удовлетворено. Из этого, разумеется, произошли толки, из толков развились предположения и заключения, а из этих последних, как водится, родились сплетни, которые чуть-чуть не остановились на том, что Глебов женился непременно на уроде

и стыдится показать его своим знакомым; но Перрен опровергал эти слухи. «Помилуйте, — говорил он, — кто мог принудить Глебова жениться на безобразной женщине? Напротив, это ангел красоты и нежности. А как умна, как образована, как привлекательна и как любит своего мужа! К несчастью, этот муж слишком ревнив, слишком самолюбив и себялюбив, и хочет наслаждаться своим счастьем в тишине уединения один и даже меня, своего друга, допускает к себе редко, и то на минуту, как будто я в состоянии был похитить его сокровище!». Вот Москва и загудела: Глебов ревнивец, Глебов тиран, он держит в заперти красавицу-жену, на которой женился по взаимной любви, что это настоящее истязание для молодой женщины и что Глебова надобно принудить жить открытнее или отдать в опеку.

А между тем, пока Москва гудела, на сердце Глебова лежала глубокая тайна: страшное подозрение закралось в его душу и не давало ему покоя ни днем ни ночью; он беспрестанно вертел в руках записку, которую нашел в комнате жены своей, и как ни плохо разумел французский язык, но столько понять мог, что в этой записке заключались какие-то наставления и разные способы. . .

Сейчас принесли с почты пакет из С.-Петербурга. Добрый старик Лабат премилым письмом, в котором столько же нежностей, сколько и грамматических ошибок, извещает, что 14 числа сего месяца я определен в коллегию и приглашает приехать скорее в Петербург. Домашние мои в восторге, но есть и не домашние, которые, сверх чаяния моего, столько же радуются. Итак, студенчество мое, благодаря бога, кончилось. Завтра у нас большой обед для всего Липецка; скоро, может быть, отправят меня в Москву, откуда попрежнему писать буду и доскажу окончание перреновых плутней.

Умного Дурака отправят в твое Никольское сохранно. Прости.

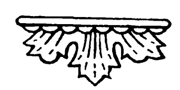
Конец первой части



ЧАСТЬ ВТОРАЯ



ДНЕВНИК ЧИНОВНИКА



Москва. 25 августа 1806 г., суббота.

Я в Москве с 16 числа. Меня протурили из Липецка по разным делам, а признаюсь, грустно было оставить милый городок, с которым соединено столько приятных воспоминаний; mais le devoir avant tout. Впрочем, как ни настаивают мои покровители о скорейшем приезде в Петербург, я полагаю, что еще не скоро туда попаду. Альбини решительно хочет отвезть меня сам, и домашние мои тому рады; но Альбини прежде окончания сезона вод оставить Липецка не может, следовательно ближе октября или даже ноября я Петербурга не увижу.

И. И. Дмитриев пожалован сенатором; я ездил его поздравить и нашел у него Н. Н. Бантыш-Каменского, которому он меня рекомендовал, объявив, что я из студентов и записан уже в Иностранную коллегию. Каменский вспомнил, что видел меня в прошлом году у графа Остермана, дозволил мне приехать к себе и обещал дать рекомендательное письмо к обер-секретарю Иностранной коллегии И. К. Вестману.

Глас народа — глас божий;[1] что говорили, то и случилось: власти в Москве другие; нового губернатора, Ланского, очень хвалят, но о генерал-губернаторе Тутолмине не говорят ничего и, кажется, его не знают. Он приехал 19-го числа и вступил в должность. Сожалеют об Александре Андреевиче, которому болезнь воспрепятствовала продолжать быть пестуном древней столицы. Я недавно только узнал, что Беклешов тоже был не главнокомандующим, а только генерал-губернатором; в чем состоит эта разница, я не понимаю; если для звания главнокомандующего нужно фельдмаршаль-

ство, то отчего же в Петербурге Вязмитинов называется главнокомандующим, когда он только полный генерал и даже в чине моложе Беклешова.[1]

Ждут не дождутся манифеста о войне. Все умы в волнении пуще, нежели были в прошлом году. Князь Одоевский опять занял квартиру свою против ворот Почтамта, чтоб скорее получать новости.

Монета в цене возвышается: рубль ходит уже 1 р. 32 к., а червонец — 4 р. 10 к. и, говорят, будет еще дороже.

На другой день приезда был в русском театре. Давали «Купца Бота», в роли которого Плавильщиков так хорош. После комедии играли оперу «Служанка-госпожа»; вот настоящая роль Сандуновой: ломайся себе сколько угодно, все будет хорошо; итальянские оперы по характеру ее игры и пения.

29 августа, среда.

Был у Н. Н. Бантыш-Каменского. Да это не человек, а сокровище; с виду неказист: так, старичишечка лет 70, маленький и худощавенький, а что за бездна познаний! Принял благосклонно и удивлялся, отчего я не просился на службу в Архив, как то делают все московские баричи. В том-то и дело, сказал я, что я не московский барич, и мне нужна служба деятельная. Он похвалил, но прибавил, что кто желает быть полезным, тот найдет всюду дело. Он говорил большею частью о московской старине, об эпохе чумы и пугачевского бунта. Желая поверить рассказ Алферьева о Перрене, я осмелился спросить его, точно ли этот француз, и особенно история его с Глебовым, обратили на себя такое внимание тогдашнего московского начальства? «Помнится что-то похожее было, — отвечал мне Николай Николаевич, — но я мало занимался этим вздором; впрочем, после чумы на Москву напала другая зараза: французолюбие; много французов и француженок наехало с разных сторон, и нет сомнения, что в числе их были люди очень вредные; не одному Глебову подсунули французскую шлюху: много москвичей и познатнее его были жертвами беспутства; только деяния их[2] не могли быть мне в подробности известны, потому что я вел очень

уединенную жизнь, занимаясь делами Архива». В. И. Богданов сказывал, что Каменский очень дружен с митрополитом Платоном и чрезвычайно уважаем всеми духовными.

6 сентября, четверг.

Наконец манифест от 30 августа о войне с французами получен: записные политиканы наши, по словам Дмитриева:

И едут, и плывут,
И скачут, и ползут,

чтоб сообщить друг другу слышанные или полученные ими из Петербурга по сему случаю новости. Я не очень знаю, что говорится и делается в высшем кругу, но что касается до круга моих знакомых, то они все радуются решимости государя, и все вообще готовы не токмо на какое пожертвование, но и на всякое самоотвержение. Намедни новый губернатор как нельзя лучше выразился насчет этого общего любопытства и толков о предстоящих событиях. «Да,— сказал он, — заговорило сердце русское!». Теперь еще покамест Москва пуста, только некоторые знатные москвичи возвращаются из подмосковных, но как скоро все съедутся, то я уверен, что пойдет дым коромыслом. Новый генерал-губернатор открыто говорит, что необходимо поголовное вооружение и что надобно одним разом уничтожить врага, а для этого нужны сильные средства. В манифесте есть ссылка на указ 1 сентября прошлого года; в этом указе сказано, что государь не может равнодушно смотреть на опасности, угрожающие России, и что безопасность империи, достоинство ее, святость союза и желание, единственную и непременную цель его составляющее, водворить на прочных основаниях мир в Европе, заставили его (тогда) подвинуть войска за границу. Кажется, лучших причин к войне и теперь быть не может. Благослови господь!

Фельдмаршал граф Каменский в Петербурге и будет, кажется, командовать армиею. Опытные люди говорят, что он всегда известен был за отличного тактика, а с Бонапарте это качество не лишнее: храбрость храбростью да и военные соображения необходимы — они

сберегают солдат. А между тем покамест еще фельдмаршал не перед войском, он присутствовал 1-го числа на празднестве Академии художеств и подарил нескольким ученикам, которых ему рекомендовали за отличнейших, по сту рублей. Я сам сегодня читал письмо архитектора Бушуева к матери, в котором он описывает бывшее празднество и вместе великодушие старого воина — черта похвальная, но меня-то зачем он обидел в прошлом году грубым приемом? Впрочем, бог с ним! лишь бы посчастливилось ему скрутить французского забияку.

10 сентября, понедельник.

Сегодня неожиданно посетил меня приехавший из Петербурга Бахерт, чиновник очень порядочный, который, по страстной любви к мадам Кафка, намерен на ней жениться и вступить в актеры. Нечего сказать, охота пуще неволи! Сезон немецкого театра открывается 14-го числа 2-ю частью «Русалки», в которой главную роль будет занимать нареченная невеста. Не думаю, однако ж, чтоб Бахерт сделал глупость жениться на актрисе, и еще на какой? на актрисе par excellence. Потолкуют — и будет с них.

Я решительно не намерен более ездить в немецкий театр иначе, как в дни представления больших опер. Драмы и комедии без Штейнсберга, при настоящих распоряжениях, будут похожи на площадные игрища. Игра свеч не стоит; правду сказать, и давно бы пора перестать кулисничать. Времени потеряно много, а польза невелика. Впрочем, я ошибаюсь — польза есть: никогда не научился бы я ни с кем так болтать по-немецки, как с этими немками, и не полюбил бы так немецких поэтов, как люблю их теперь. Они — отрада души моей, как выражается князь Шаликов.

13 сентября, четверг.

В Английском клубе рассказывают, что 7-го числа торжественно поднесено было от Сената государю благодарение по случаю изданного 30 августа манифеста. Депутатами были князь Н. И. Салтыков и граф А. С. Строганов. Вот так славно! расцеловал бы того, кому такая мысль пришла в голову. В прошедшее воскресенье лютеран-

ской церкви пастор старик Бруннер в поучении своем сказал: «Какая награда может быть государю за те неимоверные труды и попечения, которые он подъемлет для блага и спокойствия своих подданных, кроме искренней их признательности? И потому, любезные слушатели, в полном сознании действительности его благодеяний будем ему признательны, будем любить его и молиться за него тому, в чьей руке сердце государя и собственный наш жребий». Прекрасно!

Погода стоит удивительная. Небо так ясно, так безоблачно, хоть бы в мае. Говорят, что это плохой знак для будущего урожая озимых хлебов, но на людей бог не угодит: то молятся о дожде, то о вёдре, то есть всякий молится о том, что ему нужно в частности, а об общем итоге не думает. Мне случилось встретиться с одним помещиком, который чрезвычайно негодовал на дождь потому только, что он мешал ему кончить строение. Ф. С. Мосолов заметил, что строение кончить можно и после, а дождь случился так во время, что для хозяина и земледельца он сущий клад. «Да у меня все имение на оброке», — возразил помещик с неудовольствием и — тем порешил дело.

16 сентября, воскресенье.

Вчерашний день, по случаю празднества коронации, в Успенском соборе было необыкновенное стечение народа. Преосвященный викарий Августин служил собором и произнес прекрасное слово. Благодаря некоторым знакомым священникам я пробрался до самого почти алтаря и, стоя на клиросе, мог рассмотреть все власти московские — вид великолепный! Между прочим, заметил и обер-полицеймейстера А. Д. Балашова, которого, говорят, И. И. Дмитриев сосватал на одной своей родственнице — Бекетовой.

В русском театре давали трагедию «Титово милосердие». Плавильщиков играл Тита хорошо. О прочих актерах говорить нечего: ниже посредственности. Публики было много, и она не сидела поджавши руки; аплодисемены не прерывались; всякий стих, имеющий какое-нибудь отношение к государю, заглушаем был рукоплесканиями. В партере встретился со стариком Алферьевым, приехавшим

с липецких вод. Звал меня к себе покалякать. Он остановился у Баца, на Тверской, и пробудет здесь с неделю. Непременно у него буду: не расскажет ли еще что-нибудь.

П. П. Бекетов и князь А. А. Урусов пожертвовали университету своими собраниями дорогих камней и чучел разных птиц и животных. Спасибо. Если б нашлось поболее таких жертвователей, то университетский музеум вскоре бы обогатился; к несчастью, они редки.

22 сентября, суббота.

Домашние мои пишут, что у них начались беспрерывные полевания. Я завидую тем, кто в них участвует, потому что, как тебе известно, у меня страсть к охоте наследственная. Не знаю, как у вас, но говорят, что в нашей стороне нынешний год бездна всякой дичи и зверей всякого рода. Как бы я желал теперь вспомнить блаженные времена моего детства и попрежнему порыскать

По полям, и по лесам,
И по мхам, и по болотам,
По долинам и буграм,
И сказать: прости — заботам!

Мне рассказывали, что лет 10 или 12 назад в Москве существовала английская парфорсная охота, которой главная квартира находилась прежде на Воробьевых горах, а после в селе Троицком. Директорами этой охоты были Н. М. Гусятников, превеликий англоман и человек очень аккуратный, и какой-то богатый англичанин, которые содержали ее на счет общества охотников великолепно: гончие собаки были настоящие английские, равно и пикеры, то есть ловчий и доезжачий, были англичане и ездили на английских гунтерах; несколько времени все шло как нельзя лучше, и все были довольны, но после нескольких случаев, в которых иные богатые маменькины детки и бабушкины внучки чуть не посломали себе шей, перепрыгивая, по английскому обычаю,

Чрез пни, чрез кочки и колоды,
Через заборы, рвы и воды,

на таких лошадях, которые умели не прыгать, а только пиафировать, вдруг на бедную охоту и ее директоров восстало страшное гонение: она подверглась общему негодованию в московских салонах, и, к сожалению, надобно было ее уничтожить. А жаль! Эти охоты, содержимые на общий счет желающих ими пользоваться, чрезвычайно удобны для охотников всякого состояния. Заплатил один раз в год известную небольшую сумму — и езди себе барином, не заботясь решительно ни о чем.

25 сентября, вторник.

Знаменитая панорама Парижа, принадлежавшая архитектору Кампорези, снята, и самое строение продается в сломку на дрова.[1] Sic transit gloria mundi. А какая прелестная была эта панорама! Говорили, что хотят снять панораму Москвы с колокольни Ивана-великого..Если это правда, то архитектор или живописец, который с сей точки снимать ее будет, ошибется в расчете: он потеряет лучший point de vue — Кремль. По мнению знатоков в этом деле, например Тончи, Молинари и других, лучшим пунктом для снятия Москвы могут быть Воробьевы горы, с которых вся Москва видна как на ладони, или Сухарева башня. Если же бы захотели представить Москву в отдалении, пейзажем, то надобно рисовать ее с Поклонной горы или с возвышенностей села Черкизова.

На будущей неделе фехтовальный учитель Севенар с сыном будут держать публичный assaut с другим таким же фехтовальщиком, как и они сами, сэром Сибертом. Посмотрим, кто из них проворнее и ловчее. Я учился у Севенара и прежде у Сиво в пансионе Ронка́ и, к сожалению, не могу похвастаться их отзывами. На вопрос Ронка Сиво, надеется ли он, что я успею сколько-нибудь в искусстве, последний отвечал: «Monsieur, je n'ai jamais vu de flandrin plus gauche que celui-là», и справедливо: я было выколол ему глаз. Танцованье и фехтованье дались мне еще менее, чем математика.

29 сентября, суббота.

Альбини приедут в Москву не прежде, как в конце будущего месяца, следовательно и ду́мать нечего быть в Петербурге ближе

ноября. Петр Иванович восхищается моим «Артабаном», которого 4-е действие я почти кончил, но я не очень ему доверяю. Когда совершенно кончу, покажу Мерзлякову и Буринскому, а там решусь показать Плавильщикову, которого попрошу сказать мне откровенно свое мнение и дать совет насчет расположения сцен. Первую песенку зардевшись спеть!

Не помню, на чем остановилась история о Перрене [1] — кажется, на записке, найденной мужем в комнате жены своей. Из этой записки, заключавшей в себе наставления и средства, как скрыть некоторые обстоятельства, предосудительные для чести мамзель Рабо, Глебов получил понятия, хотя и не совсем ясные, что он мог быть жертвою обмана, и потому решился надзирать за женою и за окружавшими ее французами молча и скрепя сердце. Так прошло несколько месяцев, и, однако ж, не представилось ни одного случая, который бы дал возможность Глебову убедиться или в справедливости, или в неосновательности своего подозрения. Он страдал, потерял аппетит и сон, ослабел, похудел, сделался равнодушным ко всему, кроме одной идеи: подстеречь жену свою, которая между тем с каждым днем становилась к нему нежнее, оказывала ему наивозможные ласки, пеклась о нем и тысячью мелочных предупреждений, которых тайна известна одним только женщинам, старалась рассеять мрачные мысли своего мужа и возвратить его нежность.

Наконец случай, так нетерпеливо ожидаемый Глебовым, представился. Однажды ночью услышал он, что чуть-чуть скрипнула дверь, ведущая из спальни в коридор, в глубине которого находилась комната мамзель Шевато, и что с этим скрипом жена его, встав с постели, тихонько на цыпочках пошла в коридор и затем, как ему почудилось, в комнату своей горничной. Глебов сделал то же самое: встал и также на цыпочках отправился за женою, остановился у дверей Шевато, притаил дыхание, приложил ухо к дверям и стал слушать с напряженным вниманием. В комнате начался уже разговор шопотом: «Да отчего же ты, несчастная, до сих пор ничего еще не умела сделать ни для себя, ни для нас? Ты видишь, муж твой олух; что можешь ты извлечь из него одними ласками и угождениями, когда нужны характер и настойчивость? Надобно подчас

и возвысить голос. Ласки твои были кстати для начала, но теперь, когда ты видишь, что за человек твой муж, который как будто пренебрегает твоими ласками, надобно взяться за него другим образом: надобно у него просить, требовать и надоедать ему. Где брильянты первой жены его? Они все должны бы давно принадлежать тебе и нам. Да отчего он так переменился вскоре после свадьбы? Этой загадки ты не умела разрешить мне до сих пор; сделала ли ты именно все то, о чем я говорил тебе и даже дал письменное наставление? Я всегда знал, что ты глупа, но до сих пор не думал, чтоб ты была глупа до такой степени». Этой выходки говорящего достаточно было для Глебова, чтоб узнать в нем Перрена; с этой минуты все для него было ясно. Он возвратился на постель свою, закашлял и как будто ненарочно, в просонках, уронил со стола табакерку, чтоб прекратить ночное свидание и вызвать жену, которая точно возвратилась, но уже не на цыпочках, и хотя тихо, но обыкновенною своею походкою и спокойно, как будто выходила за чем-нибудь другим. Муж не обратил внимания на приход жены и притворился спящим, но между тем обдумывал план, который на другой же день и хотел привесть в исполнение.

Утром Марья Петровна разливала чай, но была печальнее обыкновенного; Глебов же, напротив, казался спокойнее и был разговорчивее. «Нынешнею ночью мне снились престранные вещи, — сказал он, — между прочим, приснилось мне, что ты — не ты и что вместо тебя я обнимал змею». Жена посмотрела ему пристально в глаза. «Сон твой удивителен, милый друг, но мой сон еще удивительнее: мне пригрезилось, что какой-то злой дух точно обратил меня в змею и я жалила и кусала тебя, но, побежденная твоим терпением, я опустила голову; ты хотел раздавить ее и, однако ж, не раздавил, а великодушно предоставил меня судьбе моей». Глебов изумился. «Так поэтому ты догадываешься, о чем я говорить намерен?». — «Не только догадываюсь, но знаю и два месяца ищу случая броситься к ногам твоим и открыть тебе все адские против тебя замыслы, которых хотели меня сделать орудием». — «Кто ж ты, несчастная?». — «Я бедная сирота, воспитывавшаяся из милости в одном богатом парижском доме и обольщенная Перреном. Фамилия моя точно Рабо,

но мне не 19 лет, как хотели в том уверить тебя, а 24. Я долго отказывалась от участия в замыслах злодея, но меня к тому принудили почти силою и угрозами, а сверх того, представили такие блестящие надежды в будущем, что они в несчастном, отчужденном моем положении вскружили мне голову. Я сказала все, остальное ты сам узнать можешь. Теперь делай со мной, что хочешь: совесть мучит меня, и я готова искупить мое заблуждение и, если хочешь, преступление, такими наказаниями, какие ты придумаешь; подвергаюсь им безусловно, как бы они жестоки ни были, но будут все легче теперешнего невыносимого моего положения». Кончив признание, она зарыдала. Глебов обомлел и погрузился в размышление. Наконец, собравшись с духом, он подал ей руку и сказал, что ее прощает, но что она должна все сказанное ему подтвердить перед тем лицом, которое он привезет с собою, а между тем, чтоб до тех пор весь разговор сохранялся в тайне от Перрена, Шевато и Курбе.

У Глебова был приятель, начальник розыскной экспедиции, князь Николай Федорович Борятинский. Он поехал к нему, открыл ему всю поднаготную и просил совета и наставления, что делать в таких обстоятельствах. — «Что делать? — сказал ему Борятинский, — да главное ты уже сделал, то есть простил жену свою и поступил умно: иначе вышла бы огласка, а насмешники не были бы на твоей стороне. Пусть эта раскаявшаяся женщина в поступках своих отдаст теперь отчет богу, но разбойников преследовать должно; поедем сей час к Архарову, а уж он по своей обязанности будет уметь распорядиться как следует».

Тогдашний обер-полицеймейстер, бригадир Н. П. Архаров, имел репутацию мастера своего дела. Его иначе не называли, как русским де Сартином; насчет его догадки и проницательности ходило в народе множество анекдотов, которые — были справедливы или нет — но доказывали, однако ж, что Архаров обладал большими способностями для своего назначения. Он терпеливо выслушал обоих друзей, несколько подумал и потом громко свиснул. На этот свист явился дежурный полицейский, которого он тотчас же отправил за одним из помощников своих, Максимом Ивановичем Шварцем.

«Это малый ловкий и дельный, — сказал Архаров, — хотя душонка-то у него такая же, как и его фамилия».

Шварц не замедлил явиться. «Знаешь ли ты, Максим Иваныч, француза Перрена?». — «Как не знать, ваше высокородие! это самый тот, который возлюбленную свою выдал недавно замуж за одного богатого помещика». — «Это, братец, не наше с тобою дело: всякий волен жениться на ком похочет, а вот видишь ли: у этого Перрена должны быть другие замыслы, так надобно сегодня же о них поразведать и узнать покороче, чем он промышляет, какие и откуда имеет доходы, с кем водится и нет ли у него каких товарищей и пособников. На этого француза жалоб никогда не бывало, и видишь ли, он принят в хороших домах, однако ж мне нужно узнать в подробности весь его домашний быт, так ты собери-ка немедленно все сведения, да завтра же утром и представь их мне. Теперь ступай с богом». Отпустив Шварца, Архаров распростился также с князем Борятинским и Глебовым, наказав последнему не отлучаться на другой день из дома, потому что в продолжение дня он побывает у него сам, инкогнито.

А покамест — прости, на досуге доскажу окончание этой истории.

4 октября, четверг.

У Алферьева видел я старика Дмитрия Федоровича Алфимова, который некогда служил товарищем московских губернаторов, прежде И. И. Юшкова, а потом графа Федора Андреевича Остермана, брата канцлера (1771—1778), вместе с Никитою Ивановичем Бестужевым. Ему давно за 70 лет, а до сих пор так жив, так разговорчив и такую имеет память, что нельзя не удивляться. Это неисчерпаемый источник разных сказаний о современных ему событиях. За завтраком — nota bene, весьма невкусным, стряпни г. Баца — после нескольких рюмок вина, которые развязали ему язык, он забросал нас анекдотами о некоторых прежних своих сослуживцах, которые, видно, были препорядочные оригиналы. Так, например, рассказывал о губернаторе Остермане, которого необыкновенная рассеянность известна всем по преданиям, как он однажды приехал в присутствие,

имея вместо шляпы ночной горшок в руке;[1] как принял одного знатного посетителя за одну барыню, обличал его в мотовстве и распутстве и грозил отдать в опеку и как в одном приятельском доме он хотел поднять хозяина на руки вместо внука его, удивляясь, отчего мальчик в неделю так потяжелеть мог. Между прочим, смешил он нас рассказом о процессе тогдашнего прокурора Тимофея Григорьевича Миславского, известного под скромным названием Тимоши, с асессором розыскной экспедиции Вележевым за корову, процессе, продолжавшемся лет восемь, доходившем до сената[2] и кончившемся тем, что корова признана не принадлежащею ни тому, ни другому; наконец, pour la bonne bouche, рассказал о двух братьях Михиных, из которых один служил секретарем, женившихся в один день и час и в одной церкви на бабушке и внучке по вынутому жеребью, кому какая достанется.[3] Эти Михины имели некоторое состояние и были очень дружны между собою, но до женитьбы так скупы, что вся цель их брака, кроме надежды на приданое невест, состояла в том, чтоб не платить работницам. Однако ж они обманулись в расчете и вместо предполагаемой экономии вовлечены были в излишние издержки, о которых толковали ежеминутно с самою плачевною физиономиею. Алфимов подтвердил историю о Перрене со всеми грязными ее подробностями, и старики друг перед другом взапуски вспоминали о минувших годах своего молодечества, удивляясь, как могло все так безнаказанно сходить им с рук, и еще более тому, что прежняя буйная и непотребная их жизнь не оставила на них никаких следов, и они до сих пор пользуются совершенным здоровьем.[4] Жаль, что пришедшие не в пору к Алферьеву другие посетители помешали мне кончить мои расспросы у словоохотливых стариков о происшествиях, бывших во время чумы, и особенно в том участии, которое принимал в уничтожении заразы присланный от императрицы князь Г. Г. Орлов, которому приписали восстановление порядка в Москве, — между тем как известно, что сенатор Еропкин был главным виновником спасения столицы от последствий страшного безначалия и неистовства народного.[5] В продолжение моих расспросов я заметил, до какой степени все эти старики были проникнуты уважением к памяти императрицы

Екатерины: ни один из них не мог произнести имени великой, не вздохнув глубоко и не прибавив к нему официальной[1] фразы: блаженной памяти.

9 октября, вторник.

Мало-помалу москвичи начинают возвращаться из деревень и общества становятся гораздо оживленнее. В клубе возникают толки и разные предположения касательно наступающих военных действий; а между тем вчера Общество испытателей природы праздновало день своего основания; президентствовал граф А. К. Разумовский, у которого в его селе Горенках такая богатая коллекция разных заморских растений, собранная с неимоверными трудами и издержками во всех частях света.[2] Были Ив. Ив. Дмитриев, граф Хвостов, обер-полицеймейстер Балашов, Бекетов, много других особ и, между прочим, доктор Фрез или Фрезе, состоящий членом общества. Без этого Фреза или Фрезе ни один достаточный москвич ни выздороветь, ни умереть не смеет: это оракул всех богатых домсв; кроме того, что он по званию своему медика полновластно распоряжается здоровьем своих пациентов, он их духовник,[3] советник, опекун и в одном лице своем соединяет все эти важные и тягостные обязанности. Говорят, что он человек умный и благонамеренный; должно быть так, если умел снискать такое общее благорасположение.[4] Нынешнею весною за кузину нашу М. Ф. В. сватался жених, и партия, казалось, была очень выгодная, но тетка не могла решиться без согласия Фреза, который этого согласия, к прискорбию невесты, почему-то не дал, и жениху отказали. Как хочешь суди, а нельзя без положительных достоинств добиться такого влияния на семейства: мы не гуроны же какие-нибудь.

Помещик Кологривов, родственник полицеймейстера Ивашкина, приехавший по делам в Москву, привез борзую собаку такой неслыханной резвости, что у всех охотников только и разговоров, что об этом феномене. Говорят, что Л. Д. Измайлов предлагал за нее две тысячи рублей, но Кологривов отклонил предложение, сказав, что, будучи сам охотником, он не отдаст ее ни за какие деньги; отказ его изумил многих и еще более возвысил достоинство собаки

в мнении охотников. Все наперерыв ездят на садку взглянуть на Вихря, но только редким удалось видеть его, потому что Кологривов вывозит свое сокровище не в назначенное время, а как случится.

12 октября, пятница.

На этих днях, после разгульного обеда у А. Ф. Воейкова, Мерзляков, заспоривший с амфитрионом об истинном красноречии, спросил у него: «Да знаешь ли сам ты, что составляет настоящую силу красноречия?». Воейков захохотал. «Это знает всякий школьник, Алексей Федорыч: ум, логика, познания, дар слова, звучный и приятный орган и ясное произношение составляют оратора». — «Не на вопрос ответ, Александр Федорыч. Я спросил, что составляет н а с т о я щ у ю силу красноречия?». — «Да что ж другое может составлять его, как не те качества, которые я уже назвал?». — «Эх, любезный! да разве простой мужик имеет какое-нибудь понятие о логике? разве он учился чему-нибудь? разве произношение его ясно и правильно? А между тем мы видим часто очень красноречивых людей из простонародья. Нет, Александр Федорыч, действительная сила красноречия заключается единственно в собственном неколебимом убеждении того, в чем других убедить желаешь. Не знай ничего, имей какой хочешь орган и выговор, но будь проникнут своим предметом, и тогда будешь иметь успех, иначе со всеми твоими качествами ты останешься только простым школьным ритором».

Воейков объявил, что хочет написать поэму. «Метишь в Хераскова, любезный! — сказал Мерзляков, — лучше напиши хорошую песню: скорее доплетешься до бессмертия. До Гомера или Виргилия достигнуть мудрено, да и при нашем образе мыслей и жизни, при наших понятиях и верованиях какой вымысл может подействовать на душу твоих читателей? К тому же, принимаясь за дело, надобно прежде соразмерить с ним свои силы. Ты человек умный и должен знать, что страсть к большим литературным трудам — несомненный признак мелкого таланта, точно так же, как и страсть к необдуманным колоссальным предприятиям — резкий признак мелкой души: то и другое доказывает только неясное сознание своей цели и заблуждение самолюбия».

Мерзляков обещался просмотреть моего «Артабана». — «Но зачем принялся ты за трагедию? — сказал он мне. — Разве не нашел занятия более по твоим силам? Озеров всех вас свел с ума». Я откровенно признался ему, что сочиняю «Артабана» в том только намерении, чтоб проложить себе дорогу в общество петербургских литераторов, зная сам, что трагедия моя не будет иметь никаких сценических достоинств; но, по крайней мере, некоторые порядочные в ней стихи могут служить доказательством моей грамотности.— «Ну, это дело другое, и выдумка недурная, — улыбаясь сказал Мерзляков, — посмотрим твоего барабана».

16 октября, вторник.

Вчера выехал военный губернатор в Петербург. Нашлись люди, которые чрезвычайно озабочены тем, что он отправился в понедельник: какая-де надобность выезжать в понедельник? ведь в неделе семь дней. Истина неоспоримая!

А между тем в клубе толкуют, что Тутолмин поехал точно не даром и что поголовное вооружение должно состояться непременно. Странное дело: поголовного вооружения желают наиболее те люди, от которых нельзя было ожидать какой-нибудь воинственности: это старики или отставные, давно живущие на покое.

В детстве моем случалось мне видеть известную Катерину Прокофьевну Трощинскую, необыкновенную красавицу во всех отношениях, которая в Москве с ума сводила молодых и стариков, знатных и незнатных и которую нарочно ездили смотреть в те общества и собрания, где встретить ее предполагали. Она обыкновенно каждую весну и осень по дороге из Москвы в деревню и обратно заезжала с мужем к моей бабке и отдыхала у нас целые сутки, а иногда и более; она очень ласкала меня и всегда привозила какой-нибудь гостинец. Первая книга гражданской печати, которую я читал, «Свет зримый в лицах», с картинками,[1] была последним ее подарком; после я не видал ее более, но сохранил о ней самое приятное и даже ясное воспоминание.

Намедни в Новодевичьем монастыре, отслушав обедню и подходя к кресту, я поражен был сходством одной старицы с Катери-

ною Прокофьевною: тот же рост, те же черты лица, только похудевшего и пожелтевшего, те же глаза, только угасшие и впалые, те же ямочки на щеках и то же кроткое выражение физиономии. Я на нее смотрю пристально, и она на меня также смотрит; я смешался и, однако ж, не смог свести с нее глаз. Она улыбнулась и, указывая на меня, что-то сказала послушнице, стоявшей с нею на клиросе. Та подошла ко мне: «Мать Екатерина приказала спросить вас: вы не сын ли Александры Гавриловны?». — «Точно так. Но скажите, неужто же это Катерина Прокофьевна?». — «Да-с. Мать Екатерина просит вас, если что не мешает вам, зайти к ней в келью». — «С радостью! Скажите матушке, с величайшею радостью», — отвечал я: и точно, я так был счастлив, что готов был заплакать от удовольствия.

Первым словом Катерины Прокофьевны, по входе моем в ее келью, было: «Ты ли это, Степушка? Боже мой, как похож на мать! Если б не твое сходство с нею, я никогда бы тебя не узнала». — «Но я бы узнал вас, Катерина Прокофьевна, несмотря на черное одеяние ваше и эту высокую шапку». — «Да, — сказала она, — бог привел меня к тихому пристанищу; не знаю, как благодарить его за то душевное спокойствие, которое я нашла в этих стенах. Теперь молюсь об одном, чтоб кончина моя была так же тиха и безмятежна; что же принадлежит до жизни загробной, то буди его святая воля! Я верую во спасение, потому что и на мне также есть капля крови христовой». Тут пошли взаимные вопросы и расспросы: я рассказал ей о своих, о себе, о моих надеждах и предположениях и проч. и просил ее рассказать мне свою историю. «Она коротка, — отвечала она, — я овдовела; успехи в обществах, которые я имела, никогда не прельщали меня, и этот коварный свет не владел моим сердцем. Я размыслила: что я буду делать в обществе одна, без связей, без сердечных привязанностей? Быть целью искательств бездушных людей или предметом злословия. . . Бог с ним, этим обществом! И вот решилась идти в монастырь, продала свои сто душ и столько же оставленных мне мужем, построила себе эту келью, шесть лет жила на послушании, пять лет как пострижена, половину капитала отдала монастырю, меня приютившему, остальной — родственникам

покойного мужа, которые снабжают меня всем нужным превыше моих надобностей, и живу, как я сказала тебе, в ожидании безмятежной кончины. Я рада была тебя видеть, потому что знала тебя ребенком, но других старых знакомых редко принимаю: они напоминают мне такое время и такие обстоятельства, которые я стараюсь забыть, и господь помогает мне слагать с себя ветхого человека и мало-помалу облекаться в нового».

Напившись, по обыкновению монастырскому, чаю, я оставил Катерину Прокофьевну с неизъяснимым чувством умиления и покорности провидению. Она напутствовала меня благословениями. Бог весть, удастся ли опять видеться с нею?

21 октября, воскресенье.

Перестань выть, любезный; вот тебе требуемое окончание истории о Перрене. Проклятый надоел мне смертельно. У меня недоставало духу передать тебе в подробности всех проделок этого мерзавца и потому должен был сокращать и очищать записанный мною буквально рассказ Алферьева, а это стоит труда и отвлекает меня от «Артабана». Ну, слушай.

Архаров, по обещанию своему, точно на другой день вечером приехал к Глебову и привез с собою Шварца. Оба прибыли в партикулярных платьях и под другими фамилиями. Глебов представил их как стародавних приятелей жене и просил ее рассказать им откровенно все то, в чем она ему накануне созналась, и вместе пояснить многие другие обстоятельства, о которых они спрашивать ее будут. Глебов представил ей, что этого требует обоюдное их спокойствие и чтоб она не имела за себя никакого опасения. Марья Петровна сначала несколько смешалась, но потом, тотчас же оправившись, объявила, что она не намерена ничего скрывать и, решившись однажды сделать признание мужу, не имеет причины утаивать проступка своего от его приятелей, тем более, что он сам того желает. За сим подтвердив Архарову и Шварцу все сказанное мужу, она кончила исповедь свою тем, что изъявила готовность отвечать на все другие вопросы, какие ей сделаны будут.

Русский де Сартин с своим помощником остались довольны дальнейшими показаниями Марьи Петровны. Из них открылось, что Дюкро, один из известных парижских искателей приключений, не поладив с парижскою полициею, отправился под фамилиею Перрена, физика, химика и механика в Вену, в которой хотел основать свою резиденцию и общество алхимиков; однако ж, не встретив в расчетливых немцах ни того радушия, ни того любопытства и легковерия и особенно той щедрости, какие для успехов его операций были необходимы, он бросился в Петербург и прожил там около года, втираясь в высший круг общества и составляя себе нужные знакомства; как вдруг после одного свидания с каким-то богатым человеком, он тотчас решился ехать в Москву, приняв к себе в услужение фокусника Мезера, слесаря Курбе, кондитера Гофмана, бывшую надзирательницу в одном пансионе мадам Пике и швею Шевато. По прибытии в Москву нанял он для себя квартиру на Мясницкой, в доме Левашова, а для своей колонии в отдаленной части города, в доме Мартьянова, в котором водворил мадам Пике полною хозяйкою, выдав ее за вдову одного французского полковника, оставившего ей по смерти хорошее состояние, и за крестную мать сироты Рабо; прочие же французы и немец, в надежде будущих благ, исполняли должности — первый домашнего друга, а последние разных служителей, разумеется, только при гостях; но без посторонних людей они были такими же господами, как и сама хозяйка. Откуда Перрен получал деньги, Марья Петровна сама не знала, но ей известно было, что в деньгах он никогда не нуждался, щедро платил своим агентам и давал ей самой более, нежели сколько было нужно, непременно требуя, чтоб она всегда была щегольски одета. «Я имею свои виды, — говорил он ей, — и хочу сделать твое счастье, это счастье может заключаться только в замужстве с богатым человеком, и я уверен, что оно скоро удастся, но для этого ты должна войти в мои намерения и способствовать им всеми твоими силами и способностями. Обратись покамест, так сказать, в машину, которою я буду двигать по своей воле. Доселе я мог быть виноват пред тобою, но что было, то прошло, и воспоминание прошедшего не должно препятствовать твоей будущности. Мы находимся в такой стране,

в которой с умом и ловкостью до всего достигнуть можно. Итак, вот роль, которую ты на себя принять должна: ты крестница мадам Пике, сирота, воспитанная ею; тебе девятнадцать только лет; первому мужчине, которого я укажу тебе, ты должна оказывать возможные ласки и стараться влюбить его в себя, показывая к нему сердечную склонность, и если б успех увенчал наше намерение, то, разумеется, ты должна разделить с нами все то, что приобресть можешь от его нежности и щедрости. В противном же случае я должен буду бросить тебя на произвол судьбы, потому что средства мои почти совершенно истощились, и если какой-нибудь благоприятный случай не поправит моих обстоятельств, то чрез шесть месяцев я буду в Лондоне или в Мадриде». Таким образом, Марья Петровна волею и неволею приняла на себя роль невинной девушки и ежедневно исполняла ее сообразно намерениям Перрена, стараясь нравиться тем посетителям, которых он привозил к мадам Пике, и завлекать их в свои сети, но старания ее были безуспешны до тех пор, пока она не встретилась с Глебовым, которому, наконец, она понравилась, и вышла за него замуж.

«Но скажите, сударыня, — спросил ее Архаров, — что делали посетители в то время, когда они вам не строили кур?». — «Что делали? — отвечала Марья Петровна, — некоторые пили и играли в карты или кости, а другие занимались с Перреном в особом кабинете, в который ни я, ни мадам Пике, ни мамзель Шевато не имели позволения входить. В чем состояли эти занятия, происходившие почти всегда после ужина, — мне неизвестно, но полагаю, что в физических опытах». Архаров продолжал свои расспросы: в какую игру чаще всего играли гости? если в фараон, то кто метал банк? все ли вообще занимались игрою? кто именно был в числе гостей? по каким дням происходили собрания? были ли для них назначаемы особые дни или всякий имел право приезжать ежедневно? какие роли занимали мадам Пике и Шевато? и, наконец, нет ли у Перрена каких-нибудь других знакомств и связей с подобными ему авантюристами? Марья Петровна объяснила, что гости большею частью играли в фараон, и Мезер, в качестве домашнего друга, держал банк; что не все посетители играли, но некоторые молодые люди занима-

лись ею или слушали рассказы Перрена, а люди пожилые большею частью отправлялись с ним в кабинет, но что там делали — она сказать не умела; что приезд к ним был ежедневный, но не иначе, как по приглашению, так что между посетителями никогда не встречалось людей друг с другом незнакомых, а для некоторых, как, например, для ее мужа, назначалось всегда особое время, в которое, кроме одного приглашенного, никого не принимали. Мадам Пике играла роль хозяйки дома, но эта роль изменялась смотря по обществу, которое у них собиралось: то представлялась она, так же как и Шевато, очень серьезною, добродетельною и набожною женщиною, то, напротив, старалась казаться легкомысленною, без всяких правил и понятия о благонравии — словом, как низко она сама ни упала, но стыдится объяснить все то, на что эти женщины решались и на что способны решиться. Что касается до связей и знакомств Перрена с такими же, как и он, искателями приключений, то ей известно, что он имеет их много и находится с ними в беспрестанной переписке, но что к мадам Пике они не являются и если видятся с Перреном, то в его квартире или в каком-нибудь другом месте. В заключение своего объяснения Марья Петровна, поименовав все те лица, которые ездили к мадам Пике, призналась, что если она со времени замужства никого принимать не хотела, так это из опасения встретить кого-нибудь из прежних своих знакомцев, бывших свидетелями ее непроизвольного кокетства.

Дальнейших подробностей рассказывать нечего: кончу тем, что Архаров допросом Марьи Петровны хотел только убедиться в ее чистосердечии и поверить все сведения, собранные Шварцем. В тот же вечер у Перрена и мадам Пике, в одно и то же время, произведен был обыск: у первого найдена была огромная корреспонденция, доказавшая, что он имел обширные виды на карманы многих русских бар и барынь, а в доме последней, в особом кабинете — небольшая лаборатория, собрание разных физических и оптических инструментов, порядочное количество книг и рукописей по части алхимии, астрологии и магии и, наконец, несколько тетрадей с разными рецептами и средствами к сохранению молодости, красоты, обновлению угасших сил, возбуждению сердечной склонности и проч. и

проч. У Мезера найдены всевозможные аппараты для произведения фокусов и, сверх того, большое количество фальшивых и крапленых карт и подделанной зерни; у Кубе — целые связки разной величины и разных форм ключей, с несколькими слесарными инструментами; у Гофмана — пропасть склянок с разными настойками и другими неизвестными жидкостями, множество заготовленных на разных составах конфект; словом, мошенники захвачены со всеми орудиями их плутней, и все, начиная с Перрена до Шевато, обличены, уличены и высланы за границу.

А Марья Петровна? Более года жила она в дальней деревне, куда отправил ее муж, опла́кивая свои несчастия и заблуждения. По прошествии же сего времени, Глебов поехал к ней сам и, узнав о скромной ее жизни, искренно примирился с нею, взял обратно с собою в Москву и представил ее всем своим знакомым, которых любовь и уважение она впоследствии снискать умела любезностью, неукоризненным поведением и нелицемерной привязанностью к мужу. Глебов со слезами признавался после Архарову, что он совершенно счастлив. — «Ну, конечно, чего на свете не бывает!», — отвечал хладнокровно наш де Сартин.

27 октября, суббота.

К 10-му или 15-му числу будущего месяца, по первому санному пути, я ожидаю в Москву моих домашних, которые приедут проводить меня. Альбини должны приехать несколькими днями прежде. Я приготовил для них помещение.

Я кончил моего «Артабана» и показывал его Мерзлякову. — «Галиматья, любезный! — сказал он мне без церемоний, — да нужды нет: читай его петербургским словесникам сам, да погромче, оглуши их — и дело с концом. Есть славные стихи, только не у места». Вот одолжил! Я не сержусь за правду, потому что она оскорбляет только глупцов малодушных, а я ни тем, ни другим быть не хочу, но должен признаться, что сердце как-то невольно щемит. Попробую иное переменить, а другое сократить, так авось лучше будет.

С горя ездил вчера смотреть на Плавильщикова в роле Досажаева в «Школе злословия» и нынче только узнал, что эта коме-

дия переведена Иваном Матвеевичем Муравьевым-Апостолом, который был кавалером при государе во время его малолетства, а теперь находится посланником в Мадриде.[1] Роль Досажаева, говорят, была лучшею ролью Дмитревского, но и Плавильщиков в ней отменно хорош.

Мне показалось, что в театре меньше слушали пьесу, чем говорили о политике. Я вслушался в разговоры сидевших возле меня в креслах Н. И. Баранова и А. П. Лунина, не дождавшихся конца пьесы и уехавших в Английский клуб; говорили, что все с нетерпением ожидают возвращения военного губернатора, который будто бы должен привезти с собою какие-то особые и очень важные повеления государя насчет приготовления к войне; думают, что скоро последует еще манифест, объясняющий наши отношения к прочим государствам и настоящее положение дел в Европе. Между прочим, какой-то господин рассказывал своему соседу, что Александр Андреевич вышел в отставку оттого, что он носил звание не главнокомандующего, а только военного губернатора. Не думаю: это сущий поклеп на почтенного вельможу-стоика; в настоящее время выйти в отставку по такой пустой причине, в звании Беклешова, все равно, что бежать с поля сражения, да если он и не носил звания главнокомандующего, так в сущности был им. Это сплетни, и верить им не должно.

1 ноября, четверг.

Покамест от скуки я опять начал таскаться по театрам. Князь М. А. Долгоруков, у которого я сегодня обедал, пригласил меня с собою в ложу. Давали «Эдипа» и комедию «Алхимист»[2] в бенефис Мочалова. Плавильщиков играл еще лучше, нежели когда-нибудь, и Воробьева в роли Антигоны была очень недурна. В комедии Сандунов являлся в семи разных персонажах и очень смешил публику. Это настоящий Протей: удивительно, как ловко и скоро переменяет он костюмы и мастерски гримируется. Конечно, при пособии других переменить кафтан и парик можно и скоро, но каким образом из молодого, румяного парня превратиться вдруг в дряхлого старика с морщинистым лицом, а еще более из мужчины в женщину — я,

право, не постигаю. Штейнсберг был также величайший мастер на эти штуки и, бывало, морил нас со смеху в подобных пьесах; но для Штейнсберга не нужно было выводить себе морщин закопченой пробкой: ему только стоило по-своему искривить лицо, приподнять нижнюю челюсть, прищурить глаза — и вы его примите за старика. Бедный Штейнсберг! Nun lebe, lebe wohl, как сказал пастор Гейдеке в конце надгробного ему слова, при его отпевании. А ведь это lebe wohl, обращенное к мертвецу, для мыслящего человека совсем не nonsens, и мне кажется, что в этих словах, долженствовавших вылиться из сердца, заключается многое, что может познакомить нас с духовным миром.

5 ноября, понедельник.

Снег валит хлопьями. Я радуюсь, потому что чем скорее установится зимний путь, тем скорее прибудут наши и тем скорее последует отъезд мой в Петербург. Теперь я как будто сам не свой: телом здесь, мыслями там. Нет ничего скучнее, как быть в неопределенном положении, а между тем получаю беспрерывные понуждения о скорейшем прибытии к должности.

За обедом у Лобковых П. И. Аверин рассказывал, между прочим, что при начале французской революции императрица Екатерина, рассуждая с Сегюром о тогдашних смутных обстоятельствах во Франции, изъявила опасение, чтоб все принятые королем меры к успокоению народа не были скорее гибельны, нежели спасительны для монархии. Сегюр умолял ее изложить по этому случаю свои мысли на бумаге и дозволить ему сообщить их, хотя неофициально, королю. Императрица отвечала, что она неохотно вмешивается в чужие дела, но если он считает, что мнение ее может иметь какой-нибудь вес и принести отечеству его пользу, то она с удовольствием напишет для него записку, содержание которой, в виде простого разговора, он может передать своему королю. Аверин присовокупил, что у него есть отрывок из этой записки с русским переводом, сделанным, по приказанию графа Безбородко, для кого-то из тогдашних вельмож, не знавших французского языка. После обеда я просил Аверина поделиться со мною этим сокровищем и, признаюсь, не наде-

ялся на его снисхождение. «Изволь, мой милый, — отвечал он, — приезжай завтра ко мне утром, и я дам тебе списать, что захочешь».

Вот этот отрывок; кажется, он составляет заключение записки; перевод плоховат, но при оригинале в нем нужды нет, и я его не посылаю.

«Ainsi, Monsieur, le résumé de notre conversation est qu'un roi est perdu, lorsqu'il transige avec son inviolabilité. Il faut que l'autorité d'un souverain soit un principe vital pour ses sujets, autrement l'autorité n'existe plus; car ce qui constitue la monarchie, c'est la confiance reciproque du souverain et de la nation. C'est à tort que l'Assemblée Nationale pense, qu'elle peut relever cette monarchie avec toutes les restrictions qu'elle veut imposer au pouvoir royal et c'est encore plus à tort qu'elle croit pouvoir faire parvenir plus facilement la vérité aux oreilles du roi par le mode qu'elle employe à présent. Il n'en sera rien, Monsieur. Pour que la vérité soit efficace il faut que le souverain la comprenne, ou paraisse la comprendre par lui-même et se l'attire, sans qu'on la lui impose; quant à la monarchie il n'y a qu'une seule chose qui puisse la sauver dans les circonstances actuelles: c'est la fermété du roi et sa résolution inébranlable de ne pas accéder aux propositions de tuteurs que dans un excès de bonté il s'est donnés lui-même. Mais avant tout le roi devrait faire ce que Jésus Christ a fait à Jérusalem: prendre un fouet et chasser les marchands du temple; et si par impossible le salut de la monarchie dependait du concours de pareilles gens, la nécessité où serait le roi de le subir, serait le plus grand malheur qui puisse lui arriver, ainsi qu'à la nation».[1]

Если в окончании записки находится столько истин и премудрой прозорливости, то что же должна была заключать в себе целая записка? Как жаль, что такое сокровище может быть утрачено для нас и для истории великой монархии!

П. И. Аверин дозволил мне списать также составленную им историю Сената со времени его учреждения в 1711 г. до 1801 г. с комментариями и со включением замечательных мнений и голосов некоторых сенаторов, приобревших известность умом своим и знанием дел. Это сочинение составляет два огромные фолианта. Не знаю, успею

ли я воспользоваться его дозволением вполне, но, во всяком случае, постараюсь сделать хотя некоторые выписки.

9 ноября, пятница.

Наконец все мои собрались; гости и домашние прибыли почти в одно время. Они удивились, что в Москве так недавно выпал снег, когда у них санный путь установился еще до 1-го числа. Альбини ездил с визитами и привез нам кучу разных новостей, из которых, однако ж, как сам говорит, многие сомнительны, но что достоверно, так это — народное вооружение. Утверждают, что в продолжение текущего месяца последует манифест. Наши нувеллисты распустили слух, что государь сам изволит прибыть в Москву, но если б это была правда, военный губернатор верно бы знал о том, а он ничего не знает, хотя и недавно возвратился из Петербурга: следовательно это пустая выдумка.

Я успел вчера свозить своих в немецкий театр. Давали «Die Schwester von Prag». Смеялись досыта, но портной К а к а д у уж не прежний, К о р о п плох, но после Штейнсберга играть его больше некому. Бывало, один выход незаменимого комика с этой глупой и пошлой ариею:

Ich bin der Schneider Kakadu,
Gereist durch aller Welt,
Und bin von Kopfe bis zum Schuh,
Ein Bügel — eisen Held;
Gerade komm ich von Paris etc. etc.

заставлял хохотать до слез. Что за фигура и костюм! что за мимика! какая веселость и увлечение! Это умора, «уморissима», как говорит капельмейстер Керцелли. Но Штейнсберг играл и пел не одно только то, что находилось в роли; он импровизировал сам, стихами или прозою — для него было все равно. Видя его вне сцены всегда серьезным и задумчивым, нельзя было подумать, чтоб он мог быть так уморителен на театре. Впрочем, это не первый пример: Мольер и Шекспир вне сцены были также важны, серьезны и задумчивы, а эти молодцы стоят многих Штейнсбергов, бывших, настоящих и будущих.

Петр Иванович, стакнувшись с моими, понуждает меня заранее хлопотать о рекомендательных письмах, которые мне обещали граф Остерман, Н. Н. Бантыш-Каменский и И. П. Архаров. Но я раздумал: не возьму ни от кого. М. И. Невзоров утверждает, что всякое рекомендательное письмо подвергает нас двойной обязанности: к тому, кто его дал, и к кому оно дано; лучше положиться на собственные свои силы, если ж их не достанет, так бог помощник; в противном случае ничто не удастся. Максим Иванович пустого слова не скажет. Соседка наша, старуха Силина, московка чистой породы, пресерьезно говорит: «Батюшка, есть о чем заботиться! были бы деньги, так протекция сама сыщется». Денег-то у меня много не будет, но я верую в труд.

12 ноября, понедельник.

Сборы мои в дорогу уже начались. Меня обшивают и наделяют то тем, то другим для домашнего обихода. Матушка, рассуждая с Альбини о петербургском житье-бытье и не имея ни малейшего о нем понятия, изъявила желание, чтоб я нанял себе порядочный дом. Петербургские гости расхохотались. «А сколько же он (то-есть я) будет получать от вас на прожиток?». — «Уж конечно не меньше тысячи рублей в год, а сверх того стану по зимам посылать к нему в Петербург муку, крупу, ветчину, разную живность, варенье и проч., точно так же как все посылала и в Москву; к тому же прислуга своя. Кажется, можно прилично жить». Разумеется, можно жить, когда другие живут и ничего не имея. По одежке протягивай ножки, и сидя на рогоже, не говори о соболях.

Несмотря на скверную погоду, снег и ветер, дедушка, [1] по обычаю своему, притащился объявить мне, что послезавтра будут давать «Дидону», в которой Плавильщиков играет роль Ярба. Если что не помешает, то не только поеду сам проститься с московским театром, но повезу и всех своих в этот прощальный спектакль, о котором извещу тебя прощальным же письмом из Москвы. Дедушка рассказывал, что у Сандуновых между собою начинает быть неладно под предлогом обоюдной неверности, но что настоящая причина ссоры заключается в том, что муж, выстроив на общий капитал бани, запи-

сал их на свое имя. По сему случаю жена прибегла к покровительству князя Юрия Владимировича Долгорукого и просила его посредства. Любопытно знать, чем все это кончится; а ведь они женились по страстной любви! Неужто же Карамзин сказал правду, что

Сердца любовников смыкает
Не цепь, но тонкий волосок:
Дохнет ли резвый ветерок,
Порхнет ли бабочка меж ними —
Всему конец и связи нет![1]

Впрочем, тут уж не бабочка и не ветерок, а преогромные бани.[2] Te voilà, pauvre humanité!

16 ноября, пятница.

Мы предполагали выехать 19-го числа, но оказалось неодолимое препятствие: это число пришлось в понедельник и потому выезжаем днем прежде, то есть послезавтра. Прощальные мои визиты почти кончены; рекомендательных писем я ни от кого не взял, потому что не просил, а обещавшие сами напомнить о них не догадались. Пишу к тебе последнее письмо из Москвы, а чтоб оно было не совсем без интереса, так вот отчет о «Дидоне». Плавильщиков (Ярб) поразил меня: это рыкающий лев; в некоторых местах роли, и особенно в конце второго действия, он так был страшен, что даже у меня, привыкшего к ощущениям театральным, невольно билось сердце и застывала кровь, а о сестрах я уже не говорю: бедняжки до смерти перепугались. По возвращении из театра я записал те места, в которых он показался мне превосходнее. Семейство князя Михайла Александровича, к которому я входил в ложу во время антракта, встретило меня радостным вопросом: «А каков наш Лекен?». — «Нечего и говорить, — отвечал я, — превосходен!». — «Вот то-то же! А у вас только и на языке, что Штейнсберг да мамзель Штейн!». Княжны не могут простить мне сравнения последней с Сандуновою. В понедельник открывается французский театр, причисленный уже к императорским театрам; в это время я буду далеко от Москвы, и задняя забывая, простираться впредь. Однако ж, как ни доволен я отъездом, а грустно расстаться с своими, и не-

вольно думается: когда-то, где и как бог приведет опять свидеться? До сих пор я был не один; тепло было мне на свете, и вот через несколько дней я вдруг как будто осиротею и буду один. . . нет, виноват, я не буду один;

Erinnerung und Hoffnung blühn
Den Herzen, die von Freundschaft glühn.

Прости: из Петербурга я не могу писать к тебе так часто, как доселе писал, но можешь быть уверен, что будешь получать раза два или три в месяц ежедневный и подробный журнал моего житья-бытья и моих похождений на чужой стороне. Привычка — вторая натура: я не могу заснуть, без того чтоб не записать всего, что видел, слышал или чувствовал в продолжение прожитого дня.

Побереги Дураков моих, и если они произведут достойных себе потомков, то прикажи воспитать их несколько для меня на всякий случай.

С. Петербург. 24 ноября 1806, суббота.

После пятисуточного путешествия мы, наконец, дотащились до Петербурга, и вот другой день, как я дышу воздухом петербургским и — дома сумасшедших, в котором мы остановились. Почтенный Эллизен, тесть Альбини и главный доктор Обуховской больницы умалишенных, приютил нас до того времени, как успеем приискать себе квартиры. Это умный, искусный врач и добрый человек. [1] Он никак не допустил меня переехать в гостиницу, уверяя, что он давно уже знаком со мною, а с старым знакомым не церемонятся, и потому он арестует меня до приискания помещения, которое у него есть уже в виду, в доме друга его, придворного доктора Торсберга, у Каменного моста. У Эллизена есть сын (такой же красавец в мужчинах, как и в женщинах дочь), который служит в Иностранной же коллегии коллежским ассесором и весною должен ехать в Америку в звании секретаря посольства. Итак, волею-неволею, я должен прожить некоторое время в доме сумасшедших, и, признаюсь, несмотря на ласку и приветливость хозяина и на доказательства истинно братской дружбы Альбини, мужа и жены, я чувствую себя

не очень покойным и мысленно тревожусь каким-то смутным предчувствием: не суждено ли мне кончить петербургское мое поприще в том же доме, в котором я его начал? Впрочем, воля божия!

Утром явился я к одолжителю моему, старику Лабату, который встретил меня с восхищением и тотчас же пригласил обедать. Я отговаривался под разными предлогами, но напрасно. Упрямый уроженец Гасконии не выпустил меня из своего кабинета до самого обеда и не приказал сказывать о приезде моем ни старухе, жене своей, ни дочерям, из которых младшая, Катерина, сегодня именинница, желая неожиданно представить им меня пред самым обедом. Но вот наступил час этого обеда, и дамы вошли в гостиную; старик, оставив меня за ширмами, завел обо мне речь и с негодованием жаловался на мое неприбытие; дамы стали что-то говорить в мою защиту, как вдруг он, толкнув меня из-за ширм, «le voici votre grand flandrin! — вскричал он, — étouffez-le de vos embrassements!». Разумеется, дамы ахнули от удовольствия и буквально чуть не задушили меня своими объятиями. Странное дело: более года прошло с того времени, как мы расстались, и, следовательно, я должен был бы показаться им годом старее — вышло напротив: я помолодел для них пятью годами; они обошлись со мною как с двенадцатилетним ребенком и решительно взяли под свою опеку. Тем лучше! Скоро наехали гости, большею частью старые французские эмигранты: маркиз де Лаферте, за отсутствием графа Блакаса, поверенный в делах Людовика XVIII; граф де Монфокон, маркиз де Мастен, шевалье де Ла-Мотт, генерал ле Брен, знаменитый корабельный строитель, состоящий в нашей службе; гвардии капитаны: Шап де Растиньяк, граф де Бальмен, Дамас, граф де Местр, сочинитель прекрасной книги «Voyage autour de ma chambre», настоятель церкви Мальтийского ордена аббат Локман и другие; но из русских было только двое: я и прелюбезный молодой человек, Филипп Филиппович Вигель, с которым мы тотчас и познакомились. [1] Лабат живет в правом флигеле Михайловского замка, которого он при покойном государе был кастеланом. Теперь эта должность упразднена, и он, для проформы, переименован в смотрители Зимнего дворца с оставлением при нем всего жалованья и содержания.

Вскоре после обеда приехал Иван Петрович Эйнбродт, лейб-хирург императрицы Марии Федоровны, не поспевший к обеду по служебным своим занятиям при дворе; меня тотчас же ему представили, и я не знал, как выразить ему благодарность за его хлопоты и заботы о моем определении. Это прекраснейший человек. Он женат на старшей дочери Лабата, вдове генерала Лукашевича, от которого у ней осталось двое детей: сын, оставивший службу и находящийся в деревнях своих, и дочь, воспитывавшаяся в институте и живущая у деда: девушка преумная и предобрая, но дурная собою и, к несчастью, тоскующая о том беспрерывно. Едва познакомились мы с ней — и как будто целый век были знакомы: она тотчас успела поверить мне свое горе и свои жалобы на природу, отказавшую ей в красоте. «Aimez moi un peu, monsieur, et je serai une tendre soeur pour vous; je ne puis être rien autre chose pour personne, car vous voyez, je suis si laide». Бедная Марья Лукинична!

Долго продержали меня добрые Лабаты, расспрашивая о том, о сем и давая такие подробные наставления насчет моего поведения, что, слушая их, я едва удержался от смеха. Они отпустили меня под одним только условием, чтоб всякий день у них обедать. Поздно возвратился я в свой дом сумасшедших, где радушный мой хозяин и милая Дарья Егоровна начинали уже о мне беспокоиться. Я успокоил их, сказав, что нанял славного извозчика по тридцати рублей в месяц и продержу его до тех пор, пока не узнаю сам всего Петербурга.

25 ноября, воскресенье.

Нынче слушал обедню у Спаса на Сенной. По окончании службы читан был манифест от 16-го числа о войне с французами. Удивительно, как пришелся кстати апостол: «Братие, облецытеся во вся оружия божия и шлем спасения восприимите и меч духовный, иже есть глагол божий» (ко Еффесеем зачало 233).

По рекомендации Эллизена, был у Торсберга и нанял квартиру в три комнаты с небольшою кухнею, по двадцати пяти рублей в месяц. Этот Торсберг человек замечательной наружности: лет пятидесяти, маленький, кругленький пузанчик, с такою открытою физио-

номиею, такой румяный и такого веселого нрава, что совсем не похож на доктора. Я начал с ним говорить по-немецки и очаровал его так, что он, кажется, готов был бы отдать мне квартиру даром, звал к себе по четвергам, объявив, что в этот день собираются у него приятели, бывает музыка, играют и поют, иногда танцуют, после ужинают и все проводят время чрезвычайно весело. Да, этот бесподобный Herr Doctor — сущая находка!

Альбини также наняли себе квартиру и почти насупротив дома Торсберга, так что из окошек моих видны окошки их квартиры. Послезавтра мы переедем каждый в свое гнездо, а завтра отправлюсь явиться к начальству.

26 ноября, понедельник.

Утром был у обер-секретаря Иностранной коллегии Ильи Карловича Вестмана; принял меня как нельзя благосклоннее, но пенял, отчего так долго не являлся я к должности, расспрашивал — чем занимался прежде и чем намерен заниматься теперь, хочу ли действительно служить или служить только для того, чтоб, как многие, за выслугу лет получать чины. Я отвечал, что занимаюсь литературою; я легко могу заниматься переводами, если нужно, и что желаю служить действительно, зачем и приехал в Петербург; иначе старался бы определиться в Московский архив. — «Да, — сказал он мне с усмешкою, — для переводов комедий Коцебу под дирекциею Малиновского». Я возразил, что и в Архиве Николай Николаич Бантыш-Каменский нашел бы дело желающему. — «Правда,— сказал он, — но дело-то Николая Николаича требует труда и усидчивости, а потому охотников на него не находится». Илья Карлович велел позвать экзекутора С. К. Константинова и поручил ему представить меня, когда явлюсь к должности, секретарю В. А. Поленову и познакомить с членами Казенного департамента, а между тем назначить и в дежурство. «Если же вы, по приезде, еще не устроились, — присовокупил Вестман, — так можете с неделю и не ходить в Коллегию». Я сказал, что с благодарностью воспользуюсь его предложением и употреблю несколько дней на обмеблирование квартиры и обзаведение себя всем нужным.

После обеда заезжал на короткое время к Лабатам. Нашел у них шталмейстера Ададурова с женою: сидели у камина, болтая всякий вздор. Звали с собою во французский театр, в котором имеют постоянную ложу, но я просил уволить меня до будущей недели от всякого развлечения. Анна Ивановна Ададурова, которой меня рекомендовали, молодая женщина, очень любезная и словоохотливая, приглашала к себе. — Хорошо, но прежде надобно осмотреться.

Купил мебель и посуду, всего рублей на полтораста, и перевез на квартиру, в которой завтра же и ночевать буду.

27 ноября, вторник.

Альбини непременно хотел меня представить знаменитому доктору лейб-медику Франку, который был его наставником в медицине и которого почитает он своим благодетелем.[1] Я согласился ехать с ним единственно в угодность ему, потому что знакомство с Франком ни к чему мне служить не могло, но между тем после чрезвычайно доволен был, увидев это замечательнейшее лицо в летописях современной медицины. Франку на вид около семидесяти лет, но какое прекрасное старческое лицо, какой умный и живой разговор! Он спросил меня, какими предметами наук я занимался в университете и не имею ли намерения продолжать занятия по какой-нибудь специальной части для составления себе карьеры. Этот вопрос смутил меня: п р е д м е т ы н а у к, с п е ц и а л ь н а я ч а с т ь! Этого никогда мне и в голову не приходило, и Франк, кажется, полагал, что говорит с н е м е ц к и м с т у д е н т о м. Однако ж, к счастью, мне пришло на мысль сказать, что я больше занимался словесностью, которую считал полезнейшею для избранного мною рода службы. Тут заговорил он о Гёте, Шиллере, директоре нашего Кадетского корпуса Клингере, Гуфланде и проч., исчислял их творения и кончил тем, что вместе с словесностью не худо бы заниматься и какою-нибудь специальною наукою, потому что одна словесность не составляет знания и не может развить в человеке способность мышления в степени, сообразной с требованиями современного просвещения. Ах! правда, правда, Herr Franck, и слава

богу, что вы не заметили, как я, слушая вас, краснел за свое невежество!

Все это пишу я в новой своей квартире, на новом столе, сидя на новом стуле и обмакивая новое перо в новую чернильницу. Словом, у меня все почти новое, даже и новые мысли; старого только и осталось, что полное чувства сердце да две физиономии моих челядинцев.

28 ноября, среда.

Заезжал в Коллегию и неожиданно встретился с пансионскими соучениками моими А. Н. Хвостовым и П. А. Азанчевским, которые также служат в Коллегии. Степан Константинович, по поручению Вестмана, представил меня Василью Алексеевичу Поленову, который уже знал обо мне от самого Вестмана и обещал дать занятие. Умный, прекраснейший человек! Потом рекомендовал экспедитору М. В. Веньяминову, предоброму и очень живому старику, который более сорока лет занимается одним и тем же: изготовлением кувертов для отправляемых бумаг и запечатыванием их. Эти куверты делает он мастерски, без ножниц, по принятому в Коллегии обычаю, и поставляет в том свою славу. «Вот, батюшка, — сказал он мне, — милости-ко просим к нам: выучим тебя делать кувертики, выучим на славу». Потом Степан Константинович повел меня в так называемый Департамент казенных дел и представил членам, действительным статским советникам Н. В. Яблонскому, приставу при грузинских царях и царицах; Маркову, занимающемуся составлением книги «Всеобщий стряпчий»; контролеру Ф. Д. Иванову, высокому, худощавому старику в рыжем парике, состоящему церковным старостою при одной из церквей, об украшении которой заботится он непрестанно, и, наконец, казначею статскому советнику Борису Ильичу Юкину, страстному любителю ружейной охоты. Все это узнал я почти тотчас от моего разговорчивого вожатого и частью от них самих, потому что все они, кажется, добрые, простосердечные люди и любят поговорить; очень обласкали меня.

У входа в Секретную экспедицию, в которой давно уже нет никаких секретов, заметил я сторожа, худощавого и невысокого роста старика, обвешенного медалями. Посмотрев на него, я удивился,

что в его лета волосы у него черны, как смоль. «А сколько, слышь ты, дашь ему лет?», — спросил меня экзекутор. — «Я полагаю, — отвечал я наобум, — что ему должно быть лет под 70». — «Эх-ма, слышь ты, далеко за 90! Государя Петра I помнит. Ты потолкуй с ним: учнет, слышь ты, рассказывать, что твоя книга». — «Уж, конечно, батюшка Степан Константиныч, потолкую, да еще и как!». Это такая пожива, какие нашему брату встречаются не всякий день!

Я назначен в дежурство надворного советника И. А. Лазарева, вместе с переводчиком Н. И. Хмельницким и М. И. Кусовниковым. Скучно тем, что надобно ночевать в Коллегии.

29 ноября, четверг.

Обедал у Лабата. Он, сверх страсти своей к гостеприимству, имеет еще и другое качество — быть отличным знатоком поваренного искусства. Все кушанья приготовляются у него по его приказаниям, от которых повар не смеет отступить ни на волос. Эти кушанья так просты, но так вкусны, что нельзя не есть, хотя бы и не хотелось. Александр Львович Нарышкин, величайший гастроном своего времени, отзывался о его cuisine bourgeoise, что она несравненно вкуснее затейливой и прихотливой собственной его кухни. Граф Монфокон — ежедневный гость за столом Лабата. Он очень полюбил меня, особенно за то, что я не большой охотник до Вольтера, которого он ненавидит, приписывая его учению бедствия своего отечества. Старики любят поспорить, да и все семейство, кажется, от того не прочь, кроме внучки, которая мало мешается в горячие споры.

Вечером были во французском спектакле. Давали Мольерова «Дон-Жуана», переложенного в стихи Томасом Корнелем, и маленькую оперку «La Maison à vendre». Я удивился совершенству, с каким играли актеры: какие таланты и какой ансамбль! Дюран, Каллан, Деглиньи, Дюкроаси — это первоклассные артисты. Какая естественность и как говорят стихи — прелесть и только! В опере участвовали актеры Андриё, Сен-Леон, Клапаред, Флорио, Меес и актрисы Филлис-Андриё и сестра ее Филлис-Бертен. Вот это так спектакль! Бог даст, пообживусь, буду попристальнее следить за

французскими спектаклями. У мадам Филлис-Андриё отличный голос, но, сверх того, какая очаровательная актриса!

30 ноября, пятница.

Сегодня объявлен манифест о милиции.[1] Благодарение богу! Все наконец объяснилось, и против общего врага приняты меры сильные и действительные. В Коллегии толкуют об огромных пожертвованиях, которые все состояния в Петербурге изъявляют готовность принести в дар отечеству. Я воображаю, что́ по получении сего манифеста произойдет в Москве и какие толки произведет он в Английском клубе! Кого-то выберут начальствующим московской милициею: это очень любопытно знать. Там столько старых, отличных екатерининских генералов: граф А. Г. Орлов, князь А. А. Прозоровский, князь Ю. В. Долгорукий, Марков и проч. А богачи московские? За ними-то уж, верно, дело не станет: если они так щедры и податливы там, где эти качества не могут иметь достойной оценки, то как, воображаю, распояшутся они теперь, когда этой щедрости потребует от них общественная нужда и сохранение славы отечества.

В ожидании служебного занятия я только и делаю, что знакомлюсь с своими сослуживцами, и нынче больше часа протолковал в Казенном департаменте о всячине, в которой, разумеется, важнейшим предметом были Бонапарте и его дерзостные покушения против России. Но бог весть каким образом от Бонапарте перешли мы вдруг к троянской войне. Не знаю, почему-то сделалось известно, что я, studiosus, пишу стихи, и, следственно, должен быть смыслящ в древней истории. «До сих пор понять не могу распределения чинов греческой армии, — говорил Федор Данилович Иванов, — замечаю в ней бо́льшую неурядицу и отсутствие всякой субординации; вижу, например, что Агамемнон был главнокомандующим, то-есть в роде нашего фельдмаршала, следовательно прочие, как то: Ахиллес, Аяксы, Диомед, Улисс, должны были как будто быть корпусными или дивизионными командирами, а между тем они своего фельдмаршала ни во что не ставят, особенно этот забияка Ахиллес, который называет его публично пьяницей; да я бы тотчас же велел

его заметать дротиками, коли ружья не были еще выдуманы. Растолкуйте, пожалуйста, отчего все это происходило?». На этот вопрос я решительно не нашелся, что отвечать, и, к предосуждению своей учености, предоставил другим собеседникам разрешить недоумение доброго контролера. Мне сказывали, что троянская война в мирное время всегда была главным предметом рассуждений членов Казенного департамента, в который приходил ежедневно ораторствовать переводчик В. А. Викулин, сын богатого откупщика Викулина, прозванный гамбургскою газетою.

Возращаясь из Коллегии, встретился с Кистером, который преблагополучно поживает здесь с мадам Штейнсберг и квартирует вместе с Гебгардом. Он хотел зайти ко мне рассказать многое о здешнем немецком театре и вместе узнать, что делается у немцев в Москве. Буду рад, потому что одному иногда бывает скучно, а надоедать Альбини и Лабату беспрерывными посещениями как-то совестно, хотя они не только желают, но даже требуют, чтоб я как можно чаще был у них.

На днях думаю представиться Державину с моим «Артабаном». Великий поэт в эпоху губернаторства своего в Тамбове был дружен с дедом моим, который, после увольнения от должности вятского губернатора, жил в тамбовской деревне и, любя чтение, был одним из усердных поклонников певца Фелицы.

1 декабря, суббота.

Утро просидели у меня немцы. Кистер привел Гебгарда, который чрезвычайно был рад познакомиться со мною и принес поклон от жены своей, бывшей мамзель Штейн, доброй моей приятельницы. Они рассказали мне всю подноготную о здешнем немецком театре и зазвали в сегодняшний спектакль. Проводив их, я пошел обедать в гостиницу «Лондон», на углу Невского проспекта и Адмиралтейской площади, и познакомился там с князьями Вадбольскими, братьями В. П. Муромцевой, жены теперешнего содержателя московской немецкой труппы. Они отлично играют на бильярде. После сытного обеда, за который заплатили по 2 р. 50 к. с персоны, мы отправились вместе в немецкий театр. Давали «Kabale und

Liebe». Гебгард играл Фердинанда, Кудич — президента, Борк — Вурма, Брюкль — музыканта, мадам Эвест — жену его, мамзель Лёве — леди Мильфорт, а мадам Гебгард-Штейн — Луизу. Последнюю в роли Луизы я видел уже в Москве; она попрежнему превосходна, если еще не превосходнее. Вся пьеса была обставлена и разыграна мастерски. Не говорю о Гебгарде: роль Фердинанда лучшая из его ролей; но как хорошо, естественно играла мадам Эвест! какой талант у этого Борка для представления таких хладнокровных злодеев, каков Вурм! с какою величавостью и достоинством играла эта полногрудая красавица мамзель Лёве — право загляденье! Я вышел из спектакля вполне очарованный и талантами актеров и ансамблем всей пьесы и спешил передать сделанное на меня ими впечатление милой своей Schwester Dorchen, которая покамест сидит одна, занимаясь уборкою нового своего жилища: муж начал ездить по своим больным.

2 декабря, воскресенье.

Сегодня, наконец, бог привел увидеть государя. Сколько дней ходил я всюду, чтоб где-нибудь встретить его, и никак не удавалось, но зато нынешний день насмотрелся на него вдоволь. Какая величавая наружность, какой красавец, и ко всему этому, — какая душа! Я увидел его в то время, когда он с парада изволил идти гулять на Дворцовую набережную, и следовал за ним в некотором расстоянии; когда же, дойдя до Троицкого моста, он оборачивался назад, я отходил в сторону и не спускал с него глаз; он два раза останавливался и благосклонно изволил разговаривать с какими-то генералами. . . что за ангельское лицо и пленительная улыбка!

Когда, за обедом, я объявил семейству Лабата, что видел государя, оно было в восхищении. Эти добрые люди так ему преданы, так его любят, что не могут иначе говорить о нем, как с величайшим восторгом и почти со слезами. «Кроме того, что он примерный государь, — говорят они, — но вместе и благодетель наш, и если мы имеем средства жить, так этим всем ему обязаны». Я недавно в Петербурге, а уж не от них одних слышу подобные отзывы о благости государя.

4 декабря, вторник.

Нынешнюю ночь я ночевал на дежурстве в Коллегии, и оттого в дневнике моем будет пропуск. Я предполагал провести эту ночь скучно и неловко, но вышло напротив: товарищи мои, Кусовников и Хмельницкий, ребята славные и веселые; последний большой любитель литературы, много читает и занимается сам переводом трагедии «Зельмира», но жалуется, что плохо идет: не ладит с рифмами. Я узнал от него, что он сын того Хмельницкого, который сочинил книгу «Свет зримый в лицах», и что известный Эмин, автор комедии в стихах «Знатоки», женат на родной его сестре и находится теперь губернатором в Выборге.[1] Рад сердечно; c'est une connaissance à cultiver.

Получил письмо от своих и от Петра Ивановича, который продолжает и без меня жить у нас и обещается не оставлять моих до тех пор, покамест его не прогонят; следовательно, он останется надолго. Пишет, что сестры очень тупы и ленивы и вместо того, чтоб слушать логику и риторику, забавляются, болтая с ним всякий вздор. Я узнаю милых сестриц моих, да что до того? Ведь не всем же быть барышнями Скульскими и Извековою.[2]

5 декабря, среда.

Был у Державина — и до сих пор не могу придти в себя от сердечного восхищения. С именем Державина соединено было все в моем понятии, все, что составляет достоинство человека: вера в бога, честь, правда, любовь к ближнему, преданность к государю и отечеству, высокий талант и труд бескорыстный. . . и вот я увидел этого мужа,

кто, строя лиру,
Языком сердца говорил![3]

Сильно билось у меня сердце, когда въехал я на двор невысокого дома на Фонтанке, находящегося невдалеке от прежней моей квартиры в Доме умалишенных. Вхожу в сени с «Артабаном» подмышкою и спрашиваю дремавшего на стуле лакея: «Дома ли его высокопревосходительство и принимает ли сегодня?». — «Пожалуйте-с»,—

отвечал мне лакей, указывая рукою на деревянную лестницу, ведущую в верхние комнаты. — «Но, голубчик, нельзя ли доложить прежде, что вот приехал Степан Петрович Жихарев, а то, может быть, его высокопревосходительство занят». — «Ничего-с, пожалуйте; енарал в кабинете один». — «Так проводи же, голубчик». — «Ничего-с, извольте идти сами-с, прямо по лестнице, а там и дверь в кабинет, первая налево». Я пошел или, скорее, поплелся; ноги подгибались подо мною, руки тряслись, и я весь был сам не свой: меня била лихорадка. Взойдя наверх и остановившись пред стеклянною дверью, первою налево, завешенною зеленою тафтою, я не знал, что мне делать — отворять ли дверь или дожидаться, покамест кто-нибудь случайно отворит ее. Я так был смешан и так смешон! К счастью, явилась мне неожиданная помощь в образе прелестной девушки, лет 18, которая, пробежав мимо меня и, вероятно, заметив мое смущение, тотчас остановилась и, добродушно спросив: «Вы, верно, к дядюшке?», — без церемонии отворила дверь, примолвив: «Войдите». Я вошел. Старец лет 65, бледный и угрюмый, в белом колпаке, в беличьем тулупе, покрытом синею шелковою материею, сидел в креслах за письменным столом, стоявшем посредине кабинета, углубясь в чтение какой-то книги. Из-за пазухи у него торчала головка белой собачки, до такой степени погруженной в дремоту, что она и не заметила моего прихода. Я кашлянул. Державин — потому что это был он — взглянул на меня, поправил на голове колпак и, как будто спросонья зевнув, сказал мне: «Извините, я так зачитался, что и не заметил вас. Что вам угодно?». Я отвечал, что по приезде в Петербург я первою обязанностью поставил себе быть у него с данью того искреннего уважения к его имени, в котором был воспитан; что он, будучи так коротко знаком с дедом, конечно, не откажет и внуку в своей благосклонности. Тут я назвал себя. «Так вы внук Степана Данилыча? Как я рад! А зачем сюда приехали? Не определяться ли в службу?— и, не дав мне времени отвечать, продолжал, — если так, то я могу попросить князя Петра Васильича (Лопухина) и даже графа Николая Петровича (Румянцева)». Я объяснил ему, что я уже в службу определен и что ни в ком и ни в чем покамест надобности не имею,

кроме его благосклонности. Он стал расспрашивать меня, где я учился, чем занимался, какое наше состояние и проч., и, когда я удовлетворил всем его вопросам, он, как будто спохватившись, сказал: «Да что ж вы стоите? садитесь». Я взял стул и подсел к нему. «Ну а это что у вас за книга?». Я отвечал, что это трагедия моего сочинения «Артабан», которую я желал бы посвятить ему, если только она того стоит. «Вот как! так вы пишете стихи — хорошо! Прочитайте-ка что-нибудь». Я развернул моего «Артабана» и прочитал ему сцену из 3-го действия, в которой впавший в опалу и скитающийся в пустыне царедворец Артабан поверяет стихиям свою скорбь и негодование, пылая мщением. Державин слушал очень внимательно, и, когда я перестал читать, он, ласково и с улыбкою посмотрев на меня, сказал: «Прекрасно. Оставьте, пожалуйста, трагедию вашу у меня: я с удовольствием ее прочитаю и скажу вам свое мнение». Я был в восторге, у меня развязался язык, и откуда взялось красноречие! Я стал говорить о его сочинениях, многие цитировал целиком; рассказал о знакомстве моем с И. И. Дмитриевым, о его к нему послании, начинающемся так: «Бард безымянный, тебя ль не узнаю», которое прочитал от начала до конца; распространился о некоторых московских литераторах, особенно о Мерзлякове и Жуковском, которые были ему вовсе неизвестны; словом, сделался чрезвычайно смел. Державин все время слушал меня с видимым удовольствием и потом, несколько призадумавшись, сказал, что он желал бы, чтоб я остался у него обедать. Я объяснил ему, что с величайшим удовольствием исполнил бы его волю, если б не дал уже слова обедать у прежнего своего хозяина, доктора Эллизена. «Ну, так милости просим послезавтра, потому что завтра хотя и праздник, но у нас день невеселый: память по Николае Александровиче Львове». Я поклонился в знак согласия. «Да прошу вперед без церемонии ко мне жаловать всякий день, если можно. Ведь у вас здесь знакомых, должно быть, немного».

И вот я послезавтра буду обедать у Державина! Напишу о том к своим. Боюсь, что не поверят моему благополучию. Воображаю, что скажет Петр Иванович и как вырасту я в его мнении.

6 декабря, четверг.

Слушал обедню в церкви Николы морского, в которой сегодня храмовый праздник. Литургию совершал митрополит Амвросий с синодальными членами: преосвященными псковским Иринием и иверским Мефодием. Какая величавая наружность у митрополита, какой рост и какая осанка! Служит просто, но с большою важностью. Меня поразил придворный протодьякон Алексей Григорьевич Воржский, приглашенный на сегодняшнее служение по случаю праздника. Что у него за голос — вообразить себе нельзя, и какое мастерское произношение! верное, чистое, ясное; всякое слово выкатывалось жемчугом, а еще более меня удивило то, что при чтении евангелия он соблюдал надлежащую интонацию, делал ударения на тех словах, которые для большего уразумения того требовали, и возвышал или понижал голос сообразно смыслу возглашаемой речи. Он при дворцовой церкви считается по старшинству в пятых, но по достоинству — первый. У старшего протодьякона Ивана Александровича голос еще сильнее, но не обработан; он также велик ростом и еще дороднее Воржского, но не имеет ни этой благородной осанки, ни этого необыкновенного мастерства в чтении. Воржский, как рассказывал мне после обедни дьячок Иван Филиппович, — очень не глупый человек, — привезен сюда ярославским архиереем Павлом, бывшим синодальным членом; преосвященный любил великолепие церковной службы и сам сформировал как Воржского, так и отличных певчих, из которых многие взяты в придворный певческий хор.

7 декабря, пятница.

К Гавриилу Романовичу приехал я, по назначению, в 3 часа. Домашние его находились уж в большой гостиной, находящейся в нижнем этаже, и сидели у камина, а сам он, в том же синем шелковом тулупе, но в парике, задумчиво расхаживал по комнатам и по временам гладил головку собачки, которая, так же как и вчера, высовывалась у него из-за пазухи. Лишь только я успел войти, как он тотчас же представил меня своей супруге Дарье Алексеевне: «Вот, матушка, Степан Петрович Жихарев, о котором я тебе

говорил. Прошу полюбить его: он внук старинного тамбовского моего приятеля». Потом, обратившись к племянницам, продолжал: «Вам рекомендовать его нечего: сами познакомитесь». И тут же совершенно переменив вчерашний учтивый со мною тон, с большею живостью начал говорить об «Артабане». — «Читал я, братец, твою трагедию и, признаюсь, оторваться от нее не мог: ну, право, прекрасно! Да откуда у тебя талант такой? Все так громко, высоко; стихи такие плавные и звучные, какие редко встречал я даже у Шихматова». Я остолбенел: мне пришло на мысль, что он вздумал морочить меня. Однако ж, думаю: нет, из-за чего бы ему, Державину, говорить мне комплименты, если б в самом деле в трагедии моей не было никаких достоинств? Я отвечал, что с малолетства напитан был чтением священного писания, книг пророческих и его сочинений, что едва только выучился лепетать, как знал уже наизусть некоторые его оды, как то: «Бога», «Вельможу», «Мой истукан», «На смерть князя Мещерского» и «К Фелице», что эти стихотворения служили для меня лучшим руководством в нравственности, нежели все школьные наставления. Кажется, он остался очень доволен моим объяснением.

За обедом посадили меня возле хозяйки, которая была ко мне чрезвычайно ласкова и внимательна. «Пожалуйста, бывайте у нас чаще; мы всякий день обедаем дома и по вечерам никуда почти не выезжаем. Будьте у нас, как у родных». Державин за столом был неразговорчив; напротив, прелестные племянницы его говорили беспрестанно, мило и умно. Племянников не было, а мне очень хотелось познакомиться с ними. Старший Леонид служит в Иностранной коллегии и недавно приехал из Мадрида, где он был при посольстве. Но время не ушло.

После обеда Гаврила Романович сел в кресло за дверью гостиной и тотчас же задремал. Вера Николаевна сказала мне, что это всегдашняя его привычка. «А что это за собачка, — спросил я, — которая торчит у дядюшки из-за пазухи, только жмурит глаза да глотает хлебные катышки из руки дядюшкиной?». — «Это воспоминание доброго дела, — отвечала мне В. Н. — К дядюшке ходила по временам за пособием одна бедная старушка, с этой со-

бачкой на руках. Однажды зимою бедняжка притащилась, окоченевшая от холода, и, получив обыкновенное пособие, ушла, но вскоре возвратилась и со слезами умоляла дядюшку взять себе эту собачку, которая всегда к нему так ласкалась, как будто чувствовала его благодеяние. Дядюшка согласился, но с тем, чтоб старушка получала у него по смерть свою пансион, который она и получает, только она, по дряхлости своей, не ходит за ним, а дядюшка заносит его к ней сам, во время своих прогулок. С тех пор собачка не оставляет дядюшку ни на минуту, и если она у него не за пазухой или не вместе с ним на диване, то лает, визжит и мечется по целому дому». При этом рассказе у меня навернулись на глазах слезы— и я не стыдился их, потому что, по словам его же, неистощимого и неисчерпаемого Державина,

Почувствовать добра приятство
Такое есть души богатство,
Какого Крез не собирал![1]

Покамест наш бард дремал в своем кресле, я рассматривал известный портрет его, писанный Тончи. Какая идея, как написан и какое до сих пор еще сходство! Мне хотелось видеть его бюст, изваянный Рашетом и так им прославленный в стихотворении «Мой истукан», но он, по желанию поэта, находился наверху, в диванной его супруги:

А ты, любезная супруга,
Меж тем возьми сей истукан,
Спрячь для себя, родни, для друга
Его в серпянный свой диван.[2]

Проснувшись, Гаврила Романович опять, между прочим, повторил предложение дать мне на всякий случай рекомендательные письма к князю Лопухину и к графу Румянцеву и даже настоял на том, чтоб я к ним представился. «Князь Лопухин, — сказал мне Гаврила Романович, — человек старинного покроя и не тяготится принять и приласкать молодого человека, у которого нет связей; да и Румянцев человек обходительный и покровительствует людям талантливым и ученым. Правду молвить, и все-то они (разумея министров) большею частью люди добрые; вот хоть бы

и граф Петр Васильич, хотя и не может до сих пор забыть моего Беатуса.[1] Да как быть!».

Я откланялся, обещая бывать у Гаврила Романовича так часто, как только могу, и конечно, сдержу свое слово, лишь бы не надоесть.

8 декабря, суббота.

В. А. Поленов дал мне работу. Я думал и бог весть какая важность, ан гора родила мышь: перевести два листика с французского! Я тут же перевел в один присест, да и бумага-то не заключает в себе ничего интересного. После ушел в любезный Казенный департамент болтать о троянской войне. Борис Ильич, однако, настоящий Немврод: узнав, что и я такой же охотник, как он сам, и что еще недавно охотился в Липецке, он с любопытством расспрашивал меня о всех подробностях, касающихся до охоты в нашем краю: какие в нем места для стрельбы — болотистые, гористые или кустарники, есть ли реки и озера, какого сорта больше дичь, какой породы у меня подружейные собаки, и проч. И когда я обстоятельно рассказывал ему, что есть болота и кустарники, реки и озера, что всякой дичи бездна: куликов, дупельшнепов, вальдшнепов и гаршнепов, что диких гусей и уток миллионы и, сверх того, множество дичи степной: кроншнепов, драхв, стрепетов и журавлей, что у меня две собаки, которых хотя и кличут дураками, но в сущности это первые собаки в свете для всякого дела, — Борис Ильич ахал от удивления и, наконец, всплеснув руками, с горестью вскричал: «Хоть бы один денек поохотился в таком раю, а то ведь, не поверите, возьмешь коллежский катер, поедешь на взморье, таскаешься, таскаешься, да и убьешь чирка. Вот, сударь, наше положение!».

Познакомился с Васильем Михайловичем Федоровым, автором драмы «Лиза, или следствие гордости и обольщения». Он служит в Коллегии надворным советником. У него свой домик в Мещанской, недалеко от моей квартиры. Сказывал, что знаком со всеми почти русскими актерами и особенно с Яковлевым; звал к себе и обещал с ним познакомить.[2]

Между разговорами Федоров сделал замечание, которое показалось мне новым и чрезвычайно основательным: «Литераторы и даже простые любители литературы, — сказал он, — как масоны, узнают друг друга по какой-то особенности, которая их характеризует. Ничто не сводит так скоро и так коротко людей, как поклонение музам. Вот, например, мы с вами только что познакомились, а как будто уже давно вместе жили. Я не могу разъяснить, отчего это происходит: от одних ли и тех же вкусов и наклонностей и одинакового воззрения на предметы, но есть что-то таинственное, что влечет одного литератора к другому; разумеется, бывают исключения, но они редки».

9 декабря, воскресенье.

Ездил сегодня с визитом к Анне Ивановне Ададуровой и попал очень кстати, потому что она именинница. К ней наехало множество знакомых с поздравлениями и, между прочим, прелестная Катерина Петровна Воеводская с мужем, толстая графиня Морелли, по первому браку Байкова, с дочерью, полковник Протасов, который считается у Ададуровых домашним другом, семейство Лазаревых и проч. Хозяйка приняла меня очень ласково и тотчас же рекомендовала Воеводской, единственной особе в этом обществе, которой я желал быть представленным. Алексей Петрович, муж хозяйки, человек очень добрый и тихий, приглашал меня на вечер, но я, не давая слова, только что откланивался: разумей как знаешь. Он большой охотник до нюхательного табаку, и я заметил, что знает в нем толк, потому что долго и с важностью толковал об искусстве стирать его. «Всякое дело мастера боится, — подумал я, — если шталмейстер такой же знаток в лошадях, как и в табаке, то конюшенная часть при дворе должна быть в порядке».

Обедал у Лабата с графом Монфоконом и Ф. Ф. Вигелем. Зашла речь о французских трагиках. Старый эмигрант утверждал, что после Корнеля и Расина первое место по справедливости принадлежит Кребильону и что его «Радамист» несравненно выше всех трагедий Вольтера; но Вигель, опровергая его мнение, доказывал, что все трагедии Вольтера, за исключением написанных им в глубо-

кой старости, превосходят не только другие трагедии Кребильона, но и самого «Радамиста», в котором роль Фарасмана — слабая копия с Расинова «Митридата». Слово за слово завязался такой горячий спор, что мы не знали куда деваться. По какому-то безотчетному чувству, я не очень люблю Вольтера, но в настоящем случае, по мнению моему, Вигель совершенно прав. Несмотря на молодость свою, он очень сведущ во французской литературе, знает французский язык в совершенстве и пишет на нем свободно.

10 декабря, понедельник.

Наконец успел побывать и в русском театре. Давали «Эдипа», в котором роль Эдипа играл Шушерин, Тезея — Яковлев, Креона — Сахаров, Полиника — Щеников, Антигону — Семенова. Шушерин восхитил меня чувством и простотою игры своей. Как хорош он был во всех патетических местах своей роли и особенно в сцене проклятия сына! Он играет Эдипа совершенно другим образом, нежели Плавильщиков, и придает своей роли характер какого-то убожества, вынуждающего сострадание. Во всей первой сцене второго действия с дочерью он был, по мнению моему, гораздо выше Плавильщикова. Раздумье о настоящем бедственном положении, воспоминание о невольных преступлениях и обращение к Киферону — все эти места роли исполнены им были мастерски, с горестною мечтательностью, живо и естественно, но в сценах с Креоном Плавильщиков, как мне показалось, играл с бо́льшим достоинством. [1] О Яковлеве можно сказать то же, что Карамзин сказал о Лариве: э т о ц а р ь н а с ц е н е. Кажется, что природа наделила его всеми возможными дарами, чтоб занимать первое место на трагической сцене. Какая мужественная красота, какая величавость и какой орган! Но роль Тезея едва ли должна быть по сердцу знаменитому актеру: она слишком ничтожна для этой великолепной натуры. Семенова прелестна; в первой раз в жизни удается мне видеть в актрисах русской сцены такое прекрасное явление: молода, красавица и играет с большим чувством. Щениковым я недоволен: выученная кукла, на фандарах, и не производит никакого впечатления, но Сахаров — актер опыт-

ный: дикция верная, голос ясный, на сцене как дома и стихи произносит мастерски.

Спектакль кончился прелестным дивертисментом. Прежде танцевали pas de trois танцовщик Дютак с танцовщицами Сен-Клер и Новицкою, в турецких костюмах, живо, быстро, восхитительно. За ними появились в pas de deux балетмейстер Дидло — Апполоном и воспитанница Иконина — Дианою. Этот Дидло признается теперь лучшим современным хореографом в Европе, но по наружности своей он, верно, последний. Худой, как остов, с преогромным носом, в светлорыжем парике, с лавровым на голове венком и с лирою в руках, он, несмотря на искусство, с каким танцевал свое pas, скорее был похож на карикатуру Апполона, чем на самого светлого бога песнопений. Зато Диана — так уж настоящая Диана: какой чудесный стан, какая возвышенная грудь, какие приемы и какая грация! Но так как совершенства на свете нет, то и грация Дианы — Икониной показалась мне несколько холодновата: никакой игры и жизни в физиономии. Наконец, pour la bonne bouche, танцовщик Огюст с знаменитою Колосовою попотчевали публику русскою пляскою под музыку и напев хором песни: «Я по цветикам ходила». . . Нечего сказать, очаровательно! Колосова исполнена грации одушевленной и безыскусственной:

Ступит ли ножкой,
Кивнет ли головкой,
Вздернет ли плечиком —
Словно рублем подарит!

Огюст красавец: настоящий русский парень, с умной очаровательной физиономией. Я узнал от сидевшего возле меня в партере чиновника Папина, повидимому страстного любителя театра и знакомого с артистами, что настоящая фамилия Огюста — Пуаро и что он родной брат знаменитой некогда актрисы мадам Шевалье, бывшей любовницы графа Кутайсова.[1] Папин прибавил, что Огюст в эпоху славы сестры своей был таким же добрым малым, как и теперь, и чрез посредство сестры успел оказать бескорыстно многим действительные услуги. Он очень любим всеми.

11 декабря, вторник.

Обедал у Гаврила Романовича. Это не человек, а воплощенная доброта; ходит себе в своем тулупе с Бибишкой за пазухою, насупившись и отвесив губы, думая и мечтая и, повидимому, не занимаясь ничем, что вокруг его происходит. Но чуть только коснется до его слуха какая несправедливость и оказанное кому притеснение, или, напротив, какой-нибудь подвиг человеколюбия и доброе дело — тотчас колпак набекрень, оживится, глаза засверкают, и поэт превращается в оратора, поборника правды, хотя, надо сказать, ораторство его не очень красноречиво, потому что он недостаточно владеет собою: слишком горячится, путается в словах и голос имеет довольно грубый, но со всем тем в эти минуты он очень увлекателен и живописен. Кажется, что мое чтение ему понравилось, потому что он заставлял меня читать некоторые прежние свои стихотворения и слушал их с таким вниманием, как будто бы они были для него новостью и не его сочинения. Меня поразило в нем то, что он не чувствовал настоящих превосходных красот в своих стихотворениях, и ему нравились в них именно те места, которые менее того заслуживали.

Гаврила Романович настоял, чтоб я непременно представился с рекомендательными его письмами князю Лопухину и графу Румянцеву; эти письма дал он мне за открытыми печатьми, которые очень ловко смастерил кривой его секретарь. Я вижу такие печати в первый раз в жизни и, право, не понимаю, для чего они делаются. Спрошу у М. В. Веньяминова, который должен обстоятельно знать все, что касается до пакетов и печатей, потому что все прочее для него трынь-трава.

12 декабря, среда.

Нынешний день, по случаю дня рождения государя, в Казанском соборе был большой съезд всех властей и чинов, к которым присовокупилось огромное стечение народа. Такая была давка и духота, что многим делалось дурно, и некоторых выводили и выносили. Благодарственное молебствие совершено с коленопреклонением. Митрополит читал молитву так внятно и явственно, что

во всех концах церкви было слышно, может быть, и оттого, что вместе с коленопреклонением вдруг водворилась глубокая, необыкновенно торжественная тишина: всякий ловил каждое слово молитвы, заключавшей в себе прошение о здравии государя и о даровании ему победы над проклятым зажигою — Бонапарте. В молебствии участвовал опять Воржский и при возглашении многолетия, возвышая постепенно голос, на последних словах «многая лета», кончил таким громовым восклицанием, что удивил всех.

После обедни ходил взглянуть на вновь строящийся архитектором Воронихиным огромный собор. Здание будет великолепное: подражание собору св. Петра в Риме. Воронихин был дворовый человек графа Строганова, за талант отпущен им на волю и записан в службу; он строил для государя Павла Петровича Михайловский замок, в два с небольшим года достиг до чина надворного советника, а теперь уже коллежский. Один из его помощников, которого я случайно встретил, сказывал, что новый собор должен достроиться года через четыре и что мог бы готов быть и прежде, если б не останавливал недостаток в деньгах, по случаю военных обстоятельств.[1]

13 декабря, четверг.

Человек располагает — бог определяет! Хотел было сегодня утром ехать представиться князю Лопухину, а вечером быть на вечеринке у своего хозяина, но сильно простудился и не попал ни туда, ни сюда. У князя Лопухина побывать успею, но что подумает Торсберг, на ласковое приглашение которого я не явился? Впрочем, я написал ему записку по-немецки, и он может сам меня освидетельствовать. Альбини уверяет, что если я не выеду и не объемся чего-нибудь, то дня через три болезнь пройдет сама собою. Дай бог! Одному сидеть скучно. Принялся читать «Ossian's und Sined's Lieder».[2]

14 декабря, пятница.

Граф Монфокон навестил меня: приходил узнать, что со мною делается и отчего не видать меня в п а в и л ь о н е, то есть, у Лабатов. Спасибо ему за посещение, а пуще за разные рассказы о д о б-

ром старом времени во Франции. Он был некогда неизменным посетителем французского театра, коротко знал Лекеня, Бризара, Превиля, Моле, Монвеля, актрис Дюмениль, Клерон и Дюкло, которой был, кажется, счастливым обожателем. Монфокон предобрый человек, но все принимает к сердцу, всему придает какую-то важность, говорит всегда так, как будто сердится, и оттого говорит дурно. Сколько я заметить мог, это недостаток всех знатных эмигрантов, которых упорные характеры раздражены несбывшимися надеждами и продолжительным несчастием: они не терпят противоречия. Впрочем, мой граф Монфокон, как ни спутанно говорит, но умел объяснить мне все придворные и закулисные интриги своего времени. Я узнал от него весь тогдашний Париж с его временщиками и временщицами, с его любезностью и легкомыслием, с его талантами и отсутствием здравого смысла.

15 декабря, суббота.

П. О. Вейтбрехт, оставивший на время службу в Коллегии и определившийся в канцелярию генерала Татищева, учрежденную по случаю формирования милиции, сказывал, что там с часу на час ожидают известия о сражении, которое граф Каменский предполагал иметь с французами. Говорят, что старый фельдмаршал поклялся не уступать Бонапарте ни шагу, хотя бы армия его была вдвое многочисленнее нашей. Но больному не до политики, да и нечего загадывать преждевременно: что произойдет, узнаем в свое время из официальных объявлений.

Гебгард с Н. И. Хмельницким попотчевали меня анекдотами. Первый, между прочим, рассказывал о проделках актрисы мадам Дальберг с своими покровителями, как, например, умела она заставить покровителя своего № 1, С. С. П., платить за подарки, делаемые ей покровителем № 2, Б.; а сей давал жалованье и содержание ее покровителю № 3, Л. Это прекрасный сюжет для комедии. Хмельницкий же морил меня со смеху, рассказывая об одном сановнике, который некогда имел большую значительность и с необыкновенною добротою души и ничем не возмущаемым хладнокровием соединял страсть говорить афоризмами. Он принимал многочислен-

ных просителей своих весьма приветливо, выслушивал их терпеливо, но никогда не мог объясниться с ними положительно и всегда оставлял их в недоумении. Например, одному заслуженному чиновнику, ходатайствовавшему о пенсии, он никак не мог сказать просто, что пенсия ему назначена, но на вопрос старика, не последовало ли милостивой резолюции на его просьбу и что он надеется на просимую милость, сановник отвечал: «Надежда доставляет человеку истинные радости, а иногда и большие огорчения».— «Но, ваше превосходительство, я служил верою и правдою и мне кажется, что имею некоторое право утруждать вас; иначе у меня недостало бы на это духа». — «Когда недостает духу поддерживать право свое, оно навсегда потеряно». — «Так неужели, ваше превосходительство, я так несчастлив, что мне отказано, и как должен я судить об этом отказе?». — «Судить о том, чего мы не знаем, есть большое заблуждение». — «Следовательно, ваше превосходительство, можете обещать мне исполнить мою просьбу?». — «Люди обещают по своим намерениям и держат обещания по обстоятельствам. . .».

В другой раз, прочитав просьбу одной очень богатой провинциальной вдовы, которая добивалась какого-нибудь почетного звания, для того чтоб открыть роскошный дом и, как выражалась она, покормить Петербург, он спросил ее: какого же именно звания она желает? — «Да мне хочется быть при дворе, — отвечала вдова, — например, хоть бы фрейлиною». — «Фрейлиною?» — возразил озадаченный сановник, но потом спохватившись, сказал: «Впрочем, на милость образца нет».

Вот настоящий дипломат!

16 декабря, воскресенье.

Послезавтра Альбини обещал выпустить меня из клетки, и я мысленно наслаждаюсь будущею моею свободою; теперь же покамест довольствуюсь и тем, что некоторые знакомые не оставляют посещать меня. Не знаю, как узнал старый соученик мой, Левандовский, что я в Петербурге и занемог, и тотчас же навестил меня. Он большой приятель с Анастасевичем, плохим переводчиком «Федры», который живет почти против меня, и предлагал познакомить с ним,

но я не хочу заводить большого знакомства, пока не пообживусь в Петербурге.

Я посылал отыскать знакомца моего, живописца Т. Ф. Дурнова, [1] который так заинтересовал меня в прошедшем году в Липецке хвастовством своим. Он явился сам, с возвратившимся человеком, и мы оба взаимно друг другу обрадовались — он, вероятно, потому, что нашел случай перед кем прихвастнуть, а я, с своей стороны, потому что в теперешнем болезненном моем одиночестве такой человек, как он, сущий клад. Сказывал, что пишет картину, которой сюжетом «Убиение младенцев».* «Это не картина, а чудо! — говорил он, — наглядеться нельзя, не оторвешься от ней; три фигуры: мать, ребенок и воин, но как исполнены — уж не Пуссену чета!». Между прочим, рассказывал, что живописцы Егоров, Шебуев и Боровиковский занимаются изготовлением образов для Казанской церкви. «Да что, — примолвил он, — плохо дело подвигается. Вот кабы поручили нашему брату, так мы бы им показали, как должно писать иконы; а между тем дай-ка я спишу с вас портрет: такой сделаю, что и на Вандика после смотреть не захочешь». Любезный Рафаэль— Дурнов просидел до 9 часов вечера, выпил дюжины две чашек чаю и оставил меня с сожалением, обещая возвратиться скоро и потолковать о портрете.

17 декабря, понедельник.

Приходил Александр Васильевич Приклонский с разными вестями. В канцелярии министра и в Коллегии толков и разговоров не оберешься по случаю полученного известия, что граф Каменский 13-го числа вдруг отказался от командования армиею и, сдав ее старшему по себе генералу Беннигсену, уехал самопроизвольно в какое-то местечко, а между тем неприятель в виду, и сражение должно было произойти на другой день. Все недоумевают о причине такого непонятного и неслыханного поступка, который можно отнести только к внезапному помешательству; да иначе и толковать

* Эта картина находится в Академии художеств — и точно хороша. *Позднейшее примечание.*

его нельзя, потому что невозможно подумать, чтоб граф Каменский, оставший меч Екатерины, булат обдержанный в боях,[1] как назвал его Державин, бежал с места сражения. Если б даже и подлинно, как предполагают, граф Каменский имел несчастие узнать, по неосторожности одного из подчиненных ему генералов, о недоверчивости государя к его распоряжениям, по случаю преклонности его лет — недоверчивости, столь естественной в настоящих важных обстоятельствах, — то и тогда бы следовало ему не сетовать, а по-суворовски доказать противное, разбив наголову Бонапарте и аггелов его.[2]

18 декабря, вторник.

Сегодня в первый раз вышел на воздух, прогулялся по тротуарам и затем отдохнул у своих соседей, которых не знаю как благодарить за нежные попечения о моем сиротстве. Хотел начать свои выезды, но Альбини уговорил отложить их до завтра, причем Schwester Dorchen премило напомнила мне о русской пословице: «береженого бог бережет».

А между тем в городе носятся слухи, что сражение с французами происходит, если уже не произошло, и с часу на час ожидают курьера с обстоятельным донесением государю. Помоги бог!

Что за прелестные вещи нашел я в «Sined's Lieder»! Маленькая поэма «Die October-Nacht», по мнению моему, ни в чем не уступает поэмам оссиановым: то же воображение, та же неопределенность образов, и если дозволено так выразиться, та же привлекательная заоблачность. Прекрасно! Но я уверен, что Sined не понравился бы положительному нашему Алексею Федоровичу. Впрочем, о вкусах спорить нельзя: он и «Артабана» моего назвал, как я предчувствовал, барабаном и ахинеею, а между тем Гаврила Романович его хвалит.

19 декабря, среда.

Выезд мой как нельзя более удачен и счастлив: всюду радость, и на всех веселые лица. Курьер из армии прибыл и привез известие о победе, одержанной генералом Беннигсеном при Пултуске, на другой же день отъезда графа Каменского из армии. Сражение было

кровопролитное. Французы дрались храбро, напирали отчаянно, но мы устояли и победили. Конечно, потеря в людях и с нашей стороны велика, но зато французов легло вдвое более. Илья Карлович говорит, что дело, однако ж, не кончено, и Беннигсен не остановится на этой победе, а пойдет вперед. Что будет, то будет; по крайней мере мы дали себя знать, и первый блин не комом!

За обедом у Лабата старый иезуит аббат Пенгелли, пользующийся общим уважением и домашний друг дюка де Серра Каприола, [1] сказывал, что есть слухи, будто бы в Париже не очень спокойно и ежедневно открывают сношения роялистов с некоторыми тамошними капиталистами, но что министр полиции Фуше, который все знает, не обо всем и не о всех сообщает Бонапарте, во избежание огласки, а довольствуется только безгласным унижением замыслов королевской партии. Потому думают, что Фуше едва ли не бьет на всякий случай на обе руки.

20 декабря, четверг.

Гаврила Романович спрашивал меня: был ли я у князя Лопухина и графа Румянцева, и на ответ мой, что, по болезни, быть еще не успел, сказал: «Экой ты братец! Да поезжай к ним и особенно к князю; только снорови к нему утром, часу в десятом; я предуведомил его, и он рад будет принять тебя». Завтра поеду.

За обедом А. В. Казадаев — кажется, директор или командир Горного корпуса — очень умный, знающий и начитанный человек, сказывал, что есть положительные сведения из Сибири о нахождении там вновь золотой руды, почти на поверхности земли, в виде песка, и что места, где руда эта находится, давно уже известны местным жителям, но они содержат их в тайне не только от начальства, но и от самих купцов, производящих с ними меновую торговлю, единственных людей, имеющих сношения с отдаленными братскими народами.

Да, у хозяина моего вечера превеселые! Много хорошеньких, миловидных немочек и молодых людей, очень порядочных, из которых многие были расфранчены в пух. Что касается до собратий эскулаповых, то были некоторые из самых именитейших. Я по-

встречал лейб-медиков Фрейганга и Бека, докторов Симпсона, Рюля, Сутгофа, Штофрегена и др.; более всех мне пришлись по сердцу Штофреген и глухой Сутгоф: в этих людях много учености и еще более добродушия. Несмотря на свое значение, они совсем не на ходулях, как бо́льшая часть таких людей, которым неожиданно улыбнулось счастье. Штофреген уроженец рижский; он здесь один из первых последователей Месмера и хотя негласно, но пользует иных больных посредством магнитизма.

Пожилые люди занимались игрою в бостон, а молодые бренчали на фортепьяно и пели французские романсы и немецкие песни. Последние напомнили мне Москву и много потраченного даром времени. Я слушал их, не отходя от фортепьяно, пока не ударило 11 часов и все не пошли за ужин, от которого я отказался, под предлогом недавнего выздоровления, и вот в одинокой своей келье записываю на сон грядущий:

«Едва ли не даром еще прожитый день!»

21 декабря, пятница.

В 10-м часу явился я к князю П. В. Лопухину. Меня впустили без доклада, потому что, кажется, и всех без доклада принимали. Какой-то молодой человек подошел ко мне с вопросом: «Что вам угодно?». — «Ничего, — отвечал я, — хочу только вручить его светлости вот это письмо от Г. Р. Державина». Юноша предложил мне отнести письмо к князю, но, увидев, что оно за открытою печатью, спохватился и сказал, что князь занимается с директором Салтыковым и экспедиторами Столыпиным и Ниловым, но чрез полчаса будет свободен, и тогда он обо мне доложит. Я покамест сел на истертый, вероятно, просителями, диван и прождал около часу. По выходе директора с экспедиторами, молодой человек побежал доложить обо мне и, тотчас же возвратившись назад, объявил мне с улыбкою и чрезвычайно ласково, что князь просит меня приехать к нему в час пополудни. Я отправился покамест в Коллегию и ровно в час был опять в той же приемной зале. Вскоре меня пригласили в кабинет министра. Князь сидел на диване, опершись обе-

ими руками на стол и поддерживая ими голову — прекрасную голову мужчины лет 55 с чем-нибудь, и читал книгу, кажется, французскую энциклопедию. Я подал ему письмо, которое, прочитав и положив на стол, «садись, братец, — сказал он, — что делает Г. Р. и давно ли ты знаком с ним?». Я рассказал ему историю нашего знакомства и прибавил, что я никогда бы не осмелился беспокоить его светлость, если б Г. Р. настоятельно того не потребовал. «Почему ж и не так? — сказал он. — Да ты определился уж куда-нибудь?». Я отвечал, что определился в Иностранную коллегию. «Похлопочи, чтоб тебя перевели в канцелярию министра, а то в Коллегии столько вас, что ни до чего не добьешься». — «Но у меня нет никакого случая», — сказал я. — «Да, нечего таить греха, — молвил он со вздохом, — без случая всегда и везде плохо». Тут доложили ему о приходе какого-то толстенького г. Розенкампфа, который и вошел вслед за докладчиком, раскланиваясь и прижимая к груди шляпу. Князь, кажется, был рад его приходу, потому что, сколько я заметил, едва ли он не тяготился мной. Я встал и стал откланиваться. «Княгиня моя по утрам только выезжает, — сказал он, отпуская меня, — а по вечерам всегда бывает дома. Приходи, я познакомлю тебя с ней».

Воспользуюсь милостивым приглашением при случае, но теперь что могу сказать о князе-министре, кроме того, что я никого не встречал в его лета с такими прекрасными, правильными чертами лица и что он снисходительно принимает даже и тех людей, которые, не имея к нему никаких определенных отношений, ни надобности, попали в кабинет его, может быть, не совсем во-время?

Одна комиссия сошла с рук; остается представиться графу Румянцеву, но этот подвиг можно отложить и до праздников.

23 декабря, воскресенье.

Третьего дня был у человека, который, повидимому, равнодушен ко всему, ни в чем не принимает участия и у которого на прекрасном лице как будто напечатано немецкое «abgelebt». Смотря на него, я думал, как должно быть тяжело тому, кому все наскучило!

И вот сегодня встретился с человеком таких же лет, но совершенным его антиподом: живой, пламенный ученый, но применивший ученость свою к практике, необыкновенно здравомыслящий и одаренный таким простым русским красноречием, что я невольно его заслушался. Этот человек — врач Осип Кириллович Каменецкий, похожий фигурою и даже образом изъяснения на нашего Невзорова. Гаврила Романович очень уважает его, и не мудрено: кажется, у них свойства одинаковые — любят истину и не боятся ее выражать всякий по-своему.[1]

В числе утренних посетителей у Гаврила Романовича находился возвратившийся из чужих краев Дмитрий Иванович Павлов, человек очень достаточный и принадлежащий по службе к обер-егермейстерскому ведомству. Он принят прекрасно в доме Д. Л. Нарышкина, своего начальника, и особенно на половине Марьи Антоновны. Он заговорил о заграничной жизни и о ее удобствах, о дешевизне мануфактурных произведений и жизненных припасов, о ловкости служителей и, между прочим, довольно резким тоном стал утверждать, что для него всегда странно казалось смотреть на огромное количество дворовых слуг, которые составляют принадлежность домашнего быта не только наших бар, но и самых небогатых помещиков, что это совершенно бесполезная роскошь и что достаточно, как это бывает в чужих краях, двух или трех человек для услуг самого богатого дома. К этому присовокупил он, что давно бы пора приняться за ум: ввести у нас такой же порядок и уничтожить всю эту дворню, которая съедает половину доходов наших. «А позвольте вам сказать, — возразил Каменецкий, — не напрасно ли вы слишком вооружаетесь против этой многочисленной прислуги наших помещиков? Дворня ваша составлена не вами, а вашими предками, и вы наследовали ее от них вместе с их привычками и вкусами, с их образом жизни и даже, большею частью, образом их мыслей. Этот образ жизни как прежде был основан на местных условиях, так остался и теперь. Иному кажется, что наступило другое время, что свет изменился, люди тоже, а ничего не бывало: и время и люди сходны меж собою. Настоящие русские помещики, не исключая и вас, такие же, какими они были за сто лет назад,

за исключением, может быть, некоторых понятий, которые, с постепенным и неприметным развитием образованности, должны были необходимо измениться в них. Давным-давно придумывают средства, как бы уменьшить дворню и даже совсем освободиться от нее, но до сих пор еще ничего не придумали. Граф Ф. Г. Орлов, который был, что называется русская здоровая голова, говорил: „Хотите, чтоб помещик не имел дворни, сделайте, чтоб он не был ни псовым, ни конским охотником, уничтожьте в нем страсть к гостеприимству, обратите его в купца или мануфактуриста и заставьте его заниматься одним — ковать деньги“. Скажут, что можно быть псовым и конским охотником и гостеприимным хозяином без того, чтоб не прислуживали вам двадцать человек, — справедливо, но тогда вы должны будете прибегнуть к найму специальных людей, которых количество хотя будет и втрое меньше, но содержание их будет стоить втрое дороже, а сверх того, что они не могут представить никакого обеспечения в своей исправности, куда девать своих? обратить в крестьян, завести фабрику? С первым способом будет сопряжено насилие, и оно не удастся, потому что эти люди понатерлись около вас, более или менее образованы по вашей мерке, охотно за соху не примутся, и употребить их в такую работу, к которой они не чувствуют ни склонности, ни способности и которую почитают для себя унижением, — жестоко и несправедливо. Фабрики же не помещичье дело и редко могут быть выгодны для купца. Да и зачем вам жаловаться, что вас съела дворня? Пусть ест: чем у вас ее больше, тем больше к вам уважения: это вывеска, что живете не для одного себя, а кормите и поите других. Не походить же вам на англичан, у которых только и правил, что взаимные услуги: служишь — плачу тебе; отслужил — со двора долой. Эх-ма! За службу сына корми отца и за службу отца воспитывай сына, а то всё фабрики да заведения, глядишь — и разорился: ни фабрик, ни заведений! За двумя зайцами не гонятся: либо дворянин, либо купец — что-нибудь одно».

Прав или не прав почтенный Осип Кириллович, я определять не берусь, но во всяком случае спасибо ему за урок молодцу, который сам обойтись не может без двух камердинеров, десятка офи-

циантов и лакеев и двух десятков конюхов, псарей, доезжачих и охотников, что и составляет его заслуги по егермейстерской части. Не спорю, что заводить многочисленную дворню тому, у кого ее нет, было бы безрассудно, но если она уже есть — как быть! Сноси терпеливо сопряженные с нею невыгоды за те выгоды, которые она тебе доставляет.[1]

24 декабря, понедельник.

Сегодня обрадован я был встречею с земляком моим П. Н. Кобяковым. Он служит здесь в Военной коллегии и несколько занимается театральною литературою. Добрый малый! Я зазвал его к себе на чашку чаю, и мы натолковались вдоволь. Он сказывал, что очень знаком со всеми русскими актерами, особенно с Воробьевым и семейством Самойловых, для которых перевел французскую оперку «Les Amants Protées» под названием «Оборотни»; все арии в этой опере переводил для него, в кратковременную здесь бытность, А. Ф. Воейков. Кобяков признался, что стихов писать вовсе не умеет и просил меня перевести для него несколько арий из какой-то новой оперы, которую он намерен отдать своим приятелям для их бенефиса, а за эту услугу обещал познакомить меня с ними. Это, что называется, загребать жар чужими руками, но делать нечего — земляку помочь надобно.

Чем более я вглядывался в Кобякова, тем более находил в нем сходства с отцом его, который находится в такой связи с рязанским нашим магогом Л. Д. Измайловым, что во время бывающих у него оргий имеет право садиться к нему на колени и говорить ему ты; такой же маленький и кругленький, такой же охотник переливать из пустого в порожнее и в разговорах обыкновенно так же растопыривает пальцы. Он очень любит рассуждать о театре, в который ходит ежедневно даром. Сказывал, что Воробьев отличный певец, музыкант и актер, особенно в операх, переведенных с итальянского, и что терпеть не может музыку таких опер, как «Новое семейство», «Федул с детьми», «Два охотника»[2] и проч., называя ее английскою музыкою; по словам его, Воробьев человек очень невоздержный, но невоздержность не мешает ему исполнять свою

обязанность рачительно и добросовестно, потому что в тот день, когда играет, он ничего не пьет, кроме воды, и никого к себе не пускает. Кобяков прибавил, что русская пословица: «пьян да умен —два угодья в нем», как будто нарочно сложена для Воробьева.

25 декабря, вторник.

Вот мои сегодняшние утренние визиты: был у Державина, князя Лопухина, Ададурова, Вестмана, Эллизена, А. И. Корсакова и князя Дондукова-Корсакова; к Будбергу нечего было и ездить: он не принимает; старичка своего Лабата поздравил у него за обедом, у А. И. Корсакова пробыл более часу, потому что он преблагосклонно позволил мне полюбоваться бесподобною своею картинною галереею. Какие сокровища! Он совершенный знаток в картинах; между прочим, сказал, что бóльшая их часть приобретена им за бесценок при разных случаях, как то: иногда у незнающих охотников, а иногда у менял и даже на рынках у продавцов всякой ветхой рухляди.

В кабинете у него я заметил пяльцы с вышитым по канве изображением богоматери. Мне показалось искусство необычайным; точно миниатюрная живопись. Я думал, что это работа какой-нибудь дамы, но А. И. объявил мне, что в свободное время он вышивает сам и очень любит это занятие. Я изумился и едва мог поверить, чтоб этот почтенный человек мог быть такой великий искусник на женские рукоделья; однако ж за обедом у Лабата Иван Петрович Эйнбродт подтвердил мне справедливость слов его и при этом рассказал, как это необыкновенное искусство его в вышиванье однажды было поводом к очень забавному недоразумению. Алексей Иванович поднес ее величеству императрице Марии Феодоровне вышитую картину своей работы, которая могла назваться чудом искусства и терпения. Императрица, не думая, чтоб такое превосходное шитье могло быть делом мужчины и особенно таких лет, каких был Корсаков, приняла эту картину за приношение которой-нибудь из ближних его родственниц и, по доброте души своей, благоволила послать ему, в знак своего удовольствия, бриллиантовые

серьги. Анекдот распространился с разными прибавлениями и комментариями, но дело было так, а не иначе.

26 декабря, среда.

С удовольствием читал высочайший рескрипт Пашкову за уступку дома на Моховой для помещения театра.[1] Старику это будет приятно, а с ним вместе порадуются и хлебосолы Ренкевичевы. Несмотря что я далеко от Москвы, сердце невольно прыгает от радости при всяком добром известии из Белокаменной, и вообще все, что до нее касается, возбуждает во мне какое-то неизъяснимо живое участие. Москва мне родина, но сделалась больше, чем родина, потому что в ней научился я мыслить и чувствовать. Люди родятся дважды: физически и нравственно; в последнем отношении я уроженец московский.

А каков мой Снегирь-Nemo?[2] Получил от него предлинное и премилое письмо, которым, между прочим, извещает, что в прошедшую субботу, 22-го числа, он ездил во французский спектакль единственно в мое воспоминание и для того, чтоб сообщить мне что-нибудь о московском театре, и, к счастию, попал, как он выражается, на казус. Давали «La Petite Ville» Пикара и «Les Fausses confidences». Первая пьеса прошла благополучно, но в последней произошла сумятица за кулисами по случаю драки двух участвовавших в пьесе актеров. Престрашная оплеуха, полученная Девремоном, раздалась на весь театр, произвела смятение в актерах, и пьеса доиграна была кое-как от несвоевременного выхода задорных персонажей на сцену.

Земляк мой, Кобяков, принес мне либретто итальянской оперы «Impressario in Angustio» и просит перевести в ней все арии, а речитативы берется перевести сам прозою. Чудак! речитативов во всей опере, по обычаю итальянцев, не наберется и трех страниц, а все действие заключается в пении, то-есть ариях, дуэтах, терцетах и огромном финале, составляющем почти половину всей пьесы. Это уж не игрушка, а работа. Постараюсь от ней избавиться, но едва ли успею. Малыш Кобяков говорит, что Воробьев и Самойлов будут сами о том просить меня.

27 декабря, четверг.

Во французском спектакле видел «Лодоиску»: отлично обставлена, и музыка прекрасная. Тирана играет Андрие, любовника — Сен-Леон, Лодоиску — мадам Бертен, а татарина Титзикана — Меес. Последний великолепен, всем взял: фигурой, игрою и голосом — таким огромным, но приятным басом, что заслушаешься. Гунниус, конечно, один из лучших театральных басов в Европе, но с Меесом не может идти в сравнение. Конечно, последний поет только французскую музыку, а каково бы он спел партии Ассура, Зороастра, Лепорелло или Хоразмина — еще неизвестно, но как бы то ни было, Меес певец отличный, а как актер — нечего и говорить! Арию с хором:

Sachez que les Tartares
Ne sont barbares
Qu'avec leurs ennemis,

пропел он увлекательно, и публика была в восхищении. В игре этого человека пропасть энергии, да, сверх того, он и комик отличный. Сен-Леон, молодой певец и актер, очень приятной наружности и голос имеет симпатический. Он из хорошей дворянской фамилии и приехал сюда за мадам Бертен, в которую был влюблен страстно. Теперь, говорят, эта страсть угасла, и он возвращается к семейству, как только кончится срок контракта. Но мадам Бертен не останется вдовою, и место его при ней занимает, если уж не занял, капельмейстер Боельдье, сочинитель прелестной музыки «Багдадского калифа», а на сцене заместит его какой-то Жозеф.[1] В начале спектакля давали Мольерову комедию «Les Précieuses ridicules», в которой Фрожер в роли слуги, переодетого барином, заставлял хохотать до слез. Это актер преуморительный. Правда, он играл несколько карикатурно, но что до того, если и самая роль не что иное, как карикатура? Театр был полон. В антрактах я глядел на ложи первого яруса и очень был рад увидеть красавицу Марью Антоновну: она несколько полна, но что за ангельская голова и какие роскошные плечи! . .[2]

28 декабря, пятница.

Заходил к Петру Александровичу Рахманову, приехавшему сюда с намерением вновь вступить в военную службу. «Надоело, — говорит он, — таскаться по чужим краям; запасшись знаниями, надо приложить их к делу». Очень умный человек и гораздо умнее, чем показался он мне прежде, когда встретил я его в первый раз в Москве у К. А. Муромцевой. Тогда рассуждал он о всевозможных предметах, начиная с математики, специальной его части, до музыки и даже танцев, так определительно и свысока, что поневоле должно было принять его за педанта, желающего блеснуть своими сведениями; теперь нахожу, что если говорит он много, так это потому, что очень откровенен и сообщителен. Нашел у него еще одного нашего москвича, В. Ф. Вельяминова-Зернова, с которым Рахманов покамест от нечего делать переводит оперу «Орфей», музыка сочинения Глука, от которой он в восторге. Я выразил ему свое удивление, что такой великий математик занимается операми и любит музыку. «Что вы говорите! — отвечал он, — да я природный музыкант и сам сочиняю симфонии и квартеты, а вот сочинил и балет»,— и с этим словом указал он мне на претолстую тетрадь с нотами. «Ну, — подумал я, — теперь после таких двух примеров, как Рахманов и наш Гаврило Иванович Мягков, математик-арфист, бесполезно утверждать, что математики не могут быть музыкантами и даже поэтами». Вельяминов-Зернов служит по министерству юстиции, но жалуется, что почти не имеет занятий и не получает никакого жалованья. Он малый очень неглупый и со сведениями, но, кажется, стеснен обстоятельствами. [1]

Математик-музыкант, в продолжение разговоров своих, попал на одну идею, которая поразила меня своею справедливостью. «При начале всякой карьеры, — сказал он, — молодому человеку надобно заботиться только о том, чтоб у г а д а т ь с в о е п р и з в а н и е. Попал он в свою колею — дело сделано и, несмотря на все препятствия, он непременно достигнет своей цели; в противном случае, батюшка, ни ваши таланты, ни ваши протекции ничего не сделают: получишь чинок-другой, а все-таки кончится тем, что

поедешь в Саратовскую губернию planter vos choux или порскать под гончими и хлопать арапником».

29 декабря, суббота.

Граф Румянцев настоящий министр: какая осанка и вежливая обходительность, как говорит красноречиво и умно! Он обворожил меня своим милостивым приемом, спрашивал о моем воспитании, о настоящих занятиях, о знакомстве с Гаврилом Романовичем и кончил тем, что дозволил мне, в случае перемены обстоятельств или намерений моих на счет службы, обратиться к нему и что он тогда не откажет мне в своем содействии. Я вышел из приемной залы совершенно им очарованный. Графу Румянцеву не более 55 лет и, если судить по бюсту отца его, который я видел у И. И. Дмитриева, то он должен быть очень похож лицом на героя кагульского.

Дожидаясь выхода министерского в аудиенц-залу, я с любопытством рассматривал толпу окружавших меня чиновников, между которыми заметил директора графской канцелярии Ф. П. Львова, родственника Гаврила Романовича, и экспедитора П. А. Словцова, известного необыкновенными своими способностями. В одном чиновнике узнал я Панина, который с такою благосклонностью рассказывал мне в театре об Огюсте и мадам Шевалье. Он подошел ко мне и очень снисходительно разговорился со мною. Сказывал, что служит в канцелярии графа столоначальником, и спрашивал, какую я имею до графа надобность. Я объяснил ему, что собственно не имею никакой, но что Г. Р. Державину угодно было, чтоб я представился графу. Он удивился. «Так почему ж, — сказал он, — Г. Р. не поручил Львову представить вас? Он пользуется благосклонностью графа и сам обязан местом своим рекомендации Гаврила Романовича». Между прочим, Панин рассказал мне, что он рекомендован графу П. С. Молчановым, и, узнав от меня, что я также был несколько знаком с ним в Москве, сообщил мне о скором его приезде сюда, по окончании возложенных на него исследований о злоупотреблениях в Псковской и Саратовской губерниях, и что, вероятно, он при первом удобном случае получит какое-ни-

будь важное назначение, потому что князь Куракин и граф Румянцев, имея большое доверие к его способностям и знанию дел, успели обратить на него внимание государя.[1] Он присовокупил, что экспедитор Словцов старинный приятель как ему, так и М. М. Сперанскому, потому что они, как изъяснился Панин, в с е о д н о к а ш н и к и.

30 декабря, воскресенье.

Кобяков, приходивший за своими ариями, сказывал, что на театре разучивают новую трагедию Озерова «Дмитрий Донской». Говорит, что это произведение гениальное и является очень кстати в теперешних обстоятельствах, потому что наполнено множеством патриотических стихов, которые во время представления должны произвести необыкновенный эффект. Кобяков говорил, что в трагедии участвуют все лучшие актеры и что Яковлев в ней особенно превосходен. Я не очень доверяю знанию и вкусу моего земляка, но, быть может, он и прав. Посмотрим это чудо драматической поэзии.

Гаврила Романович хотел на этих днях представить меня А. Н. Оленину и О. П. Козодавлеву. «Тот и другой, — сказал он, — очень добрые люди. Первый имеет много должностей, очень занят и обязан беспрестанно выезжать, но зато жена домоседка и очень любезная женщина, радушно принимает своих знакомых ежедневно по вечерам. У них очень нескучно».

Гаврила Романович сказывал, что приятель и родственник его, В. В. Капнист, написав комедию «Ябеда», неоднократно читал ее при многих посетителях у него, у Н. А. Львова и у А. Н. Оленина, и когда в городе заговорили о неслыханной дерзости, с какою выведена в комедии безнравственность губернских чиновников и обнаружены их злоупотребления, Капнист, испугавшись, чтоб благонамеренность его не была перетолкована в худую сторону и он не был очернен во мнении императора, просил совета, что ему делать. «То же, что сделал Мольер со своим „Тартюфом“, — сказал ему Н. А. Львов, — испроси позволения посвятить твою комедию самому государю». Капнист последовал совету — и все толки умолкли.[2] Те же самые люди, которые сначала так сильно вооружились против Капниста, вдруг переменили свое мнение и стали находить комедию

превосходною. «Ябеда» была представлена на театре в бенефис актера Крутицкого, который отлично выполнил роль председателя. Г. Р. прибавил, что, конечно, комедия Капниста очень живо представляет взяточников, эту язву современного общества, но в последствиях совершенно бесполезна и, к сожалению, не обратит их на путь истинный.

Не постигаю пристрастия Державина к Боброву. Я читал и читаю его с величайшим вниманием, стараясь отыскать в нем что-нибудь, что бы затронуло душу — ничего, решительно ничего! Воображение не только что мрачное, как у Юнга, но какое-то беспорядочное, и в картинах не нахожу никакой верности. При утомительном многословии мыслей мало, правда, грому много, но этот гром театральный и не поражает. Вот уж можно сказать: много шуму из пустяков.

31 декабря, понедельник.

Набожный контролер наш Ф. Д. Иванов заметил, что день пултуской победы, 14-го числа, пришелся в день памяти св. шести мучеников Фирса, Аполлония, Левкия и проч., в который, по уставу церковному, поется следующий кондак: «Благочестия веры поборницы, злочестивого мучителя оплеваше, обличисте зверообразное его кровопролитие и победисте того яростное противление, христовою помощию укрепляемы». Странный случай! Этот кондак очень кстати обращен, быть может, к нашим воинам, участвовавшим в кровопролитной пултуской битве, как оставшимся в живых, так и павшим за отечество. Я сказал — случай, но, может быть, и не случай, а только нам так кажется.

Был в маскараде и в первый раз от роду видел такую многочисленную и блестящую публику. Кроме разнородных комически наряженных масок, танцевавших, прыгавших, дурачившихся и бесившихся напропалую, было много великолепно разодетых кадрилей, очень чинно расхаживавших и разговаривавших с некоторыми из сидевших в ложе дам. Мне очень понравилась одна женская маска, одетая разносчицею писем. Она интриговала очень многих и совала им в руки небольшие конвертцы, но, по замечанию моему, она об-

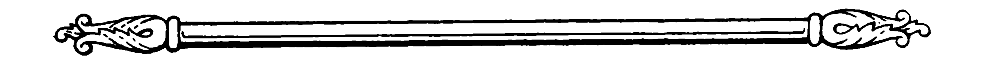
ращалась только к известным значительным особам, как то: Н. Н. Новосильцеву, ходившему об руку с князем Чарторижским, к генерал-адъютанту Уварову, которого я видел в Москве на празднике, данном князю Багратиону, Д. Л. Нарышкину и князю Салтыкову, которые, распечатав эти конвертцы, очень смеялись. Я подошел к маске и спросил ее, нет ли ко мне письмеца? Но она, посмотрев на меня, с досадою отвечала: «Vous êtes encore trop imberbe pour recevoir des lettres de qui que ce soit; quand vous aurez un peu plus de barbe et un peu moins de présomption, je vous en apporterai», и с последним словом показала мне кукиш. Нечего сказать, вострруха! вовсе не похожа на моих московских немок, с которыми встречал я в маскараде истекающий ныне год.

Я не дождался 12 часов, когда, обыкновенно, звуком труб и других духовых инструментов извещают о наступлении нового года, и поехал встретить его к Альбини, у которого застал семейную вечеринку и как раз попал к последнему двенадцатому удару державинского г л а г о л а в р е м е н. Поздравив Schwester Dorchen со всеми присутствующими бокалом шампанского и мысленно обняв всех своих вместе с тобою, мой возлюбленный, я предложил тост за здравие общего нашего благодетеля, и мы все хором возгласили:

Willkommen, neues Jahr!
Wir bringen fröhlich dar
Dir unsern Gruss.
Gewähr' uns Ruh und Glück!
Und Herz und Mund und Blick
Preis't jauchzend das Geschick
Und segnet dich.

Schütz Alexandern, Gott!
Wenn frech und wild ihn droht
Der Feinde Wuth:
Dann ziehe hoch und hehr
Vor Alexanders Heer
Dein guten Engel her
Und schlage sie!





1807-й год

1 января, вторник.

В наступившем году начинаю дневник мой календарным вступлением: «Благословиши венец лета благости твоея, господи!», начинаю им потому, что хотя и не очень давно живу на свете, но успел уже убедиться, что без благословения свыше никакое начинание, как бы оно мелко ни было, не будет иметь успеха.

Отслушав обедню в Казанском соборе и побывав с поздравлением у почтенного Ильи Карловича, я расположился провести целый день дома, но получил приглашение явиться в павильон к обеду и отказаться не смел. Эти добрые обитатели михайловского павильона лелеят меня как родного сына, и я, право, совещусь, что до сих пор не могу ничем доказать им моей признательности. Обед, по обыкновению, был веселый, то есть шумный; разговоры и споры не прерывались ни на минуту, и случись тут посторонний, незнакомый человек, он подумал бы, что дело идет о каком-нибудь важном происшествии в семействе, а между тем ничуть не бывало: дочери утверждали, что надобно к предназначенному балу перекрыть мебель, а старик доказывал, что этого вовсе не нужно; дочерей поддерживал патер Локман, а старика — граф Монфокон, и вот пошел дым коромыслом! Наконец спор кончился тем, что бывший кастелан, всплеснув руками, как будто с горестью воскликнул: «O mes filles, mes filles, vous mourrez sur du fumier!», и тут же, сделав плутовскую гримасу, объявил, что обойщик три дня назад принес материю, и если б не праздники, то мебель была бы уже обита заново. Вот это уж настоящая гасконнада!

В пылу всех этих пустых разговоров и споров удалось мне поймать у патера Локмана преумное его истолкование одного изречения, часто употребляемого в разговорах о внезапно обогатившихся людях: «Il a vendu son âme au diable», или по-русски: «он чорту душу продал». — «Эта поговорка, — сказал Локман, — имеет свое основание. Для приобретения богатства — говорю: богатства, а не обыкновенного достатка — необходимо иметь черствое сердце, широкую совесть и свойство не пренебрегать никакими средствами, противными правилам чести и доброй нравственности. Например, можно ли обогатиться собственным личным трудом? — никогда. Единственный результат, который человек может извлечь из личного труда, будет тот, что он не умрет с голоду, а если приобретет столько, чтоб иметь некоторые удобства в жизни, то это должно быть названо уже счастьем. Какие же средства к скорому приобретению богатства? Например, служить орудием развития порочных склонностей и возбудителем их, не то же ли, что продать душу чорту? Получить доходное место, брать взятки и употреблять во зло доверие правительства не значит ли так же продать душу чорту? Войти в подряды с казною, брать за поставляемые вещи или припасы низшего качества ту же цену, как бы они были высшего, подкупая приемщиков, разве не то же, что продать душу чорту? Наконец набогатиться отдачею денег в рост или чрезмерною скупостью, или обращением труда других в свою пользу, или угождением и потворством слабостям и страстям человеческим — не то же ли в самом деле, что продать душу чорту, то есть отступить от правил, предписываемых человеку учением христианским? Вот и настоящее значение этой поговорки, которая, как мне известно, существует у всех народов в одних и тех же выражениях».

Патер Локман, несмотря на то что великий спорщик, очень умный человек, и беседы с ним всегда более или менее поучительны.

2 января, среда.

У Державина нашел я великого Дмитревского, которому и был представлен в качестве трагика. Певец Фелицы заставил краснеть

меня похвалами моему «Артабану». «Прочитай, братец, — говорил он Ивану Афанасьевичу, — его трагедию — удивишься: я сам оторваться от нее не мог. Откуда только он выкопал такое происшествие, да и стихи такие гладкие, звучные и громкие, что право не подумаешь, чтоб это было сочинение 18-летнего мальчика. Дай-ка ему посозреть, так выйдет настоящий Бобров». Дмитревский тотчас же просил меня доставить ему удовольствие прослушать мою трагедию и назначил мне явиться к нему завтра утром. Не знаю, как благодарить Гаврила Романовича и чем могу заслужить его милости; я едва не плачу от восхищения. . .

Дедушка не прав, описав мне Дмитревского каким-то притворщиком. Конечно, у него манеры старинного придворного: такая же вежливость, и он также изъясняется отборными выражениями, но разве это худо? Мне кажется, вся сила в том, что дедушка из суфлерской дыры своей не мог изучить обычаев высшего общества и наблюдение светских приличий принял за притворство.

Наружность Дмитревского чрезвычайно живописна: сед как лунь, волосы зачесывает назад, черты лица имеет необыкновенно правильные, физиономию привлекательную и выразительную, глаза умные с поволокою, движения тихие и размеренные и ходит, от старости, сгорбившись. Он был чрезвычайно опрятно одет: в суконном коричневом кафтане французского покроя с стальными пуговицами, шитом шелковом жилете, в брыжжах и манжетах, словом, точно походил более на старого царедворца, чем на старого актера. Жаль, что голова у него беспрестанно трясется, но прожить 72 года в беспрерывных трудах и опасениях за себя и других — не безделка, поневоле затрясешь головою!

Ф. П. Львов, рассуждая с Дмитревским о его путешествии в Париж, спросил его, между прочим: справедливо ли, что он там играл на театре вместе с Гарриком и Лекеном? «Никогда, — отвечал он, — я не мог играть с Гарриком потому, что не знаю английского языка, а Гаррик необыкновенно дурно изъяснялся по-французски.[1] С Лекеном же мне играть не было возможности по той причине, что наши амплуа были одинаковы, и если я знал некоторые роли из французских трагедий, так это те же самые, которые играл и Лекен.

Впрочем, я не так был и самонадеян, чтоб состязаться с этими исполинами театрального искусства, и особенно с Лекеном, который был гений в своем роде. Конечно, и Гаррик был великий человек, но скорее комедиант, чем актер, то есть подражатель природе в обыкновенной нашей жизни, между тем как Лекен создавал типы персонажей исторических. Надобно было видеть Лекена в ролях Магомета, Танкреда, Оросмана, Замора и Эдипа-царя, чтоб постигнуть, до какой степени совершенства может быть доведено сценическое искусство, потому что вообразить себе этого нельзя. Лекен и мадам Дюмениль — это настоящие трагические божества, и в последней, если было менее искусства, то чуть ли еще не больше таланта».

3 января, четверг.

Едва только рассвело, как я уже был на ногах, чтоб бежать к Дмитревскому с моим «Артабаном». Но зачем ходил я к нему, окаянный? Все мечты мои, как хрусталь Альнаскара, разлетелись вдребезги, и я разженился с любимою моею идеею — видеть когда-нибудь «Артабана» на сцене; эту идею, бог ему судья, вселил в бедную мою голову Гаврило Романович, ангел доброты, но в этом случае демон-соблазнитель. Не беда, что пятимесячный труд мой невозвратно пропал, но беда в том, что я потерял доверенность к самому себе и к своему таланту и превращаюсь опять в переводчика и сочинителя разных дюжинных опер и пошлых арий. О weh, o weh!

В десять часов утра я был у нашего Росциуса, который принял меня необыкновенно ласково. Он был одет точно так же, как и вчера, и сидел в больших креслах. «Очень, очень рад, душа, — сказал он, — видеть вас и прослушать трагедию вашу. Садитесь сюда в кресла, а я посижу на диване, но прежде надобно запереться, чтоб нам не мешали». Он встал и запер дверь. «Ну, теперь начните, да читайте не торопясь: у нас времени много». Я начал читать, по наставлению Мерзлякова, громко, но Дмитревский остановил меня, примолвив: «Лучше потише, душа, а то устанешь». Я переменил тон и дошел до конца 1-го действия — и что ж? Дмитревский заснул! Я остановился, но он, вдруг очнувшись, вскрикнул: «Прекрасно!

Да на каком мы действии остановились?». При этом вопросе у меня опустились руки, и я хотел сложить тетрадь свою, но Дмитревский настоял, чтоб я продолжал чтение. Кое-как добрался я до конца пьесы и спросил сонного моего слушателя, что он о ней думает и может ли она быть представлена на театре. Дмитревский отвечал, что трагедия точно отличная и прекрасно написана, но что есть некоторые длинноты и уж слишком страшна, так страшна, что, по мнению его, з р и т е л и н е у с и д я т н а м е с т а х с в о и х; что она сделала бы огромный эффект на сцене французского театра, потому что французская публика скорее поняла бы и оценила ее красоты и великолепие стихов; что, конечно, экспозиция немножко растянута, сюжет развивается медленно, что заметна некоторая путаница в расположении сцен, а в развязке какая-то внезапность и что самые стихи можно бы смягчить и ближе применить их к характерам персонажей, но что, впрочем, все прекрасно, бесподобно, восхитительно!

Я обомлел от удивления, слыша от Дмитревского такие неопределенные похвалы вместе с такими ясными намеками на негодность моей трагедии и вспомнил слова дедушки. Господи боже мой! да из чего же было все это пустословие? — чтоб мне дать почувствовать, что мой «Артабан» никуда не годится. Эх-ма, старик! сказал бы напрямки — и дело с концом. А то: «все так прекрасно, что хоть плюнуть, и все так бесподобно, что хоть за окошко брось!». Но видно не я первый, не я и последний.

Чтоб не обнаружить пред стариком моего огорчения и не показать ему, что я понял его намеки, я не вдруг оставил его и завел речь о настоящем составе русской труппы. «Есть прекраснейшие сюжеты, — сказал он мне, — и с большими талантами. Советую посещать русский театр чаще: в трагедиях вы увидите Шушерина и Яковлева, которые могли бы назваться первоклассными актерами, если б не были избалованы нашею публикою и всегда старательно выполняли свои роли. Увидите молодую Семенову, которая подает большие надежды. Что касается до актеров комических, то мы имеем двух-трех человек таких, которые могли бы с честью стоять на ряду с лучшими комиками прежней французской сцены; например Рыка-

лов и Пономарев; первый в ролях à manteaux и в financiers превосходит даже Крутицкого, а последний — грим необыкновенный, потому что не карикатура, но естественен и отлично понимает свои роли; жаль только, что память начинает изменять ему. В операх первое место принадлежит Воробьеву: несмотря на утрату голоса, он настоящий буф, в роде итальянских буфов, только гораздо благороднее их и одарен удивительно сообщительною веселостью. Молодые Самойловы также очень хороши; очень жаль, что Самойлова не играет в комедиях: это была бы превосходная субретка, особенно в комедиях Мольера; живость в разговоре, свобода в телодвижениях, очень выразительная, простодушно-плутовская физиономия и необычайная естественность — все обличает в ней, что она могла бы быть великою комическою артисткою, а между тем она играет русалок и подобные роли, которые будут со временем гробом ее таланта. Да как быть? Всему свое время, и русалкам также!». Я спросил у Дмитревского, читал ли он новую трагедию Озерова. «Слышал ее два раза, — отвечал он, — и сверх того видел ее репетицию на сцене. Нечего сказать, трагедия прекрасная и так пришлась теперь кстати: много превосходных патриотических стихов, которые публика, конечно, не оставит применить к настоящим обстоятельствам. О трактации сюжета теперь рассуждать не время, поговорим после представления, когда поуменьшится общий интерес».

Дмитревский проводил меня до лестницы, взяв с меня слово не оставлять его моими посещениями. Но что в том прибыли? Эта учтивость не возвратит мне собственного моего уважения к моему таланту.

4 января, пятница.

Пожертвования на составление и в пользу милиции начались блистательным образом. Наши коренные вельможи и знатное духовенство показали достохвальный пример, и за ними последовали и продолжают следовать прочие состояния народа: все наперерыв спешат принести посильные дары свои отечеству, а иной возлагает на алтарь его и последнюю лепту, как, например, бедная актриса

старуха Вагнерова, жертвующая десятью рублями, то есть месячным своим жалованьем.

Вот список известным лицам, которые первые ознаменовали усердие свое щедрыми приношениями: в главе их митрополиты Амвросий — от Лавры 25 000 руб. и от новгородского архиерейского дома 20 000, а всего 45 000, и Платон 20 000 руб.; Александр Львович Нарышкин единовременно 10 000, ежегодно по 6000 и за 16 000 душ крестьян своих, не входящих в состав милиции, 32 000, а сверх того 4000 четвертей хлеба; супруга его, Марья Алексеевна — столовый серебряный свой сервиз и такой же туалет; Дмитрий Львович Нарышкин—10 000 руб. и 2000 кулей муки; граф А. С. Строганов — 40 000 руб.; граф Н. П. Шереметев — 20 медных пушек с лафетами и 2000 ружей; граф Безбородко — 10 000 руб.; граф Бобринский — 6000 руб.; А. Н. Оленин — 2000 руб. и 2 пушки со всеми снарядами; Н. П. Архаров — 10 000 руб.; действ. ст. сов. Ростовцев — 100 пудов свинцу; адмирал Балле — ежемесячно по 200 руб.; санкт-петербургское купечество — 135 000 руб.; московские актеры — 2400 руб.; балетмейстер Валберх — 500 руб.; здешние актеры и актрисы: Шушерин, Яковлев, Воробьев и Рахманов — по 200 руб.; Сахаров, Рыкалов, Щеников, Пономарев, Волков, Сахарова, Каратыгина и Семенова — по 100 руб.; фигурант Аблец — 100 руб.; Бобров, Прытков и Рожественский — по 75 руб.; Чулин, фигурант Иванов и Алексеева — по 50 руб.; Черникова — 30 и старушка Вагнерова — 10 руб.

5 января, суббота.

Чему посмеешься, тому и поработаешь: вот и наш Алексей Федорович, наконец, облепился. Петр Иванович прислал мне оду его на новый год по случаю пултусской победы,[1] к которой так и хочется применить стихи Ив. Ив. Дмитриева из пьесы его: «Чужой толк»:

Так громко, высоко, а все не веселит
И сердца, так сказать, ничуть не шевелит!

Готов держать заклад, что эта ода написана им по заказу, потому что от первого стиха: «Исполнилось, о весть златая!» и до послед-

него, один только набор слов, хотя, впрочем, набор мастера своего дела. Но другая ода на новый же год, Василья Колосова, начинающаяся так: «Хвала тебе, злодейств каратель!» есть нечто диковинное в своем роде: в ней лирик воспевает подвиги графа Каменского в пултусском сражении, между тем как он в нем и не участвовал. Кажется, этот Колосов должен быть человек с воображением очень пылким: лет пять назад издал он лирическое стихотворение под названием «Плод энтузиазма» — горький плод заблуждения насчет своего призвания.

6 января, воскресенье.

Несмотря на шестнадцатиградусный мороз, крещенский парад был великолепный. В первый раз в жизни вижу столько войска и в таком пышном виде! Торжественное молебствие совершено было придворным духовенством в присутствии государя в нарочно устроенной для того на Неве, противу дворца, иордани. Я изумился, увидев государя в одном мундире, и не постигаю, как мог он в такой легкой одежде выносить такую стужу — вот прямо русский человек!

Вечером собрались у меня Хмельницкий, Вельяминов-Зернов и Кобяков. Последний спешит переводом своей оперы и, по случаю моего уклонения от перевода стихов, находится в престрашных хлопотах. Не понимаю, зачем браться не за свое дело? Добро бы эти оперы приносили ему какую выгоду, а то ровно никакой. Спасибо Вельяминову, который, узнав в чем дело, добродушно обещал выручить моего земляка и, от нечего делать, начинить все его оперы, настоящие и будущие, стихами всевозможных размеров. В самом деле, Вельяминов удивительно легко пишет стихи: не более как в четверть часа он, для доказательства своей способности, перевел одну большую арию из оперы «Импрезарио», над которою мой бедный Кобяков корпит столько времени. Этою ариею принадлежащий к труппе стихотворец дает следующий совет патрону своему, импрезарио, как избежать разорения:

Чтоб вам так не разоряться,
Должно правил придержаться:
Primo, Крезом притворяться
И secundo: обещать,

Только слова не держать;
Ни актрисам, ни актерам,
Певчим и декоратерам,
Фигурантам, машинистам
И портным и копиистам
Должно гроша не давать
И разделываться с ними
Лишь посулами одними.
Что вам стоит обещать?
Этим людям не платите:
Лишь ласкайте их, да льстите,
Все сулите, да сулите —
Вот и будет благодать.
Но уважьте дар поэта,
Заплатите вы ему;
Это нужно потому,
Что блестящая монета
Блеск придаст его уму.

Я списал эти вздорные стихи в память способности Вельяминова писать их, но Кобяков в восторге, а я и подавно, потому что навсегда избавился от его докуки.

7 января, понедельник.

Целое утро проболтался в Коллегии попустому, спрашивая сам себя: да когда же дадут мне какое-нибудь занятие? До сих пор я ничего другого не делаю, как только дежурю в месяц раз, да толкую о троянской войне; между тем время идет да идет, а расход времени, как говорит мой Петр Иванович, самый невозвратный расход.

Гебгард принес мне книжку «Züge zu einem Gemählde von Moskwa», сочиненную Виссельгаузеном в 1775 г., и просил сказать ему, похожа ли нынешняя Москва на прежнюю. Я пробежал книжку мельком: кажется, родная наша мало изменилась, несмотря на то что постарела тридцатью годами.[1] Только гостиницы и трактиры переменились. Гебгард звал завтра в «Разбойников», смотреть на него в Карле Море; Амалию играет милая жена его.

Завтра пойду с пузырем-Кобяковым знакомиться с Воробьевым, хотя, признаться, хотелось бы лучше познакомиться с Яковлевым;

но Кобяков говорит, что теперь, по случаю беспрестанных репетиций трагедии «Дмитрий Донской», все лучшие наши трагики заняты по горло, и потому не время.

8 января, вторник.

Были у Воробьева и застали его перед самым обедом. Он радушно пригласил нас разделить с ним трапезу, и Кобяков без церемоний уселся за стол, выпив предварительно порядочный стаканчик травнику, но я отказался, потому что должен был обедать в павильоне. Воробьев мал ростом, довольно плотен, движения его живы и ловки, говорит скоро и с присмешкой, лицо имеет несколько багровое, как по большей части и все люди, придерживающиеся чарочки. Мне особенно понравились глаза его, черные и быстрые, из которых так и просвечиваются ум и какая-то добродушная, беспечная веселость. Семейство его состоит из жены, дородной женщины, на лице которой заметны еще остатки прежней красоты, и единственной дочери, премилой девочки лет восьми или девяти, беленькой, румяненькой и очень полненькой, имеющей в лице много сходства с матерью. Я завел было речь о здешних модных операх — куда тебе! Воробьев и говорить не хотел. «Надоели проклятые, — сказал он, — век бы не слыхал о них; то ломай Тарабара, то Личарду, то Торопку — чорт знает что такое! Только на потеху райку», и тут же запел:

Коль назначено судьбою
Разлучиться нам с тобою,
Быть мне верной обещай,
Милая моя, прощай.

Я спросил его, справедливо ли, что князь Волконский при постановке «Русалки» на московском театре прислал из Москвы актера Волкова учиться у него роли Тарабара, или, как тогда говорили в Москве, тарабарской грамоте, и если справедливо, то как он нашел Волкова. «Он точно был здесь, — отвечал Воробьев, — и являлся ко мне будто бы по приказанию Александра Львовича; ну я и сказал ему: поди, братец, в театр, да смотри на меня и перенимай, как знаешь, если тебе велено; с тем он и ушел, но перед отъездом опять

приходил и просил, чтоб я прослушал, как он пропоет польской Тарабара:

На что так чудесить,
К чему куралесить,
Других обижать?

Я прослушал и сказал ему, что хотя он и волк, а все-таки лает по-собачьи; тем дело и кончилось. Мужика в сорок лет не научишь, если до тех пор сам не выучился».

Воробьев сказывал, что Самойлов с первых дебютов своих очень понравился публике, и она снисходительно извиняла не только его неловкость и совершенное незнание приличий на сцене, но даже самые неосторожные его обмолвки, которые никому другому не прошли бы даром.

Гебгард в роли Карла Мора не совсем мне понравился. В игре его нет того глубокого чувства, которым должен быть проникнут Карл Мор, жертва неслыханного коварства и заблуждений своей молодости. Мой приятель не постиг этого характера, о котором можно было бы исписать целую книгу; зато Амалия была настоящею Амалиею — чувствительною, любящею, мечтательною немкою средних веков. Мадам Гебгард стала еще лучшею актрисою, чем была прежде. . . Франца Мора играл Розенштраух недурно. Он, говорят, очень добрый, религиозный человек и будто бы готовится в пасторы, но, в ожидании хорошего пастората, играет на театре. Для исполнения роли Франца следовало бы ему изучить рассуждение Иффланда об этой роли, в которой знаменитый актер и писатель был, говорят, превосходен. В Германии роль Франца Мора считается первою ролью, потому что требует большого изучения, между тем, как для роли Карла достаточно, чтоб актер был одарен большою чувствительностью и был пригож собою. Линденштейн уморительно играл роль Спигельберга; он на сцене как дома.

9 января, среда.

Гаврила Романович представил меня А. С. Шишкову, сочинителю «Рассуждения о старом и новом слоге», задушевному другу президента Российской Академии Нартова. С большим любопыт-

ством рассматривал я почтенную фигуру этого человека, которого детские стихи получили такую народность, что, кажется, нет ни в одном русском грамотном семействе ребенка, которого не учили бы лепетать:

Хоть весною
И тепленько,
А зимою
Холодненько,
Но и в стуже
Нам не хуже, и проч.

Не могу поверить, чтоб этот человек был таким недоброжелателем нашего Карамзина, за какого хотят его выдать. Мне кажется, что находящиеся в «Рассуждении о старом и новом слоге» колкие замечания на некоторые фразы Карамзина доказывают не личное нерасположение к нему Александра Семеновича, а только одно несходство в мнениях и образе воззрения на свойства русского языка. Из всего, что ни говорил Шишков — а говорил он много — я не имел случая заметить в нем ни малейшего недоброжелательства или зависти к кому-нибудь из наших писателей; напротив, во всех его суждениях, подкрепляемых всегда примерами, заключалось много добродушия и благонамеренности. Он очень долго толковал о пользе, какую бы принесли русской словесности собрания, в которые бы допускались и приглашались молодые литераторы для чтения своих произведений, и предлагал Гаврилу Романовичу назначить вместе с ним попеременно, хотя по одному разу в неделю, литературные вечера, обещая склонить к тому же Александра Семеновича Хвостова и сенатора Ивана Семеновича Захарова, которых домы и образ жизни представляли наиболее к тому удобств. Бог весть, как обрадовался этой идее добрый Гаврила Романович и просил Шишкова устроить как можно скорее это дело.[1]

Между прочим, Шишков рассказывал, что одна из родственниц его супруги, молодая женщина, лет двадцати пяти, в прошедшем году вылечилась радикально от чахотки, употребляя, по совету О. К. Каменецкого, по два раза в сутки угольный порошок, распущенный в рюмке воды, а по утрам принимая по полрюмки росы с цветов ромашки, которую собирали для ней ее люди. Федор Петро-

вич Львов присовокупил, что хотя иностранные медики не любят Каменецкого за его беспощадную правдивость и величают его обскурантом и эмпириком, но что на это смотреть нечего и его простонародные средства бывают большею частью всегда спасительны.

Вера Николаевна спросила меня за столом, отчего я так угрюм, все молчу. Я отвечал: «Che quando parla il dottore, il pantalone tace», все захохотали, а я тому и рад, что не даром выронил слово.

10 января, четверг.

У Лабата встретил Александра Тургенева, который в прошедшем году на пансионском экзамене подшептывал мне немецкую речь. Он сказывал, что среднего брата отправляет доучиваться в Геттинген, а меньшой останется покамест в пансионе до получения золотой медали. Тургенев должен быть очень деятелен и проворен; он служит при статс-секретаре Новосильцеве и вместе в Комиссии составления законов помощником референдария. Говорил много о графе Строганове, о княгине Голицыной и многих других знатных особах, у которых принят за свой. Не успели отобедать, как он уж исчез, извинившись недосугом. Вигель читал очень смешное рондо, написанное на Тургенева по-французски общим их приятелем Блудовым; в этих стихах много веселости и безобидного остроумия.

Граф Местр точно должен быть великий мыслитель: о чем бы ни говорил он, все очень занимательно, и всякое замечание его так и врезывается в память, потому что заключает в себе идею, и сверх того, идею прекрасно выраженную; например, говоря о некоторых своих знакомых из высшего круга, он сказал, что очень любит и уважает их, а между тем видится с ними редко, потому что характеры их, как некоторые химические тела, очень хороши сами по себе, но никогда не соединяются с другими.

11 января, пятница.

Вот что называется и сыт и пьян. Обедал у комиссара придворной конторы А. И. Андреева, старинного знакомца нашей фамилии, которой он считает себя почему-то обязанным. Этот доб-

рый человек, узнав обо мне, отыскал меня и затащил к себе на обед, который давал он своим сослуживцам по случаю совершившегося ему шестидесятилетия. Пир, как говорится, был на весь мир. Такую роскошь и излишество встречаю я только в другой раз в своей жизни: обед Андреева по количеству и качеству кушанья и напитков едва ли не превосходнее был обеда, данного московским Английским клубом в честь героя Багратиона. Гостей было человек до тридцати и перед каждым гостем было поставлено по бутылке шампанского вместо квасу, а венгерским и какого-то особенного рода рейнвейном обносили по два раза. Подле хозяина сидел член гоф-интендантской конторы Алексей Григорьевич Ходнев, а подле меня брат нашего драматурга Н. И. Ильина, Алексей Иванович, который служит также в конторе и которому хозяин поручил меня потчевать. Он мастерски исполнил поручение и так меня употчевал, что по окончании обеда я насилу мог подняться со стула и не помню, как очутился дома. Люди мои говорят, что меня кто-то привез, и я, не раздевшись, бросился на постель и проспал больше трех часов. Голова и теперь ходит кругом и мучит сильная жажда: хочется опять венгерского — да где его взять? Удовольствуюсь квасом: Андреев должен быть очень богат, а не богат, так тороват. Квартиру он занимает весьма небольшую в казенном доме на Захарьевской улице, но если изба не богата углами, так зато богата пирогами.

Ах, господи! что ж это такое? Нет сна и все хочется пить:

Bacchus siehe
Wie ich glühe!
Sieh den leeren Humpen an!
Evoe Bacche! Evoe Bacche!
Humanam sequimur sortem —
Voluptas nulla post mortem!

Мне кажется, что я совсем одурел.

12 января, суббота.

Кажется, я вчера порядочно отличился: не ведаю, что думает обо мне амфитрион-Андреев, но знаю, что я сам о себе очень невысокого мнения. До сих пор болит голова и сам весь не свой. Для

облегчения совести, я все рассказал Альбини, который, насмеявшись вдоволь моей проказе, велел мне пить зельцерскую воду: да будет она для меня водою забвения!

Хотя бы к завтраму освежиться и не упустить репетиции «Димитрия Донского», на которую обещал меня взять Иван Афанасьевич, а там что бог даст!

13 января, воскресенье.

Я в восторге! У нас не слыхано и не видано такой театральной пьесы, какою завтра Озеров будет потчевать публику. Роль Димитрия превосходна от первого до последнего стиха. Какое чувство и какие выражения! В ролях Ксении, князя Белозерского и Тверского есть места восхитительные, а поэтический рассказ боярина о битве с татарами Мамая и единоборстве Пересвета с Темиром и Димитрия с Челубеем превосходит все, что только есть замечательного в этом роде, и рассказ Терамена не может идти ни в какое с ним сравнение. Оттого ли, что стихи в трагедии мастерски приноровлены к настоящим политическим обстоятельствам или мы все вообще теперь еще глубже проникнуты чувством любви к государю и отечеству, только действие, производимое трагедиею на душу, невообразимо. Стоя у кулисы, к которой прислонил меня, как чучелу, пузатик Кобяков, я плакал, как ребенок, да и не я один: мне показалось, что и сам Яковлев в некоторых местах своей роли как будто захлебывался и глотал слезы. Это была последняя репетиция трагедии; завтра утром будет только одно небольшое повторение ролей, чтоб актеры имели время успокоиться и приготовиться к настоящему представлению.[1]

Я был бы теперь в совершенном отчаянии, если б по милости пьянственного моего окаянства, чуть не уложившего меня в постель, не попал сегодня на эту репетицию и лишился такого благоприятного случая покороче познакомиться с новою трагедиею и сойтись с некоторыми актерами и особенно с Яковлевым, который как-то пришелся мне по душе. Он, говорят, иногда куликает, да что до того за дело? можно умеренно и куликнуть с человеком, который умеет так сильно чувствовать красоты нашей поэзии и мастерски переда-

вать их. Хотелось мне, чтоб Иван Афанасьевич представил меня князю Шаховскому и Озерову, но старик сказал: «Теперь, душа, не время: видишь очень заняты, а вот после». И в самом деле, князь Шаховской, очень толстый и неуклюжий человек, повидимому лет 35, плешивый, с огромным носом и пискливым голоском, бегал и суетился на сцене: то учил некоторых актеров, то кричал на статистов, то делал колкие замечания актрисам, то разговаривал с Дмитревским, то болтал по-французски с некоторыми актерами и, наконец, поймав в толпе актрису Самойлову, стал уверять ее, что как ни хороша она в русалках и в других глупых ролях подобного рода, но была бы гораздо лучше в ролях служанок, — словом, князь Шаховской, несмотря на свою дородность, показался мне каким-то неуловимым существом: [1] der Alte überall und nirgends.[2] Зато Яковлев — совершенный его антипод: когда во время антракта Дмитревский представил меня ему, сказав, что мне хочется с ним познакомиться и что я сам написал трагедию, в которой есть очень хорошие стихи, Яковлев только что улыбнулся, как-то искривя рот, и спросил меня: «Вы откуда?». — «Из Москвы», — отвечал я. «Бывали там часто в театре?». — «Бывал, хотя и не так часто, как бы хотелось». — «А с Иваном Афанасьевичем где познакомились?». — «У Г. Р. Державина». — «У Державина? вот что!». Потом, как бы подумав немного, спросил: «Да вы служите где-нибудь?». — «Служу в Иностранной коллегии с знакомцем вашим В. М. Федоровым, который обещал меня познакомить с вами». — «Гм. . . много у вас дела?». — «До сих пор никакого». — «Гм. . . так заходите ко мне по вечерам: когда не играю, я почти всегда сижу дома». — «Непременно приду». — «Гм. . . а с кем вы еще знакомы из наших?». — «Да недавно Кобяков познакомил меня с Я. С. Воробьевым». — «Кобяков? Гм. . . а вы охотники до русалок?». — «Люблю и русалок, если их хорошо играют». — «Гм. . . ну так до свидания». И вот мой Яковлев пошел, задумавшись, опять расхаживать по сцене. Ему не более 35 лет; он очень статен, лицо выразительное, физиономия задумчивая, голос очаровательный, говорит как бы нехотя и, кажется, вовсе не думает о том, о чем говорит; во всем существе его есть что-то особенное, но привлекательное, и я уверен, что,

несмотря на угрюмость его, он должен быть одарен прекрасными качествами души и сердца. Да иначе и быть не может: без теплой души, без нежного сердца нельзя произнести так превосходно и с таким глубоким чувством:

Пусть цепи тот влачит, кто их сорвать не смеет;
В могиле нет оков, там звук цепей немеет;
Умрем, как храбрые, и в память наших дел,
Чтобы надгробный дерн над нами зеленел!

. . . .

Грядущи времена, сокрытые от нас,
Судьями наших дел я призываю вас!

или

И вы, жестокие, мне предлагать могли
Без дружбы и любви скитаться на земли?

и заставить почти всех плакать чуть не навзрыд. Как ни патетичен Шушерин в некоторых сценах «Эдипа», но никогда не сравнится с Яковлевым в способности так увлекать зрителей, потому что не имеет физических средств последнего Кажется, Яковлев вовсе не занимается своим туалетом. Волосы всклочены, галстух завязан кой-как, черный сюртук как будто шит не по его мерке: узок и рукава очень коротки — точно он из него вырос; из кармана торчит вместо носового платка какая-то ветошка. . . словом, в костюме его заметна чрезвычайная небрежность и даже отсутствие приличия. Семенова прелестна: совершенный тип древней греческой красоты; при дневном свете она еще лучше, чем при лампах, и, повидимому, большая щеголиха. Она была окутана в белую турецкую шаль, на шее жемчуги, а на пальцах брильянтовых колец и перстней больше, чем на иной нашей московской купчихе в праздничный день. Думая, что с ней так же можно поболтать, как и с милыми моими немецкими чечотками, я было подбежал к ней с комплиментами насчет игры ее в роли Антигоны — куда тебе! она взглянула на меня так презрительно и свирепо и так свысока промолвила: «Чего-с?», что у меня отнялся язык, и я бросился поскорее назад как будто наткнулся на вилы. Шушерин, сверх того, что талант превосходный, должен быть еще и очень умный человек, но едва ли

имеет доброе сердце. При всякой ошибке кого из актеров, он не упускал случая подмигивать кому-нибудь глазами, кивать головою и саркастически улыбаться. Роль свою читал он прекрасно, но тихо, жалуясь на слабость здоровья. Когда приходила очередь Щеникову читать свою роль князя Тверского, автор, сидевший на сцене у директорской ложи, показывал явные знаки нетерпения и неудовольствия, а князь Шаховской морщил лицо и один раз, оборотясь к Озерову, довольно громко сказал: «Что ж делать! чем богаты, тем и рады».

Говорят, что Озеров чрезвычайно самолюбив; верю: в сознании своего превосходства пред другими он имеет все право быть самолюбивым; не идиот же он какой-нибудь, чтоб не умел оценить своего дарования! Впрочем, кажется, надобно отличать самолюбие от хвастовства; напр., Трофим Федорович Дурнов, серьезно уверяющий, что его картины превосходнее рубенсовых — хвастун, а Корреджио, восхищающийся ‹картиною Рафаэля› [1] и с восторгом восклицающий: «Anch'io son pittore!», только самолюбив. Признаюсь, я не очень постигаю и того, почему всякий ремесленник, от простого столяра до механика, может, не страшась порицания за свое тщеславие, безнаказанно выхвалять доброту и пользу своих изобретений и произведений, а литераторы, живописцы, ваятели, прославившиеся какими-нибудь произведениями словесности или художества, лишены этого права, и если бы захотели похвалить свои творения, то подверглись бы осмеянию. Это вопрос, который бы следовало разрешить Академии. В настоящем положении нашей литературы, когда никакие сочинения, как бы они превосходны ни были, не приносят авторам никакой вещественной пользы, можно и должно, мне кажется, извинять их бескорыстное самолюбие.

15 января, вторник.

Вчера, по возвращении из спектакля, я так был взволнован, что не в силах был приняться за перо, да, признаться, и теперь еще опомниться не могу от тех ощущений, которые вынес с собою из театра. Боже мой, боже мой! что это за трагедия «Димитрий Донской»

и что за Димитрий — Яковлев! какое действие производил этот человек на публику — это непостижимо и невероятно! Я сидел в креслах и не могу отдать отчета в том, что со мною происходило. Я чувствовал стеснение в груди, меня душили спазмы, била лихорадка, бросало то в озноб, то в жар, то я плакал навзрыд, то аплодировал из всей мочи, то барабанил ногами по полу — словом, безумствовал как безумствовала, впрочем, и вся публика, до такой степени многочисленная, что буквально некуда было уронить яблока. В ложах сидело человек по десяти, а партер был набит битком с трех часов пополудни; были любопытные, которые, не успев добыть билетов, платили по 10 р. и более за место в оркестре между музыкантами. Все особы высшего общества, разубранные и разукрашенные как будто на какое-нибудь торжество, помещались в ложах бельэтажа и в первых рядах кресел и, несмотря на обычное свое равнодушие, увлекались общим восторгом и также аплодировали и кричали «браво!» наравне с нами.

В половине шестого часа я пришел в театр и занял свое место в пятом ряду кресел. Только некоторые нумера в первых рядах и несколько лож в бельэтаже не были еще заняты, а впрочем все места были уже наполнены. Нетерпение партера ознаменовывалось аплодисментами и стучаньем палками; оно возрастало с минуты на минуту — и не мудрено: три часа стоять на одном месте — не безделка; я испытал это истязание: всякое терпение лопнет; однако ж мало-помалу наполнились и все места, оркестр настроил инструменты, дирижер подошел к своему пюпитру, но шести часов еще не било, и главный директор не показывался еще в своей ложе. Но вот прибыл и он, нетерпеливо ожидаемый Александр Львович, в голубой ленте по камзолу, окинул взглядом театр, кивнул головою дирижеру, оркестр заиграл симфонию, и все приутихли, как бы в ожидании какого-нибудь необыкновенного, таинственного происшествия. Наконец, с последним аккордом музыки занавес взвился, и представление началось.

Яковлев открыл сцену; с первого произнесенного им стиха: «Российские князья, бояре» и проч., мы все обратились в слух, и общее внимание напряглось до такой степени, что никто

не смел пошевелиться, чтоб не пропустить слова, но при стихе:

> Беды платить врагам настало нынче время!

вдруг раздались такие рукоплескания, топот, крики «браво!» и проч., что Яковлев принужден был остановиться. Этот шум продолжался минут пять и утих ненадолго. Едва Димитрий в ответ князю Белозерскому, склонявшему его на мир с Мамаем, произнес: «Ах! лучше смерть в бою, чем мир принять бесчестный!», шум возобновился с большею силою. Но надобно было слышать, как Яковлев произнес этот стих! Этим одним стихом он умел выразить весь характер представляемого им героя, всю его душу и, может быть, свою собственную. А какая мимика! Сознание собственного достоинства, благородное негодование, решимость — все эти чувства, как в зеркале, отразились на прекрасном лице его. Словом, если бы Яковлев не имел и никакой репутации, то, прослушав, как произнес он один этот стих, нельзя было бы не признать в нем великого мастера своего дела. Я не могу запомнить всех прекрасных стихов в сцене Димитрия с послом мамаевым, однако ж благодаря таланту Яковлева некоторые как бы насильно врезались в память, как например:

> Иди к пославшему и возвести ему,
> Что богу русский князь покорен одному;

или

> Скажи, что я горжусь мамаевой враждой:
> Кто чести, правде враг, тот враг, конечно, мой!

Все эти стихи, равно как и множество других в продолжение всей трагедии, выражаемы были превосходно и производили в публике восторг неописанный, но в последней сцене трагедии, когда после победы над татарами Димитрий, израненный и поддерживаемый собравшимися вокруг него князьями, становится на колени и произносит молитву:

> Но первый сердца долг к тебе, царю царей!
> Все царства держатся десницею твоей:
> Прославь и утверди и возвеличь Россию,

Как прах земной сотри врагов кичливых выю,
Чтоб с трепетом сказать иноплеменник мог:
Языки! ведайте: велик российский бог!

Яковлев превзошел сам себя. Какое чувство и какая истина в выражении! Конечно, ситуация персонажа сама по себе возбуждает интерес, стихи бесподобные, но играй роль Димитрия не Яковлев, а другой актер, я уверен, эти стихи не могли бы никогда так сильно подействовать на публику; зато и она сочувствовала великому актеру и поняла его: я думал, что театр обрушится от ужасной суматохи, произведенной этими последними стихами. Тотчас начались вызовы автора, которого представил публике Александр Львович из своей ложи; потом вызван был и Яковлев — неоспоримо главный виновник успеха трагедии.

О Шушерине в роли князя Белозерского сказать нечего. Эта роль незначительна, и ему не было случаев развить своих дарований, но Семенова была прелестна, особенно в последней сцене, когда Ксения узнает, что Димитрий жив; она с таким чувством и с такою естественностью проговорила:

Оживаю. . .
И слезы радости я первы проливаю,

что расцеловал бы ее, голубушку. Я искренно простил ей это высокомерное и грубое «чего-с?», которым попотчевала она меня на репетиции. Может быть, и сам я не прав, забыв пословицу: «Не спросясь броду, не суйся в воду», но все-таки можно было бы сказать мне несколько слов поучтивее.

Сожалею, что, не имея перед глазами трагедии, которая еще не напечатана и появится в печати только на сих днях, я не в состоянии обстоятельно обозначить те места, в которых главные действующие лица были особенно хороши; могу сказать только, что старик Сахаров превосходно прочитал поэтический рассказ боярина и мастерски передал описание единоборства Пересвета с Темиром:

Широк, могущ плечьми, душою бодр и смел,
Темира вызвал он, с Темиром он сразился
И так, как глыба с гор, с ним вместе мертв свалился;

а последние прекрасные стихи, изображающие бегство татар и победу над ними:

Им степь широкая, как узкая дорога, —
И русский в поле стал, хваля и славя бога!

передал с таким воодушевлением и так живо и увлекательно, что возбудил всеобщий восторг. Сахаров, говорят, в свое время играл первые роли и почитался очень талантливым актером. Не знаю, до какой степени это справедливо, но должен сказать, что и теперь он чтец превосходный.

Я слышал, что здесь не очень довольны московским директором театра П. Н. Приклонским и опять заговорили о назначении В. А. Всеволожского. В прошедшем году полагали, что он непременно определен будет; да и чего бы лучше? человек богатый, гостеприимный, живет барином, на открытую ногу, страстный охотник до музыки, имеет собственный оркестр, любитель театра и всяких общественных увеселений. Таких людей со свечой поискать; нет сомнения, что назначение Всеволожского оживило бы театр и ободрило бы актеров.

16 января, среда.

«Димитрий Донской» наделал такого шума, что только о нем и говорят. При всякой встрече с кем-нибудь из знакомых можешь быть уверен, что встретишь и вопрос: «Что, видели ли Донского?». А каков Яковлев? Озеров Озеровым — но мне кажется, что Яковлев в событии представления играет первую роль. Пожалуй, скажут, что это несправедливо, а я так думаю напротив: автору воздаяние впереди — потомство; а после актера, будь он хоть семи пядей во лбу, что останется? предание лет на пятьдесят, да и то предание сбивчивое и неверное, потому что если он и живой подвергается оценке произвольной, то о мертвом как толковать ни станут, поверки не будет, а между тем охотников глодать кости мертвых — многое множество; следовательно, пусть актер и наслаждается при жизни преимущественно пред автором своими успехами.

Когда сегодня за обедом в павильоне я рассказывал о произведенном на меня впечатлении трагедиею и Яковлевым, хозяин и хо-

зяйка захохотали: «Mais vous êtes un enfant: une tragédie russe et un Jacovleff!». Признаюсь, это мне не понравилось. «Mais avez-vous jamais vu Jacovleff?». — «Oh! qui donc ira voir vos saltimbanques?». Я смолчал, но у меня как будто оборвалось сердце. Граф Монфокон принял мою сторону, и так как, видно, судьбою предназначено, чтоб ни один обед не проходил без горячего спора, то он и начался, как говорится «à couteaux tirés». Я был в отчаянии, что мнение мое сделалось яблоком раздора, но вместе был и доволен, что нашел за себя такого неустрашимого воителя, каков был старый граф, который перекричал всех и одержал полную победу. Патер Локман как-то однажды объявил мне, что все эти споры за обедом предпринимаются единственно для сварения желудка: я начинаю этому верить, потому что едва вышли из-за стола и поместились в гостиной у камина, междоусобие прекратилось, и водворилось прежнее сердечное согласие. Между тем, кстати, о трагедии и трагических актерах: Монфокон, которого иногда величают monsieur de Lyon (потому что настоящий его титул Monfaucon, comte de Lyon), за чашкою кофе рассказал нам несколько анекдотов о Ларибе, из которых один довольно занимателен.

Ларив, играя в Марсели какую-то роль, в которой находилось очень поэтическое описание Апеннинских гор, так мастерски умел изобразить все ужасы диких пустынь, страшных пещер, глубоких пропастей, непроходимость и мрак лесов с их свирепыми обитателями, медведями и волками, что поразил зрителей. После представления один богатый негоциант прислал ему дюжину старого апеннинского вина при записке, что в уважение столь превосходного произведения Апеннин, он помирится со страною, столь ужасно им изображаемою. Ларив нашел вино по своему вкусу — и что же? с тех пор он никогда не мог повторить повествование об Апеннинах с прежним увлечением, и произвести прежнее впечатление на публику. Он признавался, что воспоминание о проклятом вине с первого стиха знаменитого повествования невольно поражало его воображение и отнимало у него всю энергию до такой степени, что он вынужден был передать роль другому актеру.

Вот еще заметка для психологов.

17 января, четверг.

В Коллегии толкуют, что у нас будет новый министр иностранных дел. Не знаю, каков он будет, если будет, но знаю, что об увольнении настоящего едва ли кто тужить станет. Кажется, между ним и его сослуживцами существует взаимное равнодушие: une parfaite indifférence.

Политики наши высчитывали, что учреждение милиции доставит государству с 31 губернии 612 000 охранного войска, а о пожертвованиях, которые так охотно предлагаются всеми состояниями народа, нечего и говорить: уверяют, что денег достанет и передостанет на все потребности и издержки военные, тем более что есть еще губернии, не вошедшие в состав милиции и обязанные ставить только правиант, фураж и разные другие припасы.

Между тем на сих днях учрежден особый комитет для рассмотрения дел, касающихся до нарушения общественного спокойствия. Слава богу! пора обуздать болтовню людей неблагонамеренных; может быть, иные врут и по глупости, находясь под влиянием французов, но и глупца унять должно, когда он вреден, а сверх того, не надобно забывать, что нет глупца, который бы не имел своих подражателей:

Un sot trouve toujours un plus sot qui l'admire;[1]

следовательно, учреждение комитета как раз во-время. Председателем назначен князь Петр Васильевич Лопухин, а постоянными членами сенаторы Макаров и Новосильцев; в случае же нужды, будут присутствовать в нем санктпетербургский главнокомандующий С. К. Вязмитинов и министр внутренних дел граф Кочубей.

Сказывали, что все французские актеры и другие лица, подданные Франции и государств от ней зависящих, принадлежащие к ведомству театральной дирекции, с величайшею готовностью присягнули в том, что они, на основании указа 28-го минувшего ноября, во все время настоящей войны никаких сношений ни с кем во Франции и подвластных ей областях ни под каким предлогом иметь не будут и что в противном случае предают себя безусловно всякому взысканию, какому наше правительство подвергнуть их заблагорас-

судит. Сверх того, они будто бы предлагали даже и принять подданство, но Александр Львович объявил им, что государь не требует от них этого пожертвования.

А каково содержание, определяемое французским пленным! Генералам назначается в сутки по 3 руб., полковникам по 1 р. 50 к., майорам по 1 руб., прочим офицерам по 50 коп., унтер-офицерам по 7 и рядовым по 5; сверх того, последние нижние чины будут получать пайки противу наших унтер-офицеров и рядовых. Да это такая милость, какой, верно, они не ожидали, и не удивительно будет, если наши неприятели охотно будут сдаваться в плен.

18 января, пятница.

Возвращаясь из коллегии, встретил государя, прогуливающегося пешком. При взгляде на его прекрасное, кроткое и спокойное лицо много дум возникает в голове, много чувствований возрождается в сердце! Если всякому из нас так сладостно быть любиму и одним человеком, то что должен ощущать он, которого обожают миллионы людей? Я думаю, что никому из венценосцев не могут быть так приличны стихи Расина, как ему, доброму и мудрому нашему государю:

Quel bonheur de penser et dire en soi-même;
Partout, dans ce moment on me bénit, on m'aime;
On ne voit point le peuple à mon nom s'alarmer,
Le Ciel dans tous les pleurs ne m'entend point nommer;
La sombre inimitié ne fuit point mon visage,
Je vois voler partout les coeurs à mon passage! [1]

Ей-богу, кого только ни встретишь из порядочных людей, будь он русский, француз, немец, чухонец какой-нибудь, наверно услышишь искренние ему благословения.

У Гаврила Романовича обедали О. П. Козодавлев и Дмитревский. Осип Петрович, кажется, добрый и приветливый человек, любит литературу и говорит обо всем очень рассудительно; он также старый знакомец И. И. Дмитриева, расспрашивал меня о его житье-бытье и, между прочим, чрезвычайно интересовался университетом; хвалил покойного [2] Харитона Андреевича, называя его настоящим русским ученым, и радовался, что Страхов

занял его место, присовокупив, что лучшего преемника Чеботареву найти невозможно и что Михайло Никитич весьма его уважает. Говорили о «Димитрии Донском», и на вопрос Гаврила Романовича Дмитревскому, как он находит эту трагедию в отношении к содержанию и верности исторической, Иван Афанасьевич отвечал, что, конечно, верности исторической нет, но что она написана прекрасно и произвела удивительный эффект. «Не о том спрашиваю, — сказал Державин, — мне хочется знать, на чем основался Озеров, выведя Димитрия влюбленным в небывалую княжну, которая одна-одинехонька прибыла в стан и, вопреки всех обычаев тогдашнего времени, шатается по шатрам княжеским да рассказывает о любви своей к Димитрию». — «Ну, конечно, — отвечал Дмитревский, — иное и неверно, да как быть! Театральная вольность, а к тому же стихи прекрасные: очень эффектны». Державин замолчал, а Дмитревский, как бы опомнившись, что не прямо отвечал на вопрос, продолжал: «Вот изволите видеть, ваше высокопревосходительство, можно бы сказать и много кой-чего насчет содержания трагедии и характеров действующих лиц, да обстоятельства не те, чтоб критиковать такую патриотическую пьесу, которая явилась так кстати и имела неслыханный успех. Впрочем, надобно благодарить бога, что есть у нас авторы, посвящающие свои дарования театру безвозмездно, и таких людей, особенно с талантом Владислава Александровича, приохочивать и превозносить надобно; а то, неравно, бог с ним, обидится и перестанет писать. Нет, уж лучше предоставим всякую критику времени: оно возьмет свое, а теперь не станем огорчать такого достойного человека безвременными замечаниями».

Я уверен, что у старика много кой-чего есть на уме, да он боится промолвиться; а любопытно было бы знать настоящие его мысли о «Димитрии». Яковлева он очень хвалит, однако ж всегда не без прибавления обыкновенного своего: «Ну, конечно, можно бы и лучше, да как быть!». Между прочим рассказывал он, что в Париже случилось ему однажды быть свидетелем любопытного состязания в искусстве декламации между актрисою Клерон и Гарриком; это произошло на званом ужине у первой, которая жила, как принцесса, и принимала у себя великолепно все лучшее общество. Гости

непременно желали, чтоб она заставила Гаррика что-нибудь продекламировать, но тот отказывался под разными предлогами; наконец Клерон, истощив все средства к понуждению Гаррика удовлетворить желание ее общества, вдруг встала с своего места и, пригласив любимца своего, молодого Ларива, отвечать ей, продекламировала вместе с ним несколько лучших сцен из «Медеи». Все гости пришли в восторг, а Гаррик, подумав немного, сказал, что он понимает, почему великая актриса нарушила обыкновенное свое правило не декламировать ни пред кем вне театральной сцены, и потому признает себя обязанным ответствовать ей такою же учтивостью. С этим словом он встал из-за стола и продекламировал сцену с привидением из «Гамлета». Несмотря на то, что многие из присутствовавших не знали по-английски, он навел на них ужас одною своею мимикою. Мамзель Клерон была в восхищении и в доказательство своей признательности к первому современному актеру, как она его называла, для того чтоб уколоть честного Лекена, с которым была не в больших ладах, бесподобно продекламировала монолог из «Альзиры»: «Mânes de mon amant, j'ai donc trahi ta foi!».[1] Гаррик с своей стороны не захотел остаться у ней в долгу и тотчас же начал декламировать известный монолог Гамлета: «To be or not to be» с такою силою и с таким чувством, что мы были поражены. Таким образом, оба великие артиста друг перед другом взапуски декламировали лучшие сцены из своих ролей: Клерон из Гермионы, Шимены и Аменаиды, а Гаррик из Ли́ра и Макбета. «Я не могу забыть этого вечера, — продолжал Дмитревский, — и до сих пор не надивлюсь, как эти люди без всяких пособий к театральной иллюзии могли производить такое невероятное впечатление на своих слушателей. Правда, все общество составлено было из восторженных любителей театра, каких теперь мы более не встречаем, но между тем надобно отдать справедливость и увлекательности таланта прежних превосходных актеров.[2] Под конец ужина мамзель Клерон пожелала, чтоб я продекламировал что-нибудь из русской трагедии, но я решительно отказался, потому что чувствовал свое бессилие, и только по неотступной ее просьбе дать ей некоторое понятие о звуках и гармонии русского

языка, прочитал куплеты Сумарокова: „Время проходит, время летит“ [1] и проч. Она слушала с большим вниманием и, когда я кончил, пресерьезно сказала: „Je n'y comprend rien, mais cela doit être charmant“. Настоящая француженка!».

19 января, суббота.

Сегодняшний вечер провел у Яковлева. Застал его одного. Он сидел задумчиво на диване и читал какую-то книгу; на столике лежало несколько других книг и стоял недопитый стакан пунша. При входе моем он несколько привстал и указал мне место возле себя, примолвив довольно сухо: «Милости просим». Я сел и ожидал от него какого-нибудь вопроса, чтоб начать разговор, но он молчал, вероятно, ожидая от меня первого слова. Наконец, подумав, что я пришел к нему не в молчанку же играть, я решился прекратить это смешное безмолвие. «Не помешал ли я вам? — спросил я его, — вы что-то читали?». — «Да, — отвечал он, перелистывая книгу, — а перед тем читал другую — Плутарха». — «In varietate voluptas», — сказал я. — «А это что значит?». — «В разнообразии наслаждение». Яковлев посмотрел на меня и вдруг спросил: «А вы знаете по-латини?». — «Немного знаю, — отвечал я, — но лучше знаю по-славянски». — «Не в семинарии ли учились?». — «Нет, дома и в Московском университете». — «Иван Афанасьич, помните, сказывал на репетиции, что вы написали трагедию». — «Написал и, кажется, очень плохую». Яковлев опять очень выразительно посмотрел на меня. «Как же плохую? Иван Афанасьич при вас же говорил, что в ней есть стихи очень хорошие». — «В том-то и беда, Алексей Семеныч, что одни стихи не составляют трагедии, и я, к сожалению, догадываюсь о том поздно». — «Странно!». — «Ничего не странно, Алексей Семеныч; согрешив, лучше поскорее покаяться, чем упорствовать в своем заблуждении». — «Да вы, я вижу, большой чудак! Не хотите ли пуншу?». — «Давайте пуншу; я мало пью, но с вами выпью стакан с удовольствием». Яковлев как будто оживился и громко закричал: «Семениус!». Вошел слуга, толстый и неуклюжий. «Принеси пуншу! Да вы какой любите: слабый или покрепче?». — «Все равно, какой подадут, такой пить и буду». — «Ну, так это зна-

чит: покрепче». — «Пожалуй, хоть покрепче». — «А были ли вы в Донском?». — «Был и от души любовался вами: плакал, как дурак, и неистовствовал вместе с другими от восторга. Не хочу говорить вам комплиментов: вы не нуждаетесь в них, но должен сказать, что вы превзошли мои ожидания. Я восхищался Шушериным и Плавильщиковым в роли Эдипа, но в роли Димитрия вы совершенно овладели всеми моими чувствами». — «Так вы видели Эдипа? Я не люблю роли Тезея и всегда играю ее с неудовольствием». — «Я это заметил». — «Как заметили?». — «Да так. Вы играли ее, что называется, куды зря, и я не мог предполагать, чтоб актер с вашими средствами и с вашей репутацией мог играть так небрежно без особенной причины». — «Да вы, я вижу прозорливы. А который вам год?». — «Осьмнадцатый в исходе». — «А на вид старше». — «Много прочувствовал, Алексей Семеныч». — «Небойсь были влюблены?». — «Был и есть». Яковлев глубоко вздохнул и залпом осушил свой стакан пуншу. «Вы сказали, что знаете хорошо по-славянски, так, следовательно, хорошо знаете и Библию?». — «Знаю, Алексей Семеныч, от Книги Бытия до Апокалипсиса, и чувствую все высокие красоты священного писания». Тут я очутился в своей сфере и, грешный человек, не упустил воспользоваться случаем пустить пыль в глаза удивленному Яковлеву, который, вероятно, думал, что он один только знает Библию. Я прочитал ему наизусть песнь Моисея, лучшие места из «Пророков», из «Притчей», из «Премудрости Соломона» и «Сираха», несколько глав из евангелия Иоанна Богослова, указал на все высокие места в посланиях апостольских, так что мой Яковлев слушал меня с величайшим изумлением. «Теперь простите (сказал я ему), иду домой записывать в свой журнал нашу с вами беседу». — «Для чего же это?». — «Для того, что имею привычку записывать все ежедневные случаи моей жизни». — «Так поэтому вы человек опасный?». — «Не для вас, Алексей Семеныч, а скорее для себя, потому что в записках своих не щажу одного только себя». — «Неужто же записываете и грешки свои?». — «Непременно, если эти грешки сопряжены с ощущениями души или с чувствованиями сердца». — «Ну, послушайте, выпьем еще по стакану пуншу». — «Согласен, только с усло-

вием, чтоб вы прочитали мне что-нибудь». — «Пожалуй, да что же и зачем я читать буду? Вы и так можете видеть и слышать меня за медный рубль». — «Прочитайте, что хотите; я люблю ваш орган и вашу дикцию: они доходят до сердца». — «Разве что-нибудь из Державина, например: „На смерть князя Мещерского?“». — «Чего же лучше? Давайте, я, пожалуй, буду суфлировать вам». — «Не нужно; я знаю прежнего Державина наизусть». И вот Яковлев, закричав опять: «Семениус — пуншу!», приосамился и начал:

Глагол времен, металла звон и проч.

Он читал прекрасно, но когда дошел до стихов:

Где стол был яств, там гроб стоит,
Где пиршеств раздавались клики,
Надгробные там воют лики
И бледна смерть на всех глядит.
Глядит на всех и на царей,
Кому в державу тесны миры;
Глядит на пышных богачей,
Что в злате и в сребре кумиры;
Глядит на прелесть и красы,
Глядит на разум возвышенный,
Глядит на силы дерзновенны
И — точит лезвее косы!

то произнес их с такою невероятно страшною выразительностью, что меня затрепала лихорадка, и мне показалось, что смерть с угрожающим видом точно стоит передо мною. Я долго не мог придти в себя и только опомнился, когда Яковлев кончил уже всю оду.

Мы расстались искренними друзьями, дав друг другу слово видеться сколь возможно чаще. На прощанье Яковлев сказал мне: «Ведь я и сам давнишний стихотворец; когда-нибудь прочитаю вам и свое маранье; только прошу не взыскать — самоучка!».[1]

Слушать стихи его буду, но пуншу пить не стану: это какой-то омег.[2]

20 января, воскресенье.

Бал у Воеводских был пренарядный; между танцующими я видел много пригожих женщин и ловких кавалеров, но пригожее хозяйки

и ловчее бывшего соученика моего в пансионе Ронки Петра Валуева никого не заметил. В числе гостей находилось много очень известных людей и, между прочим, граф П. В. Завадовский, общий опекун, как его называли, Ф. А. Голубцов; сенаторы: И. А. Алексеев, толстый и угрюмый; Н. А. Беклешов, брат бывшего московского градоначальника, небольшого роста старичок с круглым добродушным лицом и веселою физиономиею; граф Ильинский, которого мнение, данное в Сенате, так сделалось народным; А. А. Саблуков, оракул Воспитательного дома, и А. С. Макаров, член нового комитета для рассмотрения дел о нарушении общественного спокойствия. Эти матадоры играли в карты. Милая хозяйка приглашала меня танцевать и даже указывала мне дам, которых бы я ангажировать мог, но я решительно отказался, не желая срамить себя и несчастную даму, которая бы имела неосторожность взять меня в свои кавалеры. На отказ мой бесподобная Катерина Петровна шутя спросила меня: «Mais à quoi donc êtes vous bon? Vous ne dansez pas et ne jouez pas». — «A vous admirer, madame», — отвечал я и так вдруг сконфузился от пошлого своего комплимента семидесятых годов, что хоть бы провалиться сквозь землю. С отчаянья подсел я к А. И. Ададуровой и проболтал с нею до самого ужина. Она пеняла мне, что вовсе почти у них не бываю, да что же делать? Всюду поспеть невозможно, а если иногда и поспеешь, то зачем? От лишнего рассеяния черствеет и ржавеет душа.

21 января, понедельник.

В обращении И. К. Вестмана с нами есть много сходства с обращением Антонского с своими пансионерами. Повидимому, он также не обращает большого внимания на поведение своих подчиненных, так же ласков и снисходителен, никогда никому не делает выговоров, а умеет держать себя так, что все его уважают и даже боятся. Он, решительно можно сказать, умный и добрый человек старого покроя. Сегодня, проходя из Секретной экспедиции, он встретил меня в беседе с 95-летним сторожем Ворониным и удивился, о чем я могу разговаривать с сторожем. Я сказал ему, что Воронин преинтересное существо и был очевидцем таких происшествий, которые

мы знаем только по преданиям и то не всегда верным. Он улыбнулся и спросил меня, отчего я не хожу в наш архив к П. Г. Дивову, у которого бы я нашел много любопытной старины и, между прочим, имел бы случай изучить наши трактаты с иностранными державами, что необходимо нужно для человека, посвящающего себя дипломатике. У меня давно вертелось в голове ходить от нечего делать в архив к Дивову, но боялся потревожить его, потому что нет ничего несноснее для человека, занятого делами, как посещения людей праздных, но И. К. развязал мне руки, и я отправился к Дивову.

П. Г. Дивов умный, образованный и обходительный человек, и я, право не знаю, почему я так его пугался, разве оттого, что он такой же начальник архива, как и Н. Н. Бантыш-Каменский, который, бог весть почему, прослыл медведем, между тем как, несмотря на его угрюмость — последствие невероятного трудолюбия и сидячей уединенной жизни, он один из добрейших людей в свете. Но Дивов даже и не угрюм, а имеет все приемы настоящего дипломата и большой охотник поговорить. Он рад был моему приходу и предложил мне сообщить все, что в его распоряжении находится, кроме некоторых заповедных бумаг, которые без особого предписания никому не сообщаются. Зачем он мне сказал о том? От этих слов я вдруг потерял всю охоту рыться в других бумагах. Со мною случилось то же, что с одним искателем кладов, который, найдя корчагу серебряных монет, пренебрег ею для того, что возле находилась другая, с золотыми, ему не доступная. Такова натура человеческая. Впрочем, я считаю и то уже настоящим кладом, что мои утра проходить будут не в одних толках о троянской войне, недостатке дичи по берегам Финского залива и завидном искусстве делать конверты без пособия ножниц. Дивов, как сказал я, любит поговорить, но он не без сведений, и разговор его всегда à la hauteur des évènements du jour, да сверх того, иногда в нем проскакивают довольно счастливые мысли; например, разговаривая с статским советником Званцовым, который жаловался на молчание одного из лучших друзей своих, находящегося при посольстве в Неаполе, Дивов сказал, что на таких людей, каков приятель Званцова, сетовать не должно, потому что свойство их привязываться только к тем

предметам, которые у них перед глазами. «Они похожи на железные опилки, — прибавил Дивов, — которые притягиваются магнитом только в близком расстоянии». Говоря о некоторых молодых людях богатых фамилий, состоящих на службе в Коллегии, не занимающихся делом и ничего не знающих, а между тем почитающих себя великими мудрецами, он сказал, что недостатки их происходят оттого, что им все льстили с детства: от математического учителя до танцевального, и было бы гораздо полезнее посылать их учиться в манеж, потому что лошадь не льстит: неумелого тотчас сшибет, будь он богат, как Крез.

22 января, вторник.

Помнится, в одном московском журнале напечатана была года три назад, в пример высокопарной галиматьи, шуточная ода Пегасу, начинавшаяся так:

Сафиро-храбро-мудро-ногий
Лазурно-бурый конь Пегас,

и оканчивавшаяся преуморительным набором слов.[1] На днях появилась другая ода, уже не шуточная, а серьезная и пресерьезная, и не Пегасу, а смелому его наезднику, В. А. Озерову; эту оду, состряпанную каким-то рифмоплетом и напечатанную в театральной типографии, можно смело поставить в ряд с вышеписанной ахинеею. Вот ее начало:

О муз прелестно-вечно-юных
Наперсник и усердный жрец!
Твои громозвучащи струны
Суть упоенье для сердец;
Когда рука твоя прияла
Свой остро-пламенный резец,
Она Эдипа начертала,
Ты ныне Дмитрия творец.

Окончание вполне соответствует началу. Вот покамест единственный поэтический венок нашему Эврипиду.

Я слышал от французского актера Флорио, что французский театр в Москве не новость и что лет пятнадцать назад приезжала в Москву из Швеции французская труппа под дирекциею родствен-

ника его, Воланжа, отличного актера. К сожалению, эта труппа пробыла недолго, потому что выручка за представления не покрывала расходов. Флорио сказывал, что, кроме Воланжа, некоторые сюжеты, как то: Карон и мадам Дюплесси, были артисты весьма талантливые. Видно, на все мода!

23 января, среда.

Говорят, что генерал Беннигсен после победы над французами при Пултуске теперь покамест играет с ними в шахматы, то есть они только маневрируют, в ожидании благоприятного случая напасть друг на друга. В некоторых стычках Беннигсен имел преимущество и однажды разбил Бернадотта. Утверждают, однако ж, что скоро должно ждать решительных вестей из армии. Между тем, вся Русь подымается или, вернее сказать, поднялась: милиция сформирована, и всех от мала до велика обуял какой-то воинственный дух.

Дирижер оркестра в немецком театре, Калливода, хороший и сообщительный человек, дал прочитать мне прекрасный эстетический разбор всех творений Моцарта, изданный под заглавием «Mozart's Geist». Она так понравилась мне, что я тотчас же отнес ее к математику-музыканту П. А. Рахманову, который не имел о ней никакого понятия. Он был в восторге и немедленно поскакал в книжные лавки отыскивать для себя эту книгу, которая, по его уверению, будет у него настольною.[1]

Давеча наша гамбургская газета, Викулин, восхищающийся всем, что только пахнет Англиею и англичанами, рассказывал, что он читал какую-то статистическую книгу, в которой подробно описаны все пути сообщения в Англии и, в пример необыкновенного ума и предприимчивости англичан, приводил устройство двух каналов в Сутамптоне, большого и маленького, называемого Ребрич, одного возле другого, так что по одному плавают большие суда, а по другому маленькие. «Умно придумано, — сказал Приклонский, — и похоже на то, что сделал один хозяин, построив анбар: он прорубил в нем две лазеи, одну побольше, а другую поменьше: одну для кошек, а другую для котят». Мы померли со смеху.

24 января, четверг.

Эйнбродт сказывал, что старейший из лейб-медиков доктор Рожерсон, бывший любимый лейб-медик великой Екатерины, находит, что кислая капуста, соленые огурцы и квас в гигиеническом отношении чрезвычайно полезны для нашего петербургского простонародья и предохраняют его от разных болезней, которые бы в нем развиться могли от влияния климата и неумеренного во всех случаях образа жизни. Рожерсон употребляет сам охотно кислую капусту в сыром виде и предписывает ее своим пациентам от припадков желчи; но зато кислую капусту вареную или поджаренную в масле он находит чрезвычайно обременительною для желудка и так приготовленную не советует употреблять в пищу. Доктор Рожерсон, высокий, худощавый, серьезный старик, имеет много опытности и, сверх медицинских познаний, пользуется славою ученого человека. Говорят, что он не очень любит Франка, которого считает за представителя ненавистных ему немецких теорий в медицине.

Вечера моего хозяина по четвергам, право, очень веселы, и доктор Торсберг мастер угощать своих знакомых и сам себя угощает без церемоний. Прелюбезный карапузик! Удивляется, что я плачу ему за квартиру вперед и сегодня превозносил меня Эллизену и Альбини за то, что я живу тихо и не играю в карты. Вот нашел добродетель! это все равно, что уважать человека за то, что он не ворует из кармана платков.

Впрочем, пусть его прославляет меня: это все-таки лучше, чем если бы он относился обо мне худо. Сколько я в короткое время пребывания моего в Петербурге заметить мог, репутацию молодых людей делают, во-первых, хозяева домов, а после них дворники и сидельцы в мелочных лавочках. Стоит только обратиться к ним, чтоб узнать в подробности историю житья-бытья всякого жильца, например, какого он поведения, есть ли у него деньги и откуда их получает, ходят ли к нему кредиторы, или сам он ходит по должникам своим, — словом, они расскажут вам все от аза до ижицы. Меня уверяли, что не одна свадьба устроилась и не одна расстроилась по милости этих фабрикантов репутаций.

Литературные вечера назначены по субботам поочередно у Гаврила Романовича, А. С. Шишкова, И. С. Захарова и А. С. Хвостова; они начнутся с субботы 2 февраля у Шишкова, которому принадлежит честь первой о них мысли; вероятно, после кто-нибудь из известных особ захочет также войти в очередь с нашими меценатами, но покамест их только четверо. Все литераторы без изъятия, представленные хозяину дома кем-либо из его знакомых, имеют право на них присутствовать и читать свои сочинения, но молодые люди, более или менее оказавшие успехи в словесности или подающие о себе надежды, будут даже приглашаемы, потому что учреждение этих вечеров имеет главным предметом приведение в известность их произведений.

25 января, пятница.

Слышно, что скоро на русской сцене появится новая актриса, которая никогда себя не готовила для сцены. Это — дочь балетмейстера Валберха, прекрасная собою и очень образованная девушка.[1] Говорят также, что какой-то молодой человек, служащий в Банке, по фамилии Крюковской, входит в состязание с Озеровым и пишет или уже написал новую патриотическую трагедию, взяв сюжет из эпохи междуцарствия и назвав ее «Пожарский». Павел Михайлович Арсеньев, ежедневный гость у А. Л. Нарышкина, уверял, что он слышал некоторые сцены и стихи, которые могут назваться превосходными — дай бог! Кажется, деятельность театральных сочинителей увеличивается; обещают еще три новые комедии известных писателей кн. Шаховского, Крылова и П. Сумарокова.

27 января, воскресенье.

Кто-то сказал: «On souffre moins de la part des grands que de la part de leurs singes», и я начинаю тому верить. Мне очень хотелось представиться Александру Львовичу Нарышкину, и Лабат, старинный его знакомец и кредитор, дал мне рекомендательное к нему письмо. Я был у него сегодня утром, но добрался до него не без труда: какой-то господин, которого называли Александром Ильичом, толстый, хриповатый и с опухшим лицом, встретил меня и весьма

гордо и даже несколько неучтиво стал расспрашивать, что я за человек, зачем пришел, от кого письмо и какого оно содержания; говорил, что Александра Львовича едва ли можно сегодня видеть, потому что он очень занят, что я лучше бы сделал, если б пришел в другое время, и прочее, тому подобное. Я отвечал, что письмо от Якова Петровича Лабата, который поручил мне отдать его Александру Львовичу непременно сегодня, и что если ему теперь нет времени, так я подожду вместе с другими. Александр Ильич отвернулся от меня и насмешливо улыбнулся, как бы давая мне чувствовать: «ну, брат, долго же тебе дожидаться». Между тем в небольшой приемной комнате было довольно холодновато и сесть было не на чем: немногие стулья были все заняты какими-то просительницами в шляпках. Я продрог и устал. Положение мое становилось неприятным, но делать было нечего: сам кругом виноват; однако ж скоро вышедший камердинер объявил, что Александр Львович приказал принимать всех и что он сел чесаться. Меня, как подателя письма, впустили первого. Нарышкин сидел закутанный в пудро-мантель; его завивали и пудрили. Я подал ему письмо, которое он тотчас же распечатал и мигом пробежал глазами. «Очень рад познакомиться», — сказал он, протягивая мне руку и так бесцеременно, так откровенно и добродушно, что у меня расцвела душа. «А что делает старый гасконец?», — спросил он, разумея Лабата. Я отвечал, что он довольно здоров, хотя по прежнему прихрамывает... «И по прежнему объедается, — продолжал Александр Львович, — надобно осторожнее поступать со своим желудком». С последним словом он захохотал. «Vous voyez le diable qui prêche la morale; но между нами большая разница: я делаю очень много движения, а он сидит сиднем». Я поздравил его с получением высочайшего рескрипта от 19-го числа. «А читал ли ты его, мой милый? Если читал, то верно заметил, что государь, по милости своей, открыл во мне качества, которых я сам не подозревал за собою». — «C'est l'économie et l'ordre dans les affaires, dont veut parler votre excellence», — с улыбкою подхватил высокий худощавый старик, живописец Мес, как кажется, домашний у Нарышкиных человек. За сим Александр Львович приглашал меня обедать у него, когда только мне вздумается,

и поручил тому самому толстому господину, который так невежливо прежде говорил со мною, представить меня от его имени супруге его, Марье Алексеевне, если я приеду в те часы, когда она принимает, и не застану его самого дома. Я откланялся; толстый хрипун проводил меня гораздо вежливее, чем встретил, и, на расставанье, объявил мне, что его зовут А. И. Сен-Никлас, что он считается секретарем при его высокопревосходительстве, но заведывает домашними его делами. «Ну, так позвольте мне, — сказал я ему, — явиться к вам в такое время, как вы сами назначите и быть вам обязанным моим представлением Марье Алексеевне». — «Да какую имеете вы надобность до Марьи Алексеевны? — возразил Сен-Никлас, — она небольшая охотница до новых знакомств и всегда сетует на Александра Львовича, что он рекомендует ей молодых людей, когда они не нужны для балов, а балов теперь не предвидится». Я отвечал, что бывать у Александра Львовича и не быть представленным его супруге было бы очень странно и неучтиво. «Помилуйте, — подхватил Сен-Никлас, — Марья Алексеевна не знает и половины гостей, которые ездят в Александру Львовичу, да и сам-то он едва ли помнит имена их: войдут, поклонятся — а там и делай что хочешь. Впрочем, как вам угодно, я всегда к вашим услугам».

Не знаю, как примет меня Марья Алексеевна, но что касается до Александра Львовича, то я вышел от него вполне довольный и счастливый. Это настоящий русский барин. Он не думает унизить своего достоинства, протягивая дружелюбно руку незначительному чиновнику и предлагая ему прибор за столом своим. Говорят, что он легкомыслен; а какое кому до того дело? Он не путается в дела государственные, не берет на себя тяжелой обязанности быть решителем судьбы людей и довольствуется своим жребием быть счастливым и по возможности счастливить других.

Я видел Александра Львовича в прошлом году в Москве, на клубном обеде, данном князю Багратиону, и мне в мысль не приходило, чтоб он был так доступен и приветлив. Напишу или переведу какую-нибудь пьеску и посвящу ему: может быть, добьюсь и я бесплатного входа в театр.

28 января, понедельник.

Видел здешнего обер-полицеймейстера Эртеля. Прежде он был обер-полицеймейстером в Москве и нагнал такой страх на москвичей, что все его боялись пуще Архарова. Теперь он тих и скромен; генерал стареет, а стареющий человек, естественно, должен чувствовать более нужды в людях и потому быть с ними обходительнее. Я слышал, что его не очень уважают в обществе, хотя и отдают справедливость его расторопности.[1]

Граф Монфокон сказывал, что он в детстве своем видел несколько раз известную в истории прелестницу Марион де Лорм, которой тогда было уже около 130 лет; давно пережила она всех своих современников и даже биографов и находилась в бедности. Родители Монфокона и другие известные люди ей помогали. Сколько Монфокон мог себе припомнить, Марион была преотвратительная старуха и совсем почти выжила из ума и памяти. Единственным предметом ее разговоров был кардинал де Ришелье: им только она и бредила.[2] Sic transit gloria mundi!

29 января, вторник.

Н. Челищев доставил мне письма от моих домашних и малую толику деньжонок, в которых я начинал чувствовать нужду. Как быть! В два с половиною месяца я издержал около 500 руб. Деньгам рад, но право столько же рад и посланию Петра Ивановича: он пишет, что Москва гуляет во всю ивановскую, ополчаясь на силу вражию, на могучего забияку Бонапарте — могучего, как он выражается, и существенными силами своих полчищ и тем нравственным очарованием, какое придают ему военные его удачи. Мой добрый Петр Иванович всегда свысока и не может написать страницы без затейливых фраз.

Челищев рассказывал, что с пробуждением воинственного духа показался в Москве такой необыкновенный прилив денег, какого старики не запомнят; но зато вместе с ним появились и азартные игры в таких огромных размерах, каких также не запомнят старики. Все прежние любимые увеселения, как то: собрания, балы, спектакли и разного рода охоты, предоставлены теперь мелкой сошке,

а богачи пустились искать ощущений сильнейших за карточными столами. Банк во всем разгаре: проигрывают и выигрывают неимоверные суммы. Нечто подобное начиналось уже в запрошлом году, и мне очень памятны эти физиономии банкометов, тощие и страдальческие, физиономии, которые я не желал бы встречать часто в жизни; эти дрожащие руки, закрывающие карты принадлежащей им стороны и после медленно их вскрывающие с таким трепетом, как будто бы вскрывали они роковой жребий свой на жизнь или смерть. . . страшно смотреть!

31 января, четверг.

Вопрос: можно ли проспать сутки, не просыпаясь?

Ответ: можно. Я проспал 25 часов; и если бы меня из сожаления не разбудили, то, может быть, проспал бы и долее. Альбини ужаснулся, а хозяин мой, добрый Торсберг, рассказывая сегодня гостям своим о таком необыкновенном случае, непременно настаивал на консультацию. Однако ж я ничего не чувствую, и милые немочки, кроме опухших глаз и оплывшего лица, никакой другой перемены во мне не заметили. Мы пели до самого ужина, и я так славно вторил Schwester Dorchen в дуэте из «Волшебной флейты», что заслужил общее одобрение: так и заливался

Mann und Weib, und Weib und Mann
Reichen an die Gottheit an!

В конце ужина приехавший из дворца дежурный лейб-медик Бек объявил, что в 9 часу прибыл из армии курьер с какими-то важными известиями, о которых объявлено будет только по прибытии другого курьера, ожидаемого завтрашний день.

1 февраля, пятница.

Славный мне выдался день! Только что успел я продрать глаза, как явились Альбини с Торсбергом и каким-то придворным цирюльником; оба медика стали уговаривать меня пустить себе кровь, для того чтоб предупредить последствия вчерашней спячки. По несогласию моему, они готовы были прибегнуть к насилию, и Торсберг серьезно доказывал, что Альбини обязан заставить меня ре-

шиться на кровопускание, во избежание ответственности перед моими домашними, которые поверили меня ему на руки. Сначала я отшучивался просто, но вдруг пронял меня такой истерический смех, что мои эскулапы и стоявший в молчании цирюльник не знали, что подумать и стали переглядываться между собой. Мне вообразилось, что мы разыгрываем сцену из мольерова «Пурсоньяка», а Торсбергу, что предусмотрительность его оправдалась, и я вдруг спятил с ума. Насилу мог я избавиться от неугомонных моих попечителей, дав им честное слово принять такие лекарства, какие прописать для меня им вздумается, с тем только, чтоб освободили меня от кровопускания.

Вечером был во французском спектакле. Давали комедию «Le Bourru bienfaisant» — торжество Лароша, и оперку «Le dejeuner des garçons», в которой так хороши мадам Филис и Сен-Леон, отъезжающий скоро в Париж. Но актеры играли и пели для слепых и глухих: никто не обращал на них никакого внимания, никто не слушал ни комедии, ни оперы, потому что все смотрели на Ставицкого, присланного генералом Беннигсеном с известием об одержанной победе под Прейсиш-Эйлау. Подполковник Ставицкий, флигель-адъютант, сидел в ложе графини Строгановой и что-то с жаром рассказывал входившим беспрестанно в ложу разным особам. В креслах и партере между зрителями слышался какой-то невнятный говор: одни шептались, другие переговаривались громче, а некоторые вставали с мест своих и, подходя к ложам, делали вопросы знакомым дамам, но вместо ответов были в свою очередь осыпаемы только вопросами. Несмотря на все напряженное внимание, я не мог уловить ни одной определенной фразы и только мог различить слова: «Une victoire complète, une bataille sanglante, beaucoup de blessés, le comte Osterman, Toutschkoff, Koutaïsoff» и тому подобное; в таком волнении публики прошел весь спектакль, под конец которого в ложе Александра Львовича столько набралось его знакомых, что он, кажется, не знал, куда от них деваться. Впрочем, и во всех ложах, особенно у Катерины Ильиничны Кутузовой, Марьи Антоновны Нарышкиной и такой же красавицы княгини Суворовой столпилось много посетителей и посетительниц и было так шумно, как бы в домашних гостиных.

Возвращаясь из театра, я заметил, что большею частию все домы, мимо которых я проезжал, были освещены необычайно светло, а у иных подъездов стояло много экипажей и простых саней. Это недаром: общих праздников нет, о балах не слыхать, следовательно, городские обыватели собираются для передачи друг другу полученных вестей. Завтра в Коллегии узнаю и я о всех подробностях бывшего сражения, но дорого бы дал, чтоб узнать о них теперь, на сон грядущий, потому что неудовлетворенное любопытство не в ладах с Морфеем.

2 февраля, суббота.

Кажется над нами сбылась народная поговорка: «Наша взяла, а рыло в крови». Илья Карлович, бывший утром у министра, слышал от него, что одних только наших русских осталось на месте сражения около 30 000 человек, а о пруссаках ничего еще не известно. Бой продолжался двои сутки с попеременным успехом, но мы наконец одолели. В самом городе Эйлау, который князь Багратион взял приступом, была ужасная резня: мы били французов по улицам, как поросят; к сожалению, не могли его оставить за собою, потому что какой-то генерал, желая собрать рассеянных солдат, приказал несвоевременно бить сбор, и они поспешили на призыв, не успев совершенно вытеснить неприятеля. Родофиникин и Дивов уверяют, что, по соображении знающих людей, это сражение вовсе не оканчивает дела и есть только начало других битв, хотя, может быть, и не столь кровопролитных, и что оно важно только в отношении к нравственному влиянию, какое может иметь на дух наших войск, считавших доселе Бонапарта непобедимым. Теперь мы доказали, что он не совсем так непобедим, как утверждали, и что можно бороться с ним не без успеха.

Что-то будут говорить сегодня за обедом у Гаврила Романовича и на литературном вечере у Шишкова? Очень желаю слышать толки и суждения людей благомыслящих о теперешних наших военных обстоятельствах и, признаюсь, столько же хочется знать, что происходить будет на первом литературном вечере, на который многие собираются по приглашению почтенного хозяина.

3 февраля, воскресенье.

Поздно вчера возвратился я от А. С. Шишкова, веселый и довольный. Общество собралось не так многочисленное, как я предполагал: человек около двадцати — не больше. Гаврила Романович, И. С. Захаров, А. С. Хвостов, П. М. Карабанов, князь Шихматов, И. А. Крылов, князь Д. П. Горчаков, флигель-адъютант Кикин, которого я видел в Москве у К. А. Муромцевой, полковник Писарев, А. Ф. Лабзин, В. Ф. Тимковский, П. Ю. Львов, М. С. Щулепников, молодой Корсаков, Н. И. Язвицкий, сочинитель букваря, Я. И. Галинковский, автор какой-то книги для прекрасного пола под заглавием «Утренник»,[1] в которой, по отзыву Щулепникова,[2] лучшими статьями можно почесть: «Любопытные познания для счисления времен» и «Белые листы для записок на 12 месяцев», и, наконец, я, не сочинивший ни букваря, ни белых листков для записок на 12 месяцев, но приехавший в одной карете с Державиным, что стоит букваря и белых листов для записок. Долго рассуждали старики о кровопролитии при Эйлау и о последствиях, какие от нашей победы произойти могут. Одни говорили, что Бонапарте нужно некоторое время, чтоб оправиться от полученного им первого в его жизни толчка; другие утверждали, что если расстройство во французской армии велико, то и мы потерпели немало, что наша победа стоит поражения и обошлась нам дорого, потому что из 65 000 человек бывших под ружьем, выбыла из строя почти половина. Слово за слово завязался спор: Кикин и Писарев, как военные люди, с жаром доказывали, что надобно продолжать войну и что мы кончим непременно совершенным истреблением французской армии и самого Бонапарте; а Лабзин с Хвостовым возражали, что теперь-то именно и должно хлопотать о заключении мира, потому что, имея в двух сражениях поверхность над французами, мы должны воспользоваться благоприятным случаем выйти с честью из опасной борьбы с сильным неприятелем. Хозяин решил спор тем, что как продолжение войны, так и трактация о мире зависят от благоприятного оборота обстоятельств, а своим произволом ничего не сделаешь, и что бывают случаи, повидимому очень маловажные, которые имеют

необыкновенно важное влияние на происшествия, уничтожая наилучше составленные планы или способствуя им. «Возьмем, например,— сказал серьезный старик, — хотя бы и последнее сражение: отчего погиб корпус Ожеро? Оттого что внезапно поднялась страшная метель и снежная вьюга прямо французам в глаза: они сбились с настоящей дороги и неожиданно наткнулись на главные наши батареи. Конечно, расчет расчетом и храбрость храбростью, но положение дел таково, что надобно действовать осторожно и не спеша решаться как на продолжение войны, так и на заключение мира; а впрочем, государь знает, что должно делать».

Время проходило, а о чтении не было покамест и речи. Наконец, по слову Гаврила Романовича, ходившего задумчиво взад и вперед по гостиной, что пора бы приступить к делу, все уселись по местам. «Начнем с молодежи, — сказал А. С. Хвостов, — у кого что есть, господа?». Мы, сидевшие позади, около стен, переглянулись друг с другом и почти все в один голос объявили, что ничего не взяли с собой. «Так не знаете ли чего наизусть? — смеясь, продолжал Хвостов, — как же это вы идете на сражение без всякого оружия?». Щулепников отвечал, что может прочитать стихи свои к «Трубочке». —«Ну хоть к Трубочке! —подхватил И. С. Захаров, меценат Щулепникова, — стишки очень хорошие». Щулепников подвинулся к столу и прочитал десятка три куплетов к своей «Трубочке», но не произвел никакого впечатления на слушателей. «Пахнет табачным дымком», — шепнул толстый Карабанов Язвицкому. — «Как быть! — отвечал последний, — первую песенку зардевшись спеть». Гаврила Романович, видя что на молодежь покамест надеяться нечего, вынул из кармана свои стихи «Гимн кротости» [1] и заставил читать меня. Я прочитал этот гимн к полному удовольствию автора и, кажется, заслужил репутацию хорошего чтеца. Разумеется, все присутствующие были или казались в восторге, и похвалам Державину не было конца. За этим все пристали к Крылову, чтоб он прочитал что-нибудь. Долго отнекивался остроумный комик, но наконец разрешился баснею из Лафонтена «Смерть и дровосек», в которой, сколько припомнить могу, есть прекрасные стихи:

. . . Притом жена и дети,
А там боярщина, подушные, оброк,
И выдался ль когда на свете
Хотя один мне радостный денек?

а заключительный смысл рассказа выражен с такою простотою и верностью:

Что как на свете жить ни тошно,
Но умирать еще тошней.[1]

Это стоит лафонтенова стиха:

Plutôt souffrir, que mourir.

Казалось, что после Крылова никому не следовало бы отваживаться на чтение стихов своих, каковы бы они ни были, однако ж князь Горчаков, по приглашении приятелей своих Кикина и Карабанова, решился на этот подвиг и, вынув из-за пазухи довольно толстую тетрадь, обратился ко мне с просьбою прочитать его послание к какому-то Честану о клевете. Как ни лестно было для меня это приглашение, однако ж я долго отговаривался, извиняясь тем, что, не зная стихов, невозможно хорошо читать их, потому что легко дать им противосмысленную интонацию, но Гаврила Романович с нетерпением сказал: «Э, да ну, братец, читай! что ты за педант такой?». И вот я, покраснев от стыда и досады, взял у Горчакова тетрадь и давай отбояривать:

Свершилось наконец, и ты, Честан, и ты
Предмет злословья стал и жертвой клеветы;
Чудовища сии кого не поражали?
Когда и на кого свой яд не извергали?
Ты молод и пригож, ты честен и богат,
Ты добродетелен — так ты и виноват.
Пред светом винен тот, кто зависти достоин:
В нем трусом прослывет победоносный воин,
Безмездного судью мздоимцем нарекут,
Невинную красу к распутницам причтут!
Что хочешь ты, скажи, лишь злое кстати слово —
И общество его превозносить готово.
Зови того глупцом, кто кроток или благ;
Кто ж строг и справедлив — людей и бога враг,
Свет будет повторять: он щедр на порицанья.[2]

Далее не припомню, но все послание в том же тоне; немножко длинновато и стихи идут попарно вереницею, бьют в такт, как два молота об наковальню, но в них местами довольно силы и есть мысли — читать можно. Все слушали с большим вниманием, и по окончании чтения А. С. Хвостов сказал, кивая на князя Горчакова, с которым, как видно, он исстари дружен: «Это наш Ювенал».

Очередь дошла до Карабанова. Он также член Российской Академии и, повидимому, очень уважается, потому что писал и переводил много всякой всячины, от театральных пьес до книг духовного содержания. Щулепников говорил, что из всех его сочинений лучшими почитаются шуточные стихотворения, которых, к сожалению, напечатать нельзя. Мне показалось очень странным, что такой толстый, пухлый и серьезный человек занимается бездельем, и я думал, что сочинитель куплетов к «Трубочке» подшучивает надо мною, однако ж многие подтвердили слова Щулепникова, прибавив, что эти стихотворения, как то: «Пахарь», «Казак» и проч., написаны легко, остроумно и прекрасным языком.[1] Карабанов прочитал лирическую песнь на манифест о милиции, которою всех больше восхищался полковник Писарев, повторявший при окончании каждой строфы, состоящей из двенадцати шестистопных стихов: «Прекрасно, прекрасно!». Карабанов читает внятно, но так протяжно, монотонно и вяло, что невольно одолевает дремота: так читал я псалтирь по дедушке. Я мог запомнить только несколько стихов из последней строфы, в которой автор обращается к государю:

. . . Тебе защитой будь
Неколебимая россиян верных грудь;
И верует вся Русь, что днесь в охрану трона
Восстанет сам господь от горняго Сиона.

А. С. Шишков приглашал князя Шихматова прочитать сочиненную им недавно поэму в трех песнях «Пожарский, Минин и Гермоген»; но он не имел ее с собою, а наизусть не помнил, и потому положили читать ее в будущую субботу у Гаврилы Романовича. Моряк Шихматов необыкновенно благообразный молодой человек, ростом мал и вовсе не красавец, но имеет такую кроткую и светлую физиономию, что, кажется, ни одно нечистое помышление никогда не забиралось

к нему в голову. Признаюсь в грехе, я ему позавидовал: в эти годы снискать такое уважение и быть на пороге в Академию. . . [1] За ужином, обильным и вкусным, А. С. Хвостов с Кикиным начали шутя нападать на Шихматова за отвращение его от мифологии, доказывая, что это непобедимое в нем отвращение происходит от одного только упрямства, а что, верно, он сам чувствует и понимает, каким огромным пособием могла бы служить ему мифология в его сочинениях. — «Избави меня боже! — с жаром возразил Шихматов, — почитать пособием вашу мифологию и пачкать вдохновение этой бесовщиной, в которой, кроме постыдного заблуждения ума человеческого, я ничего не вижу. Пошлые и бесстыдные бабьи сказки — вот и вся мифология. Да и самая-то древняя история, до времен христианских — египетская, греческая и римская — сущие бредни, и я почитаю, что поэту-христианину неприлично заимствовать из нее уподобления не только лиц, но и самых происшествий, когда у нас есть история библейская, неоспоримо верная и сообразная с здравым рассудком. Славные понятия имели эти греки и римляне о божестве и человечестве, чтоб перенимать нелепые их карикатуры на то и другое и усваивать их нашей словесности!».

Образ мыслей молодого поэта, может быть, и слишком односторонен, однако ж в словах его есть много и правды.

После ужина Гаврила Романович пожелал, чтоб я продекламировал что-нибудь из «Артабана», которого он, как я подозреваю, успел, по расположению ко мне, расхвалить Шишкову и Захарову, потому что они настоятельнее всех стали о том просить меня. Я отказался решительно от декламации, извинившись тем, что ничего припомнить не могу, но предложил, если будет им угодно, прочитать свое послание к «Счастливцу», написанное гекзаметрами; тотчас же около меня составился кружок, и я, не робея, пропел им:

Юноша! тщетно себе ты присвоил названье счастливца:
Ты, не окончивший поприща, смеешь хвалиться победой!*

---

* Эти стихи, написанные в 1805 г. (в то время, когда никто еще не писал гекзаметрами, кроме Тредьяковского), напечатаны впоследствии в «Учебной книге российской словесности», изданной г. Гречем.[2] *Позднейшее примечание.*

Старики слушали меня со вниманием и благосклонностью, особенно Гаврила Романович, которого всегда поражает какая-нибудь новизна, очень хвалил и мысли и выражения, но позади меня кто-то очень внятно прошептал: «В тредьяковщину заехал!». И этот кто-то чуть ли не был Писарев. Бог с ним! Гаврила Романович сетовал, зачем я не прочитал ему прежде этих стихов, и прибавил, что если у меня в чемодане есть еще что-нибудь, то принес бы к нему на показ. Дорогой отозвался он о князе Шихматове, что «он точно имеет большое дарование, да уж не по летам больно умничает».

5 февраля, вторник.

Люблю видеть немцев в трагедиях Шиллера, Гёте, Клингера и Цшокке; люблю их в драмах Лессинга, Иффланда и Коцебу: в «Эйлалии Мейнау», в «Охотниках» и «Гусситах»; восхищаюсь ими в фарсах: в «Die Schwester von Prag», в «Das neue Sonntagskind» и проч., но боже избави видеть, как разыгрывают они пьесы героические, например хоть бы «Октавию», в которую сегодня нелегкая занесла меня! Что это такое? Куда девались таланты актеров? Что сталось с актрисами? Что за обстановка? Ах ты, господи! что за Марк Антоний, которого играл даровитый Кудич? Что за Октавиан — полнощекий мой Гебгард? Что за Клеопатра — полногрудая красавица Леве? и, наконец, что за Октавия, приятельница моя, мадам Гебгард, хотя и сноснейшая из всех нестерпимо несносных персонажей уродливой драмы Коцебу? Да это не спектакль, а подкачельное игрище. И охота же им, добрым моим немцам, выходить из своей колеи и взбираться на ходули, когда они так хорошо ходят на своих ногах! Я сидел в продолжение всего спектакля, как на иголках, краснея и бледнея за своих знакомцев, но когда досидел до сцены, в которой Марк Антоний (Кудич), сидя с Клеопатрою (Леве) на каком-то пуховике, покрытом конюшенным ковром, изволит растарабаривать о сладости взаимной любви, а Октавиан — Гебгард приходит не в пору пенять ему за то, что он изменяет жене своей, а его сестре, то со мною чуть не сделалась истерика. Ведь надобно же было выдумать такую гиль и разыгрывать ее с такими египетско-чухонскими ужимками и ухватками, что не будь я приятель Окта-

вии и Октавиана, то лопнул бы со смеху! В первый раз от роду пожалел я об истраченном рубле, который мог бы употребить с большею пользою: зрелище не стоило гроша. Поневоле вспомнишь Штейнсберга: со всем своим талантом он никогда не отваживался на представление пьес героических, взятых из древней истории, ни высоких комедий: «Это не по нашему масштабу, — говорил он, — наше дело рыскать по земле, а не летать по воздуху». Вот это значит ум.

6 февраля, среда.

Сегодня удалось мне видеть богатую брильянтовую «челенгу», подаренную некогда султаном адмиралу Ушакову.[1] Старый моряк пожертвовал было ее в пользу милиции, но государь пожелал, чтоб она осталась навсегда в семействе Ушакова памятником его подвигов, а за усердие приказал удостоверить его в постоянном своем благоволении. Кстати об адмиралах. Толкуют, что адмирал Синявин, высадив внезапно команду человек в триста на один из далматских островов, Курцоли, занятый французами, перебил и взял в плен у них много людей и совершенно вытеснил их оттуда. О великих способностях и неустрашимости Синявина говорят очень много; подчиненные его обожают и, кажется, он пользуется общим уважением и большою народностью.

Наш Федор Данилович всегда в восторге, когда дело идет о какой-нибудь филантропической мере; прежде он очень превозносил румфордов суп, а теперь превозносит какое-то растение «рогатку», или «чилим», которое находится по берегам рек, прудов и озер и может быть употребляемо в пищу.[2] Министр коммерции граф Румянцев предложил Экономическому обществу сделать испытание, в какой степени это растение, похожее на каштан или картофель, может быть полезно и как успешнее разводить его в большом количестве. Федор Данилович уверяет, что прибрежные жители реки Суры иногда едят его и находят вкусным и питательным и что оно может заменить хлеб. Все это прекрасно, но зачем же заботиться об успешном разведении «чилима», а не обратить лучше внимания на средства к успешному урожаю самой ржи или пшеницы там,

где они плохо родятся? а где родятся хорошо, так на что ж там «чилим»? Что-то непонятно. . .

7 февраля, четверг.

Вестей, вестей из Москвы, матушки Москвы белокаменной! Вот что пишут о делах театральных. На французском театре дебютировала актриса Ксавье в роли вольтеровой «Меропы». Мадам Ксавье женщина очень высокого роста, довольно нескладная; орган имеет грубый, чувствительности ни на грош и также похожа на «Меропу», как гренадер на танцмейстера. Она не произвела никакого эффекта, да и публики было немного. Другой дебют ее был в роли «Малабарской вдовы», но еще неудачнее: она решительно не понравилась, и москвичи не знают, зачем она прислана на московскую сцену, на которой французских трагических актеров нет, а смотреть на одну мадам Ксавье и слушать ее бесчувственную декламацию никому нет охоты. «Не понимаю, — сказал в Английском клубе директор Приклонский, приятель Мордвинова, покровителя мадам Ксавье, — отчего было так мало публики в оба дебюта такой известной актрисы?». — «Оттого, — подхватил шалун Протасьев, — что в первый дебют ее была оттепель и шел мокрый снег, а во второй прилучился мороз и была ясная погода». На русском театре давали «Магомета», которого играл Плавильщиков с большим успехом. У немцев пошло дело на бенефисы: Литхенс давал какую-то драму «Агнеса Бернауер», Эме — оперу «Оберон» с музыкою Враницкого, а Галтенгоф объявил, что дает Херубиниевского «Водовоза». Француз Тексье в доме Н. С. Салтыкова, на Мясницкой, читает лекции о драматическом искусстве (lectures dramatiques); он повторяет Лагарпа и воображает, что читает свое. Балетмейстер Мунарети поставил новый балет под названием «Охотники», который смотреть охотников немного. Цыгане попрежнему поют и пляшут; ни одна пирушка без них состояться не может, и Стешка, так же как и прежде, соловьиным своим голосом действует на сердца и карманы своих слушателей и поклонников. На-днях появилась в продаже книжка под заглавием «Плуг и соха», с эпиграфом: «Отцы наши не глупее нас были»; ее приписывают графу Растопчину. Говорят, что эта

книжка сочинена им на Дмитрия Марковича Полторацкого, который вводит у нас обработывание земли на манер английский. Странно, что это сочинение не продается в книжных лавках, а найти его можно только в доме знакомки твоей, А. С. Небольсиной, на Поварской улице.[1]

9 февраля, суббота.

Сегодняшний литературный вечер у Гаврила Романовича начался чтением стихов его на выступление в поход гвардии. На этот раз я охотно отказался бы от чтения их пред публикою — так мне они не по сердцу, но побоялся, чтоб он опять не огрел меня названием педанта, и волею-неволею провозгласил:

Ступай и победи.
Никем непобедимых;
Обратно не ходи
Без звезд на персях зримых![2]

В детстве моем я слыхал от родных, что дядя мой Иван Герасимович Рахманинов, которого я зазнал уже стариком и помещиком деревенским в полном значении слова, занимался некогда литературою и был в связи с Крыловым и Клушиным. Мне захотелось поверить это семейное сказание, и я, подсев к Крылову, спросил его, в какой мере оно справедливо. «А так справедливо, как нельзя более, — отвечал мне Крылов, — и вот спросите у Гаврила Романовича, который лучше других знает все, что касается до Рахманинова. Он был очень начитан, сам много переводил и мог назваться по своему времени очень хорошим литератором. Рахманинов был гораздо старее нас и, однако ж, мы были с ним друзьями; он даже содействовал нам к заведению типографии и дал нам слово участвовать в издании нашего журнала „Санктпетербургский Меркурий“, но по обстоятельствам своим должен был вскоре уехать в тамбовскую деревню. Мы очень любили его, хотя, правду сказать, он и не имел большой привлекательности в обращении: был угрюм, упрям и настойчив в своих мнениях. Вольтер и современные ему философы были его божествами. Петр Лукич Вельяминов, друг Гаврила Романовича, был также его другом и, кажется, свойствен-

ником». Вслушавшись в фамилию Рахманинова, Гаврила Романович вдруг спросил нас: «А о чем толкуете?». Я отвечал, что говорим о дяде Иване Герасимовиче Рахманинове и что я хотел узнать от Ивана Андреевича о литературных трудах его. «Да, — сказал Гаврила Романович, — он переводил много, между прочим философические сочинения Вольтера, политическое его завещание и другие его сочинения в 3-х частях; известие о болезни, исповеди и смерти его, Дюбуа; „Спальный колпак" Мерсье; издал миллерово „Известие о российских дворянах", и, наконец, издавал еженедельник под заглавием „Утренние часы". Человек был умный и трудолюбивый, но большой вольтерианец.[1] Иван Андреевич и Клушин были с ним коротко знакомы. Да, кстати о Клушине: скажите, Иван Андреевич, точно ли Клушин был так остер и умен, как многие утверждают, судя по вашей дружеской с ним связи?». — «Он точно был умен, — сказал с усмешкою Крылов, — и мы с ним были искренними друзьями до тех пор, покамест не пришло ему в голову сочинить оду на пожалование андреевской ленты графу Кутайсову. . . ». — «А там поссорились?». — «Нет, не поссорились, но я сделал ему некоторые замечания на счет цели, с какою эта ода была сочинена, и советовал ее не печатать из уважения к самому себе. Он обиделся и не мог простить мне моих замечаний до самой своей смерти, случившейся года три назад».[2]

Между тем Иван Семенович Захаров, вынув из портфеля претолстую тетрадь, приглашал всех послушать новый перевод нравоучительных правил Рошфуко (Maximes), сделанный каким-то Пименовым (вероятно, одним из его многочисленных protégés), и как ни хвалил он этот перевод, но, кажется, ни у кого не было охоты слушать его, а А. С. Шишков без церемоний объявил, что он большой нелюбитель этих нарумяненных французских моралистов, которых все достоинство заключается в одном щегольстве выражений, и что как бы ни был хорош перевод, он не может принести ни большой пользы, ни удовольствия, потому что знающие французский язык предпочтут чтение сочинения в оригинале, а для незнающих оно в переводе покажется сухим и недостаточным для полного понятия об авторе. Князь Шихматов присовокупил, что уж если дело пошло

на перевод моралистов, то надлежало бы приняться не за Рошфуко и Лабрюера, а скорее за Иисуса Сираха. . . «Вот так правила! — сказал он с необыкновенным одушевлением, — вот где настоящая, полная наука общежития! И почему бы трудолюбивому и грамотному человеку не взять на себя труда перевести Сираха, выпустив из него некоторые длинноты и повторения, и не издать его особою нравоучительною книжкою? Почему бы не приспособить афоризмов этого писателя, столь простых, понятных и так глубоко врезывающихся в память, к первоначальному чтению для юношества, и почему бы не наполнить ими всех азбук и даже прописей? Чего хочешь, того и просишь у этого дивного Сираха, и всякий найдет себе в нем то, что может быть ему на потребу и утешение в жизни, — от самых первых оснований премудрости, заключающейся в страхе божием, почтении к властям и любви к ближнему, до самых тонких общественных приличий: все есть, и это все как превосходно выражено! . .» Остальное до завтра.

10 февраля, воскресенье.

«Все это так, однако ж пора вам, князь, познакомить нас с вашими „Пожарским, Мининым и Гермогеном“, — сказал А. С. Хвостов. — Моралисты моралистами, а поэзия поэзией, и нам забывать ее не должно. Мы отложили чтение вашей поэмы до нынешней субботы: ну так давайте ее сюда без отговорок». — «Я и не думал отговариваться, — возразил князь Шихматов очень простодушно, — я сочинил мою поэму не для того, чтоб оставлять ее в портфеле, и рад таким слушателям». Развернув тетрадь, князь приготовился было читать ее, но А. С. Шишков не дал ему разинуть рта, схватил тетрадь и сам начал чтение. Стихи хороши, звучны, сильны и богатство в рифмах изумительное: автор вовсе не употребляет в них глаголов, и оттого стихи его сжаты, может быть даже и слишком сжаты, но это их не портит. Не постигаю, как мог он победить это затруднение, составляющее камень претыкания для большей части стихотворцев. О достоинстве содержания поэмы и расположении ее судить нельзя, не прочитав ее всей от начала до конца, á tête reposée; но видно по всему, что молодой поэт успел набить руку. Шишков

читал творение своего любимца внятно, правильно и с необыкновенным одушевлением. Я от души любовался седовласым старцем, который так живо сочувствовал красоте стихов и передавал их с такою увлекательностью: судя по бледному лицу и серьезной его физиономии, нельзя было предполагать в нем такого теплого сочувствия к поэзии. Я запомнил множество прекрасных стихов и мог бы вчера безошибочно записать их, но сегодня почти все перезабыл и могу припомнить только некоторые из посвящения государю:

И род Романовых возвысив на престол,
Исторгли навсегда глубокий корень зол;
Два века протекли, как род сей достохвальный
Дарует счастие России беспечальной:
Распространил ее на север и на юг,
Величием ее исполнил земной круг,
Облек ее красой и силою державной
И в зависть мир привел ее судьбою славной.

И далее из воззвания Гермогена к народу:

Отдайте жизнь, сыны России,
Полмертвой матери своей;
Обрушьте на враждебны выи
Ярем, носящийся над ней.[1]

Крылов не читал ничего, сколько его о том ни просили — извинялся, что нового не написал, а старого читать не стоит, да и не помнит. Ф. П. Львов прочитал стишки свои к «Пеночке», написанные хореем довольно легко и с чувством:

Пеночка моя драгая,
Что сюда тебя влекло?
Легкое твое крыло,
Чистый воздух рассекая, и проч.

Но эти стишки возбудили спор: П. А. Кикин ни за что не хотел допустить, чтоб в легком стихотворении к птичке можно было употребить выражение д р а г а я вместо д о р о г а я и сказать к р ы л о, когда надобно было сказать к р ы л ь я. За Львова вступились Карабанов и другие, но Захаров порешил дело тем,

что слово драгая вместо дорогая и в легком слоге может быть допущено, так же как и слово возлюбленный и драгоценный вместо любезный или любезнейший, как например:

Ты зачем меня оставил,
Мой возлюбленный супруг,
И в чужбину путь направил, и проч.

Но что касается до выражения крыло вместо крылья, то, по совести, надлежало бы изменить его, потому что птица может рассекать воздух только двумя крыльями, а на одном в воздухе даже и держаться не может. Этот спор, видимо, неприятен был Федору Петровичу, и он часто посматривал на Крылова, который как-то насмешливо улыбался.[1]

«А знаете ли вы, — спросил у меня Щулепников, — стихи графа Д. И. Хвостова, которые он в порыве негодования за какое-то сатирическое замечание, сделанное ему Крыловым, написал на него?» «Нет, не слыхал», — отвечал я. — «Ну, так я вам прочитаю их, не потому что они заслуживали какое-нибудь внимание, а только для того чтоб вы имели понятие о сатирическом таланте графа. Всего забавнее было, что он выдавал эти стихи за сочинение неизвестного ему остряка и распускал их с видом сожаления, что есть же люди, которые имеют несчастную склонность язвить таланты вздорными, хотя, впрочем, и очень остроумными эпиграммами. Вот эти стишонки:

Небритый и нечесаный,
Взвалившись на диван,
Как будто неотесаный
Какой-нибудь чурбан,
Лежит, совсем разбросанный,
Зоил Крылов Иван:
Объелся он иль пьян?

Крылов тотчас же угадал стихокрапателя: „В какую хочешь нарядись кожу, мой милый, а ушка не спрячешь“, — сказал он и отмстил ему так, как только в состоянии мстить умный и добрый Крылов: под предлогом желания прослушать какие-то новые стихи графа

Хвостова, напросился к нему на обед, ел за троих и после обеда, когда Амфитрион, пригласив гостя в кабинет, начал читать стихи свои, он без церемонии повалился на диван, заснул и проспал до позднего вечера».

За ужином говорили об умершем 6 января московском губернском предводителе князе П. М. Дашкове, сыне княгини Екатерины Романовны; его хвалили как человека очень доброго и много благодетельствовавшего под рукою бедным дворянам. Он был очень образован, веселого нрава и хотя чрезвычайно толст, но любил танцевать и танцевал легко. Впрочем, он также имел своих недоброжелателей: его укоряли в легкомыслии и заносчивости. В последнее время неожиданная милость государя, который, в изъявление благоволения своего к Москве, наградил его александровским орденом, вскружила ему голову.[1]

Во время ужина приехал флигель-адьютант Марин и сказывал, что, кажется, путешествие государя решено, и едва ли он скоро не отправится в армию. Об этом слышал он от обер-гофмаршала графа Толстого утром, при смене своей с дежурства. Кикин шутя спросил его: «Et comment vont vos bonnes fortunes?». Буду отвечать тебе, сказал Марин, как один путешественник, возвратившийся из Рима, отвечал своему знакомому на подобный вопрос: «Il y a tant des bonnes fortunes à Rome, qu'il n'y a plus de bonne fortune». Остряк за словом, как говорится, в карман не полезет. Он также сочинил стихи на современные происшествия и читал их после ужина стоя, не придавая им большой важности; в них есть обращение к Бонапарте, выраженное очень энергически. Мне понравился один стих, который можно обратить в афоризм:

Высокомерие предтеча есть паденья.

11 февраля, понедельник.

Чем больше вижу Яковлева на сцене, тем больше удивляюсь этому человеку. Сегодня он поразил меня в роли Мейнау в драме «Ненависть к людям и раскаяние». Какой талант! Вообще я не большой охотник до коцебятины, как называет князь Горчаков

драмы Коцебу, однако ж Яковлев умел до такой степени растрогать меня, что я, благодаря ему, вышел из театра почти с полным уважением к автору. Как мастерски играл он некоторые сцены, и особенно ту, в которой Мейнау обращается к слезам, невольно выкатившимся из глаз его при воспоминании об измене жены и об утрате вместе с нею блаженства всей своей жизни! с каким неизъяснимым и неподдельным чувством произнес он эти немногие слова: «Милости просим, давно небывалые гости!», слова, которые заставили плакать навзрыд всю публику; а немая сцена внезапного свидания с женою, когда, только что перешагнув порог хозяйского кабинета, он неожиданно встречает жену и, вдруг затрепетав, бросается стремглав назад — эта сцена верх совершенства! [1]

В роли Мейнау я видел Плавильщикова, Штейнсберга и Кудича. Первый играл умно и с чувством, но не заставлял плакать, подобно Яковлеву. Штейнсберг и Кудич также были хороши, всякий в своем роде; но, боже мой! какая разница между ними и как все они далеко отстали от этого чародея-Яковлева! Я никогда не воображал, чтоб актер, без всякой театральной иллюзии, без нарядного костюма, одною силою таланта мог так сильно действовать на зрителей. Дело другое в «Димитрии Донском» или какой-нибудь другой трагедии, в которой могли бы способствовать ему и превосходные стихи самой пьесы и великолепная ее обстановка, а то ничего, ровно ничего, кроме пошлой прозы и полуистертых и обветшалых декораций. А костюм Яковлева? — черный, поношенный, дурно сшитый сюртук, старая измятая шляпа, всклоченные волосы, и со всем тем, как увлекал он публику!

Многие говорили мне, что Яковлев и в самых драмах является трагическим героем. Ничего не бывало: вероятно, эти многие не видали Яковлева в роли Мейнау. Одно, в чем упрекнуть его можно, — это в совершенном пренебрежении своего туалета. Городской костюм ему не дался, и всякий немецкий сапожник одет лучше и приличнее, чем был на сцене он, знаменитый любимец Мельпомены.

Роль мадам Миллер, то есть Эйлалии, играла Каратыгина прекрасно. В игре этой актрисы много драматического чувства, много безыскусственной простоты, которая действует на душу и нечув-

ствительно увлекает ее. Эта женщина вполне обладает, как говорят французы, даром слез (don des larmes). Эта лучшая Эйлалия из всех доселе виденных мною.* Как мамзель Штейн (нынешняя Гебгард) ни была хороша, но сравниться с нею не может, а о московских русских актрисах нечего и говорить.

Отчего во французских спектаклях, когда действие происходит в комнате, расстилают на сцене сукно, а в русских этого не делают? Неужто же ноги французских актрис и актеров нежнее и чувствительнее ног актеров и актрис русских? или французская публика взыскательнее русской? Это что-то неладно и, конечно, долго продолжаться не может. Опрятность сцены гораздо важнее, нежели думают, для произведения сценических эффектов, а о приличии костюмов и говорить нечего! Не будь Яковлев одет так мизерабельно, по выражению приятеля моего Кобякова, он показался бы вдвое превосходнее, да и драма-то выиграла бы вдвое, если б декорации были поновее, как, например, во французских спектаклях или в балете.

12 февраля, вторник.

Я полагал, что наш П. А. Рахманов считает себя математиком только про свой обиход, а на поверку выходит, что он признается и многими известными учеными за одну из лучших голов математических. Заехав сегодня к нему из Коллегии, я застал у него несколько ученых и, между прочим, знаменитого математика Гурьева (помнится, Семена Емельяновича) и присутствовал при их диспуте. Рахманов защищал свои опыты «О поверхностях вращения и о цилиндрических и конических поверхностях», недавно вышедшие из печати, и заставил замолчать всех. Вот он каков математик-музыкант! Несмотря на то, что математика для меня настоящая тарабарская грамота, я, однако ж, мог заметить, что доводы и доказательства Рахманова были сильнее возражений его диспутантов и что они уступали не из одного только уважения к хозяину дома. От-

* Два года после автору «Дневника» удалось видеть в Риге знаменитую мадам Оман (Ohman), и она только одна могла в роли Эйлалии сравниться с Каратыгиной. *Позднейшее примечание.*

стояв свои опыты, Рахманов принялся хвалить сочинение Гурьева, также недавно изданное под заглавием «Основания трансцендентной (или трансцендентальной, бог его знает!) геометрии кривых поверхностей» (изволь понять!), и все присутствующие хором пристали к Рахманову. Эти взаимные похвалы друг другу ученых математиков привели мне на память сцену Триссотина и Вадиуса из мольеровой комедии «Ученые женщины», так прекрасно переведенной И. И. Дмитриевым:

Триссотин.
Вы истинный поэт, скажу я беспристрастно.
Вадиус.
Вы сами рифмы плесть умеете прекрасно!

Как бы то ни было, но я, однако ж, понять не могу, как может согласить Рахманов любовь свою к математике с любовью к музыке и в одно и то же время заниматься *теориею* каких-то *наибольших и наименьших величин функций многих переменных количеств* (и выговорить-то не под силу) и «Дон-Жуаном» Моцарта или «Аксуром» Сальери? — непостижимо!

13 февраля, среда.

Альбини приглашали завтра на вечер к Эллизену. У него праздник по случаю пожалования его в статские советники. Он семь лет был в чине.

В Коллегии сказывали, что указ об учреждении ордена св. Георгия для солдат уже подписан и на сих днях будет обнародован. Прекрасно! Не одно «ура!» прогремит доброму, попечительному нашему государю в его храбром войске.

Обществу московских граждан изъявлена чрез Тимофея Ивановича Тутолмина высочайшия благодарность за устройство дома призрения для 150 человек по случаю рождения великой княжны Елизаветы Александровны, и в особенности купцу Павлову, простившему 36 000 р. несостоятельным должникам своим.*

* Автор «Дневника» коротко знаком был с внуком и наследником сего Павлова, Антипом Ивановичем Павловым, человеком очень известным в Москве

Князь Александр Борисович Куракин получил очень лестный рескрипт от вдовствующей императрицы за пожертвованный им в пользу воспитательных заведений значительный капитал, назначенный было им своему воспитаннику, барону Сердобину, но, за смертию его, оставшийся в распоряжении князя.

Старик Иван Петрович Тургенев приехал в Петербург. Он ежедневный гость у М. Н. Муравьева и Н. Н. Новосильцева.

14 февраля, четверг.

Вот и еще письмо от доброго моего Петра Ивановича: хочет приехать сюда, но не пишет зачем. Петербург не его сфера. Впрочем, для меня все равно; я обниму его с величайшею радостью и буду его вожатым: в два с половиною месяца я успел изучить Петербург, конечно, лучше таблицы умножения. Петр Иванович восхищается моими знакомствами, в восторге от благосклонности ко мне Гаврила Романовича и чуть не поссорился за меня с Мерзляковым, который, несмотря на удостоверения его, что Державин похвалил моего «Артабана», продолжает утверждать, что эта трагедия — один пустой набор слов и сущая галиматья. Грустно слышать подобные отзывы о милом детище, но, кажется, они справедливы, и я начинаю с ними соглашаться.

Приходил Гебгард с Кистером, который хочет дебютировать на здешней немецкой сцене. «А на какое амплуа хотите вы поступить?», — спросил я его. — «На амплуа трагических злодеев (Bösewichte)». — «Вот как! из первых любовников попасть в злодеи! Чем же начнете вы?». — «Ролью арапа в „Фиеско“». — «А там?».— «Там, что бог даст!». Я смекнул, что денежки бедного Штейнсберга пошли гулять по белому свету. «А мадам Штейнсберг?». — «Мадам Штейнсберг отправляется в Ригу или за границу: ей нужно поправить здоровье в другом климате». — Понимаю!

и одаренным прекрасными свойствами души и сердца. В 1812 г., во время нашествия неприятеля, он лишился почти всего огромного своего состояния, но перенес несчастие свое без ропота и сохранил веселое расположение духа до самой своей кончины. *Позднейшее примечание.*

Я откровенно признался Гебгарду, что был очень недоволен представлением «Октавия» и не люблю его в роли кесаря Октавиана, что эта роль нейдет к нему так же, как и роль Марка Антония к Кудичу. «Вы правы, — сказал он мне, — но что ж делать? нельзя же вечно играть Фердинанда и Карла Моора, потому что публика желает видеть иногда и другие пьесы». — «Так играйте „Дона Карлоса“, „Орлеанскую деву“, „Мессинскую невесту“, „Валленштейна“, „Эгмонта“, „Клавиго“, „Фьеско“, „Вражду братьев“ — словом, играйте, что хотите, только не трагедии, взятые из римской и греческой истории, и особенно трагедии такие как „Октавия“, в которых вы, господа немцы, смешны». Мой Гебгард понадулся, но против правды нет слов.

15 февраля, пятница.

Вчерашний вечер у Эллизена был на славу: кроме знаменитых медиков, которые почти все собрались поздравить достойного своего собрата с получением монаршей милости, приехали многие и не принадлежащие к сословию медиков, как то: наш д. ст. сов. Родофиникин, служащие при статс-секретарях Новосильцове — ст. сов. Дружинин и Витовтове — Аделунг; референдарий Комиссии составления законов Розенкампф, которого видел я у князя П. В. Лопухина, и еще двое не известных мне высших чиновников: Ризенкамф и Ренненкамф; это созвучие фамилий очень забавляло хозяина, который, обращаясь к ним, не иначе говорил: «Meine liebe Herren Rosen-, Riesen- und Rennen-kämpfe». Играли в бостон и пили пунш-ройяль — смесь коньяку с шампанским, подслащенную ананасным вареньем: очень вкусно. Дам не было, потому что хозяин вдовец, а Schwester Dorchen принимать гостей женского пола почему-то отказалась, хотя отец и предлагал ей вместо простого вечера дать бал. Хозяин мой Торсберг пенял мне, что я редко бываю у него по четвергам, и сказал, что вчера, за отсутствием моим, барышни были невеселы и отказались даже петь любимое их трио: «Nach Regen folget Sonnenschein», потому что некому было подтянуть им. Я обещался быть у него в следующий четверг и точно буду, потому что у радушного и краснощекого моего брюханчика бесцеремонно, весело и всегда много премилых немочек.

За ужином, пока гости еще не совсем удовлетворили аппетит, толковали о предметах серьезных, так, например, лейб-хирург Кельхен говорил, что без сильной страсти к науке превосходным медиком быть нельзя и что человек, посвящающий себя медицине и имеющий в виду приобретение одних только средств к своему существованию, никогда не достигнет до настоящей степени искусства, какое требуется от хорошего медика. «Правда, — отвечал веселый Торсберг, — однако ж все мы, сколько нас ни есть, принимаясь в первый раз за анатомический нож, побеждали свое отвращение к рассекаемому трупу одною надеждою на будущую практику, а к зловонию мертвеца привыкали только в том убеждении, что оно со временем превратится для нас в упояющие ароматы». Это откровенное замечание простодушного доктора возбудило общий хохот.

Между прочим, Дружинин (которого зовут, кажется, Яковом Александровичем) сказывал, что министр коммерции граф Румянцев очень хлопочет об усовершенствовании переплетного мастерства в России и исходатайствовал разные преимущества переплетчикам.

Ужин кончился далеко за полночь в шумном весельи; тосты за здоровье государя, министров и хозяина почти не прекращались. Собеседники наперерыв обращались к Эллизену с разными пустыми вопросами, мне кажется, только для того, чтоб иметь случай назвать его: «Herr Staatsrath». Пресмешные немцы!

Утром сегодня заходил ко мне Вельяминов с жалобою на земляка моего Кобякова, что не дает ему покою: то просит перевести ему арию, то присочинить две, а наконец, пристал к нему, чтоб он перевел целый финал из оперы «Каирский караван». «Конечно, все эти пустяки не стоют мне большого труда, — говорил Вельяминов, — но я дорожу временем и могу употребить его на что-нибудь лучшее, чем на сочинение или перевод вздорных куплетов, которые друг наш, Петр Николаевич, выдает за свои». Я советовал Вельяминову отучить Кобякова от этих проделок, сочинив для него какую-нибудь нелепицу вроде тех, которые он так мастерски импровизирует; пока наш приятель будет доискиваться в ней смыслу, сказал я, ты успеешь отдохнуть.

Завтра очередной литературный вечер у И. С. Захарова. Гаврила Романович требует, чтоб я прочитал какие-нибудь из своих стихов: «иначе, — прибавил он, — если никто из молодых людей читать не станет, то опять, того смотри, нас попотчуют переводом Рошфуко, да и цель собраний будет не достигнута». Бог весть, соберусь ли я с духом читать стихи свои пред публикою. И хочется и колется . . Впрочем, смелость берет города!

16 февраля, суббота.

Отец писал, чтоб я похлопотал по березняговскому делу и попросил кого-нибудь в Межевом департаменте Сената о скорейшем окончании этого несчастного процесса, продолжающегося более 17 лет. Рано утром отправился я в Сенат и провозился там до двух часов, отыскивая секретаря Булкина, к которому прежде для справок и наставлений отец адресоваться мне приказал. Булкин с великим огорчением объявил, что он не заведывает больше нашим делом, и что оно по приказанию обер-прокурора Клима Гавриловича Голикова передано другому секретарю, Степану Степановичу Ватиевскому. «А где ж Ватиевский?», — спросил я у Булкина. «А вон сидит там», — отвечал Булкин. Я обратился к Ватиевскому. Презрительно посмотрев на меня, он спросил довольно грубо: «Что вам угодно?». Я объяснил, в чем дело. «Сегодня день неприсутственный, — сказал он, — извольте придти в другой раз». — «Да потому-то, что день неприсутственный и господа секретари свободны от докладов, я и решился беспокоить вас, тем более что желание мое так маловажно и заключается только в том, чтоб узнать, в каком положении находится наше дело». — «Не от нас зависит-с, а от обер-секретаря: адресуйтесь к нему». — «Где ж обер-секретарь?». — «В зале присутствия». — «Можно его видеть?». — «Спросите у курьера». — «А как зовут его . .?». — «Кого, курьера или обер-секретаря?». — «Разумеется, последнего». — «Богдан Иванович Крейтер». И вот я, с каким-то стеснением в душе, обратился к курьеру и просил его доложить обо мне обер-секретарю. Едва курьер успел войти в залу, как тотчас же и вышел обер-секретарь, человек лет под шестьдесят, довольно почтенной наружности и прямо ко мне с вопросом: «А что,

батюшка, вам угодно?». Я сказал ему, что желал бы узнать о положении нашего дела. «Да вы приезжий, что ли?». — «Нет, я здесь служу, но в делах неопытен и в Сенате знакомств не имею». — «А у кого из секретарей ваше дело?». — «У г. Ватиевского». — «Это по Найденской даче, что ли?», — спросил он у секретаря. «Точно так». — «Что ж, вы ему ничего не сказали? — продолжал Крейтер с видом укора. — Подайте дело!». Секретарь с какою-то гримасою встал со стула, отпер шкаф, вытащил оттуда огромную связку бумаг и, развязав ее, подал Крейтеру, который, пробежав несколько листов с конца, тотчас же объявил мне, что дело наше остановилось за неполучением каких-то новых справок из Вотчинного департамента и Межевой канцелярии, что оно не может быть так скоро решено, но чтоб я не унывал, потому что в справедливости доказательств со стороны нашей нет ни малейшего сомнения; а затем, чтоб я не тратился попустому и, в случае надобности, без церемоний обращался прямо к нему и что он даст мне в свое время совет, к кому из сенаторов должно будет разнести обыкновенные записки. «У нас, батюшка, — примолвил он, — заседают люди добрые. Вот хоть бы Петр Амплеевич (Шепелев), князь Павел Петрович (Щербатов) или Неплюев — сенаторы радушные и правдивые, а к Климу Гаврилычу, может, сыщете какую-нибудь п р о т е к ц и ю». Я отвечал, что имел честь лично представляться князю Петру Васильевичу и что он принял меня милостиво, а сверх того, знаком с сенатором И. С. Захаровым, у которого буду сегодня и на литературном вечере. «Ну, так и слава богу! Чего ж, батюшка, лучше? Христос с вами! Успокойте родителей ваших!».

Я живо тронут был радушием этого благородного человека и, конечно, никогда его не забуду.*

Теперь отправимся к Захарову на чтение.

---

*Б. И. Крейтер был не только добрый и честный человек в полном значении слова, но, сверх того, знающий и опытный делец. Автору «Дневника» удалось узнать многие подробности его жизни, делающие честь уму его и сердцу. Вот один пример его бескорыстия. И. Ф. С—й (честнейший человек) нанимал у него в доме, на Сергиевской улице, квартиру и, будучи перемещен на службу в Саратов, должен был ехать, не имея чем расплатиться с хозяином. «Как же

17 февраля, воскресенье.

Вчерашний вечер у И. С. Захарова не похож был на вечер литературный. Кого не было! Сенаторы, обер-прокуроры, камергеры и даже сам главнокомандующий С. К. Вязмитинов. Когда я вошел в гостиную, меня как будто обдало кипятком и чуть не помутились глаза; я боялся, чтоб не пришлось мне читать стихи свои перед этим ареопагом; дело, однако ж, обошлось благополучно: я читал их после ужина, подкрепив себя тремя или четырьмя рюмками доброго вина и в то время, когда уже большая половина гостей разъехалась.

Из лиц, которые были на вечере, всех более произвел на меня впечатление Вязмитинов, и совсем не по званию своему главнокомандующего и министра военных сил, а по необычайной своей вежливости и благосклонному, предупредительному обращению.* Вязмитинов приглашен был на вечер в качестве автора: он некогда (1778 г.) сочинил оперку, известную под заглавием «Новое семейство», и сам, как меня удостоверяли, положил ее на музыку. Хотя оперка в двух действиях, имевшая в свое время только случайный успех, и не может давать ему права на звание литератора, чего, конечно, он и не добивается, но любовь его к словесности, желание следить за ее успехами и уважение к трудам литературным заслуживают того, чтоб пред ним растворились двери и самой Академии. Он не похож на того вельможу, который, как я слышал, публично утверждал, что литераторы решительно ни к чему неспособные люди и что всех бы их следовало засадить в дом сумасшедших. Вот меценат!

быть, Богдан Иваныч? — говорил И. Ф., — у меня не только на расплату с вами, но едва ли достанет денег и на прогоны». — «Э, ну! — отвечал старик, — заплатите когда-нибудь; а не достанет на прогоны, так, пожалуй, я дополню». — «А если умру?» — возразил С—й. — «Ну так сочтемся на том свете», — решил добрый Крейтер.

* О С. К. Вязмитинове будет пространнее говорено впоследствии. Автор «Дневника» имел случай видеть его ежедневно с 1812 по 1816 год, быть свидетелем неутомимых его трудов по должности главнокомандующего и управляющего министерством полиции и оценить высокие качества души его и сердца. Это был муж совета и разума и, несмотря на высокое свое звание, необыкновенно скромен, кроток, доступен и приветлив. *Позднейшее примечание.*

Гаврила Романович долго и с жаром разговаривал о чем-то с сенаторами, князем Салаговым и Резановым, заседающими в одном департаменте с хозяином дома, и потом, живо обратясь к сидевщему возле Вязмитинова обер-прокурору П**,[1] вдруг спросил его: «Да за что ж, Гаврила Герасимович, вы мучите человека? Вот я сейчас просил Дмитрия Ивановича и князя о скорейшем окончании дела этого несчастного Ананьевского: они ссылаются на вас, что вы предложили потребовать еще какие-то новые от палаты справки; но ведь справки были давно собраны все; если же нет, то зачем не потребовали их прежде и в свое время?». П** извинялся, уверяя, что дело Ананьевского скоро кончено будет. «Кончено будет! — возразил Гаврила Романович, — но покамест он и с детьми может умереть с голоду».

Мне стало понятно, отчего многие не любят Державина.

Началось чтение. Читали стихи какого-то Кукина на случай избрания адмирала Мордвинова, друга А. С. Шишкова, в губернские начальники московской милиции. Стихи очень плохи: видно, что они произведение какого-нибудь домашнего стихотворца, более усердного, нежели талантливого. Хозяин прочитал перевод свой нескольких писем Фенелона о благочестии; нет сомнения, что эти письма камбрейского архиепископа в высокой степени поучительны и полезны, но надобно читать их дома, с некоторым размышлением, а не в таком обществе, которое собирается следить за успехами русской литературы не по переводам известных иностранных писателей, а по новым оригинальным сочинениям, да и перевод Захарова напыщен и вовсе не имеет характер фенелонова слога, столь простого и благородного. Слушая эти письма, гости почти дремали, но, кажется, хозяин не замечал этого и безжалостно продолжал чтение до самого ужина, а между тем Вязмитинов уехал, воспользовавшись минутою отдохновения чтеца; за ним вскоре удалились князь Салагов, Резанов и еще многие, одни за другими, вставая потихоньку с мест своих, прокрадывались из гостиной на цыпочках; нечувствительно кружок разредел, и остались только мы, большею частью слушатели по призванию, то есть те, которым хотелось или ужинать или читать стихи свои. Мне хотелось и того и другого, но мало ли

чего хочется! и дородная барышня Скульская, двадцатипятилетняя невинность, любимая ученица моего Петра Ивановича, в одной из своих чересчур наивных басенок сказала сущую правду:

Мы сами иногда не знаем,
Чего так пламенно желаем!

Конечно, мне удалось и поужинать и прочитать стихи свои «К деревне»:

Деревня милая, отчизна дорогая,
Когда я возвращусь под кров счастливый твой? [1]

но зато и выслушать получасовое замечание некоторых, повидимому, записных аристархов о том, что эпитет м и л а я не у места и может прилагаться только к одушевленным предметам, как, например, к другу, к женщине, к ребенку и проч., что нельзя также сказать, обращаясь к деревне: «Когда я возвращусь под кров твой», потому что деревня слово с о б и р а т е л ь н о е и хотя состоит из м н о г и х к р о в о в, но собственно сама по себе к р о в о м назваться не может, но что, впрочем, очень легко исправить эти стихи следующим образом:

Деревня т и х а я, о хижина д р а г а я и проч.

Все замечания были в том же роде, но никто не заметил мне того, что я заметил сам себе, то есть, что стихи мои не заключают в себе ничего, кроме одного набора слов, и что в них нет ни одной мысли, на которой бы остановиться можно было; они похожи на какую-то жижу, смесь воды с каплею меда: пить непротивно, но и вкуса никакого нет.

В заключение, добродушный хозяин сказал мне с видом п р о з о р л и в ц а, что он тотчас же угадал, что я принадлежу к новой московской школе. «У вас есть способности, — примолвил он, — но вам надобно еще поучиться. Поживете с нами, мы вас в ы п о л и р у е м»... Покорнейше благодарю!

А между тем я подслушал, как Гаврила Романович, который, видно, небольшой охотник до грамматики и просто п о э т, кому-то прошептал: «Так себе, переливают из пустого в порожнее!».

Ужин был славный. Бесспорно стихи мои могут подлежать критике, но об ужине и самый злейший зоил не может сказать ничего,

кроме хорошего; иначе, по деликатному выражению Бородулина:

Он будет наглый лжец!

Сегодня первый день масленицы: охота забирает гулять, а между тем завтра стукнет мне девятнадцать лет. Чувствую, что я и так много потерял времени и что пора бы точно последовать совету прозорливого И. С. Захарова и приняться пристальнее за настоящее дело, да не слажу с собою. Сам не знаю, что происходит у меня в голове, а о сердце и подумать страшно: легионы чертей беспощадно терзают его, а между тем я должен казаться спокойным, бодрым и даже веселым. Чем все это кончится — известно одному богу, но я не предвижу ничего путного и почти уверен, что дорого расплачусь за неуменье владеть собою. Счастлив буду, если беда обрушится только на мне; в противном случае, куда деваться от людей, а пуще от самого себя?

18 февраля, понедельник.

Минувшие два года сряду праздновал я день своего рождения у себя дома — праздновал небогато, но весело, в небольшом кружку знакомых и милых мне людей. Памятны мне наши беседы за простою студенческою трапезою: умные, красноречивые рассуждения Алексея Федоровича и острые шутки Буринского и прибаутки Снегиря-Nemo и застольные песни Злова; а вот нынешний год бог привел праздновать этот день у чужих людей. . . Хотел было идти туда, но пошел в павильон слушать гасконады добродушного Лабата и споры его с дочерьми и графом Монфоконом.

И хорошо сделал: непритворные ласки болтливого семейства благотворно подействовали на больную душу. Расспросам конца не было: зачем пропадал так долго? у кого бывал? чем занимался? и проч. и проч. Дочери уверяли, что я похудел, а внучка Марья Лукинична с участием утверждала, что я непременно должен быть влюблен, потому что, по ее мнению, молодым людям нельзя не быть влюбленным. «Следовательно, и вы влюблены?», — спросил я ее. — «Hélas, je suis si laide, et pourtant je voudrais bien me marier», —

отвечала она. Расцеловал бы ее, голубушку, за такое откровенное признание!

За обедом маркиз Лаферте* сказывал, что последние победы наши над французами при Пултуске и Прейсиш-Эйлау возродили большие надежды в короле и его приверженцах на возможность скорого возвращения во Францию. «Возвращения, может быть, но уж, конечно, не так скорого, — заметил граф Монфокон, — потому что l'Ogre Corse покамест очень могуществен и владеет огромными средствами, чтоб с успехом противостоять державам целой Европы в совокупности. Без особого чуда, — прибавил он, — бедный наш король долго должен еще скитаться по чужим областям, и я боюсь, что все мы, сколько нас ни есть, не доживем до счастия увидеть возвращение ему похищенного трона».** — «К несчастью, Монфокон прав, — сказал с видом величайшего сожаления и всплеснув руками Лабат. — Бонапарте силен; борьба с ним скоро окончиться не может, и одна надежда на помощь божию и содействие России». — «А я так думаю, напротив, — возразил Лаферте, — еще несколько усилий со стороны Германии, Англии и России — и Бонапарте удержаться не может, потому что если он испытает несколько таких же неудач, как при Эйлау, то и Франция не останется спокойною».

Из этих предположений и возражений родились споры; горячились, шумели, кричали, как водится обыкновенно за обедами у Лабата, и кончили тем, что замолчали от устали и отправились в гостиную к камину пить кофе и в блаженной полудремоте ожидать сварения желудка; а я между тем подсел к Марье Лукиничне, которая, в благодарность за то, что предпочел лучше беседовать с нею, чем болтать с ее тетушками, старалась всячески занимать меня и рассказала мне пропасть анекдотов о старых французах, которых,

* Знатный эмигрант, за отъездом графа Блакаса оставшийся поверенным в делах короля Людовика XVIII.

** Однако ж старый граф Монфокон дожил до этого счастия и мог бы участвовать в щедротах короля эмигрантам (в министерство Виллеля), но смерть постигает нас большею частью в то время, когда мы достигаем совершенного исполнения надежд и желаний наших: Монфокон умер, сбираясь в Париж. *Позднейшее примечание.*

кажется, она не очень любит. «Tous ces messieurs sont si irascibles et parfois si bêtes, — говорила она: — que je m'ennuye à les voir seulement. Хорошо, что еще провалился этот несносный граф де Блакас. C'était mon cauchemar, и когда приезжал он к нам, я всегда была очень в дурном нраве».

Бедная дурнушка очень неглупа, прекрасно образована в институте, cause parfaitement bien, и, право, можно было бы подчас забыть ее непригожество, если б она сама не напоминала о нем беспрестанными своими восклицаниями: «Ah, je suis si laide!».

Я спросил у нее: отчего бы мог ей так опротиветь граф де Блакас. — «Как отчего? — отвечала она, — он такой самонадеянный, такой решительный и самолюбивый, что мочи нет. Il tranchait sur tout. Пусть бы он был какой красавец, а то вовсе нет: такой же рыжий, как я, только с тою разницею, что он пудрится, а я м а ж у свои волосы; все лицо в веснушках, рот большой и зубы черные: désagréable et déplaisant. Он при каждом случае подсмеивался надо мною и вместо любезностей говорил мне колкости, да за то однажды и отплатил ему граф де Бальмен». — «Чем же? вызвал его на дуэль?». — «Нет, до дуэли не дошло, а было близко. Вот как это случилось: у нас был званый вечер, и мы, все дамы и кавалеры, играли в petits jeux. Всякая дама поочередно объявляла на ухо своей соседке, ч е м б ы о н а б ы т ь ж е л а л а, а очередный кавалер, подходя к ней, старался отгадать ее желание; если отгадывал, то возвращался на свое место, и его заменял другой, если же нет, то должен был обходить весь кружок и, в случае совершенной неудачи, подвергаться тому наказанию, какое придумают дамы. Когда очередь дошла до меня, я шепнула соседке своей, мамзель Лазаревой, что хотела бы быть м о н а ш е н к о ю, и это желание, так натуральное в моем положении, никак не пришло в голову моему кавалеру, который стоял против меня в совершенном недоумении, придумывая бог весть какие несообразности: то приписывал мне желание быть розою, то королевою, то ангелом, ainsi de suite. Блакас, которому, видно, наскучили все эти отгадки невпопад, вдруг вскочил со стула и объявил, что он тотчас же отгадает мое желание. — „Ну так отгадывайте скорее!", — в один голос под-

хватили все. — „Mademoiselle de Loukachevitsch желала бы быть красавицею!“. Я вспыхнула и чуть не заплакала от стыда и досады. — „Не отгадали, — сказала добрая Катерина Лазарева, — мамзель Лукашевич желает быть монашенкою“. — „Alors pardon, mesdames! но я назвал то, чего желали бы все девицы“. По окончании этой игры граф де Бальмен, capitaine aux gardes, véritable chevalier par sa bravoure et la noblesse de son coeur, подошел ко мне и сказал, чтоб я не огорчалась выходкою Блакаса и что он будет за то наказан. В самом деле, когда гости собрались опять в кружок для новой игры и рассаживались по местам как ни попало, граф де Бальмен воспользовался замешательством этого размещения и в ту минуту, когда Блакас садился на стул, так ловко вытолкнул его из-под насмешника, что тот опрокинулся назад и растянулся на полу. Я не знаю, как он не расшиб себе затылка. Все захохотали. Блакас встал в величайшем раздражении, окинул глазами хохотавших и сказал: „Si c'est un homme, j'espère qu'il se nommera!“. Я догадалась, на что намекал он, и потому, решившись предупредить историю, сказала ему очень хладнокровно: „Pardon, monsieur, c'est moi“. Я слышала, что Блакас после узнал виноватого, но дело как-то уладилось; что же касается до меня, то этот о р а н г у т а н г не только перестал потчевать меня колкими своими любезностями, но даже и говорить со мною».

Тут бедная дурнушка задумалась и, помолчав с минуту, с глубоким вздохом сказала: «Вы не можете представить себе, сколько я перенесла унижений от своего безобразия!».

«Однако ж вы совсем не так безобразны, Марья Лукинична, как себе воображаете, — сказал я. — Правда, у вас волосы рыжие, но рыжие волосы почитаются в Италии за величайшую красоту; у вас сплющенный нос и толстые губы, но зато выразительные глаза и белые ровные зубы; вы хорошего роста, а руки ваши могут служить образцом для художников. Поверьте, что, может быть, найдется человек, который в вас влюбится*, для него вы будете красавицей, а до

* Предсказание мое сбылось: этот человек нашелся в молодом дипломате З—е. Но — увы! роман кончился несчастливо: Марья Лукинична умерла в одном из н. . .их женских монастырей, затворницею. *Позднейшее примечание.*

других вам нужды нет; только, пожалуйста, не повторяйте так часто ваших восклицаний: „Ah, je suis si laide! ah, je suis si laide!“. Когда я слышу их, мне становится стыдно за вас! Si vous n'êtes pas belle, vous avez d'autres qualités, qui peuvent vous rendre chère à un homme raisonnable et sensé!».

Марья Лукинична несколько утешилась и очень благодарила меня за ласковое и отрадное ей слово.

19 февраля, вторник.

Масленица в полном разгаре. Я таскался по балаганам глазеть на народ, продрог и промочил ноги, а зачем ходил — бог весть. Лучше было бы заняться чем-нибудь путным, вместо того чтоб рисковать здоровьем. Пожалуй, чего доброго, Альбини с Торсбергом опять захотят пустить мне кровь! Может статься, оно было бы и нужно, только не из рук и не ланцетом. . .

По набережной гулявших было много; было также довольно нарядных экипажей, но в этом отношении Петербург не может равняться с Москвою: у нас вообще упряжь гораздо великолепнее. Московские щеголи ничего не делают вполовину; отличаться так отличаться: подавай золоченые колеса, красную сафьянную сбрую с вызолоченным набором, который горел бы, как жар; подавай лошадей — львов и тигров с гривами ниже колена, таких лошадей, которые бы, как выражаются охотники, просили к о ф е; а как одеть кучеров иначе, как не в бархатные кафтаны, голубые, зеленые, малиновые с бобровыми опушками, с какою-то блестящею оторочкою! Словом, загляденье! Здесь все гораздо проще и, может быть, во всем больше вкуса, но для человека, привыкшего к раззолоченным каретам, к красной сбруе, к бархатным кафтанам ярких цветов и гремящим цепям, которыми перевожжены коренные лошади и подручная, здешние экипажи могут показаться несколько бедными. Мне понравился, впрочем, экипаж офицера конной гвардии Жандра: четверня огромных рыжих лошадей с проточинами, все одна в одну; идут на курбетах; карета почти черного цвета с красными обводками, очень легкая и красивая, а упряжь из тоненьких веревочек,

обтянутых глянцевою кожею, с самым легким серебряным наборцем — очень мило и красиво.

Приходил сослуживец мой Алексей Юшневский, бывший наш студент, приятель Гнедича, малый умный и чудак преестественный; он застал меня за письменною конторкою с пером в руке. «Что делаешь?». — «Пишу». — «Сочиняешь?». — «Описываю». — «Какого чорта ты описываешь?». — «Не чорта, а свой день». — «Славное занятие! и не скучно?». — «Привык». — «Правда, ко всему привыкнуть можно. . . ». — «Кроме голода. . . ». — «И жажды, — подхватил он, — прикажи-ка подать чаю». — «Прикажи сам».

Юшневский велел принести самовар и чайный прибор, поставил столик и, накрыв его салфеткой, расположился пить чай en amateur. «Вы все профаны, — сказал он, — пьете чай кой-как; надобно пить его со вкусом, как пьют московские купчихи». — «Кушай во здравие; у меня чай московский, его станет на год на всю артель сослуживцев». — «Знаю; Хмельницкий не нахвалится твоим чаем; оттого-то, признаться, я и зашел к тебе». — «Спасибо за откровенность». — «Впрочем, это шутка, а зашел я к тебе вот зачем: не хочешь ли познакомиться с Гнедичем?». — «Как не хотеть!». — «Так отправимся к нему завтра». — «Нет, не могу». — «Почему же?». — «Надобно подождать, пока поумнею: все это время я очень глуп». — «Так нам долго придется ждать». — «Бог не без милости! я был свидетелем и не таких чудес». — «Каких же?». — «Я видел слабоумного Грамматина на степени первого ученика в пансионе, и умного золотомедального ученика Граве на публичном немецком театре в роли странствующего башмачника». — «Что ж это доказывает?». — «Это доказывает, что первые бывают последними и последние первыми». — «Теперь подлинно я вижу, что мы долго не пойдем к Гнедичу: ты к тому же залез в метафизику». — «Поживи с мое, залезешь в нее и ты».

Юшневский захохотал; он был старее меня четырьмя годами. «Да признайся, что ты там вараксал в то время, как я пришел?».— «Право, записывал день свой». — «Неужто же в самом деле ежедневно записываешь всякий вздор?». — «Непременно». — «Какая цель тратить попустому время? Лучше бы читал или сочинял что-

нибудь дельное». — «Со временем, может быть, и этот вздор на что-нибудь пригодится». — «Поэтому запишешь и наш разговор с тобою?».— «Слово в слово». — «И покажешь мне?». — «Завтра же в Коллегии». — «Чудак!». — «Родом так». — «Предвижу, что вы будете большими друзьями с Гнедичем: он в своем роде также чудак». — «Может быть, но покамест я не пойду к нему». — «А сказать ему о тебе?». — «Кто ж мешает? Скажи, что я рад с ним познакомиться, но не теперь, у меня точно голова не в порядке». — «Да что ж такое? Денег нет или семейные огорчения?». — «Небольшие деньги на нужду есть, а в семействе до сих пор все обстоит благополучно». — «Ну так воля твоя, не понимаю». — «И понимать нечего; бывает у молодых лошадей мыт, а у людей корь и оспа и разные волдыри на теле; у меня волдыри на душе и на сердце: нравственный мыт — вот и все; будет с тебя?».

Мой Юшневский отправился домой приговаривая: «Жаль, очень жаль! Но, видно, мы долго не пойдем к Гнедичу».

20 февраля, среда.

Утром заходил в Коллегию и, к крайней досаде моей, узнал, что дежурство мое приходится в воскресенье. Нечего сказать — весело! Последний день масленицы я буду затворником. Одна надежда на Хмельницкого, что не даст умереть со скуки.

Я показал Юшневскому вчерашний дневник мой. Он удивился, прочитав его, и не утерпел, чтоб не подписать под ним: с подлинным верно,* примолвив: «Долго не идти нам к Гнедичу!».

Вечером с час просидел у Гаврила Романовича. Он был неразговорчив и что-то невесел, однако ж не жалуется на нездоровье. Просил меня придти завтра утром взглянуть на четверку лошадей, которых прислал ему граф Кутайсов с тамбовского своего завода. Говорит, что обошлись недорого, только боится, чтоб не были очень бойки.

---

* Эта подпись на дневнике сохранилась и до сих пор. *Позднейшее примечание.*

21 февраля, четверг.

Лошади, присланные графом Кутайсовым Державину, точно хороши: большого роста, одна в одну, рыжегалой, так называемой розовой масти и вдобавок выезжаны. Старик любовался ими из окна своего кабинета, а завтра намерен выехать на них в первый раз. Они обошлись ему 1200 руб. с приводом — недорого: за такую цену нельзя было бы купить их и на лебедянской ярмарке. Кутайсов прислал также и князю Лопухину шесть лошадей, только другой масти.

Теперь я догадываюсь, отчего Гаврила Романович вчера был так невесел и задумчив. У него в голове письмо к государю о дозволении передать свою фамилию старшему из своих племянников, Леониду Львову. Он намерен был просить об этом на первой неделе великого поста, но его известили, что государь скоро отъезжает в армию и что теперь не время беспокоить его величество. — «Боюсь, чтоб не ушло время, — сказал Гаврила Романович, — и чтоб не сбылось мое предсказание:

Забудется во мне последний род Багрима».

«Отсутствие государя, вероятно, продолжится недолго», — заметил я. — «Бог весть, братец, а смерть не за горами».*

Эти слова, сказанные голосом слабым и печальным, навеяли на меня какое-то неизъяснимое уныние.

Я оставил Державина в грустном расположении духа и для рассеяния отправился к Яковлеву, у которого нашел любезного отца Григория. Они сбирались платить дань масленице — есть блины.

* В том же году Гаврила Романович поручил автору «Дневника» отнести всеподданнейшее письмо его об усыновлении Л. Н. Львова к П. С. Молчанову, назначенному тогда статс-секретарем у принятия прошений (вместо умершего М. Н. Муравьева). Молчанов тотчас же доложил о нем государю, но высочайшего соизволения на усыновление Львова не последовало.[1] Это письмо, написанное собственною рукою Державина, передано автором «Дневника» в подлиннике, с разными другими бумагами, М. П. Погодину; оно весьма любопытно в том отношении, что поэт право свое на испрашиваемую милость основывает на сочинении им «Соляного устава». Державин и — соляной устав! *Позднейшее примечание.*

«Милости просил на новую беседу! — сказал весело Яковлев. — Старая вся исчерпана, и мы наговорились вдоволь, так что не о чем больше и говорить. Ваша очередь быть запевалою». — «То есть з а п и в а л о ю, хотели вы сказать, Алексей Семеныч, — отвечал я, — в таком случае, если беседа исчерпана, то, кажется, не совсем еще исчерпан вон этот графин с травником и я готов выпить рюмку». Яковлев захохотал. Мы закусили в ожидании блинов. «В соседней харчевне пекут отличные, и дома таких не дождешься». — «Вы правы: московские охотники до блинов не иначе едят их, как из харчевен». — «Отчего же это бывает?». — «Видно, оттого что в харчевне по количеству съедаемых блинов сковорода опекается лучше». — «А где вы были теперь?». — «У Гаврила Романовича». — «Зачем же так рано? еще не пробило и 12». — «Смотрел с ним присланных ему лошадей». — «А вы знаете в них толк?». — «Не могу хвалиться, но думаю, что знаю не меньше других. . . Между тем, по словам Фонвизина: „Не о птицах предлежит дело, а о разумной твари“.[1] Когда вы играете?». — «Завтра играю Вольфа в „Гусситах“». — «Пойду смотреть». — «А вы любите драмы?». — «Люблю, когда вы играете в них. Намедни с удовольствием видел вас в роли Мейнау». — «Каратыгина была лучше меня». — «Ну, не скажу: Каратыгина — лучшая Эйлалия, какую я в жизни моей видел; но вы — совершенство! Вам недоставало одного: уменья одеться. Вы слишком пренебрегаете своим костюмом: вышли на сцену даже небритые». — «А вы и это заметили? Но завтра костюм мой будет старогерманский: вы будете довольны мною, хотя Каратыгина в роли Берты убьет меня и заставит вас плакать». — «Поможете ей и вы, Алексей Семеныч, только смотрите, берегитесь: в партере будет находиться человек, который заметит всякое ваше слово и всякое телодвижение ваше». — «Заметит да и запишет, — сказал иронически Яковлев, — вишь вы какой соглядатай; мы к этому не привыкли».

Наконец принесли блины в горшке, окутанном салфеткой. Яковлев ел мало, как бы нехотя, но мы с отцом Григорием не положили охулки на руку. «Блины блинами, — сказал отец Григорий, — а речь речью. Давеча, когда вы взошли, я толковал Алексей Семенычу о том, что, мне кажется, трудно удержаться актеру в своем

естественном характере человека и, волею-неволею, не принять более или менее свойств тех лиц, которых он представляет, а чрез то не потерять своих собственных». — «Пустяки, — отвечал Яковлев, — можно приучиться к ненатуральному разговору и к высокопарности — и больше ничего. Сахаров целый век свой представляет злодеев, а в сущности добрейший человек. Шушерин играет нежных отцов, а уж такой крючок, что боже упаси! Вон и Каратыгин: кроме ветрогонов да моторыг ничего другого не играет, а посмотри его дома: порядочен и бережлив; а Пономарев? то записной подьячий, то скряга, то плут-слуга, а нечего сказать: смирнее и скромнее его человека не сыщешь. Да я и сам: лет около пятнадцати вожусь на сцене с Ярбами и Магометами, а все остался тем же Яковлевым. Пустяки, совершенные пустяки! Однако ж после блинов не выпить ли пуншу?».

Отец Григорий отказался от пунша и я также, памятуя тот омег, которым угостил меня Яковлев в первое мое посещение, и попросил воды. «Что ж вам за охота пить воду?» — спросил хозяин. «А разве вы не читали Пиндара?». — «Читал две оды его в переводе Державина, и помню». — «Следовательно, должны знать, что в с е х э л е м е н т о в в о д а п р е в о с х о д н е й; а если хотите, так П. И. Кутузов перевел еще вразумительнее: в с е х л у ч ш е ж и д к о с т е й в о д а!». Собеседники засмеялись. «Этак переводить немудрено», — заметил отец Григорий. — «Напротив, гораздо труднее, чем вы полагаете, — сказал Яковлев, — надобно иметь особое дарование, чтоб поэтические стихи обращать в медицинские афоризмы».

Я отправился домой, к возлюбленной моей конторке, единственной поверенной всех моих дум, мыслей и чувствований. Эх-ма!

22 февраля, пятница.

Надобно отдать справедливость старику Василью Александровичу Самсонову, что он человек необыкновенно умный и опытный в жизни. Я просидел с ним целое утро и не заметил, как прошло время. Он не истощался в рассказах: память имеет чрезвычайную и, сверх того, мастер говорить; а как он предупредителен, нежен и

забавен в обращении с женою своею, крошечною и добродушною старушенциею — право, мило смотреть. Вот настоящие русские Филемон и Бавкида! Они живут скромно, однако ж гостеприимны и рады угостить всякого чем бог послал. Самсонов охотник покушать и большой приятель с известным петербургским гастрономом, камер-юнкером Ласунским, который никогда не обедает дома, без того чтоб для аппетита не пригласить и Василья Александровича.

Старик много рассказывал о некоторых известных персонажах царствования императрицы Екатерины II. «Многие из них, — говорил он, — точно были гениальные люди, но другие пользовались репутациею умных и деловых сановников только потому, что императрица руководила ими, а в сущности были очень ограниченных способностей и ума; но зато эти господа мастера были окружать себя какою-то великолепною важностью и составлять себе клиентов, которые проповедывали о их великих достоинствах. Они выдавали себя и за меценатов, имея под рукою несколько голодных поэтов для домашнего обихода и прославления их добродетелей, потому что меценатство было тогда в моде. А знаешь ли, отчего оно попало тогда в моду? Императрица, которая покровительствовала словесности, наукам и художествам, заметив в одном вельможе закоренелое презрение к произведениям ума и художеств, изволила спросить обер-шталмейстера Нарышкина: „Отчего такой-то не любит живописи и ненавидит стихотворство до такой степени, что, по словам княгини Дашковой, он всех ни к чему годных людей своих называет живописцами и стихотворцами?“. — „Оттого, матушка, — отвечал Нарышкин, — что он голова глубокомысленная и мелочами не занимается“. — „Правда твоя, Лев Александрыч, — вздохнув, сказала императрица, — только и то правда, что головы, слывущие за глубокомысленных, часто бывают пустые головы“. Замечание императрицы огласилось, и с тех пор придворные друг перед другом стали покровительствовать стихотворцам и живописцам, заводить домашние театры и составлять картинные галереи.

«Так иногда, — продолжал Самсонов, — премудрая монархиня одним кстати сказанным словом изменяла нравы, вводила новые

обычаи и даже нечувствительно смягчала природные свойства людей, ее окружавших. Например, узнав, что один из ближайших к ней сановников, обязанный по занимаемому им посту выслушивать просителей, обходился с ними надменно, не принимал труда обстоятельно объясняться с ними и вообще был недоступен, она, в одном из своих вечерних собраний, завела речь о том, как должна быть противна надменность в вельможах, обязанных быть посредниками между государями и народом. „Эта надменность происходит, — заметила императрица, — от ограниченности их ума и способностей: они боятся всякого столкновения с людьми, чтоб те не разгадали их, и для произведения эффекта нуждаются в оптическом обмане расстояния и театральном костюме, — и с последним словом обратившись к гордецу, она вдруг спросила его: — а что у тебя много бывает просителей?“. — „Немало, государыня“, — отвечал сановник. — „Я уверена, что они выходят от тебя гораздо довольнее, чем при входе в твою приемную: несчастье и нужда требуют снисходительности и утешения, и твое дело позаботиться, чтоб эти бедные люди не роптали на нас обоих“. Вельможа понял намек и с тех пор из надменного и неприступного сановника сделался самым доступным, вежливым, снисходительным и даже предупредительным государственным человеком».

Вечером любовался Яковлевым и Каратыгиною в «Гусситах»: они были превосходны; особенно в сцене выбора детей, которых решено послать в неприятельский стан, они заставили всех плакать навзрыд, и я заметил, что Яковлев едва ли не плакал сам — с таким необыкновенным чувством играл он эту сцену! Зато Бобров, игравший военноначальника гусситов, был очень смешон. Я видел его в роли мамаева посла в «Димитрии Донском»: там был он сноснее и даже недурен, вероятно, оттого что грубые приемы и необработанный голос согласовались больше с характером роли татарина. Говорят, что Бобров превосходно играет Тараса Скотинина в «Недоросле»; верю, потому что он в роли военноначальника был настоящим Скотининым.

Я не в состоянии объяснить, какое неприятное действие производят это беспрерывное чиханье и сморканье и этот беспрестанный

кашель райской и даже партерной публики русского театра во время патетических сцен драмы или трагедии. Мне кажется, можно бы, из уважения к другим посетителям, как-нибудь и скрыть свою чувствительность, проявляющуюся в таких непристойных симптомах.

23 февраля, суббота.

Сегодня нечаянно столкнулся я с Харламовыми Александром и Николаем Гавриловичами. Они тоже данковцы и коротко знают биографию всего нашего семейства. Старший из братьев, статский советник, служит советником губернского правления — большой делец, в короткое время нажил прекрасное состояние и делит его с братом, отставным моряком, хилым и больным. У них огромный дом в Большой Садовой улице, против третьей Съезжей, и много незанятых квартир. Они чрезвычайно уговаривали меня переехать к ним и предлагали свои услуги. «Мы петербургские старожилы, — говорили они, — люди холостые и независимые, и нам было бы приятно позаботиться о приезжем земляке». Я благодарил услужливых братьев и обещал бывать у них часто, если позволит время. За обедом у Альбини я рассказывал им об этой встрече и об одолжительном предложении земляков моих. «От добра добра не ищут, — сказали в один голос муж и жена, — квартира Торсберга хорошая, а сверх того, переехав к Харламовым, вы отдалитесь от нас и других ваших знакомых». Разумеется, так.

С нами обедали генерал-суперинтендент пастор Рейнбот[1] и ловелас Иван Кузьмич[2], который не отвык от обыкновенных комплиментов. Но — увы! с комплиментами своими принужден он в Петербурге обращаться к одним, разве, горничным или тому подобным дамам, потому что не бывает ни в одном порядочном обществе; в Липецке для него было золотое время: там он, по званию секретаря директора Липецких вод, безнаказанно мог надоедать всем дамам, пьющим и не пьющим воды, лишь бы только случилось им попасть в галерею.

Рейнбот очень умный и, кажется, дельный человек. Он очень знаком с пастором Гейдеке и стариком Бруннером и чрезвычайно уважает их. С Гейдеке он даже в переписке и снабжает его некото-

рыми книгами по части теологии и педагогики, которых в Москве добыть нельзя. Он расспрашивал меня о московском его житье-бытье и, между прочим, сказывал, что Гейдеке имеет много врагов, которые стараются клеветать на него и вредить ему. Я отвечал, что, сколько мне известно, Гейдеке жизнь ведет непозорную, уважается многими известными в Москве людьми, известными литераторами и университетскими профессорами и почитается человеком вовсе необыкновенным. «В том-то и беда! — сказал Рейнбот, — что обыкновенные люди успевают вообще скорее необыкновенных, потому что последние хотят, чтоб дорожили ими самими, между тем как первые дорожат только своими покровителями. Чуть ли у нашего друга не слишком остро перо, а еще острее язык».

Возвратившись от Альбини, я нашел у себя Кобякова и очень обрадовался, что не один проведу вечер дома. Кобяков пришел с жалобою на Вельяминова, что переводы его чересчур становятся плохи; например, в финале «Импрезарио» он заставляет любовницу петь:

Пусть отсохнет рука,
Коль пойду за старика:
Старики ревнивы, злы —
Настоящие козлы!

Я чуть не умер со смеху и догадался в чем дело. «Ты, любезный друг, — сказал я Кобякову, — напрасно сетуешь на Вельяминова: ведь «Импрезарио» — опера-буффа, а в оперу-буффа эти стихи допустить можно. Посмотрел бы ты, как мы в Москве переводили оперы: и не то сходило с рук; да и самые дифирамбы Сумарокова чем лучше вельяминовского перевода — сам посуди:

Бахуса я вижу зла;
Разъяренну, пьяну, мертву,
Принесу ему на жертву
Я козла! —

«А что ты думаешь, — сказал Кобяков, — ведь и подлинно можно их вставить в финал. Музыка шумная: пожалуй, слов и не расслышат; только козлы-то мне не нравятся». — «Ну, так поставь ослы — и дело с концом». Земляк мой успокоился.

Немногое нужно, чтоб огорчить человека, но, кажется, нужно еще менее, чтоб его утешить.

24 февраля, воскресенье.

Мы избавились от дежурства и последний день масленицы провели не в заключении. Кусовников и Хмельницкий уладили дело славно: силою красноречия и красной бумажки они уговорили протоколиста Котова, канцеляриста Сычова и Матвея Дмитриевича Дубинина заменить нас: для них это ничего не значит, потому что живут в доме самой Коллегии и могут не отлучаясь пить, сколько душе угодно. На мой пай достался Дубинин.

М. Д. Дубинин человек исторический, муж старинного покроя и тип канцелярских чиновников прежнего времени; это последний в своем роде, и природа, создав его, наконец разбила форму. Ему за шестьдесят лет, из которых пятьдесят он провел на службе в Коллегии, достигнув до почетного звания ж и в о г о а р х и в а; у него красный фигурчатый с наростами нос, всегда заспанные глаза, пегие нечесаные волоса, небритая борода, очки на лбу, перо за ухом и пальцы в чернилах. Он пишет уставцом, четко, красиво, безошибочно, и уписывает на одной странице то, чего другой, лучший писец нового поколения, не упишет на целом листе. Его главное дело держать реестр печатаемым патентам, и он заведывает приложением к ним печатей, чего лучше и аккуратнее его никто исполнить не в состоянии, но ему поручают переписку и других бумаг по Коллегии, и особенно по Казенному департаменту. Утром и натощак Матвей Дмитриевич всегда на ногах, но по окончании присутствия он тотчас приступает к трапезе, и тогда уже видеть его иначе нельзя, как лежащего и утоляющего жажду. Матвей Дмитриевич с оригинальным своим почерком, с необыкновенною своею памятью и нанковым сюртуком был известен всем прежним начальникам Коллегии: князю Безбородко, графу Растопчину и князю Чарторижскому, да и нынешний министр Будберг знает его; что касается до обер-секретарей, то он их не ставит ни во что, но зато весьма уважает казначея Бориса Ильича, который никогда не отказывает ему в выдаче пяти рублей вперед жалованья, а перед

большими праздниками рискует иногда даже и десятью рублями. Как бы то ни было, но Матвей Дмитриевич считается почему-то человеком почти необходимым в своей сфере, и все служащие, начиная от обер-секретаря до нашего брата, не иначе называют его, как по имени: Матвей Дмитрич, а при случае спешной работы, прибавляют и слово «любезный». Коллежское предание и экзекутор Степан Константинович гласят, что будто бы некогда Матвей Дмитриевич и по утрам придерживался чарочки и что во времена оны некоторые жесткосердые обер-секретари, по тогдашнему обычаю в предупреждение несвоевременных его отлучек, приказывали разувать его, но я на этот раз делаюсь пирронистом и не хочу верить преданию.

Итак, по неожиданной благосклонности Матвея Дмитриевича, я был на свободе и воспользовался ею, чтоб сделать визит землякам моим Харламовым, которые, не ожидая такого скорого посещения, очень обрадовались и приняли меня чрезвычайно ласково. Вопросам и расспросам о Данкове и данковских помещиках конца не было. Я передал им, как умел, все что только мог знать, и наконец спросил их: отчего же они, повидимому, так любя родину, не съездят взглянуть на нее и повидаться с родными? — «Оттого, — отвечал старший брат, — что там у нас не осталось ни одной души и ни клока земли, да и ближних родных нет, а есть однофамильцы: куда и к кому мы приедем? Здесь бог благословил нас довольством и спокойствием, здесь, видно, и умереть придется; а признаюсь, когда случится увидеть данковца и слышать что-нибудь доброе о комнибудь из земляков своих, право, сердце не нарадуется. Пожалуйста, переезжайте к нам в дом и располагайте нами, как вашими родными, без всяких церемоний и жеманства». Я уверил их, что жеманство не в моем характере и я его не люблю, потому что оно — вывеска глупости, а я не желаю, чтоб меня считали за дурака, и потому воспользуюсь их обязательностью при первом удобном случае.

Советник отзывался о губернаторе Петре Степановиче Пасевьеве чрезвычайно хорошо. «Это клад, а не человек, — говорил он, — умен и добр и бьется из всех сил, чтоб облагородить канцелярию

правления. К несчастью, едва ли мы скоро с ним не расстанемся, потому что его славят сенатором».

Обедал в павильоне: попал на маркиза де ла Мотта, которого видел я на другой день моего приезда в Петербург у Лабатов в екатеринин день, но тогда оставил без замечания; сегодня разглядел его поближе: что за отвратительная фигурка! Ему лет под шестьдесят, маленький, пузатенький, косой, плешивый и, при всем том, пренадменный, tranchant и едва ли не воображающий себя каким-нибудь Шуазелем или Морепа. Он не умолкал о политике, межевал государства, отнимал области у одного и отдавал их другому, заточал Бонапарте с братьями в восстановленную им Бастилию и проч., а между тем сам продает Дмитрию Львовичу Нарышкину страсбургские пироги и прованское масло, véritable huile d'Aix и дает чувствовать, что он чуть-чуть не из первых людей у него в гостиной. Каковы же должны быть последние? хотелось бы мне спросить его; но, кажется, ему скоро не сдобровать, потому что недавно он женился на такой бабище, что страшно взглянуть: огромная, толстая, рябая, голосистая, с такими резкими ухватками, что так и кажется, что она при одном прикосновении к ла Мотту расшибет его в прах. Молодые супруги, которых медовый месяц еще не истек, развозят покамест друг друга по своим знакомым на показ, а там что будут делать — знает разве один добродушный и вспыльчивый граф Монфокон. Он все время, покамест ла Мотт решал судьбы царств и народов, сидел как на иголках: кашлял и вертелся на стуле, однако ж молчал, но лишь только молодые старые уехали, он вдруг вскочил и, сложив ладони, прежалобно вскрикнул: «Oh, mon Dieu, mon Dieu! Il faut être bien sot pour se croire un sage».

Вспомнив, что сегодня прощальный день, я по русскому обычаю попросил прощения у дам, но они вдруг привязались ко мне, чтоб я покаялся им во всех своих прегрешениях, которые будто бы они уже знают. Я бежал от них без оглядки: они решительно принимают меня за ребенка.

25 февраля, понедельник.

Я начал говеть. В Казанском соборе служат чинно и благолепно, и хотя народу много, но покамест тесноты большой нет. На евфи-

моны ездил в Невский монастырь, в котором до сих пор еще не был. Служба простая, но величественная. Покаянный канон читал наместник Израиль внятно и вразумительно. Мне понравился иеродьякон Филадельф, чрезвычайно благообразный, ловкий и развязный в служении; голос его не исполинский, как у Воржского, но звучен и приятен. Ирмосы пели монахи прекрасно; клир состоял из одних басов, кроме какого-то послушника, высокого тенора. Это басовое пение шестигласных ирмосов невыразимо действует на душу. В Троицкой лавре поют также отлично, но там голоса перемешаны, здесь же, напротив, одни басы. Сказывали, что митрополит Амвросий очень любит столбовое пение и в бытность свою казанским архиепископом, кроме обыкновенных певчих архиерейского дома, имел еще хор, составленный из одних басов, который предпочтительно любил слушать.

26 февраля, вторник.

В беседе с умным человеком многому научиться можно, но если этот умный человек смотрит на жизнь и свет с своей, особой точки зрения, то он может сбить с толку. Умные красноречивые люди увлекательнее всякой книги: читая книгу, ты имеешь время поразмыслить и остеречься, а живое слово действует так внезапно, что не успеешь и опомниться, как ты уже в его власти.

Вот хотя бы, например, и старший граф де Местр, сардинский посланник: я не хотел бы остаться с ним неделю один с глазу на глаз, потому что он тотчас бы из меня сделал прозелита. Ума палата, учености бездна, говорит как Цицерон, так убедительно, что нельзя не увлекаться его доказательствами; а если поразмыслить, то, несмотря на всю христианскую оболочку, которою он прикрывает все свои рассуждения (он иначе не говорит, как рассуждая), многое, многое кажется мне не согласным ни с тем учением, ни с теми правилами, которые поселяли в нас с детства. Давеча из церкви я зашел навестить старика Лабата, чего-то объевшегося по случаю католической масленицы, и нашел у него де Местра, стоявшего пред камином и с жаром рассуждавшего. Из разнообразного, живого и увлекательного его разговора я успел схватить на лету несколько идей,

поразивших меня своею новизною. Он утверждал, что «почти во всех случаях жизни надобно опасаться более друзей, чем врагов своих, потому что последние, по крайней мере, не введут вас в заблуждение своими советами, и что сознание нашего ничтожества должно поверять одному только богу, но перед людьми скрывать его во избежания их презрения». Это, может быть, и правда, однако ж что-то отзывается иезуитизмом. Но вот идеи, которые кажутся мне безукоризненно верными: рассуждая об одном государственном человеке, которого все вообще почитали за гениального, граф де Местр сказал, что «он, с своей стороны, не очень верит в его гениальность, потому что этот вельможа всегда окружал себя людьми вовсе посредственными, и если он делал это для того, чтоб лучше скрывать свои намерения и предположения, то и в этом случае действовал невпопад, потому что нашим тайнам изменяют большею частью не те люди, которым мы поверяем их сами, но почти всегда те, которые о них догадываются».

Но пора мне, по словам философа Сковороды,

Тщету отложити
Мудрости земныя
И в мире почити
От злобы дневныя,

сиречь: идти на боковую, чтоб завтра не опоздать на молитву.

27 февраля, среда.

Идучи из церкви, встретил Александру Васильевну П., которую так часто случалось мне видеть в Москве у тетки В. и в некоторых других домах. Тогда она была резвою, веселою и милою девушкою, но вскоре выдали ее замуж за какого-то старого и даже небогатого полковника, и я потерял ее из виду. Теперь она овдовела и живет одна. Мы обрадовались друг другу, потому что Петербург кажется и для нее чужою стороной. Лицо такое же ангельское, такая же свежесть, но что за толщина — боже мой! Ходит переваливаясь и насилу двигает ноги. Не понимаю, как женщина в 22 года так отолстеть может. Звала к себе, уверяя, что всегда почти дома и осо-

бенно по вечерам, но предупредила, что живет покамест небогато, в небольшой квартире на Сенной, и что лестница высока и неопрятна. «Как быть, — сказала она; — после московского простора и довольства пришлось здесь жить в тесноте и нужде». Все равно: пойду к ней непременно вспомнить старину. Правду сказать: и миловидна, удивительно как миловидна!

Дмитрий Моисеевич Паглиновский присылал за мною. Он что-то имеет передать мне от дяди А. Г. Рахманинова, отправившегося в деревню. Вот и еще человек, пропавший для службы: в 27 лет, будучи штабс-ротмистром Конной гвардии и красавцем в полном значении слова, вдруг женился, вышел в отставку и уехал в степь на покой! Впрочем, со стороны судить об этом мудрено: все делается не без причины.

28 февраля, четверг.

Был у Паглиновского. Важное дело сообщил он мне от дяди: «Александр Герасимыч поручил мне просить вас навещать нас как можно чаще». — «Только-то?». — «Больше ничего». Вот прямо добрый человек! Хотя шутка не совсем забавна, но доказывает приветливость почтенного Дмитрия Моисеевича.* Разумеется, что я не останусь у него в долгу.

---

* Д. М. Паглиновский, правитель военной канцелярии генерал-адъютанта графа Ливена, заведывавшего военными делами при особе государя, был человек отличных качеств ума и сердца. При той значительности, которою он пользовался по чрезвычайно важному своему месту, при тех близких сношениях с первыми людьми государственными тогдашнего времени, которые давали ему право на некоторое предпочтение перед другими, он был не только не спесив и не заносчив, но, напротив, скромен, снисходителен, вежлив и бескорыстно услужлив до невероятной степени. По назначении графа Аракчеева министром военных сил канцелярия графа Ливена была упразднена, и Паглиновский поступил правителем же канцелярии к новому министру, которого благосклонностью и уважением он пользовался несколько лет. Но всемогущая сила обстоятельств изменила служебное поприще этого достойного человека: он был долго в отставке, потом опять вступил в службу и умер советником Ассигнационного банка.

Паглиновский и дядя мой Рахманинов были женаты на двух родных сестрах Бахметевых, и я познакомился с первым в доме последнего. Иногда с ним бывали очень забавные случаи; так, например, один служивый, будучи

При мне приезжал к нему В. П. Кокушкин по какому-то делу. Этот Кокушкин был в свое время довольно значительным персонажем, потому что пользовался благосклонностью канцлера князя Безбородко, при котором считался на службе. Я говорю: считался, потому что, как мне сказывали, он по натуре своей служить не мог, как служат другие, ибо едва-едва знал грамоте и делать ничего не умел; но зато при добром сердце, веселом нраве, испытанной честности и прекрасном наследственном состоянии он обладал драгоценным для того времени даром учреждения пиров и, кроме того что любил сам попить и погулять, считался мастером потчевать других. Эти достоинства доставили ему почетное звание распорядителя афинских вечеров князя Безбородко. Не должно, однако ж, думать, чтоб добрый и благородный Василий Петрович был большой знаток в напитках — отнюдь нет, и предание гласит, что, несмотря на все его притязания на звание знатока в винах, гениальный канцлер доказал ему, как дважды два — четыре, что он о вкусах в вине не имеет никакого понятия, и вот каким образом: приказав своему метр-д'отелю во время одного званого обеда обнести гостей простым бордоским вином, придав ему название старого аква-марина, в виноделии несуществующего, князь Безбородко, обратясь к Кокушкину, спросил его: «А каково винцо, Василий Петрович?». — «Подлинно отличное, — отвечал он: — от роду такого аква-марина не пивал: хорошо бы еще рюмочку!». Разумеется, взрыв общей веселости обнаружил мистификацию. По смерти князя Кокушкин остался верен своей привязанности к фамилии Безбородко и считается домашним человеком у брата канцлера, графа Ильи Андреевича Безбородко, который в настоящее время служит обществу в почетном звании здешнего совест-

---

огорчен отказом, сделанным ему вследствие резолюции графа Ливена, и вообразив, что резолюция эта последовала потому только, что Паглиновский не захотел принять участия в его просьбе, попотчевал его на прощанье следующим двустишием:

Не Дмитрий ты Донской, не Дмитрий ты Ростовский,
А Дмитрий ты простой, лишь Дмитрий Паглиновский!

Позднейшее примечание.

ного судьи и столько же известен добротою души своей, сколько и неимоверным своим богатством.

Вот что за человек Василий Петрович. Теперь он лишился большей части своего состояния, стал старее и хотя не с такою уже победною бодростью может выходить из турнира с современными героями попоек, но по прежнему любит пиры и браги. Знакомство его чрезвычайно обширно, и он в кругу здешних знатных и богатых негоциантов катается как сыр в масле, и едва ли кто из них решится снарядить обед или дать веселую вечеринку, не пригласив разделить их Василья Петровича; словом, он любезный всем гость и приятный для всех собеседник.

1 марта, пятница.

Надобно исповедываться, а я еще не приискал себе духовника; надлежало бы подумать о том заранее. Теперь нечего делать: пойду к отцу Григорию Вознесенскому, благо с ним знаком. Благослови господь!

2 марта, суббота.

Наконец бог привел причаститься святых тайн, и на душе как-то легче стало. Причастников у ранней обедни было множество и в том числе несколько знакомых. Ямпольский сказывал, что мне хотят дать какую-то немаловажную работу или к кому-то прикомандировать по одному делу для переводов. Дай-то бог, потому что вот три месяца, как решительно ничего не делаю и только толкую о троянской войне. Пожалуй, домашние скажут, что за этим не стоило ездить в Петербург.

Александр Львович Нарышкин сегодня отправляется в Москву. Говорят, что там открылись беспорядки по театру, и чуть ли не будет назначен новый директор.

Государь причащаться изволил со всею императорскою фамилиею, и по сему случаю из экономии государя доставлено обер-гофмаршалом графом Толстым к губернатору 2000 рублей на выкуп нескольких самобеднейших отцов семейств, содержащихся за долги. Харламов, которому Пасевьев поручил исполнить без всякой огласки это доброе дело, сказывал, что так делается всякий год.

3 марта, воскресенье.

Гаврила Романович говорил, что литературные вечера были отложены 26-го числа по случаю масленицы, а вчера — по причине общего говенья, но что в будущую субботу приглашает к себе Александр Семенович Хвостов, за которым считается очередь.

Есть на свете люди, которым никогда ни в чем нет удачи: что бы они ни затевали, как бы обстоятельно ни обдумывали свои предприятия, всегда подвернется какое-нибудь препятствие, всегда сыщется какой-нибудь неожиданный случай, который расстроит их намерения, уничтожит начинания, собьет их с толку и, лиша всякой энергии, заставит их опустить руки и жить как придется, au jour la journée. Таких людей умники называют беспечными и даже — бог им судья! — ни к чему годными, а ханжи величают юродивыми и большею частью чуждаются их как отверженных богом. Таков, например, был умный и добрый Иван Захарович Кондырев, которого примерные неудачи так верно очертил Александр Ханенко * в небольшом шуточном, но глубокомысленном к нему послании:

И если б сделался ты шляпным фабрикантом,
То люди стали бы родиться без голов.

Таков был и Сергей Афанасьевич Волчков, о котором сегодня столько толковали и которого странная и непостижимая судьба была предметом толков и разговоров петербургского общества и самого двора в первые годы царствования императрицы Екатерины II. Кондырев в сравнении с Волчковым мог назваться счастливцем,

---

* Ханенко и Михайло Магницкий были лучшими воспитанниками Университетского благородного пансиона. Семен Родзянко увековечил их в преданиях пансионских пародиею одной известной оды, в которой находится следующее обращение к директору пансиона А. А. Антонскому:

В Ханенках ты, в Магницких славен;
Но где ж ты сам себе не равен?
Ты и в Колпинских тож Антон!

Братья Колпинские были воспитанники самых ограниченных способностей. Недостатком памяти и отсутствием всякого соображения они часто возбуждали насмешки других воспитанников, но Антонский отличал их за кроткое поведение и за благонравие. *Позднейшее примечание.*

потому что после разных утрат в семействе и состоянии от случаев совершенно непредвиденных, он, по крайней мере, мог умереть в своем, хотя и тесном, углу и на своей постели, в присутствии двух-трех человек, искренно его любивших; но Волчков не имел и этого утешения. Отлично образованный по тогдашнему времени, прекрасный собою, имея хорошее состояние и независимый ни от кого, Волчков вступил в военную службу и, как отличный молодой человек, был назначен состоять при графе Салтыкове, командовавшем тогда армиею в Пруссии. В сражении при деревне Пильциге или Пальциге, в котором русские остались победителями,[1] Волчков ранен был в ногу и лишился глаза и должен был, после весьма трудной и неудачной операции, возвратиться в Петербург. Здесь он женился, но выбор супруги был несчастлив: казавшаяся до свадьбы такою доброю и простосердечною, она вскоре по совершении брака обратилась в сущего демона и без стыда говорила, что если она вышла за калеку, так потому только, что хотела иметь положение в свете, и что считает такого мужа, как Волчков, кривого и хромого, не больше как своим приказчиком. От такого образа мыслей недалеко до разврата, и этот разврат обнаружился во всей его гнусности; дом Волчкова превратился в ад. Делать было нечего, и после многих совещаний с знакомыми, совещаний, из которых ничего другого не вышло, кроме огласки и соблазна, супруги согласились разлучиться; но эту разлуку Волчков обязан был купить почти половиною своего состояния. Разделив имение, он полагал себя еще достаточно обеспеченным и надеялся прожить век свой в довольстве и спокойствии, в упражнениях умственных, занятиях литературных и художественных; но, как говорится, il a compté sans son hôte; начались внезапные неудачи: то выгорит деревня, то случится неурожай, то выпадет скот, то возникнет процесс, то обкрадет приказчик, так что бедный Волчков, маявшись года с четыре, принужден был к разным тяжелым уступкам неблагоприятной фортуне: прежде продал дом, там заложил бóльшую часть имения, а наконец, и сам отправился экономничать в симбирскую деревню, в которой ожидали его еще пущие несчастия. Явился на сцену самозванец Пугачев, губитель верных своему долгу дворян и помещиков. Клевреты

злодея успели схватить Волчкова, мучили и терзали его, разграбили дом, сожгли деревни, перевешали в глазах его некоторых дворовых людей, ему преданных, и священника с причетом, и хотели уже приняться за него самого, как вдруг остановлены были, будто чудом, каким-то внезапным известием о приближении отряда войск, и скрылись, оставив бедного калеку чуть живого от нанесенных ему побой, обливанья кипятком и проч. и проч. Долго лечился Волчков в Симбирске; телесные раны его заживали медленно, но раны душевные — еще медленнее. Уныние овладело им. Вместо того чтоб приняться за выстройку вновь деревни и приведение в какой-нибудь порядок расстроенных дел своих, он предоставил все на произвол судьбы и как человек, дознавший горькими опытами, что все начинания его, как бы ни были хорошо обдуманы, не могут иметь благоприятных последствий, впал в совершенное бездействие. Состояние помещика, проживающего в деревне бездейственно и беззаботно, лишает уважения, а лишение уважения подрывает кредит, и вот Волчков имел несчастье видеть, как наследственные его поместья стали постепенно поступать во владение несговорчивых его кредиторов. Час от часу становился он беднее и наконец, дойдя почти до совершенного убожества, должен был возвратиться в опостылевший ему Петербург, в котором ожидали его жена и новые бедствия.

Историю Волчкова окончу после. Теперь в голове поручение, которое мне дать хотят; но дадут ли? Что-то не верится, и едва ли Ямпольский не сказал это как-нибудь, наобум.

4 марта, понедельник.

Илья Карлович говорил, что он точно заботится о доставлении мне постоянной и занимательной работы, но так как это дело не совсем зависит от него, то и надобно подождать до времени. Я это предчувствовал.

«Лучше остаться без куска хлеба, лучше лишиться головы, чем быть обязанным своей фортуной бесчестному человеку», — говорил во время оно молодой капитан Арсеньев. Такой образ мыслей, пожалуй, многие назовут дон-кихотством, но между тем есть в самом деле что-то унизительно тягостное в одолжениях бесчестных людей,

что-то такое, в чем благородный человек не хотел бы сознаться перед другими и что бы желал он позабыть сам, как неприятный, тяжелый сон.

Что ж должен был чувствовать физически расстроенный, но не совсем еще потерявший сознание собственного достоинства бедный Волчков, когда сила жестоких обстоятельств подвергла его унижению не отказаться от пособий бесчестной жены своей, пособий, которые предложила она ему вследствие общего о нем сожаления. Участие этой женщины в несчастной судьбе мужа основано было на светских приличиях, тайном желании прослыть великодушною и надежде, что он отринет ее предложения. Но Волчков, по неблагоразумному совету одного довольно значительного при дворе лица, не только их не отринул, но даже объявил, что желает переехать к жене в дом, потому что он формально с нею не разведен и наделил ее состоянием, следовательно и в праве был желать совместной с нею жизни. Эта решимость мужа огорчила жену, но ей поздно было отказываться от своих предложений: во многих знатных домах начали уже говорить, что Волчкова сошлась с мужем, и хвалили ее, что она не захотела оставить его в несчастном его положении.

И вот Волчков переехал к жене, которая отвела ему особое помещение. Сначала он не имел причины жаловаться на свою решимость: калеку кормили, поили и укладывали спать во-время с подобающим уважением; и даже старик, камердинер его, уцелевший от пугачевского побоища, пользовался некоторым вниманием в доме; но это продолжалось недолго. Однажды верная супруга ввела к нему мальчика лет восьми и представила его как сына. «Это наш наследник, — сказала она довольно ласково: — полюбите и благословите его». Волчков вытаращил глаза, и это движение его физиономии равносильно было вопросу: откуда мог взяться у нас наследник? «Нечего таращить глаза! — продолжала Волчкова. — Это мой сын, следовательно и ваш». — «Может быть ваш, — возразил Волчков тихо и кротко, — но уж верно не мой». — «Так вы отрекаетесь от него и хотите выставить меня как распутную женщину?». — «Напротив, я совсем этого не желаю, и лучшим тому доказательством служит отказ мой в признании мальчика сыном. Пока не согласился

проступок ваш, никто не может укорить вас в распутстве; но если б я сегодня признал этого ребенка своим сыном, то завтра бы заговорили о вашем поведении и, конечно, мнение света было бы не в вашу пользу». Волчкова с бешенством оставила мужа, и с этой минуты начались его истязанья, каким умеют подвергать только женщины, когда они решились быть не женщинами — то есть со всею настойчивостью, свойственною их полу, и со всею злостью адского демона. Правда, эти истязанья были мелочны, но едки и жгучи, как капли кипящего металла. Женщина неспособна владеть кинжалом, но что значит кинжал в сравнении с миллионами булавок и иголок, которыми она поражает вас ежечасно, ежеминутно, каждую секунду? Долго и терпеливо сносил Волчков непостижимые поступки жены своей и всех ее приближенных, но терпение его, наконец, истощилось, и он, полуразрушенный, бежал из своего ада к князю Мещерскому,* который снисходительно приютил страдальца, хотя и ненадолго, потому что Волчков вскоре затем умер.

5 марта, вторник.

Пишут из Москвы, что наш родной медик Ефрем Осипович Мухин издает наблюдения свои над коровьею оспою, признанные превосходными. Он делал опыты над смешением обеих материй оспы, человеческой и коровьей, и достиг чрезвычайно важных результатов, которые могут служить основанием оспоприививанию.[1] Хотя это и не по моей части, но нельзя не сообщить о том знакомым моим эскулапам, потому что

Мила нам добра весть о нашей стороне.

Я искал типографии, в которой мог бы напечатать своих «Бардов».** Кобяков рекомендовал мне типографию театральную, куда

---

* Князь Александр Иванович, тот самый, которого кончину так красноречиво воспел Державин. *Позднейшее примечание.*

** Небольшая поэма, заимствованная из Синеда (die Oktobernacht). Автор «Дневника» написал ее в намерении посвятить Державину и доказать ему, что поэмы в роде Боброва сочинять не трудно. Это была великолепная ахинея, но тогда имела некоторый успех, как большею частью все громкое, мрачное и напыщенное.[2] *Позднейшее примечание.*

мы вместе с ним и отправились. Содержатель ее — не кто другой, как Василий Федотович Рыкалов, и я чрезвычайно обрадовался случаю с ним познакомиться. Знаменитый актер довольно большого роста, тучен, лицо круглое, глаза большие, на выкате, физиономия подвижная и умная. Договорившись в цене за набор, печать и бумагу, я отдал ему свой манускрипт и просил поручить корректуру хорошему корректору. «Вот этим я уже не могу служить вам, — сказал мне Василий Федотович, — корректор у меня для первых оттисков есть, но хорошим его назвать не могу: последнюю корректуру потрудитесь держать сами; хорошие корректоры у нас в Петербурге — редкость». Это меня удивило; я объяснил Рыкалову, что у нас, в Москве, во всех типографиях есть корректоры отличные, особенно у Селивановского и Попова с товарищи. «Дело другое, — продолжал Рыкалов, — в Москве университет и множество студентов и грамотных людей, не имеющих занятий: они рады работать почти за ничто. Селивановский человек приветливый и живет открыто: он приглашает студентов к себе, ласкает их, оставляет обедать и они проводят у него целые дни; а здесь, батюшка, грамотными людьми без денег не очень разживешься, и кто будет считать на дешевизну труда другого, тот очень ошибется в своих расчетах». Рыкалов сказывал, что на сцене репетируют несколько новых комедий, в которых для него есть очень хорошие роли; между прочим «Полубарские затеи» князя Шаховского и еще комедию Павла Сумарокова «Деревенский в столице». Мы уговорились с Кобяковым ехать завтра к Самойловым. Пора познакомиться с ними: эта чета талантливая и, говорят, живут между собою душа в душу.

6 марта, среда.

В павильоне удивляются, что давно меня не видали. Старик обещается рассердиться не в шутку, то есть не по-гасконски, а добрые трещотки уверяют, что я бегу от них: vous nous fuyez, и точно бегу, только не от них, а от самого себя. Говорят, что вообще лучше идти навстречу беде, чем дожидать ее сложа руки. Правда ли? Мне хочется испытать это над собою.

Самойловы — славная парочка. Муж очень неглуп и хотя мало образован, но любит свое искусство и судит о нем основательно; а жена мила до чрезвычайности, простодушна, веселого характера и не имеет того нестерпимого самолюбия, которым так заражены почти все актрисы. Они живут за Торговым мостом, в доме Латышева, который нанимается для помещения артистов дирекциею театра. В квартире их все так порядочно, чисто и опрятно, что любо смотреть: они должны быть очень попечительны в маленьком своем хозяйстве. Я встретил у них капельмейстера Антонолини, которого советами они также пользуются, хотя настоящий руководитель их капельмейстер Кавос. Антонолини известен талантом своим в музыкальных композициях и, сверх того, очень радушен, весел и словоохотлив — настоящий итальянский маэстро. Он успел рассказать мне многое о свойстве талантов Самойловых и говорил, что при средствах, которыми наделила их природа, они могли бы сделаться первоклассными артистами даже в самой Италии, если б, к сожалению, музыкальное их образование не было так ограниченно; особенно Самойлов с своим неслыханным тенором — огромным, звучным, приятным, доходящим до сердца, с своими сценическими способностями, мог бы быть одним из величайших драматических певцов в свете.

Все это при первом случае поверю я собственными глазами и ушами, но теперь покамест желал бы знать, отчего на здешнем театре не дают таких опер, как «Волшебная флейта», «Похищение из Сераля», «Дон-Жуан», «Аксур» и проч., и довольствуются «Русалками», «Князем-Невидимкою» и некоторыми переводными из французского оперного репертуара. При таких талантах, каковы Самойловы, кажется, можно бы надеяться на успех и более музыкальных опер, чем те, в которых они единственно участвуют. Мой математик-музыкант Рахманов едва только заслышит о «Русалке», то бежит прочь и негодование свое изъявляет самыми энергическими выражениями, да и сам Воробьев не любит подобных опер и называет их «английскими». Рахманов говорит, что все эти русалки и прочая такая же дребедень только портят вкус публики, и дирекции следовало бы дать ему другое направление. На немецком театре «Русалка»

и «Чортова мельница» даются большею частью по воскресеньям и другим праздничным дням для публики особого рода, но в обыкновенные дни можно слышать оперы Моцарта, Сальери, Вейгля и других знаменитых композиторов, хотя эти оперы исполняются и не очень удовлетворительно. Рахманову очень хочется слышать на русской сцене Глукова «Орфея», и он уверяет, что партия Орфея как раз придется по голосу и средствам Самойлова. Вельяминов, по совету и настоянию Рахманова, занимается переводом этой оперы и, конечно, переведет ее хорошо, но едва ли они оба в состоянии будут убедить дирекцию принять ее на театр: не то время.

7 марта, четверг.

Давно добивался я верных сведений о числе здешних театральных артистов, о занимаемых ими амплуа и об окладах их жалованья. Мне хотелось сравнить состояние здешнего театра с состоянием московского. К сожалению, Кобяков доставил мне список артистов только с отметками их амплуа, но без обозначения их содержания; а о некоторых и совсем не упомянул, потому что, будто бы, упоминать о них не стоит. Не кстати сострил! Во всяком случае, из этого списка видно, что число русских актеров и актрис здешнего театра не так велико, как сначала я думал, и мало превышает число актеров московских. Вот они все: трагические, драматические, комические и оперные: 1) Яковлев, 2) Шушерин, 3) Сахаров, 4) Щеников, 5) Бобров, 6) Шарапов, 7) Рыкалов, 8) Пономарев, 9) Рожественский, 10) Каратыгин, 11) Прытков, 12) Орлов, 13) Жебелев, 14) Белобров, 15) Волков, 16) Глухарев, 17) Гомбуров, 18) Воробьев, 19) Самойлов, 20) Чудин, 21) Биркин, 22) Каратыгина, 23) Семенова, 24) Сахарова, 25) Рахманова, 26) Ежова, 27) Петрова, 28) Самойлова, 29) Черникова, 30) Карайкина, 31) Сыромятникова, 32) Белье и несколько других. Кто эти «другие» и «другия» — мой Кобяков сообщить поленился, однако ж дополнил свой список тем, что в числе действующих на сцене персонажей есть многие воспитанницы Театрального училища, из которых замечательнее всех, по красоте и таланту, Болина и меньшая Семенова.

А вот сюжеты и французской труппы: 1) Ларош, 2) Дюран, 3) Деглиньи, 4) Дюкроаси, 5) Каллан, 6) Фрожер, 7) Дамас, 8) Мезьер, 9) Флорио, 10) Монготье, 11) Андрие, 12) Сен-Леон, 13) Клапаред, 14) Жозеф, поступающий на место уезжающего Сен-Леона, 15) Меес, 16) Дюмушель, 17) Андре; актрисы: 18) Вальвиль, 19) Лашассен, 20) Филис-Андриё, 21) Филис-Бертен, 22) Меес, 23) Бонне, 24) Монготье, 25) Миллен, 26) Туссен-Мезьер и некоторые другие. Опять «другие»! Бога вы не боитесь, любезный Кобяков, неужели в списке и немецких актеров такое заключение?

1) Кудич, 2) Гебгард, 3) Вильде, 4) Брюкль, 5) Эвест, 6) Шульц, 7) Борк, 8) Миллер, 9) Рекке, 10) Линденштейн, 11) Цейбиг, 12) Эльменрейх, 13) Дробиш; актрисы: 14) Леве, 15) Гебгард-Штейн, 16) Дальберг, 17) Брюкль, 18) Эвест, 19) Штейн, 20) Шульц и проч. Так и есть: вот и «прочие». О Кобяков! вы искушаете мое терпение. Взглянем теперь на список артистов балетной труппы. Балетмейстеры: 1) Дидло и 2) Вальберх; танцовщики: 3) Огюст, 4) Дютак, 5) Эбергард, 6) Гольц; танцовщицы: 7) Колосова, 8) Сен-Клер, 9) Иконина, 10) Новицкая, 11) Махаева, 12) воспитанница Данилова и много других воспитанников и воспитанниц Театральной школы. Нет, уж воля ваша, Петр Николаич, а ваше «много других» нестерпимо: за эту неаккуратность я попрошу Вельяминова отмстить вам ариями известного его рукоделья.

Я не видал еще и половины всех этих персонажей на сцене: все было некогда, а, кажется, ничего не делал и не делаю.

8 марта, пятница.

Вот как описывает очевидец молодецкий проигрыш и еще более молодецкий отыгрыш нашего Л. Д. Измайлова. Он понтировал у князя У**, державшего огромный банк вместе с князем Ш** и многими другими дольщиками. Лев Дмитриевич приехал с какого-то обеда с огромною свитою своих рязанских приверженцев, в числе которых, разумеется, был и Кобяков, родитель моего приятеля, поставщика переводных опер. Войдя в залу, Лев Дмитриевич сел в некотором отдалении от стола, на котором метали банк, и задремал. Банкомет спросил его, не вздумает ли он поставить карты. Измайлов

не отвечал и продолжал дремать. Банкомет возвысил голос и спролил громче прежнего: «Не поставите ли и вы карточку?». Измайлов очнулся и, подойдя к столу, схватил первую попавшуюся ему карту, поставил ее темною и сказал: «Бейте 50 000 руб.». Банкомет положил карты на стол и стал советоваться с товарищами. «Почему ж не бить? — сказал князь Ш**, — карта глупа, а не бивши не убьешь». Князь У** взял карты и соника убил даму. Измайлов не переменился в лице, отошел от стола и сказал только: «Тасуйте карты; я сниму сам». Банкомет стасовал карты и посоветовался еще раз с товарищами. Измайлов подошел опять к столу и велел прокинуть. Князь У** прокинул. «Фоска идет 50 000» и по втором абцуге Измайлов добавил 50 000 мазу. У банкомета затряслись руки, и он взглянул на товарища так жалостно, что князь Ш**, не выдержав, усмехнулся и сказал ему: «Ну что ж? знай свое, мечи да и только». Банкомет повиновался, и чрез несколько абцугов трефовая десятка проиграла Измайлову. Окружающие его, Кобяков, Шаховской и другие, стали шептать ему на ухо, что не перестать ли, потому что, кажется, не везет; но этого довольно было, чтоб совершенно взволновать Измайлова, который все любит делать наперекор другим; он схватил новые карты, выдернул из средины червонную двойку и сказал: «Полтораста». Банкомет помертвел и остолбенел: минуты две продолжалась его нерешимость, бить или не бить страшную карту, но князь Ш**, искусный пользоваться благосклонностью фортуны, опять ободрил своего собрата: «Чего испугался? не свои бьешь». Князь У** заметал: долго не выходила поставленная карта, и все присутствующие оставались в каком-то необыкновенно-томительном ожидании, устремя неподвижные взгляды на роковую карту, одиноко белевшуюся на огромном зеленом столе, потому что другие понтеры играть перестали. Наконец, князь У**, против обыкновения своего, стал метать, не закрывая карт своей стороны, и — червонная двойка упала направо. «Ух!», — вскрикнул банкомет. «Ух!», — повторили его товарищи. «Ух!», — возгласила свита Измайлова, но сам он, не изменившись в лице и не смутившись ни мало, отошел от стола, взял шляпу, поклонился хозяевам и примолвил: «До завтра, господа: утро вечера мудренее», вышел вон из залы гораздо бодрее,

нежели вошел в нее. Тут начались совещания: надобно ли будет на другой день продолжать метать ему банк или удовольствоваться одним настоящим выигрышем. Большинством голосов присудили метать до миллиона, но проигрывать не более настоящего выигрыша.

На другой день был знаменитый бег, и стечение народа было чрезвычайное. Московские охотники собрались любоваться на «Красика», принадлежащего родственнику графа Орлова, Лопухину, лошадь отличную во всех отношениях, как по быстроте и правильности бега, так и по красоте. Эту лошадь, настоящий охотничий алмаз, как ее называют, покамест держали под спудом, показывали не всякому, а некоторым только охотникам по выбору, и проезжали не иначе как по утрам. Она поручена в наездку толстяку купцу Буренину, известнейшему в Москве ездоку и страстному охотнику. «Красику» назначали цену баснословную: говорили, что и шесть тысяч рублей ему не цена, и что, кроме Измайлова, купить его некому.*

Эти слухи дошли до Льва Дмитриевича, который тотчас смекнул, что покупка этой лошади в такое время, когда он проигрался и когда о подвиге его затрезвонила вся Москва, может быть для него очень кстати, потому что заставит переменить направление общей болтовни и забыть о его проигрыше, преувеличенном вдесятеро и занимавшем публику гораздо более, нежели его самого. Он купил «Красика» тут же на бегу за семь тысяч рублей, а вечером отправился опять на игру к князю У**.

Долго продолжалась игра, но Измайлов как будто не решался принять в ней участие. Только после ужина придвинулся он к столу и поставил на две карты 75 тыс. руб. Банкомет был бодрее и уже без робости метал карты. Обе карты выиграли Измайлову; он загнул их и сказал: «На следующую талию». Князь У** стасовал карты и приготовился метать. Измайлов поставил две новые карты и, не взглянув на них, загнул каждую мирандолем. По второму аб-

* Автору «Дневника» удалось видеть «Красика» у Измайлова в селе его Хитровщине, в 1814 г. Он точно был необыкновенно красив и, несмотря на свои 15 лет, бегал еще резво и сильно. *Позднейшее примечание.*

цугу он вскрыл одну карту, которая оказалась десяткою и уж выигравшею соника; он перегнул ее и, сказав: «По прокидке», вскрыл между тем другую карту, которая тоже оказалась десяткою и, следовательно, также выигравшею, он перегнул ее и положил на первую очень покойно, как будто дело шло о десятке рублей, а не о Деднове,* с которым он, в случае дальнейшего проигрыша, решился расстаться. У князя У** заходили руки, но делать было нечего: карты поставлены мирандолем и отступиться не было возможности. После нескольких абцугов десятка опять выиграла: банкомет бросил карты и встал из-за стола, а Измайлов прехладнокровно предложил загнуть еще мирандоль, но банкометы не согласились. «Ну, так мы квиты», — сказал Измайлов и тотчас же уехал домой, где, по случаю покупки «Красика», дожидались его многие охотники с поздравлениями и цыгане с своими молодецкими песнями и плясками.

Наша белокаменная держится старинного своего правила: делу время и потехе час. И милиция и карточная игра идут своим чередом. Только не чересчур ли, родная, распотешилась? В прошедшем месяце писали и нынче приезжие рассказывают, что в Москве, от множества съехавшихся со всех концов России помещиков, появился такой прилив денег, что не знают куда их девать, а с тем вместе и воинственность престрашная: все так и рвутся на службу.

10 марта, воскресенье.

Вчера у Хвостова познакомился с Гнедичем. Он, кажется, человек очень добрый и не даром любил его Харитон Андреевич, но уж вовсе невзрачен собою: крив и так изуродован оспою, что грустно смотреть. Он убедительно приглашад меня к себе и жалел, что далеко живем друг от друга: квартира его у Знаменья на самом конце Невского проспекта. «Мы с вами не чужие, — сказал он, — оба университетские, и вот вам рука на всегдашнее братство». Я извинился, что не успел быть у него с Алексеем Петровичем. «Да, Юшневский мне сказывал, — продолжал он с усмешкою, — что вы не

* Знаменитое село по рязанской дороге, на Оке, принадлежавшее Измайлову. *Позднейшее примечание.*

хотели знакомиться со мною по случаю какого-то беспорядка ваших мыслей, но я надеюсь, что теперь вы, по собственному выражению вашему, совсем перемытились». Я покраснел и внутренно разбранил Юшневского за его нескромность. Гнедич читал свой перевод седьмой песни «Илиады», перевод мастерской,* с греческого подлинника, и, по общему мнению, ничем не хуже перевода первых шести песен Кострова, которого Гнедич может назваться достойным продолжателем. Слушатели были в восхищении. Гнедич читает хорошо и внятно, только чуть ли не слишком театрально и громогласно; на такое чтение у меня не достало бы груди.[1]

Кроме обыкновенных посетителей литературных вечеров, я встретил приехавшего из Москвы Павла Юрьевича Львова, который в последние два года издавал еженедельник под заглавием «Московский курьер».[2] Я не читал этого «Курьера», равно как и других его сочинений и переводов, но, по разговорам его с А. С. Шишковым и другими членами Российской академии и низким его поклонам, заметил, что едва ли не хочется ему попасть в Академию. Если попадет, то любопытно будет знать, за какие подвиги удостоится он этой чести, когда ни Карамзин, ни Мерзляков не попали еще в Академию.

Гаврила Романович представил меня А. Н. Оленину. Это маленький и очень проворный человечек, в военном милиционном мундире с зеленым пером. Он очень благосклонно приглашал к себе, но только по вечерам: иначе он редко бывает дома. Оленин рассказывал, между прочим, о каких-то вновь вышедших двух книжках под самыми нелепыми заглавиями, как то: «Ах! как вы глупы, господа французы!» и еще «Путешествие дьявола и глупости, или Причины возмущения Франции и Брабанта» и проч.; к последнему заглавию прибавлено: «печатано в луне, в 4 лето царствования каннибалов». Удивлялись, как находятся люди, которые в такую важную эпоху занимаются такими вздорными сочинениями!

Утверждают, что государь непременно желает употребить в настоящее военное время старых, опытных генералов царствования

* Автор «Дневника» так думал в то время и сознается в своем заблуждении. *Позднейшее примечание.*

императрицы Екатерины и что, несмотря на непостижимый поступок графа Каменского, внезапно удалившегося из армии, государь твердо стоит в своем намерении, и потому третьего дня изволил определить в службу генерала князя Прозоровского, который некогда был главнокомандующим в Москве, а недавно избран командующим 6-ю областью милиции; он старший из всех георгиевских кавалеров и в этом качестве в прошлом году подносил государю орден св. Георгия. Уверяют, что он вскоре пожалован будет фельдмаршалом.

Едва ли у А. С. Шишкова еще не больше страсти к морскому делу и к своим морякам, чем к самой литературе. Он с таким горячим участием и так восторженно рассказывал о подвиге какого-то лейтенанта Скаловского, о котором писал ему вице-адмирал Синявин, что я на него залюбовался. Этот Скаловский, командир небольшого брига, застигнут был затишьем в недальном расстоянии от Спалатро. Находившиеся там французы, увидя его в этом положении, немедленно выслали против него несколько больших канонерских лодок, на которых число пушек и людей вчетверо было больше, чем у Скаловского. Все считали погибель его неизбежною: ничего не бывало! Скаловский, не теряя присутствия духа и бодрости, отпаливался от них с таким успехом, что одну лодку потопил, а другую изрешетил так, что они должны были возвратиться в Спалатро. Правда, и он потерпел немало: корпус брига и такелаж до такой степени были избиты. что Скаловский насилу и кой-как мог доплыть до Курцоли.

Гаврила Романович очень доволен, что взысканный им некогда И. П. Лавров, служивший в последнее время экспедитором Министерства юстиции, назначен на сих днях правителем Канцелярии комитета 13 января. Это пост важный и требует от человека, его занимающего, особой сметливости, доброты душевной и бескорыстного трудолюбия. Лавров человек строгих правил, хотя формы его вовсе не изящны и часто бывают предметом насмешек.

Государь отправляется в армию на этой неделе, не позже 16-го числа. Свита его будет попрежнему немногочисленна.

11 марта, понедельник.

Иван Афанасьевич сказывал, что завтра утром Крюковской будет читать у него свою трагедию «Пожарский» и что по этому случаю он пригласил к себе Яковлева и Шушерина, которым назначаются главные роли. Как ни совестно было мне напрашиваться к старику, но любопытство превозмогло, и я попросил его дозволить мне придти к нему во время чтения. «Милости просим, душа, — сказал он, — если занятия по должности вам не помешают». — Занятия по должности! да это злой сарказм!

Я заметил, что в Коллегии мелкие чиновники разделяются на два разряда, то есть на таких, которые, подобно мне, ежедневно ходят к должности и также, подобно мне, решительно ничего не делают, и других, которые почти никогда в Коллегии не бывают, а между тем имеют постоянные занятия. Желал бы и я знать: какая причина такому неравенству в распределении работы? Ну пусть бы не занимали тех, которые не хотят или не умеют ничего делать; но за что должны бить баклуши мы, грешные, когда у нас есть и добрая воля и кой-какие способности? Уж не от недостатка ли доверия пренебрегают нами или оттого, что начальники, привыкнув к одним и тем же лицам, чуждаются новых физиономий и тяготятся ими? Право, становится скучно и даже досадно: нет в виду никакой выслуги и, пожалуй, придется опять приняться за поэзию или таскаться по театрам: да на беду и театры закрыты до пасхи — куда ни кинь, так клин. Князь Петр Васильевич прав: «В Коллегии столько вас, что ни до чего не доберешься», — сказал умный министр, и слова его подтверждаются на опыте.[1]

Из всех способов возбуждения к успешному составлению милиции самым действительнейшим в Москве оказался самый простейший, приведенный в исполнение на основании высочайшего рескрипта Тутолмину от 1 января. Этим рескриптом повелено: имена всех избранных дворянством начальников земского войска, областных, губернских и уездных, равно и сделавших приношения и пожертвования в пользу милиции, внести в особую часть дворянской родословной книги. Приезжие из Москвы рассказывают, что хотя

белокаменная и без этого побуждения действовала бы с одинаковым усердием и самоотвержением, но едва ли бы с такою необыкновенною поспешностью проявила она эту воинственность, которой так удивляются. Не только дворянство Московской губернии, но и все прочие сословия Москвы находятся в каком-то чаду, и вот уж третий месяц, как они не слышат земли под собою и так беззаботно живут, как будто бы завтра ожидало их представление света: дым коромыслом и последняя копейка ребром!

12 марта, вторник.

Трагедия Крюковского должна иметь огромный успех на сцене, потому что все почти стихи в роли князя Пожарского имеют отношение к настоящим политическим обстоятельствам и патриотическим чувствованиям народа. Такие возгласы, как, например,

Москва пе мать ли мне?

произнесенные Яковлевым, хоть у кого расшевелят сердце. Дмитревский казался в восхищении и почти при всяком стихе приговаривал: «Браво! прекрасно! бесподобно!» и проч., называл автора вторым Озеровым, поздравлял Яковлева с великолепною ролью и благодарил бога, что мог дожить до такой блистательной эпохи нашей сценической литературы. Автор верил ему на слово и был вне себя от удовольствия. «А вот князь Шаховской заметил мне многое, — сказал он, — и я, по совету его, переменил некоторые ситуации и даже сократил кой-какие тирады». — «И хорошо сделали, — подхватил Дмитревский: — князь Александр Александрович знает дело, и советами его пользоваться не мешает: оно, знаете, со стороны виднее; и хотя ваша трагедия теперь не имеет никаких погрешностей, но, вероятно, прежде можно было кое-что заметить». При этой фразе Яковлев повернулся на стуле, а Шушерин слегка усмехнулся.

Крюковской, белокурый молодой человек приятной наружности, одет щеголевато, говорит недурно, но читает плохо, а между

тем, кажется, думает, что читает хорошо. По окончании чтения он вскоре распростился с Дмитревским и отправился к князю Шаховскому условиться с ним о постановке своей трагедии на сцену и о времени ее представления. «После благоприятного вашего отзыва, Иван Афанасьич, — сказал он, откланиваясь, — я не имею больше причины сомневаться в успехе моей пьесы».

Едва только счастливый автор вышел из комнаты, Дмитревский спросил Яковлева и Шушерина, нравятся ли им назначенные для них роли. Яковлев очень дельно отвечал, что роль Пожарского, как и всякая другая роль, которую не надобно изучать, а только выучить наизусть, чтоб потом, не заботясь об игре, хватать аплодисменты на лету, не может не нравиться актеру, и что он, с своей стороны, очень ею доволен. «А вот каково-то будет иным прочим, — прибавил он, посмотрев на Шушерина, — и что сделает Яков Емельяныч из роли Заруцкого — так мы увидим». — «Якову Емельянычу поздно делать что-нибудь из какой бы то ни было роли, а тем более из такой ничтожной и бесцветной, какова роль Заруцкого, — отвечал Шушерин, — он будет играть и ее так же, как играл роль князя Белозерского, то есть как нибудь, чтоб только публике было непротивно. Сами видите, Алексей Семеныч, что я старею и хилею; грудь и орган слабеют. Теперь вам подобает расти, мне же малитися». — «Ну, вот вы сейчас состарились и занемогли! — перехватил Яковлев, — а того и смотри, что как получите пенсион, так переживете и меня». — «Мудрено, Алексей Семеныч: я двадцатью годами постарее вас. . .». — «И тридцатью похитрее», — примолвил, смеясь, Яковлев, находившийся в веселом расположении духа. «А сколько лет быть должно нашему Петру Алексеичу?», — спросил Шушерина Дмитревский. «То есть Плавильщикову? Да он семью годами моложе меня, — отвечал Шушерин, — я родился в 1753 году, а он в 1760-м». — «Ну, так вы с Плавильщиковым могли бы быть моими сыновьями, а Алексей внуком, — сказал Дмитревский, — я родился в 1733 году, то есть ровно за сорок лет до рождения Алексея и 20 лет до вашего появления на свет божий. Много с вами пережили мы доброго и худого, Яков Емельяныч, только на мою долю досталось более чем на вашу и того и другого. Как быть! У всякого

из нас была своя светлая полоса в жизни, моя прошла, а ваша проходит — что ж? По крайней мере мы не лишены утешительных воспоминаний, которых многие не имеют».

Мы вышли от Дмитревского вместе с Яковлевым, который вдруг сделался печален и задумчив. «Вы куда отправляетесь?», — спросил он меня угрюмо. «Домой», — отвечал я. — «Пойдемте ко мне обедать». — «Какой же теперь обед? еще рано». — «Я обедаю всегда почти в первом часу. Право, пойдемте. Отобедаем вместе чем бог послал: вы мне сделаете удовольствие». — «Если так, то извольте, я ваш гость, и тем охотнее, что мне хочется знать мнение ваше о трагедии Крюковского».

И вот мы пришли и уселись за небольшой столик, поставленный у стены и накрытый вместо скатерти цветною салфеткой. Выпив, по приглашению хозяина, рюмку травнику и закусив ломтиком паюсной икры, я хотел было завести с ним речь о трагедии, но толстобрюхий Семениус принес миску щей с двумя кусками холодной кулебяки и заставил меня отложить диссертацию до окончания обеда, который, впрочем, продолжался недолго и кончен был на втором блюде, состоявшем из жареных окуней. Яковлев неприхотлив и умерен в пище.

«Ну теперь, Алексей Семеныч, что скажете вы о „Пожарском“?», — спросил я моего амфитриона. — «А что я сказать могу, — отвечал он, — кроме того, что сказал уже Дмитревскому: роль Пожарского славная для меня роль, потому что мне аплодировать станут так, что затрещит театр. Что же касается до других ролей, то я думаю, они так вялы и бесхарактерны, что никакой талант не в состоянии создать из них что-нибудь дельное. Впрочем, это и натурально, потому что в трагедии нет никакой интриги, на основании которой можно было бы развить характеры и страсти участвующих в ней лиц; но дело не в том: как ни плоха пьеса Крюковского в художественном отношении, однако ж, слава богу, что начинают появляться и такие пьесы, потому что они хорошо написаны и содержат в себе много прекрасных стихов. Разумеется, „Пожарский“ — одна попытка молодого писателя, и, будучи на месте Дмитревского, я не стал бы так превозносить автора, а дал бы ему добрый совет и указал

бы на слабые места его трагедии; а то старый хитрец тотчас произвел его и в Озерова.* Поди, добивайся от него правды!».

Я заметил Яковлеву, что Дмитревский, вероятно, потому не говорит этой правды, что ее не слушают, а без настоящей пользы делу кому охота обижать чужое самолюбие? «Бог его знает, — возразил он, — может быть и так; но я его не понимаю, хотя и люблю, как родного отца. Добро бы он хитрил с другими, а то и со мною поступает точно так же. Иногда чувствуешь сам, что играл не так, как бы следовало, а он тут-то и начнет хвалить тебя на чем свет стоит; в другой же раз играешь от всей души, разовьешь все свои средства, сам бываешь доволен собою и публика в восхищении, а он, вместо справедливого одобрения, и порадует тебя обыкновенным проклятым своим комплиментом: „Ну, конечно, можно бы, душа, и лучше, да как быть!“».

Я смекнул, в чем дело, и решился откровенно сообщить Яковлеву свои мысли. «Знаете ли, Алексей Семеныч, — сказал я, — вы едва ли не заблуждаетесь насчет Дмитревского в отношении к вам: я думаю, что он вовсе не хитрит с вами. Если вы не рассердитесь, то я вам это поясню». — «Прошу покорнейше. Только вряд ли вам удастся разуверить меня в том, в чем я убежден пятнадцатилетним опытом, то есть с тех пор, как знаю Дмитревского». — «Я и не намерен разуверять вас, а только хочу сказать, что думаю». — «Ну, так говорите». — «Вот видите ли: между вами должно быть недоразумение, которое происходит оттого, что вы смотрите на искусство с разных точек зрения, а затем и дарования ваши неодинаковы: вы — дитя природы, а он — чадо искусства; средства ваши огромны, а он

* Не один Дмитревский так думал в то время. Нашлись люди, которые отдавали даже преимущество Крюковскому перед Озеровым, вследствие чего автор «Пожарского», вскоре по представлении своей трагедии, отправлен был на казенный счет в Париж для усовершенствования трагического таланта. Там жил он около двух лет, если не больше, написал преплохую трагедию «Елисавета», которую даже и на театр поставить было невозможно, и, расстроенный здоровьем, возвратился в Петербург, где вскоре и умер.

«Свежо предание — а верится с трудом!».

Позднейшее примечание.

имел их мало и заменял их чем мог: умом и эффектами, которых насмотрелся вдоволь на иностранных театрах. Из этого следует, что все то, что кажется хорошо вам, не может нравиться Дмитревскому, который желал бы видеть в вас другого себя. Вы сказали, что он хвалит вас именно тогда, когда, по мнению вашему, вы играете слабо, и бывает недоволен вами в то время, когда вы бываете довольны собою и развиваете все огромные средства вашего таланта: что ж это доказывает? — то, что Дмитревский желал бы, чтоб эти средства не увлекали вас за те пределы, которые искусство поставило таланту. Он последователь французской театральной школы, а всякий последователь этой школы почитает не только излишнее увлечение, но даже излишнее одушевление актера на сцене некоторым неуважением к публике. Я, с своей стороны, совершенно противного мнения и люблю видеть вас на сцене во всей безыскусственной простоте вашего таланта, но должен сказать, что Дмитревский так же верен своим понятиям и правилам; и если он, по робкой природе своей, опасаясь обидеть наше самолюбие, не говорит правды нам или высказывает ее обиняками, то с вами он, конечно, не хитрит, а говорит, что думает, только по-своему. Я почти уверен, что в ролях драматических он всегда бывает довольнее вами, чем в других ролях, требующих сильнейшего увлечения, потому что условия драмы не дозволяют вам предаваться вполне вашей энергии». — «То есть, вы хотите сказать, что я кричу, — подхватил Яковлев с некоторым огорчением, — это я слышал от многих так называемых знатоков нашего театра». — «Вы не поняли меня, Алексей Семеныч, — отвечал я, — напротив, вы слышали уже, что я люблю видеть вас на сцене во всей безыскусственной простоте вашего таланта; но я-публика и Дмитревский, профессор декламации, мы совершенно противоположного образа мыслей. Я-публика требуем сильных ощущений и для нас все равно, каким образом вы ни произвели в нас эти ощущения; но Дмитревский смотрит на игру вашу как художник и не довольствуется тем, что вы заставляете его плакать или поражаете ужасом; ему надобно, чтоб вы заставили его плакать или поразили ужасом, оставаясь в пределах тех понятий, которые он составил себе об искусстве и вне которых для него нет превосход-

ного актера». — «Мне кажется, вы зарапортовались», — сказал, улыбаясь, Яковлев, — не лучше ли выпить пуншу?». Я хотел отвечать, что и за пуншем толковать можно, как неожиданно вошел Сергей Иванович Кусов в сопровождении шута Тычкина,* имеющего особый дар развеселять Яковлева; разумеется, о театре не было больше и помину, и диссертация о Дмитревском сменилась необходимыми возлияниями Вакху.

13 марта, среда.

Сегодня на вопрос мой В. А. Поленову: в каком разряде чиновников считаюсь я по Коллегии, он объявил мне, что я должен считаться наравне с другими при разных должностях. «Как при разных должностях, — возразил я, — когда я ничего не делаю?». — «Да и другие тоже ничего не делают, — отвечал он, — и есть между вами тайные и действительные статские советники, а камер-юнкеров и много». И он показал мне список нашей братьи-тунеядцев, в заглавии которого именно стоит: «Состоящие при разных должностях». Я очень был рад узнать о том и теперь не облыжно могу уверить своих, что я, за неимением никакой должности, состою «при разных должностях».

---

* Тычкин, разорившийся купец, призрен был добрым и всеми уважаемым Иваном Васильевичем Кусовым, который поместил его у себя в доме (на Васильевском острову, возле Тучкова моста) и давал бедняку содержание. Этот Тычкин говорил на виршах и очень был смешон в своих рассуждениях насчет житейского быта. Яковлев называл его новым Диогеном и написал к нему стихотворное послание, в котором отдает ему преимущество пред древним философом. Вот последняя строфа этого послания, которое в то время ходило по рукам:

О циник нынешнего века,
Всея премудрости экстракт!
Искал тот тщетно человека —
Счастливей ты его стократ:
Живешь не в бочке ты, в квартире,
И, к удивлению, в сем мире
Ты человека отыскал;
Нашел его — не за горами,
Но между невскими брегами —
Гаси фонарь — ты счастлив стал!

Позднейшее примечание.

Вчера, в день восшествия на престол государя, Екатерина Романовна Дашкова получила высочайший благодарственный рескрипт за поднесенные ею государю два какие-то редкие стола, которые и повелено хранить в Московской оружейной палате, и вчера же слава нашего Университетского пансиона, Михайла Леонтьевич Магницкий, произведен в статские советники.

За обедом в павильоне генерал Лебрен, разговаривая о знатных французских эмигрантах, находящихся у нас в службе, назвал в числе их барона де Ланглад. Эта фамилия меня поразила: неужто же, думал я, упоминаемый барон де Ланглад и наш бестолковый данковский городничий барон де Лангладе, которого старик Кудрявцев называет «ворона на разладе», — одно и то же лицо? Où, diable, les grandeurs vont elles se nicher?[1] Я спросил генерала, не знает ли, где служит этот знатный барон. «Я слышал, что он имеет очень хорошее место, — отвечал Лебрен, — и служит полицеймейстером (maître de police) в каком-то городе недалеко от Москвы. Он человек очень добрый, но, говорят, до крайности бестолков, иначе он мог бы давно составить себе блистательную карьеру». Тут я не выдержал и рассказал все, что знал о нашем городничем, и даже не скрыл прозвища, которым заклеймил его Кудрявцев. «Да, — сказал Лебрен, — ваш полицеймейстер, кажется, не похож на своих предков и своего отца, которые в целой Вандее были известны не только твердостью характера и неустрашимостью, свойственными вообще всем вандейцам, но и своею сметливостью. Бароны де Ланглад с баронами де Лагранж считались молодцами на всякое дело, как в домашней, так и общественной жизни; попечительные отцы семейств своих, удалые охотники, бесстрашные воины, умные совещатели о пользах своей провинции, бароны де Ланглад и де Лагранж уважаемы были двором, любимы дворянством и почитаемы народом».

Так вот из какого соколиного гнезда вылетела данковская наша ворона! Поди рассказывай: никто не поверит!

14 марта, четверг.

Если наш Матвей Дмитриевич Дубинин может назваться типом старинных канцелярских чиновников, то Семен Тихонович Овчин-

ников, действительный статский советник, служащий советником в экспедиции для ревизии счетов, — настоящий прототип прежних чиновников высшего разряда, которые, при неуклонном исполнении служебных своих обязанностей и безусловном уважении к своей должности, любили иногда повеселиться и погулять с приятелями и всему находили свое время. Семен Семенович Филатьев, тоже действительный статский советник и переводчик Лукановой «Фарсалии», над которою трудится третий год,[1] непременно настоял, чтоб я шел вместе с ним обедать к приятелю его Семену Тихоновичу. «Да помилуйте, я с ним вовсе не знаком: как же я пойду к нему обедать?». — «Нужды нет, любезнейший друг, — отвечал Филатьев, — уж если пойдете к нему со мною, так это все равно, что ко мне, и он будет так рад, как вы себе не воображаете». Делать было нечего, я согласился и вот мы отправились пешком от Торгового моста, где живет Филатьев, в Грязную улицу, в которой, на собственном пепелище, живет Семен Тихонович. Входим: в передней встретили нас два плохо одетые мальчика лет по двенадцати, с румяными личиками и веселыми физиономиями; в столовой ожидал сам хозяин, занимаясь установкою графинчиков с разными водками и нескольких тарелок с различною закускою. В углу, на креслах, сидел уже один гость, довольно тучный барин с отвислым подбородком и с крестиком в петлице, и гладил жирного кота, мурлыкавшего на окошке. Поставленный в средине комнаты стол накрыт был на пять приборов. Завидя Филатьева, Семен Тихонович бросился обнимать его с изъявлением живейшей радости: «Вот одолжил, старый приятель! вот подлинно одолжил, пожаловал в самую пору: щи не простынут. Все ли благополучно в Пекине?».* При этом вопросе он захохотал. Филатьев рекомендовал меня как своего приятеля и назвал по имени. «Ба, ба, ба! — вскричал Семен Тихонович и залился опять таким смехом, что мне и самому смешно стало. — Да я чуть ли не был и с батюшкою-то вашим знаком в то время, как он служил

---

* Старик С. С. Филатьев, отлично добрый, честный и нравственный человек, говорил о Китае с знаками величайшего уважения и все китайское находил безусловно превосходным.[2] *Позднейшее примечание.*

здесь, в Петербурге». — «Это был мой дядя», — отвечал я. «Дядюшка ваш? Ха, ха, ха! Все-таки родственник же. Давно живем, сударик; знакомых было много: больше половины отправились в Елисейские. Ха, ха, ха!». Филатьев спросил его, не ожидает ли он еще кого-нибудь, что стол накрыт на пять приборов. «Никого, сердечный, — подхватил Овчинников. — Вишь так накрыть догадалась Марфа; говорит: может быть, кто-нибудь завернет и еще, так не стать же перекрывать стол. Умница, спасибо ей, право умница! Ха, ха, ха! . . Гей! Марфа! готовы ли щи? упрела ли каша?». — «Готово, родимый, готово; извольте закусывать да и садиться за стол, — раздался из кухни громкий голос Марфы, — сейчас принесу». И вот Семен Тихонович предложил приступить к закуске. «Милости просим, водочки, какой кому угодно: все самодельщина, ха, ха, ха; ведь мы люди холостые, только о себе думаем, ха, ха, ха! Что ж будешь делать: жениться опоздал, мать Экспедиция не приказала, ха, ха, ха! Семен Семеныч, Иван Васильич,* вот зорная, эта калганная, желудочная; а вот и родной травничок, такой, бестия, забористый, что выпьешь рюмку, другой захочется. Ха, ха, ха! А юношу-то чем просить? Чай, он крепости не любит? Ха, ха, ха. . .». — «Да и до слабостей не охотник, Семен Тихоныч, — сказал я, — выпью, что хозяин укажет, и от крепкого изыдет сладкое». — «Ах, ты, разумник мой! вот одолжил, право одолжил! Ха, ха, ха! Милости просим: икорка знатная, да и семушка-то — деликатес!».

Семену Тихоновичу лет за шестьдесят. Он сед как лунь, велик ростом, несколько сутуловат, говорит голосом не по росту — тонким и пронзительным; лицо его добродушно, физиономия светла и обращение бесцеремонно. Можно поручиться, что он целый век свой живет в мире с своею совестью, в ладах с людьми и ни разу не ссорился с жизнью.

Но вот толстая Марфа с веселым видом поставила на стол миску щей и принесла горшок с кашею. Мы сели за стол и не положили охулки на руку: все было изготовлено вкусно: щи с завитками, каша

---

* Статский советник Миронович, товарищ по службе Овчинникова. *Позднейшее примечание.*

с рублеными яйцами и мозгами — словом, объяденье. За этими блюдами последовали: огромный разварной лещ с приправою из разных кореньев и хреном, сосиски с крупным зеленым горохом, часть необыкновенно нежной и сочной жареной телятины с огурцами и, наконец, круглый решетчатый с вареньем пирог вместо десерта. После каждого блюда Семен Тихонович подливал нам то мадеры, то пива, а после жаркого раскупорил сам бутылку прекрасной шипучей смородиновки собственного изделия. Служившие за столом общипанные мальчики не были им забыты: от всякого кушанья откладывал он бесенятам своим, как называл он их, обильные подачки, и даже кот на свой пай получил порядочную порцию телятины; все это делал он, пересыпая разными прибаутками и продолжая хохотать от души.

Не успели отобедать, как толстая Марфа явилась с несколькими бутылками разных наливок и поставила их перед хозяином. «Мы ведь не французы, — сказал Семен Тихонович, осматривая бутылки, — чортова напитка — кофию не пьем, а вот милости просим отведать наших домашних наливочек, кому какая по вкусу придется; хороши, право хороши, язык проглотишь; есть и кудрявая, сиречь рябиновочка, есть и малиновка, да такая, что от рюмки сам сделаешься малиновым. Ха, ха, ха! А вот вишневочка: уж такая вышла, из собственных своих вишенек, что любо-дорого; была и клубничная, да, признаться, всю выпили; у нас не застоится. Ха, ха, ха!». Тут он подозвал стоявших у дверей мальчишек, которые от избытка употребленного продовольствия пыхтели, как тюлени, вытащенные из воды на берег, и приказал им, «на потеху гостей», петь песни. Мальчики повиновались и запищали:

Нас рано мати будила
И говорила:
Ну теперь, дети,
Пора вставати.

«А каковы мои певчие?», — говорил Семен Тихонович, помирая со смеху. Веселость его так была увлекательна, что мы, несмотря на пошлость возбудившей ее причины, сами хохотали до слез.

На обратном пути Филатьев рассказывал, что Семен Тихонович с самой ранней молодости своей отличался трудолюбием, точностью в исполнении делаемых ему поручений и примерною честностью, что он достиг настоящего чина и получил владимирский крест за 35-летнюю службу, служа в одном и том же ведомстве и по одной части, и теперь находится на вершине своих желаний, получив полный пенсион и занимая хотя незначительное, но покойное место с порядочным жалованьем. Он совершенно счастлив, имея досуг заниматься маленьким своим хозяйством и ежедневно, по выходе из экспедиции, пировать у себя или у своих приятелей, не заботясь об изготовлении бумаг к следующему утру. «Так окончили службу большею частью все мои современники-сослуживцы, любезнейший друг, — сказал мне Филатьев, — так, благодаря бога, кончил ее и я. Кто был смолоду ограничен в своих желаниях, по службе не залезал вперед и, не считая себя непризнанным гением, прилежно и честно трудился в своей сфере, тот может быть уверен, что проведет остаток дней своих весело и покойно, и даже, подобно Семену Тихоновичу, в некотором довольстве».

Все это нравоучение как будто целиком взято Филатьевым из какой-нибудь прописи, а между тем он прав.

15 марта, пятница.

Пишут из Москвы, что, несмотря на военное хлопотное время, наконец, решено строить театр, к чему и приступят тотчас же после пасхи. Место для постройки выбрано у Арбатских ворот.[1] Эта мысль хороша, потому что большая часть дворянских фамилий живет на Арбате, или около Арбата. Болтливый корреспондент мой прибавляет, что вскоре по открытии спектаклей дадут в первый раз «Модную лавку» Крылова, которую публика желает видеть так нетерпеливо, что заранее теперь хлопочет о местах. Злов готовит бенефис свой к маю и намерен дать драму «Сын любви», в которой Фрица хочет играть сам, а роль барона Нейгофа уговорил играть старика Померанцева, уволенного на пенсион в прошедшем году. Дылда мадам Ксавье, за неимением возможности, по случаю поста, показывать на сцене себя, развозит на показ дочь свою, un petit prodige,

которая, говорят, чрезвычайно мила и декламирует стихи не хуже своей матери.

Вечером был у Гнедича; застал его дома и за работою. Он очень обрадовался мне и сказал, что, со времени свидания нашего в прошедшую субботу у А. С. Хвостова, он ждал меня всякий день и не надеялся уже скоро меня видеть. «Но завтра непременно увидели бы у Шишкова», — отвечал я. «Да, правда: а вы не слыхали, что у него читать будут?» — «Да, кажется, считают на вашу восьмую песнь Илиады». — «Может быть, я и прочитаю ее, но желал бы послушать и других. Нет ли в запасе чего-нибудь у вас?». Я сказал, что ничего приготовить не мог, потому что мало имею времени, находясь при разных должностях. «О-го? так молоды и при разных должностях! следовательно, вы — другой Тургенев, и жалованья получаете много». — «Да побольше тысячи рублей, а сверх того, снабжают меня бельем разного рода и разбора, отпускают фунтов по 10 чаю, банок по 20 варенья и еще кой-какую провизию, в числе которых есть и вяленые поросята». Гнедич устремил на меня единственный свой глаз и, конечно, подумал: «Точно Юшневский прав: голова у него не в порядке». Но я скоро разрешил его недоумение и растолковал ему, что значат мои должности и откуда проистекают мои расходы. Все это очень забавляло Гнедича, особенно толки о троянской войне, и он с участием спросил меня, отчего ж, не будучи занят службою, я так мало или, скорее, ничего не пишу и не примусь за какой-нибудь дельный и продолжительный труд, чтоб со временем составить себе почетное имя в литературе. Я отвечал, что, приехав так недавно в Петербург, я не успел еще осмотреться и хочу, прежде чем решительно посвятить себя литературе, заняться службою; и если в Коллегии не добьюсь какого-нибудь назначения, то постараюсь перейти в другое ведомство; что, впрочем, я весьма начинаю сомневаться в призвании своем к литературе, и похвалы Гаврила Романовича моему дарованию, которые сгоряча я принял за чистые деньги, теперь, по зрелом размышлении, кажутся мне не совсем основательными: он в восторге от Боброва; а кто ж не знает, что такое Бобров! — «Однако ж, в ожидании назначения должности надобно делать что-нибудь, — сказал мне

Гнедич. — Вы любите поэзию, страстны к театру и, учась в хорошей школе, приобрели достаточно вкуса, чтоб не писать дурных стихов и беспристрастно ценить литературные труды свои: а потому я советовал бы вам заняться пока переводом какой-нибудь хорошей театральной пьесы; вот, например, начните-ка переводить Гамлета».

Тут Гнедич с жаром распространился о достоинстве этой трагедии и начал превозносить Шекспира, который, по мнению его, один только мог создать подобный характер. Выхватив из шкапа Шекспировы сочинения во французском прозаическом переводе,[1] он начал декламировать сцену Гамлета с привидением, представляя попеременно то одного, то другого, с такими странными телодвижениями и таким диким напряжением голоса, что ласкавшаяся ко мне собачка его, Мальвина, бросилась под диван и начала прежалобно выть. Гнедич хорошо разумеет французский язык, но говорит на нем из рук вон плохо и в чтении коверкает его без милосердия; такого уморительного произношения никогда не случалось мне слышать. Кажется, сцена появления привидения — одна из фаворитных сцен Гнедича: он от ней в восторге и удивляется искусству, с каким она подготовлена, ибо, по словам его, иначе привидение не могло бы производить такое поразительное впечатление на зрителей. По всему заметно, что переводчик «Илиады» изучает и Шекспира: он говорит о нем дельно и убедительно, и, несмотря на свои странности, внушает доверие к своим суждениям.

Гнедича в университете прозвали ходульником[2] (l'homme aux échasses), потому что он всегда говорил свысока и всякому незначительному обстоятельству придавал какую-то особенную важность. Я думаю, что в этом отношении он мало переменился; но со всем тем нельзя не признать его человеком умным и, что еще лучше, добрым и благонамеренным: à tout prendre, c'est une bonne connaissance à cultiver. С ним не скучно, и если он любит проповедывать сам, то слушает охотно и других с живым, неподдельным участием и возражает без обиды чужому самолюбию. Я заметил, что у него есть страстишка говорить афоризмами, как почти у всех грекофилов, и другая — прихвастнуть своими bonnes fortunes, но у всякого есть

свой конек: от исполина Державина до лиллипута Кобякова. Я сердечно рад, что мы дружески сошлись с Гнедичем и, даст бог, не разойдемся врагами, потому что поняли друг друга. Кажется, одно обстоятельство послужило еще к большему нашему сближению. Говоря о многих близких моих знакомых, которых я потерял из виду и которых надеялся здесь найти, я случайно назвал семейство Д. И. К., заслуженного генерала, поселившегося года четыре назад в Петербурге по обязанностям службы; вдруг Гнедич вскочил, будто змеею укушенный, и прямо ко мне с вопросом: «Так неужели вы их знаете? да это быть не может!». — «Точно так, — отвечал я, — и в подтверждение слов моих, вот вам и доказательства». Тут я рассказал ему все подробности, касающиеся до семейства К., и в особенности распространился о милой, косой генеральше Софье Александровне, вышедшей за пожилого своего мужа 14 лет от роду, любезной, веселой кокетке, подчас танцующей мазурку с молодыми офицерами, а иногда презадумчиво читающей какую-нибудь серьезную книгу; рассказал и о том, как эта косая красавица умеет быть всегда на высоте своего общества и как радушно слушает она объяснения своих воздыхателей молодых и стариков, красавцев и безобразных, городских щеголей и неучей деревенских и, по обычаю полек, мастерски ободряет их искательства. — «Так, так! теперь вижу, что вы их знаете, — подхватил Гнедич, — они уехали отсюда минувшей осенью и, к вечному сожалению моему, кажется, навсегда. Старик вышел в отставку и решился жить в деревне. Я не могу забыть о Софье Александровне, с которой знаком был около четырех лет, и время, проведенное в ее обществе, почитаю счастливейшим в моей жизни».[1]

Ну, разумеется, так! все это в порядке вещей и быть иначе не может: я знаю Софью Александровну почти с малолетства.

16 марта, суббота.

Сегодня с раннего утра Казанская площадь была усеяна народом, а в соборе такая толпа и давка, что я мог продраться в него с величайшим трудом. Государь, в дорожном экипаже, прибыл в 12 часу; после краткого молебна, приложившись к образам, изволил он от-

правиться в дорогу, напутствуемый общими благословениями. Он сел в коляску вместе с обер-гофмаршалом графом Толстым, а граф Ливен и Новосильцев поехали каждый в особых экипажах.

Говорят, что пред самым отъездом государь изволил пожаловать Александра Алексеевича Чесменского, бывшего бригадиром в отставке, генерал-майором, с тем чтоб он попрежнему оставался при главнокомандующем милициею пятой области, графе Алексее Григорьевиче Орлове, по его поручениям; разумеется, эта милость оказана Чесменскому единственно по уважению заслуг старого графа.

Но вот милости, оказанные достойным людям за собственные их заслуги: вчера М. М. Сперанский получил анненскую ленту, а находящийся при С. К. Вязмитинове коллежский советник Марченко — анненский крест на шею. Сперанский быстро подвигается вперед; да и нельзя иначе: умен, деловой, сметлив и мастер писать. Марченко также обещает много: ему не более 26 лет, а считается оракулом своего министерства и, несмотря на свои способности и необыкновенно приятную наружность, скромен, как красная девушка, почтителен к старшим и приветлив со всеми, кто имеет до него дело. Сожалеют, что он не слишком светского образования и не знает иностранных языков. Семен Семенович Жегулин был его руководителем с малолетства, а это хорошая школа.[1]

Но, кажется, время отправляться к А. С. Шишкову. Благодаря музам, я попал в общество почтенных людей; надобно поддержать себя, и если я не могу сделаться литератором по призванию, так по крайней мере пусть узнают, что я не безграмотен и не хуже других гожусь на всякое дело по службе.

17 марта, воскресенье.

Вчера слушали мы 8-ю песнь «Илиады», которую Гнедич читал с необыкновенным одушевлением и напряжением голоса. Я, право, боюсь за него; еще несколько таких вечеров — и он того и гляди начитает себе чахотку. В переводе его есть прекрасные стихи и особенно в изображении раздраженного Зевса:

Златую цепь спущу с небесной я твердыни,
Низвестеся по ней все боги и богини!

Вообще Гнедич владеет языком отлично, и хотя в стихах его есть некоторая напыщенность, но зато они гладки, ударения в них верны, выражения точны, рифмы созвучны — словом, перевод хоть куда.

Кроме Гнедича, других чтецов не было. Много разговаривали прежде о политике, об отъезде государя, о Сперанском, которому предсказывают блестящую будущность, о генерале Тормасове, которого вчера пред самым отъездом своим государь назначил рижским военным губернатором, о дюке де Серра Каприола, известном ненавистью своею к Бонапарте, но после перешли опять к литературе и театру. Любопытствовали знать о новой трагедии «Пожарский» и сожалели, что не пригласили автора на вечер. «Да, странно, что о нем ничего не было слышно! — сказал Шишков, — и откуда он мог взяться?». Я объяснил, что Крюковской служит в Банке,* что я видел его и слышал его трагедию. «Ну, что ж, какова?», — спросил Державин. Я отвечал, что стихи есть превосходные, но что касается до трактации сюжета, расположения сцен и характеров действующих лиц, то в этом отношении, по мнению моему, она очень посредственна, что подтвердил и сам Яковлев, которому назначается роль героя пьесы. «Да отчего же о ней говорят так много? — заметил Карабанов, — тут, батенька, должно быть какое-нибудь недоразумение». «Яковлев плохой судья», — сказал Гнедич, который, не знаю почему, не очень любит Яковлева. «Может быть Яковлев и ошибается, — отвечал я, — но трагедиею публика интересуется потому, что, несмотря на свои недостатки, она все-таки есть произведение замечательное и, так же как „Дмитрий Донской“, теперь является очень кстати». Александр Семенович Хвостов начал утверждать, что в последнее время заметно большое движение в театральной литературе и что этому, без сомнения, способствовало соединение таких отличных талантов, какие теперь украшают нашу сцену, как, например, Шушерин, Яковлев, Семенова, Рыкалов, Пономарев, Рахманова и др. «Мне кажется, что это совершенно на-

* Матвей Васильевич Крюковской в это время не служил еще в Банке, а только искал случая определиться туда. Он был поручиком в отставке и членом Общества любителей словесности, наук и художеств. *Позднейшее примечание.*

оборот, — сказал Гнедич, — не актеры образуют писателей, но писатели актеров. Без Сумарокова и Княжнина мы не имели бы Дмитревского и его последователей: Шушерина, Плавильщикова и Яковлева; без Озерова талант Семеновой не получил бы такого развития и, может быть, зачах бы преждевременно, истомленный ролями старинных трагедий, в которых слог не только устарел, но и вовсе неудобен для правильного произношения. Да и сами Шушерин и Яковлев разве были теми, чем стали они со времени трагедий Озерова, и роли Эдипа, Фингала и, наконец, Дмитрия Донского разве не дали им случая выказать свои дарования в новом блеске?». И. С. Захаров вступился за старые трагедии и доказывал, что слог их вовсе не так устарел, потому что, несмотря на появление новых трагедий, публика продолжает смотреть с удовольствием на представления и старых. Из этого готов был возникнуть спор, но Гнедич замолчал и учтивости. К счастью, что не было Кикина и Писарева, а то бы пошел дым коромыслом.

«Может быть, хорошие писатели и подлинно содействуют образованию актеров, — сказал Карабанов, — но, кажется, и то не менее справедливо, что хорошие актеры возбуждают охоту в писателях трудиться для театра. Вот, например, вы сами, Николай Иваныч, теперь переводите „Леара“[1] и, помнится, сами же говорили, что не будь Шушерина для роли Леара и Семеновой для роли Корделии, вам бы и в голову не вошло переводить эту трагедию». — «Это правда, — отвечал Гнедич, — но я перевожу или, лучше, переделываю „Леара“ собственно для бенефиса Шушерина, по его просьбе,* и если бы не был уверен, что он хорошо его сыграет, то, конечно, не стал бы тратить время попустому; но автор, который предпринимает труд не случайный и заботится о художественной его отделке собственно для своей славы, не имеет в предмете ни Шушерина, ни Семеновой, а только характеры выводимых им на сцену персонажей и не станет сообразжаться с средствами тех сюжетов, которые их играть должны, а предоставит сообразжаться им самим с его творением. Ав-

* «Леар» был представлен в первый раз на театре 18 ноября 1807 г., в бенефис Шушерина.

тор трагедии или комедии — не капельмейстер какой-нибудь, который обязан сочинять музыку заказанной ему оперы, сообразуясь с голосами, находящимися в распоряжении его импрессарио».

За ужином разговорились о Российской Академии. «А сколько считается теперь всех членов?», — спросил Державин Петра Ивановича Соколова. «Да около шестидесяти», — отвечал секретарь Академии. «Неужто же нас такое количество? — сказал удивленный Шишков, — я думал, что гораздо менее». — «Точно так; но из них, как вашему превосходительству известно, находится налицо немного: одни в отсутствии, другие избраны только для почета, а некоторые. . .». «Не любят грамоты», — подхватил А. С. Хвостов. Все засмеялись. «Правда, что иные точно бесполезны, — заметил Шишков, — втерлись в литераторы бог весть каким образом, не имея на то никакого права, между тем как много писателей достойных не заседают еще в Академии. Впрочем, — прибавил он, — надобно надеяться, что все изменится к лучшему. Государь намерен сделать большие преобразования: одни из средств к распространению просвещения уже угаданы, другие обновлены и усилены, третьи очищены и облагорожены; остается направить их к надлежащей цели; это не замедлится, и тогда Российская Академия будет иметь настоящее свое значение, а труды достойных наших писателей получат надлежащее ободрение».

Мне так хотелось знать, из каких лиц составлена Академия, что я решился попросить у сидевшего возле меня Соколова именного списка ее членам. Он с величайшею готовностью обещал мне дать его, пригласив придти за ним в Академию, где он бывает каждое утро.

Мы вышли от Шишкова вместе с Гнедичем и рассуждали дорогою, отчего, несмотря на радушие хозяев, так мало собирается у них молодых писателей, да и те, которые приходят, ничего почти не приносят с собою для чтения. «Должно думать, — сказал переводчик «Илиады», — что наши юноши мало трудятся собственно для литературы и только стараются попасть в общество литераторов для каких-нибудь особенных целей, а, может быть, и от нечего делать. Да, правду сказать, в числе этих господ академиков низшей степени

есть такие, которые не очень могут ободрить молодого поэта. Вы не слыхали, как ваш сосед за столом, Петр Иванович, подтрунивал над сочинителями пьес театральных: вся эта поэзия, говорил он Тимковскому, все эти трагедии и поэмы одна только роскошь в литературе; а нам не до роскоши, когда мы нуждаемся в насущном хлебе. Нам нужны не поэты, а люди, которые бы умели писать в прозе правильно и ясно; у нас нет ни эпистолярного, ни делового слога, о котором похлопотать непременно бы следовало; а заботиться о прочем — одна суетность и, право, не стоит труда. Вот извольте видеть, как рассуждает Петр Иванович, а еще секретарь Академии!».[1]

18 марта, понедельник.

Давеча из Коллегии нарочно ездил к Соколову за списком членов Академии и так рад, что получил обещанное сокровище! Что ж это значит? В числе 58 человек, только 5 известных поэтов с истинным талантом: Державин, Херасков, Капнист, Дмитриев и Нелединский, и только два настоящие литератора с именем: М. Н. Муравьев и А. С. Шишков, к которым, правда, можно присоединить и нескольких даровитых особ из высшего духовенства, как то: преосвященных Иринея псковского, Анастасия белорусского, Мефодия тверского, Феоктиста курского и Михаила черниговского, а там хоть шаром покати! Вижу людей знатных: графа Строганова, графа Мусина-Пушкина, Татищева, князя Куракина, князя Белосельского, графа Васильева, Трощинского и князя Голицына, и нахожу натуральным, что Академия ищет себе достойных покровителей; но понять не могу, как попали в нее люди вовсе не известные в литературе или, что еще хуже, известные своею бездарностью? Отчего в списке красуются имена графа Хвостова, Кутузова, Стахия Колосова, Николева, Мальгина, Озерецковского, Никитина, Дружинина, Севастьянова, Никольского и самого секретаря Академии Соколова, а нет в нем имен Карамзина, Крылова, Озерова, князя Шаховского, Чеботарева, Мерзлякова и других? Невольно удивляешься, видя ряд имен, может быть и почтенных людей, но уж вовсе не поэтов и не литераторов. Скажут, что они люди ученые, хоть и это еще не доказано, но в таком случае место их скорее в Ака-

демии Наук. Академия Российская основана в видах пользы русской литературы, по примеру Академии Французской, следовательно и должна быть составлена из одних знаменитых литераторов, за исключением некоторых вельмож, ее покровителей и предстателей у престола. Иначе всякий, переведя какую-нибудь книжку, может тотчас и попасть в Академию, как, например, попал в нее Я. А. Дружинин за перевод «Пифагоровых учениц» Виланда. . . Ума не приложу; потолкую об этом с Гаврилом Романовичем.[1]

19 марта, вторник.

Гаврила Романович написал на отъезд государя молитву, которую московский мой знакомец Нейком, приехавший сюда на прошедшей неделе, намерен положить на музыку и исполнить ее или в своем концерте или в концерте Филармонического общества. Боюсь вымолвить, но эти стихи нашего барда слабы и не похожи на прежние его сочинения, а, кажется, был прекрасный случай к вдохновению.[2]

Толковали о князе Платоне Александровиче Зубове, который, несмотря на свое пятилетнее отсутствие, до сих пор еще считается шефом Кадетского корпуса. В это звание возвел его император Павел Петрович, а членом Государственного совета пожалован он уже государем Александром Павловичем. Гаврила Романович уверяет, что Зубов имеет много природных способностей. «Во время моего статс-секретарства, — говорил старик, — часто случалось мне перед докладом императрице заходить к Зубову и объясняться с ним по разным делам, о которых я докладывать был должен императрице, и выслушивать его заключения: они были очень правильны».

К слову о статс-секретарстве Гаврила Романовича. Любопытно происшествие, случившееся с ним во время исправления этой должности. Державин докладывал однажды императрице по какому-то очень важному делу и, по случаю сделанного ею возражения, до того забылся в горячности своего объяснения, что осмелился схватить ее за конец мантильи, как бы в споре с какою-нибудь обыкновенною знакомою дамою. Государыня тотчас позвонила. «Кто еще там есть?», — спросила она очень хладнокровно вошедшего на звук

колокольчика камердинера своего Зотова. «Статс-секретарь Попов», — отвечал Зотов. — «Позови его сюда». Попов вошел. «Побудь здесь, Василий Степаныч, — сказала императрица ему с улыбкою, — а то вот этот господин много дает воли рукам своим». Державин опомнился и, в отчаянии, бросился государыне в ноги. «Ничего, — примолвила императрица, — продолжайте докладывать; я слушаю». Это происшествие, которое рассказывал Попов и в котором сознавался сам Державин, было, кажется, настоящею причиною перемещения его из статс-секретарей в сенаторы.

Уверяют, что звонок был прежде принадлежностью одних присутственных мест и в домашнее употребление введен только в начале царствования императрицы Екатерины Великой. До того же все знатные особы держали при себе или пажиков или, большею частью, карликов и карлиц для призыва нужных служителей и других небольших комнатных услуг. Эти гномы находились при своих патронах безотлучно, знали все их привычки, умели угождать им и до такой степени успевали снискивать их доверие, что в стенах кабинета, который мог назваться миром этих маленьких существ, не было для них ничего сокрытого: все говорилось и делалось при них без малейшего опасения их нескромности, как будто их и не существовало.

20 марта, среда.

Французский актер, старик Дюкроаси, который так превосходен в ролях à manteaux, составляющих его амплуа, кажется, настоящий француз de la vieille roche: умен, простодушен, словоохотлив и, кажется, очень набожен. Мы застали его сидящего в креслах пред камином с молитвенником в руках. Эта книжка, судя по истертым ее листам, должна быть в беспрестанном употреблении; возле кресел, на столике, лежали «Phédon» Платона и еще несколько религиозных книг. Странное сочетание духовного направления с обязанностями актера!

Дюкроаси сказывал, что он в самой ранней молодости и по одному только легкомыслию вступил на сцену и до сих пор в том раскаивается. Этот поступок чрезвычайно огорчил родителей его, но в осо-

бенности дядю, богатого негоцианта, который, в порыве негодования, лишил его наследства. «Никакие успехи на сцене, — говорил он, — не могли заставить меня позабыть этот случай, так бедственно отразившийся на все происшествия моей жизни. Слава богу, что еще удалось мне приютиться в России, где, благодаря милостям государя, надеюсь умереть покойно не за кулисами и не на театральных подмостках; иначе пришлось бы, может статься, до гробовой доски не оставлять скучного моего поприща».

Дюкроаси очень догадливо объясняет причину, отчего иные актеры, несмотря на превосходство своих дарований, не достигают иногда такой славы, какою пользуются другие, не столь талантливые. Он утверждает, что актер всегда кажется превосходнейшим, если он на сцене бывает окружен талантами посредственными, и, напротив, самый отличный актер теряет много в глазах обыкновенной публики (не говоря о небольшом числе знатоков), если он играет с актерами, равными ему превосходством своих дарований. Вот причина, почему девица Клерон пользовалась некоторое время репутациею превосходнейшей актрисы против девицы Дюмениль, хотя и не имела высокого вдохновенного таланта последней. Она, пользуясь покровительством дюка де Ришелье, имевшего сильное влияние на французский театр, умела так обстанавливать пьесы, в которых играла, что прочие в них роли занимаемы были большею частью актерами второстепенными (doublures), между которыми, естественно, она первенствовала. Клерон не любила быть на сцене ни с Лекеном, ни с Бризаром; а когда необходимость заставляла ее играть вместе с мамзель Дюмениль, то дело не обходилось без историй и часто соблазнительных. Чтоб удовлетворить прихоти девицы Клерон, многие известные люди сочиняли пьесы, которых интерес сосредоточен был на одной роли, для нее предназначенной, как, например, в трагедиях «Дидона», «Ифигения в Тавриде» и, наконец, «Медея», которую называют триумфом ее таланта, хотя, по мнению его, Дюмениль могла бы сыграть эту роль несравненно лучше Клерон.

«Если б удалось вам, — продолжал Дюкроаси, — видеть представления некоторых пьес на французском театре в Париже, вы

удивились бы совершенству, с каким они разыгрываются на сцене; но более удивились бы тому, что действующие в них великие актеры сами по себе не возбуждают никакого удивления: так совершенство игры каждого из них сливается в совершенстве ансамбля, и это совершенство еще более проявляется в комедии, нежели в трагедии. Флери, Сен-Фаль, Дазенкур, Дюгазон, Мишо, Батист, Арман, Конта, Жоли, молодая Марс и другие могут назваться истинными представителями французской Талии, а о предшественниках их, Моле и Превиле, кончивших свою карьеру в начале французской революции, нечего и упоминать: это были гении в своем роде».

21 марта, четверг.

Гебгард приходил звать меня на пикник, который немецкие актеры делают по подписке в честь берлинского своего собрата драматурга Ифланда, отличившегося недавно своим патриотизмом. Арресто* пишет, что Ифланд, несмотря на строгое запрещение французского правительства в Берлине праздновать дни рождения и именин короля и королевы, 10-го числа сего месяца вышел на сцену в своей пьесе «Die Jäger» с букетом цветов в руках, и так как публика, догадавшись о значении этого букета, приветствовала актера единодушно несколькими залпами громких аплодисментов, то Ифланд и был посажен на двои сутки под арест. С величайшим удовольствием отдал я четвертую часть своего капитала, то есть десять рублей, любезному Гебгарду и дал слово ехать с ним в Красный кабачок, где учреждается пикник. Будут читать письмо Арресто и говорить речи; но главное дело не в речах, а во вкусных вафлях, которыми исстари славится Красный кабачок, и в катанье бок-о-бок с мамзель Леве и ее товарками.

22 марта, пятница.

Вот и еще письмо от отца по березняговскому делу. «Хлопочи, проси, кланяйся, настаивай и проч. и проч.»; все это легко вымолвить, но исполнить трудно, да и как еще трудно! Надобноуменье,

* Известный драматический актер, бывший на петербургской сцене, превосходный в ролях Карла Моора, маркиза Позы и Валленштейна.[1] *Позднейшее примечание.*

а у меня, к несчастью, недостает ни уменья, ни охоты. Я до сих пор не могу еще опомниться от приема Ватиевского, и добрый Крейтер не совсем мог залечить раны, нанесенные моему самолюбию.

Пикник был превеселый: все именитости здешнего немецкого театра принимали в нем участие. Кудич читал письмо Арресто, Гебгард говорил речь, мамзель Леве продекламировала стихи, в которых восхвалялось гражданское мужество Ифланда; затем полдничали: дамы пили чай и кушали вафли в разных видах, кто со сливками, кто с вареньем, а мужчины удовлетворяли аппетит свой более солидными блюдами: солониною и телятиною и пили пунш. Немецким винам не было конца; в заключение всего вальсировали напропалую под музыку двух каких-то инструментов, в роде гудков (скрипками назвать их совестно) и дребезжащего виолончеля, которым аккомпанировал хор самих танцующих: Zigeuner sind lustig und tanzen so gern. Словом, все веселились от души, без претензий, а некоторые и нагрузились порядком. На обратный путь великана Эвеста уложили в сани, закрыв его ковром, а чопорную жену его посадили возле него нянькою, чтоб не дурил, потому что он непременно хотел сам править лошадьми, уверяя, что настоящее призвание его быть кучером и что он мастер этого дела.

23 марта, суббота.

А. Г. Харламов присоветовал мне повидаться насчет березняговского нашего дела с одним из искуснейших здешних поверенных, И*. Я видел этого дельца, говорил с ним, но не добился от него никакого толку. Он начал с предлинного рассуждения о том, что всякое дело имеет две стороны, и почему справедливое дело может иногда показаться несправедливым и обратно; что всякий судья смотрит на обстоятельства дела с своей особой точки зрения, в чем упрекать его не должно, потому что не все люди одарены одинаковою прозорливостью и проч., и, наконец, повершил известною поговоркою Д. П. Трощинского: «Дело не в докладе, а в докладчике». Я не мог догадаться, к чему клонится все это многоречивое предисловие, тем более что просил его об одном только указании, каким образом я мог бы иметь ближайшее наблюдение за ходом нашего дела и успо-

коить отца, встревоженного передачею этого дела в заведывание другого, нового секретаря; но И* недолго оставлял меня в недоумении и довольно резко объявил, что он легко может в том пособить мне и даже руководствовать меня в нужных случаях, если я дам ему пятьсот рублей тотчас и столько же по окончании процесса. Я молча выпучил на него глаза, и мое удивление послужило ему поводом к новой диссертации о возмездии, которым все мы один другому обязаны за труды, хлопоты и потерю драгоценного времени. «Вы знаете, — вдруг спросил он меня, — что такое время?». У меня так и завертелось на языке отвечать ему стихами Хемницера:

А время вещь такая,
Которую с тобой не стану я терять,

но, к счастью, воздержался от грубого слова и, учтиво раскланявшись, оставил знаменитого дельца, который, кажется, задумал подражать английским адвокатам и брать деньги даже и за советы. Пятьсот рублей тотчас и столько же по окончании процесса! Нечего сказать, молодец! Впрочем, Паглиновский научит меня, что я предпринять должен.

Но лучше, по выражению князя Шаликова, «поспешим в объятия муз» и поедем на очередный литературный вечер к Державину. Там, по словам другого поэта, более талантливого:

Забудем житейское горе
И сбросим с усталых рамен
Тяжелую, скучную ношу
Вседневных забот безотвязных,
Мы силы души обновим
Целебной струей Иппокрены!

24 марта, воскресенье.

Княгиня Дашкова, по смерти сына, необыкновенно стала щедра на пожертвования. Недавно поднесла она государю какие-то редкие столы, а теперь подарила университету весь свой музеум натуральной истории, замечательный по редким экземплярам животных четвероногих, птиц, пресмыкающихся, минералов и разных раковин. Это — драгоценное приобретение для университета. Теперь наш профес-

сор натуральной истории, А. А. Антонский, не будет более на лекциях своих показывать одни камешки: «Вот видите ли, дети, камешек-та, о котором толковал я вам на прошедшей-та лекции. Как же он называется?». — «Лабардан», — отвечал бывало всегда повеса Мневский. — «Ну вот и видно, что охотник-та жрать: все съестное-та на уме; лабардан-та рыба, а камешек называется лабрадор-та». Так проходили почти все его лекции.

Видно, нашей братье, мелкотравчатым стиходеям, совестно стало приходить на литературные вечера с пустыми руками; немного их было вчера у Гаврила Романовича, да и те, которые были, как то: П. А. Корсаков и Щулепников, опять ничего не принесли с собою; но в замену плохих стихов наслушался я умных речей и вдоволь насмотрелся на многих почтенных людей, в числе которых министр просвещения граф Завадовский занимает первое место. Это муж века Екатерины Великой. Он очень величав наружностью; в движениях его много истинного достоинства; говорит протяжно и как будто бы взвешивая каждое слово, но зато выражается правильно и разговор его исполнен здравомыслия. Сказывали, что смолоду он был красавец: может быть; но теперь, кроме живых, умных глаз, других остатков прежней красоты незаметно; лицо угревато и багрово, а от белонапудренных волос кажется еще багровее. Разговаривали о войне и о намерениях государя достигнуть общего мира в Европе. «Цель великая, — сказал граф Петр Васильевич, — но едва ли достижимая; помирившись с французами, мы будем воевать с англичанами. Государь желает мира для того, чтоб приняться за необходимые преобразования для блага России, а, может быть, и всего человечества; но именно по этой-то причине и не оставят нас в покое. Не говорю о Бонапарте, который — заклятый враг спокойствия России, потому что она одна в состоянии полагать преграды ненасытному его властолюбию; но и державы нам дружественные или, вернее сказать, те, которые мы почитаем дружественными, не будут спокойно смотреть на наше могущество, возрастающее по мере успехов просвещения, образованности и усовершенствования внутреннего управления в государстве, о чем так печется государь с самого восшествия своего на престол. Да, впрочем, говоря откро-

венно, я считаю и войну не совсем для нас бесполезною: доказано, что продолжительный мир иногда ослабляет государства; к тому ж надобно принять и то в соображение, что без войны нельзя ни образовать военных людей, ни узнать их способностей, а искусные и опытные военачальники для России необходимы. В каком бы мы видимом согласии ни находились с нашими соседями, спокойствие и безопасность государства требуют, чтоб оружие было всегда наготове».

А. С. Шишков прочитал стихи Анны Петровны Буниной на смерть одной из ее приятельниц, молодой девушки шестнадцати лет. В них есть мысли и довольно силы в выражениях; но странное дело, они как будто писаны по заказу и не производят никакого действия на душу; это стихи не женщины, оплакивающей свою подругу, а скорее студента, рассуждающего о жизни и смерти, отсутствие чувства — главный их недостаток. Бунина не хотела назвать стихов своих элегиею потому, что они писаны четырехстопным ямбом в десятистишных строфах, и дала им пышное название оды, как будто бы нельзя написать элегии четырехстопными ямбами. Но если стихи мне вовсе не по душе, то эпиграф к ним пришелся по сердцу; это двустишие, взятое из сочинений какого-то испанского поэта, а, может быть, и просто какая-нибудь эпитафия:

Dionosla Dios, no pòrque la diese
Mas para montrar en tierra su obra,

то есть: «Бог дал нам ее не для того, чтоб оставить ее здесь, но чтоб показать на земле свое творение». Эту мысль могла бы развить Бунина в своих стихах, не гоняясь за глубокомыслием, которое не всегда бывает у места, и особенно там, где должно преобладать одно чувство.

Гаврила Романович толковал о каком-то Селакадзеве, у которого будто бы находится большое собрание русских древностей и, между прочим, новгородские руны и костыль Иоанна Грозного. Он очень любопытствовал видеть этот русский музеум и приглашал А. С. Шишкова и А. Н. Оленина вместе осмотреть его. «Мне давно говорили о Селакадзеве, — сказал Оленин, — как о великом анти-

кварии, и я, признаюсь, по страсти к археологии, не утерпел, чтоб не побывать у него. Что ж, вы думаете, я нашел у этого человека? Целый угол наваленных черепков и битых бутылок, которые выдавал он за посуду татарских ханов, отысканную будто бы им в развалинах Серая; обломок камня, на котором, по его уверению, отдыхал Дмитрий Донской после куликовской битвы; престрашную кипу старых бумаг из какого-нибудь уничтоженного богемского архива, называемых им новгородскими рунами: но главное сокровище Селакадзева состояло в толстой, уродливой палке, вроде дубинок, употребляемых кавказскими пастухами для защиты от волков; эту палку выдавал он за костыль Иоанна Грозного, а когда я сказал ему, что на все его вещи нужны исторические доказательства, он с негодованием возразил мне: „Помилуйте, я честный человек и не стану вас обманывать“. В числе этих древностей я заметил две алебастровые статуйки Вольтера и Руссо, представленных сидящими в креслах, и в шутку спросил Селакадзева: „А это что у вас за антики?“. — „Это не антики, — отвечал он, — но точные оригинальные изображения двух величайших поэтов наших, Ломоносова и Державина“. После такой выходки моего антиквария мне осталось только пожелать ему дальнейших успехов в приращении подобных сокровищ и уйти, что я и сделал».*

* Г. Р. Державин не удовольствовался предостережением А. Н. Оленина и, четыре года спустя (1811 г.), пред самым составлением Беседы любителей русского слова, ездил, после бывшего у него обеда, в обществе: Н. С. Мордвинова, А. С. Шишкова, И. И. Дмитриева и того же А. Н. Оленина, к Селакадзеву, жившему в одном из переулков Семеновского полка, в не совсем опрятной квартире. По просьбе Гаврилы Романовича автор «Дневника» с П. А. Корсаковым отправился вперед, чтоб предуведомить антиквария о посетителях. Он был в восхищении, сам принялся мести комнаты и сметать пыль с своих редкостей, поставил несколько восковых свечей в подсвечники, надел новый сюртук и с преважным видом расположился на софе ожидать гостей, спрашивая попеременно то у автора «Дневника», то у Корсакова: «Так этот Дмитриев министр юстиции? Так этот Мордвинов член Государственного совета?», и когда они удовлетворили его вопросам, он с какою-то гордостью беспрестанно повторял: «Ну что ж? пусть посмотрят, пусть посмотрят». По приезде Державин, не обращая внимания на другие предметы, бросился рассматривать новгородские руны и, к общему удивлению, отыскал несколько отрывков, которые его

Решительно не понимаю, отчего во всех здешних литераторах заметно какое-то обидное равнодушие к московским поэтам, хотя бы, например, к Мерзлякову, Жуковскому, Пушкину и другим. И. С. Захаров, толкующий беспрестанно о грамматике, говорит о них как об учениках и никак не хочет согласиться, чтоб они имели дарование, а между тем покровительствует таким писателям, которых Мерзляков не допустил бы даже на свои лекции, а отправил бы их к Афанасию Михайловичу Смирнову. Какое же может быть сравнение не только между Мерзляковым или Пушкиным, но даже между Измайловым, Колычевым, князем Шаликовым и прочими второклассными московскими писателями, и каким-нибудь сочинителем стишков «К Трубочке» и ему подобными рифмоплетами, которых встречаю я на литературных вечерах? Из москвичей один И. И. Дмитриев здесь в почете, да и то разве потому, что он сенатор и кавалер, а Карамзиным восхищается один только Гаврила Романович и стоит за него горою; прочие же про него или молчат или говорят, что пишет изряднехонько прозою, между тем как наш Карамзин заслуживает уважения и за свои стихотворения, в которых язык превосходный и много чувства. Но что больше удивляет меня, что почти все эти господа здешние литераторы ничего не читали из сочинений Мерзлякова и Жуковского, и вот тому доказательство: за ужином А. С. Шишков сказывал, что Логин Иванович Кутузов читал ему Грееву элегию «Сельское кладбище», переведенную братом его Павлом Ивановичем, и Шишков находит перевод очень хорошим и близким

заинтересовали до такой степени, что он тотчас же списал их и впоследствии поместил в рассуждение свое о лирической поэзии, читанное в Беседе. Вот один из этих отрывков с переводом Гаврилы Романовича:

Угли жрцу говор Еролку	Перевод
Пакоща свада	По злобе свара
Дюжу убой	Сильному смерть
Тяжа начата	Тяжба с богатством
Тощ перелой.	Худ передел.

А. Н. Оленин заметил, что с тех пор, как он в первый раз видел музеум Селакадзева, в нем ничего не прибавилось и ничего не изменилось, кроме того, что под одною статуйкою, вместо прежней подписи «М. В. Ломоносов», явилась другая с именем «И. И. Дмитриев».[1] *Позднейшее примечание.*

к подлиннику. Я заметил, что Павел Иванович перевел эту элегию после Жуковского, которого перевод несравнительно превосходнее. «Не может быть!», — возразил Александр Семенович. «Говорю сущую правду, — отвечал я, — и если угодно прочитаю ее вам когда нибудь, чтоб вы могли посудить сами: я знаю ее наизусть». — «Так, пожалуйста, нельзя ли теперь?», — подхватил нетерпеливый Гаврила Романович. И вот я прочитал во всеуслышание всю элегию от первого до последнего стиха, старясь, сколько возможно, сохранить всю прелесть мелодических стихов нашего московского поэта. Когда я кончил, все смотрели на меня как на человека, отыскавшего какую-нибудь редкую вещь или нашедшего клад; элегию хвалили, но вместе удивлялись и моей памяти: я сказал, что стихи Жуковского сами невольно врезываются в память, между тем как стихи П. И. Кутузова запомнить очень трудно.

Эта выходка стоила мне, однако ж, дорого: меня обнесли винегретом, любимым моим кушаньем.

25 марта, понедельник.

Паглиновский снабдил меня запискою к знаменитому юрис-консульту Министерства юстиции Ивану Алексеевичу Соколову, которою просил его сказать мне свое мнение о березняговском деле и наставить меня, как действовать в нужном случае. «Советую вам, — сказал мне добрый Дмитрий Моисеевич, — побывать у Соколова вечером часов в шесть: в это время он всегда бывает дома и охотно принимает посетителей. Предупреждаю вас, что если вы играете в шахматы, то будете для него драгоценным гостем: старик страстно любит эту игру и бывает очень доволен, когда удастся ему найти партнера. Это единственное развлечение, которое он себе дозволяет».

Я рассказал Дмитрию Моисеевичу о разговоре моем с стряпчим И*, и он, несмотря на свое хладнокровие, очень смеялся предложению его руководствовать меня в деле за 500 рублей, но удивлялся, почему не запросил он гораздо более, потому что вообще стряпчие, для придания большей себе важности, имеют правилом ценить свое ходатайство сначала в тридорога и после мало-помалу соглашаться на безделку, как будто из особенного участия к лицу, которое пору-

чает им свое дело. «Как быть! — прибавил Паглиновский, — эти люди не могли бы существовать, если б время от времени не попадались им простаки, насчет которых они не только живут, но и роскошничают».

26 марта, вторник.

Роман, настоящий роман! Я опять встретился с Александрой Васильевною, которая со времени последнего нашего свидания, мне кажется, еще более потолстела. Так, бедняга, и переваливается, как откормленная утка. Она пригласила меня проводить ее до дому и зайти к ней, чтоб кой о чем поговорить со мною. Я с удовольствием согласился, но после был совсем тому не рад, потому что едва не попал в историю. Попадавшиеся нам навстречу смотрели на нас с каким-то обидным любопытством и ухмыляясь, а один франт, остановив меня, пренагло спросил: «Позвольте, милостивый государь, узнать, где и чем откармливают таких госпож?». Я хотел было плюнуть ему в глаза, но не успел опомниться, как он уж был далеко.

По приходе на квартиру Александра Васильевна, заметив, что я нахожусь в дурном расположении духа, и, вероятно, догадавшись, что остановивший меня франт спрашивал о ней, сама завела речь о своей толщине и очень остроумно подтрунивала над собою. «Все это прекрасно, — сказал я ей, — но как вы решаетесь ходить одне, даже без лакея? Немудрено напасть на какого-нибудь сорванца, который одними вопросами может навлечь вам неудовольствие». — «Ну что ж? Я отшучусь. Но дело не в том: я хотела спросить вас: хороша ли я?». С этим словом она подошла к зеркалу и стала охорашиваться, любуясь лицом своим, бесспорно прелестным, миловидным и привлекательным. Я отвечал, что не знаю, к чему может клониться такой вопрос, но должен признаться, что она хороша, как гурия, и если б не безобразила ее толщина, то она была бы первою красавицею в свете. «А каковы у меня руки?»,— спросила она опять, показывая мне свои руки. «Нечего сказать, и руки прелесть, загляденье». — «Теперь посмотрите на мои волосы». Тут распустила она косу, и длинные пряди густых каштановых и лоснящихся волос упали чуть не до самого полу. «Волосы бесподобные, удивительные, —

сказал я, — такие волосы, каких я от роду не видывал». — «Ну так напьемтесь чаю, а после я сделаю вам еще несколько вопросов, на которые вы должны отвечать мне откровенно, и тогда объясню вам, в чем дело». — «Извольте». — Чай принесли, и Александра Васильевна разливала его очень грациозно. Я постигнуть не мог, что значили все эти приготовления, и сидел как на иголках в нетерпеливом ожидании развязки. Но вот, наконец, чайный прибор унесли, и Александра Васильевна приступила к объяснению. «Скажите — который вам год?». — «Девятнадцать лет минуло в феврале». . . —«А мне будет двадцать два года в сентябре. Вы здесь одни и родных никого нет?». — «Ни одного человека». — «Так же, как и у меня. Следовательно совершенно свободны и независимы?». — «Свободен, как птичка, в отношении к мелочным обстоятельствам петербургской жизни, но во всех других случаях завишу от воли отца и матери». — «А сколько они дают вам на прожиток?». — «Я получаю от них покамест тысячу двести рублей и, сверх того, много койкаких вещей из домашнего хозяйства: есть всего вдоволь». — «У меня две тысячи рублей своего дохода и, кроме того, мне следует после мужа пенсия, которую скоро получить надеюсь. Послушайте: вы привыкли жить в семействе, и вам одним должно быть очень скучно; я также изнываю от скуки одна: дорога в Москву мне запала надолго, если не навсегда, а здешнее общество для меня не существует; отчего бы нам одиноким сиротам на чужбине не жить вместе, как брату с сестрой? Мы давно знакомы друг с другом: вы должны быть уживчивы, а за себя я ручаюсь. Я веселого нрава, и вы со мною не соскучитесь. Я откровенна и вас приучу к откровенности, потому что снисходительность — главное мое качество. Вы будете любить меня, как душу, а, может быть, и теперь уж любите; впечатления, которые мы получаем в первой молодости, не исчезают скоро. Подумайте, сколько удовольствия иметь возле себя сестру, которая бы любила вас, ухаживала за вами, пеклась о вашем хозяйстве, утешала вас в неудачах, радовалась вашим успехам и, к тому же, была бы сама счастлива. Право, подумайте. Я делаю вам это предложение, откинув всякое притворство и ложный стыд, потому что чувствую себя в состоянии быть доброю вам подругою и самоотвержением своим

приобрести себе в вас друга и брата. Я одна в целом мире, и мне жить не для кого; не покинуть же мне свет в мои лета, с моим здоровьем и с моим веселым нравом; а и того хуже, не выйти же опять замуж за какого-нибудь старого брюзгу, которого любить нельзя. Теперь скажите, хотите ли иметь толстую, но хорошенькую сестрицу, которую вы знаете почти с малолетства и к которой некогда так нежно ласкались?».

Все это Александра Васильевна проговорила очень бегло по-французски, то улыбаясь, то надув губки и с влажными от слез глазами. Я слушал ее, сидя, как вкопанный, и, признаюсь, не знал, что отвечать ей: решиться на такое важное дело тотчас, не обдумав его последствий, казалось мне безрассудством, а с другой стороны, отринуть вдруг предложение милой женщины, в котором заключалось столько добродушия и столько самоотвержения в мою только пользу, было бы грубым невежеством. Наконец, я решился просить у ней несколько времени на размышление; но во всяком случае, так или иначе, я обещался быть ее неизменным другом и бывать у ней как можно чаще; а если б она захотела посетить и мою келью, то с любовью приветствовать ее всегда названием милой, дорогой, толстой моей сестрицы.

И вот я сижу теперь у своей конторки, думая и передумывая о сегодняшнем странном со мною приключении; но, кажется, ломаю голову по-пустому. Как ни заманчиво предложение, но принять его невозможно, решительно невозможно. А жаль!

27 марта, среда.

Был у И. А. Соколова, к которому вчера, по милости названной моей сестрицы, попасть не успел. Он принял меня ласково, прочитал записку Паглиновского и, посадив подле себя, спросил о существе дела. Я объяснил ему как умел и, кажется, очень сбивчиво наши права на землю, оспориваемые двумя соседями, имеющими в Петербурге большие связи, и просил дать мне добрый совет, чтó должен я делать по случаю передачи нашего дела в заведывание другого секретаря, который, по замечанию моему, не слишком к нам благосклонствует, что необыкновенно тревожит моих домашних.

Иван Алексеевич толковал со мною с час и дал мне подробное наставление на все случаи, которые могут встретиться в продолжение дела; протолковал бы, может быть, и долее, если б не вошел Н. П. Брусилов и не помешал разговору. Я хотел откланяться, но добрый старик пригласил остаться на чашку чаю.

Между тем Брусилов тотчас же предложил партию в шахматы. «Нечего терять золотое время, — сказал он Соколову, — и я вам должен реваншем». — «Готов, готов, — отвечал Иван Алексеевич, — добрый воин никогда не отказывается от баталии; только сегодня не вчера, и вряд ли нынче победа будет на вашей стороне, потому что я собрался с силами: выспался порядком». Они начали партию, а я подсел к ним посмотреть на их неподвижность и послушать их молчания. Нечего сказать: игра занимательная, настоящая игра для глухонемых! По счастию, она продолжалась недолго, потому что вошел чиновник Ананьин, служащий при статс-секретаре Муравьеве, с каким-то поручением от своего начальства, и Соколов вышел с ним для объяснения в другую комнату. Я воспользовался этим промежутком времени, чтоб познакомиться с Брусиловым.[1] Зная, что он литератор, много писал и переводил, два года назад издавал «Журнал российской словесности» и почитается одним из деятельнейших членов Общества любителей словесности, наук и художеств, я было заговорил с ним о литературе, но он не благоволил обратить на меня большого внимания и отвечал мне очень холодно и сухо, как бы нехотя. «Ну, бог с тобой, — подумал я, — если ты такой дикарь! Кажется, много кичиться тебе еще нечем: твои „Безделки“, „Приключения одного дня“, „Гваделупский житель“, „Бедный Леандр“ и „Превратности судьбы“ — не бог знает еще какие заслуги, которые давали бы тебе право поднимать нос,* и без того уже вздернутый кверху».

---

* Автор «Дневника» раскаивается в тогдашнем своем заблуждении. Он служил после с Николаем Петровичем Брусиловым в одном ведомстве в продолжение 4 лет и имел случай узнать его короче. Это был человек отличный во всех отношениях: благороден, правдив, чувствителен и добрый товарищ. Единственными недостатками его характера была какая-то недоверчивость к самому себе и подозрительность в отношении к другим. От этого он дичился

Вскоре приехал экспедитор Министерства юстиции Петр Андреевич Нилов, которого я видал у Гаврилы Романовича. Я очень обрадовался, что встретил знакомое лицо, с которым можно было перемолвить слово, потому что, после нескольких «да-с, «нет-с» и «кажется-с», сказанных очень сухо Брусиловым, я потерял охоту обращаться к нему с вопросами. Нилов очень любезный и разговорчивый человек и к тому же имеет хорошее состояние и очень пригожую и любезную жену, воспетую Державиным под именем «Параши».[1] Она очень талантлива, прекрасно играет на арфе и любит заниматься словесностью. Между прочим Нилов сказывал, что, по словам князя Петра Васильевича, государь теперь уже в Юрбурге, а 20-го числа был в Полангане, куда приезжал из Мемеля и король прусский на несколько часов, для свидания с ним.

Вскоре возвратился Соколов с своей конференции, и Нилов нетерпеливо обратился к нему с вопросом: «Ну, что, Иван Алексеич, читали записку Злобина?». — «Читал, батюшка, читал: написана умно и дельно». — «Что ж скажете?». — «Да ничего, мой отец: как посудят». — «Но ведь обстоятельства дела все в его пользу и требования его справедливы». — «Совершенно справедливы; однако ж как посудят». — «По мнению моему, иначе судить нельзя, как основываясь на данных, а они ясны». — «Правда, правда, но как посудят». — «О чем же судить? Повторяю, Иван Алексеич, ведь Первый департамент признал претензию Злобина справедливою?». —«Точно, претензию признал; но в какой сумме — о том в решении его не упоминается, между тем как сумма взыскания с Злобина определена, и он сам против того не спорит». — «Так чего ж, думаете вы, ожидать он должен?». — «Как посудят». — «Но я желал бы знать ваше мнение, почтеннейший Иван Алексеич». — «Право не знаю, что сказать вам; как посудят».*

общества и избегал новых знакомств. Впоследствии необходимые сношения по службе заставили его быть сообщительнее, а во время губернаторства своего в Вологде и особенно под конец жизни он сделался совсем другим человеком. *Позднейшее примечание.*

* И. А. Соколов, умный и благонамеренный человек, готовый всегда дать добрый совет людям безгласным и не имеющим покровительства, был чрезвы-

Подали чай, и Соколов с Брусиловым опять уселись за шахматы. Я хотел было подождать результата этой игры в молчанку, но, чувствуя, что меня пронимает истерическая зевота, решился откланяться хозяину, мысленно благодаря его за данные мне наставления, которыми он, повидимому, так скупился для других.

28 марта, четверг.

Я полагал, что Павел Юрьевич Львов только добивается членства Российской Академии, а он уже академик. Вот как! Отчего ж пропущен он в списке секретаря Академии? Видно оттого, что «незаметен». Но, кажется, высокое имя митрополита Платона должно быть «заметно», а между тем и оно не находится ни в списке академиков, ни в списке почетных членов Академии. Что-то неладно. . .

Чем более просматриваю корректуру моих бардов, тем более убеждаюсь, что я не сотворен поэтом; а ведь того и смотри, что заставят читать на литературном вечере да, может быть, и похваливать станут. А. Ф. Мерзляков, прочитав «Артабана», сказал: «Ахинея, братец, ахинея! впрочем, читай ее петербургским словесникам сам, погромче — попадешь в литераторы». И чуть ли он не прав:[1]

чайно осторожен в сношениях с людьми высшего круга, с богачами, с своим начальством и даже с сослуживцами. Будучи принужден, по званию своему, излагать мнения свои по разным делам, он исполнял свою обязанность свято и беспристрастно и, как настоящий опытный законовед, с надлежащею определительностью, но никогда не настаивал на своем мнении и не защищал его ни пред министром, во время его юрис-консульства, ни впоследствии перед Комиссиею прошений, в которой был членом. Автор «Дневника» имел случай в продолжение четырех лет (с 1812 по 1816) видеть почти ежедневно этого достойного человека и быть очевидным свидетелем его праводушия. Докладывая иногда Комиссии по особо поручаемым ему от статс-секретаря делам, автор «Дневника», по свойственной молодым людям заносчивости, позволял себе часто неуместные замечания на мнения опытного юриспрудента, который отвечал всегда одним и тем же привычным своим словом: «Мнение мое т а к о е - т о, а там как посудят, как посудят». Один только раз Иван Алексеевич дал почувствовать автору «Дневника» ошибочность его выражений: «Знаете, — сказал он: — что б отвечал Дмитрий Прокофьич Трощинский на замечания ваши? — Да уж пожалуйста не забегайте вперед воображением вашим».[a]

[a] Обыкновенное выражение Д. П. Трощинского, требовавшего от докладчиков своих простоты и ясности в объяснении дел, без всяких собственных их рассуждений.

мне сдается, что стихотворение выигрывает от громкого чтения, и Гнедич недаром надсаждает грудь над своим переводом «Илиады».

Александр Львович возвратился из Москвы вместе с Апполоном Александровичем Майковым.[1] Он нашел какие-то беспорядки в управлении московским театром: директор жаловался на актеров, актеры на директора, а публика недовольна и тем и другими. Говорят, что Сила Сандунов играл не последнюю роль во всей этой несогласице. Теперь, кажется, решено, что Всеволожский будет назначен директором, хотя Майкову хотелось бы самому занять это место. Между прочим, сказывали, что желчный Сила Сандунов, вслушавшись в слова одного известного любителя театра, утверждавшего, что Плавильщиков редкий актер и поражает на сцене зрителей, отвечал следующею эпиграммою:

Что редкий он актер, никто не спорит в том,
Всем взял: органом и дородством;
И точно: поражает сходством
С быком.

Пересолил, любезный Сила Николаевич, пересолил, потому что это неправда! У Плавильщикова есть свои недостатки, но он все-таки большой талант, даже возле Яковлева и Шушерина.

29 марта, пятница.

Чиновник Панин, помнится, как-то говорил,[2] что Ф. П. Львов определен директором Канцелярии министра коммерции будто бы по ходатайству Гаврилы Романовича. Это несправедливо: Львов лично был известен министру по служению своему при отце его, фельдмаршале Задунайском, в то время, когда великий полководец, сложив с себя, под предлогом болезни, командование войсками, оставался в Молдавии без всякого дела. Державин был только посредником в определении Львова. Из всего, что Львов рассказывает о Задунайском, можно вывести, такое о нем заключение: великий ум, необычайная твердость души огромные познания, но черствое сердце и непомерное самолюбие. Императрица знала его коротко, уважала и ценила его заслуги, обходилась с ним с величайшею внимательностью, но не очень любила его.

30 марта, суббота.

Сегодня обедал у Харламова, которого нашел в большой ажитации. Он только что перед моим приходом возвратился с штадт-физиком Форштейном со свидетельства двух помешанных: вдовы полковницы Г** и ее дочери, жены купца Перевалова. Форштейн говорит, что несмотря на привычку видеть почти ежедневно сумасшедших, он был чрезвычайно растроган состоянием этих несчастных, и особенно Переваловой, достойной всякого сострадания. Харламов рассказывал причину их сумасшествия; это печальная история, и я желал бы, чтоб ее слышали все отцы и матери, которые ищут для дочерей своих богатых супружеств, вопреки их чувствованиям и не обращая внимания на несходство их нравов и положения в обществе с нравами и положением в обществе представляющихся женихов. Вот она, эта история, которая становится довольно гласною. Перевалов, отпущенник князя Несвицкого, нажив в короткое время какими-то не очень честными способами богатый капитал, захотел вывесть единственного сына своего в люди и во что бы то ни стало приобресть ему дворянство; а как дворянство без заслуг не дается, да и сынок-то был не таких свойств и воспитания, чтоб мог оказать какие-нибудь заслуги, то папенька и придумал сделать его сначала полудворянином, то есть женить на дворянке, на имя которой купить несколько сотен душ, и ввести его покамест в круг благородных людей, чтоб приучить, как он изъяснялся, к деликатному обхождению и употребительным поступкам. Задумано — сделано, нашли благородную и недостаточную вдову, у которой было три взрослые дочери-невесты, миловидные собою, воспитанные в пансионе, то-есть умеющие болтать по-французски, бренчать на фортепьяно, потанцевать и принарядиться, чем бы то ни было, к лицу, впрочем, девушки добрые, чувствительные и невинные. «Выбирай, Семен, — крикнул честолюбивый тятенька, — и тащи любую». У Семена разбежались глаза, он растерялся и не мог поверить своему благополучию. «Какую прикажете, тятенька, такую и возьму». — «Ну так начнем с старшей: она, кажись, для хозяйства пригоднее будет». И вот, не объяснившись с невестою, обратились

с предложением к матери, впрочем, только для формы, потому что эта несчастная женщина заранее на все была согласна; да и как бы можно было не согласиться ей, имея в виду, что у дочери ее, совершенной бесприданницы, вдруг будет восемьсот душ, уже приторгованных в одной из хлебороднейших губерний, богатый дом, куча денег и брильянтов, экипаж, словом — все, все, о чем во сне и на яву мечтается так часто недостаточным людям? Но старшая дочь не пошла на приманку и отказала наотрез. Обратились к средней, и она также: «Лучше умереть, чем выйти за мужика», было ее ответом. Старуха взвыла: дала слово, но как сдержать его, когда дочери не слушаются? Нельзя же вести их насильно к венцу: неравно и в церкви на вопрос священника вымолвят: «Не хочу»; тогда, кроме несбывшихся надежд, сколько пересудов, и все это падет на нее! Остается один способ выйти из затруднения: уговорить младшую дочь, девушку 17 лет, больше кроткую и послушную, чем ее сестры, и вот приступили к ней: поди да поди, Аннушка, будешь барыней, помещицей, будешь жить в богатстве, будешь счастлива и осчастливишь всех нас; утешь старуху мать, которая выбилась из сил в беспрестанных заботах о вас и проч. и проч., словом употребили все увещания, все обольщения, какие только употребляются в подобных случаях — и бедная девушка, мечтавшая сделать счастие порядочного человека, уступила, хотя не без горьких слез, желанию матери, решилась выйти за охреяна.

Однако ж время ехать к Захарову. Сказывали, что будут читать какую-то сатиру князя Шаховского — любопытно. Я было обещался прореветь своих бардов, но лучше подожду, пока будут отпечатаны, и прочитаю их на державинском вечере.

Выслушав сатиру князя Шаховского, стихи Марина «К Капнисту» и Буниной «Видение» и записав замечательные в них места я ушел от Захарова без ужина. Меня что-то влекло поскорее домой. О сатирах до завтра; а теперь, чтоб не забыть, кончу рассказ Харламова о Переваловой.

Сборы к бракосочетанию Аннушки с Семеном Переваловым продолжались недолго: приданым снабдил жених, или, скорее, его тятенька, потому что сам он ни к чему не был способен. В день брака

доставили невесте купчую крепость на купленное будто бы ею имение и, вместе для подписания, несколько заемных писем на имя старика Перевалова, в двойной против купчей сумме. Наконец церемония кончена и, по купеческому обычаю, великолепный ужин с музыкою, а после ужина танцы и отчаянная попойка заключили радостный для Переваловых день и, по шуточному выражению Харламова, «вожделенное для них событие».

Вот живет Аннушка в доме своего свекра, но живет как чужая; нет ей ни в чем воли: тятенька всем распоряжается сам, никуда ее не пускает и к себе принимать никого не велит, кроме матери, да и то ненадолго: «муж-де тебе компания, и сиди с мужем; а мужа нет дома, так покель не придет, думай об нем, да его дожидайся». А муж — набитый дурак и, к тому же, ревнивец престрашный. Аннушка стала призадумываться; это не понравилось ни свекру, ни мужу; Аннушка начала поплакивать — беда пущая: пошли выговоры; Аннушка занемогла — посыпались укоры: привередница, капризница! Так продолжалось несколько месяцев, и силы Аннушки истощались. Однажды утром бедная женщина, проплакав всю ночь, не вышла исполнять должность хозяйки — разливать чай. Свекор побежал в спальню, разбранил больную, приказал встать с постели и потащил ее за собою, приговаривая: «Вот евдак с вами ин лучше». Аннушка пришла в слезах, села за стол, взяла чайник, но вдруг уронила его на пол и, всплеснув руками, громко закричала: «Матушка, матушка, что ты со мною сделала!». С этой минуты она уже не произносила других слов, и на вопросы медика и несколько образумившегося свекра и мужа, матери и сестер, отвечать иначе не могла, как только одною фразою: «Матушка, матушка, что ты со мною сделала!».

А какая причина была помешательству вашей матушки? — спросил я, — продолжал Харламов, — сестер Переваловой, которые рассказывали мне все эту историю. «Причина очень проста, — отвечали со слезами бедные девушки: — горе. Матушка целый почти год не оставляла сестры ни на минуту, спала с нею в одной комнате, наблюдала за исполнением предписаний доктора и беспрестанно слышала от нее эти несчастные слова, этот убийственный упрек:

„Матушка, матушка, что ты со мною сделала!“. Наконец, она выбилась из сил; мы заменили ее при сестре, чего до тех пор она не позволяла, повторяя нам ежеминутно: „Я-одна виновата, одна и должна быть наказана“. Но наши попечения о сестре не облегчали душевных страданий матушки: она впала в глубокую меланхолию, и вот, как видите, около пяти месяцев, выплакав все слезы, сидит полумертвая, не обращая ни на что и ни на кого внимания, только вздыхает, а по временам смотрит на образ спасителя и шепчет, прося: „господи, помилуй меня грешную!“».

Я полюбопытствовал знать, как переносят свое несчастие оба Перевалова и какое впечатление производит на них присутствие этих помешанных? «Ничего, — сказал Харламов, — оба вертелись тут же при свидетельствовании, которое, собственно, по ходатайству их производилось и было нужно как для получения пенсиона матери, так и для учреждения опеки над имением дочери. Впрочем, сестры Г** говорили, что отец Перевалов заботится, чтоб они ни в чем не терпели недостатка, и, по тщеславию своему, желает прослыть щедрым и великодушным; а сын беспрестанно возит жене то яблоки, то конфеты; нынче же утром приставал к ней с вопросами, не хочет ли она шоколаду, но у несчастной один всем ответ: „Матушка, матушка, что ты со мною сделала!“».

31 марта, воскресенье.

Сатира князя Шаховского показалась мне произведением замечательным во многих отношениях: написана легко и остроумно, без натяжек, без всяких претензий на глубокомыслие. Это приятная, безобидная шутка, в которой Шаховской очень живо очертил нескольких оригиналов современного общества, выхваченных, как говорят, из салона А. А. Нарышкина. Крылов утверждает, что портреты очень сходны. Автор сначала обращается к Мольеру:

Так ты один, Мольер, без злобы и без шутства,
Смеялся над людьми, умел людей смешить;
Твой быстрый взгляд проник в умы, сердца и в чувства,
Чтоб, забавляя нас, нас разуму учить.

И далее:

Мой дух горит желаньем:
Полезным сделаться порока осмеяньем;
Хочу я чудаков на разум навести.
Что делать! Не могу я видеть без досады
Пороки, слабости и странности людей.

Здесь начинает он описывать эти пороки и странности, и какими прекрасными стихами!

Одни довольны всем, всему на свете рады:
Несчастие гнетет их ближних и друзей,
Беды со всех сторон, родные их в обиде,
В гоненьи, в гибели; да им в том нужды нет;
Не трогай их одних, гори огнем весь свет:
Им это фейерверк — в большом лишь только виде.

Другие, напротив, всем недовольны:

Что хочешь делай ты — ничто им не в угоду:
Сердиты на мороз, на жаркую погоду,
Изволят гневаться на малых и больших —
Нет спуску никому. . .
Мне скажут: пусть их врут, какая в том беда?
Все знают, что они за то на свет озлились,
Что сами ни к чему на свете не годились.
Согласен, не было б в их болтовне вреда,
Когда бы люди все о всем судили сами
И не ленились бы своими жить умами,
Иль если б родились глупцы без языка,
А то, к несчастию, что зависть замышляет,
То леность слушает, а глупость разглашает.

Какой верный портрет вестовщика:

Увидев вестовщик меня издалека,
Спешит, бежит ко мне. . .
. . .боится опоздать —
А для чего? Чтоб ложь чужую перелгать.

Ну, а это не живой ли Б. К.?

Вот мой сосед. . .
Все хвалит, такает, лишь только б угодить
Тому, кто иногда изволит брать с собою

Его по улицам от скуки походить
И на вечер в свой дом изредка приглашает;
А в нем весь свет большой за картами сидит
Или под музыку охотничью зевает.

Прекрасно описан К. Ч.

. . . Но едва ль не счастливей его,
Там шпорами бренча, хват такту бьет ногою,
Затянут, вытянут, любуяся собою,
Кобенясь, ни во что не ставит никого:
Лишь дай здоровья бог его четверке чалой,
Тарасу кучеру, да пристяжной удалой,
А впрочем, дела нет ему ни до кого.

А каков селадон С.?

Близ хвата франт сидит с премодным воспитаньем,
С ухваткой дамскою, с сорочьим щебетаньем,
Головку искривя; так нежен, так уныл,
И молча говорит: смотрите, как я мил!
Как милым и не быть? Легко ли три аббата
На разных языках учили молодца
И, выпуская в свет, уверили отца,
Что редкость сын его, что в нем ума палата.

Окончание сатиры соответствует ее началу:

Кто может описать всех наших чудаков? . .
. . . .
Их столько развелось за наши все грехи,
Заморских и своих, что тесно жить приходит,
И всяк из них на свой обычай колобродит:
Один ударился писать на всё стихи. . .
Другой политик стал. . .
Тот захозяйничал и в деревнях мудрит:
Из иностранных книг и с образца чужого,
Без толку, без пути он сеет русский хлеб —
Да на чужой манер хлеб русский не родится.
Иной, забыв, что он и стар и чуть не слеп,
Задумал всех пленять и в щегольство пуститься;
А этот выдает себя за мудреца:
Всклокотил голову, в чернилах замарался,
Хоть много книг прочел — ума не начитался.[1]

Стихотворение А. П. Буниной «Видение в сумерки» не похоже на предыдущее: это великолепный набор слов, предпринятый, кажется, в намерении польстить Державину.

Из всего стихотворения замечательны только два первые стиха:

Блеснул на западе румяный царь природы,
Скатился в океан — и загорелись воды.

Но изображение Державина — образцовая нелепость. Я не мог не списать его для своего архива курьезностей:

Чьих лир согласный звук во слух мой ударяет?
. . . .
Сквозь пальмовых дерев я вижу храм;
А там
Средь миртовых кустов, склоненных над водою,
Почтенный муж с открытой головою
На мягких лилиях сидит.
В очах его небесный огнь горит,
Чело, как утро, ясно,
С устами и с душой согласно,
На коем возложен из лавр венец;
У ног стоит златая лира.
Коснулся — и воспел причину мира,
Воспел и заблистал в творениях творец!

После Державин будто бы заплакал; но так как всякому горю есть конец, то

Певец отер слезу, коснулся вновь перстами,
Коснулся, загремел
И сладкозвучными словами
Земных богов воспел.[1]

Этим, однако ж, не кончено: сочинительница продолжает бредить, но бредить так, что уж из рук вон — даже и не смешно. Это стихотворение непременно отправлю к Мерзлякову: оно петербургской школы, которой профессоры обещали меня «выполировать».

В заключение читали «Послание к Капнисту» С. Н. Марина. Это послание — тоже нечто вроде сатиры, но сатиры тяжелой, в которой не найдешь ничего, кроме общих мест и натянутого умничанья. Талант Марина, столько замечательный в его мелких стихотворениях,

как то: эпиграммах, надписях, некоторых пародиях и небольших шуточных посланиях, исполненных веселости и колких насмешек, совершенно подавляется предметами более возвышенными, и там, где Марин хочет быть моралистом, он становится скучным и даже пошлым. Например, что это за стихи, которыми начинается его послание к Капнисту?

Какая бы тому, Капнист, была причина,
Что умным мыслит быть последний дурачина? и проч.[1]

Таких стихов и посланий я бы мог представить кипу для чтения на литературных вечерах, если б не опасался прослыть, по выражению Буринского, «бессовестным писакою». Послание Марина к Капнисту как раз напоминает эпистолу воспитанников Университетского пансиона к пансионскому эконому Болотову «О пользе огурцов», забавную пародию превосходной эпистолы Ломоносова к Шувалову «О пользе стекла»:

Неправо о вещах те думают, Болотов,
Которы огурцы чтут ниже бергамотов.

1 апреля, понедельник.

Обедал сегодня в павильоне: Марья Лукична именинница. Пили за здоровье ее каким-то новым вином — сен-пре или сен-пере, о котором я никогда не слыхал; оно в роде шампанского или нашего цимлянского, только с горечью и на вкус мой вовсе не хорошо.

Именинница проплакала почти весь обед. «Да о чем вы плачете?». — «Так». — «Без причины плакать нельзя». — «Можно». — «Я догадываюсь о чем». — «Ведь вы не граф де Блакас». — «Хотите скажу?». — «Скажите; только если также ошибетесь и заставите меня покраснеть, то и вас возненавижу, как этого рыжего демона».

Из павильона заходил к Гнедичу; застал его за работой: корпит над «Леаром». Мне показалось очень странным, что, будучи таким поклонником Шекспира, он вздумал поправлять его; у него «Леар» не только не шекспиров, но даже и не дюсисов: все патетические сцены сумасшествия Леара выкидываются; а, кажется, на них основан весь интерес пьесы. Роль, назначаемая Яковлеву, ни-

чтожна. Заметно, что заботы Гнедича об одной только роли Корделии для Семеновой. Он начал также переводить «Танкреда», но не хочет продолжать его, покамест не спустит с рук «Леара».[1]

Говорили о сатире князя Шаховского, которую третьего дня читали у Захарова. Гнедич уже слышал ее у Шаховского, и она ему не понравилась. «В ней нет никакой силы, — сказал он. — Уж если писать сатиры, так надобно подражать Ювеналу». — «Почему ж не подражать и Горацию? — отвечал я. — Сатира князя Шаховского — приятная шутка, написанная прекрасными стихами, и многие характеры обрисованы верно». — «Не спорю, — возразил он, — но князь Шаховской колет булавками, тогда как в сатире надобно поражать кинжалом. Впрочем, у него есть другая сатира: „Разговор цензора с другом“, — эта будет лучше, хотя и в том же роде».[2]

Гнедич предложил познакомить меня с князем Шаховским. Я с радостью принял предложение, но попросил недели на две отсрочки. «Или опять голова не в порядке? — спросил он меня, — и не з а м ы т и л и с ь ли опять?». — «Нет, не то, — отвечал я, — а не хочется идти к нему с пустыми руками; надобно рекомендоваться ему чем-нибудь: у меня есть стихи под заглавием „Осень“.[3] На днях принесу показать их вам; вы мне скажете ваше мнение, и тогда отправимся к Шаховскому».

2 апреля, вторник.

Федор Данилович* читал нам духовное завещание одного из старинных своих приятелей, Ивана Михайловича Морсочникова, умершего в глубокой старости, у него на руках, лет пятнадцать назад; оно замечательно как по странному слогу, так и по ребяческой, забавной откровенности завещателя. Я не мог отказать себе в удовольствии списать для своего музеума литературных курьезностей некоторые параграфы этой пространной исповеди Морсочникова, о котором Федор Данилович отзывается как о примерном христианине, заслужившем в кругу своих знакомых смирением, добротою и самоотвержением своим в пользу ближнего название правед-

* Контролер Иванов.

ника. Несмотря на этот отзыв, покойник, кажется, был большой чудак, хотя и занимал в 1772 г. довольно важный пост — секретаря или едва ли не члена Розыскной экспедиции.

«Лета 1784 мая в осьмый день, в онь же празднуется память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, я нижеименованный надворный советник Иван Михайлов сын Морсочников, от роду 68 лет, хотя и обретаюся по благодати божией в здравии телесном, полном уме и свежей памяти, но, помня час смертный, рассудил учинить при нижеозначенных свидетелях сие мое духовное завещание в пример и назидание родному племяннику моему, единственному сыну здравствующей и поныне родной сестры моей Ирины Михайловой, по муже Епанчиной, Гавриле Алексееву Епанчину, которому, окроме сего отеческого моего назидания, оставляю по кровному с ним родству моему все мое имущество, поелику других наследников, опричь его, племянника Гаврилы с матерью, у меня нет, а именно. . .».

Здесь в трех пунктах следует исчисление оставляемого имущества, состоящего в небольшом домишке, в иконах, нескольких серебряных ложках, портрете императрицы Екатерины II, чайной, столовой и кухонной посуде, небольшом количестве кой-какой мебели, платья и белья и, наконец, в сумме 500 рублей, из которой половина назначалась на похоронные издержки, раздачу по церквам и подаяния нищим; а затем уже начинаются оригинальные наставления племяннику.

«Пункт IV. Поелику означенному племяннику моему Гавриле, с егорьева дня, сиречь с 23-го числа апреля, от роду минуло 21 год, и оный совершеннолетний племянник мой старанием моим записан на службу в Сенатский архив, в который, по благословению родительницы своей, а моей родной сестры, ежедневное прилежное хождение иметь начал, а потому завещаю ему племяннику моему Гавриле, первое: идучи из дома на службу, також де и со службы домой, ни в какие увеселительные сходбища, а наипаче зазорные места не заходить и долговременного стояния на улицах у лотков с блинами и пирогами не иметь, и разных неприличных речей и прибауток, бывающих около них во множестве разного звания людей

не слушать; второе: по приходе в Архив довлеет ему племяннику моему сотворить вначале троекратное поклонение, при крестном себя знаменовании, образу пресвятыя богородицы Казанския, и посем с учтивостию, как благовоспитанному юноше надлежит, раскланявшись с товарищи, благочинно сесть на свое место и с достодолжным вниманием приступить к переписыванию порученной от повытья бумаги, безошибочно; а буде бы таковой бумаги не случилося, то в молчании ждать приказа от начальства, а тем временем не сидеть в праздности, но иметь занятие или чинением перьев, каковых должно иметь всегда немало в запасе, или пробою оных на подкладочном листе, дабы почерк был всегда одинаков, без царапанья и крючков, на каковые крючки и разводы начальствующие особы ныне весьма негодуют. А как бывает, что в товарищах тех случаются такие насмешники и озорники, что того и глядят, как бы над благовоспитанным человеком учинить какое невежество или издевку, как то неоднократно случалось и со мною в начале моего в Экспедиции служения, сиречь: яко бы ненароком закапать тебя с обеих сторон чернилами или напудрить песком, или, стянув из кармана носовой платок, запачкать оный разною дрянью и всунуть его опять в карман, а потом и спросить, „что де у тебя замаран нос, ты бы, мол, утерся“, — а ты бывало хвать и вытащишь из кармана платок такой загаженный, что самому противно станет; или же оные насмешники доходят и до такого нахальства, что иной раз приколят, невдомек тебе, сзади какую хульную картину, на приклад: козла с рогами или облезьяну, и подпишут, это, мол, такой-то, а как ты из должности выдешь, так народ на тебя смеяться станет и указывать пальцами. Почему в таковых оказиях завещаваю племяннику моему Гавриле не иметь огорчения и жалобами своими начальству не стужать; а поступать по обычаю христианскому и всякую таковую издевку и обиду принимать со смирением и в молчании, поелику обидчикам и featuresстроителям судит бог, а ты им не судья.

Пункт VI. Известно моему племяннику Гавриле, что я от рождения моего никаких хмельных напитков не употреблял и не точию заниматься горелкою или пивом, но и красного бутылочного не вкушал, и великое к оным напиткам отвращение имею; чего ради за

таковую трезвость от начальства всегда похвален бывал и господом богом в здоровье не оставлен; почему и следует тако ж и племяннику моему от горячих напитков всемерно воздерживаться и, окроме двукратного в сутки пития чаю, никаких заморских и российских ошаление производящих напитков не вкушать.

Пункт VII. Известно также племяннику моему от матери его, а моей сестры, скорбное житие мое при покойнице жене моей, Авдотье Никифоровне — царство ей небесное и вечная память, — колико претерпел я от нее истязаний биением палкою и бросанием горячими утюгами; наипаче же за непринятие от просителей богопротивных подносов неоднократно залеплением мне глаз негодными и протухлыми яйцами: того ради племяннику моему Гавриле завещаваю жить в безбрачии и прошу господа бога, да избавится он от неистовства женского, меру терпения человеческого превосходящего; а буде бы оный племянник мой по божию попущению каким ни на есть случаем обрачился, то да не мудрствует и не препирается с сожительницею своею, паче же удаляется гнева ее, понеже наваждением бесовским поразить его может ударом смертельным».

Все пункты завещания в таком же роде и, делая наставления племяннику, старик просто рассказывает происшествия своей жизни. Федор Данилович говорит, что в старину помещать наставления в завещаниях было в некоторой моде. Неужто же и на формы завещаний могла быть мода?

3 апреля, среда.

Вчера познакомился я у гостеприимного А. И. Андреева* с придворным протодьяконом, Петром Николаевичем Мысловским,** и смотрителем Эрмитажа Васильем Степановичем Кислым. Пили чай

---

* Комиссар придворной конторы. См. «Дневник» 11 января.

** П. Н. Мысловский впоследствии был ключарем, а, наконец, и протоиереем Казанского собора и в этом сане занимал некоторое время должность увещателя подсудимых. Автор «Дневника», в продолжение своего с ним знакомства, не может достаточно нахвалиться дружеским расположением этого достойного человека и обязан ему многими любопытными сведениями, не всякому доступными.[1] *Позднейшее примечание.*

с подливкою какой-то ананасной настойки и наговорились вдоволь. Мысловский знает музыку и играет на фортепьяно. Голос у него не огромный, как у прочих протодьяконов, но, в замену, он отлично образован и, кажется, недолго останется в настоящем звании, а поступит на какую-нибудь видную священническую или протопопскую вакансию. Что касается до Кислого, то этот Кислый для меня слаще сахара: звал к себе и обещал дозволить мне свободный вход в Эрмитаж во всякое время. Это будет совершенным для меня благодеянием, потому что доставит мне веселое занятие по утрам, которые до сих пор проводил я в одной коллежской болтовне о вещах не только бесполезных, но даже и не занимательных.

Толковали о некоторых придворных чинах. Я удивился, что при дворе так мало штатс-дам: их всего считается восемь, но на службе только четыре. Старшая из них, княгиня Дашкова, находится в Москве, графиня Анна Родионовна Чернышева и графиня Браницкая живут по своим деревням, а графиня Салтыкова хотя и здесь, но во дворец не ездит, потому что, по слабости нерв, не может сносить запаха помады, пудры и духов; остаются графини де Литта и Ливен, да княгини Лопухина и Наталья Петровна Голицына, единственная штатс-дама, которая возведена в это звание нынешним государем императором; княгиня Голицына, вопреки существовавшему в подобных случаях обычаю, пожалована штатс-дамою не за заслуги мужа, который был только бригадир в отставке, но за семейные свои добродетели и во внимании к общему уважению, которым она пользуется. Впрочем, она происхождения знатного: дочь графа Петра Григорьевича Чернышева, была фрейлиною еще в начале царствования императрицы Екатерины II и в свое время считалась такою красавицею, что назначена была царицею знаменитого турнира, о котором до сих пор не наговорятся старожилы, с восхищением описывая ловкость и удальство «молодцов» графов Орловых.

Андреев уверяет, что обер-гофмаршал граф Толстой до такой степени бережлив в расходах по управлению и содержанию дворца, что государь иногда смеется над ним и один раз в шутку назвал его скрягою. «Так не угодно ли будет вашему величеству поручить

должность мою А. Л. Нарышкину?», — отвечал граф Толстой. Государь изволил расхохотаться.

4 апреля, четверг.

Заходил из Коллегии к Александре Васильевне. Застал у нее одного чиновника из Министерства военных сил, который принес известие о назначении ей за службу мужа вдовьего пенсиона. Толстая моя красавица в восхищении: обстоятельства ее округляются; показывала письмо от тетки, которая уверяет, что будет доставлять ей аккуратно по двести рублей в месяц и, сверх-того, даст ей возможность обзавестись и экипажем. «А продолжаете ли вы гулять одне?», — спросил я названную свою сестрицу. «Гуляю ежедневно и во всякую погоду, — отвечала она, — потому что это необходимо для моего здоровья; иногда попадаются мне франты, которые подшучивают надо мною, но я отшучиваюсь». Нельзя милее сносить положения своего, как сносит его эта добродушная и откровенная Александра Васильевна.

Решено, что «Князь Пожарский» представлен будет на театре в половине будущего мая. Роль маленького Георгия, сына Пожарского, поручена воспитаннику театральной школы Сосницкому, который, говорят, подает большие надежды. Шушерин недоволен своей ролью и говорит, что скоро, пожалуй, заставят его играть наперсников, следуя пословице: «Изъезженному коню навоз возить». — «Что ж это вы равняете себя с лошадью?», — сказал ему бывший навеселе Прытков. — «Не равнять же мне себя с твоим братом — ослом», — отвечал Шушерин.

5 апреля, пятница.

Август Альбанус, рижский пастор, написал похвальное слово государю, которое ходит по рукам у всех здешних именитых немцев. Все, кто только имеет счастье знать государя лично, утверждают, что изображение его чрезвычайно верно и без малейшей лести. Меня забирает охота перевести некоторые места из этого прекрасного сочинения, тем более что в них есть что-то давно мне знакомое: как будто я уже читал его или кто-нибудь подробно мне

о нем рассказывал. На будущей страстной неделе займусь этим переводом непременно: дело стоит труда.

П. Сумароков скомпановал преужасную драму «Марфа Посадница»,[1] в которой все действующие лица друг за другом убиваются сами или другими, кроме одного, которое остается на сцене для закончания драмы. Марфа представлена героинею, но геройство ее в разладе с здравым смыслом, потому что она в переписке с королем польским Казимиром и умышляет предать ему Новгород и своих сограждан. Хороша героиня! Сумароков настаивал, чтоб этот сумбур представлен был на театре; но князь Шаховской не решился принять его, и поэтому между ними возникло неудовольствие. Сумароков теперь апелирует к публике и напечатал свою драму с следующим забавным предисловием:

«Актер г. Шушерин, убедивший меня „на скоро“ (было зачем торопиться!) написать сию драму, есть „виновник ее порождения“ (хорошего детища дал бог Шушерину!), а театр, „обраковавший“ (точно лен или пеньку) оную за единое ее содержание, есть причиною непоявления ее на сцене. Станок тиснул листы, мое дело окончено, талант в продаже за семь гривен (дорого!), и читателям остается судить, стоит ли чернил произведение». (Я — читатель и сужу: не стоит).

Прочитав это предисловие, я подумал, что нахожусь в прежнем галиматейском обществе оперных переводчиков. Если здешние драматурги все похожи на Сумарокова, то земляк мой, Кобяков, не даром почитается в мнении актеров грамотным человеком.

6 апреля, суббота.

Очередной вечер А. С. Хвостова отлагается до субботы фоминой недели.

Таскался по гулянью около Гостиного двора. Грязь престрашная. Чадолюбивые маменьки и бабушки толпятся около столов, на которых расставлены игрушки, а наша братья-зеваки большею частью глазеют с бульвара. Я заметил одного пожилого с огромным носом барина, который отыскивал вербы о двенадцати херувимчиках и, к крайней досаде своей, отыскать такой не мог; один из торгашей,

посметливее других, подряжался изготовить ему к вечеру огромную вербу, хоть о пятидесяти херувимчиках: «Это все в нашей власти, — говорил он, — лишь извольте пожаловать вперед деньги»; но барин на это не согласился.

Между здешним и московским гуляньями в лазареву субботу пребольшая разница: в Москве на Красной площади простор, богатые экипажи, кавалькады — настоящее гулянье народное; здесь же, напротив, люди жмутся на одной кратчайшей линии Гостиного двора, так что не только проехать, но и пройти с трудом можно: какая-то невыносимая давка, а от грязи только и спасенья, что бульвар посредине Невского проспекта, да и на тот попасть не всякому удастся, потому что сплошь покрыт народом, который толчется на одном месте и безотчетно зевает на все четыре стороны. Это — не приятное гулянье, а скорее — неприятное с т о я н ь е.

7 апреля, воскресенье.

Со времени войны с французами появился в Москве особый разряд людей под названием «нувеллистов», которых все занятие состоит только в том, чтоб собирать разные новости, развозить их по городу и рассуждать о делах политических. Разумеется, все их рассуждения имеют один припев: «Я поступил бы иначе; у меня пошло бы поживее» и проч. Мерзляков в своей песне прекрасно обрисовал одного из этих господ, живущих политическими новостями:

Тамо старый дуралей,
Сняв очки с густых бровей,
Исчисляет в важном тоне
Все грехи в Наполеоне.

Я думал, что эти люди составляют принадлежность одной только Москвы, в которой иному точно и делать другого нечего, как развозить новости и толковать о политике; но сегодня обедал я с такими отчаянными (по выражению Настасьи Дмитриевны Офросимовой) «политикантами», что наши московские в подметки им не годятся, и песня Мерзлякова как будто нарочно на счет их была сложена; а между тем это люди совсем не праздные и даже сановники, хотя, кажется, и не с большим весом. Один из них осуждал действия

главнокомандующего армиею, другой назначал своих генералов, а третий утверждал, что он для окончания войны «просто взял бы Париж и Бонапарте повесил бы как разбойника» и проч. и проч. Все эти толки сопровождались такими неистовыми возгласами и кулачными ударами по бедному столу, что хозяйка дрожала за столовый свой хрусталь, а нам становилось страшно. Охота же так горячиться из ничего! И разве нельзя сочувствовать общему делу и принимать участие в теперешних затруднительных обстоятельствах, не выходя из себя и не выставляя на показ вздорных своих мнений? Я уверен, что эти господа так гомозятся оттого, что их не спрашивают; а попробуй спросить их — станут в тупик.

Но так как всякому человеку случается в жизни обмолвиться умным словом, то и один из моих ораторов сделал под конец обеда очень дельное замечание: «Нынче у всех молодых людей, — сказал он, — есть страстишка щегольнуть умом и своими способностями, а между тем кто выходит в люди? Только те, которые умеют скрывать их до благоприятного случая. Поверьте, что тот дурачится, кто хочет выказываться и возбуждать зависть в начале служебной своей карьеры; он не кончит ее благополучно, если скоро не будет в отставке».

8 апреля, понедельник.

Похвальное слово государю, которым так мы восхищаемся и которое полагали «сочинением» пастора Альбануса, оказывается просто извлечением из похвального слова Траяну Плиния-младшего; но пусть и так: все же нельзя не поблагодарить Альбануса за то, что он так удачно и мастерски умел применить плиниево изображение Траяна к особе и качествам государя, например:

«Oft versuchte ich mir den Mann zu denken, an dessen Winke Länder und Meere, Friede und Krieg hängen. Mein Geist strengte sich an, sich das Bild eines Selbstherrschers vorzustellen, der wie die Gottheit durch seinen blossen Willen alles bestimmt; aber es gelang mir nie, ein Bild zu ersinnen, des dem gleiche, welches unser aller Geiste und Herzen nun vorschwebt. — Noch kannten wir keinen Fürsten, dessen Tugenden so fleckenlos gewesen wären. Aber in diesem Fürsten —

welche Harmonie, welcher Einklang aller Vorzüge und Vollkommenheiten! Welche Einfachheit, ohne den Herrscherglanz zu verdunkeln! Welche Majestät bei welcher Humanität! — Diese Festigkeit, dieser schöne Wuchs des Körpers, diese reine Schönheit der Stirn, diese männlichen Reize des Antlitzes, diese liebliche Reife des blühendesten Alters, diese schönschmückende, Vollendung verkündende blonde Haar, wie eine anerschaffne goldne Krone um das erhabene Haupt, beurkundet es nicht des Welt den gebohrnen Kaiser?».

«C. IV. — Saepe ego mecum tacitus agitavi, qualem quantumque esse oporteret, cujus ditione nutuque maria, terrae, pax, bella regerentur: quum interea fingenti formantique mihi principem, quem aequata diis immortalibus potestas deceret, nunquam voto saltem concipere succurrit similem huic, quem videmus. . . adhuc nemo excitit, cujus virtutes nullo vitiorum confinio laederentur. At principi nostro quanta concordia, quantusque concentus omnium laudum, omnisque gloriae contigit, ut nihil severitati ejus hilaritate, nihil gravitati simplicitate, nihil majestati humanitate detrahatur? Jam firmitas, jam proceritas corporis, jam honor capitis et dignitas oris, ad hoc, aetatis indeflexa maturitas, nec sine quodam munere deum festinatis senectutis insignibus ad augendam majestatem ornata caesaries, nonne longe lateque principem ostentant?».

Или:

«Längst schon verdientest du, die Völker zu beherrschen; aber wir hätten nicht gewusst, wie unermässlich viel dir das Reich zu verdanken hat, wenn du die Krone früher getragen hättest. Der Staat hat sich an dein Herz angeschmiegt. Seitdem nun du regierst, bist du allein sorgenvoller, und alles Andere ist sorgenfreier geworden.

«C. VI. — Olim tu quidem adoptari merebare: sed nescissemus, quantum tibi deberet imperium, si ante adoptatus esses. . . Confugit in sinum tuum concussa respublica. . . Communicato enim imperio sollicitior tu, ille securior factus est.

«Seitdem das Vaterland auf deinen Schultern ruht, ist es stark geworden durch deine Kraft und verjüngt durch deine Tugend.

«C. VIII. — Tuis humeris se patriamque sustentans, tua juventa, tuo robore invaluit.

«Du hast Freunde, denn du weisst selbst Freund zu sein. Liebe wird auch von der höchsten Macht nicht geboten: Liebe ist stolz, und frei, und unabhängig, und fordert Erwiederung. Ein Fürst kann zwar, vielleicht unbillig, gehasset werden, ohne selbst zu hassen; aber, ohne selbst Liebe zu geben, kann er Liebe nicht nehmen. Du liebst und wirst geliebt. Beseligend ist das für uns alle, aber der Ruhm davon ist dein.

«C. LXXXV. Habes amicos, quia amicus ipse es. Neque enim, ut alia subjectis, ita amor imperatur: neque est ullus affectus tam erectus, et liber, et dominationis impatiens, nec qui magis vices exigat. Potest fortasse princeps inique, potest tamen odio esse nonnullis, etiamsi ipse non oderit: amari, nisi ipse amet, non potest. Diligis ergo, quum diligaris, et in eo, quod utrinque honestissimum est, tota gloria tua est».

Нельзя без сердечного удовольствия читать этого «слова», которое все состоит из отрывков плиниева панегирика, почти буквально переведенного; и читая его, невольно удивляешься, как мог римский писатель, за семнадцать столетий пред сим, так верно изобразить обожаемого нашего государя без особого дара предвидения и вдохновения свыше, потому что не только наружность, не только пленительные свойства, не только возвышенный образ мыслей, но и смысл самых указов и постановлений императора Александра изображаются с изумительною подробностью. Жаль одного, что это прекрасное «слово» не есть произведение писателя русского.[1]

9 апреля, вторник.

Получено известие, что 4-го числа государь изволил быть с прусским королем в Шиппенбейле, куда прибыла и гвардия в отличном порядке, несмотря на форсированные марши, которые принуждена она была делать. 5-го числа, в Бартенштейне, у главнокомандующего Беннигсена был огромный обед, на котором государь присутствовал и был, говорят, до такой степени милостив к заслуженному генералу, что при всех изъявил совершенное доверие к его военным соображениям и опытности и предоставил ему полную свободу действовать, как он, по обстоятельствам, признает за лучшее. Эти вести

радуют здесь многих почтенных людей, которых было встревожили кой-какие смутные слухи о предстоящих будто бы переменах в военном начальстве.

Вечером сидели у меня Гнедич с Юшневским, говорили, разумеется, большею частью о трагедиях и об актерах, хотя, правду сказать, и не то время, чтоб толковать о театре, а скорее бы надобно было читать канон покаянный и особенно мне, грешному. Гнедич уверяет, что с некоторых пор русский театр видимо совершенствуется и, не говоря уже о прежних известных талантах, которые в продолжение последних трех лет, благодаря многим новым пьесам, на театр поступившим, необыкновенно оживились и, можно сказать, переродились, являются на сцену таланты молодые, свежие, с лучшим образованием и современными понятиями об искусстве.* Юшневский, соглашаясь с Гнедичем, что театр наш точно становится лучше, не хотел, однако ж, согласиться с ним в том, чтоб это усовершенствование могло иметь такое сильное влияние на наше общество, чтобы, как он утверждает, люди большого света, приученные иностранным воспитанием смотреть с некоторым равнодушием на отечественные театральные произведения и русских актеров, вдруг стали предпочитать русский театр иностранному и охотнее посещать его, чем французский, и что «Эдип», «Дмитрий Донской», «Модная лавка» и несколько других пьес не в состоянии так скоро переменить направление вкуса публики высшего круга. Если ж она с такою жадностью бросилась смотреть на эти пьесы, так не потому ли, что, по замечанию статского советника Полетики, она хотела убедиться в двух невероятных для нее вещах, то есть, что русский автор написал хорошую пьесу, а русские актеры хорошо ее разыграли. «Пожалуй, — сказал он смеясь, — вы, Николай Иваныч, и опять станете уверять, что несколько хороших пьес и хороших актеров

---

* Так прежде казалось и мне; но я убедился впоследствии, что прежние актеры, вопреки мнению Гнедича, не менее новых имели образование и понятия об искусстве, а сверх того, обладали еще и большими физическими способностями, нужными для сцены. По этому случаю невольно приходят на память слова П. А. Плавильщикова, сказанные им за обедом у князя М. А. Долгорукова. См. «Дневник студента» 30 октября 1805 г. *Позднейшее примечание.*

нечувствительно могут переменить образ мыслей и поведение наших слуг, ремесленников и рабочих людей и заставить их, вместо питейных домов, проводить время в театре. До этого еще далеко».

«Далеко или нет, — отвечал Гнедич, — но это последует непременно, если только явятся писатели с талантом и станут сочинять пьесы, занимательные по содержанию и достоинству слога; если ж эти пьесы будут, сверх того, и в наших нравах, то успех несомнителен: театры будут наполнены и переполнены зрителями; но та беда, что трудно написать хорошую пьесу, и особенно пьесу в наших нравах. Я знаю только одну в этом роде, которая заслуживает полного уважения: это драма Ильина «Рекрутский набор»; в ней все есть: и правильность хода, и занимательность содержания, и ясность мысли, и теплота чувства, и живость разговора, и все это как нельзя более приличествует действующим лицам; жаль только, что автор без нужды заставил в одной сцене второго акта философствовать извозчика Герасима: не будь этого промаха, драма Ильина могла бы назваться совершенною. Впрочем, как быть! Вот более десяти лет, как немцы соблазняют нас, и я первый приношу покаянную в прежнем безотчетном моем удивлении и подражании немецким драматургам-философам».[1]

10 апреля, среда.

Мне доставили только что появившиеся чрезвычайно интересные записки знаменитой английской актрисы мистрис Робинзон, которой отец служил в нашем флоте капитаном и умер здесь, в Петербурге, в 1785 г. Эта милая женщина, получившая отличное воспитание, вдруг, по внушению страсти к театру, сделалась на восьмнадцатом году своего возраста актрисою. Наставником ее в искусстве был Гаррик, который предпочитал игру ее в ролях Юлии, Дездемоны, Офелии и других, требующих наиболее чувства, игре всех актрис, когда либо украшавших английскую сцену. К несчастью, сценическое ее поприще было непродолжительно: на двадцать пятом году, в наиблистательнейшую эпоху красоты своей и таланта, она впала в какое-то нервическое расслабление, приковавшее ее к постели, с которой не сходила уже она до самой своей кончины, последовавшей на сорок втором году ее жизни.

Более шестнадцати лет провела гениальная страдалица почти в совершенной неподвижности, лишенная употребления рук и ног; но, твердая духом и бодрая умом, она умела найти отраду в занятиях литературных и нравственном образовании дочери, которой диктовала прекрасные свои стихотворения и записки. Первые преисполнены глубоким чувством, пленительны игривостью воображения и свежестью колорита в описаниях; а последние, кроме интересной биографии самой писательницы, заключают в себе множество любопытных и, как мне кажется, чрезвычайно верных замечаний об искусстве театральном. Не могу отказать себе в удовольствии перевести некоторые из этих замечаний; оно ж кстати: эти дни ходить мне некуда и делать нечего; займусь работой, которая вместе будет для меня и рассеянием; по крайней мере в это время несносных предчувствий не дам тоске овладеть собою.[1]

11, 12, и 13 апреля, четверг, пятница и суббота.

«Die Blätter fallen», — говорит Карл Моор; «Die Blätter fallen», — говорю за ним и я, потому что обманывать себя бесполезно; а между тем, милая мистрис Робинзон говорит кой-что поумнее:

«Каким бы прекрасным слогом драматическая пьеса ни была написана и сколько бы ни было в ней красот поэтических, но если она не заманчива содержанием и ситуациями персонажей, то никогда не будет иметь успеха в представлении. В краткий период бытности моей на сцене я заметила, что публика предпочтительно любит те пьесы, в которых положение главных действующих лиц более или менее сообразно с положением каждого из зрителей: они редко принимают участие в судьбе какого-нибудь завоевателя или политика; им дела нет до смерти Кесаря, ни до видов Антония, ни до замыслов Октавия и борьбы этих честолюбцев за обладание Римом, но они сочувствуют Отелло, Леару и Гамлету, трепещут за Дездемону, скорбят об Офелии и плачут об участи Ромео и Юлии. Справедливость сказанного мною еще очевиднее в трагедиях и драмах новейших, которых содержание взято из быта народного; как ни плох перевод драм „Беверлея“ и „Отца семейства“ Дидро, „Евгении“

Бомарше и других, им подобных, но публика любит смотреть их, потому что положение и чувства персонажей, в них изображенных, для нее понятны. Впрочем, несмотря на успех этих пьес, я не любила в них участвовать. Слишком изнеженные чувствования, запутанные любовные интриги с вечными клятвами безусловной верности, вопреки судьбе и людям, великодушие на ходулях, припадки безрассудной и неуместной ревности, оканчивающиеся обыкновенно мольбою о прощении, низкие слабости, унижающие человечество, как то: нарушение супружеской верности, страсть к игре и проч., эти пружины новейших драм были не в моем вкусе и мне часто случалось отказываться от таких ролей, в которых, по мнению других, я могла бы заслужить благоволение публики.

«Вообще в трагедиях и драмах должно избегать надутого и неестественного слога. Величие всегда просто, и напыщенный разговор неприличен даже самому Кесарю. У древних трагиков и у Шекспира люди говорят и действуют, как они говорить и действовать должны; но драматурги нашего времени, кажется, незнакомы с приличиями сцены: они не заставляют своих персонажей говорить и действовать свойственным каждому образом и часто обращают царей в поселян и обратно.

«Первым качеством трагедианта должна быть глубокая чувствительность; качеством комедианта — увлекательная веселость; но главнейше требуется от обоих — истины. Трагедиант не должен быть проповедником, а комедиант — площадным шутом. Пусть первый ужасает и трогает, но не доводит ужаса до отвращения и омерзения; пусть другой заставляет смеяться, но не доводит смеха до презрения. Они не должны забывать, что благородное искусство декламации требует совокупных качеств и великого ритора и великого живописца; искусство декламации, так же как искусство ритора и живописца, не терпит посредственности, и те из сценических художников могут одни достигнуть истинной славы, которые достигли совершенства; прочие же бывают по необходимости только терпимы и часто презираемы.

«Природа редко наделяет людей нужными способностями для сценического поприща; но если находятся счастливцы, наделен-

ные ее дарами, то сколько необходимо им труда и терпенья для развития этих способностей! сколько требуется учения, исследований и соображений для усовершенствования этого развития, а после сколько настойчивых усилий, чтоб уже приобретенное искусство обратить опять в природу!

«Всякое театральное сочинение без хороших актеров — тело без души; но в трагедии соединение первоклассных талантов невозможно, и до сих пор никто не встречал его. Довольно и того, если общее согласие действующих лиц не слишком разительно нарушается посредственностью некоторых второразрядных актеров сравнительно с первостепенными; но часто случается, что эти бедные люди, не знающие различия между дикциею естественною и пошлою, равно как и между величавою, благородною декламациею и напыщенною, бывают вовсе не на своих местах и мешают ходу пьесы. Опасаясь насмешек публики, они обыкновенно не смеют выдвигаться на авансцену и произносят в глубине театра стихи как прозу и прозу как стихи, не чувствуя ни меры стихов, ни плавного теченья прозы и требуемых смыслом на слова ударений. А между тем сколько великолепных стихов, сколько прекрасных мыслей заключается иногда в их ролях, хотя и второстепенных! К сожалению, однообразная и фальшивая интонация голоса и неестественная дикция отнимают у них всю красоту, и они исчезают незаметно для публики.

«Без соблюдения основных правил декламации, долговременными опытами усвоенных сцене, нельзя быть ни великим актером, ни великою актрисою — это аксиома. Однако ж, сильное ощущение страстей, развитых в роли, более содействуют успеху актера на сцене, чем строгое соблюдение сценических правил, и отступление от них бывает иногда извинительно. Так, например, театральными правилами запрещается актеру на сцене оборачиваться спиною к зрителям и поднимать руки выше головы; но если это сделал актер, исполненный огня и силы, в пылу увлечения своей ролью, то кто ж не простит ему такого отступления от правил?

«Искусство слушать на сцене — камень преткновения для большей части актеров. Какими бы блистательными физическими средствами природа их ни наделила, каким бы даром декламации ни об-

ладали они, но без искусства хорошо и прилично слушать они не будут никогда признаны великими актерами. Для достижения в этой необходимой принадлежности театральной игры возможного совершенства Гаррик советовал мне изучать роли и тех персонажей, с которыми я должна была находиться на сцене, и мне кажется, что это единственный и легчайший способ приучить себя к разумному и отчетливому слушанию на сцене соответственно смыслу своей роли.

«Если прискорбно видеть искусного актера, унижающего высокое дарование разными излишествами и поведением, не всегда согласным с правилами доброй нравственности, то при виде талантливой актрисы, отступившей от сих правил, невольно сжимается сердце. Актрисе, для приобретения уважения, недостаточно одного таланта: она должна помнить и во всех случаях своей жизни иметь в виду, что она прежде всего женщина и что качества, которые должны отличать ее от закулисной толпы, заключаются в благонравии, целомудрии и умеренности. Талант актрисы, как бы превосходен ни был, не может быть долговечным, если он соединяется с презрением к лицу самой актрисы. Я до сих пор не могу без слез вспомнить о бедственной участи, постигшей одну великую актрису вследствие ее неблагоразумия и легкомысленного поведения».

Эта великая актриса, о которой так сокрушается мистрис Робинзон, была знакомка ее, мисс Беллами, актриса Ковентгарденского театра в ролях первых любовниц. Она воспитывалась у сестры известного герцога Мальборо, мистрис Годефрей, и на четырнадцатом году возраста вступила на сцену. Красота ее была поразительна, а талант приводил в восторг и удивление. Гаррик называл ее «царицею актрис» (The Queen of the Actress), хотя почему-то и не очень ей доброжелательствовал. Обожателями ее были большею частью люди знаменитые, и в особенности славные государственные мужи Честерфильд и Фокс. Последнему она сопутствовала в Париж, где, после блистательной и роскошной жизни, умерла в забвении и нищете.[1]

Не знаю, хорошо ли я передал эти отрывки из замечаний умной актрисы, но, во всяком случае, за буквальный смысл их ручаюсь.

Из числа великих актеров английских и французских немного было таких, которые приняли бы на себя труд образовать других подобных им великих актеров. Неподражаемый Лекен не имел учеников. Гаррик был скуп на советы и, кроме двух-трех женщин, в числе которых была и мистрис Робинзон, не давал их никому. Кембль-отец был только его подражателем и то в некоторых ролях, как то: Гамлета, Кориолана, Макбета и Отелло. Бризар не оставил после себя даже и преданий и тайну патетичной игры своей унес с собой в могилу. Мамзель Дюмениль играла по одному вдохновению, без правил, следовательно и не могла оставить по себе ни правил, ни учеников. Офрен, окончивший театральное свое поприще на петербургской придворной сцене, давал советы только Деглиньи, наследовавшему его дикцию и занявшему на той же сцене его амплуа; но Деглиньи слишком растолстел и получил одышку, следовательно первоклассным актером быть не мог. Остаются: Превиль, образовавший Дюгазона и Дазенкура́, лучших комических актеров на Французском театре в Париже, которые, в свою очередь, продолжают дело образования многих молодых талантов в Консерватории парижской; Монвель имел только одну ученицу: дочь свою, мамзель Марс; но эта одна стоит сотни других. Самолюбивая мамзель Клерон была наставницею Ларива и мамзель Рокур, которая, в свою очередь, образовала мамзель Жорж — перл нынешней французской трагедии. Ларив не оставил учеников, но подражателей немало и лучший из них, Лафон, дублер великого Тальма. Сам же Тальма не имел учителей и, вероятно, не будет иметь и учеников, потому что он создал особенный род декламации, свойственный только одной его натуре. Он тип в своем роде и, можно сказать, тип неподражаемый, потому что все те, которые подражать ему хотели, делались смешными и должны были возвратиться к собственной своей природе; впрочем, он не стар: ему не более 42 или 43 лет и в продолжение жизни его может найтись кто-нибудь, кто усвоит себе его методу, тем более, что Тальма добрый и благонамеренный человек и никому не отказывает в своих советах.

Все это рассказал мне серьезный подагрик Ларош, которого завел ко мне добряк граф Монфокон на чашку чаю. Ларош забыл

сказать одно, что он сам был одним из лучших трагических актеров в Лионе и Бордо и поступил на сцену петербургского театра преемником Флоридора. Скромник!

Я слышал, что здешние французские актеры строго следуют правилам первого Французского театра в Париже (Théatre Français), существующим с самого начала его учреждения. По этим правилам: 1) роли распределяются актерам непременно по тем амплуа, на которые кто из них ангажирован, несмотря ни на какие уважения в отношении к их изменившимся иногда от времени физическим средствам, и 2) что в распределении ролей актерам одного амплуа наблюдается между ними старшинство поступления их на театр, по которому младший, будь он во сто крат талантливее своего сотоварища, находится всегда в зависимости у старшего (chef d'emploi); из этого происходит, что в первом случае актеры уже устаревшие, как, например, Ларош, Дюкроаси или Фрожер, должны иногда играть роли, особенно в пьесах старого репертуара, вовсе не свойственные их летам и наружности; а во втором — что старшие актеры заставляют занимать свои роли младших, часто к неудовольствию публики; или же, если последние при дебютах своих публике понравились, не дают им вовсе никакого хода и лучшие роли, которые бы они могли выполнить с успехом, играют всегда сами, во избежание невыгодного для себя сравнения.

Известный уличный стихотворец старик Патрикеич, которого необыкновенной способности низать рифмы завидует сам остроумный Марин,* а оригинальными виршами так восхищается мой друг Кобяков, обмолвился преисправедливым двустишием:

Горем беде не пособишь,
Натуру свою лишь уходишь.

---

* В одной из сатир своих, в которой жалуется на затруднение в приискании рифм:

О если б я умел свою принудить музу,
Чтоб тяжких правил сих сложить с себя обузу:
Когда я с Пиндаром сравнить кого готов,
Державин на уме, а под пером Хвостов;
Сам у себя весь век я, находясь в неволе,
Завидую твоей о, Патрикеич! доле.

Патрикеич в свое время был в моде и служил потехою многим умным людям,

Почему, на основании этой аксиомы, не должно бы и мне так сокрушаться «о том, о сем, следующем и прочем»* и тосковать одному, запершись в четырех стенах, когда для меня открыты все четыре стороны света; но можно ли сладить с собою? Я по крайней мере сделать этого не умею, и притворство покамест еще не мое ремесло. Как это делают другие — не знаю; но казаться веселым, когда змея грызет сердце, отвечать кстати на вопросы любопытных, когда не слышишь и не понимаешь, о чем тебя спрашивают, говорить д а, когда надобно сказать н е т, и обратно — все это для меня непостижимо, и я боюсь, что, при первом свидании с кем-нибудь из близких знакомых, того и смотри разболтаю всю подноготную. Что́ из этого может выйти, один бог весть; но мне кажется, что откровенность — лучшее лекарство для облегчения страданий души.

А между тем завтра светлое воскресенье; у меня уже раздается в ушах божественная песнь Дамаскина: «Возведи окрест очи твои, Сионе, и виждь: се бо приидоша к тебе, яко богосветлая светила, от запада, севера и моря и от востока чада твоя, благословяще христа во веки!». Пойдем в церковь, новый Сион наш, «просвятимся

в том числе и Фонвизину, на которого написал он, так называемую им, эпиграмму:

> Открылся некий Дионистр (то есть Денис)
> Мнимый наместник и министр,
> Столпотворению себя уподобляет! и проч.

Автор «Недоросля» отвечал ему также стихами, оканчивающимися так:

> Счастлива та утроба,
> Котора некогда тобой была жерёба!

Но верхом совершенства в нелепом сочетании рифм были стихи, поднесенные Патрикеичем калужскому преосвященному. Они начинались так:

> Преосвященному пою Феофилакту,
> Во красноречии наук
> Кой Вильманстрандскому подобен катаракту. . .,

а окончивались желанием, чтоб преосвященный взглянул л ю б е з н о на его послание б е з м е з д н о; но в выноске замечено, что последнее выражение употреблено только для рифмы, а сочинитель не прочь от подарка.[1] *Позднейшее примечание.*

* Так записал известный всем чиновник содержание одной полученной бумаги в дежурную книгу. *Позднейшее примечание.*

торжеством и друг друга обымем и рцем: братие, ненавидящим нас простим вся воскресением!». Легче будет. . .

14—20 апреля, воскресенье-суббота.

Христос воскресе!

Кроме Державина я решительно ни у кого с поздравлениями не был и не буду в продолжение целой недели. Гаврила Романович пенял, что пришел утром, и приглашал обедать, но я отговорился нездоровьем. С участием посмотрев на меня, он сказал, что я в самом деле изменился в лице и чтоб я вел себя осторожнее, потому что всякое излишество гибельно в Петербурге для новичков, что́ знает он по собственному опыту. При ссылке на свое нездоровье, я краснел и чувствовал биение сердца: меня мучила совесть. Стоит только однажды сбиться с прямого пути, так и начнешь вилять вкривь и вкось по окольным дорожкам, покамест не застрянешь в какой-нибудь волчьей яме. Я сказал неправду — и кому? как бы не было вперед хуже:

Ainsi que la vertu le crime a ses dégrés.[1]

Неблагодарно с моей стороны не быть в павильоне; но как идти туда, когда наперед знаю, что попадусь в руки беспощадной инквизиции и что вопросам и расспросам любопытных и сметливых моих приятельниц конца не будет; да и без расспросов они великие мастерицы угадывать по одному моему взгляду, движению губ и даже по моей походке, что происходит у меня на душе. Нет, как ни скучно, но решусь просидеть всю эту неделю дома под предлогом болезни, а там что бог даст!

Веселый хозяин мой заходил приглашать меня на вечер, который, вместо четверга, назначается в среду, по случаю именин жены его. «Wir werden singen und springen, — сказал он, подмигивая и babприпрыгнув. — Die Dame wird auch da sein». Нашел чем заманивать меня добрый Торсберг! Не до песен и пляски мне, грустному затворнику, у которого в голове теперь одна мелодия: «Das waren mir seelige Tage!».[2]

Я всегда любил делить досуг свой с людьми добрыми, как бы ничтожны они ни были; но теперь совокупное посещение таких оригиналов, как Т. Ф. Дурнов и земляк мой Кобяков, почитаю бла-

годеянием судьбы. Они рады были приглашению моему бывать у меня ежедневно и обещались даже обедать со мною во все продолжение праздников; народ неприхотливый и довольствуется больше количеством, чем качеством. Не заведет ли благоприятный случай ко мне еще и Вельяминова? Он был бы для меня сущею отрадою: с ним время проходит незаметно.

Краснопольский начал переводить оперу «Das neue Sonntagskind» под заглавием «Домовые»; но едва ли он в состоянии будет удержать в своем переводе весь комизм арий, дуэтов и особенно преуморительного финала первого действия: для этого нужно много веселости, а Краснопольский переводит очень равнодушно, как ученик по лексикону, и вовсе незнаком с немецкими вицами (Witz), иногда очень пошлыми и глупыми, но зато всегда смешными. Ну, как, например, он справится с входною ариею студента-жениха, которою молодой педант изъясняет такое смешное участие в здоровье своей невесты:

Ich frag's obsequialiter,
Das heisst, ergebnermassen,
Ob sie heut nocturnaliter
Geschlafen wie ein Ratz?

Если б перевод мог удасться, то, нет сомнения, что эта оперка, не во гнев будет сказано Якову Степановичу Воробьеву, который такой ненавистник немецких и французских опер и опереток, чрезвычайно бы понравилась веселой части публики, тем более что могла бы удачно быть обставлена; все роли в ней, как нарочно, созданы для Воробьева, Пономарева, Рожественского, Чудина, Лебедева, Самойлова, жены его, Болиной и Рахмановой.

Сказывают, что в дирекцию театра поступает такое множество драм оригинальных и переводных, что она не знает, что с ними делать, а пуще, как отбиться от назойливых авторов, решительно ее осаждающих; эти авторы большею частью подкрепляемы бывают рекомендательными письмами значительных особ, на которые театральное начальство отвечать должно, что́ приводит его в великое затруднение. Многие из поступающих драм остаются даже и непрочитанными. Казначей театра, П. И. Альбрехт, получивший недавно

анненский крест на шею, великий эконом, предлагал князю Шаховскому употреблять их для топки печей вместо дров, потому что у него в квартире всегда холодно. «Да за что ж, батюшка Петр Иваныч, ты меня совсем заморозить хочешь? — возразил сочинитель «Нового Стерна», — от них еще пуще повеет холодом».

И в самом деле, сколько авторов только и делают, что сочиняют драмы, бог весть для кого и для чего, потому что их почти никогда не принимают на сцену и даже не читают, если они бывают напечатаны! Намедни Дмитревский очень ясно истолковал причину этой несчастной страсти к сочинению драм и других театральных пьес прозою: «Естественно, мы всегда хотим успеха, — сказал он, — который бы не стоил нам больших усилий; а драму написать легче, чем трагедию или комедию, и сочинение в прозе не требует столько труда и таланта, сколько сочинение в стихах». По словам его, Вольтер был большой враг драматических пьес в прозе и говорил, что они изобретены «бездарною леностью».

Кто-то заметил очень остроумно, что правильная драматическая пьеса, трагедия или комедия, должна быть подобна золотой монете, то есть иметь надлежащий вес, ценность и звон. Вес ее — мысли, ценность — изящная чистота слога, звон — гармония стихов.

Сегодня было у меня стечение преразнообразных посетителей: чиновники, сочинители, актеры и художники, все сошлись вместе, и даже, как нарочно, явилась неожиданно красавица Александра Васильевна. Все прошло бы превесело, если б я только мог быть веселым. Сначала смотрели на сестрицу мою с каким-то любопытным изумлением и как будто ее дичились, но она так мило и ловко сама подтрунивала над толщиной своей и так умно обо всем говорила и рассуждала, что мои гости забыли о толщине ее, чтоб любоваться необыкновенной прелестью ее пленительной головки и красивых рук. Оригинал Дурнов, как художник, не сводил с нее глаз. «Что вы так смотрите на меня? — сказала она ему, улыбаясь, — вы верно удивляетесь, что такая прекрасная голова присажена к такому неуклюжему телу? Это для того, скажу вам, чтоб я не очень гордилась преимуществами красоты своей, не была кокеткою и не сводила с ума тех, которые, подобно вам, так пристально на меня смотрят».

В качестве сестрицы, навестившей больного братца, Александра Васильевна разливала нам чай, и гости мои не положили охулки на руку: несколько раз подливали в самовар воды и подсыпали в чайник чаю. Гебгард болтал без умолку и очень смешил рассказами о последствиях нашего пикника в честь Ифланда и об одном известном барине, который, не так давно принимая одну также известную барышню с немецкой сцены под свое покровительство, непременно хотел, чтоб это покровительство ознаменовано было с его стороны возможным великолепием, и потому, заказав в квартире, изготовленной для приема покровительствуемой особы, пышный банкет, он пригласил к ужину всех ее сотоварищей и каждому предоставил в распоряжение особую карету, с тем чтоб все они из прежней квартиры красавицы следовали за нею на приготовленное ей новоселье. «Это была преуморительная процессия, — говорил Гебгард, — точно какие-нибудь похороны». «Да и в самом деле, — прибавил он, — это были похороны здравого смысла, потому что не прошло двух недель, как тщеславный покровитель чуть не был выброшен за окошко таким же другим, имевшим на покровительство преимущественное право давности». Мне всего больше понравилась наивность, которою заключил Гебгард свой рассказ: «Надобно быть совершенным немцем, — сказал он, — чтоб это выдумать».

Из павильона присылали спросить, отчего так давно не видать меня и, в случае болезни, узнать, не имею ли в чем нужды. Добрые люди! Были также старик Самсонов с своими рассказами и братья Харламовы, которым я объявил, что в половине мая перееду к ним в дом, и хотел условиться с ними о квартире; но они не хотели о том и слышать, говоря, что сочтемся, и без памяти рады, что приобретают себе жильца данковца. У всякого своя слабость.

Кстати о слабостях. Самсонов рассказывал, что известный Иван Перфильевич Елагин, весьма умный, образованный и притом отлично добрый человек, имел, кроме слабости к женскому полу, еще другую довольно забавную слабость: он не любил, чтоб другие, знакомые и приятели его ели в то время, когда у него самого аппетита не было, ходили гулять, когда у него болела нога, и вообще делали то, что иногда он сам делать был не в состоянии. У него ежедневно был

роскошный стол, и без гостей он никогда не бывал. Если чувствовал он себя хорошо, тогда потчевал напропалую, выговаривая беспрестанно, что мало едят и пьют; когда же не имел аппетита, или, по предписанию доктора, обязан был воздерживаться от разных кушаньев, то начинал всегда рассуждение о том, как люди не берегут себя и безрассудно предаются излишеству в пище; что для насыщения человека нужно немногое, а между тем он поглощает всякую дрянь (тут он называл поименно все лакомые блюда стола своего) в предосуждение своего здоровья. Так и в других случаях: едет ли кто в страстно любимый им театр (которого он был главным директором) в такое время, когда по нездоровью или особым делам он не мог присутствовать при представлении, и вот Елагин начнет ворчать: «Право не понимаю этой страсти к театру, что за невидаль такая? Добро бы что-нибудь новое, а то все одно и то же; что вчера, то и нынче: те же пьесы, те же актеры и те же кулисы».

Однако ж, мне кажется, что эта слабость Елагина — общая слабость всех людей; только они не хотят в ней сознаться и ее не высказывают. В сердце каждого, и самого доброго человека, непременно таится, больше или меньше, проклятая зависть — клочек греха первородного; иначе отчего бы я, например, добрый человек, так был доволен, что сегодня скверная погода и мешает гулянью? Оттого, что мне самому гулять не приходится, и я должен сидеть дома.

Сегодня убедился я еще более, что Вельяминов очень начитанный и образованный малый. Несмотря на то, что средства его не позволяют ему часто бывать в спектаклях, он знает теорию театрального искусства, а о нашем театре и наших актерах судит вообще основательно и остроумно. «Самолюбие, — говорит он, — есть неизлечимая слабость всех авторов и актеров и в людях талантливых так же извинительно, как в бесталанных смешно и даже гадко. Но писатель с талантом всегда почти имеет достаточно инстинкта для оценки своих произведений и потому не потребует хвалы какому-нибудь своему сочинению, явно погрешающему противу правил языка или вкуса; исключения редки и бывают только в авторах или слишком молодых, или слишком устаревших. Отчего же все наши актеры, молодые и старые, чем даровитее, тем более ослепляются своим са-

молюбием и не только никогда не чувствуют своих погрешностей, но даже отвергают все благоразумные советы и почитают себя непогрешимыми? Мне кажется, в том виновата наша публика, которая слишком безотчетно бывает снисходительна к тем актерам, которых она однажды навсегда признала своими любимцами. Я слыхал от многих французов, любителей и знатоков театра, что во Франции не было и нет ни одного столь искусного актера, который бы не ошибался иногда в понимании и исполнении своей роли, хотя правила сценического искусства во Франции определены точнее, нежели где-нибудь; но во Франции строгая взыскательность публики тотчас замечает и исправляет погрешности актера, между тем как у нас актеры сами управляют вкусом публики, потому что она мало образована и, не имея достаточных познаний для настоящей оценки их талантов, увлекается ими безотчетно. Впрочем, где же может наша публика и приобресть эти необходимые для верного суждения об игре актеров познания? Кроме специального изучения искусства, они приобретаются сравнением одного актера с другим в одних и тех же ролях; а у нас театр один; главных актеров на всякое амплуа по одному, и больше того их едва ли и быть может, по той причине, что нет сцены, на которой бы молодые таланты имели случай подготовлять себя прилежным упражнением в искусстве, и, сверх того, нет особенных преподавателей декламации и репетиторов, которые могли бы развить природные их способности. Наши актеры большею частью самоучки и поступают прямо на большую сцену петербургского или московского театров для занятия главных ролей: если удается им понравиться публике с первого раза, они остаются обладателями своего амплуа без раздела и делаются фаворитами этой публики; в противном случае переменяют амплуа: из драматических делаются комическими, а при новой неудаче сходят со сцены и погружаются в прежнюю неизвестность».

Александр Васильевич Приклонский сказывал, что, несмотря на праздники, в канцелярии нашего министра существует большая деятельность вследствие полученного вчера известия о заключении в Бартенштейне договора между государем и королем прусским. Этот договор, состоявшийся в самый первый день пасхи, имеет осно-

ванием восстановление Пруссии и Австрии и защиту других государств от властолюбия Бонапарте, угрожающего им совершенным разорением. Говорят, что план государя для действий в пользу Пруссии и Австрии очень обширен и составлен им с необыкновенною проницательностью и знанием дела; но боятся, чтоб исполнение этого плана не встретило препятствий, с одной стороны, в нерешительности Австрии, а с другой — в недобросовестности Англии, которая обещала прежде до тридцати тысяч вспомогательных войск для высадки в Пруссию, французам в тыл, а теперь уменьшает их до десяти тысяч. Приклонский слышал также от Ивана Андреевича Вейдемейера, что Будберг решительно просит увольнения от звания министра иностранных дел и что место его непременно займет граф Николай Петрович Румянцев. Я воображаю, как обрадуются все, служащие в Коллегии, этой перемене начальства: может быть, новый министр захочет употребить на что-нибудь и нас, «считающихся при разных должностях» и не имеющих не только никакой должности, но даже и никакого занятия.

К слову о графе Румянцеве. Анна Никитична Нарышкина назначила его единственным наследником своего огромного имения, которое, по совести, следовало бы в род Нарышкиных, Александра Львовича с братом, как доставшееся ей после родного дяди их, Александра Александровича. Это назначение давно уже предвидели, и по сему случаю между графом Румянцевым и Нарышкиными существовала большая холодность, обратившаяся с недавнего времени в явную неприязнь. Острый Александр Львович неутомимо преследовал Румянцева разными колкостями, хотя и прекрасно выраженными, но, к несчастью, бессильными для поправления дела.

Завтра, даст бог, выползу из своего заточения. Я так одичал в эту неделю, что, право, не знаю, как встречусь с знакомыми и что буду отвечать им на неминуемые их вопросы.

21 апреля, воскресенье.

Слава богу, все обошлось благополучно! Вместо ожидаемой пытки я встретил одни довольно сносные насмешки: «Oh, l'enfant!

Oh, le pauvre enfant! Voyez le grand malheur qui lui arrive! Mais c'est charmant, c'est impayable!». — «Да, да, — подумал я, — смейтесь, смейтесь, павильонские мои трещоточки, хохочите себе наобум, а все-таки, несмотря на гасконские выходки старого зажиги, вашего папа, вы от меня ничего не узнаете: я отмолчусь». И точно: отмолчался.

За обедом много толковали о путешествии государя. Всюду принимают его как будущего своего избавителя от ига нового Чингисхана. Все это хорошо; но старые эмигранты ропщут на те государства, за которые он так великодушно вооружился, что они, с своей стороны, мало предоставляют ему средств для продолжения войны более энергическим образом. Мсье виконт, который бывает у Марьи Антоновны ежедневно и к которому она имеет полную доверенность, потому что он заведывает ее интимною корреспонденциею, слышал от нее, что государь встречает немало огорчения от нерешительности Австрии, которая действует как бы нехотя, и что, кажется, надобно отложить всякую надежду на какое бы то ни было с ее стороны содействие. Грустно слышать, что эти немцы заблуждаются насчет своего положения и не хотят понять благих намерений нашего государя в их собственную пользу. Виконт говорит, что со времени Суворова нам не удался ни один союз с Австрией, которая всегда хочет загребать жар чужими руками.

С завтрашнего дня начинаются спектакли. Меня пригласили в ложу на комедию «Два Фигаро» (Les deux Figaros), в которой, говорят, так превосходны Дюран, Каллан и мадам Туссен; но, признаюсь, мне хотелось бы еще взглянуть на Яковлева в «Донском» и опять послушать прекрасных стихов Озерова. Впрочем, «Двух Фигаро» я еще не видал, и потому, благо есть случай, надобно идти во французский спектакль. Зато во вторник пойду смотреть на Рыкалова в «Скапиновых обманах», а в среду к немцам.

Челищев рассказывал, что в минувшем феврале двое секретарей посольства, английского и австрийского, отправились на медвежью охоту в окрестностях Тосны. Два медведя были обойдены за неделю до их приезда и, по наблюдениям стороживших их крестьян, получавших за то хорошую плату, оба преспокойно сосали

лапы в своих берлогах; но в самый день приезда охотников, как будто встревоженные предчувствием ожидавшей их беды, вдруг исчезли, и охотники, проехавшие около ста верст, нашли только одни логовища да свежие следы скрывшихся мишуков. Молодые дипломаты предались ужасному негодованию и гневу, обвиняя мужиков, что медведи ушли по одной их неосторожности и что, следовательно, они должны возвратить им полученные за обход деньги. Сколько ни уверяли мужики, что они вовсе не причиною такого своеволия медведей, но дипломаты не хотели ничего слушать и требовали возвращения своих денег. К счастью, один крестьянин, посмышленее других, вызвался поставить им «охоту» почище медвежьей — охоту на лося. «Вот извольте, отцы мои, покушать да поотдохнуть, а уж к утру вам будет лось». Охотники согласились. «А видали ли вы, мои батюшки, лосей-то?» Оказалось, что ни один из них живых лосей не видывал. «Ну так завтра же изволите увидеть, родные мои: такого представлю, что на подивленье». Поверив обещанию, горячие охотники, в нетерпеливом ожидании застрелить незнакомого им зверя, расположились ночевать в деревне, а между тем проворный крестьянин добыл где-то старую, яловую и комолую корову бурой шерсти, отвел ее в самую чащу леса и, бросив голодной яловке охапку сена, явился ни свет ни заря к охотникам с донесением, что он обошел следы молодой лосихи и что для удачной охоты должно следовать за ним тотчас, чтоб на месте быть до рассвета. Разумеется, охотники тотчас же поскакали с вожатым своим в лес и, несмотря на темноту ночи, успели разглядеть в чаще лосиху, смирно стоящую и не замечающую их появления. Думать было нечего: оба Нимврода взвели курки, прицелились и в одно время дали залп, которым бедное животное было убито наповал. Происшествие кончилось тем, что дипломаты щедро наградили своего вожатого и, сверх того, поручили ему за известную плату немедленно доставить убитую ими лосиху в Петербург на показ их приятелям. «Но вы можете угадать, — сказал Челищев в заключение своей истории, — как исполнил мужичок это поручение; лосиха-корова была съедена крестьянами всей деревни, за здравие проницательных охотников».

22 апреля, понедельник.

Вместо «Двух Фигаро» я попал на Реньярова «Игрока» и в том не раскаиваюсь. Актеры все почти те же и все играли восхитительно: Дюран и Каллан в ролях, первый — игрока, а второй — слуги, превосходны! как они мастерски читают стихи: самый привычный слух не отличит их от прозы. Какой огонь в игре, какой натуральный комизм и вместе какое благородство! В сцене, когда проигравшийся игрок для рассеяния заставляет слугу читать себе книгу, и слуга так некстати выбирает для чтения главу из Сенеки о презрении к богатству, «Du mépris des richesses», игра обоих актеров изумительно хороша. Особенно отличился Дюран в той сцене, в которой игрок, при безденежье, возвращается к предмету любви своей и с восторгом вспоминает о прелестях своей невесты; но вдруг, неожиданно получив деньги, забывает все: и невесту, и наставления отца, заботится только о том, как бы поскорее отыграться с барышом, и ломает голову над предположениями, какой бы ему поставить куш на первую карту. Деглиньи прекрасно играл роль отца. Надобно удивляться, как, при своей толщине, он так развязен на сцене, так ловко носит шитый французский кафтан и непринужденно владеет шляпою с плюмажем. Смотря на него, нельзя не согласиться с Монфоконом, que c'est un modèle des vieux courtisans de l'ancienne Cour des rois de France, moins leur fatuité.

После комедии дана была комическая оперка «Le Bouffe et le Tailleur», в которой Меес в роли меломана-портного был удивительно забавен. Какая богатая в этом человеке натура! что за голос и что за энергия в игре! как он благородно смешон в своей роли, а что за мимика! В той сцене, где он, развалясь в креслах, слушает арию итальянского певца, воображая, что ее поет его подмастерье, он одною мимикою, одними восклицаниями «ah! ah!» такое производил действие на публику, что она забыла слушать и Сен-Леона и мадам Монготье и только смотрела на Мееса. И какое разнообразное дарование! Сегодня играет он роль комическую, а завтра драматическую; то портного, то Титзикана, то старого неуклюжего слугу в «Monsieur des Chalumeaux», то слепца Эдипа в «Oedipe à Colonne», и все это с одинаковым совершенством!

Нечего сказать: здешний французский спектакль — совершенство в своем роде, настоящий спектакль для избранного общества. Нынешним составом французской труппы публика обязана Александру Львовичу или, скорее, князю Шаховскому, который, будучи вместе с ним в Париже, имел весьма близкие сношения со всеми первоклассными артистами знаменитого французского театра (Théâtre Français), особенно с Дюгазоном, Дазенкуром и Сен-Фалем, руководствовавшими его в выборе большей части актеров для петербургской сцены. Таланты Дюрана и Каллана были известны в самой Франции, потому что они играли всегда на больших сценах в Бордо, Лионе и Марсели; а Деглиньи уважаем был и самим Офреном.

23 апреля, вторник.

Если б комедия «Скапиновы обманы» была сочинена в наше время, то ее назвали бы не комедиею, а фарсом, чтó она в сущности и есть. «Скапиновы обманы» — фарс, но какой фарс! Содержание просто: плут-слуга дурачит хозяина, старого скрягу. Происшествия несбыточные, характеры действующих лиц неправдоподобные, завязка невероятная, развязка неестественная, а между тем вся эта галиматья так увлекательна, что все кажется и вероятным и естественным. Мне кажется, что гений Мольера нигде не проявляется с такою силою, как в фарсах, то есть в «Скапиновых обманах», «Мнимом больном», «Мещанине во дворянстве», «Пурсоньяке» и «Мнимом рогоносце», потому что все эти пьесы, будучи основаны на характерах нелепых и происшествиях невозможных, требовали необычайного таланта, чтоб заставить извинить в них недостаток вымысла и отсутствие всякого правдоподобия в действии.*

Но рассуждения в сторону; поговорим о представлении. Рыкалова можно назвать актером par excellence. Он играл роль Жеронта. Какая великолепная комическая фигура! Лицо, стан, походка,

---

* Автор «Дневника» думает теперь иначе и просит извинения за неосновательные суждения молодого чиновника о великом Мольере. *Позднейшее примечание.*

движения — все это в нем так неуклюже, так натурально-глупо, что при одном появлении его нельзя удержаться от смеха; а орган, а дикция — это совершенная натура: никаких натяжек, никакого преувеличения, ничего площадного; словом, видишь перед собою не актера, а настоящего Жеронта. Но в сцене, когда Скапин объявляет ему, что турок захватил его сына и требует за него выкупа, Рыкалов превзошел мои ожидания: все, что я прежде ни слышал о превосходной игре его в этой сцене, ничего не значило в сравнении с тем, что я увидел. Как уморительно смешно было его отчаяние! с какою забавно-жалобною миною развязывал он кошелек свой, повторяя беспрестанно эти известные восклицания: «Да зачем чорт его на галеру-то носил? О, проклятый турка! о, проклятая галера!» Как мастерски сыграна им сцена, в которой Скапин прячет его в мешок и потчует палочными ударами! Сначала его нетерпеливые движения и корчи в мешке, потом удивление и ужас его при открытии обмана и, наконец, бешенство, с каким он, избитый, вылезает из мешка и преследует Скапина, — все это выражено Рыкаловым превосходно и с необыкновенною верностью. Я теперь понимаю, почему старые французские актеры отзываются о нем с таким уважением: он им передает Мольера «à la Préville».

Роль Скапина играл Прытков довольно развязно; но быть развязным на сцене и быть настоящим Скапином, как Рыкалов был настоящим Жеронтом, — большая разница. Сказать откровенно: роль Скапина Прыткову не по силам: Прытков был бесцветным плутишкою, когда надобно было быть отъявленным, дерзким плутом, то есть иметь тот бесстыдный взгляд, ту решительную походку, ту наглую поговорку, которая всегда отличает первоклассных плутов. Для роли Скапина, кажется, у нас единственный актер — Сила Сандунов. Я воображаю, как бы этот молодец, так всегда превосходный в ролях плутоватых слуг, отличился в роли Скапина и как бы он был под пару Рыкалову; но в том-то и беда, что у нас (впрочем, как и везде, кроме французского театра в Париже) соединение на одной сцене первоклассных талантов невозможно.

О прочих актерах, игравших в пьесе, сказать нечего: их роли ничтожны; но желательно было бы видеть в роли молодого любов-

ника кого-нибудь поразвязнее Щеникова: неужели же он сладит с ролью в «Магомете», которого надеюсь увидеть в пятницу? Что-то не верится.

Во все продолжение спектакля один старичок, седой как лунь, сидевший в первом ряду кресел, обращал на себя беспрерывное внимание участием, которое громогласно изъявлял к действующим лицам. Покажется ли на сцену Рыкалов, и вот старичок заговорит: «Вишь какой старый скряга, вот ужо тебе достанется!» Начнет ли свою сцену Прытков, и старичок тотчас же встретит его громким приветствием: «Экой мошенник! экая бестия! вот уж настоящий каторжник!» При палочных ударах Скапина Жеронту в мешке, старичок помирал со смеху, приговаривая: «Дельно ему, дельно; хорошенько его, хорошенько старого скрягу!» Но при появлении на сцену Болиной, игравшей роль цыганки, выходка старичка произвела общий взрыв необыкновенной веселости и аплодисментов: «Ах, какая хорошенькая! То-то лакомый кусочек! Кому-то ты, матушка, достанешься?» При выходе из театра я любопытствовал узнать, кто этот старичок, так бесцеремонно думающий вслух. Мне сказали, что это действительный статский советник Полянский, человек, принадлежащий к высшему обществу, богатый и очень уважаемый за доброту души и благонамеренность, но, по старости лет, никуда не выезжающий, кроме спектаклей, в которых он бывает ежедневно, попеременкам: то в русском, то во французском, а иногда и в немецком, когда играет Линденштейн, и всюду получаемые им впечатления разделяет со всей публикой.

23 апреля, среда.

Вместо немецкого театра попал к Рахманову и вечер провел у него вместе с Вельяминовым. Они оба в больших заботах о своем «Орфее»: примут ли его на театр? кому петь Эвридику? Рахманов полагает, что для партии Эвридики голос Самойловой низок. Я объявил ему, что скоро на русской сцене будет дебютировать в роли Зетюльбы дочь какого-то француза-гитариста, Фодор, девка знатная, кровь с молоком, у которой, говорят, голос огромный;[1] следовательно, ему и беспокоиться не о чем: Орфей есть — и

Эвридика будет. Рахманов был в восхищении от этой новости и добивался, от кого я слышал. «От кого же другого я мог ее слышать, — отвечал я, — как не от друга моего Кобякова, который, как настоящая театральная ищейка, все знает, что происходит за кулисами, и, надобно отдать ему справедливость, сведения его всегда верны». — «Ну, так и я тебе скажу добрую новость, — сказал Рахманов, — я, наконец, добыл себе „Псаммит Архимеда“». — «Это что такое?» — «Это, братец ты мой, исчисление песку в пространстве, равном шару неподвижных звезд — книга, которой я здесь на французском языке отыскать не мог и которую уступил мне Гурьев».[1] Радуюсь приобретению Петра Александровича, не зная, впрочем, к чему это исчисление песку служить может: не при мне писано.

Толковали о вчерашнем спектакле и об игре Рыкалова. Рахманов видел «Les fourberies de Scapin» в Париже и в роли Скапина превозносит Дазенкура, с которым был знаком и о котором отзывается с энтузиазмом. «На сцене — это воплощенный бес, — говорит он, — но вне сцены умный, ученый и солидный человек, каких мало встречаешь в обществе». Слава Дазенкура началась со времени представления «Севильского цирюльника» Бомарше и вот каким образом: когда, после многих долговременных и бесполезных домогательств всего парижского общества и самого Бомарше о дозволении представить par les comédiens ordinaires du roi, как называли тогда актеров французского театра, комедию «Севильский цирюльник», двор, наконец, согласился даровать это дозволение, Бомарше распределил роли своей пьесы всем первоклассным актерам, и, между прочим, роль цирюльника назначил знаменитому Превилю; но Превиль был француз старого покроя, un français de la vieille roche, простодушный, честный и добросовестный человек; он выучил и даже репетировал роль на сцене, но чувствовал, что лета лишили его надлежащей энергии для успешного исполнения пред взыскательною публикою этой роли, требующей, по его понятиям, кроме глубоких соображений, молодости, силы и свежести звучного органа, и потому решился объясниться с Бомарше. «Послушайте, — сказал он ему, — верите ли вы мне и хотите ли, чтоб ваша комедия имела успех?». — «Кто ж не поверит

Превилю? — отвечал Бомарше, — и какой же автор не пожелает успеха своей пьесе?». — «Так позвольте мне передать роль мою — не удивитесь! Дазенкуру». «Как Дазенкуру? Да он и не sociétaire ваш, а покамест на жалованье; он даже и не дублер ваш, а третий по старшинству занимаемого амплуа». — «В том-то у нас и вся беда, что покамест иному старому чорту, главному в амплуа, не вздумается отойти ad patres, молодой талант должен гибнуть в неизвестности и часто пропадать без занятия. Могу вас честью удостоверить, что для роли вашего цирюльника другого актера, подобного Дазенкуру, не родилось еще во Франции. Теперь решайте сами, кто из нас играть должен: я или Дазенкур; я сделал свое дело и за последствия отвечать не буду; je m'en lave les mains. Но, чтоб доказать вам, что объяснение мое с вами было следствием одного только уважения к вашему труду, а не других посторонних побуждений, в которых нас, старых актеров, так часто упрекают, то в случае передачи роли Фигаро Дазенкуру я вызываюсь принять на себя самую незначительную роль в вашей пьесе и надеюсь дать ей замечательную физиономию».

Бомарше передал роль цирюльника Дазенкуру и не имел повода в том раскаиваться: он сыграл ее мастерски и с тех пор сделался любимцем публики. Спустя несколько времени, стареющийся Превиль все лучшие роли свои разделил между ним и Дюгазоном, оставив себе только небольшие, считавшиеся ничтожными роли, которые, как, например, роль Бридоазона, отделывал он с неизвестным до него искусством.

25 апреля, четверг.

Гаврила Романович удивлялся, что я с первого дня праздника у него не был. «Я думал, что в самом деле не занемог ли ты, а ты рыскаешь по театрам!». Я не выдержал и рассказал ему в с е. «Только-то? — спросил он, усмехнувшись. — Ну, это еще не беда: вперед наука. Между тем изготовь-ка что-нибудь к хвостовской субботе, а завтра вечером предварительно мне прочитай». Я предложил ему на выбор «Бардов» или новое стихотворение «Осень», только просил увольнения от завтрашнего вечера по случаю именин

моих и потому что сбираюсь в театр смотреть «Магомета». «Ну так в субботу приходи обедать, а там и поедем вместе к Хвостову».

В Коллегии сказывали, что какой-то неважный чиновник, Коженков, в припадке бешеной ревности зарезал жену. Опамятовавшись, он бросился в полицию и сам объявил о своем преступлении, прося поступить с ним по законам и не извиняя себя никакими обстоятельствами. Говорят, что этот новый Отелло отчаянием своим возбуждает невольное сострадание, тем более, что жена его, по сделанному исследованию и показанию соседей, вовсе не похожа на Дездемону.

Заходил к Гнедичу пригласить его завтра на скромную трапезу: угощу чем бог послал. Пригласил бы и Яковлева, если б он не играл. Во всяком случае, несмотря на мое одиночество, найдутся люди разломить пирог над головою именинника. Отпраздную тезоименитство свое по преданию семейному: иначе было бы дурное предзнаменование для меня на целый год.

А между тем в обществах заметно какое-то беспокойство: вести из главной квартиры государя не утешительны. По милости немцев, армия наша нуждается в продовольствии, и англичане отказали не только в обещанном количестве войск, но даже и в условленных для наших союзников денежных субсидиях. Говорят, что шведский король так огорчился этою недобросовестностью, что не хочет посылать десанта и вхо́дит [1] в переговоры с Бонапарте. Ай да союзники!

26 апреля, пятница.

Мне очень хотелось узнать, нет ли здесь церкви или хотя придела во имя св. Стефана, чтоб отслушать обедню и отслужить святому просветителю Перми молебен, но, к сожалению, по всем справкам, ни церкви, ни придела во имя его не оказалось; я слушал обедню в Казанском. Недаром вчера в Коллегии добрый контролер наш, Федор Данилович, который признается за лучшего статистика по части церквей, монастырей и всего принадлежащего к духовному ведомству, советовал не терять времени в пустых расспросах, сказав решительно: «Уж если я говорю: нет, так верно и не сыщешь;

да и в Москве-то у вас, кроме церкви Спаса, что на Бору, где почивают мощи святителя и где учреждено в память его празднество, других церквей и приделов во имя его нет».

Именинное «учреждение» мое хоть куда: трапеза исполнена и телец упитанный есть. Граф Монфокон, Гнедич, Юшневский, Хмельницкий, Вельяминов и Кобяков — приглашенные гости; а пожалует кто еще невзначай — милости просим: не отпустится тощ. Попируем во славу и воспоминание Московского университета, а там и в театр.

Гаврила Романович, которому вчера я неосторожно намекнул о своих именинах, присылал поздравить. Боюсь, чтоб он не подумал, что я напросился на это поздравление. Недельки три назад, вспомнили бы меня и другие-прочие! Досадно. . .

27 апреля, суббота.

«Умеренность — лучший пир», — сказал Державин в стихотворном приглашении своем к обеду. Нет сомнения, что афоризм выражен прекрасно. Но я, виноват, не очень его понимаю: что кажется умеренным одному, то для другого казаться может излишеством, а для третьего сущим недостатком. Все это относительно и трудно для определения. По-моему, вчерашняя трапеза моя была очень умеренна: именинный пирог, щи, окорок ветчины, да часть телятины; но для моего Кобякова она казалась роскошною; а попотчуй я такими же блюдами его дражайшего родителя, избалованного роскошью измайловского стола, он наверно бы сказал: «Жить не умеет; обед у него как на постоялом дворе».

Как бы то ни было, только гости мои были очень довольны, не исключая и старого эмигранта, который уверял, что наелся на неделю. Время провели в разговорах и рассказах. Добрый Гнедич все свысока: удивлялся, как мог я с удовольствием смотреть на «Скапиновы обманы»; добро бы на «Мизантропа», «Тартюфа» и прочие пьесы de caractère, а то площадный фарс — фи! Вот поди толкуй с ним! В качестве хозяина я не хотел возражать Гнедичу, но Хмельницкий вступился за комедию и очень забавно доказывал, что смеяться гораздо приятнее, чем зевать.

Была речь и о «Магомете». Гнедич негодовал, что Магомета, Омара и Сеида костюмируют турками, тогда как они просто арабы-бедуины и, следовательно, должны быть одеты бедуинами. Граф Монфокон вслушался и, верный преданиям французского театра, вступился за костюм Магомета, присвоенный ему первоначальным исполнителем роли, Лекеном. «Это очень хорошо было в свое время, — сказал Гнедич, — и лучше, нежели бы Лекен играл Магомета во французском кафтане; но теперь, с развитием образованности, усовершенствованиями театральной сцены и сценических принадлежностей, турецкий костюм Магомета — такая же непростительная несообразность, как, если б, следуя прежнему обычаю, надеть на Агамемнона огромный напудренный парик и затянуть Федру в длинный корсет и фижмы». — «C'est incontestable, — подхватил старый француз, засмеявшись, — et pourtant j'ai bien vu de mes propres yeux m-lle Duclos jouer Electre avec une robe ronde à queue, des paniers et une coiffure à trois étages, poudrée et couronnée des fleurs; et pour vous dire tout, messieurs, c'est moi qui lui avait fourni la robe». Мы померли со смеху.

В театр отправились мы вместе с Кобяковым и чуть-чуть не опоздали к началу. Я очень удивился, когда по поднятии занавеса вместо палат зопировых увидел на сцене морской берег, множество народа в древнеирландских костюмах, Самойлова с арфою в руках и Семенову на каком-то возвышении, окруженную толпою молодых подруг. «Петр Николаевич, это что такое?». — «Это „Фингал“». — «Но ведь назначен был „Магомет“?». — «Видно переменили спектакль по болезни кого-нибудь из актеров». — И прекрасно! «Магомет» впереди, а теперь посмотрим на «Фингала», которого я еще не видал.

«Фингал», по мнению Мерзлякова, трагедия плохая; он говорил — а ему можно верить — что Озеров, как школьник, написав «Фингала» после «Эдипа», спустился с первой лавки на последнюю. Но я собственно интересовался не самою трагедиею, а игравшими в ней Шушериным, Яковлевым и Семеновою. Они все трое играли хорошо; но из них Шушерин лучше всех, потому что в занимаемой им роли есть страсть, жажда мщения, которою он мог воспользо-

ваться, чтоб дать роли своей надлежащую физиономию; между тем как из ролей Фингала и Моины, персонажей страдательных и бесцветных в самой взаимной любви своей, едва ли что можно было сделать другое, кроме того, что сделали Яковлев и Семенова, то есть прекрасно читали прекрасные идиллические стихи и обворожили зрителей прелестью своей наружности. В самом деле, Яковлев в роли Фингала может служить великолепным образцом художнику для картины: это настоящий вождь Морвена; черты лица, стан, походка, телодвижение, голос — все было очаровательно в этом баловне природы. Что ж касается до искусства его в роли Фингала, то, мне кажется, оно заключалось в одном отсутствии всякого искусства: он играл с одушевлением и непринужденно, как и следовало играть роль «доброго малого» Фингала, который пороху не выдумал и которого, по собственному его сознанию,

. . . Искусство все бесстрашным быть в боях. . .

но затем и баста. В продолжение всей пьесы я заметил одну только сцену, в которой Яковлев был истинно превосходен, потому что, видно, нашел ее достойною того, чтоб над нею потрудиться. Это сцена спора, когда Фингал упрекает Старна в недобросовестности:

Царь, изменяешь ли ты слову своему:
Коль нам не верить, царь, то верить ли кому?

и затем ответ его на угрозу Старна: «Ты в областях моих!» —

Я здесь не в первый раз!

Это полустишие сказано было Яковлевым с такою энергиею, что у меня кровь прихлынула к сердцу. За это полустишие, которым он увлек всю публику и от которого застонал весь театр, можно было простить гениальному актеру все его своенравие в исполнении прочих частей роли Фингала.

Семенова — красавица, Семенова — драгоценная жемчужина нашего театра, Семенова имеет все, чтоб сделаться одною из величайших актрис своего времени; но исполнит ли она свое предназначение? Сохранит ли она ту постоянную любовь к искусству, ко-

торая заставляет избранных пренебрегать выгодами спокойной и роскошной жизни, чтоб предаться неутомимым трудам для приобретения нужных познаний? Не слишком ли рано нарядилась она в бархатные капоты, облеклась в турецкие шали и украсилась разными дорогими погремушками? Сколько я от всех слышу, да и сам частью испытал на репетиции «Дмитрия Донского», когда она так грубо отпотчевала меня своим высокомерным «чего-с?», — в ней недостает образованности, простоты сердца и той душевной теплоты, которую французы разумеют под словом «aménité»; а эти качества, за малым исключением, всегда бывают принадлежностью великих талантов. Семенова прекрасно сыграла Моину, бесподобно играла Антигону и Ксению, но этих ролей недостаточно, чтоб положительно судить о решительной будущности ее таланта. Эти роли могла играть она по внушению других: бывали же у нас актрисы, которым, по безграмотству их, начитывали роли, но которые, однако ж, имели успех, покамест не предоставляли их самим себе. Милая Семенова, вы, бесспорно, красавица, бесспорно драгоценная жемчужина нашего театра, и вами не без причины так восхищается вся публика; но скажите, отчего я, профан, не плачу, смотря на игру вашу, как обыкновенно плачу я по милости товарища вашего, Яковлева?..

Но время к певцу Фелицы, чтоб до обеда успеть прочитать ему мою «Осень» или, скорее, «Осень» мистрис Робинзон, которую переделал я на свой лад.

28 апреля, воскресенье.

Вечер А. С. Хвостова не дается, как клад, и отложен опять до будущей субботы, по внезапному нездоровью хозяина.

Гаврила Романович был очень доволен моею «Осенью», но заметил, что в «Бардах» больше воображения и силы. Разумеется так: в этой небольшой поэме столько такой разнообразной чухи, какой не отыщешь и в сочинениях самого Семена Сергеевича Боброва, сумбуротворца по преимуществу.

Сегодня у графа А. Н. Салтыкова по какому-то случаю танцевальная вечеринка. Молодая хозяйка любит повеселиться и потанцевать, и это очень естественно в такой пригожей и любезной жен-

щине; жаль только, что, за отсутствием гвардии, теперь в городе мало хороших танцоров, и чтоб помочь горю, граф Соллогуб набирает из статских «мастеров бального дела»; но, кажется, набор не очень удается: все заумничали и лезут в серьезные и деловые люди.

29 апреля, понедельник.

Из Коллегии ездил с запоздалыми визитами: был у Ададуровых и Воеводских. Анна Ивановна пополнела, а Катерина Петровна, мне кажется, еще более похорошела. У первой застал обер-гофмейстера Тарсукова, свояка известной Марьи Савичны Перекусихиной, первой и любимой камер-фрау императрицы Екатерины II. Он очень богат, и это состояние наследовала жена его после смерти сестры. Говорят, что ей досталось одних только брильянтов и жемчугов на полмильона. Анна Ивановна тоскует о друге своем, Протасове, который находится в походе вместе с полком конной гвардии. Понимаю это чувство: привычка — великое дело. Воеводская же рассказывала, что она не чувствует ног под собою: протанцовала у графини Салтыковой целую почти ночь и приехала домой на рассвете! Я советовал ей беречь себя и красоту свою, которая от неумеренных танцев и особенно от ночей, проведенных без сна, пострадать может. «А на что мне красота? — возразила она, — я замужем и прельщать никого не намерена. Годом прежде, годом после, а все же надобно будет подурнеть и состариться: по крайней мере, пока время не ушло, напрыгаюсь и навеселюсь вдоволь, а там и примусь за нравоучения своим детям». Это в своем роде также логика. Я спрашивал, справилась ли с кавалерами? — «Множество их было, — отвечала она, — и всякого разбора: ловких и неловких; но для меня все равно, какие эти господа ни были бы, лишь бы шаркали по паркету». Ну, и это дело, подумал я. Следовательно, «Vous n'êtes pas pour les grands sentiments?», — спросил я, опять премилую мою хозяйку. — «Eh, mon dieu, monsieur, je n'ai jamais-étudié la métaphysique, et en vérité, je ne sais pas à quoi peuvent ils sérvir». После этой выходки для меня все стало ясно, как день, и я вышел от красавицы с новыми познаниями в физио-

логии женщин. «Courte et bonne», — говорят французы; «kurz, aber lustig», — повторяют немцы; а какой смысл дать этим фразам на русском языке — я еще не придумал.

30 апреля, вторник.

Забыв, что мой гасконец католического исповедания и что он не может быть сегодня именинником, я пришел поздравить его, как водится, со днем ангела и принес ему большую банку варенья полевой клубники, здесь мало известного, которое так ему нравилось в Липецке. Старик очень обрадовался вниманию моему, а также, думаю, и варенью, и тотчас спрятал его в свой кабинетный шкап, объявив дочерям и внучке, что им не удастся отведать из него ни ягодки; а барышни напустились на меня, зачем я не отдал этого варенья им, потому что старик в один день в с е съест и после оттого занеможет: «Comme si vous ne connaissez pas notre cher papa!». Но делать было нечего: подслужился невпопад.

Лабаты танцевали также третьего дня у графини Салтыковой и рассказывали о подвигах Катерины Петровны: «Croyez vous, — говорили они, — qu'elle n'a pas quitté le parquet depuis 10 heures du soir jusqu'à 5 heures du matin et puis toujours gaie, prévenante et aimable. En vérité, c'est un ange». Я объявил, что вчера провел у нее больше часу, и пересказал им весь наш разговор. «Oui, oui, — подхватили они, — c'est elle-même, ни лучше, ни хуже, как ее создал бог». Я оставил их в этих мыслях и не договорил того, что я думаю.

Завтра гулянье в Екатерингофе. Мне очень хочется сравнить его с нашим московским гуляньем 1-го мая в Сокольниках. Говорят, что нынешний год оно будет бедно как щегольскими экипажами, так и кавалькадами, потому что гвардия в отсутствии, и что смотреть нечего. Нужды нет: надобно побывать из любопытства.

1 мая, среда.

Екатерингофское гулянье в сравнении с сокольницким то же, что здешняя толкотня в лазареву субботу по линии Гостиного двора в сравнении с гуляньем на Красной площади в Москве: узко, тесно, бедно и неуклюже. Нарядных экипажей и охот-

ничьих упряжек нет, а о богатых барских палатках, которые бы служили сборным местом для лучшего общества, как это бывает в Сокольниках, — нет и помину. Вместо трех-четырех таборов удалых цыган, вместо нескольких отличных хоров русских песенников и роговой музыки, расставленных там и сям по сокольничей роще на полянках, ближайших к дороге, по которой движутся ряды экипажей, в Екатерингофе красуются одни питейные выставки, около которых толпится народ, а по местам сереют запачканные парусиновые навесы и полупалатки — приют самоварников; при некоторых из этих походных трактиров поются песни и слышится по временам рожок или кларнет; но хриплые, давленые голоса и сиплый дребезжащий звук вполовину расколотого инструмента отнимают охоту наслаждаться такою музыкою.

Пробираясь лесом все дале и дале, мы, наконец, пришли к деревушке, состоящей из ряда небольших однофасадных домишек в три окошка на улицу. Эта деревушка называется Екатерингофскою слободкою и, кажется, есть le nec plus ultra гулянья, потому что вереница экипажей от нее поворачивала в обратный путь. Все окна в домишках были отворены настежь, и проходящие могли видеть все, что происходило в комнатах; а происходило в них то, что большею частью происходит у хозяев, угощающих приятелей, наехавших к ним по случаю гулянья, то есть попойка. Проходя мимо одного домишка, вросшего почти в землю, я вдруг увидел предлинную и прехудощавую фигуру, которая, высунувшись из окна, схватила без церемонии за воротник друга и вожатого моего, Кобякова, и с громким восклицанием: «sta viator!» потащила его себе в окошко, приговаривая: «Так-то, приятель, мимо проходишь, к нам не заходишь; все бы тебе к актерам и актрисам; нет, любезный, теперь не вывернешься». — «И рад бы, Левонтий Герасимыч, да нельзя: я не один», — пропищал мой Кобяков. — «С кем же ты? с актером что ли каким?» — «Нет, с земляком, который недавно здесь и в Коллегии служит». — «Так и его проси». — «Да он, может, не пойдет». — «Ну так притащи его», — и вдруг, оборотясь ко мне, Левонтий Герасимыч закричал: «Гей, милостивый государь, как ваше имя и отчество — не знаю! покорнейше прошу сделать мне

честь пожаловать на стакан пуншу: не то я земляка вашего задушу». Видя, что народ собирается около нас, и опасаясь скандалу, я решился идти на выручку Кобякова, у которого такие приятные и бесцеремонные знакомцы, и сказал, что зайду с удовольствием. Услышав это, Левонтий Герасимыч ослабил железную свою лапу и освободил моего карапузика.

Мы вошли в комнату: с полдюжины гостей сидели развалившись, кто на софе, кто на креслах, и потягивали пуншик. В числе их был один барин, довольно плотный, с красным угреватым лицом, в синем, выложенном черными шнурками казакине, шелковом пестром канареечного цвета жилете и широких плюсовых шарварах, который брянчал на какой-то балалайке особенной конструкции, припевая себе под нос. Все пальцы пухлой руки его изукрашены были кольцами и перстнями разных величин и фасонов. «Это знаменитый Хрунов», — шепнул мне Кобяков, как бы желая приятно удивить меня. — «Кто Хрунов: хозяин или барин с балалайкою?». — «Барин с балалайкой». — «Чем же знаменит он?». — «А вот увидишь».

Между тем долговязый хозяин явился с несколькими стаканами горячего пуншу и прямо к нам: «Милости просим выкушать!». Товарищ мой схватил стакан, но я попросил увольнения, потому что неохотно пью пунш, да и запах родимой горелки как-то неприятно подействовал на мое обоняние. «Отчего же вы не пьете?». — «Признаюсь, не люблю». — «Не хотите ли мадеры?». — «Нет, благодарю покорно». — «Да, впрочем, мадеры-то у меня и нет; не хотите ли лучше шампанского?». — «Извините; что-то не хочется». — «У меня и шампанского нет; но, может быть, вы любите сладкие напитки, малагу, например?». — «За обедом иногда пью». — «Ну и малаги нет у меня. Чем же просить вас?». — «Не беспокойтесь: право ничего не хочется». — «Да надобно же выпить что-нибудь». Тут приставив указательный палец ко лбу и как бы спохватившись: «Знаете ли вы, — сказал он, — у меня есть отличный квас: не выпить ли квасу?». «Квасу выпью с большим удовольствием, — отвечал я, — это мой обыкновенный напиток». И вот услужливый хозяин мой побежал за квасом, но чрез несколько минут возвра-

тился с извинением, что квас весь вышел, но зато есть свежая колодезная вода, которую многие предпочитают невской, и потому он советует мне выпить хоть воды. Разумеется, я согласился на воду, едва-едва удерживаясь от смеха.

Обнеся собеседников пуншем, Левонтий Герасимыч обратился к «знаменитому», по словам Кобякова, Хрунову с просьбою потешить новоприбывших гостей песенкою: «Уж не откажите, Матвей Григорьич, не откажите; ведь не часто нам выдаются оказии вас послушать». — «Почему ж и не так? — отвечал Хрунов очень самодовольно, — нас достанет для всех: для вас и для вашего частного пристава, у которого сегодня, после гулянья, я должен быть на банкете». И вот «знаменитый» Хрунов, ударив по струнам своей балалайки так сильно, что они чуть не лопнули, запел знакомую песню «Барыня, барыня», но с припевами, как видно, собственного сочинения и такими оригинальными приговорками, что невольно заставил нас внимательно его слушать. Сначала играл и пел он довольно тихо, но по мере того как входил, по выражению хозяина, «в пассию», игра его, пение и поговорки становились все бойчее и бойчее, так что под конец он, вскочив с кресел, начал сперва притопывать ногою в каданс и потом, постепенно оживляясь, как шаман, пустился из всей мочи в пляс, приговаривая на виршах всякий вздор о себе и о других, какой только мог ему придти в голову:

А Хрунов, сударь, Хрунов
Из числа больших врунов.
Барыня, барыня!
У Хрунова ни гроша,
Зато слава хороша.
Барыня, барыня!
У Хрунова нет родни:
Лишь измайловцы одни.
Барыня! барыня!

Между тем начинало смеркаться, и меня подмывало домой. Я напомнил товарищу, что в гостях как ни хорошо, а дома лучше, и звал его в обратный путь; но хозяин, заметив наши сборы, предложил закуску: «Ведь надобно же закусить на дорогу: котлетку,

например, или цыпленочка — что полегче; правда, котлет у меня не стряпают, да и цыплят нет; зато есть славная колбаса и жареный глухарь: покорнейше прошу, сейчас подадут». Но я на этот раз остался глух к приглашенью и, несмотря на явное желание Кобякова отведать колбасы и глухаря, увел его от оригинального обитателя Екатерингофской слободки.

Дорогою Кобяков рассказал мне, что титулярный советник Леонтий Герасимыч Максютин — его сослуживец и занимает должность столоначальника в Военной коллегии; что он очень любим начальством за свою деятельность и сверх жалованья получает ежегодное награжденье. «Человек очень хороший, — прибавил Кобяков, — но престрашный чудак. Недавно женился на мещанке, дочери лавочника, которая принесла ему в приданое тот самый домишко, где он угощал нас, и тысяч пять рублей деньгами. Вот ему теперь и чорт не брат». — «Ну, а Хрунов что за птица?». — «Хрунов не только певец и плясун, но и главный полковой актер, отличавшийся в роли Самозванца.* Он из солдатских детей, служил унтер-офицером в Измайловском полку, теперь в отставке; поет, пляшет и составляет необходимую принадлежность вечеринок офицеров Измайловского полка и даже самого шефа этого полка, генерала Малютина.** Малой разбитной: его весело слушать».

Я не хотел возражать, потому что о вкусах не спорят.

3 мая, пятница.

Борис Ильич пригласил меня вчера на взморье поохотиться на уток. Я согласился единственно из любопытства, и от нечего делать, вовсе не считая на потешную охоту и не полагая, по словам самого

* Полковые спектакли на святках и на масленице бывали очень любопытны. Обыкновенно игрались трагедии и, чаще других, «Дмитрий Самозванец» — пьеса, преимущественно любимая солдатами. В ней можно было встретить иногда Ксению с усами и Георгия двух аршин тринадцати вершков ростом.

** Генерал-лейтенант Малютин и шеф лейб-гусарского полка, Андрей Семенович Кологривов, были известные bons vivants в русском духе. В тогдашнее время о них говорили: «Кто у Малютина пообедает, а у Кологривова поужинает и к утру не умрет, тот два века проживет». *Позднейшее примечание.*

Бориса Ильича, найти много дичи около берегов Финского залива: «Таскаешься, таскаешься целый день, да и убьешь чирка», — сказал он мне еще прошедшею зимою. Однако ж, на мое счастье, мы охотились довольно удачно: убили несколько пар разной дичи и поймали тюленя, а главное время провели не скучно.

После простого, но сытного обеда у доброго казначея мы сели в коллежский катер, запасшись графинчиком водки, несколькими бутылками квасу и холодною закускою, и отправились из коллежского дома по теченью Невы. Обогнув Васильевский остров и миновав Вольный и Крестовский острова, гребцы наши поставили парус и не более как в час времени достигли того места на берегу залива, где обыкновенно останавливается Борис Ильич для охоты и где построил он на свой счет шалаш, стоивший ему «около семи рублей». По выходе из катера мы прошли сажен двести вдоль по берегу и засели в кустах ожидать приближенья к нам уток, которых множество плавало по заливу, но так далеко, что выстрелы наши долететь до них не могли, и, вероятно, пришлось бы нам долго дожидаться их приближенья, если б, по счастью, другие охотники, разъезжавшие на лодках и елботах по взморью, выстрелами своими не прогнали птиц под самые наши выстрелы. Я убил двух уток, а Борис Ильич и один из гребцов застрелили по одной. Бывшая с нами лягавая собака очень ловко перетаскала их из воды на берег; но тут между нами возникло недоразуменье: в числе четырех убитых птиц находилось два нырка, которыми пренебрегают охотники по их отвратительному рыбному запаху: кто убил этих нырков, по которым добрые охотники даже и не стреляют? Разумеется, вся вина пала на меня, потому что, видишь, я «не здешний и петербургская орнитология мне незнакома»; а так как для меня это было совершенно все равно, то я охотно и согласился быть виноватым. Вскоре поднялась еще ватага уток со взморья и пролетела почти над нашими головами; мы дали залп и еще три птицы повалились к ногам нашим — все они были хорошего сорта. Возвращаясь из нашей засады к катеру, Борис Ильич, к великому своему удовольствию, застрелил пару куличков, а я дрозда, который на беду свою порхал над кустарником.

На обратном пути, заметив, что у одного из заколов на взморье стоял катер и закидывалась тоня, мы подъехали к нему, любопытствуя узнать, начался ли улов лососей, как вдруг с плота послышался голос: «Это вы, Борис Ильич? Откуда?». — «А! это вы, Матвей Григорьич? Вы как здесь очутились?». — «Да вот видите: плотно пообедали и трохи подгуляли, так приехали поосвежиться. Вы с охоты?». — «С охоты и довольно счастливой: парочкой уточек и вам служить будем». — «Благодарим на приязни; а вот мы четвертую закидываем — ни молявки». — «Так и быть должно: лососкам пора еще не пришла». — «Да выйдьте к нам, Борис Ильич, на стаканчик шампанеи. Кто там еще с вами?». — «Приятель-сослуживец: я сегодня охотился его счастьем.» — «Ну, так милости просим; авось его счастьем и нам попадется что-нибудь».

Мы взошли на закол; нам тотчас же поднесли по стакану шампанского и подали в корзине хлеба, сыру и ветчины для закуски. Вечер был тихий и ясный. Все взморье представляло вид огромного, гладкого зеркала. Не умею выразить, как подействовало на меня это очаровательное однообразие необозримой массы вод и эта, ничем почти не возмущаемая, тишина. В первый раз в жизни удалось мне видеть такую картину. . .

«А что, Борис Ильич, не закинуть ли нам тоню на счастье вашего сослуживца?», — сказал Матвей Григорьевич, и потом, обратившись ко мне, спросил: «Позволите?». Я отвечал, что готов поделиться с ним своим счастьем, но прежде желал бы испытать сам удачи и закинуть тоню собственно для себя. «Ну, так с богом! прежде вам, а после нам».

Между тем рыбаки вытащили закинутую уже тоню, в которой ничего не нашлось, кроме двух или трех мелких корюшек, и немедля стали завозить невод для меня. Покамест продолжалась эта завозка, Матвей Григорьевич потчевал опять шампанским, до которого, кажется, был большой охотник, и, наконец, приказал поставить самовар, спросив предварительно: «Не позабыли ли взять с собою рому?». — «Все есть, — откликнулся бойкий малый лет двадцати, — и ром, и водка; ничего не забыли». — «Ин ладно!».

Но вот рыбаки начали выбирать на плот мою тоню и что-то перешептываться между собою. Я спросил их, о чем говорят они. «Да что-то не в меру тягостно. Лососкам лову большого нет: попадется один, много два; думаем: не осетр ли?». Услышав об осетре, все бросились к неводу и с любопытством стали ожидать выгрузки мотни с возвещенным осетром. Однако ж общие ожидания не сбылись, и «на счастье» мое вытащена была не красная рыба, а серый, прежирный тюлень.

Все захохотали, но я вовсе не тужил: во-первых, я рад был случаю увидеть тюленя, о котором только по картинкам имел некоторое понятие; а во-вторых, хотя бы и осетр был пойман, то все же он, по принятому правилу, должен был принадлежать не мне, а хозяину закола.

Последняя закинутая тоня была на мое счастье, но в пользу Матвея Григорьевича, и на этот раз он не имел причины жаловаться на неудачу: вытащили довольно разной рыбы: сигов, окуней, ершей и, между прочим, двух угрей, которых я также прежде не видывал. Старые приятели разделили тоню между собою и, после двух-трех стаканов пунша, мы отправились по домам, потому что был уже первый час ночи.

Дорогой спросил я Бориса Ильича, кто такой этот Матвей Григорьич и с кем он был на тоне. «Это известный Валежников, — отвечал он, — имеющий дела с Комиссариатом и Провиантским департаментом, большой приятель Перетца, а товарищи его, кажется, комиссариатские или провиантские чиновники; он человек очень хороший и знает свое дело». — «А кто ж такой Перетц?». — «Перетц — богатый еврей, у которого огромные дела по разным откупам и подрядам и особенно по перевозке и поставке соли в казенные магазины».[1] — «Ну, — подумал я, — это должен быть именно тот, о котором говорят: где соль, тут и перец».

4 мая, суббота.

Сейчас от Александра Львовича. Удивительный человек! С ним время проходит незаметно. Застал у него Бантыша-Каменского,[2] обыкновенного его спутника в утренних прогулках, и плешивого

Константинова, который считается последнею отраслью великого Ломоносова. Александр Львович сетовал, что нынешний год корабли с устрицами опоздали, потому что Нева вскрылась слишком поздно. «Да уж мне эта Нева! — подхватил Константинов, — я проиграл в Английском клубе два заклада на нее, проклятую; осенью держал пари, что она станет не прежде 4 ноября, а нынче, великим постом, что вскроется прежде 20 апреля, и, к несчастью, не случилось ни того, ни другого. Кто ж мог предвидеть, что эта капризница в первом случае поспешит, а в другом опоздает? Я так несчастлив, что на беду мою изменяются и самые законы природы».

Вскоре приехал Павел Михайлович Арсеньев, поклонник Крюковского, и стал уверять при всех, что его трагедия «Пожарский», которая будет представлена на театре в конце этого месяца, первая трагедия в свете. Некстати было возражать ему, а, признаюсь, сердце порывалось на спор, потому что Павел Михайлович хотя и добрый человек, но городит ахинею, как пьяный школьник.

Александр Львович сказал мне: «Je crois que vous êtes accablé d'affaires du Collège». Я отвечал, что по службе решительно никакого дела нет, но занимаюсь литературою, а иногда хожу в театр, и, если б позволял карман, то ходил бы ежедневно. Это заметил я с тем намерением, что не вызовется ли он предложить мне даровой вход в театр на порожние места; но его высокопревосходительство догадаться не изволил.

Сегодня очередной вечер Хвостова. Удивляюсь, как он опять по какому-нибудь случаю не отказан. Не знаю, какие стихи заставит меня читать Гаврила Романович: «Барды» или «Осень». Ему нравятся «Барды», но мне они вовсе не по душе, и, право, совестно читать их; а делать нечего: сам кругом виноват.

5 мая, воскресенье.

Вчерашний литературный вечер А. С. Хвостова был последним из литературных вечеров, и до осени их более не будет. Гаврила Романович уезжает в свою Званку, на берега Волхова, и хочет на досуге заняться стихотворным описанием сельской своей жизни. «Лира мне больше не по силам, — говорит он, — хочу приняться

за цевницу». Но, кажется, что он только так говорит, а думает иначе, и при первом случае не утерпит, чтоб опять не приняться за оду: как бы человек в силах ни ослабел, он не может идти наперекор своему призванию. «Chassez le naturel, il revient au galop».[1]

Я несколько опоздал к чтению и вошел в гостиную, когда оно уже началось. А. С. Шишков читал какую-то детскую повесть, одну из многих, приготовленных им к изданию и составляющих продолжение к изданным уже в прошедшем году. Разумеется, не было конца похвалам повести, а еще более намеренью автора; последнее точно стоит доброго ему спасиба от всех честных людей. Каково бы ни было достоинство повести в литературном отношении, о котором, впрочем, я ничего сказать не могу, потому что слышал ее только вполовину, но, признаюсь, нельзя было без особого уважения смотреть на этого почтенного человека, который с такою любовью посвящает труды свои детям.

За этим князь Шихматов читал свое подражание восьмой сатире Буало.* Все удивлялись, что Шихматов вдруг сделался сатириком, потому что этот род поэзии не свойствен его таланту. Однако ж сатира его имеет свои достоинства и по мыслям и по языку. Преудивительный человек этот Шихматов! Как я ни вслушивался в рифмы, но не мог заметить ни одного стиха, оканчивающегося глаголом. Особый дар и особая сила слова! **

Нынче, видно, мода на сатиры: вот уж четвертая, которую удается мне слышать: Горчакова, Шаховского, Марина и, наконец, Шихматова.

После чаю Крылов попотчевал нас баснею «Медведь и Пустынник»; это перевод из Лафонтена; но какой перевод! прелесть! стоит оригинала. Медведь у него совершенно живой:

---

* De tous les animaux qui s'élèvent dans l'air, Qui marchent sur la terre, ou nagent dans la mer, и проч.

** Так прежде казалось автору «Дневника», и он сознается, что удивление его было безотчетно и неосновательно. Это литературный фокус-покус — одна побежденная трудность и не заключает в себе большого достоинства. *Позднейшее примечание.*

. . . Завидя муху,
Увесистый булыжник в лапы сгреб,
Присел на корточки, не переводит духу
И думает: постой, вот я тебя, воструху! [1]

А как читает этот Крылов! внятно, просто, без всяких вычур и, между тем, с необыкновенною выразительностью; всякий стих так и врезывается в память. После него, право, и читать совестно.

Собеседники делали ему множество комплиментов и между прочим чрезвычайно хвалили комедию его «Урок дочкам». Лабзин заметил, что, кроме нравственной цели, которую Крылов умел развить с таким искусством в своей комедии, в ней, как в пьесах Мольера, есть величайшее достоинство совершенного отсутствия самого автора и что он умел избежать этого нестерпимого притязанья наших комиков на острословье, которым они желают выказываться сами, тогда как надобно выказывать характеры своих персонажей. «Жаль одного, — сказал он, — что комедия „Урок дочкам“ не написана стихами: тогда была бы она еще совершеннее».

«А почему ж бы она была совершеннее? — возразил прозаик И. С. Захаров, — ничего не бывало: эта комедия, хотя она и в одном действии, имеет все достоинства des pièces de caractère и легко обойдется без стихов, которыми нужно только скрашивать les pièces de circonstance, по ничтожности их содержания и характеров действующих лиц».

«А потому, — подхватил Карабанов, — что острое слово в стихах скорее врезывается в память и поступки людей разительнее представляются в стихах, нежели в прозе».

«Избави нас бог, — сказал Шишков, — от острословия в комедиях, которое годится только для эпиграмм. Надобно, чтоб комедия возбуждала смех положением действующих лиц, а не остротами. Возьмем в пример хоть бы сцену из «Модной лавки» Ивана Андреича, когда провинциал-муж находит в шкапу модного магазина, вместо предполагаемой в нем контрабанды, старуху, жену свою: в этой сцене нет ни одной остроты, а она заставляет хохотать от всей души. Но вот и другой пример. В первой сцене комедии Павла Иваныча

Сумарокова „Деревенский в столице“, которую он читал мне на прошлой неделе, слуга на замечание помещика, что Петербург очень изменился с тех пор, как они его не видели, отвечает: „И сколько желтых домов! не пересчитаешь“. Вот, пожалуй, и острота, а смеха не производит».

Наконец заставили читать меня. Гавриле Романовичу хотелось, чтоб я прочитал «Бардов», но я извинился, что наизусть их не помню, и прочитал «Осень», однако ж не без робости. На диване против меня сидел человек, которого я видел в первый раз, — пожилой генерал с двумя звездами, с живой умной физиономией и насмешливой улыбкой: это был известный остряк и знаменитый рассказчик Сергей Лаврентьевич Львов, приехавший к хозяину невзначай и, кажется, очень довольный тем, что нашел у него литературное собрание. Львов устремил на меня выразительный взгляд и заставил сконфузиться: я читал плохо, спешил и заикался, однако ж стихи мои, кажется, понравились; впрочем, мудрено было бы им и не понравиться после таких стихотворений, каковы, например, «К трубочке», «К пеночке», «Видение», «К Честану» и проч.; в моих, по крайней мере, есть воображение, чувство и чистота слога. * Да здравствует Москва! [1]

Губернатор Львов спросил меня: не родня ли мне бывший вятский губернатор Жихарев? Я отвечал, что он родной мне дед и, сверх того, крестный отец. «Так было бы вам известно, что я знавал его в моей молодости, когда он был полковником и командовал полком; а слыхали ли вы когда-нибудь об управлении его Вятскою губерниею и каким образом заставил он вятских лекарей оживить умершую купчиху?». Я объявил, что кое-что о том слышал от Николая Петровича Архарова.[2] «Прекурьезная история! — подхватил Гаврила Романович, — я был дружен с дедом С. П. в бытность мою губернатором в Тамбове и слышал об этом происшествии от него самого. Решительный был человек!».

За ужином Сергей Лаврентьевич не истощался в рассказах, и если б у меня память была вдвое лучше, то и тогда бы я не мог за-

* Автор «Дневника» просит извинения за нескромность юноши, но исправлять не намерен: еже писах, писах. *Позднейшее примечание.*

помнить половины того, что говорил этот в самом деле необыкновенно красноречивый и острый старик. То разъяснял он некоторые события своего времени, загадочные для нас; то рассказывал о таких любопытных происшествиях в армии при фельдмаршалах графе Румянцеве и князе Потемкине, о которых никто и не слыхивал; то забавлял анекдотами о причине возвышения при дворе многих известных людей и неприязненных отношениях, в которых они бывали между собою, и все это пересыпал он своими замечаниями, чрезвычайно забавными, так что умел расшевелить самих Державина и Шишкова, которые, кажется, от роду своего не смеялись так от чистого сердца.

Между прочим, на вопрос Шишкова, что́ побудило его отважиться на опасность воздушного путешествия с Гарнереном, Львов объяснил, что, кроме желания испытать свои нервы, другого побуждения к тому не было. «Я бывал в нескольких сражениях, — сказал он, — больших и малых, видел неприятеля лицом к лицу и никогда не чувствовал, чтоб у меня забилось сердце. Я играл в карты, проигрывал все, до последнего гроша, не зная, чем завтра существовать буду, и оставался так же покоен, как бы имея мильон за пазухою. Наконец, вздумалось мне влюбиться в одну красавицу полячку, которая, казалось, была от меня без памяти, но в самом деле безбожно обманывала меня для одного венгерского офицера; я узнал об измене со всеми гнусными ее подробностями — и мне стало смешно. Как же, думал я, дожить до шестидесяти лет и не испытать в жизни ни одного сильного ощущения! Если оно не далось мне на земле, дай поищу его за облаками: вот я и полетел. Но за пределами нашей атмосферы я не ощутил ничего, кроме тумана и сырости: немного продрог — вот и все».

Чиновник Неведомский, хромой пиита, над которым беспрестанно подтрунивали товарищи, называя его пиитом-Вулканом, получил неожиданно, по протекции И. С. Захарова, место с хорошим жалованьем и содержанием. По этому случаю он писал басню «Калека и скороходы» и, напечатав ее в небольшом количестве экземпляров, разослал по своим сослуживцам. Эта басня, в роде басен графа Хвостова, оканчивается следующим нравоучением:

Кому помощник бог,
Того ничто не отсторонит,
И будь он хоть совсем без ног,
А всё другого перегонит.

Захаров находит, что басня очень хороша.

6 мая, понедельник.

Сегодня был на первой репетиции «Пожарского» на сцене. Автор сидел вместе с князем Шаховским и Дмитревским и что-то очень был не в духе. Яковлев не играл, а говорил, а Шушерин даже и не говорил, а бормотал себе под нос. Одна Каратыгина читала свою роль как следует, хотя тихо, но со всеми изменениями голоса. Георгия играет воспитанник Сосницкий, прекрасный мальчик лет четырнадцати. Эта репетиция только для того, чтоб актеры узнали места свои, равно входы и выходы на сцену и со сцены.

По милости Дмитревского я познакомился с князем Шаховским. Он без церемонии приглашал меня к себе, сказав, что всякий вечер бывает дома и что я ежедневно найду у него кого-нибудь из литераторов и, между прочим, Крылова, который живет с ним в одном доме и даже стена об стену.

Князь Шаховской толст и неуклюж, однако ж ходит проворно. Вся фигура его очень оригинальна, но всего оригинальнее нос и маленькие живые глаза, которые он беспрестанно прищуривает; говорит скоро, пришепетывая, и, судя по тому, что́ говорит, надобно полагать, что любит подсмеяться. Не понимаю, как он может с своею фигурою и своим произношением преподавать правила трагической декламации: ученики его должны во время уроков помирать со смеху.

7 мая, вторник.

Был в немецком театре и насмеялся досыта: давали «Суматоху» — комедию Коцебу; Линденштейн в роли Herr von Langsalm и мадам Эвест в роли жены его уморительны; но, кроме того, какая верность в игре их и какая натура! Когда они на сцене, забываешься, что сидишь в театре. А как гримируется Линденштейн! Я понимаю,

что лысину и седины можно подделать париком, но претвориться в беззубого человека, когда у него ряд здоровых белых зубов — этого не понимаю: не в карман же он их прячет!

После «Суматохи» играли маленькую комедию в двух персонажах «Die Beichte», которую Гебгард и мамзель Леве разыгрывают отлично. Оба молоды, оба хороши собою, оба развязны на сцене и объясняются тоном людей самого лучшего общества: слушая их, думаешь, что они говорят не по-немецки, а по-итальянски — так легко и непринужденно их произношение. Вообще, я очень доволен был моим вечером.

Заходил мой добрый хозяин Торсберг уговаривать меня остаться у него в доме, как будто бы мне самому этого не хотелось, и я переезжаю из каприза. Как быть! с силою обстоятельств не сладишь. Квартира, которую приготовили для меня услужливые Харламовы, вовсе не по моему вкусу: шесть комнат, из которых одна большая зала с балконом; половину этих комнат, неопрятных и даже грязных, с ветхим полом и дребезжащими окончинами, я должен буду запереть, потому что мебели у меня недостаточно, а покупать ее не на что. Впрочем, унывать нечего: все впереди!

Если б случилась скоро аказия, пришли мне одного из Дураков моих. Я никогда не чувствовал такой нужды в товарище, как теперь, и буду ждать его с нетерпением.

9 мая, четверг.

Вчера вечером я был у князя Шаховского. Он живет у Синего моста, в доме Гунаропуло, на углу Большой Морской. Меня встретил высокий лакей, довольно засаленный, которого, как я после узнал, зовут Макаром. «Дома ли князь?». — «Никак нет-с, он во французском театре, но сейчас приедет; пожалуйте: Катерина Ивановна у себя».[1] Я вошел. Женщина небольшого роста, худощавая, лет 24, сидевшая на диване за каким-то шитьем, встретила меня очень приветливо, спросив: «Что вам угодно?». Я сказал ей свое имя, прибавив, что князь приглашал меня к себе на репетиции «Пожарского», назначив время по вечерам, в которые, по словам его, обыкновенно бывает дома. «Ах, батюшки! да он вас дожидался

еще на другой день репетиции! — заговорила вдруг Катерина Ивановна (это была она), так громко и нецеремонно, как будто мы с нею целый век были знакомы, — ведь вы пишете стихи и сочинили трагедию, которую Петр Николаич очень хвалит». — «Правда, что я пишу стихи и сочинил трагедию, — отвечал я, — но такую, которая, по мнению знающих людей и по собственному моему убеждению, не может быть представлена на театре, и Кобяков в этом случае сказал наобум, потому что он даже и не читал ее». — «О! да, да! он ничего не смыслит и только побирается стишками. Вот намедни пристал к князю: сочини ему стихи в его оперку, которую он перевел с французского, „Les amants Protées“; вообразите, с бессмыслицей для роли Самойлова сладить не мог;* а когда есть время князю заниматься таким вздором? Вы не поверите, как он занят: так занят, что не имеет часу свободного времени. Петр Николаич у нас почти всякий день, приносит разные новости, в которых и половины нет правды; а впрочем, он прекраснейший человек».

Я узнал моего друга; но узнал также, что Катерина Ивановна любит поговорить.

Между тем князь Шаховской возвратился из театра вместе с Павлом Михайловичем Арсеньевым. Последний тотчас с великою радостью объявил Катерине Ивановне, что Матвей Васильевич (Крюковской) вслед за ними едет. Князь обласкал меня и просил быть у него без церемоний. «Только мне и отрады, — примолвил он, — что по вечерам дома с людьми грамотными».

Вскоре приехал Крюковской и за ним князь Иван Алексеевич Гагарин, покровитель Семеновой. «Теперь все налицо, Катенька, — сказал князь, — как бы чаю?». — «Ивана Андреича еще нет», — отвечала она и тотчас послала сказать Крылову, что чай готов.

Мы уселись вокруг большого круглого стола, а Шаховской с Гагариным развалились на диване и закурили трубки. Крылов

---

* Во светлой мрачности блистающих ночей
Явился черный блеск от солнечных лучей;
Ужасный слышу гром в молчанье непрерывном. . .
Спокоен был и весь от страха трепетал. . .
Закрыл свои глаза и с быстротой взирал, и проч., и проч.

(«Оборотни», опера в одном действии).

не замедлил явиться и сел на креслах в углу у печки. «Спасибо, умница, что место мое не занято, — сказал он Катерине Ивановне, — тут потеплее».

Арсеньев завел речь о «Пожарском» и начал хвалить автора на чем свет стоит: чего-чего он ни наговорил ему! что он первый-то у нас драматический писатель; что трагедия его — первая современная трагедия в целом свете; что на нем одном теперь сосредоточены надежды всех любителей драматической поэзии и проч. и проч. Крюковской краснел и молчал, Крылов улыбался, князь Гагарин очень серьезно и с удивлением посматривал на своего приятеля, который осмеливался так превозносить пьесу, в которой не было роли для Семеновой; но князь Шаховской не выдержал и вспыхнул, как фейерверк: «Да помилуй, братец Павел Михайлыч! откуда ты вдруг набрался такой премудрости, что выдаешь себя за оракула драматической поэзии и уверяешь автора в том, в чем он и сам, по совести, сознаться не может. Бесспорно, пьеса Матвея Васильича имеет свои достоинства; но чтоб она была первою пьесою в свете, так это, голубчик, вздор; а то еще и пущий вздор, чтоб один только автор ее был надеждой и опорой русской сцены. Не говоря о других, куда ж ты девал Озерова?».

«Ну, это только так говорится», — отвечал Арсеньев.

«Говорится? — возразил князь Шаховской, — а зачем же на вечерах у Марьи Алексевны проповедуешь ты эту чепуху барыням и барышням, которые ни бельмеса не смыслят в нашей драматической поэзии? Ты сказал, а они повторять пошли: на русском театре ничего-де путного нет, кроме трагедии „Пожарский“. И вот пирог испечен, мнение готово! Нет, любезный, прямо просишься в мою сатиру или в комедию Ивана Андреича».

«Знаешь ли, князь, отчего наш Арсеньев так пристрастен к трагедии Матвея Васильича, которой, впрочем, я сам отдаю полную справедливость, хотя и не знаю, какой она будет иметь успех на сцене? Оттого что он в жизни своей не читал никакой другой пьесы, а эту как-то удалось ему выучить наизусть. Не правда ли, Павел Михайлыч?».

Арсеньев засмеялся.

«Смейся или нет, что правда, то правда, — продолжал князь Гагарин, — ну-ка назови еще трагедию или комедию, которую бы ты читал когда-нибудь».

Арсеньев признался, что он точно не читывал ни одной театральной пьесы, но зато по страсти к театру все их пересмотрел на сцене.

В одиннадцать часов заехал за князем Гагариным граф Василий Валентинович Мусин-Пушкин, очень толстый, но приятной наружности человек, с открытым лицом и добродушною физиономиею; он большой любитель спектаклей французского и русского и ежедневно бывает в одном из них. «Или сегодня у тебя неприсутственный день, — спросил он князя, — что ничего не читают?». — «Да еще не размололись, — отвечал Шаховской, — и вместо пролога бранимся пока с Арсеньевым».

Между тем Крюковской подсел к столику, на котором Катерина Ивановна разливала чай, и тихомолком болтал с нею. Из всего, что они говорили, я мог только расслышать несколько слов: «И сегодня были?». — «Были утром». — «Хорошо читает?» — «Прекрасно; князь очень доволен». — «А чем дебютирует?». — «Кажется, Дидоной или Пальмирой». — «Как жаль, что я не был!».

«А ты не слыхал, — сказал князь Шаховской графу Пушкину, — что Крылов написал новую басню, да и притаился, злодей!» (с этим словом он вдруг вскочил с дивана и поклонился в пояс Крылову). «Батюшка Иван Андреич, будьте милостивы до нас бедных — расскажите нам одну из тех сказочек, которые вы умеете так хорошо рассказывать». Шаховской пародировал сестру Шехеразады.

Крылов засмеялся, а когда смеется Крылов, так это недаром: должно быть смешно. Он придвинулся к столу и прочитал новую свою басню «Оракул»:

> В каком-то капище был деревянный бог
> И стал он издавать [1] пророчески ответы, и проч.

Собеседники слушали с величайшим удовольствием и заставили автора повторить заключение. Странное дело: мы слышали басню в первый раз, а почти все знали ее уже наизусть.

После Крылова читал князь Шаховской начало комической своей поэмы «Расхищенные шубы». Содержание основано на происшествии, случившемся прошедшею зимою в немецком, так называемом Шустер-клубе: пьяный швейцар во время бала перепутал шубы и салопы приезжих гостей, отчего при разъезде, произошел беспорядок — вот и все тут! Но князь Шаховской умел опоэтизировать анекдот: в его стихотворной шутке много мест, достойных Буало, поэме которого (Le Lutrin) он, по словам его, подражать хотел. Каково-то будет продолжение, а начало, нечего сказать, прекрасно. Совет старшин клуба описан мастерски, и некоторые из них дышат жизнию:

Сам мастер гробовой Фрейтодт с умильным взором,
С улыбкой радостной, как будто перед мором! [1]

«Но скажи, пожалуйста, князь, — спросил граф Пушкин, — когда ты находишь время сочинять что-нибудь? По утрам у тебя должностной народ, перед обедом репетиции, по вечерам всегда общество, и прежде второго часа ты не ложишься — когда ж ты пишешь?».

«Он лунатик, граф, — с громким смехом подхватила Катерина Ивановна, — не поверите: во сне бредит стихами! Иногда думаешь, что он тебе что-нибудь сказать хочет, а он вскочил да и за перо, прибирать рифмы!».

Мы расхохотались, и сам князь Шаховской также.

Граф Пушкин с князем Гагариным уехали к княгине Голицыной, проименованной la princesse Nocturne, потому что она не принимает у себя ранее полуночи и ночи превращает в дни; [2] Крылов ушел спать, а, наконец, и Арсеньев с идолом своим Крюковским отправились по домам. Я также хотел откланяться, но князь Шаховской настоял, чтоб я с ним ужинал. Мы остались болтать втроем. Я рассказал ему о моей праздной службе, о моих занятиях и о страсти моей к театру, прочитал ему несколько сцен из «Артабана» и передал слово в слово отзыв о нем Дмитревского, которым он так сконфузил меня в бытность мою у него в первый раз. Князь Шаховской очень смеялся, Катерина Ивановна еще больше; но результат моей бол-

товни был для меня неожиданно счастлив: с величайшим добродушием князь предложил мне ходить во все театры, отныне навсегда, бесплатно в его кресла, которые он сам никогда не занимает, находясь всегда за кулисами.

Вот оно что! Теперь не для чего мне справляться с карманом и разбирать спектакли: ступай в любой и, сверх того, в кресла!

10 мая, пятница.

Гаврила Романович уезжает завтра и что-то очень невесел; впрочем, говорят, что он и всегда таков перед отъездом, потому что не любит суеты, неразлучной с сборами в дорогу. Мне жаль сердечно старика: прощанье с ним навело меня на грустные размышления об одиночестве, которое ожидает меня до будущей осени: кажется, что без него я совсем осиротею; из ближайших моих знакомых остаются одни только обитатели павильона, добрые благородные люди; но что у меня общего с ними? Вкусы наши различны, образ мыслей неодинаков, и к тому же, кроме времени обеда, они все в рассеянии: то сидят по своим камерам, то странствуют по знакомым. По благосклонности князя Шаховского, вечера мои теперь могут быть приятно заняты, но прежде вечеров есть долгие дни. . . Поневоле вспомнишь милую толстуху Александру Васильевну, которая так умно и живо описывала мне скуку одинокой жизни!

В нашей Коллегии толков не оберешься: боятся, чтоб кампания не была неудачна. Говорят, что государь весьма недоволен союзниками, в особенности Англиею, и если б не увлекался сверхчеловеческим своим великодушием, то предоставил бы Англию и Австрию судьбе их. Достойно замечания, что превосходно составленный самим государем план разбить корпус Нея уничтожен внезапно ложным известием, сообщенным государю лично самим главнокомандующим, что Бонапарте со всеми силами пришел на подкрепление Нея, тогда как он находился далеко и ничего не знал об опасности, предстоящей Нею. Трудно поверить, чтоб генерал Беннигсен имел таких негодных и неверных шпионов; однако ж в высшем кругу не сомневаются в справедливости этого события.

Утверждают также, что граф Николай Иванович Салтыков наднях вечером у себя открыто говорил, будто бы граф Н. П. Румянцев представил государю, перед отъездом его в армию, записку, в которой объяснил, что он не надеется ни на какое решительное нам содействие со стороны Англии и Австрии в продолжение сей войны и что каким бы отъявленным врагом ни был нам Бонапарте, но никогда не может причинить нам столько зла, сколько причинит его Англия своею лицемерною дружбою и обещаниями, никогда не исполняемыми. Прибавляют, что государь с благоволением и даже признательностью изволил принять эту записку к своему соображению.

11 мая, суббота.

Во французском театре давали «Тартюфа» и оперу «Продажный дом» (La maison à vendre); обе пьесы шли превосходно и в особенности первая. Тартюфа играл Ларош; Оргона — Дюкроаси, брата его, резонера — Деглиньи,[1] служанку — мадам Туссен-Мезьер и Эльвиру — мадам Вальвиль, которая менее всех понравилась мне: она бесспорно играет хорошо, говорит правильно и читает стихи как нельзя лучше, но уж слишком невзрачна собою, и в игре ее есть что-то угловатое, похожее на игру немецких актрис, представляющих светских женщин. Небольшую роль мадам Пернель занимала мадам Меес и очень комически ее исполнила. Не знаю отчего Ларош принял на себя роль Тартюфа? Эта роль принадлежит к амплуа слуг, la grande livreé, и на французском театре в Париже играют ее только актеры, принадлежащие к этому амплуа. Правда, бледная и тощая фигура Лароша очень идет к роли иезуита-лицемера, но между тем находится в совершенном противоречии с наружностью того Тартюфа, которого изобразил Мольер, то есть цветущего здоровьем, тучного и сластолюбивого; а из этой то противоположности фигуры бузника с лицемерным смирением и проистекает весь комизм положений действующих на сцене лиц; иначе комедия «Тартюф» была бы печальной драмой, потому что содержание ее чисто драматическое.

Дюкроаси роль Оргона играл в совершенстве. Как естественно забавны были его расспросы о здоровье Тартюфа: «et Tartuffe?

le pauvre homme!», и с каким комическим нетерпением возился он под столом при объяснениях Тартюфа с Эльвирою! Но когда, выведенный из терпения наглостью подлого пройдохи, он вылез из-под стола и прежде, чем начал говорить, стал одними знаками изъяснять свое негодование, тут надобно было видеть Дюкроаси: черты лица его изменились, глаза чуть не выкатились вон, все мускулы трепетали, и он, задушаемый негодованием, казалось, искал и не находил слов для выражения своей ярости; тут был он в высшей степени превосходен, и я, право, не знаю, кому отдать преимущество: ему или Рыкалову в сцене, когда он, избитый Скапином, вылезает из мешка? Здесь сравнение в сторону — оба великие актеры!

Говоря о роли Оргона, кстати привесть анекдот, рассказанный мне самим Дюкроаси. Знаменитый Десессар, лучший актер своего времени для ролей à manteaux, был огромного роста, непомерно толст и неповоротлив. Играя роль Оргона, он с большим затруднением мог умещаться под столом и сцену стола почитал величайшим для себя наказанием, до такой степени, что желал передать роль свою младшему по нем в амплуа; но с французским партером шутить нельзя, особенно, когда дело касается до пьес Мольера: он ни за что не потерпел бы второклассного актера и безжалостно освистал бы его, да и Десессару досталось бы при первом его появлении. Однажды по какому-то случаю поставлен был на сцену не тот стол, под которым обыкновенно прятался знаменитый толстяк, а другой, несколько меньше, так что Десессар увяз в нем, и когда надобно было вылезать из-под него, он ни под каким видом не мог освободиться от своей западни и должен был таскать ее за спиною по крайней мере несколько минут в продолжение сцены. Десессар оставил по себе славную память в лесажевом «Тюркарете».

В опере «La maison à vendre» всех лучше была мадам Филис-Андриё, а за нею Меес, Сен-Леон и Клапаред. Сам Андриё, игравший главного повесу, очень развязен на сцене; но, кажется, его губят претензии и, как мне сказывали, страсть слепо подражать знаменитому парижскому актеру-певцу Эльвиу. Этот платок в руках, которым он, вероятно, pour la contenance, беспрестанно машется и потирает себя по лбу, вовсе не кстати; но главное несчастье

Андриё — что он имеет жену, которая превосходством своим вовсе уничтожает его, и мсье Андриё без мадам Андриё был бы, конечно, более теперешнего любим публикою. Но как бы то ни было, опера шла бесподобно, à ravir. Во французском театре надобно более всего удивляться совершенству ансамбля; и если есть актеры одни лучше других, то можно решительно сказать, что дурного нет ни одного.

Признаюсь, я очень обрадовался, когда при входе в кресла капельдинер, спросив мою фамилию, не только пропустил меня без всяких возражений, но даже с великою учтивостью указал мне кресла князя Шаховского; иначе объясняться с ним при публике было бы очень неловко. Спасибо доброму князю.

12 мая, воскресенье.

Наконец я увидел оперу «Князь-невидимка», о которой мне прожужжали уши. Это, вероятно, переделка какой-нибудь французской волшебной оперы, «opéra féerie», которую, однако ж, г. Евграф Лифанов назвал печатно собственным своим сочинением. Но пусть будет она чем бы ни было, переводом или оригинальным сочинением, только надобно признаться, что это ужасная галиматья, перед которою «Русалка» ничего не значит; зато великолепие декораций, быстрота их перемен, пышность костюмов и внезапность переодеваний — изумительны. Музыка — сочинение капельмейстера Кавоса: она очень легка и приятна; мелодии остаются в памяти и особенно дуэт Личарды и Приягы, то есть Воробьева и Самойловой, «Коль назначено судьбою» — прелесть и до сих пор раздается у меня в ушах. В первый раз в жизни удалось мне видеть такой диковинный, богатый спектакль, в котором чего хочешь, того и просишь. Декорации большею частью кисти Корсини и Гонзаго. Это — настоящие чародеи; машинист не отстал от них и удивляет своим искусством: то видите вы слона, который ходит по сцене, как живой, поворачивает глазами и действует хоботом, то Личарда—Воробьев, не двигаясь с места, двенадцать раз сряду превращается в разные виды; то у Цымбалды вырастает сажен в десять рука, и все это делается так быстро и натурально, что не успеешь глазом мигнуть,

как превращение и совершилось. Говори, что хочешь и, пожалуй, называй все это глупостью и балаганными штуками, однако ж изредка взглянуть на эти штуки весело, когда они делаются отчетливо и особенно, когда находятся в соединении с такою прелестною живописью и очаровательною музыкою, сверх того оживляются игрою таких талантов, каковы Воробьев, Самойловы и Пономарев. Последний в роли Цымбалды уморителен: как он забавен на сцене, когда, маршируя перед своим отрядом инвалидов, вдруг громко командует: «берегись!» и, этим внезапным восклицанием перепугав свой отряд, а вместе перепугавшись сам, начинает толковать им, что слово «берегись» не значит: «берегись чего-нибудь», а есть только воинская команда. . . Виноват, я с удовольствием смеялся в «Невидимке» и пойду смеяться в другой раз.

Дирекция поставила «Невидимку» после двух первых частей «Русалки», которые несколько уж стали надоедать публике. В продолжение двух слишком лет, как дают эту оперу, театр почти всегда бывает наполнен, и казначей театра Петр Иванович Альбрехт, получивший недавно анненский крест, тогда как его не имеют еще ни Майков, ни князь Шаховской, предпочитает «Невидимку» всем трагедиям в свете, «Эдипам» и «Донским» в отношении к денежному сбору.[1] Но всему свой черед. Говорят, что декорации, костюмы и машины, приготовляемые теперь для оперы Крылова «Илья Богатырь», несравненно великолепнее всех тех, которые удивляют нас в «Русалках» и «Князе-невидимке».[2]

Вольтер не любил больших опер, хотя и сам сочинял их. Он называет оперу «областью овидиевых превращений». Это справедливо; но едва ли справедливо сказанное им вообще о больших операх, à grand spectacle: все великолепие опер с их декорациями, машинами, сотнею музыкантов и двумя сотнями всадников не стоит четырех превосходных стихов из трагедии.[3]

13 мая, понедельник.

Возвращаясь из Коллегии с Юшневским, встретили мы Петра Свиньина, который давно уж здесь и, так же как и я, бьет баклуши. Поговорив о прошлом московском житье-бытье и вспомнив о серена-

дах его под окнами Н. В. Бушуевой, он на прощанье просил нас сочинить ему немецкое письмо. «А ты не знаешь разве сам по-немецки?», — спросил его Юшневский. «Немного знаю». — «Что ж ты знаешь?». — «Gut morgen, küssen sie mich». — «И больше ничего?». — «Ни бельмеса». — «А к кому письмо и какого содержания?». — «Объяснение в любви к булочнице, что вон там, у Синего моста, в лавке сидит». — «Да ты влюблен, что ли?». — «Ни крошки». — «Для чего ж вся эта процедура?». — «Надобно же что-нибудь делать в Петербурге». — «Ну, так знаешь ли что? — порешил Юшневский, — двух твоих фраз очень достаточно для объяснения, а если прибавишь третью, то и успех несомнителен». — «Что ж написать? Пожалуйста, научи». — «Ich habe Geld». — «Спасибо!».

Свиньин сказывал, что получил письмо от брата своего Павла, находящегося при адмирале Сенявине, наполненное любопытными подробностями о наших моряках. В этом письме, между прочим, Павел Свиньин намекает, что скоро, может быть, мы услышим о сражении нашего флота с турецким, которое, кажется, должно произойти неминуемо и произошло бы уже, если б английский адмирал Дукворт захотел оказать нам какое-либо содействие; но бездействие и нерешительность англичан непостижимы. То же писал и полковник Манфреди к жене своей.

14 мая, вторник.

Судить о достоинствах и качествах человека единственно по одним его личным к нам отношениям — несправедливо. Иной, имеющий добрую душу и благородное сердце, бывает иногда нашим недругом и нам вреден; а другой, злой и бесчестный человек, может быть при случае нам доброжелателен и полезен. Все зависит от обстоятельств, в которых мы иногда находимся. Есть люди, которые часто говорят: «Что мне за дело, что такой-то поступает дурно с другими, но я люблю его, потому что он делает мне добро». Это чистый эгоизм. Если должно быть признательным, то должно быть и справедливым, и порядочный человек не в состоянии любить и уважать разбойника и вора за то, что он оказывает к нему благосклонность.

Эту идею намерен князь Шаховской развить в комедии, которой хочет дать название «Прекрасный человек» или другое, тому подобное, как там после придумает лучше. Он говорит, что характер главного лица этой комедии должен будет более или менее сходствовать с характером главного персонажа комедии «Le Philinte de Molière», сочинения известного революционера Fabre d'Eglantine.[1] Одно только опасение, говорит князь Шаховской, чтоб не сочли комедии моей подражанием Фабру, ставит меня в тупик; иначе бы я уж ее начал, потому что «Полубарские затеи» мои кончены, и я теперь на свободе перебиваю только мелочью. «Да, — подумал я, — хороша свобода!».

У Паглиновского познакомился я с статским советником И. А. Пукаловым, бывшим в начале нынешнего царствования обер-секретарем в Синоде. Кажется, он человек очень умный и веселый рассказчик, хотя по наружности и серьезен. Узнав, что я недавно из Москвы, он сказал мне, что у него в Москве есть несколько знакомых и назвал мне их по фамилиям, а в том числе и Вишневских. Когда же я заметил, что Вишневская мне родная тетка, то Пукалов объявил, что она была посаженой матерью у него на свадьбе, а потому мы можем с ним считаться почти свойственниками. Он очень обласкал меня и приглашал к себе, говоря, что ежедневно обедает у себя дома.

Между прочим Пукалов рассказал анекдот об одном калмыке, вышедшем в люди в последние годы царствования императрицы Елизаветы Петровны, слышанный им от Секретарева, камердинера князя Потемкина. Этот калмык, имевший привычку говорить всем «ты» и приговаривать: «я тебе лучше скажу», вел большую игру и по этому случаю втерся в общество людей знатных и, между прочим, к князю Потемкину, который вскоре привык к нему и любил играть с ним в карты. Однажды, понтируя с каким-то знатным молдованином против калмыка, князь Потемкин играл несчастливо и, разгорячившись на неудачу, вдруг с нетерпением сказал банкомету: «Надобно быть сущим калмыком, чтоб метать так счастливо». — «А я тебе лучше скажу, — возразил калмык, — что калмык играет, как князь Потемкин, а князь Потемкин, как сущий

калмык, потому что сердится». — «Вот насилу-то сказал ты л у ч ш е!», — подхватил, захохотав, великолепный князь Таврический.

Паглиновский говорит, что Пукалов очень богат и сверх того у него молоденькая и хорошенькая жена, бывшая воспитанница Петра Семеновича Мордвинова, брата адмирала, которая с своей стороны принесла ему в приданое около тысячи душ.[1]

15 мая, среда.

Я был сегодня обрадован внезапным посещением И. А. Дмитревского. Старик, по обыкновению своему, прибрел пешком и, войдя в комнату, тотчас спросил меня: «Не заняты ли вы, душа, чем-нибудь и не помешал ли я вам своим приходом?». Разумеется, я наговорил ему кучу вежливостей и так живо изъявил свою радость видеть его, что Дмитревский растаял от удовольствия и просидел у меня до десяти часов, попивая чай и рассказывая о многих происшествиях своей жизни. Я очень жалел, что неразлучный со мною надоедательный Кобяков перебивал его по временам неуместными своими вопросами; иначе он был бы, кажется, еще словоохотливее, потому что находился в самом веселом расположении духа.

Старик неисчерпаем в своих рассказах о французском театре и о многих театральных знаменитостях прежнего времени. Он попотчевал нас несколькими о них анекдотами и, между прочим, историею первого своего знакомства с актрисами Клерон и Дюмениль, весьма любопытною. «Первый визит мой был, — говорил Дмитревский, — к мамзель Клерон, потому что тогда она была в большой приязни с любимцем короля и другом Вольтера, маршалом Франции дюком де Ришелье, которого называли „le sultan de la Comédie Française" (после они поссорились). Она жила в улице Chaussée d'Antin и занимала довольно большой дом. Меня ввели в гостиную, убранную со всевозможным великолепием. На передней стене висел огромный портрет хозяйки дома в роли Медеи, писанный знаменитым Ванло, на другой — портрет какого-то немецкого маркграфа.[2]

Минут через пять вышла ко мне молодая девица, лет восьмнадцати, высокая, стройная, черноволосая, довольно смуглая, но с необыкновенно выразительным лицом и огненными глазами; это была девица Рокур, ученица г-жи Клерон и впоследствии знаменитая актриса. Она объявила мне, что мамзель Клерон занята очень нужным делом и извиняется, что принуждена заставить меня ждать ее несколько минут. Разговаривая с девицею Рокур, я и не заметил, как протекли эти минуты, и вот отворилась дверь и показалась сама хозяйка, разряженная в пух, в платье с шлейфом и в фижмах, с высокой прической à la corbeille, набеленная, нарумяненная и с мушкою на левой щеке, что означало на модном языке того времени: неприступность. Девица Клерон была роста чрезвычайно малого, но держала себя очень прямо и походку имела важную, величественную. Лицо ее было несоразмерно велико против ее статуры (собственное выражение Дмитревского), но черты лица были правильны: римский нос, глаза большие, хорошо врезанные и выразительные, зубы белые и ровные, которыми, казалось, она щеголяла; а руки — совершенство в своем роде: таких рук никогда не случалось мне видеть; но зато телодвижения ее были несколько принужденны, guindés. Не говоря еще с нею, я успел заметить, что она была пресамолюбивая кокетка. И в самом деле, посадив меня на табурет (на кресла сажала она только самых почетных гостей), она ни с того, ни с другого начала говорить о своих связях, о своих успехах на театре, о влиянии, которое она имеет на своих товарищей (sociétaires), о совершенном преобразовании сцены и театральных костюмов, ею задуманном и исполняемом Лекеном по ее плану и указанию; что настоящее ее амплуа роли принцесс (des grandes princesses), как то: Медеи, Гермионы, Альзиры, Пальмиры, Аменаиды, Роксаны, Электры и проч., и что роли цариц и матерей предоставила она бедной Дюмениль, которая исполняет их кое-как (à cette pauvre femme Dumesnil, qui s'en acquitte cahin-caha) и проч. и проч. Об искусстве, собственно, ни слова и ни слова также о предметах, писанных ей в поданном мною рекомендательном письме, которое она пробежала мельком, примолвив: „c'est bon“. Затем распространилась она о девице Рокур и Лариве, кото-

рых театральное образование приняла на себя, и жаловалась на недостаток их способностей и непонятливость, leur manque d'intelligence (Рокур и Ларив непонятливы и без способностей!), но изъявляла надежду, что неимоверные труды ее, настойчивость и средства, придуманные ею к передаче ученикам своим всех тайн искусства, со временем увенчаются успехом. Словом, я вышел от Клерон, не слыхав ничего другого, кроме похвал ее самой себе и, крайне недовольный сделанным ей визитом, отправился к Дюмениль в улицу Marais, где она жила в небольшой квартире третьего этажа. Я позвонил; меня встретила женщина лет за сорок, которую я принял за кухарку: растрепанная, в спальном чепце набекрень, в одной юбке и кофте нараспашку, с засученными рукавами; в передней две женщины полоскали какое-то белье; на окошке облизывался претолстый ангорский кот, и вот какая-то паршивая собачонка с визгом бросилась мне под ноги. Я отступил, полагая, что ошибся нумером квартиры и зашел к какой-нибудь прачке: „Pardon, madame, mais j'aurais désiré de parler à m-lle Dumesnil“. — „C'est moi, monsieur, — отвечала прачка, — qu'y a t'il pour votre service?“. Я остолбенел! „Il y a, madame, que j'ai une lettre de recommandation pour vous et je suis bien heureux de parler à la célèbre tragédienne“. Она взяла письмо, мигом пробежала его и бросилась обнимать меня: „Comment, c'est vous, monsieur! mais savez-vous que je suis enchantée de vous voir? J'ai été prévenue de votre visite et je vous attendais. Oh! comme je vous attendais! Mais c'est véritablement un plaisir pour moi que de faire connaissance avec un homme d'un aussi beau talent (в рекомендательном письме я был расхвален на чем свет стоит) comme vous, et qui en même temps désire de s'instruire pour être utile à son pays. Tenez, je vais vous donner tout de suite un billet pour le spectacle de demain“. С этим словом побежала она в какую-то темную каморку, притащила пребольшой ящик, выхватила из него несколько билетов и, подавая их мне, продолжала: „Voici pour vous et vos amis si vous en avez. Je joue «Mérope». Je la joue bien et je la jouerai encore mieux en votre honneur: vous serez content de moi. En attendant, pardon, je suis dans mon jour de ménage. N'oubliez pas, que tous les jours depuis midi

jusqu'à l'heure du spectacle je suis chez moi pour tout le monde, mais vous particulièrement, vous me trouverez à toutes les heures du jour le matin comme le soir, et j'éspère que nous causerons souvent et suffisamment; ah, nous causerons bien, n'est-ce pas? Bon jour!". С последним словом она только что не вытолкала меня за дверь. Этот бесцеремонный, радушный прием восхитил меня до чрезвычайности. Дюмениль была женщина более нежели среднего роста, довольно плотная, с доброю, подвижною физиономиею, имела сильный, звучный и вместе приятный орган, достигавший до сердца, говорила быстро, и заметно было, что она говорила только то, что чувствовала: все движения ее были просты и натуральны, хотя и не отличались величавостью; но, увидев на сцене Дюмениль, забудешь о величавости. Я изучал ее в ролях Меропы, Клитемнестры, Семирамиды и Родогуны: игра безотчетная, но какая игра! Это непостижимое увлечение: страсть, буря, пламень! Подлинно великая, великая актриса! Ее упрекали в недостатке благородства на сцене и уверяли, что она придерживалась чарочки; но бог с ней! Без недостатков и слабостей человек не родится; надобно довольствоваться и тем, если в нем сумма хорошего превышает сумму дурного; а недостатки в Дюмениль в сравнении с высокими ее качествами — капля в море».

Мы заслушались Дмитревского и были так нескромны, что просили его рассказать нам что-нибудь о Лекене, с которым в Париже он был короче знаком, нежели с другими актерами, и которого изучал так прилежно; но старику пришла пора отправляться домой. Он оставил нас, дав слово при первом свидании рассказать многие подробности о жизни и трудах Лекена, которого не иначе называет, как великим гением. «Нельзя вообразить себе, душа, — сказал он, прощаясь со мною, — какая непостижимая сила таланта и железной воли заключалась в прекрасной душе этого Лекена, чтоб с такою энергиею он мог преодолеть все препятствия, которые в продолжение двадцативосьмилетнего сценического его поприща расставляли ему на каждом шагу зависть, интрига и даже преследование многих знатных покровителей некоторых актрис, одаренных больше красотою, нежели талантом».

16 мая, четверг.

Манфреди * пишет к жене от 3-го числа: «Il parait, que nous sommes à la veille d'une bataille et j'éspère que l'issue en sera heureuse et glorieuse pour notre flotte. Quoiqu'il en soit, nous avons pleine confiance en la bonté divine, la sainteté de notre cause et les dispositions de notre brave et excellent Amiral, qui est adoré de tous ses officiers». Дай бог слышать добрые вести! Между тем известия из армии как-то замолкли: гвардейцы мало пишут, официальных сведений вовсе нет и любопытство публики час от часу возрастает.

На Малом театре давали «Мещанин во дворянстве» (Le Bourgeois gentilhomme). Рыкалов в роли Журдана или Журдена был превосходен. Что за физиономия, что за ухватки! Как рельефно произносит он каждое слово, которое характеризует персонаж, и все это без малейшей натяжки, без пошлого буфонства, так отчетливо и естественно! Как уморителен был он в сцене с учителем философии: «Эф, а, эф, а — о, батюшка и матушка! сколько я вам зла желаю, что вы меня не учили!».

Несмотря на то, что роль Журдена огромна и Рыкалов в продолжение всех пяти актов почти не сходил со сцены, в нем незаметно было никакого утомления и последнюю фразу своей роли: «Николину отдаю толмачу, а жену мою кому угодно», он произнес с таким же одушевлением и веселостью, как и первую, при появлении своем на сцену. Надобно много иметь энергии в игре, чтоб заставить зрителя заниматься одним собою в продолжение такой длинной пьесы и не надоесть ему. Правду молвить, чтó и за комедия «Мещанин во дворянстве»! Мне кажется, о ней то же сказать можно, что Дидро сказал о Пурсоньяке: «Si l'on croit qu'il y ait beaucoup plus

* Инженерный полковник, находившийся при вице-адмирале Сенявине и женатый на средней дочери Я. П. Лабата. Как Манфреди, так и другие многие пьемонтские офицеры, не хотевшие признавать владычество Наполеона, были определены государем в нашу службу по особенному уважению их отличных способностей и обширных познаний в военных науках. *Позднейшее примечание.*

d'hommes capables de faire Pourceaugnac que le Misanthrope, on se trompe».* А Дидро верить можно: он знал свое дело.

Сегодня объявили о представлении «в непродолжительном времени» трагедии «Пожарский». Ежова, которая играла в комедии Николину и весьма недурно, сказывала, что Пожарский непременно пойдет на будущей неделе; но до тех пор я успею еще полюбоваться Яковлевым в «Магомете», которого дают, наконец, завтра в Большом театре.

17 мая, пятница.

Не знаю с чего взяли приписывать перевод трагедии «Магомет» вместо П. С. Потемкина Дмитревскому. Я спрашивал об этом старика, который решительно отозвался, что не только не переводил «Магомета», но даже и не поправлял его по той простой причине, что П. С. Потемкин сам владел стихом мастерски и не нуждался ни в чьей помощи.[1] «Это был человек с большим талантом, — присовокупил Дмитревский, — и если б не посвятил всего себя военной службе, то был бы отличным писателем. В молодости своей он написал две оригинальные драмы в стихах: „Россы в Архипелаге" и „Торжество дружбы". Павел Сергеевич Потемкин, впоследствии граф, хотел отличиться не одною храбростью и мужеством на войне, но и мирными подвигами в тишине кабинета».

И в самом деле перевод «Магомета», за исключением очень немногих стихов, правилен и верен с подлинником. Я прочитал его перед самым спектаклем и, признаюсь, нахожу, что в отношении к языку он несравненно лучше не только трагедий Сумарокова, но и самого Княжнина.

Роль Магомета чрезвычайно трудна и, однако ж, Яковлев исполнил ее мастерски; с первой сцены и до последней он был совершенным Магометом, то есть каким создал его Вольтер, ибо другого настоящего Магомета я представить себе не умею; с первой сцены и до последней он казался какою-то олицетворенною судьбою, неотразимою в своих определениях: что за величавость и благородство

* Дидро. De la poésie dramatique.

во всех его телодвижениях! что за грозный и повелительный взгляд! какая самоуверенность и решительность в его речи! Словом, он был превосходен, так превосходен, что едва ли найдется теперь на какой-нибудь сцене актер, который мог бы сравниться с ним в этой великолепной роли. При самом появлении своем на сцене он уже овладевает вниманием и чувствами зрителя одним обращением своим к военачальникам:

Участники моих преславных в свете дел,
Величья моего щиты необоримы,
Морад, Герцид, Аммон, Али неустрашимый!
Ступайте к жителям и именем моим,
Угрозой, ласкою внушите правду им:
Чтоб бога моего народы здесь познали,
Чтоб бога чтили все, а паче трепетали!

Эти последние два стиха и особенно последнее полустишие: «а паче трепетали», Яковлев произнес так просто, но вместе так энергически-повелительно, что, если б действие происходило не на сцене, то у всякого Герцида и Аммона с товарищи душа, как говорится, ушла бы в пятки. Что за орган, боже мой, и как он владеет им!

А затем, этот вид удивления и скрытого негодования при встрече Сеида и вопрос:

Сеид! зачем ты здесь?

Хорошо, что Сеид (Щеников) слишком прост и непонятлив и не обратил внимания на выражение физиономии Магомета (Яковлева), иначе он должен был бы провалиться сквозь землю.

В первой сцене с Зопиром, который поумнее Сеида и которого убедить не так легко, Магомет (Яковлев) переменяет тон и нисходит до того, что открывается шейху в своих намерениях; но и здесь он ни на минуту не теряет своей важности лжепророка. Эту сцену, одну из труднейших для актера, Яковлев понял и сыграл в совершенстве. Он был все тот же властолюбивый и повелительный Маго-

мет, но смягчивший свое властолюбие и повелительность свою притворным снисхождением и уважением к Зопиру:

Когда б я отвечал и н о м у, не Зопиру,
Меня вдохнувший бог вещать бы стал здесь миру;
Мой меч и Алкоран в кровавых сих руках
Заставили б молчать всех смертных в сих странах;
С тобой, как человек, к а к д р у г, хочу вещать:
Нет нужды сильному бессильного ласкать —
Зри Магомет каков! Одни мы. . . внятлив буди!

Здесь, озираясь кругом и почти шопотом:

Знай, я честолюбив,

с величайшею убедительностью:

Но таковы все люди;
Царь, пастырь или вождь, герой иль гражданин,
В намереньях со мной сравнялся ль хоть один? *

. . . справедливость старику Сахарову: он был очень хорош в роли Зопира. Это старинный актер, и двадцать лет назад публика любовалась им на московской сцене в ролях Секста, Трувора и других молодых трагических персонажей. Игра его не глубокомысленна; но приятный и звучный орган, довольно чувства, правильное, ясное произношение и большая сценическая опытность дают ему полное право на уважение и признательность публики, тем более что Сахаров без претензий и решительно играет все роли в комедиях и трагедиях, какие театральному начальству вздумается поручить ему. Роль Зопира по-настоящему должен был бы занимать Шушерин, потому что она существенно принадлежит к его амплуа; почему же он не играл ее? В трагедии первенствует Яковлев, и это Шушерину не по вкусу; однако ж Бризар, Офрен, Монвель и другие были актеры не хуже Шушерина, а между тем играли роль Зопира, когда Лекен удивлял игрою своею в роли Магомета.

Я вообразить себе не мог Боброва в роли Омара и полагал насмеяться досыта, встретив в наперснике Магомета Тараса Скоти-

* Разбор игры Яковлева в роли Магомета помещается невполне, потому что несколько страниц «Дневника» утрачены.

нина или, по крайней мере, посла мамаева. Ничуть не бывало. Бобров не только играл хорошо, но даже очень хорошо; чем чорт не шутит! Конечно, у Боброва за органом дело не станет; но чтоб он сохранить умел такое приличие, такую важность и так мастерски произносить прекрасные стихи своей роли — я никак ожидать не мог:

Зопир

Вещай, зачем пришел?

Омар

Пришел тебя простить
Великий Магомет, твою жалея древность,
Твою прошедшу скорбь и мужество и ревность,
Простер днесь длань к тебе, могущую сразить,
И я пришел и мир и благость возвестить.

Зопир

Но знал ли ты его здесь в полной срамоте,
Скитавшимся, в числе несчастных, в нищете?
О, как далек он был от нынешния славы!

Омар

Так! гнусной пышностью испорченные нравы,
Достоинства судить и вес давать уму
Хотят в сравнении по счастью своему.
Иль мнишь ты, человек надменный и кичливый,
Что насекомое, ползущее под нивой,
И быстрые орлы, по небесам паря,
Ничто суть пред очьми небесного царя?
Все смертные равны, гордятся родом тщетно,
Лишь в добродетели различье их приметно.

Или:

Есть люди мудрые, угодные судьбе,
Что мрачны в праотцах, но славны по себе;
Таков сей человек, что избран мной владыкой
И чести в свете сем достоин он великой.

Отчего бы вдруг последовала в Боброве такая перемена к лучшему? Роль Омара не бездельная и требует более соображения, нежели роль посла мамаева и предводителя гусситов, в которых,

однако ж, он ниже всякой посредственности. Эту загадку разгадал Яковлев и, кажется, верно. «Бобров, — сказал он, — везде будет хорош, где не надобно горячиться и нежничать. Бесстрастная роль Омара как раз пришлась по его таланту: у него сильный орган и ясное произношение, но чувствительности ни на грош, и потому в тех ролях, в которых не нужно развивать какой-нибудь страсти, а надобно только декламировать, наш Бобров не ударит лицом в грязь, особенно если не будет умничать».*

Ларош говорил, что по смерти Лекена трагедия «Магомет» не могла удержаться на сцене Французского театра в Париже; сколько раз ни старались возобновлять ее, все попытки были напрасны: ни один актер в роли Магомета не мог удовлетворить вкусу взыскательного парижского партера; сам Ларив играл его только два раза и с неудовольствием, единственно для Монвеля, который любил роль Сеида и был в ней превосходен. В настоящее время роль Магомета мог бы играть Тальма, но и тот не хочет о ней слышать; а в случае, если б управление, в надежде хорошего денежного сбора, непременно захотело поставить Магомета на сцену, то он предлагал принять на себя роль Сеида, а роль Магомета предоставить Сен-При. Вследствие этого отвращения первоклассных парижских актеров от этой роли трагедия «Магомет» сделалась принадлежностью больших провинциальных театров, и сам Ларош играл его в Лионе и Бордо. «Ваш Яковлев, — продолжал Ларош, — отличный Магомет, и я удивляюсь, comment cet homme, qui n'a rien vu et rien appris, a-t-il pu parvenir à bien exécuter un rôle aussi fortement conçu».

18 мая, суббота.

Жаль, что я не знаю ни одного из восточных языков, а то бы в Коллегии нашлось и мне дело. Илья Карлович сказывал, что теперь в Азиатском департаменте, по случаю войны с турками, много работы, и чиновники не бывают праздны. В числе этих тружеников

* Бобров впоследствии, по смерти Рыкалова, перешел совершенно на амплуа комических стариков и сделался, как и должно было ожидать по игре его в ролях «Тараса Скотинина», «Бригадира», майора в «Чудаках», повара в «Скупом», отличным комическим актером. *Позднейшее примечание.*

по части переводов с азиатских языков есть отличные люди, как, например, коллежский советник Везиров, надворный советник Владыкин [1] и коллежский ассесор Александр Макарович Худобашев; их не видно и не слышно, а между тем они работают, как муравьи. Последний, говорят, сверх обязанностей по службе, намерен перевести или уже переводит Шагана Чиберта и Мартина: «Любопытные извлечения из восточных рукописей Парижской библиотеки о древней истории Азии». Худобашев собственно переводчик с армянского языка, так, как Дестунис с греческого, но знает хорошо и французский язык. Грекофил Гнедич отзывается о Дестунисе, которого познакомил с ним Юшневский, как о человеке, знающем в совершенстве греческий язык и разумеющем все наречия гомеровых творений. Я возразил: как же Дестунису, природному греку, не знать своего родного языка? «В том то и беда, — отвечал он, — что нынешние греки мастера только варить щук в квасу, да торговать маслинами, а до Гомера и разнородных его наречий им дела нет. Спиридон Юрьич, напротив, настоящий ученый, даром что молод: он прекрасно перевел с греческого „Военную трубу“ и прибавил к ней множество любопытных примечаний, а теперь переводит „Жизнеописание славных мужей Плутарха“ и намерен также обогатить их своими историческими и критическими замечаниями».[2]

У нас в Коллегии много дельных молодых людей; но, странное дело — их-то и не видать совсем! Мне сказывали, что один из них, Федор Лаврентьевич Халчинский, предпринял перевести критическое и сравнительное описание походов Фридриха Великого и Бонапарте, сочинения Жомини. Честь ему и хвала, если он совершит этот подвиг, и военные люди скажут ему не одно спасибо.[3]

У А. С. Шишкова встретил я Логина Ивановича Кутузова. Долго рассуждали они о чем-то тихомолком, покамест не соблаговолили сделать меня свидетелем своих разговоров. Едва ли не шла речь о действиях нашего флота и адмирале Сенявине: повидимому, ожидают каких-нибудь важных известий. Логин Иванович очень любезен, ласков и приветлив, а сверх того должен иметь и обширные сведения, потому что целый час говорил без умолку о разных предметах ученых и литературных дельно и красноречиво. Он большой

ненавистник Бонапарте; да нельзя назвать его также другом и Беннигсена, о котором он отзывался вскользь как о посредственном главнокомандующем. «Tel brille au second rang, qui s'éclipse au premier», — сказал он к слову о каком-то неудачном передвижении войск наших. Кутузов — сослуживец Шишкова и, кажется, пользуется его дружбою, потому что лишь только он уехал Шишков начал говорить о нем как о человеке очень умном и образованном, а сверх того и хорошем литераторе. Я удивился, не слыхав никогда, чтоб Логин Иванович был литератором, и хотя знал из списка, данного мне П. И. Соколовым, что он член Академии, но думал, что эта почесть приобретена им так же, как и другими, например, Дружининым, Колосовым и проч., и потому спросил о трудах его. «А вот видишь ли, братец, — отвечал Шишков, — он перевел множество путешествий с английского, французского и немецкого языков и, между прочим, путешествия капитана Кука, Лаперуза и Мирса, сочинил морской атлас для плавания из Белого моря в Балтийское, издал „Основания морской тактики" и даже написал для театра комедию „Добрый отец". Во всяком случае эти труды полезнее плохих од и других стихотворений братца его, Павла Ивановича».

Против таких доказательств возражать нечего.

19 мая, воскресенье.

Князь Шаховской говорил о намерении своем с будущего года заняться изданием какого-нибудь театрального журнала или газеты, в которых бы можно было помещать рецензии на пьесы, представляемые на театре, на игру актеров, разные театральные анекдоты, жизнеописания известнейших драматургов и актеров русских и иностранных — словом, все, что относится до истории театра и правил сценического искусства. Вместе с этим в состав журнала должна войти и легкая литература: краткие повести, стихи и проч. и проч. Князь Шаховской уверяет, что в этом намерении поддерживает его Крылов, который обещал печатать в новом журнале свои басни, до сих пор нигде еще не напечатанные.[1] В одном только он находит затруднение: кому поручить надзор за изданием журнала и своевременным выходом книжек, потому что ему самому надзирать

за этим, по недостатку времени, нет возможности. Я сказал ему, что мысль прекрасная и журнал, без сомнения, должен иметь большой успех; но прежде, нежели приступить к изданию, надобно сообразиться с средствами: достаточно ли у него на первый случай материалов и уверен ли он в своих сотрудниках, без чего может тотчас остаться, как рак на мели. Он утверждал, что в сотрудниках недостатка не будет; издержки издания предпримет на свой счет Рыкалов, содержатель театральной типографии, с тем чтоб ему предоставлена была вся польза от издания, и что не это его беспокоит, а только то, кто примет на себя надзор за изданием, то есть все хлопоты, корректуру и проч. Я сказал ему, что в этом случае кстати привести окончание басни «Ларчик», читанной на-днях у него Крыловым: «А ларчик просто отворялся». Если Рыкалову предоставляется вся польза от издания, так ему и следует принять все эти хлопоты на себя. Шаховской шлепнул себя по лбу и, захохотав, сказал: «Il y a des gens d'esprit qui sont quelque fois bien bêtes».[1]

Между тем, заметив у него на столе небольшую тетрадку, исписанную стихами, я спросил его, что это за стихи. «Анекдот Лукницкого о немце портном, позабывшем в немецком театре сына», — отвечал Шаховской. «Хорошо рассказан?». — «По крайней мере, в нравах немцев». — «Можно прочитать?». — «Даже и взять покамест с собою: это материал для будущего журнала». Разумеется, я воспользовался дозволением и тетрадку поскорее за пазуху.

Прочитав рассказ дома, я смекнул делом: Шаховской величайший ненавистник немецких драм, хотя ни слова не понимает по-немецки; а Лукницкий пишет и переводит для театра: следовательно, как не польстить сильному начальнику репертуарной части, от которого зависит участь театрального автора? Это анекдот, случившийся с портным года три назад, когда немецкий театр был еще под частною дирекциею Мире, переложен в стихи и поднесен Шаховскому. Рассказ точно недурен, но вступление к нему длинно и не у места, потому что анекдот и без него достаточно изъясняет причину происшествия.

Один отец чадолюбивый
Породой шваб, а ремеслом портной,

Жену и трех детей забрал в театр с собой,
Чтоб драмы посмотреть трагическо-шутливой;
И правда, в драме той
Он всякой всячине дивился
И научился
Всей философии, взятой из новых книг;
Он видел, как актеры ели, пили,
Друг друга резали, душили,
Учили разуму, потом табак курили
И в миг
Из Индии его в Берлин переносили;
От всех чудес таких,
Как от угару,
Не взвидел света наш портной
И, как шальной,
С детьми, с женой
Садится в пошевни и гонит бурых пару
Домой.

Меж тем, как за Неву на Остров он катился,
Театр от зрителей давно уж опустел,
Свой ужин сторож съел,
Всё запер, осмотрел, разделся, помолился
И спать ложился,
Как вдруг
В дверях он слышит стук
И видит бледного портнова:
Печаль и страх
В его глазах
И вымолвить едва он может два, три слова:
Я здесь забыл. . . да что? Иль трость, или лорнет —
Найдутся, будьте вы в покое.
Не то. . . не муфту ль? — нет. . . не книжку ли? нет, нет. . .
Да что ж такое?
Я сына здесь забыл
Или из пошевней дорогой обронил.
Я, дети и жена так драмой занялися,
Что лишь за ужином Карлуши не дочлися.
Тут сторож тотчас побежал
И, ложу отворив, в ней сына отыскал:
От драмы ошалев, еще Карлуша спал.[1]

20 мая, понедельник.

Здешний немецкий театр причислен к императорской Дирекции театральных зрелищ весьма недавно — только с 3 января сего года. Любопытны обстоятельства, предшествовавшие и способствовавшие этому причислению, но еще любопытнее те сведения, которые сообщали мне в подробности закулисные мои знакомцы и знакомки о прежнем состоянии и составе немецкой труппы.

Некто Мире, страсбургский уроженец, фехтмейстер, машинист и штукарь, объездивший почти все города Европы в качестве постановщика на сцену пьес с так называемым великолепным спектаклем, то есть сражениями, эволюциями, пожарами, наводнениями и землетрясениями, прибыл, наконец, в Ригу; но так как в Риге театр невелик и, сверх того, он имел уже машиниста, которым и содержатель и публика были довольны, то Мире из фехтмейстера и машиниста сделался содержателем кофейного дома и загородного воксала. Это предприятие ему удалось, и он женился на очень милой и образованной девушке, дочери умершего комического актера Зауервейда,* воспитывавшейся в пансионе на иждивении друзей покойного отца ее. Вскоре после свадьбы он отправился в Петербург под предлогом свидания с матерью жены своей, жившей экономкою в доме известного теперь богача купца Молво,[1] но в самом деле в том намерении, чтоб воспользоваться случаем приобрести театральные принадлежности, как то: декорации, гардероб, библиотеку и бутафорские вещи, продававшиеся обществом молодых немецких купцов, любителей театра, устроивших для себя сцену в доме Кушелева, против Зимнего дворца, и сделаться самому директором театра. И в самом деле, он приобрел эти принадлежности за бесценок, а сверх того был передан ему на выгодных условиях и самый театр. Об актерах Мире не беспокоился: на Васильевском острову, в одном из зданий, принадлежащих Академии Наук, давала свои представления одна бедная немецкая труппа, под дирекциею какого-то невежды-импрессарио по фамилии Рундталера. Мире переманил

* Сын этого Зауервейда сделался впоследствии отличным живописцем и профессором Академии художеств. *Позднейшее примечание.*

ее к себе и с нею открыл свои представления. Они начались удачно, а с удачею открылся и кредит, которым он воспользовался и, в надежде на хорошие сборы, решился выписать с разных немецких театров нескольких хороших актеров и певцов. Средства его увеличились: вскоре, после нескольких спектаклей, данных в комнатах императрицы Марии Феодоровны, государь, по ее ходатайству, пожаловал Мире тридцать тысяч рублей на поддержание немецкого театра и выписку актеров. Эта неожиданная милость развязала руки Мире и дала ему возможность приобрести отличные таланты. На сцене его явились: из Вены — известный Вейраух, бас-буффо, с женою, первою певицею; из Праги — Брюкль, актер на роли благородных отцов, с дочерью, также первою певицею; Виланд, даровитый актер в ролях молодых страстных любовников, с женою, прекрасною драматическою актрисою; уморительный комик Линденштейн и знаменитый Карл Штейнсберг, превосходный актер во всех амплуа: трагических, драматических и комических, актер по призванию, Гаррик в своем роде; [1] К. Гюбш, серьезный бас, и Галтенгоф, замечательный тенор и красивый мужчина; Шарлотта Миллер, актриса преинтересная, но, к сожалению, чрезвычайно однообразная: о ней говорили, что она переменяет не роли, а только платья; мадам Эвест, которою любуемся до сих пор в ролях драматических и комических старух, актриса, каких мало по естественности игры; Цейбиг, отличный тенор, певец и музыкант, но удивительно невзрачный собою: в ролях Бельмонте, принца Тамино и других партиях Моцартовых опер его слушать иначе нельзя, как закрыв глаза, но тогда заслушаешься; Борк, умный, развязный актер в комедиях и отлично исполнявший в трагедиях некоторые роли злодеев, как то: Франца Моора и Вурма; Ленц, красавец собою, с большим талантом, но игравший редко и вскоре удалившийся со сцены *; Кеттнер и мадам Брандт, первый в амплуа стариков, а последняя в ролях благородных матерей, были на своих местах; мадам Кафка, хорошенькая актриса, щеголиха, живая, кокетливая и верт-

---

* Впоследствии Ленц был одним из первых актеров Германии: он приобрел огромную репутацию. *Позднейшее примечание.*

лявая, нравилась публике в ролях служанок; наконец, Юлиус, Вильгельми, Арнольди с бреславского, данцигского и кенигсбергского театров; Бергер фон Берге, Миллер и Губерт фан-Альберт, один за другим появлялись в ролях молодых любовников, но не могли удовлетворить вкусу публики, которая с каждым днем делалась все взыскательнее.

Так прошло около двух лет, и дела Мире с каждым днем улучшались. Он пришел в Ригу пешком, из Риги приехал с женою в чухонской брике; теперь он имел нарядный экипаж, просторную и удобную квартиру в доме Кушелева, в наилучшей части города, имел верховых лошадей и охотничьих собак, многочисленную прислугу и, кроме молодой, пригожей жены, других красивых собеседниц для препровождения времени; словом, фехтмейстер Мире зажил как настоящий директор Санктпетербургского привилегированного немецкого театра. Между тем ему недоставало нескольких сюжетов для полного укомплектования своей труппы и особенно по смерти Виланда, скоропостижно умершего, он нуждался в хорошем актере на амплуа первых молодых любовников; но счастье и тут помогло ему: прочитав в журнале «Северный архив» (Nordisches Archiv), издаваемом в Митаве, разбор игры одного молодого актера рижской сцены, в котором рецензент чрезвычайно хвалил его, Мире вздумал пригласить его в Петербург на несколько представлений и в случае, если б он принят был публикою благосклонно, удержать его на своей сцене во что бы ни стало. Задумано — сделано: актер приглашен, приехал в Петербург и явился на сцене в драме Ифланда «Питомка» («Die Mündel») в роли Филиппа Брока, одной из труднейших ролей в амплуа молодых любовников, потому что она требует от актера, вместе с дарованием и опытностью в искусстве, приятной наружности и, главное, молодости — качеств почти несовместных между собою. Актер понравился, публика была в восхищении, аплодисментам не было конца. Его вызвали,* а генерал Клингер, друг Гёте, сам знаменитый писатель и опытный знаток

* В тогдашнее время вызов актера был таким происшествием, о котором неделю толковали в городе. *Позднейшее примечание.*

в сценическом искусстве, сидевший в креслах, громко и с жаром сказал: «Наконец-то дождались мы настоящего любовника!».[1] Этот актер был талантливый двадцатидвухлетний Гебгард, с которым, по окончании спектакля, Мире тотчас же и заключил контракт.

В это время окончился срок контракта умного Карла Штейнсберга, и превосходный актер не захотел более возобновлять его: ему опротивел Мире с своим легкомыслием, с своим полубарским тщеславием и мотовством; он решился ехать в Москву и там основать немецкий театр. Пригласив с собою некоторых актеров и актрис, также не возобновивших контрактов своих с Мире, и присоединив к ним нескольких молодых аматеров, он составил очень порядочную труппу и в сопровождении жены своей, Шарлотты Мюллер, молодой Марии Штейн (впоследствии мадам Гебгард, теперешнего светила здешнего театра), Гаса, Коропа, Литхенса, Беренса, Нейгауза, Штейна и Петера переселился в Москву.

Сверх полученных уже от щедрот государя тридцати тысяч рублей, Мире, под предлогом усовершенствования своего театра и необходимости нового укомплектования своей труппы, по случаю неожиданного отъезда Штейнсберга, успел исходатайствовать еще себе в пособие около сорока тысяч рублей и с этими деньгами отправился в Германию, en grand seigneur, поручив управление театром жене своей. Отсутствие его продолжалось около шести месяцев, и не только было нечувствительно для управления, но, напротив, принесло ему пользу. Пригожая директрисса избрала себе помощником молодого пришельца с рижской сцены, Гебгарда, и они распоряжались так деятельно и умно, что Мире, по возвращении своем, сам удивился порядку, введенному ими в управление: расходы были уменьшены, сборы увеличены и касса переполнена. Последнее обстоятельство было очень кстати, потому что Мире возвратился с новыми сюжетами, которых жалованье и содержание требовали расходов и обходились дорого. С ним приехали: актрисы — красавицы Леве и Сандерс, но только первая одна понравилась публике в ролях кокеток и светских женщин; Дальберг и Мактоваи, обе также пригожие женщины, но с неприятным венским выговором (от которого мадам Дальберг теперь отвыкает); бас Гунниус, отличный певец

и актер, превосходный в ролях Зороастра, Османа, Аксура, Лепорелло и проч., с женою, известною певицею контральто; актеры — Кудич, Арресто, Берлинг и Розенштраух для ролей трагических и драматических, Рекке на амплуа вертопрахов и Шульц с женою для ролей комических. Кроме того, с предприимчивым директором театра прибыли балетная труппа и полный оркестр: балетмейстер и танцмейстер Ламираль с женою, первою танцовщицею; танцовщики Коломбо, Ванденберг, Эбергард и несколько молодых хорошеньких танцовщиц; молодой капельмейстер Нейком, воспитанник Гайдна; известные музыканты: Миллер * — первая скрипка, Зук — флейтраверсист, Паульсен и Венд — гобоисты, Феррандини и Климпе — контрабасисты, Дрейвер, Герке, Ратгебер, Шпринк — скрипачи; Герман и Рудольф — фаготисты, Фукс и Фишер — волторнисты; Блашке — виолончелист и, наконец, знаменитый кларнетист Дерфельд.** С таким количеством хороших актеров и певцов, с таким отличным оркестром и замечательною балетною труппою немецкий театр был всегда полон зрителей, и как в продолжение зимы 1803—1804, так и до самого закрытия театра пред великим постом 1805 г. сборы были чрезвычайные. Казалось, Мире должен был сделаться богачом; но он не только не сделался им, а, напротив, нашелся в невозможности удовлетворить труппу следующим ей жалованьем. Актеры, музыканты и танцовщики подняли вопль. Чтоб избавиться от ежеминутной докуки их, директор на дверях своей конторы вывесил объявление, что «удовлетворение жалованьем артистов, принадлежащих к немецкому театру, отныне впредь принимает на себя казна». Артисты не поверили объявлению и навели справки: ничего не бывало, казна о том не мыслила и не знала! Началось исследование, которое могло иметь для Мире бедственный результат, но, к счастью его, обер-полицеймейстер Эртель как-то уладил дело. Впрочем, вследствие плутовского своего поступка, Мире лишился лучших сюжетов своей труппы: Галтенгоф, Гунниус с женою, Ней-

* Сочинитель оратории «Архангел Михаил». *Позднейшее примечание.*

** Дерфельд впоследствии был главным капельмейстером гвардейской полковой музыки и довел ее до необыкновенного совершенства. *Позднейшее примечание.*

ком, мадам Кафка и некоторые другие честные немцы не захотели иметь с ним никакого дела и отправились, по приглашению Штейнсберга и по слухам об успехах его театра, в Москву. Остальные похождения закулисных моих героев — до завтра.

21 мая, вторник.

А. В. Приклонский слышал в канцелярии нашего министра, что 29 апреля крепость Анапа покорилась адмиралу Пустошкину и что есть слухи будто бы адмирал Сенявин 11-го сего месяца имел морское сражение с турками и истребил у них три корабля, о чем и ждут официального известия. Между тем, вести из армии не так успокоительны и веселы: говорят, что едва ли Данциг не должен будет сдаться, если уж и не сдался.

А вот и окончание подвигов героя Мире, которые хотя и не так интересны, но, будучи тесно связаны с судьбою здешнего немецкого театра, по необходимости входят в его историю.

Несмотря на расстройство, причиненное театральному репертуару отъездом лучших сюжетов труппы в Москву, Мире продолжал свои представления и, по невозможности давать оперы Моцарта, Сальери и других германских композиторов, столько любимые публикою и привлекавшие ее в театр, он стал забавлять ее пьесами драматическими и комическими из сочинений Циглера, Стефани, Юнгера, Бока, Брецнера, Цшокке, Бека, Бейля, Шредера, Ифланда, Коцебу, Клингера, Шиллера и других; возобновил «Русалок», «Чортову мельницу», «Чортов камень», «Дурачка Антошу», «Сестер из Праги», «Воскресное дитя» и проч. и проч. Дела продолжали идти недурно; а чтоб усилить еще более сборы, Мире выписал пригожую певицу Паузер из Риги и пригласил, на выгодных условиях, из труппы Штейнсберга Марию Штейн, о которой приезжие из Москвы отзывались с великою похвалою. Первая не понравилась и возвратилась в Ригу, последняя же принята с восторгом и вскоре по приезде вышла замуж за молодого любимца публики, Гебгарда. Но хорошие сборы не могли уж поправить обстоятельств Мире, задолжавшего кругом и потерявшего не только кредит, но и уважение своей труппы, вследствие чего он и нашелся в необходимости сдать свой театр ак-

теру Арресто, легкомысленно вызвавшемуся принять его с переводом на себя долгов Мире, простирающихся до восьмидесяти тысяч рублей. Новый директор, не имея понятия о вкусе петербургской публики * и полагая, что он имеет дело с публикою какого-нибудь немецкого городка, начал с того, что схватился за экономию: он распустил знаменитый оркестр и балетную труппу, отказал последним оперным артистам, остававшимся при театре, и принялся давать старые, давно уже знакомые публике пьесы, которые не могли обогатить кассу. Арресто был прекрасный талант, но вовсе плохой директор. Желая поправить свои сборы и зная, что оперы всегда привлекали публику, он вздумал поставить на сцену премилую оперку «Фаншону» и распределил в ней роли престранным образом: сам играл Сен-Валя, мамзель Леве заставил играть Фаншону, Шульца — аббата, Берлинга — Эдуарда и так далее. Он вообразил, что можно петь без голосов и что если всякий оперный певец, по нужде, может играть в драмах и комедиях, почему ж и всякий драматический актер не может, по нужде, петь в операх? Это логика совершенно немецкая; но какова бы она ни была, только представление «Фаншоны» было последним представлением немецкого театра, происходившим под управлением Арресто: в десять часов окончился спектакль, а в одиннадцать пожар превратил уже кушелевский театр со всеми принадлежностями в пепел. Государь изволил быть на пожаре и тут же благоволил дать повеление о «причислении немецкой труппы к императорской Дирекции театральных зрелищ». Радость артистов была неописанна. Искатель приключений Мире выехал из Петербурга почти нищим и отправился в Линц один, оставив жену на руках Арресто, который вскоре уехал с нею в Германию чрез Ревель и Ригу, где проездом дал несколько представлений. Sic transit gloria mundi!

Теперь немецкая труппа благоденствует, хотя и не в прежнем своем составе, под заведыванием театрального переводчика

* Тогдашняя публика немецкого театра не была похожа на нынешнюю. Она состояла большею частью из ревностных поклонников искусства. В то время немецкий театр, так же как и русский, имел постоянных своих посетителей, принимавших горячее участие в представлениях. *Позднейшее примечание.*

Н. С. Краснопольского. Режиссерами назначены: по части драматической — Гебгард, комической — Линденштейн и оперной — Цейбиг, которому поручена также и оперная репетитура.

22 мая, среда.

Я дал бы полжизни, чтоб быть на месте этого счастливца Крюковского.* И отчего же не пришло в голову мне, вместо «Артабана», написать какую-нибудь трагедию из отечественной истории, вместо того чтоб время и труд тратить по-пустому над этим персидским негодяем? Вот что называется торжество, и такое, от которого, если не умереть, так с ума сойти можно. Что ни говори князь Шаховской, Крылов и Гнедич, но я уверен, что и они бы не прочь от такого триумфа. «Пьеса кстати, пьеса кстати!», — повторяют они и только; а разве этого мало? Мне кажется, это в с е. Я сам знаю, что пьеса Крюковского посредственна, да и самые стихи в роли Пожарского, которые приводили в такой восторг публику, пахнут сумароковщиной. Да какое до того дело? В моем «Артабане» стихи пощеголеватее, а на сцене не произвели бы никакого действия. И лишь теперь, увидев представление «Пожарского», я начинаю понимать, что для полного успеха трагедий на русской сцене только и нужно, чтоб они были «кстати» и чтоб играл в них Яковлев.

После обеда мы с Гнедичем вместе отправились в театр и хотя пришли довольно рано, но он уже почти был полон. Все лучшее общество красовалось в ложах, а партер был буквально набит битком. Мы заметили Михайла Астафьевича Лобанова, молодого преподавателя русской словесности у Строгановых, в числе несчастных партерных пациентов: он опоздал найти себе место и принужден

* Вам, почтенные театралы моего времени, которым удалось видеть первое представление трагедии «Пожарский», посвящается дневник 22 мая. Вам принадлежит он по праву, потому что вы были свидетелями невиданного и неслыханного успеха такой пьесы, которая, если и могла заслуживать какое-нибудь внимание, то единственно по намерению сочинителя, но в художественном отношении не имела никаких достоинств. Как ни смешны восторги театрала-юноши, однако ж вы должны признаться, что они были в то время верным отголоском мнения публики, противу которого не смели возражать даже и самые опытные драматические наши литераторы. *Позднейшее примечание.*

был жаться между стоящими. Невольно пришло мне в голову, что, без особого покровительства князя Шаховского, я бы сам терпел такое же истязание, между тем как теперь сижу преспокойно в креслах. Время переходчиво: прежде завидовал я другим, теперь другие завидуют мне. Спектакль начался получасом позже обыкновенного времени, шести часов, потому что поджидали Александра Львовича. Он приехал в сопровождении многих знатных особ и, против обыкновения своего, поместился не в ложе, а в директорских своих креслах между главнокомандующим С. К. Вязмитиновым и старым графом Строгановым; прочие же кресла в первом ряду занимали граф Кочубей, Н. А. Загряжский, граф Салтыков, Д. Л. Нарышкин, генерал-адъютант князь Гагарин, князь Ив. Ал. Гагарин, граф В. В. Мусин-Пушкин, А. И. Корсаков, А. С. Шишков, И. С. Захаров и другие, которых я не знаю. Представление началось: сцена Заруцкого (Шушерин) с есаулом (Щеников) прошла холодно. Но вот, наконец, появился Пожарский (Яковлев). Он остановился посредине сцены, прискорбно взглянул на златоглавую Москву, прекрасно изображенную на задней декорации, глубоко вздохнул и с таким чувством решимости и самоотвержения произнес первый стих своей роли:

Любви к отечеству сильна над сердцем власть!

что театр затрещал от рукоплесканий. Но при следующих стихах:

То чувство пылкое, творящее героя,
Покажем скоро мы среди кровава боя.
Похищенно добро нам время возвратить!

начались топанья и стучанья палками и раздались крики «браво! браво!» до такой степени оглушительные, что Яковлев принужден был оставаться минуты с две неподвижным и безгласным. С таким восторгом приняты были почти все стихи из его роли, которая состоит из афоризмов и декламаций о любви к отечеству. На трактацию сюжета и роли других актеров публика не обращала никакого внимания: она занималась одним Пожарским—Яковлевым; и лишь только он появлялся, аплодисменты и крики возобновлялись

с большею силою. Я запомнил несколько стихов, которые более других на меня подействовали:

Погибни лучше все! и град порабощенный
В отеческой стране рукой иноплеменной
Готов разрушить я, в прах здания попрать,
Во храмы бросить огнь и пламенем объять
Их гордые главы, что в золоте сияют
И блеск протекшего величия являют;
. . . .
Россия не в Москве — среди сынов она,
Которых верна грудь любовью к ней полна. . .

Или:

Ты обрати свой взор на храмы опаленны,
Селенья выжженны, поля опустошенны
. . . .
Не их ли то дела? . .
Убогой хижины они развея кров
И удалив жену от верного супруга,
Отторгли буйственно оратая от плуга;
Луга притоптанны увяли в красоте;
Остался пепл один в наследство сироте!
. . . .
И если встречу смерть толико в бранях лестну,
Тень грозная моя восстанет меж рядов
И воспалит ваш гнев и ярость на врагов!

Эти стихи, конечно, хороши и стоили одобрения; но стих, возбудивший наибольший энтузиазм, находится в сцене, в которой Пожарский, узнав в одно и то же время об измене Заруцкого и об опасности, в которой находится его семейство, бросается к Москве, не слушая убеждений своих приверженцев поспешить на помощь родным своим:

Родные! но. . . Москва не мать ли мне? . . .

Говорят, что такого энтузиазма публики, какое произвел этот стих, никто не запомнит; и это должно быть справедливо, потому что восторги зрителей при первом представлении «Димитрия Донского», в сравнении с нынешними, могут назваться умеренными.

Воспитанник театральной школы, Сосницкий, очень мило сыграл роль Георгия. Маленький актер с таким чувством продекламировал:

Мне жаль, что не могу сей слабою рукою,
Схватив булатный меч, идти на брань с тобою. . .

и далее:

Кто смело в бой идет, тот будет победитель!

что в пору было бы иному и опытному актеру. Автора вызывали, и Александр Львович из кресел нарочно входил в ложу, чтоб представить счастливца Крюковского публике.

24 мая, пятница.

Вчера переехал на новую квартиру в дом Харламова. Комнаты мои неприятны — настоящие сараи. Хозяин встретил меня с хлебом и солью, уверяя, что дешевле и удобнее квартиры я не найду для себя в целом Петербурге. В отношении к дешевизне, может быть, он и прав; но что касается до удобства — дело другое: предчувствую, что в этих сараях мне жить одному будет тошно. Челядинцы мои болтают, что об моей квартире ходят между живущими в доме какие-то неприятные слухи. Если дело идет о каком-нибудь привидении — я его не боюсь, потому что хозяин мой советник Губернского правления и в дружбе с Эртелем, пред которым должны исчезнуть все возможные привидения.

Князь Горчаков в сатире своей жалуется, что литературу нашу наводнили журналы:

И, наконец, я зрю в стране моей родной
Журналов тысячи, а книги ни одной.[1]

Где ж эти тысячи? Пе́рвой, другой, и — обчелся! Скорее надобно бы нашему сатирику жаловаться на недостаток журналов: у нас и прежде было немного периодических изданий, а нынешний год особенно так ими беден, что если б кому вздумалось познакомить публику с своим сочинением, то автор просто не приищет куда поместить его. «Вестник Европы», «Друг юношества», «Весенний цве-

ток» и «Журнал изящных искусств» в Москве,* да «Северная пчела», издаваемая Гимназией и не помещающая чужих сочинений, и «Экономический журнал» Кукольника здесь, в Петербурге — вот и все т ы с я ч и. Охота же князю Горчакову так клепать на нашу литературу! В прошедшем году, кроме «Вестника Европы», были еще кой-какие журналы, например «Любитель словесности» Остолопова, «Лицей» Мартынова, «Московский зритель» кн. Шаликова, «Московский собеседник» и «Дамский журнал», а в нынешнем такой в них недостаток, что из рук вон! Говорят, что с будущего июня несколько молодых людей с дарованиями, Шредер, Делакроа и Греч, собрались издавать журнал под заглавием «Гений времен»; но этот журнал будет исторический и политический, и для литературных статей едва ли сыщется в нем место; к тому ж издателей много, а у семи нянек дитя всегда без глазу**. Впрочем, увидим.

Если б князь Шаховской серьезно принялся за издание театрального журнала, то в теперешнее скудное время петербургской литературы этот журнал мог бы иметь огромный успех. Только достанет ли у Шаховского на то времени? Рыкалов берет на себя издержки и все хлопоты по изданию, но с тем, чтоб доставили ему материалов по крайней мере на два месяца вперед: он, как видно, не очень надеется на аккуратность князя Шаховского и говорит, что одними мелкими стихотворениями не поддержишь издания и что нужны капитальные прозаические статьи. Хотя Марин и Писарев обещали доставлять некоторые переводы из французских авторов о правилах театра, а первый даже вызвался перевести стихами поэму Дората о декламации, но тот и другой люди военные и заняты службою, следовательно на постоянное участие их также слишком полагаться нельзя.

Гнедич сказывал, что получил от знакомца своего, Батюшкова, стихотворное послание «К Озерову»,*** которое чрезвычайно хвалит.[1]

* Издаваемые М. Т. Каченовским, М. И. Невзоровым, К. Андреевым и Буле.

** Однако ж «Гений времен» издавался чуть ли не около трех лет. *Позднейшее примечание.*

*** В последующем году оно напечатано было в «Драматическом вестнике». *Позднейшее примечание.*

По словам его Батюшков имеет большой талант, но чрезвычайно застенчив и до сих пор не решается печатать своих стихотворений. Он служит в егерском полку, с которым и находится теперь в походе. Гнедич дал слово князю Шаховскому также участвовать в издании театрального журнала и пригласить к тому некоторых знакомых ему авторов.

25 мая, суббота.

Тетрадь, подаренная мне Иваном Афанасьевичем, чрезвычайно интересна: в ней, между прочим, заключается и реестр пьесам, игранным не только в продолжение всего сценического его поприща, то есть с эпохи прибытия его из Ярославля в Петербург, в 1752 г., до увольнения от театра в 1787, но и до того времени. Это — драгоценный манускрипт для истории нашего театра, и я не понимаю, как он мог оставаться до сих пор в безгласности; а еще более удивляюсь, каким образом решился старик отдать его мне и так легко, не придавая никакой важности своему подарку.[1]

В этой тетради любопытнее всего заметки об успехе или неуспехе игранных пьес и о том действии, какое они производили на двор и публику. Есть также краткие замечания на игру некоторых актеров, в числе которых красуются имена известных и нам Померанцева, Шушерина и нескольких других. Если предполагаемое издание театрального журнала состоится, тогда я буду в возможности снабдить его хорошею статьею и сколько-нибудь расквитаться с князем Шаховским за дозволение пользоваться его креслами в театрах.

Из Коллегии заходил к Яковлеву поздравить его с новым успехом в роли Пожарского. Он что-то не в духе: на все вопросы отвечал как бы нехотя; сидит на диване, насупясь, и думает какую-то думу. Я не хотел надоедать ему и скоро ушел, даже и не простившись с ним.

26 мая, воскресенье.

Наконец видел «Модную лавку» и насмеялся досыта. Как эта комедия ни хороша в чтении, но она еще лучше на сцене, потому что разыгрывается отлично. Рыкалов и Рахманова в ролях Сумбу-

рова и Сумбуровой превосходны. Мало того что они смешат, но вместе заставляют удивляться верности, с какою представляют своих персонажей. Это настоящие провинциалы, но провинциалы совершенно русские; и кто живал в отдаленных губерниях, тому, наверно, удавалось не раз встречать подобные оригиналы. Прочие роли выполнены были также прекрасно: Жебелев очень удачно сыграл роль француза Трише, плута и афериста, для которого все средства хороши, чтоб сколотить деньгу; Ежова была препорядочною мадам Каре, модною торговкою, которая в женщинах точно то же, что Трише в мужчинах; в Бельё[1] видели мы тип магазинной девушки, хорошенькой, ловкой и плутоватой, а о Пономареве, игравшем деревенского слугу Сумбуровых, Антропку, — нечего и говорить: это один из прежних знаменитостей русской сцены. Непостижимо, как мастерски отделал он эту почти ничтожную роль Антропки. Что за физиономия, какая фигура! какие ухватки! какая походка и какой разговор! Как уморительно снимает он с барыни салоп и носит его на руке! с каким любопытством и удивлением рассматривает вещи, на показ выставленные в лавке: шляпки, чепчики и проч. и проч., — ну, право, этот Пономарев в своем роде Превиль. Дайте роль Антропки другому актеру — она выйдет бесцветна и незаметна. Говорят, что память начинает изменять ему. Жаль; впрочем, и Превиль под старость также ослабел памятью и потому отказался от прежних больших ролей своих и начал играть маленькие, ничтожные роли, которые отделывал с таким искусством и рельефностью, что они выходили чрезвычайно замечательными.

Во время страшного пожара, бывшего Владимирской губернии в городе Судогде, у казенной кладовой стоял на часах штатной команды солдат Пичугин. Вдруг прибегает к нему сосед с известием, что домишко его занялся и чтоб он скорее сменялся с караула и спешил спасать домашних. «Не можно, — отвечал он: — казну еще не повытаскали». Прибегает другой посланный: «Пичугин, жена твоя и с ребенком чуть ли не сгорели. Ступай домой». — «Не можно, — отвечает он опять, — казну не совсем еще повытаскали». Наконец казну п о в ы т а с к а л и, и Пичугин, сменившись с ка-

раула, опрометью побежал к своему пепелищу; но домишка со всеми пожитками как не бывало, а жену с ребенком нашел, бедняк, обгоревшими в уголь. Государь, узнав о поступке Пичугина, приказал дать ему в награждение пятьсот рублей единовременно и триста рублей ежегодной пенсии. Кажется бы, и делу конец. Нет, подвиг Пичугина не кончен: полученные пятьсот рублей от щедрот государя он роздал все до копейки пострадавшим вместе с ним от пожара.

Доктор Крейтон рассказывал, что года четыре назад случилось ему в Англии быть при анатомировании тела одного семилетнего мальчика по фамилии Малкен, который не только умел уже правильно читать и писать по-английски, но знал латинский язык и географию и рисовал очень порядочно. Между прочим, этот мальчик, незадолго до своей смерти, сочинил описание какого-то небывалого государства, которому очень остроумно придумал свойственные законы, учреждения и обряды, вовсе не похожие на английские и, однако ж, возможные. По вскрытии головы найдено, что мозг Малкена в объеме и весе превосходил мозг других детей равных с ним лет более, нежели в полтора раза.

Не любо не слушай, а лгать не мешай.*

28 мая, вторник.

Вчера целый день пробыл в Павловске у И. П. Эйнбродта. Нагулялся вдоволь, так что и теперь еще ног под собою не слышу. Ивану Петровичу в Павловске не житье, а рай: квартира великолепная и стол придворный; чего хочешь, того и проси — все есть: что называется ешь — не хочу. Видел императрицу Марию Феодоровну и маленьких великих князей Николая и Михаила Павловичей, которые что-то копали в саду. Императрица прогуливалась по парку с великими княжнами Екатериною и Анною Павловнами и тремя придворными дамами в длинной открытой линейке. Шталмейстер Муханов с какими-то двумя кавалерами ехали вер-

---

* Виноват! Впоследствии я удостоверился неоспоримыми доказательствами, что этот мальчик действительно существовал. *Позднейшее примечание.*

хами. Императрица два раза проезжала мимо меня и каждый раз милостиво и с улыбкою кланялась мне, когда я останавливался и снимал шляпу. Великая княжна Екатерина Павловна — красавица необыкновенная; такого ангельского и вместе умного лица я не встречал в моей жизни; оно мерещится мне и до сих пор, так что я хотя и плохо владею карандашом, но могу очертить его довольно сходно.

У Ивана Петровича обедали Ф. П. Аделунг и доктор Рюль, которого видал я у Эллизена. У последнего физиономия невзрачная, а говорить искусен и к тому же искателен, следовательно имеет все средства выйти в люди. Толковали большею частью о военных действиях, о которых, впрочем, ничего положительного не слышно. Все известия из армии ограничиваются только тем, что государь здоров и что вскоре должно произойти сражение. Аделунг сказывал, что начальник его, статс-секретарь Витовтов, был назначен в это звание единственно за свои человеколюбивые подвиги. Государь как-то случайно узнал о них и, при встрече с Витовтовым во время обыкновенной своей прогулки по Дворцовой набережной, поздравил его статс-секретарем своим. Государь, по словам Аделунга и Эйнбродта, чрезвычайно внимателен к людям возвышенных чувств и в тех лицах, которыми себя окружает, не терпит ничего неблагородного и особенно неблагодарности, хотя и снисходит к их слабостям по человечеству. Василий Назарьевич Каразин, очень умный человек, назначенный государем в статс-секретари по рекомендации Николая Николаевича Новосильцева, потерял доверенность государя и впал в немилость только потому, что осмелился при докладе опорочивать действия покровителя своего, Новосильцева, по какому-то делу, не объяснившись с ним предварительно.[1]

Возвращаясь из Павловска ночью на пароконном своем извозчике, я почти во всю дорогу должен был править его клячами сам. Автомедон[2] мой нагрузился до такой степени, что от самой Пулковой горы был без чувств; я боялся, чтоб он не умер и чтоб по этому случаю не привязались ко мне; уж то-то бы, как говорится,

Купил себе лихо
Да за свои гроши.

К счастью, этого не случилось, потому что, подъехав к заставе, я встретил другого извозчика, который сжалился надо мною и мастерски разбудил пьяницу, влепив ему по крайней мере десятка два ударов кнутом и окатив его ведром воды из канавы. Это значит по-русски!

29 мая, среда.

Опера князя Шаховского «Любовная почта» разыгрывается у нас так хорошо, что лучше не разыграли бы ее и французские актеры. Особенно Воробьев, в роли председателя, и Рахманова, в роли помещицы Сутяги, были бесподобны. Игра Воробьева естественна и верна, а веселость его на сцене чрезвычайно сообщительна. Пономарев и Самойлов также играли хорошо, а последний и пел отлично. Музыку на слова сочинял капельмейстер Кавос, и по всему видно, что он хотел угодить князю Шаховскому: все мотивы очень веселы, приятны и, сверх того, согласуются с словами, что редко удается слышать в операх, особенно в русских.

Пишут из Москвы, что дела немецкого театра плохи и директор его, А. Муромцев, несмотря на свои восемьсот душ, так запутался, что больше не в состоянии платить актерам жалованье. Некоторые сюжеты едут сюда, Гунниус с семейством в Германию, а Литхенс начал учиться математике, с намерением вступить в военную службу по артиллерии. Вот куда бросило нашего Карла Моора!* На французском театре готовятся дать «Тартюфа», которого будет играть Дюпаре, а Эльмиру — долговязая мадам Ксавье; между тем прихотливая французская публика с нетерпением ожидает давно возвещенной комедии «L'Homme à bonne fortune» Барона, пьесы в стихах и очень длинной, такой длинной, что едва ли, по словам моего корреспондента, публика досидит до пятого акта. Из чего ж она, матушка, так заботится и хлопочет?

30 мая, четверг.

Идучи в Коллегию, заметил я необыкновенное движение в городе: множество экипажей скакало по улицам и большая часть из них

* Литхенс был убит в Бородинском сражении в чине поручика Конной артиллерии. Он оставил по себе память храброго и знающего свое дело офицера. *Позднейшее примечание.*

останавливалась у подъезда главнокомандующего. «Это не даром, — подумал я, — должны быть какие-нибудь вести из армии». И точно: Илья Карлович, бывший у министра с докладом, привез известие, что маршал Ней разбит наголову под Гутштадтом. Потеря французов огромна; но и мы потеряли немало; между прочим, у нас тяжело ранены два генерала: граф Остерман-Толстой и Сомов. Ожидают других важнейших известий. Кусовников слышал от отца, что на Бирже большое движение и купцы спешат делами, как будто в предчувствии чего-нибудь чрезвычайного; требования на наши товары беспрерывно возрастают и цены на них возвышаются; но вместе с тем, вопреки обыкновению, лаж на серебро и золото увеличился: серебряный рубль ходит 1 р. 50 к., а червонец — 4 р. 90 к. Говорят, что это признак дурной, то есть признак продолжения войны.

31 мая, пятница.

За обедом у Лабата пили шампанское за здоровье государя и в честь одержанной победы. Старые эмигранты порядочно подвеселились и непременно требовали тоста Лудовику XVIII, которого уже воображают на престоле своих предков. Эти эмигранты точно дети, и Марья Лукична чуть ли не права, называя их полоумными: то, при малейшей неудаче наших войск, они упадают духом и находятся в каком-то состоянии безнадежного отчаяния, то вдруг, при известии об успехе нашей армии, как бы ни был он маловажен, занесутся так высоко, что и земли не слышат под собою: делят Францию, сажают Бонапарте в Бисетр[1] и вдаются в другие подобные несбыточные предположения. Нечего сказать: «народ и скучный и смешной!», хотя в отношении к привязанности к королю и заслуживает уважение.

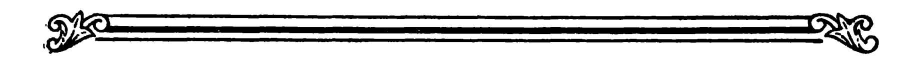
Старые актеры говорят, что московского театра актер Иван Калиграф играл роль Дмитрия Самозванца лучше всех известных актеров, и не постигают, почему эту роль почитают триумфом Дмитревского, который, по их мнению, был в ней просто слаб; для этой роли у него не доставало ни органа, ни груди; и как он ни старался сохранить себя для пятого акта, но никогда не в состоянии был кончить пьесу без потери голоса и истощения сил. Торжеством Дмитревского

могла назваться роль Тита в трагедии Княжнина «Титово милосердие», но и в этой роли актер Лапин едва ли не был его превосходнее. Дмитревского надобно было видеть в комедиях, например, в Реньяровом «Игроке», в Мольеровом «Мизантропе» и некоторых других: в этих ролях он был, бесспорно, совершенным, и никто, даже из французских актеров, соперничать с ним не мог. Калиграф имел большие средства, но, к сожалению, карьера его была непродолжительна: он умер в 1780 г., вскоре после пожара, истребившего театр, бывший на Знаменке, в доме графа Воронцова, и случившегося в самое время представления «Димитрия Самозванца».

Шушерин утверждает, что жена Калиграфа имела еще больше дарования, чем муж ее; но способностей своих она не могла развить вполне по недостатку ролей, им соответственных. Единственная роль мистрис Марвуд в трагедии «Мисс Сарра Сампсон», переведенной Левшиным,[1] была по ее сильным средствам, и она играла ее в совершенстве. «В настоящее время, — продолжал Шушерин, — Надежда Калиграф была бы отличною Медеею, Клитемнестрою и Гермионою; а впрочем, кто знает, может быть, и ее заставили бы, так же как Марью Синявскую, то есть, Сахарову, играть у Семеновой наперсниц, как и меня, вероятно, хотели бы заставить играть наперсников у Яковлева».

Шушерин, как видно, чем-нибудь огорчен, а к тому ж Надежда Калиграф — его сожительница. Мне сказывали, что старики до сих пор живут душа в душу.





1809-й год

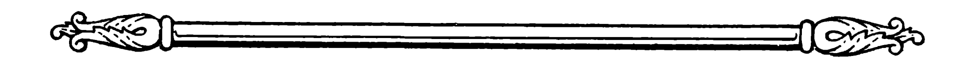
15 декабря. До сих пор я только урывками говорил о графе Потемкине, у которого вчера обедал. Я познакомился с ним в 1807 г., когда он был еще преображенским офицером, в театре, по случаю суждения о ком-то из актеров. Он любит театр, занимается литературою и волочится за Валберховой, которой суждено, кажется, быть предметом страсти всех знакомцев Шаховского, то есть Крюковского, меня и его, Потемкина. Это предобрейший и прелюбезнейший человек в свете, готовый на всякую услугу и на всякое доброе дело. Он очень дружен с братьями Шапошниковыми, из которых младший его сослуживец, видный собою молодец и человек с талантом. Рыбак рыбака далеко в плесе видит. . . В прошедшем году Потемкин напечатал свою оперу в пяти действиях под названием «Душенька», взятую из сочинения Богдановича, и напечатал ее по-своему, то есть по-графски, роскошно, на веленевой бумаге, и украсил бесподобными гравюрами. Лучшего издания в России нет. Жаль, что эта опера неудобна для представления на театре, потому что потребовала бы огромных издержек на обстановку и такой музыки, для сочинения которой едва ли найдется у нас капельмейстер. Но еще больше жаль, что в стихах его оперы находится много таких слов, которые неупотребительны в легком разговорном языке. Мне кажется, чуть ли он не хотел похвастаться пред староверами русского языка в знании языка славянского и взятыми из него выражениями заменить употребительные выражения, имеющие в основании языки иностранные. Теперь занимается он вместе с младшим Шапошниковым переводом Расиновой «Аталии». Я слышал некоторые сцены и запомнил много

стихов, врезывающихся в память. Славный, энергический перевод. Он лучше всех оригинальных «Душенек» в свете, хотя бы они были изданы вдвое роскошнее, что, впрочем, мудрено. Мой Потемкин такой хлебосол и такой мастер на угощение, что едва ли кто может в этом отношении сравниться с ним в Питере — даром что молодой человек. Видно по всему, что он дорожит своими гостями: нет ничего такого, чем бы он подорожил для них. Настоящий Лукулл и достойный однофамилец и родственник Таврического. Брат его, говорят, не таков: будто бы горд и знается большею частью с вельможами и их женами. Самое лучшее в нашем Потемкине есть качество развязывать ум и руки своим знакомым: он становится всегда с тобою на втором плане, и не входишь к нему без особого удовольствия и не выходишь от него без сожаления. Старший Шапошников, кажется, живет у него и занимается его поручениями. 19-го числа в воскресенье я опять обедать буду у него с Иваном Ивановичем Дмитревским и Ленцем и может быть с их семействами. Авось, удастся прослушать всю «Аталию», в которой главная роль назначается Валберховой.



ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОГО ТЕАТРАЛА





ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОГО ТЕАТРАЛА

Дмитревский. — Державин. — Французские трагические актеры классической эпохи. — Плавильщиков и Шушерин. — Князь А. А. Шаховской и Озеров. — А. С. Яковлев. — Несправедливость к его памяти. — Его стихи, наружность, образ жизни, сценическое поприще. — Лучшие роли Яковлева. — Судовщиков и его комедия «Неслыханное диво». — Семенова и начало певучей декламации. — Гнедич и его правила декламации. — Подражательный талант Семеновой. — Актриса Жорж и наставник ее Флоранс. — Актриса Бургоен. — Валберхова и заблуждение князя Шаховского насчет ее таланта. — Театралы прежнего времени. Вечер у князя Шаховского. — Первое действие комедии Крылова «Ленивый». — Послание А. Я. Княжнина. — С. Н. Марин. — Кенотафия Яковлева слуге. — Я. Г. Григорьев, будущий Брянский. — Испытание его в декламации. — Замечание И. А. Крылова и совет его. — Замечание Княжнина. — Наперсники и наперсницы. — Дебют Григорьева под фамилиею Брянского в роли Лаперуза. — Предсказания князя Шаховского сбываются. — Экспромт Милонова. — Огромный репертуар Брянского. — Актер Толстиков. — Разочарование князя Шаховского. — Его послание. — Актер Мочалов (отец). — Послесловие вместо предисловия.

I

. . . У Г. Р. Державина познакомился я с Иваном Афанасьевичем Дмитревским, которого советами он руководствовался в сочинениях своих, назначаемых для сцены. Это было 2 января 1807 г. Дмитревский был старец замечательной наружности, с правильными чертами лица и с умною выразительною физиономиею. Голова его, несмотря на то что беспрерывно тряслась, имела в себе много

живописного, и особенно белые, как снег, волосы, зачесанные назад, придавали ей вид, внушавший невольное уважение. Все его движения были изучены и рассчитаны, а речь была тихая, плавная, и выражения, употреблявшиеся им в разговоре, большею частью изысканные. В продолжение двенадцати лет моего близкого с ним знакомства не случалось мне видеть, чтоб когда-нибудь он погорячился или заспорил, напротив, при первом возражении кого-нибудь из собеседников, он тотчас же переставал говорить и предоставлял ему продолжение разговора. Вообще все манеры Дмитревского отличались необыкновенною вежливостью, каким-то достоинством придворных века Екатерины, и после того неудивительно, что он умел приобресть такое всеобщее уважение во всех разрядах общества, каким пользовался до самой своей кончины, последовавшей не в 1812 г., как утверждал г. Аксаков, но в 1821 г., на 88-м году от рождения.

Основываясь на рассказах одного старого отставного суфлера, В. А. Б. (смотри «Дневник студента» в «Москвитянине», № 3 1853 года; днев. 4 марта), известного под общим названием д е д у ш к и, который знал коротко всех артистов своего времени (с 1765 по 1803) и при ясном уме соединял необыкновенную в его лета память с детским простосердечием, я был давно предубежден против Дмитревского: «дедушка» не любил его. «Куртизан, — гаваривал он, — настоящий куртизан, эффектщик»; но при первой встрече с Дмитревским предубеждения мои рассеялись совершенно; я не мог постигнуть, как этот знаменитый актер, слава русского театра, изучивший знаменитого Лекена, увлекательного Бризара, необъяснимого Гаррика, чувствительного Офрена, благородного Флоридора, милую Госсен, бурную Дюмениль, непогрешительно-правильную Клерон, с которыми он был знаком дружески, как этот человек, один из старейших членов Российской Академии, повидимому столь скромный, умный, начитанный, высокообразованный, мог в искусстве своем удалиться от натуры и гоняться за одними эффектами, а в общественных сношениях своих унизиться до притворства и лести? Я полагал, что если в рассказах «дедушки» (человека, неспособного ни к каким предубеждениям, а тем более к не-

снисходительному злоречию, потому что он был весь любовь и радушие) и заключалось предубеждение противу Дмитревского, так это потому, что он имел превратные понятия как об искусстве театральном, так об условиях высшего общества и светских приличий, которые «дедушка» изучить не мог, сидя в суфлерском месте своем; однако ж, к сожалению, истину слов его я испытал впоследствии на деле.

Державин представил меня Дмитревскому как молодого писателя с огромным трагическим талантом. «Он сочинил, — говорил Гаврило Романович, — бесподобную трагедию, в которой действие наводит ужас, а стихи так звучны, что, право, не понимаешь, откуда набрал он столько громких слов и сильных выражений. Это будущий Бобров!» (Державин необыкновенно уважал Боброва). Трагедия моя называлась «Артабан» и была, по отзыву князя Шаховского и по собственному моему впоследствии сознанию, смесью чуши с галиматьею, помноженных на ахинею. Чего не было в ней — прости господи! измены и предательства, убийства и кровосмешения, темницы и цепи, бури и наводнения — было все, кроме здравого смысла. Но великий Державин, при всей своей гениальности, был плохой судья в литературе драматической, а сверх того, по необъятной доброте души своей, так был пристрастен к людям, которых почитал себе преданными, и особенно к старым знакомым, что не мог или не хотел видеть в них ни малейших недостатков. Знаменитый поэт любил меня как юношу, восхищавшегося его творениями, и еще более — как внука одного из лучших друзей своих, с которым он некогда так близко сошелся во время губернаторства своего в Тамбове. Вследствие этой рекомендации, Дмитревский просил прочитать ему мою трагедию и пригласил меня к себе на другой день утром.

С какою живою радостью, с каким восхищением прибежал я на другой день к Дмитревскому, таща под мышкою пресловутое свое творение, в достоинстве которого удостоверил меня благоприятный о нем отзыв Державина! Я нашел Дмитревского в том же коричневом кафтане с стальными пуговицами, в каком видел его накануне, в том же шитом камзоле, в кружевных брыже и манше-

тах, словом, одетым чрезвычайно опрятно и сидевшим в вольтеровских креслах. «Очень, очень рад, душа (Дмитревский несколько картавил и в дружеских разговорах употреблял слово «душа»), видеть вас и прослушать трагедию вашу. Милости просим сюда в кресла, а я посижу на диване; но прежде запремся, чтоб нам не помешали», и с этим словом старик встал и запер дверь. «Ну теперь начинайте, душа, да читайте не торопясь: у нас времени много». Я начал. Чтоб придать более силы и выражения стихам своим (в моей трагедии их было около 3000 вместо 1300 или 1400, положенных классицизмом по штату), я стал читать громко, со всем жаром и увлечением записного метромана, как вдруг Дмитревский остановил меня примолвив: «Мне кажется, душа, лучше бы сначала читать не так громогласно, а то э т а к, т о г о и с м о т р и, д о к о н ц а н е д о б е р е м с я». По желанию его, я начал читать тихо и в конце первого действия имел несказанное прискорбие видеть Дмитревского спящим. Я остановился; но эта внезапная остановка чтения пробудила старика, который, спросонья, положил мне руку на колено и вскрикнул: «Прекрасно, душа, прекрасно! продолжайте: очень, очень хорошо. Да на каком, бишь, это мы действии остановились?». При этом вопросе у меня замерло сердце и опустились руки; я хотел было сложить тетрадь свою, но Дмитревский настоял, чтоб я непременно продолжал чтение. Кое-как добрался я до конца своей пьесы при беспрестанных восклицаниях старика: «Прекрасно! бесподобно! восхитительно!» и проч. (произносившихся им, вероятно, для того, чтоб опять не заснуть), но добрался сконфуженный и читал так вяло, что сам чуть было не уснул от скуки. Однако ж надобно было вывести из этого чтения какой-нибудь результат, и я решился просить Дмитревского, чтоб он откровенно сказал мне свое мнение, заслуживает ли мой «Артабан» быть представленным на театре. «А вот видите, душа, — отвечал он мне чрезвычайно ласково, — молвить правду-матку, пьеса-то ваша, при всех достоинствах, немного длинновата, публика не очень ее поймет: ведь она у нас такая прихотливая. . . а к тому же — пусть только это останется между нами — публика не имеет достаточной образованности, чтоб возвыситься до вашей пьесы, для кото-

рой нужна скорее публика французская: вот она-то бы уж похлопала и наверное наградила бы вас вызовом». — «Ну, а расположение трагедии, Иван Афанасьич? а трактация сюжета, а стихи? Это главное — потому что если пьеса только длинна, так можно ее укоротить». — «Да как сказать вам, душа моя? Вот изволите видеть: мне кажется, в 1-м действии экспозиция немножко растянута, и это естественно: вы хотели быть ясным; во 2-м и 3-м сюжет развивается медленно и персонажи недовольно определительно объясняются в своих намерениях, отчего в 4-м происходит какая-то, с позволения сказать, путаница; ну а в 5-м развязка слишком внезапна, да и страшна. . . куда как страшна! иной зритель не усидит, особенно из тех, которые поближе сидеть будут к сцене. Что касается до стихов, то конечно, могли бы быть и лучше — да как быть! зато звучны, очень звучны. А впрочем, душа, все прекрасно, истинно прекрасно!».

Я ушел от Дмитревского совершенно разочарованный насчет огромности трагического своего таланта и вспоминая справедливость слов «дедушки». Вскоре я имел случай встречать Дмитревского почти ежедневно и еще более убедиться в беспрерывных его опасениях огорчить кого-либо неугодным словом. Как часто доводилось мне быть свидетелем весьма странных сцен, в которых врожденная всякому человеку правота боролась в Дмитревском с этими опасениями и, к счастью, иногда побеждая их, проявлялась в ответах его комически-остроумных и мастерски согласованных с характером тех лиц, к которым они относились. Тогда приходило мне на мысль, не проистекает ли это человекоугождение Дмитревского от излишней безусловной доброты его сердца и, может быть, оттого, что он в продолжение долгой жизни своей горьким опытом дознал, что советы редко исправляют, а, напротив, часто обижают самолюбие тех, кому они даются, а обиженное самолюбие н и к о г д а не прощает?

Впрочем, каковы бы ни были причины, заставлявшие Дмитревского действовать таким образом, нельзя не пожалеть, что, по свойству его характера и образу мыслей, все приобретенные им глубокие сведения о театре и сценическая опытность пропали для современ-

ников даром. Покойный Аполлон Александрович Майков справедливо заметил, что Дмитревский «похож на заколдованный сундук, в котором перемешано множество драгоценных вещей с разною ветошью и всяким хламом; этот сундук отворяется для всякого и всякому дозволяется рыться в нем и выбирать любую тряпицу, но драгоценности ни за что никому не даются: они видны, но неуловимы». Для меня всегда странно слышать, когда так называемые знатоки истории нашего театра провозглашают Дмитревского отцом сценического искусства в России, учителем Плавильщикова, наставником Шушерина, образователем Яковлева. Нет. Дмитревский никогда ничьим учителем, ни наставником не был по той причине, что быть ими по природе своей не мог, если бы даже и хотел! Присутствие в почетном кресле на репетициях, в спектаклях театральной школы, прослушивание иногда ролей у молодых нововступающих на сцену актеров и актрис — не значит еще быть учителем и наставником их.[1] Плавильщикова создала страсть к театру, умного Шушерина — расчет: лучше быть актером, чем приказным; он был дитя искусства и в этом случае сходен с Дмитревским. Яковлев — сын природы, бессознательный сценический гений. С молодыми актерами, приходившими за советами к Дмитревскому, он поступал точно так же, как и с молодыми писателями, как поступил и со мною: расхваливал их наповал, ласкал, провожал до лестницы и — только. Никто не вынес от него ни одного настоящего понятия об изучаемой роли, ни одного указания на ее оттенки, ни малейшего наставления о постепенных возвышениях и понижениях голоса, никакого вразумления об искусстве слушать на сцене, искусстве столь же важном и для актера необходимом, как и самое искусство говорить, — ничего, решительно ничего! Это могут подтвердить многие, находящиеся еще в живых актеры и, между прочим, почтенная М. И. Валберхова, актриса умная, с истинным дарованием и отличавшаяся в то время обворожительною наружностью, но для ролей того амплуа, которое ей было предназначено, — амплуа цариц, не имевшая, к сожалению, достаточно сил физических. В продолжение трех лет я был почти ежедневным свидетелем прохождения ее ролей с кн. Шаховским в присутствии Дмитревского — и что ж! Между тем, как Шахов-

ской, фанатик своего дела, выбивался из сил, чтоб передать молодой, прекрасной актрисе настоящий смысл затверженной ею роли, показать ее оттенки, вразумить в ситуацию персонажа, Дмитревский ограничивался одними обыкновенными восклицаниями: «Прекрасно, душа, прекрасно!». Один только раз случилось мне видеть, что Дмитревский посоветовал Валберховой в роли Электры держать урну с предполагаемым прахом Ореста несколько выше и по временам прижимать ее к сердцу. «Вот так, душа, будет эффектнее!». Эффект был душою Дмитревского. Я не видел его на сцене, и по маленькой роли старого служивого, игранной им в 1812 г. в одной патриотической пьесе Висковатова «Всеобщее ополчение», не могу судить об его искусстве; но из всего, что́ слышал я в молодости от старых театралов и, между прочим, от графа А. С. С. и князей Б. и Ю. (бывшего директором театра), истинных и просвещенных любителей и покровителей сценических талантов, Дмитревский точно был превосходным актером в комедиях, особенно в ролях резонеров, но в трагедиях был гораздо слабее, и для них, видевших все сценические знаменитости тогдашнего времени, далеко не безукоризнен, напыщен и холоден. По словам их, «c'était un acteur sage, mais sans entrain et qui se possédait même dans les endroits les plus pathétiques; toujours coquet et visant aux effets, le seul rôle, où il a été véritablement beau, c'est le rôle de Titus dans la tragédie du même nom et c'est justement parce que c'est un rôle froid, tout en récit et raisonnements tant soit peu boursoufflés». И в самом деле, на какие роли и какие места в этих ролях, в которых Дмитревский почитался превосходным, указывает нам предание? На I сцену V действия «Димитрия Самозванца», в которой, при звуке колокола, он вскакивает с кресел:

В набат биют; сему биенью что причина?
В сей час, в сей страшный час пришла моя кончина.
О ночь, о грозна ночь! о ты, противный звон!
Вещай мою беду, смятение и стон! и проч.;

на сцену Росслава, в которой этот последний, ударяя себя в грудь, беспрестанно повторяет:

. . . Я росс, я росс!

на последнюю сцену трагедии «Синав и Трувор», в которой Синав, карикатура Расинова Ореста, с четверть часа беснуется на сцене без всякой надобности:

Туман от глаз моих скрывает солнца свет!

и далее:

Но кто, поверженный, там очи к небу мещет?
Какой несчастливый в крови своей трепещет?
Едва, едва дыша томится человек. . .
То Трувор, брат мой то! ах, он кончает век!

и проч. и проч. Но эти самые места и доказывают, что талант Дмитревского производил впечатление на зрителей большею частью в сценах неестественных, в ролях персонажей характеров уродливых, которые для исполнения их не требовали от актера ни чувства, ни увлечения. Для предков наших, видевших Дмитревского в этих ролях и не видавших ничего лучшего, он точно показаться мог чудом искусства; но это еще не доказательство, чтоб он в сущности был великим, самостоятельным актером, за какого хотят непременно нам его выдать; а еще менее, чтоб он был образователем Плавильщикова, Шушерина и особенно Яковлева, не имевшего с ним во всех отношениях ни малейшего сходства. Учениками великого мастера могут почитаться только те, которые усвоили себе манеру своего учителя; так, например, великолепную актрису Жорж можно было назвать ученицею знаменитой актрисы Рокур, потому что она была живая Рокур, хотя и в совершеннейшем виде; живописец Боровиковский несомненно был учеником Лампи, потому что произведения Боровиковского нельзя почти отличить от произведений его учителя; точно так же, кто, слышавший один раз Паганини, не признает в скрипачах Сивори и Контском учеников его? Но Яковлев не был не только учеником, но даже и подражателем Дмитревского, потому что, по своенравной натуре своей, он с самого вступления на сцену не хотел слушать Дмитревского. «Хорошо или дурно я играть буду, о том пусть решает публика; а уж обезьяною никогда не буду». Вот что говорил молодой купец Яковлев Дмитревскому при самом вступлении своем на сцену, кажется, в 1794 г. Дмитрев-

ский и Яковлев были совершенные антиподы в отношении к дарованиям, мыслям, чувствованиям и воззрению на искусство. Плавильщиков, Шушерин и впоследствии Яковлев вступили на петербургский театр в то время, когда Дмитревский, окончив в 1787 г. сценическое свое поприще, оставался только режиссером придворного театра. Разумеется, эти молодые артисты более или менее были от него в зависимости, и вот почему вскоре укоренилось в обществе мнение, что он был их образователем. Но если он может назваться настоящим образователем кого-нибудь из актеров, то скорее всего Лапина, который поступил на театр между 1778 и 1780 годами, играл вместе с Дмитревским, имел все его приемы, его дикцию, отличался в тех же ролях, в каких отличался и Дмитревский, например в роли Тита в «Титовом милосердии», — словом, был живая с него копия со всеми его достоинствами и недостатками; но Лапин вскоре (в 1784 или 1785), по каким-то неудовольствиям с великим актером, отправился в Москву и поступил на театр Медокса, человека необыкновенно умного, знатока своего дела и отличного директора театра, который умел находить и ценить таланты. Лапин был высокий, красивый мужчина, с выразительною физиономиею, и современные театралы не иначе называли его, как русским Ларивом (проименование русского Лекена оставалось за Дмитревским). На место Лапина принят был Плавильщиков, но и он как-то не ужился с своим режиссером и также уехал в Москву под крылышко Медокса, и тогда, наконец, благодаря Н. И. Перепечина, отыскавшего в какой-то лавчонке Гостиного двора молодого сидельца, декламировавшего трагедии, явился на сцене звездою первой величины Яковлев, который с самого почти появления своего затмил своих предшественников и заставил почти забыть самого Дмитревского. Огромный успех Яковлева не совсем был пó сердцу нашему Лекену, и это доказывается тем, что в 1797 г. он не допустил его играть в «Димитрии Самозванце» (представленном при дворе) роль самого самозванца, но играл ее сам, хотя около десяти лет уж не был на сцене; а преклонные его лета, совершенно ослабевший организм и увеличившееся трясение головы вовсе не соответствовало самому характеру роли. Этот чрезвычайный успех нового актера как ни был несогла-

сен с видами Дмитревского, однако ж умный и осторожный старик, рассчитывая, что с расположением публики к молодому артисту шутить небезопасно, принялся ему покровительствовать из всех сил, и своенравного двадцатитрехлетнего юношу провозгласил под рукою лучшим и любимейшим учеником своим, присовокупив, однако ж, к тому, что он упрямец и большой неслух. До самой кончины своей Яковлев был за то признателен Дмитревскому и, несмотря на частые с ним размолвки, вследствие неумеренных возлияний Бахусу на веселых пирушках, сохранял к нему искреннюю любовь и уважение; в то время эту признательность проявил Яковлев в сочиненной им надписи к портрету Дмитревского, писанному знаменитым Лампи в костюме Олега, надписи, которая по тогдашнему времени могла назваться недурною:

Се лик Дмитревского, любимца Мельпомены,
Который русский наш театр образовал,
Искусством коего животворились сцены:
Он Гаррика в себе с Лекенем сочетал! [1]

Несмотря на все данные, на основании которых Дмитревского нельзя признать ни великим актером, ни великим образователем юных талантов, он был, однако ж, человек необыкновенно полезный на своем поприще; и если Волков заслуживает название основателя русской сцены, то Дмитревскому принадлежит не менее почетное название распространителя сценического искусства в России и деятельного просвещенного исполнителя и совершителя намерений великой монархини во всем, что только могло относиться до внутреннего управления и распоряжения театром, о котором прежде имели столь превратные понятия. Ему и ему только одному обязаны мы, что русская сцена облагорожена, и существовавшее тогда на театре гаерство в конец истреблено и уничтожено. Он первый подал пример, как должен вести себя настоящий артист и до какой степени уважения может он достигнуть при надлежащих познаниях, неукоризненном поведении, проникнутый сознанием своих обязанностей. В этом отношении заслуги Дмитревского неоценимы. Не говорю о его глубоких сведениях в классико-драматической литературе:

это было необходимою принадлежностью его звания; но какими обширными познаниями в области других наук обладал этот человек — право, непостижимо! Как знал он историю, географию и статистику — разумеется в тех пределах, в которых они в его время существовали! А память, память! Он мог рассказать биографии всех замечательных лиц XVIII столетия, знал все закулисные тайны французского и английского театров; знал характеры, привычки и связи принадлежащих к ним артистов; знаком был с Калиостро и Казановою, беседовал с Шведенборгом и Поль-Джонсом — словом, память его была неистощима, а мастерство и очаровательность рассказа в дружеской беседе с людьми, которые были ему по сердцу и по его мерке, за стаканом легкого пунша, поистине необыкновенны!

Я пользовался благосклонностью Дмитревского, и он часто бывал у меня в 1811 г. в то время, когда я жил вместе с князем Шаховским в доме Ефремова, у Харламова моста. По совету его, я тогда занимался переводом «Атрея», предпринятым для бенефиса Яковлева.*

* Тут совершенно убедился я в страсти Дмитревского к эффектам. Окончание «Атрея» очень просто: после того, как Фиест, увидев в поднесенной ему примирительной чаше, вместо вина, кровь, и узнав, что это была кровь его сына, закалывается, проклиная Атрея и предрекая ему различные бедствия, этот аргосский пострел говорит только три стиха:

> . . . à ce prix j'accepte le présage;
> Ta main en t'immolant a comblé mes souhaits
> Et je jouis enfin du fruit de mes forfaits.

Кажется, делу бы и конец; но Дмитревский настоял, чтоб я приделал новую тираду вроде исступлений орестовых; и когда, в угодность ему, я присочинил известную тогда знаменитую галиматью, в которой были, между прочим, следующие стихи:

> Быв здесь разлучены, нас вместе ад не примет,
> И тень моя твоей там тени не обымет.
> Пусть боги мещут гром и тьмою кроют свет,
> Хвала им: я отмщен — и зрю в геенну след. . .
> Разверзлися пред мной предвечные заклепы
> И Фурий на меня стремится полк свирепый;
> Уста их точат яд, кровь каплет из очей. . .
> Кому сии венцы плетут из черных змей?
> Кому во дланях их кинжалы остры блещут?
> Стремятся — прочь! — Меня и Фурии трепещут.

Он следил за моим переводом; но я так дорожил посещениями Дмитревского, что не только не смел занимать его чтением моей дребедени, а напротив, отклоняя его приглашения, приказывал подавать чай, заводил речь о его путешествии во Францию и Англию, заговаривал об известных артистах того времени и проч. и проч. Тут-то надобно было послушать старика! И я до сих пор живо помню многие из любопытных его рассказов о французских и английских актерах, о Гаррике, о тогдашнем состоянии французской литературы и академии, о вельможах и придворных французского двора и проч. Попытаюсь передать, как сумею, один из этих рассказов о первом знакомстве Дмитревского с девицами Клерон и Дюмениль.[1]

«Первый визит мой был, — говорил Дмитревский, — к мамзель Клерон, потому что тогда она была в большой приязни с любимцем короля и другом Вольтера, маршалом Франции дюком де Ришелье, которого называли „le sultan de la Comédie Française“ (после они поссорились). Она жила в улице Chaussée d'Antin и занимала довольно большой дом. Меня ввели в гостиную, убранную со всем возможным великолепием. На передней стене висел огромный портрет хозяйки дома в роли Медеи, писанный знаменитым Ванло; на другой — портрет какого-то немецкого маркграфа. Минут через пять вышла ко мне молодая девица, лет 18, высокая, стройная, черноволосая, довольно смуглая, но с необыкновенно выразительным лицом и огненными глазами: это была девица Рокур, ученица г-жи Клерон и впоследствии знаменитая актриса. Она объявила мне, что мамзель Клерон занята очень нужным делом и извиняется, что принуждена заставить меня ждать несколько минут. Разговаривая с девицею Рокур, я и не заметил, как протекли эти минуты,

---

и далее:

Явится тень моя, злодейством знаменита,
Обиду брату мстить и на брегах Коцита!

Дмитревский обнял меня с величайшею нежностью, примолвив: «Браво, душа, браво! Вот тут-то нашему Алексею (Яковлеву) будет где поразгуляться!». Князь Шаховской справедливо заметил: отчего приходить в бешенство Атрею, когда он отмстил брату и достиг своей цели? — «Как отчего? — возразил Дмитревский, — от радости, ваше сиятельство, от радости!».

и вот отворилась дверь и показалась сама хозяйка, разряженная в пух, в платье с шлейфом и в фижмах, с высокой прической à la corbeille, набеленная, нарумяненная и с мушкою на левой щеке, что означало на модном языке того времени: неприступность. Девица Клерон была роста чрезвычайно малого, но держала себя очень прямо и походку имела важную и величественную. Лицо ее было несоразмерно велико противу ее статуры (собственное выражение Дмитревского), но черты лица были правильны: римский нос, глаза большие, хорошо врезанные и выразительные, зубы белые и ровные, которыми, казалось, она щеголяла, а руки — совершенство в своем роде: таких рук никогда не случалось мне видеть, но зато телодвижения ее были несколько принужденны, guindés. Не говоря еще с нею, я успел заметить, что она была пресамолюбивая кокетка. И в самом деле, посадив меня на табурет (на кресла сажала она только самых почетных гостей), она ни с того, ни с другого начала говорить о своих связях, о своих успехах на театре, о влиянии, которое она имеет на своих товарищей (sociétaires), о совершенном преобразовании сцены и театральных костюмов, ею задуманном и исполняемом Лекеном по ее плану и указанию; что настоящее ее амплуа роли принцесс (des grandes princesses), как то: Медеи, Гермионы, Альзиры, Пальмиры, Аменаиды, Роксаны, Электры и проч., и что роли цариц и матерей предоставила она бедной Дюмениль, которая исполняет их кое-как (à cette pauvre femme de Dumesnil, qui s'en acquitte cahin-caha) и проч. и проч. Об искусстве собственно ни слова и ни слова также о предметах, писанных ей в поданном мною рекомендательном письме, которое она пробежала мельком, примолвив: c'est bon. Затем распространилась она о девице Рокур и Ларива, которых театральное образование приняла на себя, и жаловалась на недостаток их способностей и непонятливость, leur manque d'intelligence (Рокур и Ларив непонятливы и без способностей!), но изъявляла надежду, что неимоверные труды ее, настойчивость и средства, придуманные ею к передаче ученикам своим всех тайн искусства, со временем увенчаются успехом; словом, я вышел от Клерон, не слыхав ничего другого, кроме похвал ее самой себе и, крайне не-

довольный сделанным ей визитом, отправился к Дюмениль в улицу Marais, где жила она в небольшой квартире третьего этажа. Я позвонил; меня встретила женщина лет сорока, которую я принял за кухарку: растрепанная, в спальном чепце набекрень, в одной юбке и кофте нараспашку, с засученными рукавами; в передней две женщины полоскали какое-то белье; на окошке облизывался претолстый ангорский кот, и вот какая-то паршивая собачонка с визгом бросилась мне под ноги. Я отступил, полагая, что ошибся нумером квартиры и зашел к какой-нибудь прачке: „Pardon, madame; mais j'aurais désiré de parler à m-lle Dumesnil". — „C'est moi, monsieur, — отвечала прачка, — qu'y a t'il pour votre service?". Я остолбенел! — „Il y a, madame, que j'ai une lettre de recommandation pour vous et je suis bien heureux d'avoir l'honneur de parler à la célèbre tragédienne". Она взяла письмо, мигом пробежала его и бросилась обнимать меня: „Comment, c'est vous, monsieur! mais savez-vous que je suis enchantée de vous voir. J'ai été prévenue de votre visite et je vous attendais — oh! comme je vous attendais! Mais c'est véritablement un plaisir pour moi que de faire connaissance avec un homme doué d'un aussi beau talent (в рекомендательном письме я был расхвален на чем свет стоит), comme vous et qui en même temps désire de s'instruire pour être utile à son pays. Tenez, je vais vous donner tout de suite un billet pour le spectacle de demain". С этим словом побежала она в какую-то темную каморку, притащила небольшой ящик, выхватила из него несколько билетов и, подавая их мне, продолжала: „Voici pour vous et vos amis si vous en avez. Je joue «Mérope». Je la joue bien et je la jouerai encore mieux en votre honneur: vous serez content de moi. En attendant, pardon, je suis dans mon jour de ménage. N'oubliez pas, que tous les jours depuis midi jusqu'à l'heure du spectacle, je suis chez moi pour tout le monde; mais vous particulièrement, vous me trouverez à toutes les heures du jour le matin comme le soir et j'éspère que nous causerons souvent et suffisamment; ah! nous causerons bien, n'est-ce pas? bon jour". С последним словом она только что не вытолкала меня за дверь. Этот бесцеремонный, радушный прием восхитил меня до чрезвычайности. Дюмениль была женщина более нежели среднего роста,

довольно плотная, с доброю подвижною физиономиею, имела сильный, звучный и вместе приятный орган, достигавший до сердца, говорила быстро, и заметно было, что она говорила только то, чтó чувствовала; все движения ее были просты и натуральны, хотя и не отличались величавостью; но увидев на сцене Дюмениль, забудешь о величавости. Я изучал ее в ролях Меропы, Клитемнестры, Семирамиды и Родогуны: игра безотчетная — но какая игра! Это непостижимое увлечение: страсть, буря, пламень! Подлинно великая, великая актриса! Ее упрекали в недостатке благородства на сцене и уверяли, что она придерживалась чарочки; но бог с ней! Без недостатков и слабостей человек не родится: надобно довольствоваться и тем, если в нем сумма хорошего превозвышает сумму дурного; а недостатки в Дюмениль в сравнении с высокими ее качествами — капля в море».

Я мог бы рассказать много подобных анекдотов, слышанных мною от Дмитревского, если б не боялся наскучить своею болтовнею и если б не должен был еще говорить о другом, важнейшем предмете, то есть о лучших наших трагиках, постепенно являвшихся на сцене после Дмитревского, которых я видел, изучал и с которыми большею частью был коротко знаком в свое время. Рассказы мои о самом Дмитревском не что иное, как только одно вступление к другому, более обширному рассказу, и предлагаются единственно в том намерении, чтоб доказать несправедливость мнения, выдающего нам Дмитревского за образователя некоторых наших самостоятельных талантов. Suum cuique! Достаточно для него того уважения и той славы, которые приобрел он другими отличными качествами своего ума, своих познаний, своей многолетней деятельностью и даже своего таланта, если не самостоятельного, то, без сомнения, в высокой степени подражательного. Однако ж не могу расстаться с Дмитревским, не приведя нескольких примеров удивительной его находчивости в тех затруднительных и деликатных случаях, в которых он иногда находился вследствие своих отношений к литераторам, артистам и другим знакомым, поставлявшим его в необходимость сказать им горькую и обидную для самолюбия их истину, или, унизив себя очевидною им потачкою, обнаружить пред обще-

ством слабость своего характера. С глазу на глаз — другое дело; но при свидетелях — боже избави!

Державину очень хотелось видеть на сцене трагедию свою «Евпраксия»; но князь Шаховской не любил подобных произведений, кому бы они ни принадлежали, и потому не принимал ее, под предлогом недостатка денег в кассе на обстановку пьесы, требовавшей великолепного спектакля. Державин, потеряв терпение, решился, наконец, отнять всякий предлог к отказу и поставить пьесу на свой счет, о чем и поручил мне объявить Шаховскому, потому что я жил тогда вместе с Шаховским. При этом объявлении Шаховской вспыхнул, как бурак, и комически разразился на меня всеми швермерами [1] своего гнева. «Это все, братец, ваши затеи с К*, а старику и в голову бы не пришло ставить трагедию; шематоны вы этакие!». Приятельница его Катерина Ивановна Ежова — женщина добрейшая (она до такой степени баловала меня, что даже неразлучного моего товарища, лягавую собаку Цыгана, кормила рябчиками, в предосуждение аппетита Шаховского), но одаренная таким могучим контральтом, что князь Шаховской трепетал перед нею — живо приняла мою сторону. «Ну, что ты в самом деле, князь, упрямишься? Только наживаешь себе неприятелей. Упадет трагедия, так пусть упадет — тебе какое дело! О костюмах заботиться нечего: русские взять из „Русалки", а татарские из „Невидимки" да „Ильи Богатыря"». Князь Шаховской захохотал и, обратясь к сидевшему тут Дмитревскому, сказал: «Вот поди ты с ней! Ей вздумается, пожалуй, представить и „Гектора"».* — «А что ж, ваше сиятельство, — возразил Дмитревский, — Катерина Ивановна рассудила умно: отказом вы только обратите на себя негодование Гаврилы Романовича, и я, право, думаю, что лучше согласиться». — «И вы

* Трагедию, присланную на просмотр кн. Шаховскому Иваном Семеновичем Захаровым, известным сочинителем «Похвального слова женам», и посвященную ему каким-то приказным писакою. В ней Андромаха для освобождения из заключения Гектора, своего супруга, подкупает темничного стража за три тысячи червонных, в то время, когда кулисы, как сказано в выноске, должны были представлять молнию и гром.

туда же, Иван Афанасьич! — завопил Шаховской, — а я полагал, что вы уважаете Державина и любите его славу». — «Ну, конечно, люблю, но люблю и ваше сиятельство, и потому-то думаю, что лучше согласиться, а там — что бог даст!». Шаховской решился принять трагедию, но с тем, чтоб сделаны были в ней некоторые изменения и сокращения. На другой день я известил о том Державина, который, в восхищении, тотчас же пригласил к себе Дмитревского. «Вот, Иван Афанасьич, „Евпраксию“ мою просят на театр, но с тем, чтоб сделать в ней кой-какие перемены. Пособи, пожалуй: тебе со стороны виднее». — «Знаю, знаю, и я уж читал вашу трагедию, раза два читал от первого до последнего стиха, и, признаюсь, ничего не нашел, что бы переменить было должно: все так превосходно, истинно-превосходно!». — «Однако ж нельзя не потешить Шаховского, надобно что-нибудь переделать, а иное и выкинуть». — «Ну, конечно, если уж непременно вам угодно, то мне кажется, что вместо убиения русскими князьями Батыя, можно было бы пригвоздить его, как Прометея, к какой-нибудь скале, да и заставить проговорить тираду посильнее, стихов в двадцать пять: будет эффектно, очень эффектно! Только я должен вам откровенно доложить, что я полагал бы лучше вашу бесподобную трагедию представить у вас на домашнем театре: ведь издержки-то будут одни и те же, а между тем декорации и костюмы остались бы дома. Театр у вас прекрасный, да и актеры-то, право, не уступят придворным, хоть бы, например, Петр Иваныч,* Степан Петрович ** и Вера Николавна *** с сестрицею и братцами: ведь представляли же вашу „Федру“ прекрасно; а то возиться и хлопотать, а пуще обрезывать или переменять сцены у такого сокровища — для неблагодарных!». — «И вестимо так, — подумавши сказал простосердечный поэт. — Спасибо, Иван Афанасьич, за совет. Сыграем ее дома, а ты уж, братец, одолжи меня, похлопочи за репетициями».

Князь Шаховской был очень рад, что дело обошлось без него, и при всяком свидании благодарил Дмитревского, что избавил его

* Соколов, уже умерший.

** Пишущий сии строки.

*** Львовы — племянницы и племянники Гавриила Романовича.

от возни и хлопот. «Не за что, не за что благодарить меня, ваше сиятельство, — говорил Дмитревский. — Это услуга не вам, а Гавриилу Романовичу».

После представления «Атрея» в бенефис Яковлева собрались к нему на вечеринку все его приятели, в числе которых был и Дмитревский, занимавший у Яковлева почетнейшее место. Судили, рядили, спорили о трагедии и актерах и, в ожидании закуски, пили пунш, не жалея французской водки, и, разумеется, все сделались отменно веселы. Тогдашнее угощение было неразорительно. Почтенный Василий Михайлович Федоров, сослуживец мой по Коллегии иностранных дел, автор драмы «Лиза, или Торжество благодарности», и Степан Иванович Висковатов, известный автор трагедии «Ксения и Темир», подсели к Дмитревскому и завели с ним речь о составе французской комедии во время двукратной бытности его в Париже, и в особенности о Лекене, любимейшем предмете его разговоров. Между тем закадычный друг Яковлева, добрейший малый, хотя и довольно пустой человек, Сергей Иванович К*, подбежав к Дмитревскому, вдруг спросил его: кто в бытность его в Париже играл «Атрея» — Лекен или другой актер? Тот отвечал, что в его время «Атрея» на французском театре более не давали, потому что в ходу были вольтеровы пьесы, да и никто из великих актеров не хотел принять на себя эту неблагодарную роль, особенно Лекен, которого высокий талант как-то не согласовался с этою ролью, а прочие роли ничтожны, да и трагедия сама по себе, несмотря на мрачность сюжета, несколько холодна. — «Если так, то отчего же присоветовали вы Жихареву перевести „Атрея" для бенефиса Алексея Семеновича?». — «Оттого, душа, что молодому человеку при легкой должности не баклуши бить, а заниматься же чем-нибудь; да и роль-то Атрея нашему Алексею по плечу: он хорошо ее понял, а в последней сцене примирительной чаши и во всей приделанной тираде был точно ужасен и произвел большой э ф ф е к т». — «Так вы считаете, — возразил К., — что Алексей Семеныч выше вашего Лекена?». — «Ростом, душа, гораздо выше: вершка на три будет», — отвечал Дмитревский, которому, видно, надоели расспросы К. Все захохотали. «А чему смеетесь вы?», — подхватил подошедший

бенефициант. К. тотчас передал ему слова Дмитревского. «А ты веришь этой старой лисице? — вскрикнул вдруг обидевшийся и разгоряченный пуншем Яковлев, — Ростом выше, одним только ростом? Ну что его Лекен, да и сам-то он что? Им и во сне не грезилось так играть, как я сегодня играл». И он заревел:

. . . Отмщенья полн
Без страха преплыву чрез сонмы адских волн,
Явится тень моя, злодейством знаменита (указывая на Дмитревского),
Обиду брату мстить и на брегах Коцита!

«Ну, что скажешь, мусье Лекен-Дмитревский? Ноги-то у тебя колесом, голоса нет, груди не бывало, косноязычен — так, мямло». — «А вот что скажу, душа, — очень хладнокровно отвечал Дмитревский, — что если бы третьего дня не занял я у тебя на нужды сыну ста рублей, то я бы наговорил тебе таких вещей, каких ты от роду не слыхивал!». Все расхохотались. Яковлев также и бросился Дмитревскому в ноги. Старик знал Яковлева коротко и был уверен, что этот человек, забывавший так часто в продолжение двадцати лет должное к нему уважение, в нужном случае кинется за него в воду.

Многие утверждают, что Дмитревский играл в пьесе кн. Шаховского «Встреча незваных», данной будто бы в бенефис вдовы Яковлева по смерти его, в 1817 г. Это неправда: в это время он был опасно болен.

II

Для основательного суждения о степени значения наших трагических актеров в области сценического искусства и беспристрастной оценки их талантов, заслуживших от самих иностранцев полное уважение,* надобно принять во внимание, что все они, до Брян-

* Выписка из моего дневника: «9 генваря 1809 года. Вчера вечером сидел у графа Монфокона [а] и встретил Лароша.[б] Он играет завтра «Танкреда» и очень боится за себя. Он прав: в 60 лет играть «Танкреда», которого не играл около 30 лет (последний раз в Лионе)! Что ж делать, играть больше некому! Танкред

а Старого знатного эмигранта, прежде страстного посетителя (habitué) французской комедии (Comédie française), приятеля Лекена и некогда счастливого обожателя Дюкло, соперницы Лекуврер.

б Талантливый ветеран тогдашней французской труппы в Петербурге.

ского и Каратыгина включительно, образовались под влиянием доходивших до них преданий о французской классической декламации и что все почти трагедии, представляемые на русском театре, в которых они по главному своему амплуа занимали прежде роли, были составлены по образцу французских классических пьес или просто переводились с французского. К этому должно присовокупить и те обстоятельства, в которых трагические актеры наши принуждены были находиться в отношении к исполнению своих ролей и требованиям современной им публики. Смотреть на них с другой точки, полагаю, было бы несправедливо. Если б Плавильщиков, Шушерин, Яковлев и Брянский были на сцене французского театра, имели другой партер и были актерами исключительно трагическими, они не уступили бы, может быть, если не Лекену и Тальме, то уж конечно ни Бризару, ни Монвелю, ни Лариву и проч., потому что не принуждены были бы совращаться с того единственного пути, который в искусстве ведет к цели, называемой совершенством; но когда актер сегодня играет Ярба, а завтра — негра Ксури, сегодня Агамемнона, а завтра — Мейнау, сегодня Ахилла, а завтра — Бургомистра Вольфа, сегодня — первосвященника Иодая, а завтра — рекрута Фрица в «Сыне любви», то, воля ваша, актеру трудно усовершенствоваться. Прежде ни один знаменитый классический трагедиант не решался нисходить до драмы, и самые пьесы Дидро «Отец семейства» и «Беверлей»,[1] несмотря на влияние, какое автор их по связям своим имел на французских актеров, представлены были актерами второстепенными (doublures). То же можно сказать и о первостепенных актерах романтических: ни Гаррик, ни Кембль,

---

стар, зато Аменаида молода. Ларош уверяет, что Жорж увлекательна, и это страшит его еще более. Старые французы толковали о нашем театре: Ларош хвалит Яковлева и Семенову, Шушерина и Сахарова: les premiers trois surtout sont des talents de premier ordre. Но фаворит его — Рыкалов; говорит, что он один из лучших актеров в Европе pour les rôles à manteaux et les financiers. Сказывал, что Дюкруаси, несмотря на то что одного с ним амплуа, est enchanté de lui dans les comédies de Molière. Ларош отзывается о Крутицком как о гении: «C'était un génie, un autre Préville et certes le théâtre russe possède des grands talents, mais il lui manque l'ensemble, qui est presque tout. L'ensemble fait oublier quelque fois l'absence des talents».

ни Кин, ни Эк, ни Ифланд, ни Померанцев, ни Крутицкий не принимали на себя ролей классических. Кембль попытался было сыграть Катона Адиссонова, но эта попытка обошлась ему дорого; а для представления трагедии «Сицилийские вечерни» не нашлось в Англии хороших актеров. Нет сомнения, что в отношении многосторонности дарований прежние наши актеры заслуживают преимущественное уважение пред дарованиями современных им актеров иностранных театров; но для совершенного исполнения специального дела нужен и талант специальный; иначе уделом его будет посредственность. Мы, русские люди, в обыкновенном быту имеем свой взгляд на предметы: дай нам лошадь, которая бы возила воду и воеводу, собаку, которая бы стерегла двор и ходила под ружьем, дай нам повара, который бы ездил кучером, и музыканта, который бы служил ловким лакеем. Все это прекрасно и очень покойно, и я сам не против этого; но в таком случае не надобно желать совершенства и требовать, чтоб хороший классический трагедиант исполнял так же хорошо роли Ксури и Фрица, как исполняет он роли Эдипа или Агамемнона, и обратно. Классическому трагедианту для достижения возможного совершенства в своем искусстве нужны глубокие сведения во многих отраслях наук; ему надобно много учиться и размышлять, и он не может тратить времени для наблюдения за мелочными случаями обыкновенной частной жизни, которое так необходимо для актера романтического. Мне скажут: да вы отъявленный партизан классицизма! Нет, я не классик и не романтик: с равным удовольствием смотрю на трагедию и драму, на Рашель и Вольнис в тех пьесах, где они хороши, и так же искренно, от души, любуюсь игрою крестника моего, В. В. Самойлова, и любовался игрою сестры его, Веры, как некогда любовался Семеновою и Яковлевым, Тальмою и Дюшенуа, единственно желая, чтоб процветал наш театр и совершенствовалось искусство — а для этого, чтоб всякий артист имел свое назначение, сообразно тем дарованиям, какие он получил от бога.

Я упомянул о преданиях французского классического театра, руководствовавших наших трагедиантов на сценическом их поприще, и полагаю нелишним объяснить, в чем заключались эти предания

и как образовалось, развивалось и усовершенствовалось классическое драматическое искусство.

Игра французских актеров имела еще до Барона, величайшего актера тогдашнего времени, свои непреложные законы: ни один актер, как бы ни был любим публикою, не смел выходить из тех пределов, какие ему этими законами были предначертаны: строгость партера, неподкупного в своих суждениях, охраняла их. Этот партер состоял из знатоков драматического искусства, не поддававшихся никогда минутному увлечению чувствительности или влиянию побочных обстоятельств, до частной жизни актера относящихся. Страстные любители театра посещали его ежедневно не для того, чтоб слышать и видеть пьесу, которую они слышали и видели сотни раз и знали всю наизусть, но для того чтоб слышать и видеть, так ли известный актер сыграет известную сцену сегодня, как сыграл ее вчера, или так ли другой актер произнесет такую-то фразу или тираду, как произносил его предшественник. Актеру дозволялось играть таким образом, какой мог быть согласнее с его средствами, то есть с бо́льшим или меньшим воодушевлением, с большим или меньшим возвышением или понижением голоса, но он не должен был не только изменять характера представляемого им лица, но и отступать от усвоенных ему положений на сцене. Исключения были редки и прощались единственно артистам гениальным, которые приобрели настолько доверия и уважения публики, что могли отважиться на какое-нибудь нововведение в свои роли и, в случае успеха, сделаться для других образцами. Так мало-помалу составились п р е д а н и я, которые существовали со времени Барона и до Рашели включительно,* и вот несколько примеров, как из этих

* То есть до тех пор, пока она не променяла первоначальной простоты своей дикции на какую-то искусственную, жертвуя всем пластике, даже иногда смыслом стихов, ею произносимых; и вот тому доказательство. В последней сцене 4-го действия «Федры» Рашель вместо того, чтоб, по примеру великих своих предшественниц, сказать известные стихи: «Détestables flatteurs» и проч., с воплем отчаянного негодования и раскаяния изнемогающей женщины удаляется в глубину сцены, становится в позитуру древнего оратора, поднимает руку и громовым, цицероновским голосом, в виде нравоучения, произносит, обращаясь к партеру:

преданий образовались для трагической декламации и сопряженной с нею пантомимой постоянные правила. Митридат, в Расиновой трагедии того же названия, закоренелый враг и ненавистник римлян, узнав о приближении их, внезапно вскрикивает: «Les Romains!». Все актеры, игравшие роль Митридата до Бризара, с восклицанием: «Les Romains!» становились в гордую, презрительную позитуру и обнажали мечи, как бы неустрашимо ожидая римлян; но Бризар, напротив, при известии о приближении римлян, внезапно, как бы ужаленный змеею, схватывал со стола шлем и с неистово-радостным криком поспешно надевал его на голову и тогда обнажал уж меч. Эта скорость движения, этот шлем, так быстро наброшенный на голову и вдруг увеличивший и без того уж замечательный рост актера, производили необыкновенное впечатление, и с тех пор все актеры, игравшие роль Митридата — Офрен, Монвель,* Сен-При и даже толстый хрипун, но увлекательный Делиньи, стали подражать Бризару.

Известные стихи в рассказе Эдипа, в трагедии Вольтера «Эдип»: «J'étais jeune et superbe» и проч. со времени Дюфрена произносимы были всеми актерами с какою-то гордостью и самохвальством, и ни Лекен, ни Ларив не произносили их иначе — до Тальмы, который изменил совершенно интонацию этих стихов и усвоенную им пантомиму: вместо гордого, самонадеянного и повелительного царского вида Тальма принимал положение смиренное и, потупив глаза, как бы стыдясь своего поступка, с трогательным чувством сожаления и раскаяния произносил: «J'étais jeune — et superbe!»

Détestables flatteurs, présent le plus funeste,
Que puisse faire aux rois la colère céleste.

Правда, все это делает она прекрасно и грациозно; да разве это Федра? И не покажется ли после того справедливым замечание одного из старых наших театралов: qu'elle frappe plus fort que juste. Попытайся она пропеть эти стихи таким же образом пред прежним партером французского театра, это не прошло бы ей даром. Зато, верная преданиям, роль Гермионы она выполняет в совершенстве.

* Отец и образователь незабвенной г-жи Марс, актер очень невеликий ростом, уродец, но великий талантом, умом и чувствительностью.

и одним этим полустишием умел трогать душу.* Роль Федры создала актриса Шанмеле (Champmêlé), которая в сцене с Ипполитом произносила известный стих:

Au défaut de ton bras, prête moi ton épée,

с умоляющим видом протягивая руки и становясь почти на колени, что́ и было исполняемо всеми актрисами до Адриенны Лекуврер; но эта молодая, прелестная, одаренная в высшей степени чувствительностью актриса отважилась изменить пантомиму сцены с Ипполитом и при словах:

Au défaut de ton bras, prête moi ton épée,

с воплем бросалась на меч Ипполита и вырывала его из ножен. Движение Лекуврер перешло в предание.

Вот еще пример: в известных импрекациях ** Клитемнестры Агамемнону, в трагедии «Ифигения в Авлиде», импрекациях, необыкновенно сильных и требующих от актрисы неимоверного одушевления и могучих средств —

Oui, vous êtes le fils d'Atrée et de Thyeste. . .

---

* Наш Яковлев угадал верность произношения этих стихов Тальмою. Я живо помню, как прекрасно играл он Эдипа в трагедии Грузинцева «Эдип царь» и какой высокий талант обнаружил он в сцене рассказа. К сожалению, тогдашняя публика не поняла его. То же случилось с ним и в трагедии Озерова «Поликсена», в которой занимал он роль Агамемнона. С каким неизъяснимым чувством и достоинством произносил он следующие стихи, ответ Пирру, требовавшему Поликсены в тризну Ахиллу и напоминавшему, что он некогда и сам не пожалел предать на заклание в жертву дочь свою, Ифигению:

«Я молод был тогда, как ныне молод ты;
Но годы пронесли тщеславия мечты,
И, жизни преходя судьбой пременно поле,
Стал меньше пылок я и жалостлив стал боле;
Несчастья собственны заставили внимать
Несчастию других!» и проч.

И что ж! вся эта сцена прошла почти незамеченною у большей части публики, и только немногие умели оценить великого актера.

** Прошу извинения за употребление французского выражения, которому не мог приискать равносильного русского. Упрек, проклятие и другие, по мнению моему, не выражают технического слова impréсation,

далее:

> Bourreau de votre fille, il ne vous manque enfin
> Que d'en faire à sa mère un horrible festin. . .

и наконец:

> Venez, si vous l'osez, l'arracher à sa mère!

все актрисы, игравшие Клитемнестру, бросаясь на Ифигению, обхватывали ее и самонадеянно, как бы пренебрегая могуществом Агамемнона, произносили с неистовою угрозою: Venez si vous l'osez и проч.; но великая Дюмениль действовала иначе: она, сжимая в объятиях Ифигению, с чувством величайшей материнской нежности и как бы невольно сознавая слабость свою для защиты дочери от могущественного отца, произносила знаменитый стих:

> Venez, si vous l'osez l'arracher à sa mère!

с отчаянным воплем и с крайним напряжением голоса, задушаемого слезами; произносила не в таком уж смысле, как другие, то есть «попытайся только сунуться ко мне, так я тебе глаза выцарапаю», а напротив, придавая стиху совершенно другое выражение, то-есть: «неужели у тебя достанет духу вырвать дочь из объятий матери?». И вот игра Дюмениль для всех актрис, исполнявших после роль Клитемнестры, сделалась образцовою и необходимым условием успеха. Жорж была в этой роли восхитительна!

Мы теперь едва ли можем основательно и беспристрастно судить о той добросовестной точности, с какою прежние актеры исполняли свои обязанности на классической сцене. Каждое слово, каждое положение было ими обдумано, изучено и соображено. Эти люди, то есть такие, как Барон, Дюфрен, Лекен, Тальма, Дюмениль, Лекуврер и некоторые другие, желали оставить по себе память в истории искусства, желали не совсем умереть — non omnis moriar,[1] и этот неимоверный, почти безвозмездный труд, это самоотвержение прежних артистов для достижения совершенства в своем искусстве могут показаться нашему поколению не имеющими смысла и почти несбыточными; однако ж это было так до того времени, пока решительный переворот в драматической литературе, разра-

---

и я искренно благодарен буду тем, кто примет на себя труд исправить мою ошибку.

зившийся в двадцатых годах, не поколебал основания древнего здания классической трагедии — и последних достойных ее представителей: Жорж, Марс и некоторых других не низвел до мелодрамы; иначе они играли бы пред рядом пустых кресел. К счастью, такое унижение классических трагедиантов продолжалось во Франции не так долго, благодаря таланту Рашели, этой великолепнейшей натурщицы для живописцев и ваятелей, которая, хотя и не совсем верно передает Корнеля и Расина, но зато удивляет пластическими и грациозными своими позами, оглушает громовым голосом и, что называется, берет не мытьем, так катаньем; а между тем публика ходит смотреть ее, время идет своим чередом и — кто знает? к знаменитой Гермионе может под пару вдруг присоединиться другой Тальма-Орест, и тогда, нет сомнения, классическая трагедия займет опять принадлежащее ей место на французской сцене. Упоминая о Рашели, нельзя не вспомнить о нашем Каратыгине, которого талант имел для наблюдателя такое сходство с талантом Рашели. Его физические средства, орган, дикция, пристрастие к пластике, смышленость и любовь к своему делу, при других обстоятельствах и при другом направлении драматической литературы, сделали бы его замечательным классическим трагедиантом: это было настоящее его призвание, и Каратыгин во всех лучших последних ролях своих, начиная от ролей Ляпунова и Пожарского до ролей студента Карла Моора, игрока Адольфа Жермани и даже денщика, бессознательно был то Агамемноном, то Орестом, то Арзасом или Сеидом.

Я видел Плавильщикова в первой моей молодости (с 1805 по 1807), видел его на сцене и в обществе и, по тогдашней моей страсти к театру, изучал его как человека и как актера так внимательно, что записывал его суждения и разговоры, отмечая те места в его ролях, в которых он мне больше нравился. В то время казался он мне актером необыкновенным, неподражаемым, и только впоследствии, при сравнении игры его с игрою других актеров, наших и иностранных, я стал замечать, что иные роли он мог бы исполнить с бо́льшим чувством и соображением — не говорю с большею силою и одушевлением, потому что Плавильщиков обладал этими каче-

ствами даже в излишней степени. Я видал его в ролях Ярба, Росслава, Тита, Эдипа, Беверлея, Ермака, Мейнау, Досажаева и купца Бота и до сих пор не забыл еще его произношения звучного и ясного, ни его телодвижений. Часто встречался я с ним у князя Михаила Александровича Долгорукова, которого он был задушевным другом[1] и за столом которого занимал всегда почетнейшее место. Плавильщиков был человек чрезвычайно умный, серьезный, начитанный, основательно знал русский язык, литературу и говорил мастерски. Физиономия его свободно и естественно выражала все страсти и ощущения души, кроме радости и удовольствия, которых она никогда выразить не могла. Я заметил, что он был несколько самолюбив и предубедителен. Но разве актер может быть не самолюбив и не иметь предубеждений? Он не любил Яковлева и величал его н е у ч е м, не любил Шушерина, в игре которого не находил увлечения и чувствительности, и называл его, по игре и характеру, школьником Дмитревского; а Сахаров с женою,* по мнению его, были не что иное, как в ы п у с к н ы е к у к л ы. Несмотря на эти недостатки, до искусства не относящиеся, Плавильщиков был талант во всем смысле слова и заслуживал вполне свою репутацию и уважение, которое к нему имели. В то время, когда, по приезде моем сюда в Петербург, я ознакомился с здешним театром и так близко сошелся с его начальством, я нередко говорил о Плавильщикове с князем Шаховским и удивлялся, как это дирекция оставляет такого человека заброшенным в Москве, тогда как он мог быть полезен в Петербурге не только для сцены, но и для театральной школы в качестве преподавателя декламации. Князь Шаховской прежде отшучивался от прямого ответа, а наконец как-то проговорился: «Ну, что ты прикажешь делать с этими московскими бригадирами? Живут привольно, своим домком, обленились и разбогатели; послушать их, так на нашей сцене хоть трава расти. Оно бы,

---

* Урожденною Синявскою, занимавшею прежде первые роли в трагедиях. Впоследствии, во время появления на сцене Семеновой и Валберховой, мы видели ее в ролях наперсниц, которые принимала она на себя единственно по убеждению кн. Шаховского, чтоб содействовать на сцене молодым актрисам. Она прекрасно читала стихи.

конечно, лучше, да не в ноги же ему кланяться: батюшка, Петр Алексеевич, пожалуйте к нам и пособите горю». Из последних слов я заключил, что Плавильщикову были деланы предложения о перемещении его в Петербург, но что он отклонил их.

Никто не в праве требовать полной веры к своим суждениям, рассуждениям и особенно осуждениям без доказательств; а между тем, какие можно представить доказательства, когда дело идет о достоинствах или недостатках артистов сценических, сошедших с поприща сцены и — жизни? Какие, повторяю, можно представить доказательства их искусства, когда это искусство не оставляет по себе памятников, никакого следа и умирает вместе с артистом? Это звук колокола, исчезающий в воздухе. Мне скажут: мнение современников; но мнение современников часто пристрастно и несправедливо; да и может ли быть основательно мнение в таком деле, которое зависит от вкуса, прихоти, степени образованности, образа воззрения ценителей артиста и чаще от их личных к нему отношений? Вот почему, не имея данных, нельзя быть довольно осторожну и добросовестну в суждениях об умершем актере. Легко сказать: Шушерин был хороший актер, а Плавильщиков нет, или обратно; но на чем может быть основано такое суждение? На сказаниях таких-то и таких-то лиц? Но какую степень доверенности приобрели эти лица, чтоб им верить на слово? Для Николая Ивановича Кондратьева, известного своим фанатизмом к театру, Мочалов-отец был первым трагедиантом в свете, и ни Плавильщиков, ни Шушерин, ни Яковлев, по собственному его выражению, «не годились ему в подметки». Будь этот Николай Иванович в высшем кругу знакомства, умей он приобрести доверенность к своему званию и, главное, пиши он лучше, нежели писал свои нелепые послания,[1] то не мудрено, что мы давно уж читали бы, что Мочалов был первый трагический актер в России и заткнул (как говорил он) за пояс Яковлева. Нет сомнения, нашлись бы люди, которые поверили бы биографии, напечатанной самовидцем, и вот приговор Яковлеву готов: суди потомство! Ведь умели же напечатать, что Плавильщиков в роли Эдипа «ползал на четвереньках», а Яковлев в роли Тезея произносил известные стихи: «Мой меч союзник мне» и проч.

с неистовым криком, беснуясь и выходя из себя!* Плавильщиков на четвереньках в роли Эдипа! Яковлев — сорвавшийся с цепи безумец в роли Тезея!.. Я видел Плавильщикова в Москве в роли Эдипа в два первые представления этой трагедии, в 1805 году, и был свидетелем, как он восхитил всех простою и величественною игрою своею; да и мог ли играть иначе единственный в то время защитник простоты и естественности на театральной сцене?** Правда, некоторые стихи, как то:

Храм Эвменид! Увы! я вижу их: оне
Стремятся в ярости с отмщением ко мне;
В руках змеи шипят, их очи раскаленны
И за собой влекут все ужасы геенны!

или в импрекациях сыну:

Тебя земля не примет,
Из недр извергнет труп и смрад его обымет!

произносил он с излишним одушевлением, чтоб не сказать горячностью, в чем извиняет его ситуация персонажа; но ползанья на четвереньках я не заметил, да едва ли заметил его и кто-нибудь из тысячи наполнявших театр зрителей. Видел я также, и не один раз, Яковлева в роли Тезея и отступил бы от правды, если б решился сказать, что Яковлев был в ней дурен и бесновался без причины; напротив, Яковлев не любил этой роли и не мог любить ее, потому что она не согласовалась с его талантом, не заключая в себе развития ни одной страсти; а в тех ролях, которые были ему не по нраву, он играл без дальнего одушевления и старался только сохранить приличные им благородство и важность. Он уверял, что роль Тезея принадлежит по всему праву актеру Глухареву, обыкновенному его наперснику. «Мужик большой, статный, красивый, — говорил Яковлев, — чем не Тезей? Ведь передал же я ему оперную роль Ильи Богатыря: там по крайней мере надобно сражаться с разбойниками да ломать деревья, а тут и того нет. Право, скоро заставят играть Видостана в Русалке».[1]

* См. статью Я. Е. Шушерин в «Москвитянине» (1854 года, книжка 10).[2]
** См. «Сочинения Плавильщикова», часть IV, стр. 16, 60, 61, 64 и 65.

В избежание таких же поверхностных суждений о наших трагических актерах, я поставил себе правилом говорить о них не по рассказам других, а на основании сделанных мною самим замечаний. Для совершеннейшего понятия об игре их надобно было бы сделать сравнение между ними в одних и тех же ролях и тех же сценах, в которых они преимущественно снискали себе репутацию; но я не в силах предпринять этот труд, да и к чему бы послужил он? Классическая трагедия более у нас не существует; это мертвая буква на нашем театре: следовательно ни в примерах, ни в поучениях нет надобности. Если же для того, чтоб похвастаться памятью, в чем иные не оставят упрекнуть меня, то в том нет большого достоинства. Бесполезные знания не уважаются. Впрочем, вот несколько сцен, давно разобранных мною во всей подробности. Пусть этот сравнительный разбор послужит если не в поучение настоящим актерам нашим, то по крайней мере в защиту знаменитым их предшественникам и к удовлетворению любопытства немногих любителей старины.[1]

Беру, например, некоторые сцены из роли Эдипа, которая прославила игравших ее в одно почти время Шушерина в Санкт-Петербурге и Плавильщикова в Москве.

Вот выступает на сцену Эдип-Шушерин:

Постой, дочь нежная преступного отца,
Опора слабая несчастного слепца.
Печаль и бедствия в с е х сил меня лишили!

Эти стихи произносил Шушерин слабым, болезненным, совершенно изнемогающим голосом, едва-едва передвигая ноги и опираясь т р е п е щ у щ е ю рукою на Антигону. На слове в с е х он делал ударение и заметно возвышал голос, но затем тотчас же понижал его.

Плавильщиков входил также опираясь на Антигону, но походка его была несколько тверже, рука не трепетала и, по свойству своего органа, он говорил не так слабо, хотя печально и прерывающимся от усталости голосом, однако без признаков отчаяния, как человек, привыкший к своему положению.

Печаль и бедствия — в с е х с и л м е н я л и ш и л и,

и на все последнее полустишие он делал сильное ударение. За сим:

> Видала ль ты, о дочь, когда низвергнут волны
> Обломки корабля? . .

и далее:

> Вот жизнь теперь моя!

Этим стихам придавал Шушерин какую-то грустную мечтательность, а последнее полустишие выражал так, как будто все происшествия жизни царственного страдальца вдруг одно за другим ожили в его воображении. Он не обращался к дочери с этим уподоблением себя обломку корабельному, но, погрузившись в грустную думу, как бы в полусне, тихо и медленно, с легким наклонением головы произносил:

> Вот ж и з н ь теперь моя!

Напротив, Плавильщиков, начитавшийся Софокла и не допускавший никакой мечтательности в роли грека Эдипа, передавал эти стихи очень просто, с чувством одной только печальной существенности, в буквальном их значении и уподоблении, обращаясь к дочери и как бы желая вразумить ее в истину этого уподобления:

> В о т жизнь теперь моя!

При извещении Антигоны, что Эдип находится близ храма Эвменид, Шушерин, верный своему понятию о роли Эдипа, как изнемогающего и дряхлого старца, произносил известные стихи:

> Храм Эвменид! Увы! я вижу их: оне
> Стремятся в ярости с отмщением ко мне;
> В руках змеи шипят, их очи раскаленны
> И за собой влекут все ужасы геенны!

не вставая с места, с сильным восклицанием на первом полустишии: «Храм Эвменид!», а затем вдруг понизив голос и с содроганием протягивая вперед руки, как бы стараясь защититься от преследующих его фурий, отрывисто продолжал:

> Увы! я вижу их: оне
> Стремятся в ярости с отмщением ко мне,

и опять постепенно возвышая голос:

В руках змеи шипят, их очи раскаленны. . .

и, наконец, всплеснув руками, разражался отчаянным воплем:

И за собой влекут все ужасы геенны!

Но Плавильщиков играл эту сцену иначе: с страшным восклицанием: «Храм Эвменид!», вскакивал он с места и несколько секунд стоял как ошеломленный, содрогаясь всем телом. Затем мало-помалу приходил в себя, устремлял глаза на один пункт и, действуя руками, как бы отталкивая от себя фурий, продолжал дрожащим голосом и с расстановками:

Увы! . . я вижу их. . . оне
Стремятся в ярости. . . с отмщением ко мне;

глухо и прерывисто:

В руках — змеи шипят. . . их очи раскаленны,

усиленно:

И за собой влекут. . .

в крайнем изнеможении:

все ужасы геенны!

и с окончанием стиха стремительно упадал на камень.

Гора ужасная, несчастный Киферон!
Ты, первых дней моих пустынная обитель,
Куда на страшну смерть изверг меня родитель,
Скажи, пещер твоих во мрачной глубине
Скрывала ль ты когда зверей, подобных мне?

Это обращение к Киферону Шушерин обыкновенно произносил так: первые три стиха печально, несколько мечтательно, с горьким воспоминанием, делая ударение на слова ты и скажи, а последний, при возвышении голоса, с чувством сожаления о невольных преступлениях и как будто с ропотом на предопределение судеб, с сильным ударением на словах: подобных мне.

Плавильщиков же в обращении к Киферону Эдипа видел только выражения раскаивающегося преступника, справедливо наказанного богами и покорного их воле, а потому передавал все четверостишие в этом смысле. Голосом слабым, но решительным, без задумчивого мечтания и не придавая никакого постороннего значения стихам:

Гора ужасная, несчастный Киферон
. . . .
Видала ль ты когда зверей, подобных мне?

произносил он так, как будто хотел сказать: «Ну, есть ли на свете подобный мне з л о д е й?», а не так, как разумел их Шушерин: то есть: «Ну, есть ли на свете подобный мне н е с ч а с т л и в е ц?».

Здесь кстати вспомнить о Яковлеве. Он прекрасно читал в «Эдипе» все те стихи, которые наиболее казались ему поэтическими, и от обращения к Киферону бывал в восхищении; проклятие Полинику декламировал он мастерски, с слезами на глазах, и заставлял нас плакать. Между прочим я живо помню, с каким глубоким чувством и с какою благородною греческою простотою произносил он два стиха:

Родится человек лет несколько поцвесть,
Потом — скорбеть, дряхлеть и смерти дань отнесть!

и рыдал, как ребенок.

По отъезде Шушерина в Москву комику Рыкалову, имевшему пристрастие к прежнему своему амплуа благородных отцов,* вздума-

* Амплуа, из которого насильно вытащил его князь Шаховской и сделал из ничего не значущего актера одного из величайших классических комиков в свете. Так отзывались о нем и старые французские актеры Ларош, Дюкруаси и Делиньи; но Рыкалов не очень уважал свой талант комика и почитал себя отличным драматическим актером. На другой день своего бенефиса, на репетиции спрашивал он у некоторых актеров: как, по их мнению, он сыграл Эдипа? «Ну, точно, батюшка, — отвечала ему простодушная К. И. Ежова, — как из мешка вылезал», разумея сцену в «Скапиновых обманах», где Рыкалов, в роли старого скряги Геронта был превосходен и, прибитый Скапином в мешке, в который его засадили, вылезал из него с необыкновенно комическим видом, заставлявшим весь театр хохотать до упаду. Комик Бобров был также некогда актером драматическим и в ролях Омара и посла мамаева был недурен.

лось сыграть роль Эдипа в свой бенефис. По этому случаю мы стали уговаривать Яковлева, чтоб лучше он сыграл Эдипа, в том убеждении, что он произведет восторг. «Благодарю за предложение, — отвечал он. — Этого только и недоставало мне: привязать седую бороду и надеть лысый парик! Пусть роль останется за Рыкаловым». В самом деле Яковлев имел какое-то отвращение от седых бород; даже в роли первосвященника Иодая он не хотел подчиниться обыкновению и играл ее в черной, как смоль, бороде.

Но возвратимся к «Эдипу».

До сих пор в сценах с дочерью преимущество, кажется, должно оставаться за Шушериным; но зато в сценах с Креоном и Полиником Плавильщиков, по мнению моему и многих театралов того времени, был превосходнее своего соперника, потому что в этих сценах требовалось от актера больше силы, увлечения и достоинства, которыми обладал он с избытком и чего Шушерину в классических трагедиях иногда недоставало. Эти сцены, конечно, и Шушерин играл прекрасно, потому что дурно играть не мог: талант его был безукоризненно ровен; он не падал, как Плавильщиков и особенно Яковлев, но зато и не восторгал никогда зрителей в такой степени, как восторгали последние. Вот Эдип-Плавильщиков в сцене с Креоном: он старался приблизиться, сколько позволяла ему слепота, к Креону, и с видом глубокого презрения и уверенности, что Креон способен на всякое постыдное дело, сначала глухим, прерывающимся голосом, а после постепенно возвышая его, произносил:

Иль по следам моим — твой царь тебя прислал,
Чтоб на челе моем ты грусть мою читал?
Чтоб видел нищету, в которой я скитаюсь,
И как народами я всеми отвергаюсь...

с горькой иронией:

Иль лучше ты скажи, что волею своей
Пришел — увериться о горести моей...

с гордою решимостью:

Но не увидишь ты ни слез моих, ни стона;

резко:

Н е т, — ими веселить не буду я

с глубочайшим презрением:

К р е о н а!

с печальным убеждением:

Давно уже, д а в н о Эдип тебя п р о н и к!

Наконец следующие стихи были торжеством декламации Плавильщикова:

Хотя я в нищете, но не сравнюсь с Креоном!

с величайшим достоинством:

Я был царем — а ты. . .

с негодованием и отвращением:

. . . лишь ползаешь пред троном.

Шушерин этой сцене придавал какую-то излишнюю чувствительность; например при стихе:

Чтоб видел нищету, в которой я скитаюсь,

хватался за свое рубище и показывал его Креону; а при стихах:

Но не увидишь ты ни слез моих, ни стона;
Нет — ими веселить не буду я Креона,

утирал глаза, как бы желая скрыть от Креона невольно текущие слезы и говорил с едва удерживаемым рыданием. Произнося стих:

Я был царем! — а ты лишь ползаешь пред троном,

он при первом полустишии глубоко вздыхал и затем уже оканчивал его с видом отвращения и презрения. Все это, вообще, исполненное мастерски, производило, конечно, эффект удивительный; но была ли в такой декламации истина?

Всю сцену Эдипа с Полиником, в 4-м явлении IV действия, Плавильщиков играл с необыкновенным одушевлением и особенно был превосходен в знаменитой импрекации:

Меня склонить к себе ты тщетно уповаешь.

Какое чувство, какой огонь, хотя и старческий! какая энергия и какое достоинство! В этой импрекации он был истинный царь и вместе жестоко оскорбленный отец.

Сей скиптр, который мне столь щедро предлагаешь,

с горьким упреком:

Не я ль оставил вам, не я ли вам вручил?
Не я ли дней моих покой вам поручил? . . .

грозно:

Коль смеешь ты — на мне останови свой взор:

пылко и с большим чувством:

Зри ноги ты мои, скитаясь изъязвленны,

постепенно возвышая голос:

Зри руки, милостынь прошеньем утомленны,
Ты зри главу мою, лишенную волос. . .

с выражением скорби и жестокого страдания:

Их иссушила грусть — и ветер их разнес.

Пауза — и далее с ироническим упреком:

Тем временем тебя как услаждала нега,
Твой изгнанный отец без пищи, без ночлега,
Не знал куда главу несчастну преклонить. . .
Иди, жестокий сын. . .

грозно и напряжением голоса:

Как без пристанища скитался в жизни я,
По смерти будет так скитаться тень твоя,
Без гроба будешь ты. . .

с выражением величайшего гнева и как бы вне себя:

Тебя земля не примет,
От недр отвергнет труп — и смрад его обымет!

При последнем полустишии Плавильщиков превосходил себя. Нельзя себе представить выражения лица его. Чувство ужаса, отвращение, омерзение отражались на нем, как в зеркале. А панто-

мима? Он отворачивал голову и действовал руками жест, как бы желая оттолкнуть от себя труп, зараженный смрадом. Но Плавильщиков имел огромные природные способности: звучный голос, сильную грудь, произношение огненное, которых, повторяю, у Шушерина не было, и он заменял их умом, искусством и, так сказать, отчетливою отделкою своей роли. В местах патетических он как будто бы, говоря технически, з а х л е б ы в а л с я; но для бо́льшей части зрителей этот недостаток (вероятно, следствие старости) был почти незаметен. Роль Эдипа понимал он согласно с своими средствами; но такова была прелесть игры его в этой роли, что хотя он придал ей излишнюю и несообразную с характером древних греков чувствительность и некоторые стихи передавал уже слишком в буквальном их значении, то есть тоном одряхлевшего и нищего старца:

Зри ноги ты мои, скитаясь изъязвленны,
Зри руки, милостынь прошеньем утомленны,
Ты зри главу мою, лишенную волос:
Их иссушила грусть и ветер их разнес,

однако ж производил эффект невообразимый, а последующие стихи продолжал голосом, задушаемым слезами:

Как без пристанища скитался в жизни я,
По смерти будет так скитаться тень твоя;
Без гроба будешь ты. . .

и оканчивал тираду с каким-то воплем отчаяния и смертельного ужаса:

Тебя земля не примет,
От недр отвергнет труп и смрад его обымет!

Сорок три года прошло с того времени, как я в последний раз видел Шушерина на сцене, в роли Эдипа, и до сих пор не могу забыть его: я как теперь его вижу. . . Нынче вошли в употребление, или, скорее, в злоупотребление, слова: п л а с т и к а, п л а с т и ч н о с т ь. Говорят: какая у такого-то пластика! как такой-то пластичен, а на поверку выходит, что эти т а к и е - т о единственно рисуются на сцене точно так же, как и сама Рашель, хотя она, разумеется, в превосходнейшей степени. Одна пластика не состав-

ляет достоинства, и некоторые фигуры Раппо[1] были очень пластичны! Пластичность на сцене — качество побочное, а в бездарном артисте — даже и смешное: оно доказывает только неуместные притязания на отличие от других, притязания, не извинительные на сцене. Возьмем в пример Шушерина: он был невзрачен собою, довольно толст и мешковат и едва ли когда, бывая на сцене, имел в виду пластику, или пластичность, а между тем — ссылаюсь на беспристрастие старых театралов и на некоторых еще живых ветеранов прежней русской сцены, например Александру Дмитриевну Каратыгину, Марью Ивановну Валберхову и Григория Ивановича Жебелева — до какой превосходной степени Шушерин был пластичен в роли Эдипа! Картины французских живописцев Жерара и Герена, изображающие знаменитых нищих-слепцов: Гомера, Велизария, Эдипа и Оссиана,* которыми любовался я в оригиналах, ничто в сравнении с тою картиною, которую бессознательно представлял из себя нищий-слепец Шушерин, сидя на камне и с таким чувством произнося прекрасные слова своей роли:

Слепец, чтоб слезы лить, осталися мне очи;
Дни ясны для меня подобно мрачной ночи.
Нет, никогда уже мой не увидит взор
Ни красоты долин, ни возвышенных гор,
Ни в вешний день лесов зеленые одежды,
Ни с жатвою полей — оратаев надежды,
Ни мужа кроткого приятного чела,
Которого рука богов произвела. . .
Сокрылись от меня все прелести природы!

А отчего был он так пластичен? Оттого, что был верен природе, разумеется с благородной ее стороны. То же бывало в иных ролях и с Яковлевым, о котором речь впереди.

---

* У Шушерина был эстамп, изображающий слепца Оссиана, сидящего у водопада на камне и играющего на арфе; над ним воздушный сонм героев и дев, им воспетых: Фингала, Кушуллина, Мальвины и проч. Шушерин очень любил этот эстамп, но подарил его Н. И. Гнедичу, в благодарность за перевод «Леара», сделанный ему в бенефис. Фигура Фингала — совершенный портрет Яковлева. Этот любопытный эстамп принадлежит теперь Н. В. Кукольнику.

Нет сомнения, что Озеров всем успехом «Эдипа» был единственно обязан Шушерину и должен был бы посвятить свою трагедию ему, а не Державину, который за это посвящение отплатил ему плохими стихами:

Вития, кому Мельпомена,
Надев котурн, дала кинжал, и проч.[1]

Здесь место упомянуть о некоторых обстоятельствах, относящихся до трагедии «Эдип» и ее автора.

Мне часто говорят: «В ваше время, то есть в о в р е м я о н о, любили литературу собственно для литературы; все литераторы были братья; не было ни зависти, ни преследований, ни недобросовестных журналистов, словом, существовал золотой век для пишущей братии». Отвечаю: нет! все было точно так же, как и теперь. Изменились обстоятельства и формы, но люди как люди, всё те же; партии существовали и в мое время и партизаны гомозились так же: это я готов доказать кому угодно историческими фактами, если так можно назвать записки, веденные мною в продолжение 48 лет ежедневно,[2] и огромную переписку по разным случаям. Я сам, каюсь в вине своей, насмехался над писателями почтенными, легкомысленно преследовал, совокупно с другими, литераторов заслуженных, которые и по личному достоинству и по положению своему в обществе стояли гораздо выше и были во сто крат полезнее меня и м о е г о п р и х о д а. Скорблю о том теперь; но к извинению своему должен сказать, что скорбел и в то время и только не имел достаточно нравственной силы, чтоб расстаться с людьми, с которыми свела меня судьба в моей молодости. Из многих примеров, которые я мог бы представить в подтверждение сказанного, приведу здесь два случая.

Все литераторы, вероятно, слыхали о мнимом преследовании князем Шаховским Озерова, будто бы из зависти к его таланту. Об этом повторяли в обществах, об этом печатали в журналах, провозгласили в биографии Озерова с присовокуплением, что он преждевременно погиб жертвою гонений и проч. Разумеется, об имени князя Шаховского не было упомянуто, но это не препятствовало клевете делать свое дело. Озеров служил, был награждаем, вышел в отставку

по страсти к литературе, получал пенсион, жил в деревне и никто никогда его не преследовал (кроме собственного его непомерного самолюбия); так если и могло быть какое гонение, то уж, конечно, литературное; а так как он писал театральные пьесы, то гонителем непременно должен был оказаться начальник по репертуарной части, который в то же время был и сам автор. Стали говорить, что князь Шаховской препятствует принятию пьес Озерова на театр, а принятые обставляет плохими актерами, не делает новых декораций, не назначает во-время репетиций и проч. и проч.; наконец написали на него эпиграмму, включив в нее всеми уважаемого А. С. Шишкова, что и заставило кн. Шаховского сказать, что за помещение его в такое хорошее общество сердиться нельзя; а между тем вот как преследовал князь Шаховской знаменитого впоследствии автора «Эдипа»: в начале 1804 г. Озеров представил свою трагедию, по принадлежности, на просмотр князю Шаховскому. Князь, прочитав ее, был в восторге и тотчас доложил о ней тогдашнему главному директору Александру Львовичу Нарышкину, с тем чтоб немедленно разучить ее и поставить на сцену. Нарышкин был очень рад, но прежде приказал узнать, какие могут быть издержки на постройку костюмов и постановку декораций. Бывший казначей театра, Петр Иванович Альбрехт, лицо историческое в летописях тогдашнего театрального управления, представил, что в кассе только 215 руб. и что нет возможности сделать издержки в 1200 руб., исчисленные на монтировку *пьесы, которая может, еще и гроша не принесет*. Начались споры; дело пошло в оттяжку. У князя Шаховского собрался комитет из А. Н. О., графа В. В. М., князя И. А. Г., Павла Мих. А., А. А. М., И. А. Дмитревского и И. А. Крылова (писавшего тогда свою «Модную лавку»), чтоб посоветоваться, как помочь горю. Думали, думали, выпили два самовара чаю — и ничего не придумали. Вдруг пылкий князь Шаховской вскочил с своего места: «Ах, я дурак какой! да дело очень просто. Макар! (служитель князя Шаховского) беги к Альбрехту и зови его сейчас сюда». Тот приехал. «Вот, батюшка, Петр Иваныч, вы все думаете и делаете по-немецки, сбили с толку и Александра Львовича, а мы так вот по-русски: „Эдипа“ я ставлю на

свой счет. У меня гроша нет, да мое жалованье у вас. Если трагедия выручит, вы мне возвратите деньги, в противном же случае — моя беда». — «Ну, этак можно, — сказал omnipotent* театральной кассы, — мы ничего не теряем, а ваши интересы до вас касаются». И вот как представлена была трагедия «Эдип» — на счет преследователя ее автора; а чтоб успех представления обеспечить вполне, выписан был нарочно из Москвы для роли Полиника известный тогда драматический (а после комический) актер Григорий Иванович Жебелев, здравствующий и поныне, на 85-м году от рождения.

Теперь — вот в какой мере противился князь Шаховской принятию на театр трагедий Озерова. Они представлены: «Эдип» 23 ноября 1804, «Фингал» 8 декабря 1805, «Дмитрий Донской» 14 января 1807, «Поликсена» 14 мая 1809 года. . . Кажется, промежуток времени между представлениями этих трагедий не так велик, чтоб заставить предполагать умышленную медленность. Только между «Дмитрием Донским» и «Поликсеною» прошло два с небольшим года, и то по случаю небытности автора, который в это время жил в казанской своей деревне и прислал «Поликсену» оттуда. Все эти пьесы даны с возможным по тогдашнему времени великолепием и самою рачительною обстановкою.[1] Роль Поликсены была последняя, которую Семенова проходила с князем Шаховским в присутствии Дмитревского; затем поступила она, по выражению Яковлева, на выправку к Н. И. Гнедичу, который писал для нее ноты.**

А вот и другой случай. Князь Шаховской, как всем известно, имел страсть к драматической литературе и театру: им безусловно посвятил он все свои способности, все время, всю жизнь; и теперь, когда для него началось потомство, кто не отдаст справедливости его та-

* Любопытна жалоба французского актера Каллана (Calland), отличного комика, на Альбрехта, в стихах, в числе которых есть очень смешные:

Au caissier Albrecht je m'annonce
Et lui dit, qu'un besoin urgent
Me fait demander de l'argent:
Niet, niet, niet, ce fut sa reponse.

** Об этом будет сказано в своем месте.[2]

ланту, уму и глубокому знанию сцены?[1] Но не всем известно, что он был человек отлично-добрый, бескорыстный, чрезвычайно приятный собеседник, любивший искренно своих приятелей, которых имел мало, и прощавший врагам своим, которых у него, как обыкновенно у всякого человека, принужденного по званию своему быть иногда неблагосклонным и не потворствовать чужому самолюбию, — было много. С этими качествами соединялись в нем и важные недостатки: он имел характер слабый, неопределенный, всегда готовый быть под влиянием первого человека, ему польстившего; в обращении был иногда неуместно откровенен, колок и насмешлив до такой степени, что если не над кем было подтрунить, то подшучивал над своим брюхом, талией и особенно носом, который, по огромности своей, чаще представлял ему случай к остроумной игре слов. Занимая место, требовавшее некоторой степенности в обращении, он, напротив, имел всю живость двадцатилетнего юноши, что вовсе не согласовалось с его лицом и фигурою* и было очень смешно. Словом, он не имел никакого, что называется, такта и всех почти судил по себе и своим чувствам, пока не разочаровывался впоследствии; но это разочарование проходило скоро, и он забывал полученные им уроки. Отсюда проистекали все его промахи.

Но исключительною страстью князя Шаховского было давать советы драматическим писателям и актерам и учить декламации. Несмотря на неуклюжую свою фигуру и неясное произношение он, однако ж, чрезвычайно был полезен в этом деле. Еще живы люди, помнящие его заслуги и неутомимую деятельность в преподавании правил декламации. Он угадал и образовал таланты Семеновой и Валберховой, образовал Брянского, Сосницкого и Рамазанова; дал совершенно другое направление талантам Боброва и Рыкалова и из плохих драматических актеров сделал превосходных комических; дал случай Рожественскому, который считался актером третьестепенным (utilité), развить прекрасное дарование в ролях Пурсоньяков и поставил его в глазах знатоков дела едва ли не на первый план;

* Я познакомился с ним в конце 1807 года, когда ему минуло 30 лет; тогда казался он лет около шестидесяти; зато до самой кончины сохранил свою физиономию без перемены.

и талант Самойловых, мужа и жены, и Болиной, к сожалению, так рано оставившей сцену,* много обязаны были его настойчивым наставлениям. Самойлова-певца он почти н а с и л ь н о заставлял, для усовершенствования сценического таланта, играть в комедиях и даже поручил ему роль Нового Стерна в своей комедии, которая, по непостижимому недоразумению касательно цели, с которою была написана, навлекла на него такую толпу врагов непримиримых.

А между тем этого образователя актрисы Семеновой вдруг обращают в жестокого ее притеснителя! Десятка два языков, лижущих с тарелок молодой актрисы, провозглашают князя Шаховского гонителем ее дарования! Он не назначает ей ролей, присвоенных ее амплуа; он дает превратное направление ее таланту; он учит ее умышленно неправильной декламации и заставляет понимать и произносить стихи в трагедии совершенно противно их смыслу, путает ее на репетициях в репликах, искажает пантомиму. . . Обвинения действуют в обществе, потому что обществу нельзя знать, что происходит в кабинете князя Шаховского (в котором во время прохождения им с Семеновой ролей, кроме Ив. Аф. Дмитревского, князя Г*, редко Гнедича, реже Крылова и иногда меня, не бывало никого из посторонних), — и вот князь Шаховской признается гонителем таланта Семеновой, к спасению которого не находят другого средства, как поручить ее Гнедичу. Однако ж дело было просто и заключалось в том, что при поступлении на сцену Валберховой надобно было назначить и ей некоторые роли; но эти роли были именно те, которых Семенова никогда не играла; в удел Валберховой достались: Пальмира в «Магомете», Дидона и Софонизба Княжнина и несколько других, в которых стихи, без поправки князя Шаховского, переломали бы язык молодой актрисе. Считавшиеся же тогда лучшими роли Антигоны, Моины, Ксении, Поликсены, Корделии, Аменаиды и проч., то есть все писанные языком человеческим, остались за Семеновою; и доказательством, до какой степени несправедливы были приверженцы Семеновой к Шаховскому, может слу-

---

* Болина вышла замуж за сослуживца моего Маркова.[1]

жить то ревностное участие, которое принимал он в составлении ее бенефисов. В 1809 г., по неимению новой роли, в которой бы Семенова могла блеснуть своим дарованием, князь Шаховской предложил перевести для нее Вольтерову «Заиру»; и так как приближалось время ее бенефиса, а переводчика в виду не было, то он уговорил нас, обыкновенных своих собеседников, перевести трагедию по актам и кинуть жребий, кому какой акт достанется. Первый акт достался Полозову, второй Гнедичу, третий Лобанову, четвертый мне, а пятый принял он на себя. Трагедия была переведена, выучена и поставлена на сцену в течение шести недель. Этот знаменитый перевод Яковлев называл переводом с е м и С и м е о н о в, но был рад роли Оросмана, бывшей торжеством Лекена, и, по вдохновению, прекрасно ее исполнил. Впоследствии для бенефисов Семеновой были переведены Лобановым «Ифигения» и «Федра».

Eh voilà comme on écrit l'histoire![1] и вот как люди подпадают незаслуженному нареканию!. . . Из этого можно заключить, что и в мое время были партии и существовало недоброжелательство. . .

Я сказал, что на долю Валберховой, в первое время ее вступления на сцену, досталось несколько ролей из прежних трагедий;[2] но впоследствии, когда талант ее более развился, сочинители и переводчики стали назначать ей роли в своих трагедиях, что весьма было не по нраву Семеновой и ее приверженцам. Так, Грузинцев поручил Валберховой свою Электру, Висковатов — Зенобию, граф Потемкин — Гофолию, князь Шаховской — Идамию и Дебору и проч. К несчастью, большая часть этих ролей была не по средствам этой умной и прелестной актрисы. Так иногда и услуга бывает не в услугу, и князь Шаховской, со всем его знанием и опытностью, заблуждался насчет ее дарования: превосходная в ролях первых трагических любовниц и в комедиях, она была несколько слаба в ролях цариц и матерей, требовавших большей степени одушевления, сильнейшей груди и более могучего голоса.

Знаю, что кто говорит много, тот мало доказывает; но, воля ваша, нельзя иногда утерпеть, чтоб не обличить несправедливость, отягчающую память знакомого, достойного человека.

III

При сравнении игры Плавильщикова с игрою Шушерина в сценах «Эдипа», сколько дозволяла мне память, я имел одно намерение: показать относительные достоинства наших великих артистов в трагедиях классических; о тех же ролях, которые с таким успехом занимали они в драмах и комедиях, потолкуем впоследствии. Пора теперь поговорить о человеке, который был одарен талантом исключительным и над памятью которого тяготеет более или менее несправедливость. Этот человек — Яковлев. Тридцать семь лет минуло с тех пор, как прах его покоится в земле, и сорок два года с того времени, когда, в припадке жестокой меланхолии, он покусился на жизнь свою и утратил большую часть своих способностей; а между тем рассуждают о нем, как о живом человеке. Кто ж из людей настоящего поколения видел, слышал и достаточно изучал Яковлева, чтоб получить право произнести определительный ему суд не по одной только наслышке и произвольным умозаключениям?

Нередко случалось и случается мне слышать от людей, не видавших Яковлева или видевших его в упадке его дарования, что он, хотя и имел природные способности, но не умел ими пользоваться и, сверх того, был гуляка и горлан. По мнению моему, не такими эпитетами надлежало бы чествовать память великого актера, славу русской сцены. Что ж это такое? Желание ли похвастать своими познаниями или умышленное уничижение величайшего таланта, какой когда-либо являлся на нашем театре и, может быть, — не боюсь вымолвить — на театрах целого света, для того, чтоб на развалинах репутации одного дарования воссоздать репутацию другого? Гуляка и горлан! Пусть так; но и Кин с Шериданом были люди невоздержные, и Тальма в первую эпоху свою был также горлан,* а между тем англичане и французы справедливо гордятся ими, хотя в Англии и особенно во Франции было более талантов первоклассных, нежели у нас. Мочалов-сын был также человек невоздержный, а о страсти к крепким

* Смотри фельетоны знаменитого Жофруа и прекрасный разбор игры Тальмы в роли Ореста в Расиновой «Андромахе».

напиткам современника его, актера Ширяева,* так быстро промелькнувшего на московской сцене, одного из величайших талантов в драматических ролях благородных отцов и резонеров, нечего и упоминать, и, однако ж, никто не говорит о том — да и зачем говорить? Мы не имеем права входить в частную жизнь актера, следить за его поступками и разбирать их вне театральной залы. Но если уж мы решились на такой подвиг, то будем разбирать его как человека, всего, стараясь указывать не на одни только его слабости и недостатки, без которых не родятся люди, но и на добрые его качества, которые также более или менее свойственны всем людям. Если мы, повторяю, решились принять на себя обязанность строгих судей и обличителей нравов, то будем и поступать как судьи и со всем беспристрастием вникнем в причины этих слабостей. Конечно, слабостей в человеке защищать нельзя; но принимать в уважение обстоятельства, породившие эти слабости, и некоторым образом извинять их — должно: этого требует не одна поверхностная снисходительность, но самая справедливость и человеколюбие. Еще простительно быть неосторожным в суждении о писателях, потому что они в своих творениях имеют сильных за себя защитников пред потомством; но есть ли другая защита актеру, который 40 лет назад исчез из глаз публики, кроме справедливых о нем отголосков его современников?

Правда, Яковлев имел пристрастие к крепким напиткам или, вернее, к тому состоянию самозабвения, которое производит опьянение,** пристрастие, развившееся особенно в последние годы его жизни; но зато какими прекрасными и возвышенными качествами души и сердца искупал он эту слабость! Он был умен (не говорю: рассудителен), добр, чувствителен, честен, благороден, справедлив, щедр, набожен, одарен пылким воображением и — трезвый — задумчив, скромен и прост, как дитя. Не имей Яковлев этой сла-

---

* Я изумился, увидев в первый раз этого актера. Какой талант! какая дикция и какое чувство! Какое благородство и естественность! Он, помнится, был не более двух лет на сцене. . .

** Он не знал никакого вкуса в вине и не пил его, как пьют другие, понемногу или, как говорится, смакуя, но выпивал налитое вдруг, залпом, как бы желая залить снедающий его пожар.

бости, он, кажется, был бы совершенным; и да не подумают, чтоб все исчисленные мною качества были с моей стороны произвольным и ни на чем не основанным панегириком, — нет, я могу сослаться в том на многих живых еще людей, которые вместе со мною были очевидными свидетелями его христианских подвигов, так же как и его заблуждений. Отдать последний грош нуждающемуся человеку, пристроить бедного сироту, похоронить на свой счет беднягу, взять на попечение подкидыша и обеспечить существование несчастного ребенка, защитить в известном обществе приятеля от клеветы в предосуждение своим выгодам и все это стараться делать по писанию, втайне — вот весь Яковлев! Я не пишу его биографии и потому не хочу распространяться о делах его в подробности, но почитаю обязанностью честного человека удостоверить примерами, что этот артист думал иногда о чем-нибудь важнейшем, чем о стакане крепкого пунша. Яковлев может быть единственным исключением из того правила, чтоб актера не смешивать с человеком: он в совокупности был и актером и человеком превосходным.

Наружность его была прекрасна: телосложение правильное, рост высокий, но не огромный, благородная поступь, движения естественные: ничего угловатого, ничего натянутого. Лицо было зеркалом души его: открытый лоб, глаза светлые и выразительные, рот небольшой, улыбка пленительная;* память имел он необычайную, орган, какого никогда и нигде не удавалось мне слышать: сильный, звучный, приятный, доходящий до сердца и вместе необыкновенной гибкости — он делал из него что хотел. Яковлев превосходен был в сценах страстных; особенно же в сценах ревности был неподражаем. Впрочем, всюду, где только был ему случай, по выражению Дмитревского, п о р а з г у л я т ь с я, то есть в ролях наиболее поэтических, как, например, в роли первосвященника Иодая, он играл всегда отлично; зато в таких ролях, как роль Тезея и других, ей подобных, был всегда сам не свой, играл вяло и слабо, как бы нехотя и в тот день обедал сытно и выпивал стакан пуншу,

---

* У меня есть прекрасный портрет Яковлева, чрезвычайно с ним схожий, которым со временем поделюсь с читателями моих воспоминаний.

между тем как в день представления любимой трагедии он мало ел и ничего не пил, кроме квасу. Так поступал он, впрочем, до 1813 г.; а после. . . но зачем говорить об этой печальной эпохе?

В нормальном состоянии своем Яковлев никогда не смеялся, был очень умерен, кроток, скромен, всегда задумчив и любил уединение. Бывало, сидит себе один на диване и читает библию, всемирную историю Плутарха или прежние сочинения Державина, которые любил страстно и называл свыше вдохновенными. С 1811 г. начал он читать Штиллинга и Эккартсгаузена и несколько раз признавался мне, что ничего не понимает. Однако ж Штиллингова «Тоска по отчизне» его заинтересовала: ему понравилось предсказание автора, что со временем Россия для всех народов будет обетованною землею и что ей одной предназначено видеть у себя начало благодатного тысячелетнего царствования Христова.[1] Иногда он писал стихи, но они всегда отзывались слогом наших трагиков прошедшего столетия, хотя и заключали в себе сильное чувство и особенно з а д н ю ю м ы с л ь о той несчастной страстной любви, которая пожирала его существование.[2] Это мысль, которая, как ни тщательно он хотел скрыть ее, проявлялась почти во всех его стихотворениях, даже и в шуточных, написанных им в последние годы.*

* Вот для доказательства несколько стихов его и, между прочим, небольшое пригласительное ко мне послание, писанное в то время[a], как я переводил или, скорее, изводил для него «Атрея»:

Не побрезгуй, Атрей,
Вечеринкой моей,
    Я прошу;
Да кутни хоть слегка:
Я для вас индыка
    Потрошу.
Выпить пуншу стакан
Афанасьич Иван *
    Тут как тут!
И Сергей, молодец,**

[a] 17 марта 1811 года, в день именин его; последующие же стихи относятся ко времени совершенного им на жизнь свою покушения: они, несмотря на устаревший язык, исполнены чувства и могут назваться перечнем всей его жизни. Напечатаны в собрании его стихотворений, впрочем, весьма неполном и с большими пропусками.

* Дмитревский.

** Кусов.

Но если Яковлев трезвый был тих, скромен и молчалив, то, под влиянием пуншевых паров, чрезвычайно был эксцентричен, хотя так же добр, чувствителен и безобидчив; и это эксцентричество,

---

И Григорий отец
Оба ждут.
Но брюзгу ты оставь
И себя поисправь:
В этот день
Чур меня не корить,
Свысока городить
Дребедень.
Если, по льду скользя,***
Не упасть нам нельзя —
Как же быть,
Чтоб с страстьми человек,
Не споткнувшись свой век,
Мог прожить?
По неволе кутнешь,
Иногда и запьешь,
Как змея
Злая сердце сосет,
И сосет и грызет. . .
Бедный я!

Стой, помедли, солнце красное,
И лица не крой блестящего
В хладной влаге моря синего.
Не взойдешь уже ты более
Для очей моих. . .
С е в р а т а п р е д м н о ю к в е ч н о с т и!
Я г о т о в в п у т ь, н е и з в е с т н ы й м н е!
Д а н е с у д и т м е н я с т р о г и й у м:
Кто во счастии проводит дни,
Тот не знает дней несчастного!
. . . .
Ах! я двух лет от рождения
Был несом за гробом отческим;
На осьмом за доброй матерью
Шел покрыть ее сырой землей!
Горько, горько сиротою жить
И рукой холодной чуждого
Быть взращаему, питаему,
И на лоне нежной матери
Не слыхать названий ласковых.
Пролетели дни младенчества,
Наступили лета юности,
Резвой юности мечтательной;
Но — увы! на милой родине
Я пришлец был мало знаемый.

*** Я расшибся, катаясь на коньках.

конечно, кроме Яковлева, никому не прошло бы даром. Так однажды, вскоре после представления «Ирода и Мариамны», пришел он к Державину, остановился в дверях его кабинета и громовым голосом произнес: «Умри, Державин! ты переживаешь свою славу!». Великий поэт не знал, что подумать о такой выходке и, приглашая Яковлева садиться, просил его объяснить, в чем дело. «Дело в том, — отвечал трагедиант, — чтоб ты, великий муж, слава России, не писал больше стихов: будет с тебя!», и вдруг, ни с того ни с другого, начал:

О ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи естества, и проч.

прочитал всю оду от первого до последнего стиха и, окончив: «Ну, — сказал он, — теперь прощай!», и уехал. В другой раз, во время представления французскими актерами «Андромахи», после сцены Гермионы с Орестом, которого играл молодой, вновь прибывший актер Ведель — совершенная карикатура Тальмы, Яковлев вдруг

Я искал сердец чувствительных —
Находил сердца холодные
И повсюду видел облако
Думы полное и мрачное!
Так летело время быстрое —
Друг и недруг переменчивый
К одному лишь мне несчастному
В неприязни постоянное.
Тут увидел я прелестную:
Жизнь текла моя отраднее;
Но меж нас судьбина лютая
Создала преграду крепкую:
Я из бедного беднейшим стал!
Тридцать семь раз косы жателей
Посекали класы злачные,
Но во все сие теченье лет
Я и дня не видел красного и проч.

Как странник к родине стремится,
Спеша увидеть отчий кров,
Или невольник от оков
Минуты ждет освободиться,
Так я, объятый грусти тьмой,
Растерзан лютою тоскою,
Не находя нигде покою,
Жду только ночи гробовой,
Чтобы обресть себе покой!

является в ложу главного директора, кланяется ему в пояс и говорит: «Ну, ваше высокопревосходительство, уж актер! и это Орест? да это ветошник! Где только этакие шелопаи родятся? а чай, жалованья получает втрое больше Яковлева». Добрый Александр Львович захохотал и пригласил Яковлева приехать к нему для объяснения на другой день. . . Так проказничал наш русский Тальма; но его коротко знали, любили и прощали его выходки.

Сценическое поприще Яковлева можно разделить на три эпохи: одну, со времени вступления его на театр в 1794 г. до появления трагедий Озерова в 1804 г.;* другую с 1804 по 1813 год и последнюю с этого года по 1817 год, время его кончины. В первую из этих эпох Яковлев играл только в трагедиях Сумарокова и Княжнина и в двух или трех старинного перевода. Он признавался, что из всех трагических ролей, им тогда игранных, любил только роли Синава, Ярба, Массиниссы и Магомета, но что все прочие были ему как-то не по душе, особенно роль Росслава. «Нечего сказать, — говорил он, — уж роль! хвастаешь, хвастаешь так, что иногда право и стыдно станет». Не любил также роли Тита, о которой отзывался, что это роль оперная; роли же Ярба, Массиниссы и Магомета играл и впоследствии охотно, исправив в первых двух всю шероховатость стихов и устаревшего языка. То же бы сделал он и с ролью Магомета, если б не уважал Дмитревского, которому предание приписывало перевод этой трагедии, хотя этот перевод известен был с именем графа П. С. П. В последующую же эпоху репертуар Яковлева чрезвычайно обогатился новыми ролями: Тезея, Фингала, Дмитрия Донского, обоих Агамемнонов (в «Поликсене» и «Ифигении»), Пожарского, Эдипа-царя, Радамиста, Гамлета, Лавидона, Иодая, Отелло, Атрея, Чингис-хана, Ирода, Ореста, Орозмана, Танкреда и другими, в которых стихи, если были не равного достоинства и иногда довольно слабы, но все же лучше тех, которые заключались в прежних его ролях. В эту эпоху Яковлев, так сказать, нравственно вырос и дарования его получили полное

* Не говорю о трагедии его «Ярополк и Олег», представленной в 1798 г., трагедии, составленной и написанной по образцам трагедий Сумарокова и Княжнина.

развитие. В промежутке новых пьес Яковлев, разумеется, играл и в драмах, даже в небольшой комедии Дюваля «Влюбленный Шекспир» прекрасно выполнил роль Шекспира; но как речь теперь идет о Яковлеве-трагедианте, то об игре его в драмах говорить пока не буду. Только в продолжение этой эпохи Яковлев познакомился с настоящим искусством актера, с искусством оттенять свои роли и иногда из простых изречений и ситуаций представляемого им персонажа извлекать сильные эффекты, чего ему, по неимению образования и по недостатку примеров, прежде недоставало. В то время когда Яковлев поступил на театр, Дмитревский больше не играл, французских актеров он не разумел: следовательно и неоткуда было ему почерпнуть надлежащих понятий о всех тонкостях искусства; да и зачем ему было до того времени знать их? Публика была не очень взыскательна, а представляемые им небывалые на свете персонажи, с малым исключением, не имели ни определительного характера, ни физиономии исторической. Достаточно было, если трагический актер проговорит известную тираду вразумительно, ясным и звучным голосом и под конец ее разразится всею силою своего органа или в ролях страстных будет уметь произнести с нежностью выражение любви — и дело кончено: публика аплодировала; а кому она аплодировала, тот, значило, был актер превосходный. Замечательно по этому случаю признание самого Яковлева. «Пытался я, — говорил он, — в первые годы вступления на театр играть (употреблю его собственные выражения) и так и сяк, да невпопад; придумал я однажды произнести тихо, скромно, но с твердостью, как следовало: Росслав и в лаврах я и в узах я Росслав — что ж? публика словно как мертвая, ни хлопанчика! Ну, постой же, думаю: в другой раз я тебя попотчую. И в самом деле, в следующее представление „Росслава" я как рявкну на этом стихе, инже самому стало совестно; а публика моя и пошла писать, все почти с места повыскочили. Да и сам милый Афанасьич-то наш после спектакля подошел ко мне и припал к уху: „Ну, душа, уж сегодня ты подлинно отличился". Я знал, что он хвалил меня на смех, да бог с ним! После, как публика меня полюбила, я стал смелее и умнее играть; однако ж много мне стоило

труда воздерживаться от желания в известных местах роли п о п о т ч е в а т ь публику. Самолюбие — чортов дар». О последней эпохе яковлевского поприща сказать нечего: он упадал с каждым днем, и я не узнавал его в лучших его ролях.

Сожалею, что не могу представить подробного сравнения игры Яковлева с игрою других достойных актеров в одних с ним ролях: я не видал в них Шушерина, а Плавильщикова видел в одной только роли Ярба, но был в то время так молод, что теперь не смею доверить тогдашним своим ощущениям. Однако ж начало первой сцены и конец последней второго действия «Дидоны» врезались у меня в памяти, потому что игра Плавильщикова тогда меня поразила. Вот его выход: он в величайшем раздражении вбегал на сцену и тотчас же обращался к наперснику, выходившему с ним рядом:

Се зрю противный дом, несносные чертоги,
Где всё, что я люблю — н е м и л о с е р д ы б о г и
Т р о я н с к у страннику с п р е с т о л о м отдают!

Эти стихи произносил он дрожащим от волнения голосом, особенно налегал на последний и, окончив, как будто в отчаяньи закрывал себе лицо руками:

Г и а с

Ты плачешь государь? твой дух великий. . .

Я р б

Плачу;
Но знай, что слез своих напрасно я не трачу,
И слезы наградят сии — злодея кровь!

Это п л а ч у Плавильщиков произносил так дико и с таким неистовым воплем, что мне становилось страшно, а на словах з л о д е я к р о в ь делал сильное ударение с угрожающею пантомимою.

Г и а с

К чему, о государь, ведет тебя любовь!

Я р б

Любовь?

(Приближаясь к наперснику, с возрастающим бешенством)

Нет! т а р т а р в е с ь я в сердце ощущаю,
Отчаиваюсь, злюсь, грожу, стыжусь, стонаю. . .

Яковлев играл иначе: он входил тихо, с мрачным видом, впереди своего наперсника, останавливался и, озираясь вокруг с осанкою нумидийского льва, глухим, но несколько дрожащим от волнения голосом произносил:

С е! зрю противный дом, несносные чертоги,
Где в с ё, ч т о м и л о м н е — немилосерды боги

с горьким презрением:

Троянску страннику. . .

с чувством величайшей горести и негодования:

с престолом отдают!

Здесь только подходил к нему наперсник с вопросом: «Ты плачешь, государь?» и проч. Схватывая руку Гиаса, он прерывающимся от слез голосом произносил:

Плачу;

с твердостью и грозно:

Но знай, что слез своих напрасно я не трачу:
З а н и х — Е н е е в а р у ч ь е м п о л ь е т с я к р о в ь!

Последний стих Яковлев переделал сам, и он вышел лучше и удобнее для произношения. Так поступил он и с прочими своими ролями.

Я желал бы, чтоб все, так много толкующие теперь о пластике, видели этот выход Яковлева в роли Ярба: я уверен, что они отдали бы ему справедливость, несмотря на то что он б е с с о з н а т е л ь н о был пластичен. Того же, как произносил он стихи:

Любовь? нет, тартар весь я в сердце ощущаю,
Отчаиваюсь, злюсь, грожу, стыжусь, стонаю. . .

я даже объяснить не умею: это был какой-то волкан, извергающий пламень. Быстрое произношение последнего стиха, с постепенным возвышением голоса, и наконец излетающий при последнем слове «стонаю» из сердца вопль — все это заключало в себе что-то поразительное, неслыханное и невиданное. . . Не в моих правилах хвалиться, но мне удалось на веку моем видеть много сценических зна-

менитостей и, однако ж, смотря на них, я не мог забыть впечатления, которое и н о г д а в иных ролях производил на меня так называемый г о р л а н Яковлев; и отчего ж этот горлан в известной тираде последней сцены второго действия:

Пройду, как алчный тигр, против моих врагов,
Сражуся с смертными, пойду против богов;
Там в грудь пред алтарем Энею меч вонзая
И сердце яростной рукою извлекая,
Злодея наказав, Дидоне отомщу
И брачные свещи в надгробны превращу!

вовсе не горланил, и всю эту тираду, в которой, по выражению Дмитревского, был ему простор п о р а з г у л я т ь с я, он произносил почти полуголосом, но полуголосом глухим, страшным, с пантомимою ужасною и поражающею, хотя без малейшего неистовства; и только при последнем стихе он дозволял себе разразиться воплем какого-то необъяснимо-радостного исступления, производившем в зрителях невольное содрогание. Между тем Плавильщиков декламировал эту тираду, употребляя вдруг все огромные средства своего органа и груди и конечно производил на массу публики глубокое впечатление; но игра его вовсе не была так отчетлива. Да и какая разница между ним и Яковлевым в отношении к фигуре, выразительности лица, звучности и увлекательности голоса и даже, если хотите, самой естественности!*

Бесспорно лучшими ролями Яковлева, разумея в отношении к искусству и художественной отделке, независимо от действия, производимого им на публику, были роли: Ярба, Агамемнона в «Поликсене», Отелло, Эдипа-царя; Иодая, Радамиста, Гамлета, Ореста в «Андромахе», Оросмана и в особенности Танкреда; что ж касается до ролей Фингала, Дмитрия Донского и князя Пожарского (в трагедии Крюковского), в которых он так увлекал публику и оставил по себе такое воспоминание, то, по собственному его сознанию, эти роли не стоили ему никакого труда, и он играл их без малейшего размышления и соображения, буквально, как они были написаны.

* Прошу извинения у тех, которые судят о Яковлеве, видев его на сцене в последние годы его жизни или в ненормальном его положении.

«Не о чем тут хлопотать! — говаривал он, — нарядился в костюм, вышел на сцену, да и пошел себе возглашать, не думая ни о чем — ни хуже ни лучше не будет; так же станут аплодировать — только не тебе, а стихам».

Здесь кстати заметить, что на всех больших театрах, на которых давались классические трагедии, для первых трагических ролей (premiers rôles) находилось всегда почти два актера: один для ролей благородных, страстных, пламенных (chevaleresques), как то: Оросмана, Танкреда, Ахилла, Арзаса, Замора и проч.,* а другой для таких ролей, которые требовали таланта более глубокого и мрачного, как, например: Ореста, Эдипа-царя, Манлия, Ярба, Магомета, Отелло, Радамиста, Цинны и проч. (последние роли на первом французском театре занимал Тальма, а первые играл Лафон); но Яковлев, по гибкости таланта своего, играл не только роли обоих амплуа, но и других, лишь бы они пришлись ему по сердцу, и с равным успехом представлял первосвященника Иодая и царя Агамемнона, Танкреда и Оросмана, Ярба и Радамиста. Как в этом случае, так и в других, нельзя не согласиться с неизвестным автором надписи к его портрету:

Завистников имел, соперников не знал.

Между 1809 и 1812 годами служил при театре некто Судовщиков (помнится, Николай Родионович), автор многих сатирических сочинений и, между прочим, комедии в стихах: «Неслыханное диво, или Честный секретарь». Эта комедия точно заслуживала названия неслыханного дива по своему дикому тону и изображению подмеченной верно натуры без всяких прикрас; но вместе с тем она исполнена была таких комических сцен и забавных характеров, что, видя ее на сцене, нельзя было не хохотать, особенно при уморительной игре Рыкалова, представлявшего председателя-взяточника, и

* К слову о Заморе нельзя не вспомнить пресмешного экспромта В. Л. Пушкина по случаю представления на одном театре в Москве «Альзиры». «Как нравится тебе представление?», — спросил Пушкина хозяин дома. Пушкин без запинки отвечал:

«Альзиру видел я, Гусмана и Замора —
Умора!».

Рожественского, игравшего роль его дворника. Например, председатель учит этого дворника, как принимать просителей и о чем говорить с ними:

Пр. — Ну понял ли?
Дв. — Смекнул: ведь я тебе не ворог.
Пр. — Примолвить не забудь, что нынче сахар дорог. . .

или в сцене с секретарем, где последний просит дозволения жениться на его дочери и объясняет, что чувства любви дают ему на это право:

Пр. — Любовь и чувство, брат. . .
Прочь, прочь с механикой!

или в другой сцене, где дочь, поверяя служанке, что отец хочет выдать ее за какого-то старого богатого скрягу, описывает его так:

Лицом такой фатальный,
И стар, и крив, и пьян, и отставной квартальный.

Наконец дворник, поссорившись с служанкой, величает ее:

Эх ты, нагайская кобыла! [1]

Вся комедия в таком тоне; но дело не в комедии, а в том, что этот чудак Судовщиков был отменно умный человек, страстный любитель театра и чрезвычайно верно судил об актерах. Он особенно восхищался Семеновою, когда она еще была в низшем классе, то есть проходила роли с князем Шаховским и не попала в высший, то есть на руки Гнедичу. Однажды Судовщиков приходит ко мне утром, как будто чем-то встревоженный. «Что такое произошло у вас?». — «А что?». — «Как что? разве ты не знаешь? ведь Аменаида-то наша вчера на репетиции волком завыла». — «Как завыла и отчего?». — «Ну, полно притворяться, будто и в самом деле не знаешь?». — «Право, не знаю». — «Да на репетицию был приглашен и Гнедич и явился с нотами в руках». — «Что ты говоришь, любезный! Будь это не поутру, а после обеда, так я подумал бы. . .». — «Что тут думать? Честью уверяю, услышишь сам сегодня; не узнаешь Семеновой: воет, братец ты мой, что твоя кликуша». — Я посмотрел ему в глаза, полагая, что он, имея привычку придерживаться подчас рюмочки, в самом деле не

хватил ли через край. «Да что ты на меня смотришь? Поверь, что говорю правду. Вон, поди к князю, не через улицу переходить, сам тебе скажет; он в отчаянии». Я побежал к Шаховскому, прося Судовщикова обождать меня. «Скажите, что такое говорил мне Судовщиков? Семенова воет кликушей, Гнедич с нотами в руках. . . Я, право, ничего не понимаю». — «А то, братец, что нашей Катерине Семеновне и ее штату не понравились мои советы: вот уж с неделю, как она учится у Гнедича, и вчера на репетиции я ее не узнал. Хотят, чтоб в неделю она была Жорж: заставили петь и растягивать стихи. . . Грустно и жаль, а делать нечего; бог с ними!». Я возвратился к себе и просил Судовщикова объяснить все в подробности. Он рассказал мне, что на репетиции встретил его Гнедич с тетрадкою в руках и пригласил послушать новую дикцию Семеновой. «Я обомлел от удивления», продолжал Судовщиков. — „Чему ж удивляетесъ вы? — сказал мне с самодовольством Гнедич. — Вот, батюшка, как учить должно“, — и тут, развернув тетрадь, показал мне роль, в которой все слова были то подчеркнуты, то надчеркнуты, смотря по тому, где должно было возвышать или понижать голос, а между слов в скобках сделаны были замечания и примечания, например: с восторгом, с презрением, нежно, с исступлением, ударив себя в грудь, подняв руку, опустив глаза и проч.* Я, братец, и не нашелся, что отвечать, а признаюсь, засмеяться хотелось. Зато наш Танкред разодолжил его. Гнедич, заметив, что он сидит один очень задумчив и еще натощак, подсел к нему и начал говорить ему комплименты: „Славно же вы прошедший раз играли Танкреда; я был очень доволен вами и особенно в сцене вызова. Что, если б всегда так было! Я уверен, что вам самим любо, когда вы чувствуете себя здоровым. В самом деле, стоит ли искажать свой талант, дар божий, неумеренностью и невоздержанием? Ну, признайтесь, не правда ли?“. — „Правда, — вздохнув отвечал Танкред, — совершенная правда. Гадко, скверно, непростительно и отвратительно!“. И с последним словом встав с места, подошел к буфету: „Ну-ка, братец, налей полный, да знаешь

* Я сам видел у Гнедича такие тетрадки, приготовленные для Семеновой.

ты, двойной“, — и, залпом осушив стакан травнику, зарепетировал сцену вызова:

> Пусть растворяют круг для соисканья славы,
> Пусть выйдут судии пред круг сей боевой,

и, обратясь к Гнедичу:

> О, гордый Орбассан, тебя зову на бой!

Мы так и померли со смеху. Кажется, что Гнедич с этих пор будет следить за игрою Семеновой дома, а в театр на репетицию больше не приедет».

Все это я рассказываю для удостоверения, что Семенова изменила свою дикцию только с 1810 г., что она первая з а п е л а в русской трагедии и что до нее, хотя и читали стихи на сцене не так, как прозу, но с некоторым соблюдением метра, однако ж вовсе не п е л и; что нововведение Семеновой растягивать стихи и делать на словах продолжительные ударения, привилось от неправильно понятой дикции актрисы Жорж и вовсе не было одобряемо нашими старыми и опытными актерами, которые остались непричастны этому недостатку, несмотря на весь успех, который приобрела Семенова певучею своею декламациею.

Однако ж, несмотря на ложное направление, данное таланту Семеновой, этот талант был превосходный, хотя исключительно подражательный. Если б предоставить Семенову самой себе, отняв у ней руководство, чье бы то ни было, Шаховского или Гнедича, она не в состоянии была бы ни обдумать своей роли, ни оттенить ее как бы следовало. Бог ее наградил, как и актрису Жорж, необыкновенными средствами: хорошим ростом, правильным телосложением, красотою необыкновенною, физиономиею выразительною, сильным, довольно приятным и гибким органом — словом, она имела все, что может только иметь женщина, посвящающая себя театру, кроме того, чего не имела и сама Жорж, то есть достаточного образования, способности понимания * и дара слез. В первой своей мо-

* Говорю: п о н и м а н и я, а не п е р е н и м а н и я, ибо последнею способностью она обладала в высокой степени.

лодости, играя некоторые легкие роли, как то: Антигоны, Моины и Ксении, выученные ею под руководством князя Шаховского в присутствии Дмитревского, она была прелестна, и эта прелесть простой и естественной игры ее была неразлучна с нею до самого прибытия сюда знаменитой французской актрисы, которая вскружила голову ей в вместе многим почитателям ее таланта, в главе которых находился Гнедич, человек умный, благонамеренный, талантливый, постоянно верный в своих привязанностях, но фанатик своих собственных мнений и — самолюбивый. Кто ж не имеет недостатков? Гнедич не путешествовал, не видал никого из тогдашних сценических знаменитостей, не имел случаев сравнивать одну с другою, что необходимо для постижения истины во всяком искусстве, а тем более в театральном; и вот первая попавшаяся ему на глаза актриса с бесспорным талантом, но также подражательным, ученица славной Рокур, сделалась для него типом, по которому он захотел образовать Семенову. Гнедич всегда пел стихи, потому что, переводя Гомера, он приучил слух свой к стопосложению греческого гекзаметра, чрезвычайно певучему, а сверх того это пение как нельзя более согласовалось с свойствами его голоса и произношения, и потому, услыхав актрису Жорж, он вообразил, что разгадал тайну настоящей декламации театральной и признал ее необходимым условием успеха на сцене. Вот Семенова и запела. . . К несчастью, эта неслыханная на русском театре дикция нашла своих приверженцев, понравилась публике и Семенову провозгласили первою актрисою в свете.[1]

Но если Жорж п е л а, то не надобно думать, чтоб она пела, как Семенова: у этой актрисы, сводившей с ума весь Париж красотою, прославившейся некоторыми приключениями в сношениях с Наполеоном* и приехавшей сюда двадцати четырех лет отроду

* Вот одно из них, которое Жорж не скрывала. Однажды, желая доказать привязанность свою к великому человеку, она вздумала попросить его портрета. Qu'à cela ne tienne, — отвечал Наполеон и, схватив горсть бриллиантов и двадцатифранковую монету с своим изображением, подал их актрисе: «Le voici, — сказал он, — et que ceci vous contente». Я видал Жорж почти ежедневно и, как ни был молод, однако ж заметил, что она была глупа.

во всем блеске своей красоты и силе таланта, были минуты истинного вдохновения в некоторых ролях, как то: Федры, Меропы, Клитемнестры, Семирамиды и проч., минуты, которые старик Флоранс, преподаватель декламации в Консерватории, приехавший вместе с Жорж, ловил, так сказать, на лету и потом обращал их в неизменные для нее правила. На другой год по приезде сюда Жорж прибыла и другая красавица с французского театра — девица Бургоен, на так называемые роли принцесс (grandes princesses, fortes jeunes premières), как то: Андромахи, Монимы, Заиры, Арисии, Аталиды и проч., актриса талантливая и очень уважавшаяся в своем трудном и часто неблагодарном амплуа; но она оставалась не более года. . .

Семенова уже пользовалась известностью отличной актрисы и успела заслужить полную благосклонность публики, когда Валберхова поступила на сцену. Эта образованная и пригожая собою актриса, которой истинное и сообразное с ее природными способностями назначение должно было состоять в исполнении ролей, в трагедиях — «принцесс», а в высоких комедиях — Эльвир и Селимен, по какому-то непостижимому недоразумению должна была принять на себя роли цариц и матерей, то есть что называется первые трагические роли, несоразмерные с ее силами. Нет сомнения, что она выполняла их довольно успешно и могла бы даже снискать в них заслуженную славу, если б мы не имели уже Семеновой, которой сценические качества были свойственнее сильным ролям, чем качества вновь появившейся актрисы. Признаюсь, я не мог постигнуть заблуждения князя Шаховского относительно настоящего ее призвания: вместо того, чтоб обратить Семенову на сильные роли, как то: Дидоны, Софонизбы, Гофолии, Деборы, Кассандры, а Валберховой предоставить легкие роли Семеновой, например Моины, Антигоны, Ксении, Поликсены и т. д., князь Шаховской с какою-то беспечностью смотрел на такое распределение ролей в предосуждение пользе обеих актрис и собственному своему спокойствию. Правда, он мог иметь в виду и то обстоятельство, что Семенова не выпустит из рук тех ролей, которые приобрели ей благосклонность публики в начале ее поприща, и что в таком случае

если ей будут отданы роли Валберховой, эта последняя останется совсем почти без ролей, а потому и не действовал; но как бы то ни было, отсюда проистекли все неудовольствия на князя Шаховского и то, что сделано им по неведению или по невозможности, отнесено к умыслу. Впоследствии собственно для каждой из обеих актрис сочиняемы и переводимы были их приверженцами разные трагедии, но это уже не могло поправить дела.

Все эти обстоятельства, вся эта кутерьма из каких-нибудь ролей могут теперь показаться очень мелочными, очень ничтожными и даже достойными смеха; но надобно вспомнить, что все это происходило сорок пять лет назад, когда театральные дела как на самой сцене, так и за кулисами трактовались с некоторою важностью. Тогда существовали еще записные театралы из людей всех сословий и высшего общества; тогда первое представление какой-нибудь трагедии, комедии или даже такой оперы, как «Илья Богатырь» Крылова, возбуждало общий интерес, производило повсюду толки, суждения и рассуждения; тогда всякая порядочная актриса и даже порядочный актер имели свой круг приверженцев и своих недоброжелателей; между ними происходили столкновения в мнениях, порождавшие множество случаев и сцен, иногда занимательных, иногда и нет, но всегда поддерживавших общественное любопытство. Составлялись разные закулисные анекдоты, переходившие от одного к другому, конечно, большею частью в превратном виде. . . Да какое до того дело? Анекдоты не история; достаточно и того, что они были забавны. . . Словом, для театра и театралов было золотое время. Но другие времена — другие нравы!

IV

Однажды, как-то в конце июля 1811 г., вечером сидело у князя Шаховского несколько обыкновенных его посетителей: И. А. Крылов, старик С. С. Филатьев, А. Я. Княжнин, С. И. Висковатов, П. И. Кобяков и проч. Беседа была оживленная: толковали о том о сем, разумеется, наиболее о литературе, о театре и актерах, и, между прочим, горевали о том, что Крылов потерял первое действие начатой им комедии «Ленивый». В первой сцене этого действия

слуга, сочиняющий за барина письмо к его родителям, двумя стихами чрезвычайно резко обрисовал характер Ленивца:

«Ну, что ж еще писать? . .
Всё езжу по делам!». — Да, ездит уж неделю
С постели на диван, с дивана на постелю; [1]

читали некоторые сцены из комедии Пикара «La Petite ville», переведенной Княжниным и доставленной князю Шаховскому при стихотворном посвящении, которое начиналось так поэтически:

Любезнейший мой князь, прими сего дитятю,
Который отыскал в тебе драгого тятю,
Хотя Пикар ему был истинный отец;
Но я свернул его на русский образец, и проч.

уговаривали Филатьева отказаться от бесплодного труда над переводом Лукановой «Фарсалии» в прозе и предпринять что-нибудь полезнейшее, хотя бы, например, диссертацию о Китае, который почитал он земным раем, а китайцев — образованнейшим народом в целом свете; задевали за живое Висковатова, который в своих переводах трагедий вовсе не держался подлинника и для рифм изменял не только смысл стихов, но и даже характеры персонажей; словом, досталось всем сестрам по серьгам, не исключая и самого хозяина, которому напомнили сцену в четвертой части его «Русалки», когда Тарабар с Кифаром вылезают из котлов, в которых кипятил их волшебник Злорад, чихают и начинают разговор тем, что один говорит здравствуй, а другой отвечает благодарствуй! Время проходило незаметно, как вдруг вошел исторический Макар * с докладом о приходе какого-то Якова Григорье-

* С. Н. Марин, известный своим остроумием, многими сатирическими сочинениями в эпоху с 1797 по 1800 год, переводом «Меропы» и, наконец, многими шуточными посланиями, как то: к Геракову, к уличному стихотворцу Патрикеевичу и проч., обессмертил слугу бывшего своего сослуживца стихотворным наставлением, кого именно впускать и не впускать в кабинет князя Шаховского:

Старинный, верный раб фамилии старинной,
Немыслящий мудрец, о ты, Макар предлинный,
Наперсник и лакей, дворецкий и швейцар,
К тебе склоняю речь, единственный Макар! и проч.[2]

вича Григорьева. — «Ах, боже мой! — вскричал Шаховской, — я было и забыл. Как я рад, как я рад! Посмотрите, господа, какое нам бог посылает сокровище! Зови, зови скорее!». Надобно знать, что наш комик чрезвычайно легко пристращался ко всем людям, особенно же к таким, которых почитал способными для сцены и которых мог учить декламации. Вот входит Григорьев: молодой человек лет 20, пристойно одетый, прекрасной наружности и с открытою физиономиею. «Ну, что, братец, решился?». — «Давно решился, ваше сиятельство». — «А увольнение от службы получил?». — «Нет еще, но обещают скоро уволить». — «Да, похлопочи, любезный, пожалуйста, похлопочи; август на дворе, в школе начнутся спектакли, а тебе надобно сначала поиграть в школе, чтобы попривыкнуть к лампам; да почитай-ко что-нубудь из тех ролей, какие ты знаешь. Роль Тверского я слышал: нет ли другой?». — „Разве прикажете из роли Полиника, сцену с отцом?“. — «Прекрасно, валяй! а вот Семен Семеныч и Эдипом будет, чтоб тебе знать к кому обращаться». — И вот переводчика Лукановой «Фарсалии» поставили противу Григорьева чучелою Эдипа. Молодой кандидат на звание актера, ни мало не конфузясь, вышел на середину комнаты и хотел было начинать роль свою, как вдруг князь Шаховской, остановив его, закричал: «Подайте чистую простыню!». — «А на что тебе простыня?», — отозвался глубокий контральт из ближней комнаты. — «Нужно, нужно; подайте скорее!». Простыня была принесена, и князь нарядил Григорьева греком не хуже тогдашнего костюмера Бабини. — «Это для того, любезный, чтоб видеть, как

Макар и Семен, слуга Яковлева, которого наш Тальма называл Семениусом, в то время часто служили предметами шуток молодых весельчаков; последнему с кем-то удалось побывать на кавказских водах, и он не мог наговориться о них и забыть ни виденной будто бы им за 700 верст известной горы Шат (Эльборус), ни кизлярского вина, которое, по его сказанию, распивали там ушатами. По этому случаю Яковлев написал ему следующую кенотафию:

Под камнем сим лежит Семениус великой,
Кто невозможному служил живой уликой:
Из-за семисот верст он видел гору Шат
И залпом выпивал кизлярского ушат.

будешь ты действовать в костюме. Ну, теперь начинай». Григорьев начал:

> И так, я осужден на вечные мученья,
> И так не должно мне надеяться прощенья! и проч.

и продекламировал всю эту тираду ясно, вразумительно, голосом твердым, без излишней горячности и соблюдая нужную постепенность; а при стихе:

> Твой кающийся сын падет к твоим ногам,

бросился к ногам Филатьева очень ловко, не путаясь в простыне, которою был окутан, и последующую тираду:

> Чтоб, чувствия свои ко мне переменя, и проч.,

проговорил, усилив голос и еще с бо́льшим одушевлением, чем прежнюю, словом, декламировал так, как иногда не удается иному и опытному актеру.

«Хорошо!», — вскрикнул восхищенный князь Шаховской; «Хорошо», — повторили хором все присутствующие, кроме Крылова, который никогда не увлекался и, вместо всяких возгласов, только спросил Григорьева: «А что, у м н и ц а, ты учишься у кого-нибудь?». — «Никак нет-с», — отвечал молодой человек. «Ну, так и подлинно бы, князь, поскорее им заняться, а то, пожалуй, еще и с толку бьют». Князь Шаховской просил Григорьева настоятельнее хлопотать о скорейшем увольнении от должности, а между тем поручил ему выучить некоторые роли для школьных спектаклей, как то: Лаперуза, Влюбленного Шекспира, Солимана в «Трех султаншах» и несколько других в комедиях, в том убеждении, что ничто так не развязывает молодого актера и не приучает его к естественности, как игра в комедиях. Крылов заметил, что после школьных спектаклей всего бы лучше на Большой театр выпустить его в какой-нибудь ничтожной роли, но в таком костюме, который бы пристал к нему, хоть бы, например, в роли Видостана в двух первых частях «Русалки». Князь согласился с замечанием и, отпуская Григорьева, пригласил его ходить к нему ежедневно по утрам, с тем что он будет проходить с ним все роли. «Да пожалуйста, братец, — примолвил

он, — не очень слушайся дурных советников, а пуще всего заруби себе на нос, что если наградил тебя талантом бог, то развить его ты должен сам постоянным трудом и прилежанием. Читай и учись».

Этот Григорьев впоследствии был — актер Брянский.[1]

По выходе Григорьева стали толковать о новом приобретении для русской сцены, и князь Шаховской, по обыкновению, не в состоянии был удержаться от своих фанатических восторгов: «Да, это сущий клад, сокровище! Вот увидите, что из него выйдет». — «А выйдет то, что бог даст, — сказал хладнокровный Крылов, — только с этим талантом надобно поступать осторожно; мне кажется, первые два три года не должно бы давать ему ролей слишком страстных: не мудрено привить фальшивую дикцию и приучить к неумеренным и неуместным возгласам по обязанности. Этот поддельный огонь спалил не одного молодца на сцене. Малой читает мастерски, слова нижет как жемчуг, да надобно подождать, чтоб он их прочувствовал. Заставь-ка его выучить роль Тита или Тезея и пусть его себе разглагольствует, пока не созреет для ролей страстных; Полиника сыграет он и теперь лучше Щеникова но рано и опасно вверять ему такие роли». К слову о Полинике А. Я. Княжнин сделал очень смешное замечание: «Знаете ли, господа, отчего трагедия „Эдип“ имела такой неслыханный успех на театре?». — «Разумеется, оттого, — подхватили все собеседники, — что она прекрасно написана и что Шушерин был в ней превосходен». — «Не угадали, — сказал Княжнин, — оттого, что на сцене видели первую трагедию, в которой был наперсник один, а по штату необходимо иметь двух, не говоря о наперсницах». — Все засмеялись. «Что ж вы смеетесь? — продолжал Княжнин, — я, право, полагаю, что если б можно было составить трагедию совсем без наперсников, то она бы еще больше успеха имела». — «Как будто бы таких трагедий и нет? — возразил Шаховской, — а „Гофолия“? а „Магомет“? а „Поликсена“? а все трагедии Альфиери? да и в моей „Деборе“ наперсников нет. Можно, пожалуй, и не выводить на сцену официальных персонажей, называемых наперсниками, confidents; но тогда и заставь, как Альфиери, главных своих персонажей говорить самих с собою. Как ни велик талант Альфиери, а трагедии его все-

таки сухи. Но пусть наперсников и не будет: так все же надобно обставить трагедию другими персонажами, например жрец Матфан и военачальник Омар разве не такие же наперсники Гофолии и Магомета? Дело не в наперсниках, а в ходе пьесы, в занимательности ее содержания, в верном изображении характеров, нравов и в таком расположении действия, чтоб ни один персонаж не входил на сцену и не сходил с нее без причины, как то делается в „Русалке" или в „Артабане", трагедии одного из друзей моих (я поклонился). Какой хочешь имей талант, а из одних сцен à tiroirs трагедии не составишь: все-таки придется склеить их посредством каких-либо лишних персонажей: наперсников, п р о с т о, или наперсников-жрецов и военачальников, да и в самом „Эдипе" Антигона, в сущности, не та же ли наперсница? В сюжетах из древней истории и таких, которые взяты из Эсхила, Софокла и Эврипида, наперсники не мешают: они заменяют х о р древних; но, конечно, странно видеть в трагедиях, взятых из русской истории, наперсников и наперсниц, как у Сумарокова, у твоего батюшки и даже как у нашего Владислава Александровича, который в „Дмитрии Донском" дал н а п е р с н и ц у Ксении; а, кажется, не трудно было бы, заменить ее кормилицей, няней — чем хочешь, пожалуй, хоть барской барыней, если не нравилась б о я р ы н я».

Князь Шаховской и в серьезных разговорах не мог обойтись без колкости и насмешек.

В конце августа Григорьев, получив увольнение от службы, поступил на театр и, приняв фамилию Б р я н с к о г о, дебютировал в сентябре (на театре, бывшем в доме Кушелева, где теперь Главный Штаб) в роли Лаперуза. Эта драматическая роль дана была ему с намерением, чтоб удержать его от излишней горячности, которая всегда почти увлекает молодых артистов и заставляет их невольно выходить из пределов благоразумия. Брянский выполнил роль хорошо и имел успех. После того он играл во многих пьесах, большею частью комедиях, и разумеется, как прежде предположено было, Видостана в «Русалке» и Солимана в «Трех султаншах», которых богатые костюмы так приличествовали его красивому стану и пригожему лицу. Он начинал привыкать к сцене, ознакомился

с ее условиями, стал развязнее, почти овладел интонациею своего голоса, узнал публику и через четыре месяца, то есть 6 января 1812 г., явился в роли Шекспира в комедии «Влюбленный Шекспир»,* в которой Яковлев был превосходен. Эта роль, хотя и комическая, но написана Дювалем для актеров трагических и собственно для Тальмы. Брянский, несмотря на сравнение с великим нашим актером, которое его ожидало, имел отличный успех. Я помню, что он прекрасно играл ту сцену с Кларансою, в которой, проходя с нею роль, он делается недоволен ее бесстрастным выражением любви и ревности и начинает вразумлять ее, чтó значат страсти любовь и ревность и как должно изображать их: «Ревность — адское чувство, гнетущее здесь, то есть сердце. . .». Игра в этой сцене Брянского нравилась и самому Яковлеву, который был чужд зависти, принимал радушное участие в успехах молодых талантов и готов был уступать им роли, если они находили их по своим силам. Исполнив роль Шекспира, Брянский занял решительно почетнейшее место на русской сцене после Яковлева. Предсказания князя Шаховского начинали сбываться; однако ж он на этот раз последовал совету Крылова и заставлял Брянского большею частью играть в драмах, комедиях, а иногда и в водевилях. Для Брянского собственно возобновлена была комедия в стихах Ефимьева: «Преступник от игры, или**

* Комедия «Влюбленный Шекспир» переведена Д. И. Языковым и замечательна тем, что напечатана без еров. Это было первое нововведение в нашу азбуку. За букву ер вступились многие литераторы, и по этому случаю появилось много забавных стихотворений, которых, впрочем, цитировать не стоит.

** Это несчастное или было и в старину в большом употреблении. Известный Милонов, который

столько раз. . .
Так пил, так пил, что чуть не пропил глаз,

в один из этих разов написал следующий шуточный экспромт Н. Ф. Грамматину, по случаю попытки его отдать на театр какую-то комедию, переведенную из Гольдони:

Твоя комедия без или,
И на театре ей не быть:
Она сгниет в архивной пыли;
Да почему ж ей и не сгнить,
Когда и с прибавленьем или
Давным-давно две Лизы сгнили?

Братом проданная сестра», в которой он отлично выполнил роль Безрассудова.

Я следил за игрою Брянского до конца августа 1816 г., то есть до того времени, когда я оставил Петербург; следовательно могу только говорить о т о м Брянском, которого я видел и слышал в первой его молодости, и к тому ж в немногих ролях классических трагедий, ролях, принадлежащих, по мнению моему, к настоящему его амплуа, потому что он показался мне в них превосходнее, нежели в ролях прочих пьес. Говорят, что впоследствии он с огромным успехом играл в драмах и особенно роли злодеев, как то: Вальтера в «Женевской сироте», Франца Моора в «Разбойниках» и проч. Может быть. Следуя правилу не судить об актерах по рассказам других, я не стану говорить о том, чего не видал, но едва ли талант и физические свойства, созданные для классической декламации и превосходные в ролях, требующих сценического благородства, могли подчиниться условиям, необходимым для верного изображения таких злодейских характеров, какие он, судя по обширному своему репертуару, принимал на себя. Впрочем, это покамест в сторону. Я видел Брянского в следующих ролях: Марцелла в «Маккавеях», Ираклия и «Ираклидах», князя Курбского в «Покоренной Казани», Ореста в «Ифигении в Тавриде», Ахилла в «Ифигении в Авлиде», Трувора в «Синаве и Труворе», Фарана в «Абуфаре»; Парида в «Гекторе», Амана в «Эсфири» и, наконец, Танкреда в «Танкреде». Все эти роли, кроме Танкреда, были им созданы, и никто не мог служить ему в них образцом, а молодой двадцатипятилетний актер, который только четыре года действует на сцене, создающий роли Ахилла, Ореста и Фарана на сцене обширной, пред многочисленною публи-

---

Я разумею: Лизу, и л и
Признательности торжество; *
И ту, какой и естество
Не создавало: Лизу, и л и
Распрепечальный р е з у л ь т а т
И г о р д о с т и и о б о л ь щ е н ь я **
Ну, так бери свои творенья
Да и скорей их в печку, брат!

---

* «Лиза, или Торжество благодарности», драма Н. И. Ильина.
** «Лиза, или Следствие гордости и обольщения», драма Б. М. Федорова.

кой — такое явление, которому не только в России, но и в самой Франции — отечестве первостепенных сценических талантов — примера не было; однако ж мы были свидетелями этого события, и, к удивлению, все вышеисчисленные роли Брянский исполнил прекрасно; а в тех местах, которые не требовали большого увлечения и пылу, мог даже назваться превосходным. Брянский был чтец по преимуществу, чтец, каких я мало встречал в жизни, и в этом отношении он чрезвычайно был полезен сочинителям и переводчикам трагедий, которые поверили ему свои произведения: ни одно слово, ни одно выражение не пропадали даром; по замечанию Крылова, он низал их бисером и умел выказать все красоты и достоинства стихов. Много трагедий, благодаря Брянскому, удержалось на сцене, и без него «Ифигения в Авлиде», несмотря на игру Семеновой в роли Клитемнестры, не произвела бы такого впечатления, потому что тогда роль Ахилла должен был бы играть Яковлев, а важная роль Агамемнона, за увольнением Шушерина, досталась бы Сахарову или Каменогорскому — и какие были бы это Агамемноны? Впрочем, я всегда думал, что Яковлев в роли к и п у ч е г о Ахилла (le bouillant Achille), а Брянский в роли Агамемнона, если б не его молодость, были бы более на своих местах. Как бы то ни было, Брянский выполнил роль Ахилла к общему удовольствию знатоков, и если он, по природе своей, не мог быть в такой же степени к и п у ч, как Лафон, то играл с таким же благородством и достоинством, как и знаменитый Ахилл Французского театра.

В роли Танкреда Брянский подражал Яковлеву. Не знаю, почему Яковлев передал эту роль, одну из своих любимейших, молодому актеру, но помню, что дня за два до моего отъезда из Петербурга,* приехав с ним проститься, я сказал ему, что завтра увижу его в последний раз в роли Танкреда. — «Увидишь Танкреда, да не меня, — отвечал мне Яковлев, — я передал роль Брянскому». — Я удивился. «И Пожарского передал, — продолжал он, — да скоро и все передам». — «А сам-то?. . Кажется пора перестать дурить». —

* Это было накануне представления «Танкреда» 23 августа 1816 г., а я оставил Петербург 25 числа.

«Дурить? Эх вы!». Он отвернулся и больше ни слова. Я не имел времени долго толковать с ним, будучи занят сборами к отъезду по службе, но на другой день приехал в театр видеть нового Танкреда. Публика собралась многочисленная; с нетерпением выслушал я два первые действия в ожидании третьего, и вот, наконец, любопытство мое удовлетворено: подымается занавес, и на сцену входит новый Танкред, без робости, медленным, но твердым шагом, обводит главами сцену, кладет левую руку на плечо следовавшего за ним Альдамона, смотрит с какою-то грустно приятною улыбкою на стены сиракузские и, наконец, тяжело вздохнув, произносит:

Для благородных душ сколь родина священна!
О, как душа моя в стенах сих восхищенна!

Театр поколебался от рукоплесканий. После этого выхода Брянский безнаказанно мог играть как хотел: публика заранее ему все простила, и сравнение с Яковлевым было позабыто. Разумеется, в сцене вызова он далеко отстал от Яковлева, потому что игра последнего в этой сцене превосходила все, что только вообразить себе можно, и Лафон, у которого роль Танкреда была торжеством, по благородному выражению Кондратьева, не годился ему в подметки. Однако ж Брянский исполнил ее прекрасно, и страстный пыл великодушного рыцаря заменил благородством и достоинством. Больше нельзя было и требовать от молодого актера.

Говоря о таланте Брянского, нельзя не сказать несколько слов и о сценической его деятельности вообще. Эта деятельность с 1811 г. по день его кончины превосходит всякое понятие, какое можно себе представить о средствах артиста. Мне попался случайно репертуар его ролей, и я не знал, чему изумляться: числу ли этих ролей, или их разнообразию? Нельзя поверить, чтоб один человек мог вынести весь этот репертуар на плечах своих, какую бы обширную память ни имел он. Еще при жизни Яковлева часть его ролей перешла к Брянскому, а по смерти его он занял весь репертуар его амплуа и, сверх того, должен был создавать роли в новых пьесах трагических, драматических и комических; но этого мало: по вступлении в 1820 г. Каратыгина на сцену, он уступает ему несколько ролей, что, казалось бы, должно было облегчить его — нет! Он занимает амплуа Шуше-

рина и начинает тем, что для дебюта Каратыгина в «Фингале» обращается в Старна; в «Танкреде» играет Орбассана, в «Радамисте» Фарасмана и вслед затем является опять в своей роли Ярба и Арзаса в «Семирамиде»; то играет Отелло и Оросмана, то Пронского или Изборского; то предстает пред публикою наперсником Тераменом в «Федре», то Ломоносовым в водевиле, то старцем Леаром или Клердоном и опять Мольером или Езопом, читая на сцене лучшие басни Хемницера и Крылова. . . да это сущий Протей! И все это выполняет он, не имея более 32 лет отроду (род. в 1790 году)! Как же требовать совершенства от такого актера? Репертуары всех сценических знаменитостей мне известны: двадцать, много тридцать ролей * на целую жизнь и, к тому ж, таких ролей, которые обдумать за вас потрудились другие. Однако ж я помню, что в то время, когда я видел Брянского, он, если не во всех ролях был одинаково хорош, то и не одной из них не портил.

Брянский был одним из числа тех о ч е н ь н е м н о г и х людей, которые сохранили к князю Шаховскому должное уважение после увольнения его от театра и не забывали его попечений. Зато и автор «Полубарских затей», сколько мне известно, не переставал любить и всегда уважать Брянского. В бытность свою в Москве, в 1842 г., он часто бывал у меня ** и всегда с удовольствием вспо-

* Рашель имеет их не более 25, а постоянный репертуар Тальмы составлен был с чем-то из 30.

** В последний раз виделся я с старым сожителем моим у себя за обедом. На пригласительную записку мою он отвечал следующими стихами, с которых снимок приложен к драматическому альбому г. Арапова:

Прежде — бывший твой сосед,
Только брюхом нынче дюжий,
На приятельский обед
Норовит свой рот досужий,
Чтоб без совести пожрать
И без панцыря поврать;
И хоть прежде рот зубастый
Нынче вовсе без зубов,
А работать все готов,
И к беседе умной зов
В матушке Москве не частый
Не забыл: душевно твой
Обветшалый Шаховской.

минал о Брянском. «Это человек, — говорил он, — для которого труды мои не погибли!», — и правду сказать, по обыкновенному своему увлечению и страсти к преподаванию уроков декламации, много трудов его погибло даром, потому что он иногда настойчиво хотел сделать таких людей актерами, которые рождены были быть полотерами; и вот тому пример: в один прекрасный день. . . нет, этот галлицизм здесь не у места, напротив, случай, о котором я рассказать хочу, происходил в один прескверный день февральской погоды в Петербурге: страшная метель бушевала по улицам, сырой снег валил хлопьями, и вьюга беспощадно свистела в щели неплотно вставленных окон нашей квартиры; в такую погоду я не решился идти в Коллегию. Напившись чаю, мы сидели с подругою князя у затопленной печки (каминов у нас не было) и болтали всякий вздор между тем как наш метроман углубился в какое-то сочинение. Вдруг докладывают, что некто г. Толстиков пришел с письмом от одного из братьев князя, живущего в Ярославской губернии; входит человек лет под пятьдесят, среднего роста, очень смуглый, очень неопрятный, небритый, посинелый от холода, в сером сюртучишке и, держа в одной руке дырявую шляпенку, другою подает князю письмо. Князь распечатывает и читает письмо, которым рекомендовался Толстиков, как отличнейший актер с огромным трагическим талантом, что он играл все первые роли в трагедиях и драмах с величайшим успехом на всех театрах губернских, преимущественно на ярославском, и что он во всех отношениях достоин быть принят в число придворных актеров, почему и отправляется к князю прежде для испытания, а потом, разумеется, для определения на петербургский театр. Когда дело шло о приобретении сюжета для театра, князь Шаховской размышлял недолго и, не обратив внимания на невзрачную наружность пришельца, вступил с ним в разговор. «Какие роли вы знаете?». — «Да всякие, ваше сиятельство; играем

В это время жил он у общего нашего приятеля Л. К. Н., внука старого своего начальника, в подмосковном селе его.[1] Л. К. старался успокоить старого беспечного комика и помогал ему в делах его словом и делом, советами и деньгами. На советы друзей не оберешься, но на деньги — дело другое, и в этом отношении Л. К. составляет исключение из общего правила.

все, что под руку попадется, — отвечал актер настоящим ярославским наречием, — Димитрия Самозванца, Синава и Беверлея». — «Прочитайте же нам что-нибудь, если можете». — «Теперь не могу, ваше сиятельство: иззяб до смерти; пришел без шубы». — «Ну, так согрейтесь прежде». Толстиков поклонился. «Вот изволите видеть, ваше сиятельство, кабы водочки, так я бы может быть и скорее поотогрелся». — «Кажется, водки-то у нас нет (и никогда не бывало ни водки, ни вина), а не хотите ли чаю?». — «Чаем не занимаемся, ваше сиятельство». — «Ну, так придите завтра или послезавтра утром: я пройду с вами какую-нибудь роль, а там увидим». Едва Толстиков вышел, мы захохотали. «А чему обрадовались? смешон-то смешон: но кто знает, может быть, что-нибудь и путное выйдет: наружность обманчива». — «Да выговор-то не обманывает, князь». — «Выговор и перемениться может; впрочем, без испытания не узнаешь, на что этот человек способен. Не для трагедии, так, может быть, для комедии пригодится: Рожественский не лучше был».

Каждое утро в продолжение недели возился князь Шаховской с ярославским Гарриком и, наконец, потерял терпение: «Нет, тут уж ничего не сделаешь! — вопил он пискливым своим голоском, — решительно ничего! Охота же моему братцу навязывать на меня таких пострелов!». Несмотря, однако ж, на этот гневный отзыв, Толстиков дебютировал в роли Беверлея и, разумеется, возбудил общий хохот.

Впоследствии, роясь в записках своих, я нашел, что этот Толстиков, купеческий сын, был некогда выкуплен ярославским дворянством из какой-то беды. Благодарственное письмо его, довольно безграмотное, напечатано в 22 № «Московских ведомостей» 1806 г.

Мочалов-отец играл прежде в драмах и комедиях, а иногда и в операх. Я видал его на московской сцене в 1804, 1805 и 1806 гг., большею частью в ролях серьезных молодых людей и в опере «Иван Царевич». Он был очень статен и красив собою, старателен, память имел хорошую; но в то время ничто не предвещало в нем будущего трагедианта; однако ж он сделался им, и еще при жизни Плавильщикова имел репутацию хорошего трагического актера. Н. И. Конд-

ратьев, отчаянный его партизан, приехав сюда в конце 1812 г., несколько прежде своего любимца и прочих московских актеров, рассказывал чудеса о его таланте, и многие поверили ему на слово, но скоро разочаровались, увидев Мочалова на сцене. В Петербурге он играл роли Кассио в «Отелло», князя Тверского в «Дмитрии Донском», Орбассана в «Танкреде» и несколько других второстепенных ролей, в которых не произвел на публику никакого впечатления, хотя надобно отдать ему справедливость, он был лучший Кассио, лучший Тверской и лучший Орбассан, какие когда-либо появлялись у нас до Брянского. Я заметил, что он чрезвычайно старался обратить на себя внимание публики, не оставаясь ни на секунду без движения; а в сценах ссоры Тверского с Дмитрием и вызова в «Танкреде» забегал на авансцену и посматривал иногда на партер, как бы желая сказать: «Вот, дескать, мы каковы, и вашего Яковлева не струсили!». Дикция его была прерывиста и, мне кажется, он не мог произнести стиха без того, чтоб не перевести дыхания. Что было с ним и как играл он по возвращении своем в Москву, мне совершенно неизвестно, но, знаю, что репутация сына его, Павла, поглотила собственную его репутацию, и если имя Мочалова останется в памяти будущих поколений, так это благодаря таланту сына, таланту в высокой степени драматическому и самостоятельному, одному из тех талантов, какие появляются, и то не последовательно, в одни только полувековые периоды времени. Но, чудное дело! кто поверит, что я, старый театрал, живя в Москве 22 года и после того 11 лет в Петербурге, видел Каратыгина в одной только роли классической трагедии, и то в начале его поприща, а Павла Мочалова не видал ни в одной! Что ж касается до игры их в немногих виденных мною драмах и новейших трагедиях, что сказать могу, чего бы уж не знали и о чем бы не судили современники? И если в продолжении моих рассказов, которое, вероятно, когда-нибудь появится в свет, я случайно и касался этих знаменитостей нашей сцены, то, конечно, не с намерением возбудить полемику: я не стою за свои мнения, потому что не считаю их непогрешительными, и единственно забочусь о том, чтоб представить все события моего времени, с самого почти начала текущего столетия, в настоящем виде, описывая их, по выражению

известного З. А. Горюшкина *, вдолбительно и вразумительно, без всяких прикрас, для которых, к сожалению, я устарел и, волею-неволею, принужден повторить слова поэта, почтившего меня стихотворным своим посланием:

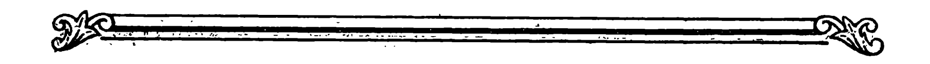
. . . .
Нет восторгов прежних боле;
Бог тебе сей жребий дал,
Чтоб в твоей смиренной доле
Ты прозаик пошлый стал.
Умерли в тебе желанья
И надежд веселых нет:
Ты ослеп для созерцанья
Призраков грядущих лет;
Нынче все твои мечтанья
Лишь одни воспоминанья,
Лишь минувшему привет:
Ты рассказчик — не поэт!



* Бывший преподаватель юриспруденции в Московском университете в первых годах текущего столетия.

ПРИЛОЖЕНИЯ





ОТ РЕДАКЦИИ

«Записки современника» С. П. Жихарева состоят из двух частей: «Дневник студента» и «Дневник чиновника»; к ним в настоящем издании прибавлены написанные Жихаревым позднее «Воспоминания старого театрала». Тексты этих памятников проверены по первоисточникам, в результате чего сделаны некоторые существенные исправления и дополнения (подробности см. в статье «Источники текста»).

При чтении этой книги надо иметь в виду следующее:

1) текст печатается по современной орфографии;

2) деление «Записок современника» на две части сделано автором, и им же (в издании 1859 г.) был выделен эпиграф к I части;

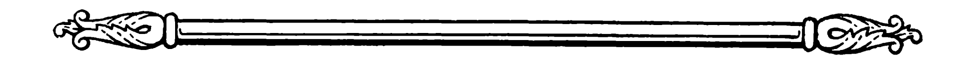
3) все подстрочные примечания (а также все подчеркивания) принадлежат автору;

4) напечатанное перед текстом «Воспоминаний старого театрала» особое содержание было сделано автором при их печатании в «Отечественных записках»;

5) переводы иноязычных текстов даны в конце книги (после примечаний);

6) к книге приложены два указателя: словарь имен, упоминаемых Жихаревым, и словарь пьес, о которых идет речь в тексте.





С. П. ЖИХАРЕВ И ЕГО ДНЕВНИКИ

1

«Записки» Степана Петровича Жихарева занимают в нашей мемуарной литературе несколько особое место. Это не воспоминания (как можно подумать по заглавию), а дневниковые записи, сделанные в ранней юности и охватывающие очень небольшой период: начатые в 1805 году, когда Жихареву было всего 17 лет, они обрываются на записи от 31 мая 1807 года; дальнейшее до нас не дошло.[1] Казалось бы, такие дневники не могли вызвать большого интереса у читателей; на деле вышло иначе: с первого появления в печати (1853—1855 гг.) «Записки современника» приобрели известность — и не только в широком читательском кругу. Историки русской культуры неизменно цитируют их, как только речь заходит о начале XIX в. Для истории русского театра этой поры дневники Жихарева служат основным первоисточником.

Такой успех «Записок современника» объясняется прежде всего тем, что они насыщены огромным бытовым материалом, ярко рисующим русскую жизнь того времени. Это не столько дневники, сколько летопись, хроника или «панорама» жизни (по выражению самого автора): вместо описания дум и настроений — многочисленные и разнообразные зарисовки быта и нравов, рассказы о людях и проис-

---

[1] Как видно из заглавия предпринятого Жихаревым в 1859 г. отдельного издания «Записок» и из других материалов (см. дальше «Источники текста»), полная рукопись этих дневников охватывала время от 1805 до 1819 года.

шествиях. Автор молод и наивен, но он одарен острой наблюдательностью и немалыми литературными способностями. Вот почему его «Записки» оказались не только очень содержательным мемуаром, но и произведением, стоящим на границе художественной литературы, чем они и отличаются от массы обыкновенных бытовых дневников. Недаром И. С. Тургенев писал П. В. Анненкову в 1853 г.: «Дневник студента в Москвитянине прекрасная вещь, и продолжение его я жду с нетерпением». Известно, что Лев Толстой высоко ценил эти дневники и воспользовался ими для некоторых глав «Войны и мира».

Для исторического анализа дневников Жихарева надо не только войти в некоторые подробности его юношеской биографии, но и определить направление его деятельности в дальнейшие годы — от Отечественной войны 1812 года до восстания декабристов. Особенно важен, конечно, вопрос о его отношении к передовому дворянству, из рядов которого вышли организаторы и члены тайных обществ. К сожалению, прямых материалов для решения этого вопроса очень мало — приходится идти путем аналогий, догадок и косвенных данных, которые, впрочем, приводят иной раз к более правильным заключениям, чем всевозможные официальные документы.

Родители Жихарева были помещиками и жили в имении. В Данковском уезде Рязанской губернии в свое время хорошо знали сурового феодала и страстного псового охотника князя Гаврилу Федоровича Борятинского; это был дед Жихарева с материнской стороны. Жихарев (родившийся в 1788 г.) рос уже в атмосфере крушения старого уклада — среди материальных и душевных тревог «захудалого рода». Отец был обременен долгами и занимался (как многие разорявшиеся помещики) винокурением и всевозможными тяжбами; мать, тоже следуя духу времени, окружила себя юродивыми и предавалась религиозным восторгам. Жихарев вспоминает ежедневные утрени, молебны и всенощные, на которых он исправлял должность дьячка. А разорение шло своим порядком: «Огромный сосновый дом истлевает в запустении, — писал он впоследствии о данковской усадьбе. — Окрестные леса истреблены, винокурение и сахарные заводы пожрали большую часть этих столетних дубов, так долго

оберегаемых предками князя, — пожрали, к сожалению, не улучшив состояния своих владельцев».[1]

После обучения в частном пансионе (Луи Ронка́) Жихарев поступил в Московский университет. 1 января 1805 г. (как видно из его дневника) он впервые надел студенческий мундир и поехал поздравлять московских родных и знакомых. Среди них были такие высокопоставленные старцы, как бывший при Екатерине вице-канцлером граф Остерман или бывший при Павле московским военным губернатором Иван Петрович Архаров.

Но были среди знакомых Жихарева и другого рода «тузы», созданные новой эпохой. «Кузины мои Семеновы и княжны Борятинские возили вчера меня на бал к Петру Тимофеевичу Бородину, откупщику и одному из московских крезов», записано в дневнике от 10 февраля 1805 г. Этот Бородин — дольщик, или «компанейщик», другого московского креза, откупщика Прокофия Семенова, женой которого стала кузина Жихарева, княжна Елизавета Степановна Борятинская. Жихарев описывает бал у Бородина: «В кабинете хозяина кипела чертовская игра: на двух больших круглых столах играли в банк. Отроду не видывал столько золота и ассигнаций!». За ужином — «бог весть чего не было!». Дам принимала дочь хозяина (жена не годилась для этого, потому что была простовата), недавно вышедшая замуж за князя Касаткина-Ростовского. Известный в Москве музыкант Димлер (тот самый, который появляется в «Войне и мире» у разоряющихся Ростовых)[2] заменяет здесь банкомета и записывает выигрыши: «Видно это выгоднее, чем давать уроки на фортепиано», не без иронии замечает Жихарев.

Он встречается с откупщиками не только на балах. 7 сентября 1805 г. в дневнике записано: «Вчера утром ездил я к П. Т. Бородину с письмом от М. А. Устинова для получения 300 рублей в число денег, следующих отцу за вино. Меня ввели в тот самый кабинет, в котором зимою во время бала происходила такая ужасная игра

---

[1] Журнал коннозаводства и охоты, 1842, т. I, № 2, стр. 78.

[2] «Эдуард Карлыч, сыграйте, пожалуйста, мой любимый Nocturne мосье Фильда, — сказал голос старой графини из гостиной» (Война и мир, т. II, ч. IV, гл. 10).

в банк; откупщик, как видно с похмелья, сидел в кресле, и какой-то домашний эскулап-немец щупал у него пульс». В другой записи (от 28 февраля 1806 г.) Жихарев рассказывает, как он старался попасть к откупщику Устинову: «Утром заезжал к саратовскому откупщику Устинову, который иногда снабжает меня по переводу отца деньжонками: почивает! Заезжал к нему во втором часу: почивает! Заезжал вечером, и ответ тот же, только во множественном числе: почивают! Ах ты, господи! < . . . >. На что же тут ученье, если надо к разбогатевшему целовальнику ездить три раза в день из собственных своих ста пятидесяти рублей, а он все почивать будет?», — возмущается Жихарев. И является новый план действий: бросить университет и поступить на службу. Родители не будут возражать — наоборот: «Отец, обрадовавшись моему 12-му классу, торопит службою»,—записал Жихарев 28 июня 1805 г. Но служить надо не в Москве (это город купцов и вельмож в отставке), а в Петербурге: только там делаются настоящие карьеры. А нужные для этого связи есть — тем более, что Жихарев успел завязать знакомства в театральном мире, прослыть ловким переводчиком французских пьес и проч. «Пишут из Петербурга, что непременно скоро определен буду, — радостно записывает он 7 апреля 1806 г. — Дай бог! Сколько молодых людей, не старее меня летами, давным-давно не только определены, но, по какому-то слепому счастью, имеют уже чины: кто переводчик, кто коллежский асессор; а есть некто Горяинов, который еще в пансионе у Ронка́ был надворным советником. Не знаю, как это делается, только, признаюсь, хотелось бы того же и мне». Состязаться с Горяиновым было невозможно, но на службу Жихарев попал: в августе 1806 г. он был определен «актуариусом» в Коллегию иностранных дел в Петербурге.

Петербургская жизнь пришлась юноше Жихареву по душе гораздо больше московской. На службе ему скучно, но зато он бывает в гостях у Державина — и не только как внук его старого приятеля (вятского губернатора), но и как начинающий поэт, автор исторической трагедии в стихах «Артабан» (из истории Ирана); он знакомится с И. А. Крыловым, с поэтом Н. И. Гнедичем, с актером А. С. Яковлевым, пишет, переводит, печатает свои стихи. «Он тогда счи-

тался литератором, сочинял куплеты и переводил водевили для актеров, которые к нам часто ходили», — вспоминает живший с ним на одной квартире М. М. Муромцев.[1] В начале 1807 г. Державин познакомил его с А. С. Шишковым, задумавшим устраивать литературные собрания с участием молодых писателей. Эти собрания положили начало образованию нового литературного общества — «Беседы любителей русского слова». Жихарев вступил в члены этого общества и некоторое время принимал в нем довольно деятельное участие.

В истории «Беседы» необходимо различать два периода: до ее официального оформления (годы 1807—1810) и после. В первое время общественно-политическая позиция «Беседы» была не вполне ясна, и самый состав ее не был однородным. Достаточно указать хотя бы на то, что одним из основателей «Беседы» был Крылов (именно в это время написавший комедии «Модная лавка» и «Урок дочкам»), а на ее собраниях выступал Н. И. Гнедич. В первые годы «Беседа» привлекала к себе внимание многих литераторов борьбой за национальную самобытность и пропагандой патриотических идей: и то и другое соответствовало гражданским идеалам передовой дворянской молодежи. Реакционный характер «Беседы» определился к 1811 г. и развернулся в особенности после побед над Наполеоном; тогда же образовались новые литературные общества («Арзамас», «Вольное общество любителей российской словесности»), вступившие в борьбу с «шишковистами».

В «Беседу» Жихарева привел Державин — человек, которому он поклонялся (как и многие другие) не только как поэту, но и как общественному деятелю, «поборнику правды»: «. . . чуть только коснется до его слуха какая несправедливость и оказанное кому притеснение или, напротив, какой-нибудь подвиг человеколюбия и доброе дело — тотчас колпак набекрень, оживится, глаза засверкают, и поэт превращается в оратора» (запись от 11 декабря 1806 г.). Так же относился к Державину и поэт Н. И. Гнедич, с которым в это время подружился Жихарев. Эту дружбу необходимо учитывать:

[1] «Русский архив», 1890, № 1, стр. 69.

по дневниковым записям видно, что Жихарев относился с некоторой иронией к манере Гнедича говорить с пафосом, торжественно и свысока, но очень прислушивался к его смелым и резким суждениям о литературе и театре. Характерны слова, сказанные как-то Гнедичем Жихареву: «Мы с вами не чужие, оба университетские, и вот вам рука на всегдашнее братство». В устах Гнедича это звучало серьезно и многозначительно. Прибавим еще, что Жихарев познакомился в это же время и с близким другом Гнедича, А. П. Юшневским — человеком очень радикальных политических взглядов, будущим членом Южного тайного общества, ближайшим товарищем П. И. Пестеля. Эти юношеские знакомства и связи Жихарева не означают, конечно, что он был единомышленником Гнедича или Юшневского; однако они служат достаточным возражением против отождествления его с «беседчиками».

Из дневниковых записей 1806—1807 гг. видно, что Жихарев причислял себя к ученикам и последователям Карамзина и Жуковского. Старики-«беседчики», архаистическим вкусам которых не нравилось это новое направление, иронически называют его поэтом «московской школы» и говорят ему: «У вас есть способности, но вам надобно еще поучиться. Поживите с нами, мы вас *выполируем*». — «Покорнейше благодарю!», — ответил на это мысленно Жихарев: «Решительно не понимаю, — пишет он далее, — отчего во всех здешних литераторах заметно какое-то обидное равнодушие к московским поэтам <. . .>. Из москвичей один И. И. Дмитриев здесь в почете, да и то разве потому, что он сенатор и кавалер; а Карамзиным восхищается один только Гаврила Романович <Державин> и стоит за него горою; прочие же про него молчат или говорят, что пишет изряднехонько прозою, между тем как наш Карамзин заслуживает уважения и за свои стихотворения, в которых язык превосходный и много чувства». Литературная позиция определена здесь достаточно ясно; естественно, что при таких воззрениях Жихарев не мог быть прочным членом «Беседы»; в 1811 г. он примкнул к «Вольному обществу любителей словесности, наук и художеств», которое было тогда средоточием оппозиции «славянофилам» (т. е. «шишковистам»), а в 1815 г. стал членом «Арзамаса».

Если учесть, что «Вольное общество» вело свое происхождение от радищевских традиций,[1] а среди членов «Арзамаса» оказались будущие декабристы, то надо признать, что Жихарев шел в эти годы по тому же пути, по которому шла передовая дворянская молодежь.

При вступлении в «Арзамас» Жихарев, как полагалось, произнес «надгробное слово» самому себе как бывшему члену «Беседы»; за шуточным стилем этой речи кроются серьезные признания, которые и были отмечены Жуковским, заявившим, что пребывание Жихарева в «Беседе» было явлением случайным: «Пакость Беседы принадлежит ей самой, — сказал Жуковский, — и тот, кто ей причастен, виновен только тогда, когда, отвращаясь внутренно от сей пакости, все предает ей для некиих посторонних видов и намерений. Брат наш усопший был не таков. Рука судьбы посадила его в Беседу, а заблуждение украсило перед ним ее уродство». Последние слова вполне соответствуют действительности.

В «Арзамасе» Жихарев особенно сблизился с Н. И. Тургеневым и М. Ф. Орловым, выдвигавшими на первый план политические задачи и считавшими главной целью общества развитие «истинного свободомыслия». В задуманном арзамасцами журнале (при участии Жихарева в качестве переводчика) Орлову поручено было писать политические статьи и пропагандировать в них «распространение идей свободы, приличных России в ее теперешнем положении, согласных со степенью ее образования, не разрушающих настоящего, но могущих приготовить лучшее будущее». Так шла подготовка к организации тайного общества.

Осенью 1817 г. Орлов уехал в Киев, но его связь с «Арзамасом» не порвалась. Жихарев стал доверенным лицом в переписке Н. И. Тургенева с Орловым. «Вот тебе мой рапорт из града Могилева, — пишет он Тургеневу; — сверх ожиданий я встретил здесь Орлова, которому твое послание вручил, за что Орлов меня весьма благодарил < . >. М. Орлов уехал вчера в Киев; там надеюсь с ним побеседовать».[2]

---

[1] Вл. Орлов. История Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Поэты-радищевцы, серия «Библиотека поэта», 1935.

[2] Архив бр. Тургеневых, вып. V, стр. 82.

Приведенного материала достаточно для того, чтобы утверждать, что в послевоенные годы Жихарев, став членом «Арзамаса», сблизился с кругом «либералистов». Более того, засвидетельствованная письмами дружба с Н. И. Тургеневым и М. Ф. Орловым заставляет думать, что он знал об организации тайного общества. Вполне возможно даже, что он стал бы членом «Союза спасения» (для 1817 г. в таком поступке не было бы ничего особенно смелого или неожиданного), если бы некоторые новые политические обстоятельства не заставили его круто изменить и жизнь, и карьеру, и намерения.

2

До войны 1812 года служебная карьера Жихарева была почти неподвижной: он сидел все в той же Коллегии иностранных дел в качестве переводчика.

С началом войны жизнь пошла иначе: в 1812 г. он перешел в канцелярию Комитета министров (к статссекретарю П. С. Молчанову), а затем, через приятеля своего В. Р. Марченко (делавшего большую административную карьеру около Аракчеева),[1] был принят на службу в канцелярию петербургского главнокомандующего и председателя Комитета министров С. К. Вязмитинова — того самого Сергея Кузьмича Вязмитинова, рескрипт к которому читает князь Василий в «Войне и мире» («Сергей Кузьмич, со всех сторон» и т. д.). На этой службе Жихарев отличился в качестве энергичного и способного чиновника. В позднейшем примечании к дневниковой записи от 17 февраля 1807 г. (где речь идет о Вязмитинове) Жихарев говорит: «Автор дневника имел случай видеть его (т. е. Вязмитинова) ежедневно с 1812 по 1816 год». После войны, во время поездки Александра I по России и Польше (1816—1817 гг.), Жихарев получил назначение в свиту государя и, как сказано в формуляре, «один исправлял все по собственной е. и. в. канцелярии дела». Осенью 1817 г. Н. И. Тургенев писал брату (из Петербурга): «Жихарев давно уже уехал с Марченко,

---

[1] См. его «Записки» в «Русской старине» (1896, №№ 3—5).

который при государе. Здесь слышно, что государь на следующий год будет в Ахене, куда приедут также и другие монархи».[1] Эти слухи оправдались — и Жихарев, как состоящий в свите государя, получил назначение сопровождать его на Аахенский конгресс (в сентябре 1818 г.).

Вышло так, что Жихареву удалось шагнуть и стать довольно видным чиновником в тот самый момент, когда Александр I, по выражению В. И. Ленина, «спустил» на русский народ Аракчеева с его сворой.[2] Началась расправа с теми, кто был заражен духом либерализма или был хотя бы подозреваем в этом. Характерным и поучительным образцом такой расправы была трагическая история Т. Г. Бока, героя Отечественной войны. 7 апреля 1818 г. он подал С. К. Вязмитинову особую «Записку» о положении дел в России — для передачи ее царю. В сопроводительном письме (сохранился лишь черновик) он писал: «Ложь и лесть задушили Россию, ее можно спасти только правдой». 9 мая царь, находившийся в Крыму, отдал распоряжение арестовать Бока и, как дерзкого сумасшедшего, посадить его в Шлиссельбургскую крепость.[3] Нет сомнения, что Жихарев знал об этой истории (как знали о ней близкий друг Бока В. Жуковский, братья Тургеневы и многие другие), а она была не единственной. Весь государственный аппарат был подвергнут тщательному просмотру и обследованию. Кто мог, уходил со службы и старался уехать подальше, чтобы не попасть в лапы Аракчееву. Одни меняли службу военную на гражданскую, другие вовсе уходили со службы и забирались в поместья. «Железные кровавые когти Аракчеева сделались уже чувствительны повсюду, — вспоминал об этих годах декабрист В. Ф. Раевский. — Служба стала тяжела и оскорбительна».[4]

При таком положении быстрая служебная карьера Жихарева, приведшая его в свиту государя, создавала серьезную опасность

---

[1] Декабрист Н. И. Тургенев. Письма. Изд. АН СССР, 1936, стр. 234.

[2] В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 28.

[3] А. В. Предтеченский. Современник декабристов Т. Г. Бок. Таллин, 1953.

[4] П. Е. Щеголев. Декабристы. 1926, стр. 13.

для его будущего: Аракчеев мог в любую минуту узнать о его дружеских связях с «либералистами». Вероятно поэтому Жихарев сразу после Аахенского конгресса подал в отставку (будто бы «по расстроенному здоровью») и уехал в Москву. Прямых документов, подтверждающих эту версию, нет (их и нельзя было бы ожидать), но все косвенные данные и аналогии ведут к такому пониманию этого, на первый взгляд, странного и неожиданного поступка. Будь его причина не столь секретной, она была бы где-нибудь высказана.

Примером для Жихарева (а может быть и прямым советчиком в этом деле) мог быть его двоюродный брат и близкий друг Степан Степанович Борятинский — тот самый, о котором он говорит в предисловии к дневникам. Пасынок С. С. Борятинского, доктор В. Н. Бензенгр, рассказывает: «Тотчас после нашествия французов князь записался в сформированный графом Мамоновым полк и с ним, прямо в чине офицера, отправился в поход за границу. Известно, что полк графа в 13-м же году был раскассирован, вследствие чего князь Степан Степанович перешел в гусарский принца Оранского полк и с ним вступил в пределы Франции».[1] После войны Борятинский сблизился с кругом передовых масонов (доктор М. Я. Мудров, известный ученик и последователь Новикова, был его приятелем) и «либералистов». В 1817 г. он вышел в отставку и поселился в своем имении, сельце Никольском Раненбургского уезда Рязанской губернии. «Там прожил он десять лет, занимаясь хозяйством и особенно улучшением состояния своих крестьян», — сообщает Бензенгр. Живя безвыездно в деревне, Борятинский вел обширную переписку с друзьями, причем всегда сам ездил на почту: «Особенно памятны мне, — прибавляет автор очерка, — так как я по-

[1] Кн. Степан Степанович Борятинский. (Биографический очерк). Из воспоминаний В. Н. Бензенгра. Рязань, 1888. В словах Бензенгра есть неточность: в 1813 г. «Гусарский принца Оранского полк» еще не существовал, а был «Белорусский гусарский 7-й полк», который участвовал в боях под Люценом, Бауценом и Лейпцигом. В 1816 г. шефом этого полка был назначен принц Оранский, вследствие чего полк был переименован. (А. И. Федотов. История белоруссцев, т. I. Варшава, 1903).

стоянно сопровождал его, зимой в санях, а летом в троичных дрожках, эти поездки на почту в декабре 1825-го и весь 1826-й год. Я же переписывал ему и доклад Верховной комиссии, которого один экземпляр прислал ему, кажется, Жихарев; участия в декабрьском деле он, конечно, никакого не принимал, равно как и Степан Петрович, но без сомнения многих из участвовавших знал и судьбою всех интересовался». Сообщенные здесь факты довольно многозначительны — особенно если обратить внимание на то, что автор выделил годы 1825—1826 и отметил знакомство Борятинского со многими участниками «декабрьского дела».

Жихарев прожил пять лет в деревне и в Москве без службы, частным человеком. Из письма А. Я. Булгакова к брату (от 14 июля 1822 г.) видно, что Жихарев приходил к нему советоваться, стоит ли соглашаться на предложение московского генерал-губернатора Д. В. Голицына: «Князь Дмитрий Володимирович за ним волочится и дает ему место председателя Уголовной палаты. Я советую служить с таким прекрасным начальником».[1] Однако Жихарев не поступил на это место; он вернулся на службу только в 1823 г., приняв должность губернского прокурора. «Жить в деревне наскучило, а жить в Москве без места как-то мне кажется неприличным. В карты играть не охотник, а Арзамас рушился: сами посудите», — писал Жихарев А. И. Тургеневу.[2] Следует отметить, что он не оборвал своих прежних связей с «либералистами»: «Здесь Михайло Орлов, — сообщает он А. И. Тургеневу 2 ноября 1825 г., — и проживет целую зиму; часто бывает у меня».[3] Отношения с уехавшим за границу Н. И. Тургеневым тоже продолжались — не только в 1825, но и в 1826 году. «Дружба твоя до слез меня тронула, — писал Жихареву А. И. Тургенев в декабре 1826 г. из Дрездена, — да и не меня одного. Слова твои о друге молодости ‹т. е. о Н. И. Тургеневе› передал слово в слово в письме к нему. Оно утешит его хоть

[1] «Русский архив», 1901, т. I, стр. 440.

[2] См. в издании «Записок современника» под ред. С. Я. Штрайха (1934, т. II, стр. 397).

[3] Там же, стр. 399.

на минуту в его одиночестве».[1] В этой связи существенно и то, о чем жандарм Бибиков сообщил в ноябре 1826 г. Бенкендорфу: «Я слежу за сочинителем Пушкиным, насколько это возможно. Дома, которые он наиболее часто посещает, суть дома кн. Зинаиды Волконской, кн. Вяземского, поэта, бывшего министра Дмитриева и прокурора Жихарева».[2]

После казни декабристов стало ясно, что никаких либеральных надежд на новое царствование возлагать нельзя. О положении и настроении людей того круга, к которому всем своим прошлым принадлежал Жихарев, можно судить по Вяземскому. 21 апреля 1830 г. Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Ты знаешь, что все это время я был целью доносов, предубеждений и прочего <...>. Приходило так, что непременно должно было мне или в службу или вон из России». Вяземский выбрал первое — и вот в 1831 г. он уже «пожалован» камергерством. «Очень радуюсь назначению Вяземского, — пишет брату тот же Булгаков. — У него прекрасная душа и способности, и когда отстанет от шайки либеральной, которая делается и жалка и смешна даже во Франции, да примется за службу как должно, то верно пойдет в гору, будет полезен и себе и семейству своему».[3] Пророчество опытного чиновника сбылось: отставший от либералов Вяземский дошел к пятидесяти годам до поста товарища министра народного просвещения.

Нет ничего мудреного, что при такой деморализации, охватившей ряды дворянской интеллигенции, Жихарев тоже сдался: отстал от «шайки либеральной» и принялся за службу «как должно», чтобы «пойти в гору». Давление времени и обстоятельств должно было сказаться на нем с еще большей силой, чем на таком крупном человеке, каким был Вяземский. В 1827 г. он умолял Жуковского обратить внимание на разгром Московского университета и прибавлял горькие слова о себе: «если буду жив физически и политически»;[4] потом

---

[1] «Русская старина», 1882, № 2, стр. 479.

[2] Б. Л. Модзалевский. Пушкин в донесениях агентов тайного надзора. «Былое», 1918, № 1, стр. 32.

[3] «Русский архив», 1902, т. II, стр. 48.

Письма Жихарева к Жуковскому в архиве Пушкинского Дома.

махнул на все рукой и стал заботиться только о том, чтобы быть, как выразился Булгаков, «полезным себе и семейству своему». В этом Жихарев не был оригинален: такова была судьба многих его современников, переживших 1825-й год и продолжавших служить при Николае I. «Умный был человек Надеждин, — писал в письме к А. С. Зеленому Чернышевский, — но, подобно Сперанскому, не устоял против нашей жизни и замарал себя, не умея отказаться от обольщений честолюбия. Горько думать о таких примерах. То же было и с Полевым».[1]

Так было и с Вяземским, и с Жихаревым, и со многими другими. «Трудно устоять в несчастии, но еще труднее не обольщаться фортуною», — откровенно признался Жихарев в письме к Жуковскому — и тем вполне оправдал присвоенное ему еще в «Арзамасе» прозвище Громобоя (из баллады Жуковского). Кстати, Вяземский (прозванный в «Арзамасе» Асмодеем, из той же баллады) писал в 1828 г. А. И. Тургеневу: «В России — один Петербург, где можно найти все удобства жизни; но как там жить, не продав душу, подобно Громобою? Надо непременно приписать душу свою в крепость, а не то — в крепость».[2] Имел ли Вяземский при этом в виду только Громобоя из баллады Жуковского или Громобоя-Жихарева (делавшего в это время новую служебную карьеру) — не совсем ясно, но второе вполне возможно. Тургенев сам был арзамасцем и, конечно, хорошо помнил прозвище Жихарева (с которым дружил), а Вяземский мог считать неудобным называть его в таком контексте по фамилии. Как бы то ни было, слова Вяземского прекрасно характеризуют моральное состояние тогдашнего общества и могут быть в полной мере отнесены к Жихареву.

В целом общественная биография Жихарева представляет собой явление очень типичное для того времени. В ранней юности он «карамзинист»: его внимание направлено на быт и нравы, он занят вопросами личной жизни и морали. Отечественная война 1812 года и последовавшие за ней события выводят его из этого узкого круга

---

[1] Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. XIV, стр. 319.
[2] Остафьевский архив, т. III, стр. 180.

интересов: увлекаемый идеями политической свободы и борьбы с деспотизмом, он сближается с «либералистами» и будущими членами Союза благоденствия; но аракчеевский террор заставляет его быть осторожным, а декабрьская катастрофа наносит удар всем его политическим увлечениям и интересам — тем более, что они не отличались ни глубиной, ни твердостью. Характерны в этом смысле высокопарные панегирики Александру I, которыми Жихарев уснастил свои дневники, то применяя к его особе слова из трагедии Расина «Британник» (в записи от 18 января 1807 г.), то восхищаясь «мастерством рижского пастора», удачно применившего похвальное слово Плиния Младшего (в записи от 8 апреля 1807 г.). Наступают мрачные тридцатые годы — и Жихарев, потеряв веру в смысл борьбы, становится чиновником, «продает душу», как это, в конце концов, сделал и Вяземский. На старости лет Жихарев дослужился до чина тайного советника и должности сенатора.

Отметим, однако, что прямым реакционером Жихарев не стал. Об этом свидетельствует, между прочим, одно письмо Белинского к П. В. Анненкову (декабрь 1847 г.). В нем Белинский сообщает о том, что в правительстве происходит большое движение по вопросу об уничтожении крепостного права и что Перовский выписал в Петербург известного московского сельскохозяйственника С. А. Маслова: «Это человек неглупый, даже очень неглупый, — пишет Белинский, — но пустой и ничтожный, болтун на все руки, либерал на словах, ничто на деле. Роль, которую он теперь играет, забавляет его самолюбие и дает пищу болтовне».[1] Далее Белинский рассказывает: «Раз <...> Маслов принимал у себя молодое поколение аристократии, которая все рвется служить по выборам, и прочел им свой проект освобождения крестьян. Приехал в половине чтения приятель его Жихарев (сенатор), и он вновь прочел свой проект, написанный преглупо и начиненный текстами из св. писания <...>.
— Ты сделал смешным свой проект <говорит Жихарев Маслову>.
— А мне что за дело! лишь бы я сделал мое дело, а там пусть смеются!
— <...> Коли ты сделаешь смешным свое дело, ты погубишь его. Дай

---

[1] В. Г. Белинский. Письма, т. III. 1914, стр. 314.

сюда! <...> Я обделаю это дело сам, я примусь за это con amore <с любовью>, ночи не буду спать — я не говорю, чтобы ты написал все вздор, у тебя есть идеи, да не так все это надо сделать». Белинский прибавляет: «И Жихарев принялся за дело ревностно». О Маслове Белинский говорит тут же, что надо было бы «прогнать его по шее к его лошадям, на его завод — писать для них конституцию: это его настоящее место — конюшня». О Жихареве он говорит в другом тоне и не считает его ни либеральным болтуном, ни крепостником.

Обратимся к дневникам Жихарева.

3

Юный Жихарев — восторженный ученик и почитатель Державина, Карамзина, Дмитриева, Жуковского; он — поэт, переводчик, художественный чтец, страстный любитель театра. Естественно, что его дневники являются отражением не только быта, но и литературы того времени. Эпистолярный жанр был тогда господствующим — и Жихарев, взявшись за писание своих дневников-писем (он сам называет их этими обоими терминами), следовал тогдашним литературным образцам — таким произведениям, как «Эмилиевы письма» М. Н. Муравьева или «Письма русского путешественника» Карамзина. В повести Муравьева Эмиль признается: «Писать к тебе, разговаривать с тобою заочно — ты знаешь, что это сделалось для меня нуждою»; так мотивирован не только стиль повести, но и ее материал — подробные описания быта и душевной жизни. Жихарев вторит Муравьеву: «Писать к тебе обратилось мне в привычку», — говорит он в первой же записи и обещает своему другу быть его «неизменным Гриммом». Это звучит как прямой намек на литературную традицию — на то, что его письма будут иметь характер не простых сообщений о личных делах, а «корреспонденций» о московской жизни.

На «Записках» Жихарева лежит несомненный отпечаток литературности; он смотрел на свои дневниковые записи как на литературную работу. Вот, например, как описано первомайское гулянье в Сокольниках (1805 г.): «Сколько беззаботной, разгульной весе-

лости, шуму, гаму, музыки, песен, плясок и проч.; сколько богатых турецких и китайских палаток с накрытыми столами для роскошной трапезы и великолепными оркестрами, и простых, хворостяных, чуть прикрытых сверху тряпками шалашей с единственными украшениями — дымящимся самоваром и простым рожком для аккомпанемента поющих и пляшущих поклонников Вакха! Сколько щегольских модных карет и древних прадедовских колымаг и рыдванов, блестящей упряжи и веревочной сбруи, прекрасных лошадей и претощих кляч, прелестнейших кавалькад и прежалких Дон-Кихотов на прежалчайших Россинантах» и т. д. Такая запись (а подобных ей много) не могла явиться на свет без предварительной черновой работы, без изучения литературных образцов и, главное, без отношения к своему дневнику если не прямо как к литературному произведению, то во всяком случае как к собранию литературных заготовок, набросков и упражнений. Жихарев, очевидно, ставил перед собою литературные задачи — как в процессе писания этих дневников-писем, так тем более при подготовке их к печати (об этом см. в комментарии). В предисловии он даже прибег к некоторой мистификации — повидимому для того, чтобы оправдать или мотивировать чрезмерную литературность «Записок»: читателю дело представлено так, будто покойный родственник и друг Жихарева, будучи гораздо старше его («несмотря на разность в летах», сказано там), подверг рукопись солидной обработке. В действительности С. С. Борятинский родился в 1789 г. и был, таким образом, не старше Жихарева, а на год моложе его.[1]

Знак литературности стоит не только на языке и стилистической манере, но и на самом содержании «Записок». Здесь очень много всякого рода рассказов, анекдотов, сцен, историй, очерков и эпизодов, записанных со слов рассказчиков и очевидцев или почерпнутых из книг. Они не имеют никакого дневникового значения и оказываются в полном смысле «вставными новеллами». Собраны анекдоты о Екатерине II, Потемкине и Л. А. Нарышкине, о Державине,

[1] Г. А. Власьев. Потомство Рюрика, т. I. ч. 2 («Князья Борятинские»). СПб., 1906, стр. 140.

П. Свиньине, об одном «мудром» сановнике, говорившем только афоризмами, и т. п. Записаны новеллы самого разнородного содержания: авантюрные и нравоучительные, чувствительные и смешные. Из них можно было бы сделать целый сборник с заманчивыми заглавиями: «Обманутый муж» («происшествие, драма или роман — как угодно»), «О людях, которым нет ни в чем удачи», «Как русский мужик двух дипломатов перехитрил» (про лосиху-корову), «Сказание о французе Перрене» и проч. Есть любопытные очерки о людях и нравах, рисующие русскую жизнь того времени в различных ее вариантах: «В гостях у актера Яковлева», «Великий антикварий» (о чудаке Селикадзеве), «Муж старинного покроя» (чиновник Дубинин), «Помещик-самодур» (о Л. Д. Измайлове), «Певец-удалец Рожков у Аспазии» и проч.

Для некоторых из этих рассказов эпистолярная форма использована не только в стилистическом направлении, но и в композиционном: она дает возможность и право замедлить развязку. Так, рассказ о помещике Волчкове разделен на две записи; история о сумасшествии дочери и матери рассказана с перерывом, мотивированным необходимостью выйти из дома. Что касается «сказания о французе Перрене», то эта авантюрная (даже детективная) новелла рассказана в несколько приемов (см. записи от 22 и 30 июля, 29 сентября и 21 октября). Было бы наивно думать, что такое расчленение и торможение истории о Перрене произошло на самом деле в силу случайных внешних причин: это, конечно, чистейшая литература, хотя и появившаяся в переписке с другом.

Влияние «карамзинизма» сказывается и на внутренней структуре «Записок» — на отборе фактов, на охвате действительности. В дневниках Жихарева дана не столько картина эпохи, сколько ее панорама: действительность представлена в них как поток самых разнообразных фактов, лиц и происшествий — без осмысления причинных связей, без отделения главного от второстепенного, а только с опорой на восприятие, на впечатление, на эмоцию. Автор — «искусный наблюдатель» страстей и желаний (по Муравьеву), охотно рисующий бытовые и интимные подробности жизни, но почти не задумывающийся над вопросами исторического, госу-

дарственного, общественного бытия. На первый план выдвинуты вопросы «частной», личной жизни и морали; история появляется на страницах этой летописи только в тех случаях, когда мирное течение частной жизни нарушается звуками военной трубы. Так как в годы 1805—1807 это случалось довольно часто, то в дневниках-письмах Жихарева речь неоднократно идет об отдельных сражениях и общем положении на фронте; характерно, однако, что он никогда не говорит о сущности происходящего, об историческом смысле событий и об их перспективе, а только о впечатлении, произведенном данным событием на общество. История изображается здесь как посторонняя стихийная сила, врывающаяся в жизнь людей и не зависящая от их воли; кончается действие этой силы — и история исчезает. Дневник 1805 г., например, заполнен бытовыми подробностями московской жизни: балы, гулянья, спектакли, скачки, лекции и т. п. Осенью началась война: «Москва находится в каком-то волнении по случаю объявленной войны с французами,— записывает Жихарев. — В обществах об ней только и говорят: ожидают чего-то чрезвычайного». Далее он отмечает любопытную бытовую деталь: «Князь Одоевский нарочно нанимает на Мясницкой против почтамта маленькую квартирку, чтобы видеть, когда приходит почта, и чтобы первому получать известия, с которыми тотчас и отправляется по своим знакомым или в Английский клуб, где вокруг него всегда собирается кружок нувеллистов». Другого рода наблюдений или размышлений, связанных с войной 1805 г., в дневнике почти нет. Характерно, что не отмечены даже такие важные военные эпизоды, как капитуляция австрийской армии под Ульмом, победа русских под Кремсом, Шенграбенское сражение.

Битва под Аустерлицем произошла 20 ноября (по старому стилю); первые известия о ней дошли до москвичей только 29 ноября. «Мы решительно ничего не знаем, —записывает Жихарев накануне, — а должно случиться чему-нибудь важному, потому что кареты беспрестанно шныряют по Тверской, останавливаясь у подъезда главнокомандующего, точно как в большой праздник, когда приезжают с поздравлениями». Следуют подробности о том, как ведут себя важные лица: Долгоруков, Валуев, Марков и др. «Непременно

что-нибудь да знают или вскоре узнать должны», — волнуется Жихарев. И вслед за этим характернейший для карамзиниста скачок: «А между тем жизнь частных людей идет своим чередом: буйные страсти кипят и бушуют в сердцах земнородных». И начинается очередной рассказ, никакого отношения к войне не имеющий: «Вот в соседстве нашем случилось недавно происшествие, драма или роман — как угодно» и т. д.

Это вовсе не значит, что Жихарев был лишен патриотических чувств, что судьба родины мало его беспокоила; дальнейшие записи об итогах Аустерлицкой битвы достаточно ясно показывают, что такие упреки по его адресу были бы несправедливы и неуместны. «Мы не привыкли не только к большим поражениям, но даже и к неудачным стычкам, — пишет Жихарев 29 ноября, — и вот отчего потеря сражения для нас должна быть чувствительнее, чем для других государств, которые не так избалованы, как мы, непрерывным рядом побед в продолжение полувека». 2 декабря он прибавляет: «Кажется, что мы разбиты и принуждены были ретироваться по милости наших союзников; но там, где действовали одни, и в самой ретираде войска наши оказали чудеса храбрости».[1] Мы говорим не о недостатке патриотизма, а о самом его содержании, т. е. об ограниченности исторических представлений и интересов Жихарева. Отметим кстати, что в начале века не было еще «Истории государства Российского» Карамзина, а была только его историческая повесть «Марфа Посадница», в которой нет никакой истории, а есть только «характеры» и которую, кстати сказать, Жихарев знал наизусть (см. запись от 21 января 1806 г.). Положение изменилось после войны 1812—1814 гг., давшей решительный толчок развитию русской общественной и исторической мысли. К сожалению, дневники Жихарева этих лет до нас не дошли.

Остается сказать о тех страницах «Записок современника», которые посвящены театру. Это, как и многое другое в дневниках

---

[1] В современных исторических исследованиях это подтверждается фактами и документами (см.: Е. В. Тарле. М. И. Кутузов — полководец и дипломат. «Вопросы истории», 1952, № 3).

Жихарева, не случайная черта: театральность была в высшей степени присуща этой эпохе. Сценическое искусство приобрело тогда новый смысл и новую популярность как метод сгущенного выражения чувств. Дело шло не о создании характера, а о раскраске отдельных душевных состояний, эмоций и страстей, об их выразительной сценической огласовке. Внимание перешло от пьесы к актеру — и именно к тем его средствам и качествам, которые нужны для такого эмоционального стиля игры: голос (или «орган», как тогда говорили), дикция и интонация. Возникли ожесточенные споры о том, как читать стихи в трагедиях; знаменитая Семенова вступила в соперничество с французской актрисой Жорж — и зрители с трепетом следили за каждой фразой, за каждой интонацией. Вопрос о русском театре стал злободневной общественной темой. Отголоски этого положения заметны еще в статье Пушкина. «Мои замечания об русском театре» (1820 г.), в отношении которой «Записки» Жихарева могут служить своего рода историческим комментарием.

Дневники Жихарева больше чем наполовину заняты театральными впечатлениями и рассуждениями. О пьесах он говорит сравнительно редко и мало, об актерах — много и подробно. Пьеса важна постольку, поскольку она дает актеру-декламатору возможность «тронуть» зрителя отдельной репликой или монологом. «Коцебятина», например, не по душе Жихареву (тут он следовал за Шаховским), но перед драмой Коцебу «Ненависть к людям и раскаяние» с А. С. Яковлевым в главной роли он не устоял: «Яковлев умел до такой степени растрогать меня, — пишет он, — что я благодаря ему вышел из театра почти с полным уважением к автору <...>. С каким неизъяснимым и неподдельным чувством произнес он эти немногие слова: „Милости просим, небывалые гости!“ — слова, которые заставили плакать навзрыд всю публику!». Больше всего ценится степень эмоционального воздействия актера на зрителя. Пьесы в стихах предпочтительнее, чем в прозе, потому что выражение эмоций получает в них дополнительную силу. Жихарев в восторге от трагедий Озерова («Эдип в Афинах», «Димитрий Донской»), но не потому, что ему нравится мысль автора или сюжет, а потому, что в этих трагедиях много отдельных стихов и монологов, которыми

актер может «потрясать» зрителей: «Боже мой, боже мой! — восклицает он после премьеры: — Что это за трагедия „Димитрий Донской“ и что за Димитрий — Яковлев! Какое действие производит этот человек на публику — это непостижимо и невероятно! Я сидел в кресле и не могу отдать отчета в том, что со мною происходило. Я чувствовал стеснение в груди; меня душили слезы, била лихорадка, бросало то в озноб, то в жар; то я плакал навзрыд, то аплодировал из всей мочи, то барабанил ногами по полу — словом безумствовал, как безумствовала, впрочем, вся публика». Яковлев («дикий, но пламенный Яковлев», по словам Пушкина) — любимый актер Жихарева; он описывает свои встречи и беседы с Яковлевым — и это самые яркие страницы в литературе об этом замечательном актере, сумевшем с необыкновенной силой и убедительностью создать ряд патетических сцен и образов.

«Страсть к театру» (по собственному выражению Жихарева) зародилась у него в студенческие годы и росла вместе с бурным ростом русского театра. Он внимательно и любовно следил за каждым актером, за каждой новой ролью — сравнивал, изучал, сопоставлял, старался определить законы и стили сценического искусства.

Кроме встреч и бесед с актерами очень важным для Жихарева было знакомство с такими театральными деятелями, как А. А. Шаховской и Н. И. Гнедич. Шаховской был не только плодовитым драматургом, но и первым в России театральным педагогом, первым русским режиссером, издателем первого театрального журнала («Драматический вестник» 1808 г.). «Он сумел творчески объединить молодых актеров в особую группу, выступления которой поражали современников необычайной внутренней слаженностью. Другими словами, Шаховской впервые выдвинул проблему актерского ансамбля».[1] Что касается Н. И. Гнедича, то, как видно из записей Жихарева и других свидетельств, он был талантливым чтецом стихов и учителем декламации. Многие оценки и суждения

---

[1] С. С. Данилов. Очерки по истории русского драматического театра. Л., 1948, стр. 182.

Жихарева об актерской игре, о положении русского актера, о репертуаре и прочем имеют своим источником беседы с Шаховским и Гнедичем и заслуживают специального внимания. В записи от 14—20 апреля 1807 г., например, Жихарев жалуется на то, что у нас театр один, «главных актеров на всякое амплуа по одному, и больше того их едва ли и может быть по той причине, что нет сцены, на которой бы молодые таланты имели случай подготовлять себя прилежным упражнением в искусстве, и сверх того нет особенных преподавателей декламации и репетиторов, которые могли бы развить природные их способности. Наши актеры большею частью самоучки и поступают прямо на большую сцену петербургского или московского театров для занятия главных ролей». Жихарев, конечно, повторяет мысли Гнедича и Шаховского, который как раз в это время был озабочен устройством театральной школы и спектаклей «молодой труппы».

Существенное значение для истории нашего театра имеют те страницы «Воспоминаний старого театрала», где говорится о заслугах Шаховского как воспитателя актерских талантов (Семеновой, Вальберховой, Брянского, Сосницкого, Рамазанова, Боброва, Рыкалова, Самойлова), о традициях и навыках русского театра сравнительно с «преданиями» французского классического театра, об игре Плавильщикова и Шушерина в «Эдипе» (глава II), о Яковлеве, о Семеновой и французской актрисе Жорж (глава III), о Брянском и Мочалове-отце (глава IV). Кажется, что Жихарев сам станет актером или, как Шаховской, режиссером или, наконец, сделается театральным критиком, теоретиком, историком. Весьма вероятно, что так бы и случилось, если бы этому не помешали крепостнические и бюрократические «устои» тогдашней русской жизни, помешавшие многим сделать то, что они могли бы сделать. Как и многие другие, Жихарев превратился из человека передовых воззрений и стремлений — в чиновника: вместо того чтобы быть крупным театральным деятелем, он стал председателем мертворожденного «Комитета, учрежденного для рассмотрения поступающих на театр пьес».

* * *

«Записки современника» сочинялись на фоне литературы начала века, а появились в период «мрачного семилетия» (после революции 1848 года, во время Крымской войны), когда русская литература переживала грустную и тяжелую пору: умер Белинский, не стало Гоголя, поэзия почти замолкла, а журналы пробавлялись переводами и мемуарами. «Записки» Жихарева оказались в одном ряду с «Семейной хроникой» С. Т. Аксакова и с его же воспоминаниями о юности, о театре, об актерах. Чернышевский писал по поводу «Семейной хроники»: «Конечно, если книга эта, интересная как мемуары, имела притом и замечательные литературные достоинства, по крайней мере в некоторых частях (чего никто не отрицает), тем лучше; но будь она написана хотя бы не более как только не совсем дурным слогом, успех ее был бы разве немного меньше того, какой она имела при всех своих настоящих литературных достоинствах <...>. Мемуары везде являются во множестве, читаются с жадностью, везде приносят много пользы и наслаждения; у нас только нет и нет мемуаров. Да где же они? Давайте их!».[1]

В «Записках современника» Жихарева, конечно, меньше «литературных достоинств», чем у Аксакова; любопытно, однако, что дочь Аксакова, Вера Сергеевна, записала в своем дневнике (23 ноября 1854 г.): «Вечером мы читали „Записки студента". Очень интересно и живо написано».[2] «Мы» — это не только она с братьями, но и сам Сергей Тимофеевич Аксаков. Были и другие читатели, восторгавшиеся «Дневником студента» именно с литературной точки зрения. «Что за гибкость ума, что за богатство воззрений, какая наблюдательность, какая тонкость и какой во всем вкус! — писал Погодину

---

[1] Н. Г. Чернышевский. Заметки о журналах. Сентябрь 1856. Полн. собр. соч., т. III, 1947, стр. 699.

[2] Дневник В. С. Аксаковой, 1913, стр. 11. Надо прибавить, что в «Воспоминаниях старого театрала» («Отечественные записки», 1854 г.) Жихарев обрушился на Аксакова за некоторые его суждения и ошибки в очерке «Я. К. Шушерин и современные ему литературные знаменитости». Аксакову пришлось кое в чем согласиться [см. его заметку «Несколько слов о статье „Воспоминания старого театрала"» («Москвитянин», 1854, № 20, отд. V, стр. 201—202)].

П. А. Плетнев, не зная даже, кто автор. — А язык-то русский — вот он каков бы должен был остаться! А мы куда с ним заехали!». Если эта оценка и преувеличена, то все же она заслуживает внимания как отзыв опытного критика и культурного читателя, воспитанного на литературе 20—30-х годов. Вспомним и приведенные в начале статьи слова Тургенева. Всем этим подтверждается, что «Записки» Жихарева — не только мемуар, содержащий большое количество фактов и наблюдений из русской жизни начала XIX в., но и литературный памятник той эпохи.



ОБЗОР ТЕАТРАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА В «ЗАПИСКАХ» ЖИХАРЕВА

Значительная часть дневников Жихарева занята описанием театральной жизни Москвы и Петербурга в годы 1805—1807; о том же идет речь и в «Воспоминаниях старого театрала». Целесообразно сделать краткий обзор этого материала, тем более что русский театр этой поры сравнительно мало изучен, а книга Жихарева — один из основных первоисточников для его изучения.

Еще с 80-х годов XVIII в. важнейшим вопросом, волновавшим русских передовых деятелей, стал вопрос о развитии и укреплении русской национальной культуры; в годы наполеоновских войн этот вопрос стал еще более жизненным и острым. Естественно, что это отразилось и в литературе и в театре.

В Москве русскую труппу в это время возглавлял выдающийся драматург и актер П. А. Плавильщиков, бывший сотрудник Крылова по журналу «Зритель» (1792 г.), автор известной статьи о театре («Рассуждение о российском зрелище»), в которой он горячо призывал к созданию национального репертуара, отражающего русскую народную жизнь и историю. «Отечественность в театральном сочинении, — утверждает Плавильщиков, — кажется, должна быть первым предметом ‹...›. Какая нам нужда видеть какую-то Дидону, тающую в любви к Энею, и беснующегося Ярба от ревности? ‹...›. Надобно наперед узнать, что происходило в нашем отечестве». Плавильщиков требует «создать на театре вкус, приличный нашему свойству». «Отчего, — спрашивает он, — опера „Мельник“ ‹Аблесимова› со всеми слабостями сочинения и ненаблюдениями аристо-

телевых правил более 200 полных представлений выдержала и всегда с удовольствием принимается, а Нелюдим <«Мизантроп»>, славная Мольерова комедия, никогда полного собрания не имела? Для того, что Мельник наш, а Нелюдим чужой» (см.: П. Н. Берков. История русской журналистики XVIII века. 1952, стр. 467—468). Здесь же Плавильщиков утверждает, что высший и наиболее трудный драматический род — «мещанская или гражданская трагедия» и драма; однако он не отвергает и старую, «правильную» классическую трагедию: «Сумароков, Княжнин, Херасков, Николев, Майков и другие сочинители трагедий суть доказательством, что у нас они есть, а представления оных и слезы зрителей уверяют, что есть и актеры».

В 1793 г. Плавильщиков перешел из петербургской труппы в московскую, повидимому в связи с тем, что в Петербургском театре иностранные влияния чувствовались сильнее, чем в Москве. В 1805 г. московская труппа состояла из 26 «сюжетов» (т. е. членов труппы) и играла в так называемом Петровском театре (на месте нынешнего Большого театра). В записи от 18 октября 1805 г. Жихарев приводит список всех актеров и актрис этой труппы; некоторые из них были прежде крепостными М. П. Волконского и Д. Е. Столыпина. Кроме Плавильщикова, который сохранял классический стиль игры, были в этой труппе и актеры, игравшие в духе новых литературных и театральных веяний. Среди них был особенно популярен В. П. Померанцев, игравший, по словам современников, «по внушению сердца», — яркий представитель сентиментальной школы, «Мочалов XVIII века», как его называли впоследствии. Жихарев восторгается им: «Высокий талант, которому цены не знают», — пишет он; хвалит он также С. Н. Сандунова и его жену Е. С. Сандунову, П. В. Злова и И. С. Медведева («бесподобен в роли Еремеевны в „Недоросле“, которую по каким-то преданиям играют всегда мужчины»).

О Плавильщикове Жихарев говорит много и подробно в «Воспоминаниях старого театрала»; он вспоминает, что в годы молодости Плавильщиков казался ему актером необыкновенным, неподражаемым: «...только впоследствии, — пишет Жихарев, — при сравнении игры его с игрою других актеров, наших и иностранных, я стал

замечать, что иные роли он мог бы исполнить с большим чувством и соображением — не говорю с большей силой и одушевлением, потому что Плавильщиков обладал этими качествами даже в излишней степени».

В течение 1805 г. Жихарев успел посмотреть в Петровском театре волшебную оперу-сказку «Иван-царевич» (о ней см. в «Летописи русского театра» П. Арапова, стр. 116), драму Н. Ильина «Великодушие, или Рекрутский набор» (впервые в Петербурге, 1803 г.) и трагедию В. А. Озерова «Эдип в Афинах» (впервые в Петербурге, 1804 г.). Интересен позднейший отзыв Н. И. Гнедича о драме Ильина, приведенный Жихаревым в «Дневнике чиновника» (запись от 9 апреля 1807 г. — ср. примечание к стр. 467[1]). В октябре 1805 г. Петровский театр сгорел (см. запись от 8 октября и примечание к ней), и русская труппа осталась без помещения. В ноябре спектакли возобновились в небольшом театре кн. М. П. Волконского (на Самотеке), а в декабре русской труппе был предоставлен манеж дома Пашкова (см. запись от 18 декабря и примечание к ней); здесь Жихарев видел драму Ильина «Лиза, или Торжество благодарности» (впервые в Петербурге, 1802 г.; см. «Летопись» П. Арапова, стр. 158). 11 апреля 1806 г. Жихарев отметил в дневнике важное для русского театра событие: «С нынешнего дня русский театр поступил в казенное ведомство, и в первый раз актеры играли под названием актеров императорских. Давали драму „Бедность и благородство души“ ‹Коцебу› и комедию „Слуга двух господ“. Каждый из действующих лиц вырос на поларшина, кроме Плавильщикова и Сандуновых, которые некогда уже были придворными актерами». Перед отъездом в Петербург Жихарев посмотрел в Москве еще три спектакля с Плавильщиковым в главных ролях: комедию «Бот, или Английский купец» («Эта роль — его торжество», — говорит Жихарев), драму Я. Княжнина «Титово милосердие» и комедию Шеридана «Школа злословия» (в переводе И. М. Муравьева-Апостола). Последний спектакль был 26 октября 1806 г. «Мне показалось, — записал Жихарев, — что в театре меньше слушали пьесу, чем говорили о политике».

23 ноября 1806 г. Жихарев приехал в Петербург. Здешняя русская труппа состояла из 32 человек (см. запись от 7 марта 1807 г.;

ср. «Летопись» Арапова, стр. 163). Старик И. А. Дмитревский, с которым Жихарев познакомился у Державина вскоре после приезда, рекомендовал ему бывать почаще в русском театре и хвалил актеров. «Есть прекраснейшие сюжеты и с прекрасными талантами», — сказал он и назвал Шушерина, Яковлева, Семенову, Рыкалова, Пономарева, Воробьева, Самойловых. 10 декабря 1806 г. Жихарев посмотрел «Эдипа в Афинах» с Шушериным, Яковлевым и Семеновой: «Он играет Эдипа совершенно другим образом, нежели Плавильщиков, — говорит Жихарев о Шушерине, — и придает своей роли характер какого-то убожества, вынуждающего сострадание. Во всей первой сцене второго действия с дочерью он был, по мнению моему, гораздо выше Плавильщикова». Впоследствии, в «Воспоминаниях старого театрала», Жихарев развернул это сопоставление, придав ему характер сравнительного анализа двух актерских стилей или манер.

Сильнейшим театральным впечатлением Жихарева в Петербурге была трагедия Озерова «Димитрий Донской», впервые поставленная на сцене Большого театра (на месте нынешней Консерватории) 14 января 1807 г. Еще 30 декабря 1806 г. Жихарев записал: «Говорят, что это произведение гениальное и является очень кстати в теперешних обстоятельствах, потому что наполнено множеством патриотических стихов, которые во время представления должны произвести необыкновенный эффект». 13 января Жихарев, благодаря знакомству с Дмитревским, попал на генеральную репетицию «Димитрия Донского» с А. С. Яковлевым в главной роли: «Стоя у кулисы, я плакал, как ребенок; да и не я один: мне показалось, что и сам Яковлев в некоторых местах своей роли как будто захлебывался и глотал слезы».[1] Главной причиной такого впечатления (как говорит сам Жихарев) было то, что «стихи в трагедии были мастерски приноровлены к настоящим политическим обстоятельствам». Под этими обстоятельствами Жихарев разумеет военные собы-

---

[1] Много лет спустя, в 1854 г., Жихарев изобразил эту репетицию в виде пьесы: «13-го января 1807 года или предпоследняя репетиция „Димитрий Донской“. Драматическая быль в 2 картинах (из записок чиновника)». См. примечание к записи от 13 января 1807 г.

тия: начало новой войны с Наполеоном (см. записи о сражениях при Пултуске и под Прейсиш-Эйлау).

Записи от 15 и 16 января посвящены описанию премьеры «Димитрия Донского» и больше всего — игры Яковлева. Жихарев становится страстным поклонником и другом этого талантливого актера [см. в «Очерках по истории русского драматического театра» С. С. Данилова (1948, стр. 169—170); ср. в «Записках» П. А. Каратыгина (т. I, стр. 84—92)]. В записях от 19 января, 21 февраля и 12 марта Жихарев описывает свои встречи и беседы с Яковлевым; это самые яркие страницы в литературе о нем — особенно если прибавить к ним то, что сказано о Яковлеве в главе III «Воспоминаний старого театрала». В записи от 11 февраля подробно и восторженно описана игра Яковлева в драме Коцебу «Ненависть к людям и раскаяние» (Мейнау). 26 апреля 1807 г. Жихарев смотрел трагедию Озерова «Фингал» (впервые шла в Петербурге 8 декабря 1805 г.) с Шушериным, Яковлевым и Семеновой, а 17 мая — трагедию Вольтера «Магомет» (в переводе П. С. Потемкина) с Яковлевым в главной роли. Наконец, 22 мая 1807 г. Жихарев был на премьере трагедии М. В. Крюковского «Пожарский, или Освобожденная Москва» с Яковлевым в главной роли; театр затрещал от рукоплесканий, когда Яковлев «прискорбно взглянул на златоглавую Москву, прекрасно изображенную на задней декорации», и произнес первый стих своей роли: «Любви к отечеству сильна над сердцем власть». Дальше Жихарев пишет: «С таким восторгом приняты были почти все стихи в его роли, которая состоит из афоризмов и декламаций о любви к отечеству. На трактацию сюжета и роли других актеров публика не обращала никакого внимания: она занималась одним Пожарским-Яковлевым, и лишь только он появлялся, аплодисменты и крики возобновлялись с большей силой».

Последние театральные впечатления, отмеченные в «Дневнике чиновника», — комедия Крылова «Модная лавка» (впервые — 27 июля 1806 г., см. запись от 26 мая 1807 г.) и опера «Любовная почта» А. А. Шаховского и К. Кавоса (запись от 29 мая). В «Модной лавке» Жихарев очень хвалит Рыкалова (ср. запись от 23 апреля, где говорится об исполнении Рыкаловым роли Жеронта в «Скапе-

новых обманах» Мольера) и Рахманову — и не только за комический талант, но и за «верность», с какой они представляют своих персонажей. С восторгом говорит он об актере Пономареве, исполнявшем роль слуги Антропки: «Непостижимо, как мастерски отделал он эту почти ничтожную роль Антропки. Что за физиономия, какая фигура, какие ухватки, какая походка и какой разговор! <...>. Ну, право, этот Пономарев в своем роде Превиль. Дайте роль Антропки другому актеру — она выйдет бесцветна и незаметна». Опера «Любовная почта», по словам Жихарева, разыгрывается так хорошо, что лучше не разыграли бы ее и французские актеры, но об оперном репертуаре в целом он не высокого мнения: его удивляет, «отчего на здешнем театре не дают таких опер, как „Волшебная флейта", „Похищение из сераля", „Дон-Жуан", и довольствуются "Русалками", „Князем-невидимкой" и некоторыми переводными из французского оперного репертуара»: «Рахманов говорит, что все эти „Русалки" и прочая такая же дребедень только портит вкус публики, и дирекции следовало бы дать ему другое направление <...>. Рахманову очень хочется слышать на русской сцене Глюкова „Орфея", и он уверяет, что партия Орфея как раз придется по голосу и средствам Самойлова» (запись от 6 марта 1807 г.; ср. о П. А. Рахманове в записи от 28 декабря 1806 г.). Интересны тоже слова Жихарева о драматических пьесах: «Сказывают, что в дирекцию театра поступает такое множество драм оригинальных и переводных, что она не знает, что с ними делать, а пуще как отбиться от назойливых авторов, решительно ее осаждающих; эти авторы большею частью подкрепляемы бывают рекомендательными письмами значительных особ, на которые театральное начальство отвечать должно, что приводит его в великое затруднение. Многие из поступающих драм остаются даже непрочитанными» (запись от 14—20 апреля 1807 г.).

* * *

В Москве и в Петербурге, кроме русской труппы, действовали тогда труппы иностранные — французская и немецкая. В дневниках Жихарева есть много записей об отдельных актерах и спектаклях этих трупп, но сравнительно мало уделено внимания и места

вопросу об их образовании и появлении в России, об их отношениях к русским актерам и проч. Французские актеры были, конечно, так или иначе связаны с эмигрантами, особенно в Петербурге, куда после 1789 г. съехалось много бежавших роялистов. Они были хорошо приняты русской аристократией и некоторое время разыгрывали роль судей в вопросах русской культуры и искусства. В статье о театре Плавильщиков восклицал: «Когда же предубеждение до такой степени восходит, то какого ободрения должно ожидать театру российскому, сочинениям и представлению, от таких домов, где приговор выходит из уст аббатов, а может быть еще и беглых! Как же ожидать русского вкуса на театре?» («Очерки по истории русской журналистики и критики», т. I, 1950, стр. 121).

Французская труппа в Москве, очень слабая по своему актерскому составу, была повидимому, бонапартистской и, вероятно, находилась в тайных связях со шпионскими организациями наполеоновского правительства. Что касается немецкого театра, то его история иная: в сжатом виде она изложена Жихаревым в большой записи от 20—21 мая 1807 г. — с того момента, когда рижский антрепренер Иосиф Мире приехал в Петербург и открыл представления набранной им труппы в так называемом Кушелевском театре (против Зимнего дворца, там, где арка Главного штаба). Как видно из записи Жихарева от 20 января 1805 г., значительную часть этой труппы составляли петербургские немцы-ремесленники, и театр был предназначен для публики демократической. Это видно и из описания театра в «Записках» Каратыгина: «Помню я, что зрительская зала была очень некрасива: закоптелая позолота, грязные драпри у лож, тусклая люстра, на сцене ветхие декорации и кулисы, в коридорах повсюду деревянные лестницы, в уборных постоянная копоть от неисправных ламп, наполненных чуть ли не постным маслом». Жихарев рассказывает далее, как актер Карл Штейнсберг отделился от Мире и переехал в Москву, где организовал свой немецкий театр. Это было зимой 1803—1804 г. В рижском журнале «Russischer Merkur» («Русский Меркурий», 1805 г.) появилась статья издателя, пастора Гейдеке (Жихарев был знаком с ним), под заглавием: «Deutsche Schauspieler in Moskwa» («Немецкие актеры

в Москве», № 2, стр. 128—134); здесь говорится о давно назревшей необходимости иметь в Москве театр для 8000 проживающих в ней немцев (в особенности для ремесленников и женщин). «Я очень обрадовался поэтому, — пишет автор, — когда узнал, что известный актер петербургского театра, г. Штейнсберг, приступил к служению в Москве немецким Талии и Мельпомене». Однако Гейдеке недоволен и репертуаром и игрой актеров, в том числе и самого Штейнсберга.

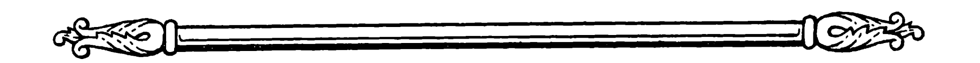
Сообщенные Жихаревым факты из истории образования немецкой труппы имеют большую театроведческую ценность; что касается похвал, часто расточаемых им по адресу немецких актеров (особенно Штейнсберга) и спектаклей, то они объясняются отчасти его молодостью, а отчасти и той привычкой восхищаться всем иностранным, которой так возмущался Плавильщиков. Ф. Ф. Вигель писал в 1853 г. своему приятелю: «Прочитал ли ты, любезный друг, в последних нумерах Москвитянина любопытный „Дневник студента", написанный в 1805 и 1806 годах? Не знаю, можно ли умнее, забавнее и вернее изобразить тогдашнее состояние Москвы <...>. В то же время с каким подобострастием говорит он о немцах, об их уме и знании! Как о важном деле толкует он о прибытии из Петербурга немецкой труппы, на представления которой из порядочных людей там никто не ездил, а в которой москвичи увидели ниспосланную им благодать» (Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. XII, стр. 266). Следует, однако, сказать, что в составе петербургской труппы были очень крупные немецкие актеры и певцы, вывезенные антрепренером Мире из-за границы, как комик Линденштейн, бас-буффо Вейраух, Гунниус, Цейбиг, Кафка [см. в «Записках» Р. Зотова («Исторический вестник», 1896, № 10)]. Их хвалят и в немецкой прессе. Что касается московской группы, то ее положение сильно пошатнулось после смерти Штейнсберга, который был, очевидно, ловким дельцом. В 1807 г. в митавском журнале «Ruthenia» (т. II) появилась статья «Deutsches Schauspielwesen in Moskau» («Положение немецких актеров в Москве»); автор сообщает, что А. М. Муромцев, в руки которого перешла немецкая труппа, довел театр до банкротства (ср. в записи Жихарева от 29 мая

1807 г.: «Пишут из Москвы, что дела немецкого театра плохи и директор его, А. Муромцев, несмотря на свои восемьсот душ, так запутался, что больше не в состоянии платить актерам жалованья»). О немецком театре в Петербурге автор статьи пишет: «Покойный Штейнсберг понимал лучше свое дело, или, вернее, выгоду, которую оно может дать; он знал вкусы публики, умел держать в порядке своих людей, короче говоря, он оставил своей молодой вдове капиталец в двадцать тысяч рублей».

Французская труппа, игравшая в 1805—1806 гг. в Москве, не вызывала у Жихарева ни особенного интереса, ни похвал. Как видно из списка составлявших ее актеров и актрис (запись от 18 октября 1805 г.), она не блистала талантами. Жихарев не раз упрекает их в невежестве и хвастовстве; в записи от 20 ноября 1805 г. он восклицает: «От шарлатанства французов мочи нет». Другое дело — французский театр в Петербурге: здесь играли такие актеры, как Ларош, Деглиньи, Дюкроаси, Дюран, Каллан, здесь пела Филис-Андрие. Жихарев пишет: «Нынешним составом французской труппы публика обязана Александру Львовичу ‹Нарышкину› или скорее князю Шаховскому, который, будучи вместе с ним в Париже, имел весьма близкие сношения со всеми первоклассными артистами знаменитого французского театра (Théatre Français), особенно с Дюгазоном, Дазенкуром и Сен-Фалем, руководствовавшими его в выборе большей части актеров для петербургской сцены. Таланты Дюрана и Каллана были известны в самой Франции, потому что они играли всегда на больших сценах в Бордо, Лионе и Марсели; а Деглиньи уважаем был и самим Офреном» (запись от 22 апреля 1807 г.). Офрен, умерший в 1804 г. 76-летним стариком, возглавлял французскую труппу, игравшую в придворном Эрмитажном театре: «Являясь воинствующим новатором, отличавшимся большой простотой и естественностью своей игры, в особенности мастерством нюансировки, Офрен не смог удержаться в театре «Французская комедия» вследствие консерватизма труппы «королевских» актеров и должен был уехать за границу, найдя еще с 1771 года применение своим силам в России («Очерки» С. Данилова, стр. 88). Шаховской брал одно время уроки декламации у Офрена.

Таким образом, в Петербурге французские театральные традиции были давними и крепкими. Это отразилось и на дневниках Жихарева и на его «Воспоминаниях». Нечего говорить, что его отзывы и впечатления часто пристрастны; тем не менее этот материал очень важен для изучения ряда вопросов, связанных с историей русского театра перед Отечественной войной 1812 года.





ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА «ЗАПИСОК СОВРЕМЕННИКА» И «ВОСПОМИНАНИЙ СТАРОГО ТЕАТРАЛА»

«ЗАПИСКИ СОВРЕМЕННИКА»

Рукописи «Записок современника» нам неизвестны: первоначальная рукопись, повидимому, не сохранилась, а от наборной авторизованной копии осталось в архиве М. П. Погодина всего 6 листов (из «Дневника студента»). В том же архиве обнаружено 3 печатных листа корректуры, по которой в соответствующих местах настоящего издания сняты цензурные искажения. Основным источником для всего остального текста «Записок» являются их прижизненные издания: «Дневник студента» — в «Москвитянине» 1853—1854 гг. и отдельно (1859 г.), «Дневник чиновника» — в «Отечественных записках» 1855 г.

Отсутствие первоначальной рукописи затрудняет решение некоторых вопросов, касающихся происхождения «Записок» и истории их текста. Несомненно, что «Записки» составились из дневников, которые Жихарев начал вести в 1805 г.; однако некоторые записи имеют ясную форму писем и обращены к двоюродному брату Жихарева — С. С. Борятинскому. Такова, например, первая запись (от 2 января 1805 г.), начинающаяся словами: «Не беспокойся, любезный брат, я не перестану быть твоим неизменным Гриммом. Писать к тебе обратилось мне в привычку. Благодарю за присылку денег» и т. д. В дальнейшем дневниковые записи не раз перебиваются письмами. Как могло произойти такое соединение дневников с письмами и что оно значит? Надо думать, что дело началось именно с пи-

сем, которые Жихарев посылал своему родственнику и другу и в которых подробно описывал свою жизнь после окончания пансиона; постепенно письма превратились в «журнал», поскольку Жихарев записывал свои впечатления ежедневно. Характерна в этом смысле запись от 13 мая 1805 г. В ней описано знакомство с переводчиком Ф. И. Карцевым, который похвалил Жихарева за то, что он ведет «ежедневный журнал»; после этого следуют слова, обращенные к брату и тем самым превращающие дневниковую запись в письмо: «Так поэтому я и недаром докучаю тебе своим мараньем!». Очевидно, дневниковые записи отсылались Борятинскому; подтверждение этому есть в записи от 12 января 1806 г., которая кончается следующими словами: «На днях опишу представление во всей подробности, а теперь не до того. Довольствуйся покамест этим заключением недельной моей тетради, которая полетит к тебе завтра». Перед отъездом в Петербург на службу Жихарев предупредил своего друга (16 ноября 1806 г.): «Прости: из Петербурга я не могу писать к тебе так часто, как доселе писал; но можешь быть уверен, что будешь получать раза два или три в месяц ежедневный и подробный журнал моего житья-бытья и моих похождений на чужой стороне».

С. С. Борятинский умер в 1830 г. Рукопись «Записок» перешла к его вдове, а затем (в 1842 г.) владельцем этой рукописи стал его пасынок, В. Н. Бензенгр,[1] который и вернул ее Жихареву. Об этом свидетельствует следующий документ: «Обязанностию считаю уведомить вас, — писал Погодину Бензенгр 22 февраля 1853 г., — что печатаемые вами в журнале Москвитянин Дневник студента с 1805 года по 18 ноября 1806 года и находящийся у его превосходительства Степана Петровича Жихарева Дневник чиновника с ноября 1806 по июнь месяц 1818 года собраны мною из бумаг покойного вотчима

---

[1] Василий Николаевич Бензенгр (1815—1891)—врач-антрополог, автор большого количества научных работ (см. «Критико-биографический словарь» С. А. Венгерова, т. II, 1891, стр. 420). В «Трудах рязанской архивной комиссии» (1888, т. III, и отдельно — Рязань, 1888) напечатан составленный им биографический очерк: «Князь Степан Степанович Борятинский. Из воспоминаний».

моего князя Степана Степановича Борятинского и по принадлежности возвращены писавшему сии дневники»,[1] т. е. С. П. Жихареву. Оказалось, что Борятинский (как сообщил Жихарев в «Москвитянине») «успел пересмотреть все эти „Записки“ и сделать им строгий разбор: из одних многое, по разным отношениям и уважениям, исключил, другие совсем уничтожил; остальные приведены им в периодический порядок двух дневников: а) студента, с 1805 по 1807 год, и б) чиновника, с 1807 по 1819 год, к которым объяснения и примечания сделаны самим князем». Жихарев прибавляет: «Не мое дело судить о степени теперешней их занимательности, ибо самое занимательное в них уничтожено».[2] О том же Жихарев написал Погодину (30 декабря 1852 г.), посылая ему копию «Дневника студента»: «‹...› я начинаю припоминать многие обстоятельства, которых в дневнике не нахожу, и поэтому заключаю, что уничтожено много кой-чего такого, что могло бы теперь иметь некоторый интерес, как то: описание кончины и похорон Х. А. Чеботарева, университетские предания о Кострове, в комнате которого жил незабвенный Буринский (в старой бакалаврии), множество анекдотов, рассказанных разными лицами (в особенности об императрице Екатерине II) и вообще городских сплетней. Об этом уничтожении решительно подтверждал мне пасынок покойного брата, доктор Бензенгр, которому достались все его бумаги после матери и который передал мне мои записки, приведенные братом в настоящий порядок».

Итак, письма-дневники Жихарева подверглись обработке, в результате которой их первоначальный текст оказался сильно сокращенным. Это отразилось и на внешнем виде рукописи, «приведенной» Борятинским в периодический порядок двух дневников и более 10 лет пролежавшей в его архиве. На цитированном выше официальном письме В. Н. Бензенгра Жихарев сделал любопытное

[1] Этот документ (как и цитируемые дальше письма Жихарева к Погодину) сохранился в архиве М. П. Погодина (Рукописное отделение Всесоюзной Библиотеки им. В. И. Ленина).

[2] «Москвитянин», 1853, № 3, отд. IV, стр. 27. В отдельном издании (1859 г.) текст этого предисловия несколько изменен; характерно, что слово «Записки» заменено здесь словом «Письма».

примечание (к словам «собраны мною»): «Правда, что собраны им но так, что чо́рт ногу переломит, и пропасть обстоятельств упущено — хоть много и без намерения». Примечание это было сделано, очевидно, для Погодина: из него следует, что рукопись дневников пострадала не только от обработки, но и от других причин. Взявшись за ее копирование, Жихарев почти в каждом письме к Погодину жалуется на трудность переписки этого «манускрипта». Вполне возможно, что ему приходилось связывать отдельные куски, заполнять образовавшиеся пустоты, заново датировать некоторые записи и проч. Так могли произойти некоторые ошибки, несовместимые с природой настоящего дневника (см. в примечаниях).[1]

Решив печатать эти дневники, Погодин стал торопить Жихарева. «Черепаха писец мой, — жалуется Жихарев в письме к нему от 1 января 1853 г., — царапает по листочку в сутки, да и то не каждый день. О пропусках, собственных его примечаниях, коверканье слов и проч. я уже не говорю. Давно бы я прогнал его, если бы не боялся лишить его если не куска хлеба, то, по крайней мере, приварки ко щам <...>. Скучно, что все это должен я переписывать у себя на дому, потому что не могу решиться вверить единственного манускрипта петербургскому безалаберному народу». Погодин, очевидно, был недоволен таким положением и предложил Жихареву прислать этот «подлинный манускрипт» для переписки в Москву. «Дневник студента в настоящем его виде сообщать вам бесполезно, — отвечал Жихарев 3 февраля 1853 г., — потому что, кроме меня, едва ли кто эту галиматью разберет; в доказательство чего буду иметь честь доставить вам одну подлинную тетрадь с двумя тетрадями переписанного дневника. Мне кажется, впрочем, что для вас достаточно будет, если я доставлю вам от 4 до 5 тетрадей или от 25 до 35 листов в месяц, если же покажется мало, тогда при луч-

[1] Погодин, вероятно, заметил некоторые ошибки такого рода в дневниках Жихарева. Сохранился рисунок Э. Д. Дмитриева-Мамонова, на котором Погодин изображен читающим у конторки рукопись Жихарева; под рисунком подписано: «В то время. . . в то время-с! . . в то время. . . Г-н Жихарев?» («Литературное наследство», вып. 16—18, 1934, стр. 705).

шем здоровье примусь сам за переписку моих или, лучше, Борятинского с семейством его, иероглифов».

Обещанная «подлинная тетрадь» не была доставлена — и подозрительный Погодин стал волноваться; его, как редактора и историка, должен был беспокоить вопрос: является ли копия точным воспроизведением «манускрипта»? Нет ли тут какой-нибудь мистификации? Жихарев утверждал, что его девизом при переписке дневников было — «ни к сим приложити, ни от сих отойти». «В них не прибавлено и не убавлено ни одного слова», — уверял он. Однако у Погодина, видимо, были основания для сомнений. Ссылка на покойного С. С. Борятинского казалась ему, вероятно, не очень убедительной; поэтому он продолжал настаивать на присылке «подлинного манускрипта». Тогда Жихарев вдруг заявил: «Все черновые я не могу никому отдать, потому что в них есть фамильные секреты; при том же бумаги эти никто, кроме меня, разобрать не в состоянии; да их нужно и выправить». Последние слова особенно многозначительны: текст «манускрипта» подвергался, оказывается, исправлению, границы и объем которого Жихарев оставлял в тайне.

«Записки современника» печатались (без имени автора) в «Москвитянине» 1853 и 1854 гг.: сначала большими порциями и без перерывов (№№ 3, 5, 6, 7, 8, т. е. с февраля по апрель 1853 г.), потом, после перерыва, малыми порциями и очень неаккуратно (№№ 1—2, 18, 19, т. е. январь, вторая половина сентября и первая октября 1854 г.).[1] Виновником этих перерывов был Жихарев, задерживавший присылку материала. В конце 1854 г., когда отношения между Жихаревым и Погодиным приняли конфликтный характер,[2] Погодин написал большое письмо, в котором упрекал Жихарева: «Я писал к вам несколько писем и имел в ответ то извинение, то обещание, то известия о болезни, о пожаре и проч. Несколько раз повторяли вы, что я могу обнадежить публику и напечатать, что дневник при-

---

[1] «Москвитянин» выходил два раза в месяц — 24 книги в год.

[2] Подробности см.: Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, т. XIII, стр. 226—238.

надлежит мне [1] и будет непременно сполна напечатан в Москвитянине, а до сих пор мешали только обстоятельства. Между тем прерванное помещение, раздражив и не удовлетворив любопытство, причинило больше вреда, чем пользы журналу <. . .>. Начался 1854 год. В первой книге я поместил 8 страничек, — и опять не получил никакого продолжения, несмотря на новые обещания. В каком же виде представился я перед публикою в другой раз?».

Почвой для конфликта с Погодиным, кроме всего прочего, оказался и материальный вопрос. Сначала Жихарев интересовался только самым фактом появления своих «Записок» в печати и готов был отдать рукопись чуть ли не «безмездно»; Погодин, со своей стороны, любил печатать «безмездный» материал, считая литературный гонорар «пагубным требованием нынешнего века». В дальнейшем намерения Жихарева изменились — и возник вопрос о гонораре. В ноябре 1854 г., когда уже пора было начать печатание второй части «Записок» («Дневник чиновника»), Жихарев, ссылаясь на «других лиц», желающих приобрести продолжение его дневников и предлагающих деньги, потребовал установления и выдачи гонорара. Легко догадаться, что под «другими людьми» разумелся издатель «Отечественных записок» А. А. Краевский, личный враг Погодина. Как раз в это время [2] Жихарев напечатал в его журнале большую статью «Воспоминания старого театрала», главным материалом

---

[1] В архиве Погодина сохранились два документа, на основании которых он мог считать дневники Жихарева своей собственностью. Первый документ: «Я нижеподписавшийся коллежский асессор Василий Николаев сын Бензенгр предоставляю в полное владение и распоряжение господину действительному статскому советнику и кавалеру Михайлу Петровичу Погодину собственно принадлежащую мне рукопись под заглавием „Записки современника. Дневник студента", печатаемые уже в журнале Москвитянин. С.-Петербург. Марта 7 дня 1953 года». Второй: «Я нижеподписавшийся тайный советник и кавалер Степан Петров сын Жихарев предоставляю в полное владение и распоряжение г. действительного статского советника и кавалера Михайла Петровича Погодина рукопись, состоящую из собственных своих писем прежнего времени под заглавием „Записки современника". С.-Петербург. Апреля 3-го дня 1853 года».

[2] «Отечественные записки», 1854, №№ 10 и 11.

для которой послужил тогда еще не опубликованный «Дневник чиновника». Это было новым и очень сильным ударом для Погодина: «Через полгода, не присылав мне ничего, — пеняет он в том же письме, — вы взяли из того же моего дневника восемь листов и продали в другой журнал, а мне прислали три листа якобы окончания!». Посланный к Жихареву П. С. Савельев сообщил Погодину: «Явно, что он не хочет отдать все рукописи и находит выгоднее продать их Краевскому. Даже если б он отдал вам часть дневника, то все-таки другую часть может продать Отечественным запискам».

В цитированном выше письме (от 6 декабря 1854 г.) раздосадованный и обиженный Погодин писал: «Объявление о появлении Дневника в Москвитянине впредь до решения нашего дела я велел остановить. Велел остановить и набор дневника в I книге. Но что печатается в 22 и след. нумере, до 26 ноября, по прежнему вашему плану, того остановить уже нельзя, ибо книга должна выйти на днях». На самом деле печатание «Записок современника» прекратилось в «Москвитянине» на № 19; их продолжение («Дневник чиновника») стало печататься в «Отечественных записках» 1855 г., начиная с № 4. Кстати, судя по последним словам приведенной из письма Погодина цитаты, видно, что «по прежнему плану» Жихарева вторая часть «Записок» («Дневник чиновника») должна была начинаться записью от 26 ноября 1806 г. («Утром был у обер-секретаря Иностранной коллегии» и т. д.). Эта вторая часть должна была появиться в № 1 «Москвитянина» 1855 г., а в № 23 за 1854 г. должен был закончиться «Дневник студента» записью от 25 ноября («Послезавтра мы переедем каждый в свое гнездо, а завтра отправлюсь явиться по начальству»). Конфликт с Погодиным привел к перепланировке: пришлось «Дневник студента» закончить тем, что появилось в № 19 (т. е. записью от 30 июля 1806 г.), а «Дневник чиновника» начать возвращением из Липецка в Москву (запись от 25 августа 1806 г.). Это оказалось возможным, потому что в записи от 30 июля сказано: «Сейчас принесли с почты пакет из С.-Петербурга. Добрый старик Лабат <. . .> извещает, что 14-го числа сего месяца я определен в Коллегию, и приглашает приехать скорее в Петербург».

Надо отметить, что в «Москвитянине» заглавие «Записок» менялось. Первоначально было «З а п и с к и с о в р е м е н н и к а. Дневник студента с 1805 по 1807 год. Часть I» (обозначение части должно, конечно, стоять после общего заголовка). Начиная с № 8 (1853 г.) «Записки» были перенесены из отдела IV («Исторические материалы») в отдел I («Русская словесность») — и заглавие приняло несколько иной, более сжатый вид: «З а п и с к и с о в р е м е н н и к а. Дневник студента». В № 18 (1854 г.), может быть уже в связи с наметившимся конфликтом, заглавие вовсе изменилось: «З а п и с к и с т у д е н т а». Таким же осталось оно в № 19 (с пометой — «Окончание»).

Никаких материалов, связанных с печатанием «Дневника чиновника» в «Отечественных записках», пока не обнаружено. Первая «статья» (25 августа—31 декабря 1806 г.) появилась в № 4 (1855 г.) со следующим примечанием редактора: «„Дневник чиновника“, который начинаем мы печатать с этой книжки и надеемся продолжать безостановочно в следующих, составляет, так сказать, вторую часть и продолжение „Дневника современника“, которого первая часть, под названием „Дневника студента“, печаталась в „Москвитянине“ 1853 и 1854 годов. „Дневник студента“ оканчивается определением автора на службу, почему и самое название этих почти поденных записок переменяется: они из дневника с т у д е н т а делаются дневником ч и н о в н и к а. Автор в прошлом году поместил в „Отечественных записках“ статью „Воспоминания старого театрала“, заимствованную большею частью из этого „Дневника чиновника“, и потому читатели найдут в „Дневнике“ многое из этих „Воспоминаний“, только с бо́льшими подробностями». Краевский, видимо, собирался печатать «Дневник чиновника» полностью («надеемся продолжать безостановочно»); однако он предусмотрительно умолчал о его хронологическом объеме и заменил обычную систему «продолжений» простой последовательностью «статей». Таких «статей» появилось шесть (№№ 4, 5, 7, 8, 9 и 10 без имени автора)[1] — и на этом печатание дневника вдруг, без всяких объяснений, пре-

[1] Под двумя из них (третьей и пятой) поставлена подпись: «С. Ж-въ».

кратилось. Вместо 13 лет (1806—1818) перед читателями «Отечественных записок» прошло только 9 месяцев (25 августа 1806 г.—31 мая 1807 г.).

На этот раз причина, надо думать, была не в личных отношениях и не в материальном вопросе, а в политических событиях, связанных с Крымской войной и смертью Николая I. Осень 1855 г. была совсем непохожа на осень 1854 года, когда Краевский (после появления «Воспоминаний старого театрала») повел переговоры с Жихаревым о печатании «Дневника чиновника». Тогда еще свирепствовала цензура — и Краевский, вероятно, очень обрадовался такому «бесспорному» материалу: отдел «словесности», совсем было заглохший в годы «мрачного семилетья», был, таким образом, надолго обеспечен. После падения Севастополя (август 1855 г.) положение изменилось: на фоне начавшегося общественного движения дальнейшее печатание «Дневника чиновника» было бы со стороны редакции «Отечественных записок» просто неуместным. Характерно, что Некрасов, относившийся прежде довольно благосклонно к запискам Жихарева и даже просивший его дать в «Современник» очерк «Бал и домашний спектакль у Г. Р. Державина»,[1] заявил теперь, что рассказанные Жихаревым «вседневные обстоятельства» не характеризуют русского общества, — упрек, подсказанный, конечно, не личными соображениями, а общественными потребностями и настроениями новой эпохи. На бестактное «Письмо» Жихарева Некрасов ответил в октябрьском номере «Современника»: «Когда начал появляться „Дневник чиновника" в печати, в нем были места довольно интересные: именно места о театре и литературе. Эти места постоянно одобрялись в „Современнике", и даже были приводимы из них значительные выписки <. . .>. Между тем „Дневник" продолжал печататься, но подробности о театре и литературе в новых статьях уже не были интересны, потому что ничего не заключали в себе кроме сказанного в первых статьях. С по-

[1] Об этом говорит сам Жихарев в своем «Письме к редактору „Современника"» («С.-Петербургские ведомости», 1855, № 194, от 6 сентября, подпись: «С. Жихарев»), написанном в ответ на отзыв Некрасова. Ср. письмо Некрасова к В. П. Боткину от 1 сентября 1855 г.

терею своей живой стороны „Дневник" низошел в ряд таких произведений, молчать о которых или поддерживать при начале высказанное мнение становилось делом, не согласным с правилами „Современника"». В ноябрьском номере дневник Жихарева был подвергнут еще более резкой критике — вплоть до прямого совета редакции «Отечественных записок» прекратить его печатание.[1]

Из переписки Жихарева с Погодиным видно, что еще в 1854 г. была мысль об отдельном издании «Дневника студента»: «Вскоре пришлю все окончание Студента, — писал Жихарев, — и вы можете напечатать его особо, если найдете свои выгоды, а мне чрезвычайно хочется поскорее расквитаться с вами. Дневник студента должен составить книжку листов в 20, если не более». Тогда это не осуществилось; теперь, после неудачи в «Отечественных записках», Жихарев вернулся к этой мысли, но уже в более обширном объеме: он решил выпустить отдельным изданием весь текст «Записок современника». Никаких материалов, относящихся к этому замыслу, тоже не обнаружено. В 1859 г. вышел первый том: «З а п и с к и с о в р е м е н н и к а с 1805 п о 1819 г о д. Часть I. Дневник студента. СПб. Издание Д. Е. Кожанчикова». На титульном листе — «Дневник студента с 1805 по 1807 год»; под текстом — «Конец первой части». Дальше должен был следовать «Дневник чиновника», который был бы, вероятно, разделен на две части. В письме к Погодину от 1 января 1853 г. Жихарев говорил, что в «Дневнике чиновника» особенно занимательны годы 1809 и 1812.[2] Однако этот план тоже не осуществился: в 1860 г. Жихарев умер — и издание «Записок» прекратилось. Таким образом, вместо издания дневников за 14 лет (1805—1818) в печати при жизни Жихарева

---

[1] «Заметки о журналах» в №№ 8, 10 и 11 «Современника» 1855 г. (Полное собрание сочинений и писем Некрасова, т. IX, 1950, стр. 297, 314—319, 339—340).

[2] Кроме того, у Жихарева образовались из записей более позднего времени «Записки сановника», как это видно из его письма к Погодину от 30 декабря 1852 г.: «Дневник чиновника заключает в себе около 12 лет; несмотря на все исключения, которые вы о б я з а н ы сделать из этой дребедени, ее хватит вам лет на шесть, не говоря уже о „Записках сановника"».

появились дневники только за $2^1/_2$ года (с 1 января 1805 г. по 31 мая 1807 г.).[1] После его смерти все рукописи дневников исчезли — и из позднейших записей не появилось больше ни строки.

«Дневник студента» в отдельном издании 1859 г. — не простая перепечатка из «Москвитянина»; автор восстановил кое-что из цензурных купюр, раскрыл имена многих лиц, обозначенные в журнале буквами, исправил некоторые опечатки, заменил некоторые устарелые языковые формы новыми (например, вместо «сей» — всюду «этот»), сделал несколько «позднейших примечаний». Так как текст этого издания является последним прижизненным текстом «Дневника студента», улучшенным по сравнению с предыдущим, то (за отсутствием рукописи) он и должен быть положен в основу нового издания. Что касается «Дневника чиновника», то при жизни автора он был напечатан только один раз, так что текст «Отечественных записок» является единственным его источником.

Через тридцать лет после смерти Жихарева «Записки современника» появились в приложении к «Русскому архиву» (1890 г., №№ 10—12; 1891 г., №№ 1—5), после чего вышли отдельной книгой, сброшюрованной из листов приложения, под заглавием «Записки Степана Петровича Жихарева» (изд. «Русского архива», М., 1890). В первом примечании издателя (П. И. Бартенева) сказано, что в 1849 г. Жихарев передал свои записки Погодину «для напечатания в „Москвитянине“, где они начали появляться с 1853 года»; далее в том же примечании сказано: «М. П. Погодин сообщал нам рукопись этих любопытных записок, из которой были извлечены нами выпущенные тогдашней цензурою (немногие, впрочем) места и восстановлены имена многих лиц. Таким образом, записки С. Жихарева печатаются здесь в более полном виде». Погодин умер в 1875 г.; значит, он «сообщал» Бартеневу рукопись Жихарева в те годы, когда Бартенев еще не думал об ее издании. Действительно, в библиотеке М. Н. Лонгинова (принадлежащей

[1] Кое-что из позднейших дневников появилось в «Воспоминаниях старого театрала»; в «С.-Петербургских ведомостях» 1858 г. (№ 60, от 16 марта) процитирована присланная Жихаревым запись от 15 декабря 1809 г. о С. П. Потемкине.

Пушкинскому Дому) сохранился экземпляр «Дневника студента», представляющий собою вырезанные из «Москвитянина» 1853 г. (№№ 3, 5, 6, 7 и 8) и переплетенные листы с приклеенными к ним полями, на которых рукой П. И. Бартенева сделаны вставки, пометки и примечания, дополняющие и исправляющие текст «Москвитянина». На некоторых листах (в том числе уже не на полях, а на последнем белом листе экземпляра и на внутренней стороне переплета) есть вставки, написанные рукой С. А. Соболевского, которому первоначально принадлежал этот экземпляр (как видно из exlibris'а: «Bibliotheca Sobolewskiana»). Все эти вставки, пометки и примечания делались, очевидно, до выхода отдельного издания «Дневника студента» 1859 г., поскольку в этом издании многие отмеченные Бартеневым и Соболевским цензурные пропуски уже восстановлены и фамилии раскрыты. Можно даже сказать точнее: вставки делались п о с л е появления «Дневника студента» в «Москвитянине» 1853 г., но д о его продолжения в «Москвитянине» 1854 г., т. е. между апрелем 1853 г. и январем—февралем 1854 г., поскольку текст заканчивается листами из № 8 1853 г. Несомненно и другое: э т и в с т а в к и и п о м е т к и д е л а л и с ь п о р у к о п и с и Ж и х а р е в а, б ы в ш е й т о г д а у П о г о д и н а (как и сказано в цитированном выше примечании Бартенева). На внутренней стороне переплета (тыльной части) есть слова, выписанные рукой Соболевского, а именно: «2 марта. Пятница. Вчера изъездил пол-Москвы с поздравлениями именинниц и насилу сегодня отдохнул. Будь это не по обязанности, изъездил бы всю Москву и конечно бы вовсе не». Весь дальнейший рукописный текст «Дневника студента» был тогда еще у Жихарева и появился в «Москвитянине» только в 1854 г. Сохранившиеся в архиве Погодина 6 листов рукописи «Дневника студента» (см. ниже) представляют собой непосредственное продолжение той рукописи, которая была у Соболевского; текст первого листа начинается словами: «устал; таков человек!», т. е. подхватывает прерванную у Соболевского фразу («конечно бы вовсе не»). Таким образом, экземпляр Соболевского (будем так называть эти вырезанные из «Москвитянина» листы «Дневника студента») ока-

зывается очень ценным, поскольку он заменяет утраченные (или, по крайней мере, не найденные) листы авторизованной копии «Дневника студента» — от начала до записи от 2 марта 1806 г.[1]

В примечании к изданию «Русского архива» Бартенев сказал, что он извлек из рукописи Жихарева выпущенные цензурой места и восстановил имена; это, действительно, было им сделано, но при этом он почему-то совершенно игнорировал издание 1859 г., хотя уже в нем были восстановлены и имена лиц и многие места, выпущенные в «Москвитянине» цензурой. С другой стороны, он, не сказав ни слова, вынул почему-то целые куски из текста «Дневника чиновника» (впервые напечатанного в «Отечественных записках» 1855 г.). Тем самым слова Бартенева в примечании к изданию «Русского архива», что «Записки С. П. Жихарева печатаются здесь в более полном виде», можно принять только с оговоркой: это может быть отнесено лишь к «Дневнику студента» и притом с учетом издания 1859 г. Вместе с тем при сверке издания «Русского архива» с экземпляром Соболевского оказалось, что два места не были пропущены цензурой и в этом издании (а поэтому их нет и в издании 1934 г.): в записи от 11 февраля 1806 г. — рассказ о том, как помещик Измайлов подарил исправнику тройку лошадей с дрожками (см. примечание к стр. 181), и в записи от 28 февраля 1806 г. — цитата из притчи Соломона (см. примечание к стр. 194).

«Записки современника» в издании «Русского архива» заканчиваются небольшим послесловием, в котором Бартенев говорит: «Здесь оканчивается то, что нам известно из „Дневника чиновника“ по напечатанному в „Отечественных записках“ 1855 года. Где продолжение, не знаем. Говорят, что был еще „Дневник сановника“ <. . .>. Будем надеяться, что остальные дневники даровитого и наблюдательного С. П. Жихарева найдутся и огласятся в печати». Эти надежды пока не оправдались. Заметка М. Мазаева о Жихареве в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона заканчивается

[1] Как видно из надписи, сделанной Соболевским на ex-libris'е, он подарил этот экземпляр Лонгинову 17 декабря 1859 г., т. е. после того как вышло отдельное издание «Дневника студента» 1859 г., что видно и из другой надписи Соболевского, указывающей «заметки, не включенные в издание 1859 года».

словами: «Значительная часть записок Жихарева остается в рукописи, но где — неизвестно». Редактор «Записок современника» в издании «Academia» (1934 г.) С. Я. Штрайх говорит: «Не удалось и нет надежды скоро разыскать рукопись, с которой рассказы Жихарева печатались при его жизни. Еще меньше можно рассчитывать на обнаружение подлинных дневников студента и чиновника, составлявшихся автором по следам событий. Эти подлинники, по-видимому, исчезли вместе с большим собранием писем друзей Жихарева по „Арзамасу“ и многочисленных его знакомых по театру, с которыми он был связан свыше полустолетия».

Есть свидетельства современников, на основании которых следует предпринять дальнейшие поиски рукописей Жихарева. М. И. Пыляев вспоминает, что в его присутствии Жихарев в 1860 г. передал несколько больших тетрадей «какой-то княгине Гагариной».[1] Артистка А. И. Шуберт (рожд. Куликова, близкий друг А. Ф. Писемского) утверждает, что тотчас после смерти Жихарева к нему на квартиру приехал сам министр императорского двора В. Ф. Адлерберг, в семье которого Жихарев был «свой человек», и «забрал все его бумаги».[2] Возможно, что так исчез и «Дневник сановника», а вместе с ним и много фактов из жизни русской бюрократии 40—50-х годов.

Кроме печатных текстов в настоящем издании учтены следующие материалы, относящиеся к тексту «Записок современника» (не считая цитированных выше писем Жихарева, Бензенгра и Погодина).

1. 6 листов рукописи «Дневника студента» (12 страниц текста), авторизованная копия, бывшая в наборе. Начинается словами: «устал; таков человек!» (запись от 2 марта 1806 г.); кончается записью от 8 марта 1806 г. (Рукописное отделение Всесоюзной Библиотеки им. В. И. Ленина. Архив Погодина: III, 4.65). Это часть той копии, которую Жихарев посылал Погодину; по этим листам набран текст в «Москвитянине» 1854 г., № 1—2 (стр. 173—176 и 213—214).

[1] Перечень записок русских людей. «Исторический вестник», 1890. № 1.

[2] А. И. Шуберт. Моя жизнь. Изд. «Academia», 1929, стр. 174.

2. 2 печатных листа сверстанной корректуры (стр. 187—218) из «Москвитянина» (1854, № 19, октябрь, кн. 1); сверху — рукой Погодина: «Исправив, печатать. М. П.». Начинается записью от 29 мая 1806 г., кончается записью от 30 июля 1806 г. (хранится там же: III, 4.64).

3. 1 печатный лист сверстанной корректуры (стр. 51—66) из «Москвитянина» (1854, № 22, ноябрь, кн. 2) — 2 экземпляра. Текст начинается записью от 25 августа 1806 г. и кончается записью от 12 ноября 1806 г. На одном экземпляре — надпись сверху: «Править все с оригиналами. Скорее роман. Оригиналы что же не присланы? Показать мне после цензора». Набранное заглавие — «Д н е в н и к ч и н о в н и к а. (Продолжение дневника студента). Часть I» — вычеркнуто и заменено другим: «Д н е в н и к с т у д е н т а». На другом экземпляре — надпись сверху: «Прошу исправить. От замеченного здесь не могу отступить»; справа на поле: «Если угодно, то можете представить в Ц. комитет». Набранное заглавие не изменено. В этом экземпляре много цензурных купюр; кроме того, при сличении этой корректуры с текстом «Отечественных записок» (им начинается «Дневник чиновника») обнаружились дополнительные купюры, не сделанные в корректуре «Москвитянина». Все эти купюры учтены в настоящем издании.

4. Описанный выше экземпляр С. А. Соболевского (вырезанные из «Москвитянина» 1853 г. листы с приклеенными к ним полями), принадлежавший М. Н. Лонгинову и хранящийся в библиотеке Института русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом) под шифром: Ло. 34. I. 1.

5. Цензурное дело о «Дневнике чиновника»: «По представлению С.-Петербургского цензурного комитета о дозволении напечатать в журнале „Отечественные записки“ рукопись под заглавием „Дневник чиновника“ (продолжение „Дневника студента“, часть I)» (ЦГИАЛ, фонд 772 (Главное управление цензуры), оп. 6, 1855, № 150852).

Из этого дела видно, что цензор Фрейганг 1) назначил к исключению «некоторые строки и резкие выражения, обозначенные предварительно черными чернилами»; 2) обратил внимание на два места:

одно — содержащее записку императрицы Екатерины II о французской революции (в рукописи стр. 69—73), другое — заключающее рассуждение о дворовых людях (стр. 171—177). Главное управление цензуры (в заседании 12 марта 1855 г.) определило: «из числа двух мест, возбудивших сомнение в СПб. цензурном комитете, первое <. . .> позволить вполне; второе (о многочисленности дворовых людей) дозволить, начиная с стр. 171 до слов: которые она тебе доставляет включительно, на стр. 176; конец же стр. 176 и стр. 177-ую исключить, а также исключить на стр. 173-й в строках 3-й и 4-й слова: о правах человека». Стр. 69—73 представленной в цензуру рукописи соответствует стр. 261—263 настоящего издания (рассказ П. И. Аверина о беседе Екатерины II с Сегюром и отрывок ее записки о французской революции); стр. 171—177 соответствует стр. 295—297 настоящего издания. Из резолюции Главного управления следует, что запись от 23 декабря 1806 г., кончающаяся в печати словами «которые она тебе доставляет», имела в рукописи продолжение, не пропущенное цензурой. Что касается слов «о правах человека», то в печатном тексте нет такого места, куда можно было бы их вставить с полной уверенностью; надо думать, что текст, в связи с их изъятием, был несколько изменен.

Все сказанное о печатании «Записок современника» и о материалах, относящихся к вопросу об их тексте, приводит к следующим текстологическим выводам.

1. «Дневник студента» следует печатать по отдельному изданию 1859 г. (последнему прижизненному) с исправлениями опечаток и других типографских погрешностей по тексту «Москвитянина» (с учетом сохранившихся листов авторизованной копии) и с восстановлением сделанных цензурой купюр по сохранившимся корректурам «Москвитянина» и по экземпляру С. А. Соболевского.

2. «Дневник чиновника» следует печатать по «Отечественным запискам» (единственному прижизненному изданию). Текст «Дневника чиновника», как видно по цензурному делу о нем, пострадал не очень сильно; надо, однако, принять во внимание, что еще до поступления в цензуру рукопись дневника была дана для предва-

рительного чтения М. А. Корфу (члену «Негласного комитета»), по поручению которого А. Ф. Бычков написал Погодину 28 ноября 1854 г.: «Вчера я получил Дневник Жихарева от барона М. А. Корфа и поспешаю переслать его к вам. В нем вы найдете загнутые листы и отметки карандашом против некоторых мест. Все это, по мнению барона, не может быть напечатано, что же касается до его approbatur,[1] то он просил меня передать вам, что сего сделать никак не может, потому что он не имеет никакого отношения к цензуре, а Комитет 2-го апреля есть учреждение негласное. Впрочем, если все, отмеченное им, не будет напечатано, тогда, по его мнению, Дневник может быть свободен от всех придирок. В самом деле, нельзя же помещать печатно мнение о свободе крестьян, говорить о всесильном Кутайсове или об обычаях высшего сословия, шокирующих нравственное достоинство аристократов, не изъятых, впрочем, и в настоящее время от подобных же ошибок» (Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, т. XIII, стр. 230). Отмеченные Корфом места были, очевидно, изъяты до представления «Дневника чиновника» в цензурный комитет.

3. Запись от 15 декабря 1809 г. печатается по газете «С.-Петербургские ведомости» (1858, № 60, от 16 марта). Автор напечатанного здесь анонимного фельетона «Петербургская летопись» сообщает: «Недели две назад мы сказали несколько слов о смерти известного всему московскому и петербургскому обществу графа С. П. Потемкина. По этому вопросу С. П. Жихарев прислал нам один листок из своего Дневника студента, нигде еще не напечатанный. Вот что на этом листе записано было у С. П. Жихарева». Листок этот взят, конечно, не из «Дневника студента», а из «Дневника чиновника».

«ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОГО ТЕАТРАЛА»

«Воспоминания старого театрала» были напечатаны при жизни автора один раз — в «Отечественных записках» 1854 г. (т. 96, № 10 и т. 97, № 11), с подписью: «С. Ж—въ». Никаких материалов, относящихся к истории писания и печатания этого сочинения, пока

[1] Разрешается.

не обнаружено. Что касается цензуры, то в архиве А. В. Никитенко (Институт литературы АН СССР) имеется письмо М. А. Корфа к Жихареву (от 13 сентября 1854 г.), по которому видно, что в тексте «Воспоминаний» были сделаны некоторые изъятия и переделки. Корф благодарит Жихарева за доставленное рукописью «Воспоминаний» удовольствие, а затем сообщает: «Обращаясь к замечаниям цензора, я, в личном моем убеждении, не могу не признать самую большую часть их крайне притязательными, а многих совсем и объяснить себе не умею. Если бы я носил это звание, и при том в самом строгом и добросовестном его смысле, то, конечно, исключил бы зачеркнутые фразы против № 1, 2 и 6-го, исключил бы так же анекдоты против № 3 и 5-го, переделал бы несколько фразу против № 4-го и в некоторых анекдотах оставил бы, при действующих лицах, одни заглавные буквы их фамилий; но этим исключительно ограничил бы порывы моего красного карандаша». Жихареву, конечно, пришлось примириться с порывами цензорского карандаша, которые даже Корфу показались «притязательными». Так как рукопись «Воспоминаний» не обнаружена, то печатать текст приходится по «Отечественным запискам».

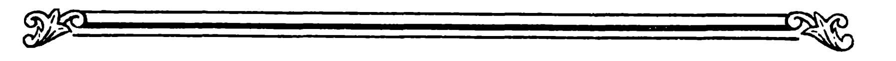
* * *

В числе других произведений С. П. Жихарева (стихотворений, статей, переводов) С. Я. Штрайх указал на «Отрывок из записок современника», напечатанный в «Московском городском листке» (1847, № 17, от 21 января; подпись: «Ж.»): «Отрывок этот представляет собой потуги на философствование о судьбах России, нечто вроде полемики с „Философскими письмами“ П. Я. Чаадаева без упоминания его имени. <. . .>. Этот отрывок можно оставить на страницах забытой газеты без ущерба для настоящего издания».[1] Мы тоже не включаем этой статьи, но потому, что она написана не С. П. Жихаревым, а его племянником, М. И. Жихаревым, учеником и другом Чаадаева, автором большого очерка о нем: «П. Я. Чаадаев. Из воспоминаний современника» («Вестник Европы», 1871,

[1] С. П. Жихарев. «Записки современника», т. I. 1934, стр. 24—25.

№№ 7 и 9). «Отрывок из записок современника» — не полемика с Чаадаевым, а изложение его взглядов, какими они стали к этому времени [ср. письмо Чаадаева к А. И. Тургеневу в «Литературном наследстве» (вып. 22—24, 1935, стр. 16)]. Статья с трудом прошла через цензуру (см.: Дневник И. М. Снегирева, т. I, 1904, стр. 382 и 385).





ПРИМЕЧАНИЯ

5 (1). Предисловие «От издателя» появилось в отдельном издании «Записок современника» («Часть I. Дневник студента», 1859). «Издатель» — это сам Жихарев, который решил выпустить свои записки без имени автора. Надо принять во внимание, что предисловие это написано в расчете на полное издание «Записок современника» (как сказано в предисловии, с 1805 по 1819 год); на самом деле печатный прижизненный текст «Записок» прервался на записи от 31 мая 1807 г., а рукопись до сих пор не обнаружена. (Подробности см. в статье «Источники текста»).

5 (2). Князь Степан Степанович Борятинский был родственником С. П. Жихарева, мать которого была княжна Борятинская (см. в статьях «Дневники С П. Жихарева» и «Источники текста»). У С. С. Борятинского были сестры, из которых Жихарев упоминает об одной — Елизавете Степановне, жене откупщика П. М. Семенова.

9 (1). «Неизменным Гриммом» Жихарев называет себя потому, что собирается сообщать своему другу все московские новости, подобно тому как французский писатель Фридрих-Мельхиор Гримм сообщал в течение многих лет (начиная с 1753 г.) новости парижской жизни коронованным особам (в том числе Екатерине II), подписавшимся на его письма-хронику. «Маленьким Гриммом» называли впоследствии Александра Ивановича Тургенева (см.: «Остафьевский архив», I, 1899, стр. 41, 58 и 422).

10 (1). Иван Андреевич Остерман жил в это время (с 1797 г.) в Москве в отставке; при Екатерине II был управляющим Коллегией иностранных дел со званием вице-канцлера: «Дело его более состояло в охранении этикета российского двора в рассуждении иностранных, чем в управлении политическими делами» («Записки» А. М. Грибовского. «Русский архив», 1899, № 1).

10 (2). Под «архивом» подразумевается Архив Коллегии иностранных дел, находившийся в Москве; под «коллегией» — Коллегия иностранных дел, образованная Петром I в 1720 г. для заведывания сношениями России с иностранными государствами. После учреждения министерств (1802 г.) Коллегия продолжала существовать под руководством министра иностранных дел.

10 (3). Иван Петрович Архаров был при Павле I московским военным губернатором и командиром гарнизона (его солдат называли «архаровцами»; впоследствии это прозвище стало нарицательным для обозначения грубого солдафонства и бесчинства); в 1797 г. был удален вместе с братом в тамбовское имение, откуда вернулся в Москву в 1800 г. и жил в отставке.

10 (4). Михаил Федотович Каменский, фельдмаршал, при Павле I был уволен, но Александр I назначил его в 1806 г. петербургским главнокомандующим, а затем — командующим армией (ср. записи от 18 мая и 6 сентября 1806 г.); 13 декабря 1807 г., накануне сражения, Каменский, ссылаясь на болезнь, покинул армию и уехал в свое поместье (ср. запись от 17 декабря), где был в 1809 г. убит крестьянами за жестокое обращение с ними.

11 (1). Французский воздухоплаватель Андре-Жан Гарнерен (Garnerin) показывал свои опыты в Петербурге и Москве в 1800 и 1805 гг. (см. примечание к стр. 96[2]).

11 (2). «Пансионский театр» — театр при Университетском благородном пансионе, в котором учился Жихарев; переводчиком «Разбойников» Шиллера, при постановке которых Жихарев играл роль Франца Моора, был Н. Н. Сандунов, в то время обер-прокурор Московского сената, потом — профессор права в Московском университете.

11 (3). «Соломони» — семья балетмейстера итальянца Иосифа Соломони, приехавшего в Москву в 1782 г. У него было три дочери: одна балетная артистка, другая — скрипачка и композитор, третья — певица, приятельница Жихарева («меньшая Соломони»). Подробности об этой семье см. в статье Ю. Слонимского в книге «Воспоминания» А. П. Глушковского (1940, стр. 25—26).

12 (1). *Примечание П. Бартенева*: «За Высоцким была Потемкина, родная сестра светлейшего. Высоцкий содействовал к исполнению словесного завещания князя Потемкина о постройке прекрасного храма Большого Вознесения у Никитских ворот в Москве, в память негласного его брака с Екатериною II».

12 (2). П. Бартенев говорит об Обер-Шальме в примечании: «В 1812 году эта обирательница русских барынь заведывала столом Наполеона и не нашла ничего лучше, как устроить кухню в Архангельском соборе. Она последовала за остатками великой армии и погибла с нею. Elle a été cosaquée, как тогда говорили (т. е. была убита казаками, — *Б. Э.*)». В «Войне и мире» Толстого Марья Дмитриевна Ахросимова (см. у Жихарева Анастасию Дмитриевну Офросимову) везет Наташу к «Обер-Шальме» (т. II, ч. 5, гл. VI). Дневники Жихарева, как известно, послужили одним из источников для романа Толстого.

12 (3). Речь идет о стихотворении Державина «Лето» (1802 г.): «Автор, не подписавши своего имени, думал, что я в деревне, и пенял мне за мою леность» (И. Дмитриев). В ответ на послание Дмитриева (Жихарев цитирует первую строфу) Державин написал «Цыганскую пляску» («Возьми, египтянка, гитару»).

12 (4). Гавриил Иванович Мягков — профессор военных наук в Московском университете, математик, автор работ по вопросам военного искусства. О нем как о преподавателе тактики вспоминает А. И. Герцен («Былое и думы», ч. I, гл. VI).

13 (1). Платон Петрович Бекетов (двоюродный брат поэта И. И. Дмитриева) был известен как издатель книг и портретов. В 1801 г. он открыл в Москве типографию, в которой печатал сочинения русских авторов; издал «Пантеон российских авторов» (гравированные портреты) и «Собрание портретов россиян, знаменитых по своим деяниям».

14 (1). Антон Антонович — профессор Московского университета Антонский-Прокопович, занимавший кафедру естественной истории; в 1791—1817 гг. был инспектором университетского Благородного пансиона.

15 (1). «Русалка» — популярная в свое время волшебная опера «Das Donauweibchen» («Фея Дуная»), музыка венского композитора Ф. Кауера, текст К. Генслера. О русском варианте этой оперы см. примечание к стр. 66[1].

20 (1). Цитата из «Разбойников» Шиллера (акт III, сцена II): «Моя невинность, моя невинность!».

21 (1). Степан Александрович Хомяков — отец поэта Алексея Степановича, помещик: «Он был сосед Жихаревых по данковскому имению» (примечание П. И. Бартенева).

21 (2). Михаил Иванович Коваленский (Ковалинский) — харьковский помещик, философ, ученик и друг Г. С. Сковороды; при Екатерине правил рязанским наместничеством, при Павле I был куратором Московского университета. Написанная им биография Сковороды издана по списку только в 1886 г.: «Житие Сковороды, описанное другом его, М. И. Коваленским. С предисловием Н. Ф. Сумцова. Издание редакции „Киевской старины“. Киев, 1886». В предисловии Сумцов говорит: «С именем Сковороды тесно связано имя его друга и биографа М. И. Коваленского. Личность Коваленского замечательна как личность человека, получившего отличное образование, начитанного, вдумчивого, и его «Житие Григория Савича Сковороды» представляет весьма любопытный литературный и бытовой памятник второй половины прошлого столетия».

22 (1). «Диалог. Имя ему: Потоп Змиин». Собрание сочинений Г. С. Сковороды, 1912, т. I, стр. 493—529 и 530 (заметка В. Бонч-Бруевича о рукописи «Потопа»).

22 (2). Слова «Как неприятно разочарование!» имеются только в издании «Русского архива»; П. И. Бартенев взял их из рукописи Жихарева (см. «Источники текста»). В «Москвитянине» эти слова отсутствовали в связи с цензурными купюрами в тексте записи; в издании 1859 г. кое-что восстановлено, но фамилия Долгорукова отсутствует, а в связи с этим текст несколько отличается от рукописного (например: «Что вице-губернатор был человек весьма нежных чувств и сочинял прекрасные стихи — в том нет сомнения»). Мы возвращаемся к до-

цензурному тексту, переписанному с рукописи Жихарева П. И. Бартеневым в экземпляре Соболевского) и напечатанному (с некоторыми неточностями) в издании «Русского архива».

22 (³). Иван Михайлович Долгоруков — поэт («Сочинения», изд. Смирдина, 1849), автор популярного стихотворения «Камин в Пензе»; в 1793—1796 гг. был губернатором в Пензе, потом во Владимире. И. М. Долгоруков сам подробно рассказал историю своих отношений с Е. А. Улыбышевой. Он признается, что между ними была «интрига», но «самая скромная и благопристойная»: «Я счастлив был взглядом, вздохом, запиской и ничего более не требовал. . . Переписка между нами открылась частая. Чем сильнее мы хотели друг друга уверить в чувстве любви, тем пламеннее были наши выражения и, начитавшись оба Colardeau и Дората, мы менялись самыми пылкими грамотками». Одно из писем Долгорукова, в котором он «употребил все, что страсть любовная может внушить языку и перу, воспламененному воображением», было перехвачено мужем («пьяным буяном», как выражается Долгоруков); встречное письмо жены было тоже перехвачено — «и переписка наша таким образом очутилась в руках ее мужа». Далее рассказано, как муж совершил ему «личную обиду» в Казенной палате («будучи во фраке, я не мог отразить его наглости») и как Долгоруков подал жалобу государыне: «Дело сие потом производилось судебным порядком, и наша переписка сделалась всем известной. К умножению неприятностей для меня я обнаруживал в моем письме свободные мысли насчет брака, заняв их у Мирабо и прочих возмутительных писателей того времени во Франции. Это прибавило заключение, что я пристал к якобинской системе, что мне сугубо в последствии времени повредило». Долгоруков заканчивает свой рассказ утверждением, что кроме романического пустословия и неосторожности ничего не было и что все происшествие «истекало от опрометчивого нашего свойства и испорченного воображения насчет чувствительности». К этому прибавлено любопытное рассуждение о том, что подобная «интрига» нимало не относилась до «публичного характера» и что поэтому перехваченные письма не должны были подвергаться ни следствию, ни публичному суду: «. . . ибо ежели подобные проступки частного лица разбирать в трибуналах, то едва ли кто спасется от общих со мной несчастий. А потому прошу всякого обвиняющего меня признаться, что во всем этом происшествии поступлено со мной от правительства беззаконно, вопреки всем правилам гражданского благоустройства. . . ибо человек судиться должен в деяниях публичных, но в тайном поползновении сердца, кроме бога, испытующего наши совести, никакой мирской закон касаться нас не может и не должен» (Капище моего сердца. Сочинение князя И. М. Долгорукова, или Словарь всех тех лиц, с коими я был в разных отношениях в течение моей жизни. «Русский архив», 1890, кн. II, Приложение, стр. 363—367; дополнительные подробности на стр. 340—343). Здесь же Долгоруков указывает, что в его сочинениях напечатано только одно стихотворение, «писанное насчет г-жи Улыбышевой», — «Послание к Людмиле».

25 (¹). Об этом случае рассказывает в своих воспоминаниях Е. Ф. Тимковский: «Бекетовский хор пел обыкновенно в церкви св. Димитрия Солунского, близ Тверского бульвара. В нем отличалась какая-то девушка Анисья (не пригожая, впрочем) своим прелестным голосом и методою пения, почти театральною. Вот поют, кажется, «Достойно есть», и под конец Анисья своим solo и в хоре, а более своими руладами так поразила благочестивых и светских слушателей, что один из сих последних, некто князь Визапур, выкрещенный индеец, л е в того времени, захлопал в ладоши в каком-то неистовом восторге. Такой соблазн был слишком гласен и дерзок; по требованию известного московского митрополита Платона г. Бекетов принужден был немедленно отослать своих певчих в деревню» («Киевская старина», 1894, апрель, стр. 11).

Визапур — эмигрант-мулат, был женат на дочери купца Сахарова; в 1812 г. расстрелян как французский шпион. (См.: Французы в России. 1812-й год по воспоминаниям современников-иностранцев. 1912, стр. 74—76; ср.: М. И. Пыляев. Полубарские затеи. «Исторический вестник», 1886, № 9, стр. 552).

25 (²). О московском полицмейстере Илье Ивановиче Алексееве см. в «Записках» Ф. Ф. Вигеля (изд. 1892 г., по указателю имен).

25 (³). *Примечание П. И. Бартенева*: «Картинная галлерея, собранная послом нашим в Вене князем Д. М. Голицыным и завещанная им Москве, была продана около 1817 года большею частью в чужие края по представлению тогдашнего попечителя Голицынской больницы, князя Сергея Михайловича. Дом, где она помещалась, ныне занят фельдшерской школой».

27 (¹). Петр Андреевич Кикин был любителем литературы, состоял членом «Беседы любителей русского слова» и принадлежал к ярым «шишковистам».

27 (²). О Дмитрии Александровиче Лукине ср. в «Воспоминаниях» В. А. Соллогуба («Academia», 1931, стр. 165—166); подробные сведения — в комментариях Б. Л. Модзалевского к «Письмам морского офицера П. И. Панафидина» (Пгр., 1916, стр. 111—122).

28 (¹). *Примечание П. И. Бартенева*: «Эта княжна, Евгения Михайловна Долгорукова, вышла впоследствии за Степана Трофимовича Творогова».

29 (¹). Максим Иванович Невзоров — один из самых деятельных масонов, друг Н. И. Новикова, И. В. Лопухина, И. П. Тургенева. Невзоров привлекался к суду за принадлежность к мартинистам; потом жил в Москве и издавал журнал «Друг юношества» (1807—1815). К концу жизни стал, по словам А. Я. Булгакова, «безбожником» и увлекался Вольтером. В 1825 г. Жихарев сообщал А. И. Тургеневу, что Невзоров написал петербургскому митрополиту Серафиму письмо, «наполненное громкими и дерзкими истинами, если только истина дерзка быть может». В следующем письме Жихарев писал: «Максиму за письмо к Серафиму, несмотря на невероятную дерзость, ничего не было. Есть истины, которые и обнаружить опасно. В случаях же гонения на него я бы умел пособить ему во славу истины и вас. Теперь бояться ему нечего, да он и не боялся, голубчик, и прежде, путешествуя к Герасиму почти ежедневно, все так

же попрежнему». В письме к Серафиму Невзоров протестовал против лжи и лицемерия в православной церкви. (См.: А. Н. Пыпин. Религиозные движения при Александре I, 1916; «Голос минувшего», 1913, № 12).

31 (1). «Француз на дрожках» (в более ранних изданиях — «Чортик на дрожках») — стихотворная брошюра, автором которой «с некоторою долею достоверности» считали Д. И. Фонвизина (см. в издании С. А. Венгерова: «Русская поэзия», т. I, 1897, стр. 397). Она была переиздана в 1805 г. (экземпляр из библиотеки П. В. Щапова есть в Русском историческом музее). Текст по экземпляру Эрмитажной библиотеки напечатан у Венгерова (стр. 398—399).

В. Семенников обнаружил наиболее ранний текст этого стихотворения под заглавием «Французский променад» в журнале Новикова «Вечерняя заря» 1782 г. и пришел к выводу, что автор его — известный масон и ученик Новикова А. Ф. Лабзин («Русский библиофил», 1914, кн. 4, стр. 65).

31 (2). Харитон Андреевич Чеботарев был профессором русской истории и первым ректором Московского университета. Составленное им «Четвероевангелие» — свод евангельских событий, расположенных в последовательном порядке. Книга была издана дважды: в 1803 г. (в Синодальной типографии) и в 1805 г. (в университетской типографии). Впоследствии она была запрещена к обращению и переизданию. Об этой книге Жихарев говорит еще в записи от 8 февраля 1806 г.

31 (3). *Примечание П. И. Бартенева*: «К Авдотье Селиверстовне Небольсиной. Дом ее, если не ошибаемся — ныне Д. А. Беклемишевой (бывший А. И. Кошелева) на углу Трубного переулка». С. Н. Глинка вспоминал: «Москва тогда кипела хлебосольством. Дом А. С. Небольсиной был первым домом гостеприимным; по четвергам у нее были званые обеды» («Записки С. Н. Глинки», изд. журн. «Русская старина», 1895, стр. 221).

32 (1). Павел Иванович Голенищев-Кутузов — попечитель Московского университета, официальный стихотворец, «шишковист», враг Карамзина, писавший на него доносы. Евгений Алексеевич Колычев — поэт, близкий к кругу И. Пнина и «радищевцев». Колычев упомянут К. Н. Батюшковым в его плане книги по истории русской словесности «для людей светских, и предполагая, что читатели имеют обширные сведения в иностранной литературе, но своей собственной не знают»; пункт 28-й этого плана гласит: «Статьи интересные о некоторых писателях, как то: Радищев, Пнин, Беницкий, Колычев». Стихотворение Колычева «Мотылек» было напечатано в «Санктпетербургском журнале» (1798, ч. I, стр. 209); в нем доля светского человека сравнивается с судьбой мотылька, который вьется вокруг огня:

Вьется вкруг — дивится — тает —
Видит — хочет — блеск страшит —
Прелесть все превозмогает
И он прямо в огнь летит.

Вспыхнул — загорелся — взвился —
Заблистал во тьме ночной —
Поздно светлый яд открылся,
Блеск не спас от смерти злой!

. . . .

Нет, мое уединенье,
Что милее мне тебя?
Лучше жить в тени, в забвенье,
Чем в сияньи сжечь себя!

В журнале «Любитель словесности» (1806, ч. II, стр. 40) напечатано «Надгробие Е. А. Колычеву», написанное И. Пниным:

Лежит в могиле сей
Природы друг и друг людей.

33 (1). Ф. В. Ростопчин «написал много комедий, исполненных остроты и критики на оригинальные лица, между нами встречавшиеся, но по прочтении своих комедий в малом обществе обыкновенно предавал их огню» («Отеч. зап.», 1826, ч. XXVI, стр. 79). Напечатана и поставлена на сцене была только одна его комедия—«Вести, или убитый живой» (1808 г.), но успеха не имела. П. А. Вяземский говорит: «В ней нет изящной отделки, нет искусства, в ней не пробивается рука художника, но есть русская веселость и довольно верная съемка природы. Не понимаю, почему не имела она успеха на сцене и совершенно упала в первое представление». (Соч., т. V, 1880, стр. 145).

33 (2). Об Иване Афанасьевиче Дмитревском Жихарев говорит в дальнейшем неоднократно и подробно: см., например, записи от 2 и 3 января, 12 марта, 15 мая, 31 мая 1807 г., а также в «Воспоминаниях старого театрала», где дана общая оценка Дмитревского и как актера и как театрального деятеля и педагога. (Ср.: С. Т. Аксаков. Я. Е. Шушерин и современные ему театральные знаменитости. Избр. соч., 1949, стр. 405—432. См. также: В. Н. Всеволодский-Гернгросс. И. А. Дмитревский, 1923 и 1945; С. С. Данилов. Очерки по истории русского драматического театра, 1948).

35 (1) Петр Иванович Страхов — профессор Московского университета по опытной физике, ученик и сотрудник Новикова (перевел «О заблуждениях и истине» Сен-Мартена, «Путешествие Анахарсиса» Бартелеми, «Эмиля» Руссо); в 1805—1807 гг. был ректором Московского университета. О его публичных лекциях вспоминает И. М. Снегирев: «Признаюсь, я редко видел такого статного без принуждения, величавого без напыщенности, красивого без притязания и вежливого без манерности, как этот истинно почтенный и благородный муж. . . Его обширные познания и дарования возвышали красноречивое слово и приятно-звучный тенор-бас. На публичные его лекции сбирались из всех почти сословий в Москве; там я видал княгиню Екатерину Романовну Дашкову, Ивана

Ивановича Дмитриева, Каразина. После лекций из аудитории до квартиры провожали его толпы слушателей, которые и дорогой получали его объяснения на свои вопросы и недоумения. Такие переходы представляли нечто торжественное» («Русский архив», 1866, стр. 746).

35 (2). Павел Афанасьевич Сохацкий — профессор эстетики и древней литературы в Московском университете; в 1802—1803 гг. был редактором журнала «Новости русской литературы», который был продолжением журнала «Иппокрена, или утехи любословия» (1799—1801), бывшего, в свою очередь, продолжением журнала «Приятное и полезное препровождение времени» (1794—1798). Все эти журналы были связаны с карамзинским направлением.

35 (3). На экземпляре издания 1859 г., принадлежавшем М. Н. Лонгинову, сделана в этом месте карандашная пометка рукой Лонгинова: «И. И. Дмитриеву» [Библиотека Лонгинова в Институте литературы АН СССР (Пушкинский Дом), шифр Ло. 27. II. 23, стр. 48].

35 (4). Гертруда-Елизавета Марà (рожд. Шмелинген) была одной из известнейших в XVIII в. певиц; она славилась как звучностью голоса, так и драматизмом исполнения. Начало ее артистической деятельности относится к шестидесятым годам (она родилась в 1749 г.). О ней восторженно вспоминает Радищев, слышавший ее, вероятно, в Лейпциге в 1766 г. (см.: Полное собрание сочинений, т. II, 1941, стр. 52; ср.: Т. Л и в а н о в а. Русская музыкальная культура XVIII века, т. I, 1952, стр. 124 и 132). В 1790 г. ее слышал Карамзин («Письма русского путешественника» — Сочинения, 1848, т. II, стр. 675). В «Карманной книжке для любителей музыки на 1796 год» (СПб.) помещена ее биография; в предисловии она названа «первой в Европе певицей» (см. в той же работе Т. Ливановой, т. II, 1953, стр. 349—353).

36 (1). Подробности о Кускове и его владельцах (Шереметевых) см. в книге М. И. Пыляева «Старая Москва» (1891, стр. 163—184). Об оранжерее Пыляев говорит: «Оранжереи, теплицы и грунтовые сараи Шереметева снабжали фруктовыми отводками все окрестные поместья и много способствовали развитию плодового садоводства не только под Москвою, но и во всей России. Для лавровых деревьев были сделаны особые двери или, лучше, проломы до 18 аршин в вышину; таких лавров и померанцев было трудно найти даже на юге». Жихарев был в Кускове уже в период его падения, когда Н. П. Шереметев («Крез меньшой», как его называли) переселился в Останкино. После его смерти (1809 г.) И. М. Долгоруков написал стихотворение «Прогулка в Кусково», в котором говорит:

Завяли мягкие равнины,
Цветами воздух не курят,
Лужайки, тропочки, долины
Мальчишки всячинкой сорят,
Валятся стены зал огромных,
И в них не слышно звуков стройных.

О время, лютый враг всего!
Щадить не любит ничего.

36 (²). Помещик Николай Алексеевич Дурасов славился своим гостеприимством и хлебосольством. «Я вижу отсюда Дурасова, который представителем древней столицы въезжает по Красному крыльцу верхом на стерляди и подносит двору от московского дворянства кулебяку», — писал Вяземский А. И. Тургеневу в 1817 г. («Остафьевский архив», I, 1899, стр. 90). В. А. Соллогуб говорит: «В Москве долго славилась его баснословная стерляжья уха, подаваемая в честь „голубеньких“ и „красненьких“, то есть в честь Андреевских и Александровских кавалеров» («Воспоминания», 1931, стр. 231). Кроме подмосковного Люблина Дурасову принадлежало большое село Никольское на реке Черемшан (за Волгой), с крепостным театром и оркестром. «К Дурасову съезжалось дворянство трех губерний, и он устраивал пиры уже с черемшанскими стерлядями, давно теперь разбежавшимися от устройства мельницы», — пишет там же Соллогуб. С. Т. Аксаков подробно описывает дом и хозяйство в Никольском — вплоть до особого домика для двух чудовищных свиней, «каждая величиной с небольшую корову» («Детские годы Багрова-внука», глава «Летняя поездка в Чурасово»; см. в статье Добролюбова «Деревенская жизнь помещика в старые годы»). В журнальном тексте «Дневника студента» фамилия Дурасова была обозначена только заглавной буквой (как и фамилии многих других лиц). М. А. Дмитриев писал в 1853 г. М. П. Погодину по поводу этих страниц «Дневника»: «Хотя я начал знать Москву годами четырьмя позже этого времени, но вообразите, что я за этим чтением пережил вновь все прежнее, потому что большую часть людей знал и многих видел тут, как в зеркале! Я подписал имена, отчества и фамилии тех, которые обозначены только заглавными литерами; и наконец расхохотался, узнавши Николая Алексеевича Дурасова, с его хвастовством, с его п о д л и н н ы м и словами: д р я н ь - с, которые я тысячу раз слышал! — А какой прекрасный, чистый, простой и красивый слог рассказа! Если будете ко мне писать, сделайте одолжение, напишите мне имя, отчество и фамилию этого студента. Да зачем вы скрыли и его имя, и имена других лиц; например главнокомандующего Беклешова, бригадира Мельгунова (Степана Григорьевича), которого я тоже знал, и многих! Дурасов — родной дядя графини Закревской Аграфены Федоровны. Племянница расхохочется, если прочитает о дядюшке» (Н. Б а р с у к о в. «Жизнь и труды М. П. Погодина», XII, 1898, стр. 265). Сестра Н. А. Дурасова (Стефанида Алексеевна) была женой Ф. А. Толстого, который был братом деда Льва Толстого.

38 (¹). Князь Дмитрий Евсеевич Цицианов славился своими выдумками и анекдотами: «Он был человек добрый, большой хлебосол и отлично кормил своих гостей, но был еще более известен, с самых времен Екатерины, по приобретенной им славе приятного и неистощимого лгуна» (А. Я. Б у л г а к о в.

Воспоминания. «Старина и новизна», 1904, стр. 113. Ср.: П. А. Вяземский. Старая записная книжка. Полн. собр. соч., т. VIII, 1884, стр. 146). Сводку материала о Цицианове см.: «Дневник Пушкина», под ред. Б. Л. Модзалевского, 1923, стр. 99—102.

39 (1). В «Московских ведомостях» 1805 г. (№ 20, от 11 марта) напечатано следующее объявление на русском и французском языках: «Прибывший сюда с компаниею своею величайший в своем роде и здесь еще не виданный вольтижер Карл Транж честь имеет объявить знатному дворянству и почтеннейшей публике, что он в среду, марта 15-го, во 2-й раз на Петровском театре покажет свое искусство на 50 футов поднятом канате». Этот же Транж (Trange) запечатлен в стихотворении И. М. Долгорукова «На празднике в Митине»:

На воздухе Транже, как будто привиденье,
Между вершин дерев раскинувши канат,
Чудесные на нем творил телодвиженья,
Стрелял, скакал и в миг переменял наряд.

Ракетки, бураки, прозрачные картины
Сгоняли удалой вокруг его народ;
А трусы, кои в нем боялись бесовщины,
Под окнами толпой глазели на господ.

(Сочинения, 1849, т. II, стр. 146).

40 (1). *Примечание П. И. Бартенева*: «Урожденная Волконская. Моцарт посвятил ей одну из своих сонат». Бартенев ошибся: Е. А. Муромцева была урожденная Волкова (сестра московского полицмейстера А. А. Волкова). Что касается сонаты Моцарта, то сын Е. А., М. М. Муромцев, говорит в своих «Воспоминаниях»: «Моцарт посвятил ей сонату, которая, к несчастью, утратилась» («Русский архив», 1890, № 1, стр. 60).

40 (2). Иоганн-Вильгельм Геслер — немецкий композитор, органист, пианист; в 1792 г. поселился в Петербурге, в 1794 г. переехал в Москву, где пользовался большой известностью (см. стихотворение И. И. Дмитриева «Стихи на игру г-на Геслера, славного органиста» в сборнике «И мои безделки» (1795 г.) и в книге Т. Ливановой «Русская музыкальная культура XVIII века» (т. I, 1952, стр. 148 и 251). Умер в Москве, в 1822 г.

41 (1). Пьер Родé — французский скрипач и композитор, был в годы 1803—1808 придворным солистом в Петербурге. Франсуа Бальо (Байо) — французский скрипач; в 1805—1808 гг. концертировал в России вместе с виолончелистом Ламар.

41 (2). *Примечание П. Бартенева*: «Князем Михайлом Михайловичем, который в царствование Николая Павловича был сослан в Верхотурье (но не по делам политическим). Он был женат на дочери адмирала Рибаса. Это родной

дед княгини Юрьевской». Княгиня Юрьевская (княжна Екатерина Михайловна Долгорукая) — фаворитка, а после смерти императрицы жена Александра II.

47 ([1]). Кн. Горчаков — это князь Дмитрий Петрович Горчаков, поэт-сатирик, «колкий стих» которого ценил Пушкин (см. стихотворение «Городок»). Что касается Карина, то надо полагать, что Жихарев имел в виду известного в свое время переводчика Федора Григорьевича Карина, который был приятелем Д. П. Горчакова и слыл «московским сибаритом»: «Его причисляли к каким-то вольтерьянцам, — говорит С. Н. Глинка, — но у него и помину не было ни о каком вольнодумстве философов XVIII столетия. Он весь, так сказать, жил в трагедиях Расина, переводил Ифигению» («Записки», 1895, стр. 176). Однако Ф. Г. Карин умер в 1800 г. (см.: С. А. Венгеров. Предварительный список, т. I, 1915), а Жихарев говорит о нем в 1805 г. как о живом. Повидимому, мы имеем здесь дело (как и в некоторых других случаях) с позднейшей вставкой: этого куска («Ну, что бы <. . .> облеклися») не было ни в «Москвитянине», ни в рукописи (судя по экземпляру С. А. Соболевского) — он появился только в издании 1859 г. Жихарев сделал эту нравоучительную вставку, забыв, что Карина в это время уже не было в живых. Имя Карина упоминается у Жихарева еще раз (см. стр. 63), но там речь идет о прошлом времени, когда Карин мог быть еще жив.

48 ([1]). Цитата из комедии Алексиса Пирона (Piron) «La Métromanie» («Страсть к стихотворству», 1738 г.): «J'ai ri. Me voilà désarmé, т. е. «Я рассмеялся. И вот я обезоружен» (III действие, явление VII).

50 ([1]). «Гуронские дикари» (или гуроны) — индейское племя в Северной Америке, еще в XVII в. почти целиком погибшее в войнах с ирокезами.

51 ([1]). Николай Николаевич Бантыш-Каменский, управлявший московским архивом Коллегии иностранных дел, был автором большого количества трудов по истории дипломатических сношений России с другими государствами; в числе их есть «Дипломатическое собрание дел между Российским и Китайским государствами с 1619 по 1792-й год». Вместе с А. Ф. Малиновским он принимал участие в первом издании «Слова о полку Игореве» (1800 г.); см.: «Слово о полку Игореве», серия «Лит. памятники», изд. АН СССР, 1950, стр. 357 и сл. Алексей Федорович Малиновский — археограф, писатель; его брат, В. Ф. Малиновский, был первым директором лицея, в котором учился Пушкин, а дочь, Екатерина Алексеевна (жена князя Р. А. Долгорукова), была с Пушкиным в дружбе (см. «Письма», т. II, 1928, стр. 451, комментарий Б. Л. Модзалевского). А. Ф. Малиновский писал пьесы и переводил драмы Коцебу («Ненависть к людям и раскаяние», 1829 г.; «Бедность или благородство души»). «Старинные святки» —опера (текст Малиновского, музыка Ф. Блима); в Петербурге она была впервые поставлена в 1813 г. (Н. Арапов. Летопись русского театра, 1861, стр. 218), в Москве — в 1800 г. См. также «Русский вестник», 1808, ч. II. Об А. Ф. Малиновском см.: Н. Гастфрейнд. Товарищи Пушкина по имп. Царскосельскому лицею, т. III. 1913, стр. 300—307.

51 (²). В «Послании к кн. С. Н. Долгорукову» Д. П. Горчаков писал:

В комедиях теперь не нужно острых слов:
Чтобы смешить — пусти на сцену дураков!
К законным детям дверь чувствительности скрыта:
Нет жалости к бедам несчастна Ипполита
Иль Ифигении, стенящей от отца;
Один лишь «Сын любви» здесь трогает сердца!
«Гусситы», «Попугай» предпочтены «Сорене»,
И К о ц е б я т и н а одна теперь на сцене.

(Сочинения, 1890, стр. 146).

«Сорена и Замир» — трагедия Н. П. Николева.

51 (³). Об Н. Д. Офросимовой см. примечание к стр. 126².

57 (¹). Ефим Ефимович Ренкевич (Ринкевич или Рынкевич), рязанский помещик, славившийся в Москве своим хлебосольством; сын его, Александр Ефимович, корнет лейб-гвардии конного полка, вступил в 1825 г. в Северное общество, был арестован и переведен на Кавказ (см. «Воспоминания Бестужевых», под ред. М. К. Азадовского, 1951, стр. 369).

59 (¹). В издании 1934 г. («Academia», т. I, стр. 106) к этим буквам сделано примечание редактора: «В „Москвитянине": Рюмина и Чугункова». На самом деле и в «Москвитянине» (1853, № 3, стр. 79), и в издании 1859 г., и в издании 1891 г. стоят буквы «Р. и Ч.». Редактор издания 1934 г. ввел раскрытые им фамилии в именной указатель (Рюмин Гаврило Васильевич, Чугунков — без имени), но источник этих сведений остался нераскрытым. В экземпляре издания 1859 г., принадлежавшем М. Н. Лонгинову, буква Ч. раскрыта иначе: «Чоблукова». Пометка сделана рукой Лонгинова (Библиотека Лонгинова в Пушкинском Доме, шифр Ло. 27. II. 23, стр. 92). Судя по «Русскому провинциальному некрополю» (1914, стр. 942) Чоблуковы — это те же Чоглоковы.

60 (¹). Цитата из оды Державина «Афинейскому витязю» (1796 г., впервые напечатана в 1808 г.), в которой восхваляется А. Г. Орлов:

Я зрел, как жилистой рукой
Он шесть коней на ипподроме
Вмиг осаждал в бегу: как в громе
Он, колесницы с гор бедрой
Своей препнув склоненье,
Минерву удержал в паденье.

В «объяснении» к этим строкам Державин говорит: «Граф Орлов мог удерживать шесть лошадей, скачущих во весь опор в колеснице, схватя оную за колесо». И дальше: «Гр. Орлов спас императрицу Екатерину от неизбежной смерти, когда в Царском Селе на устроенных деревянных высоких горах катилась она

в колеснице и выпрыгнуло из колеи медное колесо: граф, стоя на запятках на всем раскате, спустя одну ногу на сторону, куда упадала колесница, а рукой ухватясь за перилы, удержал от падения оную» («Сочинения», т. III, изд. Акад. Наук, 1866, стр. 668—669; ср. т. I, стр. 768—769).

66 ([1]). Речь идет о русском варианте венской волшебной оперы «Das Donauweibchen» («Фея Дуная»), переделанной Н. С. Краснопольским. Первая ее часть, под названием «Русалка» (музыка венского композитора Ф. Кауера, вставные номера — русского композитора С. И. Давыдова), была впервые поставлена в Петербурге 26 октября 1803 г.; вторая часть, под названием «Днепровская русалка» (вставные номера — музыка К. А. Кавоса), была поставлена в Петербурге 5 мая 1804 г.; третья часть, под названием «Леста, Днепровская русалка» (музыка С. И. Давыдова), шла в Петербурге 25 октября 1805 г. В 1807 г. была издана четвертая часть: «Р у с а л к а. Комическая опера, в трех действиях. Часть четвертая. С принадлежащими в ней хорами, балетами и превращениями. СПб., в типографии императорского театра. 1807». Автором этой части был А. А. Шаховской. П. Арапов говорит об успехе первой части оперы: «Опера „Русалка", несмотря на всю нелепость своего содержания, произвела фурор, и в Петербурге только что и говорили об ней и повсюду пели из нее арии и куплеты: „Приди в чертог ко мне златой!", „Мужчины на свете, как мухи, к нам льнут" и „Вы к нам верность никогда не хотите сохранить"; эти арии были в большой моде, и повторялось представление „Русалки" через день; 5 ноября она была дана в пользу переводчика; театр обыкновенно был полон». 30 июля 1804 г. Державин писал В. В. Капнисту: «<. . .> теперь вкус здесь — на шуточные оперы, которые украшены волшебными декорациями и утешают более глаза и музыкою слух, нежели ум. Из них одну, „Русалкой" называемую, представляли почти всю зиму беспрерывно и теперь представляют, но не так, как прежде, в единстве времени и никогда не более 5 актов, напротив того — по частям. Первую часть давали зимой, ныне зачали вторую, а там третью, четвертую и так далее, дондеже вострубит труба ангела и декорация света сего, переменясь, представит нам другое зрелище» (Сочинения, 1876, т. VI, стр. 170). Подробное содержание оперы и отрывки из нее см. в книге «Русский музыкальный театр» (1941, стр. 165—178).

66 ([2]). «Великодушие, или рекрутский набор» Н. И. Ильина (1803 г.) — драма из сельской жизни, по поводу которой реакционная критика подняла вопрос: стоит ли выводить на сцену «людей последнего состояния»? Н. И. Гнедич говорит в своей рецензии: «Искусство автора видно в том, что пьеса его до самого конца заставляет быть в ожидании, и развязка поразительна. Слушая эту пьесу, желаешь, чтобы у нас больше было авторов с такими чувствами; от сего, может быть, переменился бы вкус большей части нашей публики» («Северный вестник», 1804, ч. 1, № 1; ср. слова Гнедича в «Дневнике чиновника» от 8 апреля 1807 г.). Николай Иванович Ильин служил правителем дел в Канцелярии у Ф. В. Ростопчина. Судьба Ильина была трагической: в 1821 г. он заболел

психическим расстройством. «Жаль его, бедного, — писал А. Я. Булгаков брату. — Честолюбие и любовь погубили его». И дальше: «Нельзя его назвать сумасшедшим, но человек с умом не станет говорить, как он. Всех ругает немилосердно, хотя и с некоторым основанием. . . Он в течение трех месяцев своего заключения написал более 12 000 стихов, сделал поэму „Нашествие французов". Все люди — птицы: государь — орел, Бонапарте — ястреб, Ростопчин — сокол, а там — кто филин, кто курица и пр. и пр.» («Русский архив», 1901, кн. 1).

67 (1). Николай Николаевич Сандунов (брат актера С. Н. Сандунова) служил обер-секретарем 6-го департамента Сената, потом был профессором Московского университета; писал и переводил пьесы (в том числе «Разбойников» Шиллера).

67 (2). По словам Н. И. Греча, подьячий Клим Гаврилович Поборин в пьесе Ильина списан с одного из экспедиторов канцелярии генерал-прокурора — Клементия Гавриловича Голикова («Записки о моей жизни», 1930, стр. 85).

69 (1). «В о к с а л» — первоначально название увеселительного сада, открытого в Лондоне французом Во (Vaux-Hall), где в середине XVIII в. стали устраивать вечерние гулянья для высшего лондонского общества — с театральными представлениями, иллюминацией, фейерверками, фонтанами и пр. В дальнейшем эти «воксалы» распространились по всей Европе и стали обычными местами развлечения для средних классов. В Москве был популярен «воксал», устроенный содержателем Петровского театра Маддоксом (см.: М. И. П ы л я е в. Старая Москва, 1891, стр. 507). Жихарев употребляет слово «воксал» уже как синоним гулянья («назначенный после спектакля воксал»).

69 (2). «В а т р а х о л о в» — ловец лягушек (от греческого слова «батрахос» — лягушка).

70 (1). Жихарев имеет в виду роскошный «праздник», устроенный Потемкиным в принадлежавшем ему Таврическом дворце по случаю взятия Измаила 28 апреля 1791 г. Хоры для этого праздника были написаны Державиным; он же, по поручению Потемкина, сделал его описание.

72 (1). «Русалочный польский» — танец из популярной тогда волшебно-комической оперы «Русалка» (музыка Кауера и С. Давыдова).

73 (1). Начальные строки из стихотворения Карамзина «Гимн глупцам», впервые напечатанного в «Вестнике Европы» (1802, ч. II, № 5).

73 (2). Иван Петрович Тургенев — масон, сотрудник Новикова; при Павле I был директором Московского университета. Его сыновья, студенты этого университета — Александр Иванович (близкий друг Пушкина), Николай Иванович (декабрист), Сергей Иванович — были близкими друзьями Жихарева в годы его молодости; впоследствии (в 1831 г.) А. И. Тургенев разошелся с Жихаревым из-за материальных дел (см. письма и комментарий к ним в издании «Записок современника» под редакцией С. Я. Штрайха, 1934 г.).

73 (3). Николай Петрович Архаров был в 1770-х годах московским обер-полицеймейстером, потом губернатором Москвы. При Павле I (в 1797 г.) был вы-

слан вместе с братом Иваном Петровичем в тамбовское имение, откуда вернулся в Москву в 1800 г. См. о нем еще в записях от 25 июля и 24 августа 1805 г., от 20 января, 29 сентября и 21 октября 1806 г. Де-Сартин, с которым сравнивали Архарова, — парижский полицмейстер при Людовике XV.

73 (4). Слова: «и вследствие того уступивший жену свою графу Разумовскому» впервые напечатаны в издании «Русского архива» (1890 г.). В «Москвитянине» отсутствуют все подробности о Голицыне (остались только слова: «очень образованный, любезный и веселый человек»), а в издании 1859 г. подробности восстановлены, но указанных выше скандальных слов нет, — очевидно по цензурным причинам. Это одно из тех немногих мест, которые были «сообщены» Бартеневу (по его словам) Погодиным (см. выше статью «Источники текста»).

73 (5). Об этом Я. П. Лабат де Виванс, покинувшем Францию еще до революции, говорит Ф. Ф. Вигель: «Вступив у нас в военную службу, он гасконскою оригинальностию скоро понравился начальникам и сделался, наконец любимцем самого князя Потемкина, который, причислив его к своему штату, назначил смотрителем собственных дворца и сада, нынешних Таврических. По смерти Потемкина они поступили в казну, а его место из партикулярного обратилось в придворное. При Павле Таврический дворец превращен в казармы лейб-гусарского полка, а г. Лабат, который и его смешил, сделан кастеланом строившегося Михайловского замка. . . Оставив в отечестве дворянские предрассудки, Лабат в России женился на дочери известного в свое время французского парикмахера Мармиона» («Записки», ч. I, 1891, стр. 146).

73 (6). Антон Антонович Альбини — известный петербургский врач; в 1804 г. Альбини составил записку о состоянии Липецка и о мерах к улучшению его как курорта. В этой записке приведены данные о липецких минеральных источниках (см.: Г. Шторх. Russland unter Alexander dem ersten, t. 4. 1804, стр. 94—110).

74 (1). У Жихарева (в «Москвитянине» и в изд. 1859 г.) имя городничего Бурцова было Иван. В экземпляре Соболевского на поле написано рукой П. И. Бартенева: «Ошибка: Петра Тимофеевича — он мой дед по матери. П. Бартенев» (Библиотека Лонгинова в Пушкинском Доме, шифр Ло. 34. I. 1).

74 (2). Цитата из стихотворения Державина «Зима» (1804 г.), которое посвящено П. Л. Вельяминову и написано в форме диалога между Поэтом и Музой. Жихарев процитировал слова Музы неточно:

Что мне петь? — Ах! где Хариты?
И друзей моих уж нет!
Львов, Хемницер в гробе скрыты,
За Днепром Капнист живет.
Вельяминов, лир любитель,
Богатырь, певец в кругу,

Беззаботный света житель,
Согнут скорбями в дугу.

В заключительной строфе Поэт обращается прямо к Вельяминову:

Между тем к нам, Вельяминов,
Ты приди хотя согбен:
Огнь разложим средь каминов,
Милых сердцу соберем,
И под арфой тихогласной,
Наливая алый сок,
Воспоем наш хлад прекрасный:
Дай Зиме здоровье бог!

Петр Лукич Вельяминов, тамбовский помещик и литератор, был близким другом Державина (см. о нем: «Сочинения» Державина, под ред. Я. Грота, т. I, 1864, стр. 670—671; т. II, стр. 528—529, здесь же его портрет). Вельяминов умер в том же — 1804 — году.

74 (3). В «Москвитянине» это примечание (в несколько иной редакции) было подписано буквами «К. Б.», т. е. князь Борятинский. В издании 1859 г. оно обозначено как «позднейшее примечание» автора, а в издании «Русского архива» (1890 г.) к нему прибавлены слова: «Алексей Петрович Бурцов † 1813 в Бресте Литовском», и оно подписано буквами «П. Б.»., т. е. Петр Бартенев. В экземпляре Соболевского на поле рукой П. И. Бартенева написано: «Умер в 1813 году, вследствие пари, заключенного в пьяном виде. Наскакал со всего бегу на околицу и раздробил себе череп. Пр. <имечание> П. Барт. <енева>» (Библиотека Лонгинова в Пушкинском Доме, шифр Ло. 34. I. 1).

76 (1). Полное заглавие книги И. П. Хмельницкого, о которой вспоминает Жихарев (ср. о ней же на стр. 253), следующее: «Свет зримый в лицах; или величие и многообразность зиждителевых намерений, открывающиеся в природе и во нравах, объясненные физическими <так!> и нравственными изображениями, украшенными достойным сих предметов словом: в пользу всякого состояния людям, а наипаче молодым витиям, стихотворцам, живописцам и другим художникам. Перевел с немецкого языка на российский Иван Хмельницкий. В Санктпетербурге, при императорской Академии Наук, 1773 года». В большом предислови от переводчика, рекомендующем эту книгу людям разных состояний, сказано, что в ней «изображены добродетели и пороки в естественном своем виде». В книге 400 страниц, из которых 100 заняты гравюрами, изображающими явления природы (Солнце, Луна, Звезды, Огнь, Воздух, Вода и пр.), зверей, птиц и разные картины человеческой жизни. Каждая гравюра снабжена стихотворной надписью (например, о воде: «Давлением своим, тела

отягощает, Когда питательный сок в оные вливает») и сопровождена нравоучительным текстом.

76 (2). Жихарев ошибся: автором комедии «Знатоки» (1788 г.) был не Федор Александрович Эмин, а его сын, Николай Федорович, служивший при Державине в Петрозаводском наместническом управлении, а затем — губернатором в Выборге. Комедия высмеивает тогдашних поэтов.

78 (1). *Примечание П. И. Бартенева*: «Единственная дочь этого Дегтерева (в царствование Елизаветы служившего при посольстве во Франции и там женившегося) вышла за упоминаемого выше И. Е. Штейна».

83 (1). «Пелеринаж» (от французского слова pelerin — паломник) — путешествие.

84 (1). Цитата из комедии Грессе (Gresset) «Злой человек» («Le Méchant», 1747 г.): «Глупцы здесь для того, чтобы забавлять нас» (II действие, явление I).

90 (1). В «Журнале коннозаводства и охоты» (1842, т. I, № 2, стр. 63—78) напечатан очерк Жихарева (под псевдонимом «Мемнон Волунин»): «Зверь борзой волкодав, принадлежавший бригадиру князю Гаврилу Федоровичу Борятинскому (1785)». В этом очерке рассказывается, как Борятинский со своим замечательным псом затравил огромного матерого волка. Рассказ написан со слов 85-летней вдовы Борятинского и начинается его характеристикой: «Покойный мой князь Гаврила Федорович был человек с у р ь е з н ы й: редко шутил, еще реже смеялся и лишнего слова не говаривал. Смолоду служил он в в о е н н о й и, видно, привык командовать. Если что обдумает и прикажет, тому быть непременно; однако же был не самонравен и не сердит, и что ему ни говори, все, бывало, выслушает терпеливо. Лет пятьдесят слишком жили мы вместе, не поссорившись ни разу» и проч.

92 (1). Цитата из оды Державина «На восшествие на престол императора Александра I» (1801 г.).

93 (1). Имеется в виду «Добрыня, театральное представление с музыкою, в пяти действиях», сочиненное Державиным в 1804 г. Метастазий (Pietro-Bonaventura Metastasio) — итальянский поэт и драматург, автор многочисленных оперных либретто.

94 (1). Андрей Харитонович Чеботарев, сын профессора истории Х. А. Чеботарева, был адъюнктом химии и технологии в Московском университете и занимался вопросом о способах управления воздушным шаром. Насмешливый тон Жихарева подсказан, очевидно, скептическим отношением профессора физики П. И. Страхова к опытам Чеботарева (ср. в записях от 22 октября 1805 г. и 8 февраля 1806 г.).

96 (1). Полеты штаб-лекаря И. Г. Кашинского на воздушном шаре начались 19 августа 1805 г.; в этот день в «Московских ведомостях» было объявлено, что «в саду, называемом Нескучным, что близ Калужской заставы, спущен будет (ежели только не воспрепятствует дурная погода) большой аэростатический шар, иллюминованный и с фейерверком». Следующий полет был объявлен на

30 августа в Демидовском саду: «По окончании спектакля сад будет иллюминован, и поднимется на высоту большой воздушный шар с военным кораблем в уменьшенном масштабе. Как скоро он отлетит на 200 сажен в высоту, то на корабле последуют 12 пушечных выстрелов, а при последнем из оных корабль, при помощи своих парусов и парашюта, опустится опять на тот же пруд, с которого он полетел, и после того будет плавать по воде, представляя из себя военный корабль на морской баталии, производящий огонь изо всех своих отверстий». На 6 сентября был объявлен вторичный полет этого воздушного корабля. В «Московских ведомостях» от 13 сентября появилось следующее объявление: «Г. штаб-лекарь Кашинский, упражняясь многие годы в познании физико-химических предметов и учинив предварительно многие уже аэростатические опыты в присутствии здешней почтеннейшей публики с лестным для него одобрением, сего сентября вскоре, ежели только не воспрепятствует дурная погода, с позволения правительства, предпримет воздушное путешествие на даче г. Зубова, именуемой Нескучным, к чему изготовлен уже большой гродетуровый аэростат и парашют». В «Московских ведомостях» от 16 сентября Кашинский объявил, что 24 сентября он предпримет в Нескучном саду воздушное путешествие: «Поднявшись в 5 ч. пополудня на весьма великую высоту в воздух, сделает опыт с парашютом и, по отделении оного от шара, поднимется еще гораздо выше для испытания атмосферы. Первый сей опыт русского воздухоплавания многих стоит трудов и издержек; а потому льстит себя надеждою, что знатные и просвещенные патриоты, покровительствующие иностранцам в сем искусстве, благоволят предпочесть соотчича и ободрить его своим присутствием для поощрения к дальнейшим полезным предприятиям». В «Московских ведомостях» от 23 сентября было объявлено, что 24 сентября, по причине воздушного путешествия г-на Кашинского, спектакль в Петровском театре отменяется; 1-го октября спектакль был снова отменен по той же причине. Как видно из объявления в «Московских ведомостях» от 1 ноября, опыты Кашинского не были материально поддержаны — и он вернулся к своей основной специальности. В 1808 г. вышла книга Кашинского «Способ составлять минеральные целительные воды, основанный на новейших химических открытиях и наблюдениях». Это — руководство «для составления разнородных российских и чужестранных вод». В «Русском вестнике» (1808, ч. III, №7) сказано, что этот способ составлять минеральные воды «не только служит к сохранению здоровья и к предупреждению многих недугов, он еще может исцелять и от нравственной болезни, влекущей по одному только предубеждению к иноплеменным целительным водам, где нередко, не возобновляя телесных сил, истощают денежные доходы».

96 (²). О французском воздухоплавателе Гарнерене есть статья в «Журнале различных предметов словесности» (1805, кн. III, стр. 28—31). Автор статьи (без подписи) относится к Гарнерену крайне отрицательно — как к неучу и шарлатану: «Гарнерен, сын небогатого священника в Париже, обучался в университете того города; но успехи его всегда были ниже посредственности, и он

не обучался ни физике, ни философии. Во время первых опытов Монголфьера над воздушными шарами молодой Гарнерен, более привлеченный новостью, нежели в прямом намерении заниматься со вниманием аэростатикою, забавлялся составлением воздушных шаров и спусканием оных из своего окна. Ректор, видя с неудовольствием, что ученик его, занимаясь сею безделкою, совершенно не радел о учебных предметах, сказал ему наотрез, что надобно или оставить шары или выйти из училища. Гарнерен предпочел последнее и возвратился к отцу своему, который не очень благосклонно его принял. В первые годы революции Гарнерен записался в национальную гвардию; но не взирая на ревность, с которой он прилепился к сему званию, не отставал от первой своей склонности к шарам. Не имея довольно достатка к сооружению большого аэростата, прибегнул к ростовщику, который согласился дать нужные на то деньги с тем, что весь доход от пускания шара будет принадлежать ему, а Гарнерен будет довольствоваться умеренным вознаграждением <. . .>. Когда Робеспьер исполнял Францию ужасом и трауром, с удивлением видели Гарнерена пользующегося доверенностию сего лютого тигра. Комитет общественного блага отправил его в северную армию, предводимую генералом Рансонетом <. . .>. Гарнерен был взят англичанами в плен и с 1600 французов отослан в Уденард. После двухмесячного плена он ушел, но попался в руки австрийцам, которые отправили его по Дунаю в Венгрию, где он остался до размена военнопленных <. . .>. Гарнерен утверждает, что он первый отважился спуститься на землю помощию п а р а ш ю т а <. . .>. Со времени освобождения своего из плену Гарнерен странствует по Европе, и ведомости почасту извещают о повторенных им воздушных путешествиях». Далее следует интересное рассуждение автора: «Да будет нам позволено сделать некоторые замечания о воздухоплавателях. В минуту их появления воспарение умов было всеобщее, стремление повлекло даже славнейших испытателей естества всех стран за собою. Столетие, в котором они проявились, славилось ими и надеялось, что в последующие времена можно будет сравнять сие изобретение с открытием компаса, типографии и других общеполезных достижений человеческого разума. Но беспрерывное единообразие всех опытов и доказанная невозможность дать машине правильное направление или хотя по произволению распоряженное отвлекли в скором времени ученых: возлелеяние сего дитяти, толь много обещавшего, осталось руководству корыстолюбивых шарлатанов, разъезжающих с ним по ярмонкам и употребляющих его к обнаружению дерзкого своего любостяжания <. . .>. Разве мы не видели Гарнерена, с беспримерным бесстыдством обманувшего московскую публику, объявляя о молниеносном воздушном явлении, вместо которого пустил бездельный шарик с несколькими петардами на произвол ветров? Не беспрестанно ли они дерзостно нас морочат сделанными будто бы ими опытами о электрической силе и о галванисме?». Далее в журнале следует особый раздел — «Воздухоплавание», в котором напечатана статья: «Бланшард и Гарнерен» (стр. 32—44) с подзаголовком: «Взято из описания путешествий Эрнста Морица

Арндта». Здесь говорится о соперничестве этих воздухоплавателей и об их неудачных полетах в Париже. О Гарнерене и других воздухоплавателях см. в статье И. Киреевского «Опыт критической теории воздухоплавания» («Москвитянин», 1855, т. IV, №№ 15 и 16, август, кн. 1 и 2).

96 (3). Эти стишки приписываются разным лицам и связываются с разными поводами. Есть рассказ о том, будто их сочинил Державин по адресу Д. И. Хвостова (соч. Державина, т. VIII, 1880); есть указание на то, что их автором был А. Ф. Воейков. Сергей Лаврентьевич Львов был адъютантом Потемкина и славился своей веселостью и вольностью языка. В «Записках Храповицкого» (1787, апреля 24) говорится, что Екатерина, едучи в Крым, исключила его из своей свиты со словами: «Бесчестный человек в моем сообществе жить не может». О Львове Жихарев рассказывает еще в записи от 5 мая 1807 г.

98 (1). Трагедия В. А. Озерова «Эдип в Афинах» была представлена в первый раз на Санктпетербургском придворном театре 23 ноября 1804 г. с Шушериным и Семеновой в главных ролях. В рецензии на этот спектакль Н. И. Гнедич говорит: «Жалуются, что знатная публика пристрастилась к французским спектаклям, что надобно играть Русалок, чтоб видеть наполненным весь театр. Играйте пьесы, подобные Эдипу, и играйте, как играли в Эдипе, то знатная публика не забудет русских творений и актеров, и театр будет полон и не на одной Русалке... верьте, что патриотизм с нетерпением выжидает той минуты, когда бы все отрасли отечественной словесности поднять как можно на высшую степень, и радуется малейшему успеху в своих надеждах. Теперь можно поздравить русский театр с прекраснейшим произведением; можно поздравить и г-д актеров с счастливою игрою. Особливо г. Шушерин в роли Эдипа был превосходен; он извлекал слезы сострадания и мастерскою своею игрою примирил многих с русским театром... Г-жа Семенова довольно хорошо сыграла Антигону, и ежели есть какие в ней недостатки, то их очень можно извинить по молодости лет ее и потому, что еще в первый раз дебютирует в трагедии». Рецензия заканчивается двустишием «На игру г. Шушерина»:

Слезящийся партер забылся — и мечтал; —
Он мнил — о Шушерин! — что сам Эдип восстал.

Жихарев видел Шушерина в роли Эдипа после переезда в Петербург (см. запись от 10 декабря 1806 г.). В «Воспоминаниях старого театрала» (глава II) сделан интересный сравнительный анализ игры Шушерина и Плавильщикова в этой роли.

100 (1). Цитата из «Божественной комедии» Данте («Рай», песнь XVII, стихи 58—59).

103 (1). Из оды И. И. Дмитриева «Глас патриота на взятие Варшавы». Ода обращена к Екатерине II. Дмитриев пишет:

Речешь — и двигнется полсвета,
Различный образ и язык.

. . . .
Твой росс весь мир дрожать заставит;
Наполнит громом чудных дел
И там столпы свои поставит,
Где свету целому предел.

103 (2). Дата пожара Петровского театра у Жихарева, видимо, неверная: Петровский театр (или театр Маддокса, стоявший на месте нынешнего Большого театра) сгорел не 8, а 22 октября 1805 г. Правда, прямых документов, свидетельствующих об этой дате, не обнаружено (сообщения об этом событии нет даже в «Московских ведомостях»), но в журнале «Московский курьер» (1805, ч. II, стр. 317) есть заметка, начинающаяся словами: «22 числа прошедшего месяца сгорел Петровский театр». В журнале «Друг просвещения» (1805, ч. IV, стр. 125) напечатано стихотворение Салтыкова под заглавием: «Памятник Московскому театру, сгоревшему октября 22-го дня 1805 г.». В книге О. Чаяновой «Театр Маддокса в Москве» (1927 г.) не приведено никаких данных о пожаре: автор процитировал запись Жихарева и начало заметки «Московского курьера», даже не обратив внимания на разницу дат. С. Я. Штрайх обследовал весь печатный материал и пришел к выводу, что Жихарев «ошибочно поместил листок с записью о пожаре не под надлежащей календарной записью». При той сложной истории, которую пережила рукопись «Записок современника» (см. «Источники текста»), ошибки такого рода были вполне возможны.

104 (1). Цитата (не вполне точная) из оды Державина «На смерть князя Мещерского» (1779 г.):

Сегодня льстит надежда лестна,
А завтра — где ты, человек?

107 (1). Цитата из оды Державина «Водопад» (1791 г.), написанной на смерть Г. А. Потемкина. В строке 4 в подлиннике: «. . . на те стремнины».

107 (2). Цитата из стихотворения Державина «Время» (1805 г.). Строка 3 в подлиннике: «Коль отер сиротски слезы».

112 (1). Александр I поехал в Берлин и Потсдам для того, чтобы уговорить прусского короля Фридриха-Вильгельма III нарушить нейтралитет и вступить в коалицию против Наполеона. Попытка кончилась неудачей: «Целых восемь дней царь уговаривал Фридриха-Вильгельма: из этого не вышло ничего. Но для того чтобы не порвать с царем, прусский король предложил Александру дать обет взаимной дружбы на гробнице Фридриха II. Александр согласился на это, для того чтобы его пребывание в Берлине имело хотя бы видимость какого-то дипломатического успеха в глазах Европы» («История дипломатии», т. I, 1941, стр. 366).

113 (1). В «Московских ведомостях» от 11 ноября 1805 г. (№ 90) напечатана следующая заметка: «Двое механиков парижских, П о л и и Л е м е р с ь е,

приглашают тамошнюю публику смотреть крылатый воздушный шар, посредством которого они надеются решить проблему, как полет воздушных шаров может по произволению быть направляем. Отчет, который они дали о сем в журнале «Le Publiciste», от 9 октября, заставляет думать, что сие великое предприятие в самом деле удалось им. Шар их есть не яйцеобразный, как обыкновенно, но сделан в пропорциях тела птиц: он имеет 72 фута горизонтальной ширины и только 23 фута вышины. По бокам его утверждены крылья, которые самым простым механизмом в гондоле могут приводимы быть во всякое движение, какое только угодно будет воздухоплавателю. (По содержанию новейших известий изобретатели предпринимали 20 октября, в 2 часа пополудни, в Париже воздушное путешествие, при прекрасной погоде и умеренном восточном ветре. Перед отъездом своим показывали они зрителям способ управлять крыльями и кормилом, похожим на птичий хвост. Поднявшись на высоту, они плавали и лавировали против ветра, хотя то было и нарочито медленно. Неизвестно еще, где они опустились на землю)».

114 (1). «Умный дурак Савельич» — Иван Савельевич Сальников, служивший «шутом» у помещика В. А. Хованского и пользовавшийся в Москве большой популярностью. Сводка всего материала о нем сделана Б. Л. Модзалевским в примечании к письму Пушкина («Письма», т. II, 1928, стр. 280—283).

117 (1). «Московский зритель» — журнал сентиментального направления (вроде «Журнала для милых» М. Н. Макарова), издававшийся П. И. Шаликовым в 1806 г.

119 (1). Полный текст сочиненного Н. И. Кондратьевым пасквиля см. в статье Я. Грота «Жизнь Державина» (Д е р ж а в и н, Соч., т. VIII, 1880, стр. 837 и 840 — ответ на него).

120 (1). В рассказ Жихарева о помещике Кроткове вкралась ошибка: симбирского помещика Кроткова, разбогатевшего после ухода Пугачева, звали не Степан Степанович (так звали одного из его сыновей), а Степан Егорович. Ошибка эта произошла, вероятно, потому, что в тексте «Москвитянина» пришлось, по цензурным причинам, назвать этого помещика буквами N. N.; при восстановлении имени и отчества в отдельном издании 1859 г. Жихарев, очевидно, сделал ошибку. Подробно о С. Е. Кроткове и истории его обогащения рассказывает Е. П. Янькова («Рассказы бабушки, записанные и собранные ее внуком Д. Благово», 1885, стр. 326—331). О сыне Кроткова Степане Степановиче см. у той же Яньковой; о другом сыне, Дмитрии Степановиче (диком самодуре), рассказывает в своих «Воспоминаниях» В. А. Соллогуб (изд. «Academia», 1931, 236).

120 (2). «Дамский журнал» издавался в 1806 г. М. Н. Макаровым — тем же, который издавал в 1804 г. «Журнал для милых».

121 (1). «Парнасский люстих». В тексте «Москвитянина» слово «люстих» напечатано с малой буквы, а в отдельном издании (1859 г.) — с большой; тем самым оно получило вид фамилии и в издании «Academia» (1934 г.) оказалос-

в именном указателе, хотя и без всяких пояснений. На самом деле это не фамилия, а слово, первоначально появившееся в немецких и швейцарских войсках для обозначения полкового шута или затейника (от немецкого слова lustig — веселый). Оно вошло во французский язык в форме имени существительного — «le loustic» (раньше «loustig»): «Шутник, служивший в швейцарских полках, для того чтобы увеселять солдат и избавлять их от тоски по родине. В более широком смысле — военный, который старается рассмешить своих товарищей; шутник вообще» («Larousse du XIX siècle»; ср. «Grand Dictionnaire Universel du XIX siècle»). Это слово встречается у Вольтера, например в его письме по поводу «Кандида», написанного будто бы капитаном Брауншвейгского полка, который является «Loustik своего полка»; к слову «Loustik» сделана сноска: «немецкое слово, означающее в е с е л ь ч а к». (В о л ь т е р. Статьи и материалы, 1947, стр. 82 и 84). Встречается это слово и у Гюго: «Есть люди, которые любой ценой хотят иметь влияние и требуют внимания к себе; там, где они не могут быть пророками, они делаются шутами (loustigs)». Употребляя это слово в его первоначальном, военном, значении, Мерзляков прибавил «парнасский», намекая на бойкость переводных стишков Жихарева. В записи Жихарева от 1 мая 1807 г. изображен своего рода полковой «люстих» — певец и плясун Хрунов.

124 ([1]). Начальные стихи стихотворения В. Петрова «Его сиятельству графу Григорию Григорьевичу Орлову, генваря 25 1771 г.».

124 ([2]). Шарль Этьенн (Etienne) — французский драматург и политический деятель, прославившийся при Наполеоне своими злободневными комедиями, впоследствии — антироялист, редактор газеты «Constitutionnel». В 1802 г. была издана им в сотрудничестве с драматургом Альфонсом Мартенвиль (Martainville) «История французского театра от начала революции» (4 тома).

125 ([1]). Намек на комедию П. Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро» («La Folle journée, ou Le Mariage de Figaro»).

125 ([2]). Имеется в виду Варвара Петровна Алмазова, вышедшая замуж за С. В. Шереметева; ее дневник, относящийся к 1820-м годам, был издан в 1916 г. («Дневник В. П. Шереметевой», с ее портретом 1807 г.).

126 ([1]). Цитата из баллады Бюргера «Ленора» («Leonore»): «всё пропало!». В подлиннике:

O Mutter, Mutter! hin ist hin!
Nun fahre Welt und alles hin!

126 ([2]). Настасья Дмитриевна Офросимова (рожд. Лобкова) была известна в Москве резкостью языка и манер. П. А. Вяземский вспоминал: «Н. Д. Офросимова была долго в старые годы воеводою в Москве, чем-то вроде Марфы-посадницы, но без малейших оттенков республиканизма. В московском обществе имела она силу и власть <. . .>. Она была судом, пред которым докладывались житейские дела, тяжбы, экстренные случаи». По словам Д. Н. Свербеева, она

«обращалась нахально со всеми членами высшего московского и петербургского общества», детей своих держала «в страхе божием», а муж ее («которого она, как сама признавалась, тайно похитила из отцовского дома к венцу»), боевой генерал времен Потемкина, был у нее в полном подчинении. Она послужила материалом для Грибоедова (Хлестова в «Горе от ума») и для Л. Толстого (Ахросимова в «Войне и мире»), воспользовавшегося «Записками» Жихарева.

127 (1). В «Войне и мире» Л. Толстого князь Василий Курагин рассказывает, как Вязмитинов читал этот рескрипт на заседании Государственного совета (т. I, ч. 3, гл. II).

127 (2). Причиной волнения, о котором говорит Жихарев, было Аустерлицкое сражение (20 ноября 1805 г.); жители Москвы узнали о нем только 29 ноября (см. в записи от этого числа).

133 (1). О Родé и Бальо см. примечание к стр. 41[1]. Фердинанд Диц (Тиц) — венский скрипач и композитор, в 1771 г. приехавший в Петербург и оставшийся в России; к нему обращены стихотворения Державина (1798 г.) и И. И. Дмитриева со следующим примечанием: «Сей превосходный музыкант, к удивлению всех, вдруг перестал говорить и уже близ года наблюдает глубокое безмолвие, не переставая притом восхищать попрежнему игрой своей» (Г. Р. Державин, Соч., изд. Акад. Наук, т. III, СПб., 1866, стр. 375). Федор Жарновик (Жерновик, Ярновик, Джарнович) — скрипач и композитор, концертировал по всей Европе; родился в Сицилии (по происхождению — кроат), умер в Петербурге в 1804 г.

133 (2). Цитата из стихотворения Державина «К первому соседу» (1780 г.).

134 (1). Цитата из стихотворения И. И. Дмитриева «Освобождение Москвы» — о подвиге Пожарского:

Где ты, славянов храбрых сила!
Проснись, восстань, российска мочь!
Москва в плену, Москва уныла,
Как мрачная осення ночь! —
Восстала! все восколебалось и т. д.

135 (1). Поговорка «Лепя, лепя и облепишься» есть в «Войне и мире» Толстого — и именно в том месте, где говорится о впечатлении, которое произвела в Москве неудача при Аустерлице (т. II, ч. I, глава II); поговорка эта приведена здесь как «слова князя Долгорукова, утешавшегося в нашем поражении воспоминанием прежних побед». Интересно, что у Жихарева этот Ю. В. Долгоруков назван в числе знатных людей, которые, собираясь в Английском клубе, «как-то все особятся и долго о чем-то втихомолку рассуждают. Многих из ежедневных посетителей Английского клуба вовсе не видно» (запись от 28 ноября 1805 г.). Толстой воспользовался этим материалом, но по-своему: перечислив тех же лиц и даже в той же последовательности (Долгоруков, Валуев и Марков)

и прибавив Ростопчина и Вяземского, он говорит, что они «не показывались в клубе, а собирались по домам, в своих интимных кружках» и т. д.

137 ([1]). О Ю. А. Головкине и его посольстве в Китай много говорит Ф. Ф. Вигель, принявший в нем участие в качестве «канцелярского служителя», но доехавший только до Кяхты. Вигель пишет: «В феврале месяце 1805 года все начали толковать о посольстве, отправляемом в Китай. В аристократическом мире только о том и было разговоров, потому что знатный барин, действительный тайный советник, обер-церемониймейстер, граф Юрий Александрович Головкин назначен был чрезвычайным и полномочным послом. Столь многочисленного посольства никогда еще никуда отправляемо не было: оно должно было составиться из военных, ученых, духовных лиц и гражданских чиновников разных ведомств». Что касается самого Головкина, то он был сыном посланника в Берлине, Париже и Голландии; Вигель пишет: «. . . отец посла Головкина никогда не бывал в России, женился на какой-то швейцарской аристократке и детей крестил в реформатскую веру. Когда сын его явился ко двору Екатерины, в нем, кроме имени, ничего русского не было. . . Все знатные молодые люди тогдашнего времени старались быть тем, чем их сделали судьба и воспитание: быть иностранцами с русским именем; следственно ничто не могло побудить его преобразоваться в русского. И он остался настоящим дореволюционным французом, сохранив до глубокой старости всю их любезность, их самонадеянность и легкомыслие» («Записки», 1928, I, стр. 223). В тридцатых годах у Головкина (ставшего тогда попечителем Харьковского учебного округа) бывал В. А. Соллогуб, который пишет в «Воспоминаниях» («Academia, 1931, стр. 387): «Он изображал собою воплощение типа больших бар XVIII столетия. Большого роста, тучный, с огромным гладко выбритым лицом и густыми седыми волосами, зачесанными по моде императрицы Екатерины II, он всегда был одет изысканно, хотя по-старинному, носил чулки и башмаки с необыкновенно красивыми пряжками».

139 ([1]). Критики часто осуждали игру артистки Баранчеевой; в ответ на это автор «Письма» о московском театре («Неизвестный») смело заявил: «Она — крепостная девушка одного дворянина. Милостивые государи! Вам известно, что значит актер или, справедливее сказать, артист? Сколько ему надобно учиться, какое он должен иметь образование, какие сведения? . . . Следовательно: может ли Баранчеева при хороших способностях быть хорошею актрисою? Пусть другой рассудит, а не я. Заключи Рубенса, Гаррика, Дица в крепость, они не были бы славою своего отечества». Автор считает поэтому, что наши театральные критики слишком строги к Баранчеевой: «. . . осуждают ее тогда, когда бы надобно помочь» («Северный вестник», 1804, ч. I). Баранчеева, как и многие другие актеры, была крепостной помещика Алексея Емельяновича Столыпина, прадеда Лермонтова (М. И. П ы л я е в. Старая Москва, М., 1891, стр. 152; В. А. М а н у й л о в. Лермонтов. Изд. «Искусство», 1950, стр. 19).

142 (1). О неудобствах театра, устроенного в манеже дома Пашкова (впоследствии здание Румянцевского музея, а теперь — часть Всесоюзной Библиотеки им. В. И. Ленина), писал приехавший в это время из Петербурга балетмейстер И. И. Вальберх: «. . . мы принуждены будем танцовать в гнусном сарае, который тесен, холоден, одним словом имеет все мерзкие достоинства» («Из архива балетмейстера», 1948, стр. 83).

142 (2). Цитата из стихотворения Жуковского «К человеку» (1801 г.); в подлиннике: «Игралище судьбы».

143 (1). Захар Алексеевич Буринский — поэт и переводчик, служил в Московском университете в звании магистра словесности. Н. И. Греч говорит о Буринском в своей «Учебной книге русской словесности» (1844, ч. IV, стр. 326): «Буринский, молодой писатель с большим талантом, переводчик Виргилия, умер слишком рано для упрочения своей славы». Белинский в статье «Русская литература в 1841 году» называет имя Буринского рядом с Катениным, Пниным, Шатровым, Горчаковым. Стихотворение «Поэзия», прославляющее Александра I, вышло отдельным изданием в 1802 г., с эпиграфом из Карамзина: «Поэзии сердца́, все чувства — все подвластно».

143 (2). Захар Аникеевич Горюшкин в юности служил подьячим, самоучкой приобрел философские, юридические и исторические познания и с 1786 г. стал преподавать практическое законоведение в Московском университете. И. М. Снегирев вспоминает о лекциях Горюшкина: «Своим лекциям он давал драматическую форму: класс его представлял присутствие, где производился суд по законному порядку. Из студентов и учеников избирались наставником председатели, судьи, секретари и т. д. Изданное им сочинение в трех частях 1807 и 1815 годов «Описание судебных действий» замечательно не только в юридическом, но и в археологическом отношении <. . .>. Он едва ли не первый у нас показал источник юриспруденции в нравах, обычаях и пословицах русского народа» («Русский архив», 1866, стр. 759).

143 (3) Франц Морелли — один из членов целой семьи венецианских танцовщиков, переехавший в Москву; с 1782 г. он стал балетмейстером в Петровском театре Маддокса, впоследствии был учителем танцев в Московском университете. О нем вспоминает Е. Ф. Тимковский, учившийся в эти же годы в Московском университете: «Наш танцмейстер Морелли, старинный служитель московской Терпсихоры, под свинцовою тяжестью шестидесяти или более лет, очень медленно таскает, бывало, хрупкие свои ноги и томит юношеский дух всего более павлиньими менуэтами. Такой учитель погашал самую пылкую страсть к танцам, а под конец сделался игрушкою более смелых учеников и студентов, которые в быстром вальсе, как некие вакханки, не раз хором восклицали под такт музыки: «а у Морелли ноги подгорели!» («Киевская старина», 1894, апрель, стр. 2; ср.: Д. Н. Свербеев (Воспоминания, 1899, т. I, стр. 105). Подробности о Морелли — в статье Ю. И. Слонимского «Рождение московского балета» (в кн.: А. П. Глушковский. Воспоминания, 1940).

143 (4). Стихотворение Мерзлякова «Благость» напечатано в «Вестнике Европы» (1811, № 17, стр. 12; см. «Стихотворения», 1867, ч. II, стр. 589).

148 (1). В «Московских ведомостях» 1805—1806 гг. печатались объявления Робертсона о показываемых им «опытах». Так, в № 1 (3 января 1806 г.) напечатано: «Сегодня и всякий день, в 6 часов пополудни, г. Робертсон показывать будет гидравлические опыты и кинетозографию; причем представлены будут: мост Сент-Мартенский в Швейцарии, Барромейские острова, восхождение луны, Тулонская гавань и проч». В № 16 (24 февраля 1806 г.): «К и н е т о з о г р а ф и я. Г. Робертсон имеет честь известить, что представление кинетозографии вскоре прекратится; он приглашает почтенных особ, коим еще неизвестны представления механических картин, его удостоить своим присутствием. Он продолжает представлять бурю на открытом море, со всеми случайностями кораблекрушения; сия картина ныне доведена до своего совершенства. Гидравлические эксперименты над водою и огнем будут представлены сегодня, завтра, в понедельник в последний раз, против театра, на Петровке, в $6^1/_2$ ч. пополудни; залы натоплены до 12 градусов теплоты». Жихарев описывает свои впечатления от «кинетозографии» и «фантасмагории», виденных им 29 декабря 1805 г. По объявлениям в «Московских ведомостях» видно, что «фантасмагорию» Робертсон начал показывать только в марте 1806 г. В № 19 (7 марта) напечатано: «Ф а н т а с м а г о р и я. Новые эксперименты составятся из приведений удивительных и всяких предметов, могущих приводить зрение и воображение в заблуждение. Сии привидения, за кои г. Робертсон во Франции был, как изобретатель, снабден исключительною привилегиею, имеют ту цель, чтоб доказать, как далеко должна простираться уверенность наша во всем том, что̀ представляется нашему зрению, слуху, а наипаче нашему воображению. На сии эксперименты принимается подписка для получения мест заблаговременно». Руководствуясь такого рода «научными» целями, этот ловкий англичанин объявлял, что покажет при помощи электрической силы и гальванизма: жертвования Амуру, искушения пустынника, микромегасов, окровавленную монахиню, адмирала Нельсона, Фридерика II и проч. Надо думать, что Жихарев соединил под одной датой (30 декабря 1805 г.) два разных представления. Как видно из дальнейших объявлений, Робертсон занимался также полетами («воздушными путешествиями») на шаре с парашютом. О нем упоминается в стихотворении И. М. Долгорукова «Морфею»:

О, если б так, как Робертсон,
Куда задумал, шар направил,
Направить мог и я свой сон, —
В Москву б сейчас себя поставил!

(Сочинения, 1849, I, стр. 251).

Осенью 1803 г. Робертсон показывал в Петербурге какие-то гидравлические фокусы. С. Н. Марин писал М. С. Воронцову: «Известный Робертсон при-

ехал к нам и взял на себя труд за 60 рублей в пять сеансов учить людей чудесам; вчерась был я там с чужим билетом и видел фонтаны, ибо вчерась говорил он о воде; фонтаны нам и большие известны, а он приехал с маленькими. Мне очень было досадно, что он думает быть в Лапландии и утешает нас штучками с булевару; но мы сами виноваты: всякий, имеющий чужеземную фамилию, может делать из нас что хочет. Я кланяюсь г-ну Робертсону, и нога моя у него не будет» («Летописи», кн. 10, 1948, стр. 294).

148 (2). И. А. Загряжский (родной дед Н. Н. Пушкиной-Гончаровой) «знаменит» тем, что был одним из «любимцев» Потемкина, и тем, что, бесчинствуя в своем полку и в имении, не слушался никаких властей. Державина, в бытность его тамбовским губернатором, Загряжский вызвал на дуэль. Село Кореян (или Знаменское), родовое имение Загряжских, находилось в 30 верстах от Тамбова. Младшая дочь Загряжского, Наталья Ивановна, была матерью жены Пушкина.

153 (1). Начало басни Лафонтена «Два петуха» («Les deux coqs»).

155 (1). «Чужой толк» — сатира И. И. Дмитриева на одописцев. Оды на победы он называет «реляциями в стихах», а об одах на праздники и о прочих говорит:

Тут найдешь то, чего б нехитрому уму
Не выдумать и ввек: зари багряны персты,
И райский крин, и Феб, и небеса отверсты!
Так громко, высоко!.. а нет, не веселит
И сердца, так сказать, ничуть не шевелит!

155 (2). «Тереза и Фальдони, или Письма двух любовников, живших в Лионе» — роман французского писателя Леонара (Léonard Nicolas-Germain, 1744—1793; «Lettres de deux amants à Lyon»), переведенный М. Каченовским (СПб., 1804). В предисловии переводчика сказано, что имена героев «были для любимейших наших писателей украшением их сочинений»: «Смело можно сказать, что Тереза после Новой Элоизы, после Вертера займет первое место в библиотеке и сердце чувствительного читателя». Карамзин, описывая Лион, говорит: «Кто, будучи здесь, не вспомнит еще о других, несчастнейших любовниках, которые за двадцать лет перед сим умертвили себя в Лионе?» Далее рассказан сюжет этого романа: «Италиянец, именем Фальдони, прекрасный, добрый юноша, обогащенный лучшими дарами природы, любил Терезу и был любим ею. Уж приближился тот счастливый день, в который, с общего согласия родителей, надлежало им соединиться браком; но жестокий рок не хотел их счастия. Молодой италиянец каким-то случаем повредил себе главную пульсовую жилу, от чего произошла неизлечимая болезнь. Отец Терезин, боясь выдать дочь свою за такого человека, который может умереть в самый день брака, решился отказать несчастному Фальдони; но сей отказ еще более воспламенил любовников и, потеряв надежду соединиться в объятиях законной любви, они положили

соединиться в хладных объятиях смерти. Не далеко от Лиона, в каштановой роще, построен сельский храм, богу милосердия посвященный и рукою греческого искусства украшенный: туда пришел бледный Фальдони и ожидал Терезы. Скоро явилась она во всем сиянии красоты своей, в белом кисейном платье, которое шито было к свадьбе, и с розовым венком на темнорусых волосах. Любовники упали перед алтарем на колени, и — приставили к сердцам своим пистолеты, обвитые алыми лентами; взглянули друг на друга, — поцеловались — и сей огненный поцелуй был знаком смерти — выстрел раздался — и они упали обнимая друг друга; и кровь их смешалась на мраморном помосте» («Письма русского путешественника», 1848, стр. 425). Ниже, в письме из Парижа, Карамзин изложил в стихах один «печальный анекдот» под заглавием «Алина»; здесь, при описании старинного храма, он снова вспомнил героев романа Леонара:

Там древность божеству молилась;
Там после, в наши времена,
Кровь двух любовников струилась:
Известны свету имена
Фальдони, нежныя Терезы;
Они жить вместе не могли
И смерть разлуке предпочли.

156 (1). Этот романс Д. А. Кавелина взят Толстым в текст «Войны и мира» (т. I, ч. I, гл. XX); сохранена даже разрядка в строках 3 и 4.

159 (1). Лев Дмитриевич Измайлов — богатый рязанский помещик-самодур, прославившийся своим своевольством. В 1803—1806 гг. был предводителем дворянства рязанской губ., в 1806 г. сформировал рязанское ополчение (см. о нем в книге: С. Т. Словутинский. Генерал Измайлов и его дворня. Отрывки из воспоминаний. «Academia», 1937).

159 (2). Пастор Гейдеке (Heideke) издавал в 1805 г. выходивший в Риге журнал «Русский Меркурий» («Russicher Merkur»), с эпиграфом из Тацита: «Редки счастливые времена, когда позволено чувствовать то, что хочется, и говорить о том, что чувствуешь». На 6-й книжке журнал был закрыт. В статье о немецких актерах в Москве (кн. 2) Гейдеке отозвался отрицательно как об игре Штейнсберга (в пьесе Коцебу «Бездумие»), так и о его пьесе «Хорошее настроение».

161 (1). Это стих из «Генриады» Вольтера (песнь I, стих 31).

164 (1). Григорий Максимович Походяшин — масон-мартинист, друг Н. И. Новикова, пожертвовавший на его «Типографическую компанию» и на разные благотворительные дела все свое огромное состояние. К словам Жихарева о том, что Петр Иванович (Богданов) испугался, узнав, что он был у Походяшина, П. И. Бартенев сделал примечание: «Походяшин, щедротами которого некогда воспользовался Новиков для своих масонских целей, еще продолжал находиться, вероятно, под надзором полиции».

165 (¹). Арисия (Aricie) — персонаж из трагедии Расина «Федра».

166 (¹). Стихотворение Жуковского «К поэзии» (1805 г.), процитированное не вполне точно.

166 (²). «Раздался звук. . . в Новегороде!» — начало повести Карамзина «Марфа Посадница, или покорение Новгорода» (1803 г.).

«Безмолвные дубравы. . . сокройте!. . .» — первые строки отрывка Жуковского «Вадим Новгородский» (1803 г.).

168 (¹). Впервые это четверостишие («На Багратиона») было напечатано в 1806 г. крупным шрифтом на отдельных листах; в 1818 г. оно появилось в журнале «Благонамеренный».

169 (¹). «Провинциал» процитировал начало шуточной оды, сочиненной не Д. И. Хвостовым (сенатором), а А. С. Хвостовым. Его шуточная «Ода», начало которой приведено в записи, была напечатана в журнале «Собеседник любителей российского слова» (1783, ч. X, стр. 164) со следующим письмом автора: «Из Крыма от 1 декабря 1783 года. Господа издатели „Собеседника любителей российского слова“. Некоторый из приятелей и товарищей моих сочинил несколько лет тому назад оду, которая еще никогда не была напечатана, хотя той чести, по мнению многих и достойна. Препровождая к вам оную, покорно прошу поместить ее в вашем издании и тем одолжить вашего покорного слугу и читателя, который именуется «Молодой служивый».

173 (¹). Статья пастора Гейдеке о Карамзине («Karamsin») напечатана в журнале «Русский Меркурий» («Russischer Merkur»), Рига, 1805, кн. 2, стр. 49—64. Она написана в защиту Карамзина от критических нападок «Северного вестника». Излагая эту статью в записи от 2 февраля, Жихарев ошибся, назвав издателем «Северного вестника» Макарова вместо Мартынова. В связи с этим в «Москвитянине» (1853, № 10, отд. XIII, стр. 113) была помещена заметка П. Пекарского, в которой говорится: «Северный вестник издавался в Петербурге известным в свое время знатоком и переводчиком греческих писателей М а р т ы н о в ы м, который действительно не благоволил к Н. М. Карамзину. М а к а р о в же, напротив того, был ревностным поклонником и даже подражателем историографа». Другая ошибка, тоже отмеченная Пекарским (годы издания «Московского журнала» не 1797—1799, а 1791—1792), была сделана в статье Гейдеке (очевидно — опечатка) и повторена Жихаревым. Мы внесли в текст Жихарева указанные исправления.

175 (¹). Слова Вольтера в «Рассуждениях о человеке»(«Discours sur l'homme», VI); «Средство наскучить — говорить все».

175 (²). Цитата из «Понтийских писем» Овидия («Ex Ponto»; кн. III, 2, стих 30): «Лишь бы читало меня памятливое потомство».

175 (³). Речь идет о бале у графа А. Г. Орлова, куда Жихарев поехал с с Е. А. Муромцевой (см. запись от 26 января 1806 г.).

177 (¹). Часть этой записи (со слов «Брянцев сказывал» до следующего абзаца) появилась впервые в отдельном издании 1859 г.; в «Москвитянине» этого

куска нет, вероятно по цензурным причинам. В этой записи Х. А. Чеботарев назван «покойным», хотя на самом деле он умер только в 1815 г. Эта странная ошибка, происшедшая, очевидно, в результате позднейших вставок и переделок, повторена в записях от 15 апреля 1806 г. и 18 января 1807 г. Интересно, что в списке живых членов Российской академии (запись от 18 марта 1807 г.) есть имя Чеботарева. М. Н. Лонгинов подчеркнул в своем экземпляре издания 1859 г. слово «покойного» и на поле написал: «Умер 26 июля 1815, т. е., почти 10 лет позже. О, вранье!» (Библиотека Лонгинова в Пушкинском Доме, шифр Ло. 27. II. 23, стр. 297).

177 (2). «Фелиция Вильмар» — роман французского писателя Пьера Бланшара (Blanchard — «Félicie Vilmard». Paris, an VI, 3 vol.). Полное заглавие русского издания: «Фелиция Вильмар, или Изображение человеческой жизни, роман г-на Бланшарда. Перевел с французского Андрей Чеботарев. Москва, 1805». В предисловии («От переводчика») сказано: «Прекрасное нравоучение, заключающееся в самых привлекательных картинах частной жизни, изображенных в сем романе, побудило меня к переводу его на русский язык. Переведши первую часть, за разными хлопотами по должности моей, не мог я продолжать труда сего далее, и потому господин Кошанский принял на себя перевод остальных двух частей. Я употребил все старание, чтоб удержать красоту и силу подлинника на нашем языке. Оставляю знатокам русского слова судить, успел ли я в своем намерении».

178 (1). Мнение «иностранцев» о Чеботареве взято Жихаревым из журнала «Русский Меркурий» («Russischer Merkur», Riga, 1805, III, стр. 165).

178 (2). Далее следует, как бы в виде приложения к первой фразе записи, сравнительная ведомость о ценах на жизненные припасы в Иркутске и Москве; источник этой ведомости — журнал «Русский Меркурий» («Russischer Merkur», Riga, 1805, II, стр. 159).

181 (1). Цитата из оды Державина «На возвращение графа Зубова из Парижа» (1797 г.). После смерти Екатерины II В. А. Зубов, воевавший в Персии, был отозван и впал в немилость.

181 (2). Часть текста (от слов «подарить вновь выбранному исправнику» до слов «напоить мертвецки пьяными») отсутствовала по цензурным причинам в «Москвитянине» (там не было всего куска со слов «Вот каков был Зубов» до конца этой записи) и в изданиях 1859 и 1890 гг. («Русского архива»); мы берем этот текст из экземпляра Соболевского, где он вписан рукой С. А. Соболевского по рукописи Жихарева, принадлежавшей М. П. Погодину (см. выше в статье «Источники текста»). В соответствии с этим мы берем ниже из того же источника слова: «Исправник лошадей все-таки взял» (Библиотека Лонгинова в Пушкинском Доме, шифр Ло. 34, I, 1). Эпизод с исправником рассказан также в книге С. Т. Словутинского «Генерал Измайлов и его дворня. Отрывки из воспоминаний» («Academia», 1937, стр. 23—24).

182 (1). Ф. Любий, Е. Гарий и И. В. Попов были владельцами типографии Московского университета в начале XIX в.; у них в эти годы печатались «Московские ведомости», журнал «Вестник Европы» (Карамзина) и пр. Их собственные издания были невысокого качества. Характерно, что Иван Иванович Перепенко (в повести Гоголя «О том, как поссорился. . .») «читает книжку, печатанную у Любия, Гария и Попова (названия ее Иван Иванович не помнит, потому что девка уже очень давно оторвала верхнюю часть заглавного листка, забавляя дитя)».

183 (1). Имя пастора Гейдеке появилось в конце этой записи недаром: она составлена из заметки о книжной торговле в России, напечатанной в его журнале «Русский Меркурий» («Russischer Merkur», Riga, 1805, II, стр. 163). Запись Жихарева представляет собой почти дословный перевод этой заметки.

183 (2). В издании 1859 г. слова «ни изувером» отсутствуют; восстанавливаем их по «Москвитянину», считая этот пропуск типографской погрешностью.

183 (3). Слова «жариться на решетке св. Лаврентия» были в рукописи [как это видно из экземпляра Соболевского, хранящегося в библиотеке Института русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом): Ло. 34. I, 1]. В «Москвитянине» эти слова (очевидно, по цензурным причинам) заменены словом «мучиться». В издании 1859 г. Жихарев, повидимому, хотел восстановить рукописный текст (как он сделал это и в других случаях), но цензура не разрешила (святотатственное применение житийного эпизода), вследствие чего в этом издании отсутствует вся фраза, начиная со слов «но знаю также». В издании «Русского архива» (1890 г.) взято по рукописи. Св. Лаврентий — римский архидиакон, сожженный на железной решетке в 258 г. (при императоре Валериане); об этом говорится в Четьих-Минеях под датой 10 августа.

184 (1). Эта запись — перевод сообщения, напечатанного пастором Гейдеке в его журнале «Русский Меркурий» («Russischer Merkur», Riga, 1805, II, стр. 166), в том же номере, где напечатана его статья о Карамзине (ср. запись от 31 января 1806 г.). Пока журнал дошел до Жихарева, сообщение о портретах Емельянова уже сильно устарело; Ростопчин писал об этом своему другу П. Д. Цицианову 25 октября 1804 г.: «Посылаю к тебе четыре портрета Емельянова. Я нашел, что его подвиг столь важен, что достоин быть спасен от времени. Прошу один портрет дать графу Воронцову и князю Козловскому» (Н. С. Тихонравов, Соч., 1898, т. III, ч. 1, стр. 349). Генерал Спренгпортен — швед, перешедший в 1786 г. на русскую службу; при Павле I он был отправлен в Париж для размена пленных (см. «Русский архив», 1887, № 4).

189 (1). К словам «за какого-то Шереметева» М. Н. Лонгинов сделал пометку на своем экземпляре издания 1859 г.: «Графа Николая Алексеевича Шереметева» (Библиотека Лонгинова в Пушкинском Доме, шифр Ло. 27. II. 23, стр. 317).

190 (1). Эта запись — плод какого-то недоразумения и путаницы фактов: 1) журнал «Амур», задуманный М. Н. Макаровым как продолжение «Журнала для милых» (1804 г.), должен был появиться в 1805 или 1806 г., а не в 1807 г.,

как сказано у Жихарева; 2) кроатка Елизавета Трубесска, приехавшая в Россию со своей сестрой А. Безниной (по мужу) и принимавшая участие в журнале Макарова, не имела ничего общего с князьями Трубецкими. (См. «Русский архив», 1865, стлб. 1397 и 1460—1462; ср. примечание С. Я. Штрайха в книге: С. П. Жихарев. Записки современника, т. I, 1934, стр. 456). В экземпляре издания 1859 г., принадлежавшем М. Н. Лонгинову, слова о родстве Ю. Трубецкого с издательницей «Амура» отчеркнуты карандашом, а на поле рукой Лонгинова написано: «Вздор» (Библиотека Лонгинова в Пушкинском Доме, шифр. Ло. 27. II. 23, стр. 318).

190 (2). Сочувственный отзыв о Фрейтаг и об ее пьесе «Великодушная женщина» напечатан в той самой книжке «Русского Меркурия», где имеется статья Гейдеке о Карамзине (см. примечание к стр. 173[1]). Запись Жихарева сделана, повидимому, в ответ на этот отзыв.

191 (1). Роман Н. И. Гнедича озаглавлен так: «Дон Коррадо де Геррера, или Дух мщения и гордости гишпанцев. Российское сочинение» (М., типогр. Пл. Бекетова, 1803). В предисловии Гнедич говорит, что «основание» для истории Дон Коррада он взял «из одной повести, где сочинитель, желая сделать Коррада героем оной, знакомит его с читателем так, как он знаком с жителями Луны, и, выставляя дела его, показывает одну только тень их, сказав между прочим, что Дон Коррадо был живою гробницею, пожирающею человечество». Цель Гнедича иная: «Приступая к сочинению сей повести, я более всего старался выставить страшную картину страшных дел Коррада, окончивши которую я сам трепетал в душе моей. Также я почел нужным описать жизнь героя со всеми ее подробностями, которые нужны, для того чтобы удовлетворить всему любопытству читателя». За всеми ужасами и злодействами, описанными в этом романе, стоит идея борьбы с самовластием; недаром в предисловии говорится об испанском короле Филиппе II, «коего вся жизнь есть великая цепь злодейств. Бог, попустивший его царствовать 42 года, конечно, хотел показать, свое долготерпение. 50 000 невинных сделались жертвами суеверия и ярости Филипповой; 8 000 пали от руки его любимца, вельможи Альбы; и кто после этого усумнится о делах де Герреры?».

191 (2). Интерес Гнедича к «Телемахиде» Тредиаковского объясняется не тем, что он увлекался всем, выходившим «из обыкновенного порядка вещей», а другими причинами: «Можно почти наверное сказать, — пишет современный исследователь, — что чтение «Телемахиды» было связано у Гнедича с суждениями о ней Радищева» (И. Н. Медведева. Гнедич в общественной и литературной борьбе первой четверти XIX в. «Диссертация, 1949). Имеются в виду слова Радищева о «Телемахиде» в его «Путешествии из Петербурга в Москву» (глава «Тверь»). Радищев говорил, что, когда будет создан русский гекзаметр, тогда Тредиаковского «выроют из поросшей мхом могилы забвения». Это оправдалось на Гнедиче — переводчике «Илиады». К словам в «Путешествии» надо прибавить позднейшее сочинение Радищева о Тредиаковском — «Памятник дакти-

лохореическому витязю», появившееся в посмертном «Собрании» (1811 г.); заключительная часть этого сочинения называется «Апология Тилимахиды и шестистопов». Комментатор говорит: «Апология сыграла большую роль в известных спорах о гексаметре (а заодно и о «русском складе»), которые составляют такой важный эпизод в истории русской поэзии 1810—1820 гг. (Востоков, В. Капнист, Гнедич, Уваров и др.). А так как в этих спорах родился новый русский гексаметр XIX в., то «Апология» является связующим звеном между гексаметром Тредиаковского и гексаметрами Гнедича—Жуковского» (А. Н. Радищев, Полн. собр. соч., т. II, 1941, стр. 397).

191 (3). Жихарев ошибся: трагедия Шиллера «Валленштейн» состоит не из двух, а из трех частей (трилогия). Первая — «Лагерь Валленштейна», вторая — «Пикколомини», третья — «Смерть Валленштейна».

192 (1). Под «Макартнеем» Жихарев подразумевает, очевидно, следующее издание: «Путешествие во внутренность Китая и в Тартарию, учиненное в 1792-м, 1793-м, 1794-м годах лордом Макартнеем, посланником английского короля при китайском императоре, с присовокуплением реляции оного посольства, путешествия, предпринятого при сем случае кораблями Лионом и Индостаном, и весьма любопытных известий о гишпанских, португальских и голландских селениях, где сии корабли останавливались, выбранных из бумаг лорда Макартнея, сира Эразма Говера, начальника экспедиции, и других особ, принадлежащих к посольству, сиром Георгом Стонтоном, членом Лондонского королевского общества и полномочным министром при китайском императоре. С приложением ландкарт и эстампов. Перевод с французского» (М., типогр. Христофора Клаудия, чч. 1—4, 1804; ч. 4 — 1805). На обороте титульного листа: «С дозволения московской цензуры. 1801». В новом издании «Опыта российской библиографии «В. С. Сопикова (редакция, примечания, дополнения и указатель В. Н. Рогожина, СПб., 1905, ч. IV, стр. 161) эта книга значится под № 9215 со следующим дополнением: Перевел Иван Борн; см. Дела московской цензуры в Архиве старинных дел Московского губернского правления за 1800 г.». К этому следует добавить указание, сделанное В. Н. Орловым, что перевод этого «Путешествия» принадлежит не писателю И. М. Борну, а его однофамильцу Ивану Карловичу Борну («Поэты-радищевцы», под ред. В. Н. Орлова, изд. «Библиотека поэта», 1935, стр. 230); источник этих сведений не указан. Тамбовский губернатор А. Б. Палицын имел тоже ближайшее отношение к переводу и изданию этой книги; об этом сказано в том самом рижском журнале Гейдеке («Russischer Merkur», Riga, 1805, II, стр. 162), который Жихарев читал в это время (см. запись от 31 января): «По заказу генерала Александра Борисовича Палицына (бывшего тамбовского губернатора) „Путешествие в Китай“ Макартнея переведено на русский язык и отпечатано в Москве у Клаудия. Эстампы гравированы в Петербурге и, кажется, превосходно удались. Расходы, понесенные при этом г. Палицыным, составляют несколько тысяч рублей». Русский перевод «Путешествия» сделан с фран-

цузского издания: «Voyage dans l'intérieur de la Chine et en Tartarie. . . Traduit de l'anglais, avec des notes, par J. Castéra» (Paris, 1798). Здесь имеется «Предисловие переводчика», осуждающее Англию за ее коварную политику на Востоке; оно имеется и в русском издании, но с одной цензурной купюрой. Кастера пишет: «Я не буду входить в подробность тайных видов сего высокомерного посольства. Сколько ни старается сочинитель сего путешествия скрыть оные, однако легко можно их приметить; и чтоб в этом не иметь никакого сомнения, довольно того, чтоб знать политику лондонского кабинета. Покоривши всех владельцев, бывших данниками или соперниками великого Могола, он вздумал не поработить Китай оружием, а возложить на него оковы раззорительной торговли и присвоить себе все богатства оного. Опасение, свойственное китайцам, и гордость татарская сначала воспротивились таковым видам; но, может быть, они принуждены бы были уступить, если бы хитрость и соблазнительные для мандаринов уловки не были пресечены при самом начале». После этого выпущены следующие любопытные слова французского переводчика: «Добиться такой благородной победы — задача французских республиканцев: скоро они вступят в Лондон, чтобы отомстить за Европу и за Азию». Отметим, что Кастера выпустил в 1799 г. «Историю императрицы Екатерины II» (на французском языке). Что касается Макартнея, бывшего в 1764—1766 гг. посланником в России, то он издал книгу «Описание России» («An account of Russia», 1768; см.: Н. А. Белозерская. Россия в 60-х годах прошлого века. «Русская старина», 1887, № 9).

192 (2). Запись от 27 февраля 1806 г. дает право решительно утверждать, что, подготовляя рукопись дневников к печати, Жихарев не только делал «позднейшие примечания», но иногда дополнял и самый текст по позднейшим справочникам и книгам. Александр Борисович Палицын был, действительно, тамбовским губернатором и имел отношение к изданному в 1804—1805 гг. переводу «Путешествия лорда Макартнея в Китай» (см. предыдущее примечание); что же касается переводов Делиля, Жирардена, Руссо и Сен-Ламбера, а также стихотворного «Послания к Привете», то все это написал совсем другой Палицын — Александр Александрович (ум. в 1816 г.), харьковский помещик и литератор, возглавлявший в своей Поповке целый литературный кружок («Поповскую академию») и никогда не служивший в Тамбове. Желая сделать свою запись об А. Б. Палицыне более содержательной, Жихарев воспользовался книжной «росписью» Смирдина (1828 г.), где указаны переводы и произведения Александра Палицына — те самые (кроме «Путешествия» Макартнея), которые перечислены в записи Жихарева. Характерно, что перевод сочинения Вольтера «Естественный закон», сделанный тем же Палицыным (ср. в росписи Плавильщикова), но указанный у Смирдина без фамилии переводчика, не отмечен и в записи Жихарева. «Послание к Привете» было издано в 1807 г., а «Времена года» Сен-Ламбера и «Сады» Делиля — в 1814 г.; учитывая это, Жихарев решил написать, что видел эти произведения «в манускрип-

тах». Таким образом, из двух разных Палицыных у Жихарева получился один. Тот Палицын, который «затащил» к себе юного Жихарева «по старому знакомству с тамбовскими родными», был Александр Борисович, не переводивший французских писателей и не написавший «Послания к Привете», которое было издано А. А. Палицыным в Харькове в 1807 г. (см. перепечатку в «Литературном архиве, издаваемом П. А. Картавовым», октябрь 1902 г.). В конце этой своеобразной критической поэмы есть следующие автобиографические строки:

Вы, своды лиственны, под тенью шалаши,
Где чувствовал покой я тела и души!
Где мрачной участью от зависти скрывался
И неизвестностью на знатность не менялся;
Где Элоизы я мой список исправлял,
Где Сен-Ламберту я, Делилю подражал,
Сады и времена их слабо выражал.

194 (1) В «Москвитянине» весь кусок со слов «На что же тут ученье» до конца записи остался ненапечатанным; в изданиях 1859 г. и 1890 г. этот текст есть, но цитата из притчи Соломона отсутствует, очевидно по цензурным причинам. Мы берем ее из экземпляра Соболевского, хранящегося в Библиотеке Пушкинского Дома (шифр Ло. 34. I. 1).

197 (1). В авторизованной копии, сохранившейся в архиве Погодина (см. «Источники текста»), нет куска: «Конечно, автор мог бы сказать <. . .> Ай да толки». Нет этого куска и в тексте «Москвитянина»; он впервые появился в издании 1859 г. — пример позднейших вставок Жихарева.

198 (1). Запись от 4 марта 1806 г. послужила главным материалом для Толстого при описании обеда Багратиону («Война и мир», т. II, ч. I, глава III). При чтении корректур первого издания (1868 г.) П. И. Бартенев нашел некоторые фактические ошибки, об исправлении которых и сообщил Толстому: «Во 2-м листе второго тома я счел нужным вместо гр. Александра Уварова, коего не было, поставить Федора Петровича Уварова, приезжавшего в Москву с Багратионом. Вместо Николева, который не мог читать своих стихов в клубе, потому что был слепец, поставил просто сочинитель». Толстой ответил (в августе 1867 г.): «О Николеве и Балашове Александре я вычитал из записок современника Жихарева и потому сомневаюсь в справедливости вашего исправления». На деле Бартенев был прав: у Жихарева Николев не читает своих стихов, а что касается Балашова, то Бартенев писал не о нем, а об Уварове, которого, действительно, звали Федором Петровичем (у Жихарева — без имени и отчества).

199 (1). Жихарев ошибся: октавы, которые он приписал Штейнсбергу, на самом деле принадлежат пастору Гейдеке и напечатаны в его журнале «Russischer Merkur» (1805, № 2, стр. 115) под заглавием «Paraklysis», что значит

«Утешение». Авторство устанавливается примечанием редактора, в котором сказано: «Я написал однажды эти строфы для самого себя» и пр. В печатном тексте — 20 октав; в рукописи Жихарева (см. «Источники текста») процитированы первые пять, после чего сказано: «В таком духе выдержано все стихотворение, которого прекрасное и утешительное окончание, к стыду моему, не припомню; на днях спишу его» и т. д. Списать его Жихарев собирался, очевидно, из журнала «Russischer Merkur», который он читал в это время (ср. запись от 31 января 1806 г.).

201 (1). Современники вспоминают о Тончи как о необыкновенно даровитом и образованном человеке: «Поэт, мыслитель, живописец и музыкант, он представлялся на дальнем севере каким-то обломком эпохи возрождения», — говорит Н. Мельгунов. В Италии он был известен как поэт и главным своим призванием считал поэзию. Искусству живописи он научился сам по картинам Рафаэля. В 1801 г. он написал портрет Державина (см. у Жихарева стр. 281) в соответствии с желанием самого поэта: «В косматой шапке, скутав шубой» (см. стихотворение «Гончию» и обширный комментарий к нему в «Сочинениях» Державина, изд. Академии Наук, т. II, 1865, стр. 397—404). Под портретом Тончи написал латинское двустишие: «Правосудие изображено в виде скалы, пророческий дух — в румяном восходе, а сердце и честность — в белизне снега». При жизни Державина портрет стоял в зале его петербургского дома на Фонтанке.

203 (1). Яков Иванович Булгаков был чрезвычайным посланником и полномочным министром в Турции во время присоединения Крыма к России. В 1787 г. Турция потребовала возвращения Крыма и пересмотра всех трактатов с Россией, а Булгаков был посажен в крепость Едикуль («Семибашенный замок»), откуда он был освобожден в 1789 г. Во время заключения много переводил — в том числе «Путешествие молодого Анахарсиса» Бартелеми и «Всемирный путешественник» аббата де ла Порта. В записи от 16 октября 1806 г. Жихарев говорит, что «первой книгой гражданской печати», которую он читал, была «Свет зримый в лицах» (И. Хмельницкого).

203 (2). Цитата из стихотворения Карамзина «На разлуку с П**» (т. е. с другом А. А. Петровым), напечатанного впервые в 1792 г. Эти две строки были поставлены эпиграфом к «Письмам русского путешественника» в первом отдельном издании (1797 г.).

205 (1). В журнале «Русский Меркурий» («Russischer Merkur»; Рига, 1805, кн. 5, стр. 292—297) напечатано письмо А. А. Чесменского к издателю под заглавием: «Машинная фабрика А. Чесменского в Садках, в пяти верстах от Москвы». В этом письме Чесменский говорит: «Машина, требующая только двух людей, а производящая работу за четверых, есть вещь очень выгодная, потому что без нее этих четырех человек надо с юных лет растить, кормить, воспитывать и учить. Машина, освобождающая меня от них, представляет собою истинное благодеяние, в особенности для бедной людьми страны. С другой стороны, так

как земледелие, служащее основой для благосостояния моей родины, приобретает сейчас новый вид и многие хозяева пользуются иностранными орудиями, которые они за большие деньги выписывают из заграницы, не зная, что получат, то я счел полезным устроить такую фабрику машин. Здесь покупатель, по крайней мере, видит, чтó он покупает или заказывает, и может сам внести свои улучшения. Сейчас имеются 150 машин — частью в готовом виде, частью в моделях, частью еще в чертежах». Далее перечисляются виды этих сельскохозяйственных орудий: молотилка, машина для очистки зерна, маслобойка, большой плуг, машина для стирки белья, машина для производства гвоздей и проч. Под статьей — подпись: «Садки, 14 февраля 1805 г. А. Чесменский». Александр Александрович Чесменский — побочный сын графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского.

205 (²). Николай Федорович Грамматин — филолог и поэт (сборник «Досуги», 1811 г.); ему принадлежит критическое рассуждение о «Слове о полку Игореве» (1822 г.), где он сделал попытку разъяснить темные слова и выражения.

207 (¹). Повторена ошибка, отмеченная выше (см. примечание к стр. 177¹). В 1805 г. Х. А. Чеботарев ушел с поста ректора Московского университета, а умер он только в 1815 г. Эта ошибка подтверждает наличие позднейшей правки: слова «и заупокойную чашу» и «скончавшегося в начале прошлого года» были, очевидно, вписаны на основании неверной справки. Начало этой ошибки положено было еще в письме к М. П. Погодину (30 декабря 1852 г.), где Жихарев перечисляет выброшенные С. С. Борятинским из «Дневника студента» куски и в том числе «описание кончины и похорон Х. А. Чеботарева».

208 (¹). После этих слов в «Москвитянине» были приведены стихи, которые поет артист Короп в роли студента-жениха — смесь немецкого с испорченным латинским:

Ich frag's obsequialiter,
Das heisst: ergebnermassen,
Ob sie heut nocturnaliter
Geschlafen wie ein Katz?
Und ob sie mich totaliter,
Das heisst: abscheulich hassen?
Dies zu erfragen wünscht ich sehr
Von ihren Rosen-Mund.

То есть: «Я спрашиваю obsequialiter, т. е. почтительно, спали ли вы сегодня nocturnaliter (ночью), как кошка? И ненавидите ли вы меня totaliter (полностью), т. е. до отвращения? Я бы очень хотел добиться ответа на это из вашего розового ротика».

В издании 1859 г. этих стихов уже нет. В записи от 14—20 апреля 1807 г. приведены первые четыре строки этой áрии.

210 (1). В «Москвитянине» (1854, № 18, стр. 134) были еще две строфы:

«О как доселе был ужасен жребий твой, Луиза, ты бедная жертва неистовых сластолюбцев! Тебя, прекрасное дитя природы и в цвете лет твоих, они едва не обратили в гнусное чудовище.

«Но как бы ни был ужасен твой жребий, он может быть еще ужаснее, если ты когда-нибудь преградишь путь советам любви и дружбы к твоему сердцу. Прочь буйство страсти! Наступило время повиновения долгу, и я слышу: звучит уже час примирения твоего с богом и с собою».

211 (1). Примечание П. Бартенева гласит: «Этот дом, ныне Румянцевский музей, изящнейшее здание в России, принадлежал в 1793 г. гвардии капитан-поручику Петру Егоровичу Пашкову. Имя гениального зодчего и время постройки нам неизвестны». Строителем этого дома был замечательный русский архитектор В. И. Баженов; постройка была закончена в 1787 г. Теперь это здание принадлежит Всесоюзной Библиотеке им В. И. Ленина. (См.: В. Эйнгорн. К 150-летию существования здания Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина, 1936).

212 (1). «Лиза, или следствие гордости и обольщения» (1803 г.) — драма В. М. Федорова, переделанная им из повести Карамзина «Бедная Лиза». Конец драмы благополучный: Лиза оказывается внучкой богатого дворянина и выходит замуж за Эраста. «Наталья, боярская дочь» — трагедия, переделанная С. Н. Глинкой из одноименной повести Карамзина.

215 (1). В «Москвитянине» (1854, № 18, стр. 140) после этого следует:

«Вот стихи к портрету А., которые ты иметь хотел.

Когда смотрю на образ твой прекрасный,
Мне кажется, смотрю я в небеса:
Так все в его чертах спокойно и согласно,
Так на челе его светло и ясно,
И так в очах его краса.

* * *

Не прелести земной твой лик изображенье,
Он не волнует чувств и сердца не томит;
Нет, он невольное внушает умиленье,
Молитву тайную, коленопреклоненье
И мысли смертного к бессмертию стремит».

«А.» — это Д. Е. Альбини, о которой дальше и идет речь. В издании 1859 г. это стихотворение (очевидно, собственного сочинения) отсутствует: надо полагать, что оно показалось самому автору слишком слабым.

217 (1). Слова «выдана была» берем по корректуре; в «Москвитянине» и издании 1859 г. — «вышла замуж» (цензура).

217 (2). В издании 1859 г. нет слов: «к славной в то время прелестнице Танюше» (и дальше — «к ней»); считаем за цензурную купюру и восстанавливаем по «Москвитянину».

218 (1). Слова: «Девица рослая. . . до самых пят» есть в «Москвитянине», но отсутствуют в издании 1859 г.; считаем за цензурную купюру и восстанавливаем по «Москвитянину».

218 (2). Это «рассуждение» Христиана Шлецера было напечатано в журнале пастора Гейдеке «Russischer Merkur» (Riga, 1805, V, стр. 169—234) под названием «Ueber Ursachen der im russischen Reiche immer höher steigenden Theurung der Landesprodukte und die Mittel solche wiederum zu verwinden. Von Christian von Schlözer».

225 (1). Копия с дарственной записи не была напечатана ни в «Москвитянине», ни в издании 1859 г.

227 (1). Об опере «Добрые солдаты» в «Драматическом словаре» 1787 г. (переиздан А. С. Сувориным в 1880 г.) сказано: «Опера комическая, сочиненная на российском языке г. Херасковым. Сия опера, наполненна лучшими хорами к чести сочинителя, музыка г. Раупаха, похваляема была довольно публикою. Играна была много раз на Санктпетербургском и Московском театрах. Напечатана в Университетской типографии у г. Новикова в 1782 г.». Герман Раупах поселился в 1755 г. в России и был капельмейстером в придворном оркестре. (См.: История русской музыки в нотных образцах. Под ред. С. Л. Гинзбурга, т. I, 1940, сцена из оперы «Добрые солдаты» и краткое ее содержание).

228 (1). Слова «или посредницу» берем по корректуре (цензура).

230 (1). Вместо слов «что известный по преданию <. . .> то в молодых» в «Москвитянине» было: «что известный по преданию так называемый Ев. . . клуб никогда в Москве не существовал, но между тем он признавался, что если не было никакого подобного тайного общества, то в молодых»; в издании 1859 г. осталось только «что в молодых». Мы восстанавливаем полный текст по корректуре, в которой сделан цензурный вычерк.

230 (2). В «Москвитянине» и в издании 1859 г. это место пострадало от цензуры: «Алферьев рассказывал также много кой-чего об иллюминаторах-алхимиках, которых секта была действительно вредна» и т. д. Слово «действительно» в этом тексте кажется лишним. Восстанавливаем по корректуре, в которой сделан вычерк.

231 (1). В «Москвитянине» и в издании 1859 г. отсутствовали слова «и помню <. . .> виновником»; мы восстанавливаем их по корректуре, в которой произведен цензурный вычерк.

233 (1). С. Я. Штрайх указал, что слова о Н. С. Титове и его театре взяты Жихаревым из статьи П. Н. Арапова «Очерк постепенного хода и усовершенствования театра» (П. Арапов и А. Роппольт. Драматический альбом, 1850, стр. 4). Проставленная у Арапова дата антрепризы Титова (1776) — несомненная опечатка: антреприза Титова продолжалась с 1766 по 1769 годы

[комментарий к «Запискам современника» в издании 1934 г. (т. I, стр. 460)]. В «Русском вестнике» 1808 г. (№ 7, стр. 109—124) напечатана статья А. Малиновского «О Российском театре», в которой говорится: «В 1767 Николай Сергеевич Титов принял на себя восстановление сего упадшего театра; приискав заранее способных людей, он испросил именной указ на помещение их в актеры: тогда-то приняты были г. Померанцев, Калиграф, Базилевич, Ожогин и другие. Представление происходило на деревянном Головинском театре. . . От г-на Титова московский театр перешел к италиянцу Бельмонтию, потом достался князь Петру Васильевичу Урусову, а от него уступлен был англичанину Медоксу».

239 (¹). В «Отечественных записках» (1855, № 4, стр. 362) этих слов нет; в корректуре «Москвитянина», заготовленной для № 22, 1854 г., они подчеркнуты красными чернилами с отметкой на поле.

240 (¹). Слова «в чем состоит <. . .> моложе Беклешова» в «Отечественных записках» отсутствуют; берем их по корректуре «Москвитянина» (заготовленной для № 22, 1854 г.), где они подчеркнуты красными чернилами с отметкой на поле.

240 (²). В «Отечественных записках» было: «жертвами обмана; только случаи эти»; восстанавливаем по корректуре «Москвитянина» (заготовленной для № 22, 1854 г.), где это мéсто подчеркнуто красными чернилами с отметкой на поле.

245 (¹). Франческо Кампорези (Франц Иванович Кампорезий) — московский архитектор, строивший на Тверской ротонду для панорамы Парижа.

246 (¹). В «Отечественных записках» (1855, № 4, стр. 367) есть авторское примечание: «См. Дневник студента. „Москвитянин“ 1854 г., № 19, дневник 30 июля». Имеется в виду последняя запись в «Дневнике студента» (от 30 июля 1806 г.), в которой история о Перрене прерывается сообщением об определении на службу и обещанием скоро досказать «окончание перреновых плутней».

250 (¹). В «Отечественных записках» нет слов «приехал в присутствие, имея вместо шляпы ночной горшок в руке»; берем по корректуре «Москвитянина», заготовленной для № 22, 1854 г., где произведен цензурный вычерк.

250 (²). Слова: «доходившем до сената» отсутствуют в «Отечественных записках»; берем их по корректуре «Москвитянина».

250 (³). В «Отечественных записках» было: «женившихся в один день и час на бабушке и внучке. Эти Михины» и т. д.; восстанавливаем по корректуре «Москвитянина».

250 (⁴). В «Отечественных записках» текст смягчен («со всеми ее подробностями», «легко сходить», «прежняя их жизнь»); восстанавливаем по корректуре «Москвитянина», где отмечен весь кусок со слов «Алфимов подтвердил».

250 (⁵). Слова «которому приписали <. . .> неистовства народного» отсутствуют в «Отечественных записках»; берем по корректуре «Москвитянина».

251 ([1]). В «Отечественных записках» нет слова «официальной»; восстанавливаем по корректуре «Москвитянина».

251 ([2]). В оранжереях А. К. Разумовского были редчайшие ботанические коллекции, собранные учеными ботаниками, которые изъездили для их пополнения Сибирь, Урал и Кавказ. Подробности см. в книге А. Васильчикова «Семейство Разумовских» (т. 2, 1880, стр. 43).

251 ([3]). В «Отечественных записках» слово «духовник» отсутствует; восстанавливаем по корректуре «Москвитянина», где оно отмечено цензором.

251 ([4]). О докторе Фрез см. в «Записках» С. Н. Глинки (1895 г.), который называет его «корифеем тогдашних московских врачей» (стр. 199).

253 ([1]). Об этой книге см. примечание к стр. 76 [1].

260 ([1]). Иван Матвеевич Муравьев-Апостол — дипломат, писатель и переводчик; пьеса Шеридана «Школа злословия» в его переводе была поставлена на сцене Эрмитажного театра в 1793 г. «Кавалером при государе» (т. е. воспитателем Александра I) Муравьев-Апостол был в 1792—1796 гг. Три его сына (Матвей, Сергей и Ипполит) были декабристами.

260 ([2]). «Алхимист» — комедия в одном действии А. И. Клушина — была впервые представлена в Петербурге 13 июня 1793 г. Текст ее впервые опубликован в книге: «Русская комедия и комическая опера XVIII века» (ред. П. Н. Беркова, 1950). В этой комедии играют всего два актера, из которых второй играет семь ролей — в том числе престарелую кокетку Ветхокрасову. И. А. Крылов говорит в рецензии на эту пьесу: «Комедия сия в новом роде и есть первая, сочиненная на нашем языке <...>. Сей род комедий не иное что есть как забавная шутка, освобожденная от всех строгих правил театра и от самого правдоподобия <...>. Я уже сказал в примечании моем на комедию „Смех и горе“, что г. Клушин подает великую надежду к обогащению российского театра, и в этом согласятся со мною многие знатоки и любители российского театра. „Алхимист“ его принят с рукоплесканиями, и не часто можно видеть в театре такого стечения публики» (Полное собрание сочинений, т. I, 1945, стр. 405—407).

262 ([1]). Такой записки Екатерины II о французской революции, какую цитирует Жихарев, в печатных изданиях ее бумаг и записок нет. В собрании ее неизданных бумаг по вопросам внешней политики есть лист с заголовком (по-французски): «Тетради, содержащие мысли и советы, клонящиеся к восстановлению монархического правления и к защите христианской религии в королевстве Франции». Этот заголовок относится к целому собранию рукописей: «50 страниц в лист и не подлежащее учету количество мелких заметок, спешных набросков и отдельных листков, относящихся к тому же предмету, доказывают, до какой степени русская императрица была поглощена этим трудом и какое важное политическое значение она ему придавала» (Н. Голицын. Писатель Сенак де Мейан и Екатерина II. «Лит. наследство», вып. 33/34, 1939, стр. 58). Из всего этого собрания был опубликован только один документ: обширная записка «о мерах к восстановлению во Франции королевского правительства»

(«Русский архив», 1866, стр. 399—422). Сходная по мыслям с отрывком, напечатанным у Жихарева, она по тексту не совпадает с ним. Что касается Сегюра, то в его воспоминаниях нет ни слова о записке Екатерины.

264 (1). В «Отечественных записках» (1855, № 4, стр. 383) есть авторское примечание: «Василий Алексеевич Булов, отставной суфлер. См. Дневник студента. „Москвитянин“. 1853 г., дневник 23-го февраля». Имеется в виду запись от 23 февраля 1805 г., в которой первый раз говорится о В. А. Булове («дедушке»).

265 (1). Цитата из стихотворения Карамзина «Отставка» (1796 г.); в подлиннике — «меж ими».

265 (2). *Примечание П. И. Бартенева*: «Имя Сандунова как артиста немногим теперь известно; а Сандуновские бани до сих пор славятся в Москве!».

266 (1). По словам Ф. Ф. Вигеля, доктор Егор Егорович Эллизен был «великим мастером» масонской ложи «Петра к Истине»: «Сей добродетельный и ученый врач одарен был вторым зрением, с первого взгляда угадывал болезнь каждого; оттого все удачные его лечения» («Записки», 1892, ч. V, стр. 56).

267 (1). Ф. Ф. Вигель вспоминает о собраниях у Лабата в 1806 г.: «Число роялистов умножилось в Петербурге: не знаю, откуда они понаехали. Аустерлицкое наше поражение воскресило их надежды: первый неудачный опыт, по мнению их, ничего не значил, но они с радостию заметили, что русские на национальной чести видят пятно, которое горят желанием изгладить. . . Каждую неделю раза два или три собирались они во множестве у престарелого Лабата для совещаний и там со знаками всенижайшего уважения окружали графа Блакаса, тайного поверенного в делах французского претендента (т. е. Людовика XVIII), жившего тогда в Митаве» («Записки», 1892, ч. 11, стр. 213). В другом месте Вигель говорит об этих французских эмигрантах: «Между ними были большие чудаки: например, один лионский каноник, граф Монфокон, одной из самых знатных фамилий во Франции, который никогда не говорил о религии, всякий день бывал в театре, был весьма безграмотен, но в литературных спорах доходил до исступления, когда не хотели согласиться с его мнением, особливо когда трагика Кребильона не хотели признавать первым писателем в мире. Другой, некто шевалье де Ламотт, был ростом очень мал, тщедушен, чрезвычайно кос, лицо имел самое отвратительное и на довольно большом пространстве жестоко поражал всякое чувствительное обоняние, а между тем уверял, что ко вступлению в отборный полк, в котором до революции служил он капитаном, первыми условиями были молодечество и красота. Как духовное, так и светское лицо, как священник, так и кавалер, оба они торговали тогда винами, выписываемыми из Бордо» (там же, стр. 31—32).

270 (1). Иван Петрович Франк был профессором Геттингенского университета, а затем — директором Венской клиники, откуда в 1804 г. перешел в Виленский университет и затем в Петербургскую медико-хирургическую академию.

273 (1). 30 ноября 1806 г. был объявлен манифест о создании «милиции» (народного ополчения) в количестве 612 000 человек. Однако только пятую часть

этого ополчения удалось вооружить ружьями. Ф. Ф. Вигель говорит: «Зная, какое сильное действие производило имя Екатерины, как им одушевлялись еще все русские, в окружные начальники набраны все люди, при ней известные, ею уважаемые или употребляемые, и им подчинены генералы, военные губернские начальники. В Петербурге назначен окружным начальником граф Татищев, командовавший некогда гвардией, в Москву военный губернатор Тутолмин, в Курск граф Орлов-Чесменский, в Ригу Беклешов <. . .> в Казань князь Юрий Владимирович Долгорукий, в Смоленск князь Сергей Федорович Голицын, в Киев князь Александр Александрович Прозоровский <. . .>. Чтобы завлечь молодых людей гражданского ведомства в милицию, дан ей был красивый, щеголеватый мундир, и этот способ был отменно удачен, особливо в Москве, где все были уверены, что неприятелю никогда до нее не добраться» («Записки», 1892, ч. II, стр. 223).

276 (1). Николай Иванович Хмельницкий (сын писателя Ивана Парфеновича Хмельницкого) стал впоследствии известным водевилистом и переводчиком комедий Мольера («Школа женщин», «Тартюф»). «Зельмира» — трагедия французского драматурга Пьера де Беллуа (Belloy, 1727—1775), прожившего несколько лет в Петербурге. О Н. Ф. Эмине см. примечание к стр. 76 [2].

276 (2). В «Отечественных записках» (1855, № 4, стр. 394) есть авторское примечание: «См. дневник студента. „Москвитянин“ 1853 г., дневник 13 апреля». Здесь — ошибка или опечатка: о писательнице М. Е. Извековой говорится в записи не от 13, а от 18 апреля 1805 г.

276 (3). Цитата из стихотворения Державина «Лебедь» (1804 г.):

Вот тот летит, что, строя лиру,
Языком сердца говорил
И, проповедуя мир миру,
Себя всех счастьем веселил.

281 (1). Цитата из оды «К Фелице» Державина.

281 (2). Бюст Державина, изваянный в 1794 г. скульптором Рашет (профессором Петербургской академии художеств), находится в Библиотеке Казанского университета.

282 (1). «Граф Петр Васильич» — это министр просвещения Завадовский. В 1789 г. Державин написал ироническую оду «На счастие», в которой есть следующая строфа:

Жить буду в тереме богатом,
Возвышусь в чин и знатным браком
Горацию в родню причтусь;
Пером моим славно-школярным
Рассудка выше вознесусь
И, став тебе неблагодарным,

— Б е а т у с! брат мой, на волах
Собою сам поля орющий
Или стада свои пасущий! —
Я буду восклицать в пирах.

Вся эта строфа — сатира на П. В. Завадовского, который, по словам Державина, «быв в канцелярии графа Румянцева, прославился сочинением пышных от него реляций и педантическим слогом указа при издании учреждения о управлении губерний и прочими речами, от лица сената императрице говоренными. Он вошел в родство через брак к большим боярам и в роскошных пирах повторял часто известную оду Горация, которая начинается Б е а т у с, т. е. Б л а ж е н» («Сочинения», изд. Акад. Наук, т. III, 1866, стр. 626).

282 (2). Василий Михайлович Федоров — автор сентиментальных драм и нравоучительных комедий («Любовь и добродетель», «Клевета и невинность», «Благодетельный расточитель» и проч.). О столкновении Грибоедова с В. М. Федоровым на обеде у Н. И. Хмельницкого см. «Записки» П. А. Каратыгина (1929, т. I, стр. 222—224).

284 (1). Ср. в «Воспоминаниях старого театрала» (стр. 588—595) подробный сравнительный разбор игры Плавильщикова и Шушерина в роли Эдипа.

285 (1). Певица и артистка французской оперы в Петербурге Шевалье (рожд. Пуаро, жена балетмейстера) была, по всем признакам, тайным агентом, как многие наехавшие тогда в Россию французы. Ф. Ф. Вигель, восхищавшийся пением и красотой этой артистки, пишет: «Привязанность графа Кутайсова, женатого человека и отца семейства, к г-же Шевалье и щедрость его к ней казались многим весьма извинительными; но влияние ее на дела посредством сего временщика, продажное ее покровительство, раздача мест за деньги всех возмущали. Уверяли, будто Кутайсов ее любовью делился с господином своим (т. е. Павлом I), будто она была прислана сюда с секретными поручениями от Бонапарте, что́ подвержено сомнению, ибо он был еще в Египте, когда она в Россию приехала; но впоследствии, будучи уже первым консулом республики, мог употребить ее как тайного агента. Как бы то ни было, но она почиталась одною из сильных властей государственных» («Записки», 1928, I, 102). Н. И. Греч пишет: «Муж ее (балетмейстер) сидел в передней и докладывал о приходящих. Она принимала их, как королева. Одно слово ее Кутайсову, записочка Кутайсова к генералу-прокурору или к другому сановнику — и дело решалось» («Русский архив», 1866, стр. 726). Ее брат Огюст (Август Леонтьевич Пуаро) был в течение многих лет первым танцовщиком петербургской балетной труппы и пользовался широкой популярностью как исполнитель русской пляски (вместе с Е. И. Колосовой). Кроме того, он был ближайшим сотрудником балетмейстера И. И. Вальберха по созданию русского балета; в прошении Огюста об увольнении сказано, что «он поставил вместе с Вальберхом несколько балетов в 1812 г., и, когда никто не думал о театре, приноровлением сюжетов

своих ко времени и обстоятельствам принудил публику ходить в театр и поддерживал всеобщий восторг и любовь к отечеству» («Из архива балетмейстера», под ред. Ю. Слонимского, 1948, стр. 40).

287 (¹). Андрей Никифорович Воронихин, ученик архитекторов В. И. Баженова и М. Ф. Казакова, создал проект Казанского собора в 1800 г. «Подражанием собору св. Петра в Риме» называть этот проект неверно: таково было официальное задание, а на деле Воронихин дал новое и самостоятельное решение, основанное на традициях русской ампирной архитектуры. Что касается Михайловского замка, то его строил не Воронихин, а художник и архитектор Викентий Францевич Бренна (в 1797—1800 гг., по проекту В. И. Баженова).

287 (²). «Ossians und Sined's Lieder» (Вена, 1784—1792) — сборник, составленный немецким поэтом Синед (псевдоним, сделанный из фамилии Denis) из переводов поэм Оссиана и собственных стихотворений (6 томов). В томе IV (стр. 121—126) напечатано стихотворение: «Die Octobernacht. Eine alte Nachahmung Ossians» («Октябрьская ночь. Старинное подражание Оссиану»), послужившее основой для поэмы Жихарева «Октябрьская ночь, или барды».

290 (¹). В «Отечественных записках» (1855, № 4, стр. 406) есть авторское примечание: «См. Дневник студента. „Москвитянин" 1853 г., дневник 23 июня». Это опечатка: имеется в виду, очевидно, запись от 23 июля 1805 г., в которой первый раз говорится о живописце Т. Ф. Дурнове.

291 (¹). Цитата из оды Державина «На отправление в армию фельдмаршала графа Каменского» (1806 г.):

Оставший меч Екатерины,
Булат, обдержанный в боях, —
Каменский, ты полки орлины
Ведешь на брань, — и Галлу страх!

291 (²). Адмирал П. В. Чичагов говорит об этом внезапном «бегстве» М. Ф. Каменского: «В 1806 году фельдмаршал Каменский, назначенный императором Александром для начальствования над армиею против французов, был призван лишь за несколько дней до того, в который должно было последовать сражение, чтобы принять командование над войсками, организованными до такой степени на новый лад и до того противоположный всем его понятиям, которые он имел о них до того времени, что после тщетных усилий ознакомиться с новым положением дел, в виду неприятеля, он потерял голову и внезапно покинул армию, чтобы удалиться в свое поместье. Бенингсен, заменивший Каменского, был побиваем повсюду, несмотря на свои победоносные бюллетени. Наконец, сомнительное сражение при Эйлау, весьма решительное — под Фридландом и свидание в Тильзите, бывшее его последствием, прекратили эту войну, весьма бедственную для России» («Русская старина», 1886, № 9). Совсем иное освещение поступку Каменского дает в своих «Записках» (1928, стр. 271—272) Ф. Вигель: «Граф Каменский, последний меч Екатерины, видно, слишком долго ле-

жал в ножнах и оттого позаржавел. Гемороидальные ли припадки, старость ли или (следствие обоих) страх подействовали на него, только он вдруг лишился рассудка. Едва успел принять он начальство над армией, как внезапно отказался от него накануне первого сражения с Наполеоном и написал неблагопристойное, сумасбродное письмо к государю». Известно, однако, что еще до прибытия в армию, с дороги, Каменский писал Александру I: «Я лишился почти последнего зрения: ни одного города на карте сам отыскать не могу. . . пожалуйте мне, если можно, наставника, друга верного, сына отечества, чтобы сдать ему команду. . . истинно чувствую себя неспособным к командованию столь обширным войском».

292 (1). Герцог Антонио Мареска де Серра-Каприола, крайний роялист, был в 1782—1807 гг. неаполитанским послом в Петербурге; он был женат на дочери екатерининского генерал-прокурора кн. А. А. Вяземского.

295 (1). Осип Кириллович Каменецкий — один из первых русских ученых врачей, автор популярного «Краткого наставления о лечении болезней простыми средствами» (1-е издание 1803 г.), где он сумел соединить теорию с практикой и дал ряд правильных советов, пользуясь народной медициной. О популярности Каменецкого можно судить по стихотворению И. Пнина «Ода на болезнь, посвященная г. коллежскому советнику О. К. Каменецкому»; в последней строфе говорится, что болезнь «мгновенно оставляет, взор Каменецкого узнав»:

О! муж искусный, добрый, честный,
Друг человечества нелестный,
Прими от сердца дань сию!
Прими сей знак чувств непритворный.
Ты есть мой Гений благотворный,
Ты возвратил мне жизнь мою!

(«Поэты-радищевцы». «Библ. поэта»,
1935, стр. 191).

297 (1). Как видно из цензурного дела о «Дневнике чиновника» (см. в статье «Источники текста»), после слов «которые она тебе доставляет» в рукописи было продолжение, занимавшее целую страницу и не пропущенное цензурой.

297 (2). Об опере «Два охотника» в «Драматическом словаре» 1787 г. сказано: «Комическая опера в одном действии г. Ансома, переведена с французского. Часто была представляема на Санктпетербургском и Московском театрах. Примечательно, что сверх трех роль, в ней находящихся, есть характер медведя. Пиеса довольно забавна материей и музыкой. Напечатана в Санктпетербурге 1779 года». Ансом (Anseaume, ум. 1784) — помощник директора Итальянской комедии в Париже, автор большого количества пьес (см. «Энциклопедический лексикон» Плюшара, т. 2, 1835, стр. 342). Музыку к пьесе «Два охотника» написал итальянский композитор Дуни (Duni).

299 (1). Этот «высочайший рескрипт» (от 22 декабря 1806 г.) гласил: «Господин коллежский асессор Пашков! Видя из донесения московского военного губернатора, что московский театр со времени сгорения его помещен в строении при доме вашем и что вы на то согласились из единого токмо желания угодить публике, — я отдаю полную справедливость сему похвальному подвигу вашему и удовольствием себе поставляю изъявить вам за то мое благоволение, пребывая в прочем вам благосклонный Александр» (С. В. Танеев. Из прошлого императорских театров, вып. I, 1885, стр. 29).

299 (2). В «Отечественных записках» (1855, № 4, стр. 414) есть авторское примечание: «См. Дневник студента, „Москвитянин" 1853 г., дневник 12 апреля». Имеется в виду запись от 12 апреля 1805 г., в которой говорится о товарище Жихарева Федоре Павловиче Граве: он играл в немецкой пьеске «Снегирь на ярмарке» под псевдонимом Nemo (Никто).

300 (1). В шутливом стихотворении С. Н. Марина «На свадьбы актрис» говорится об артистке Бертен:

Наскучив омывать слезой вдовство свое,
Выходит, наконец, Бертень за Боальдье,
Вздохнула с томностью, с улыбкой поглядела,
Je t'aimerai toujours с руладами запела.
Как должно Боальдье ее благодарил
И новую романс он в честь ей сочинил.

(«Летописи» Гос. лит. музея, кн. 10, 1948, стр. 129).

300 (2). Мария Антоновна Нарышкина (рожденная кн. Четвертинская) — жена обер-егермейстера Д. Л. Нарышкина, бывшая в 1801—1814 гг. официальной возлюбленной Александра I.

301 (1). Петр Александрович Рахманов — один из зачинателей русской математической школы, автор работ по высшему анализу и аналитической геометрии, вышедших в 1803—1812 гг. В 1808—1809 гг. напечатал в «Артиллерийском журнале» статьи по вопросам артиллерии и в 1810 г. предпринял издание «Военного журнала», в котором напечатал ряд рецензий на математические сочинения академика С. Е. Гурьева. Участвовал в войне 1812 г. и был убит в Лейпцигском сражении 18 октября 1813 г. Владимир Федорович Вельяминов-Зернов служил по министерству юстиции, написал «Опыт начертания российского частного гражданского права» (1815), издатель журнала «Северный Меркурий» (1805), переводчик, в 1807 г. стал членом «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств» (см. сб.: Поэты-радищевцы, под ред. В. Н. Орлова, «Библ. поэта», 1935).

303 (1). П. С. Молчанов был, действительно, назначен в 1808 г. управляющим делами Комитета министров (в канцелярию которого в 1812 г. поступил

Жихарев) и имел большое влияние на государственные дела. В 1817 г. должен был уйти в отставку, а в последние годы ослеп и жил в стороне от всяких дел. Молчанов был в дружеских отношениях с Пушкиным, Дельвигом, Плетневым, Вяземским; узнав о его смерти от холеры, Пушкин писал Плетневу в июле 1831 г.: «Вчера только сказали мне о смерти нашего доброго и умного слепца. . . Час от часу пустеет свет, пустей дорога перед нами».

303 (2). Комедия В. В. Капниста вышла в 1798 г. с посвящением Павлу I, в котором говорится:

Монарх! приняв венец, ты правду на престоле
С собою воцарил. . . . .
Ты знаешь разные людей строптивых нравы:
Иным не страшна казнь, а злой боятся славы.
Я кистью Талии порок изобразил;
Мздоимства, ябеды всю гнусность обнажил
И отдаю теперь на посмеянье света.
Не мстительна от них страшуся я навета:
Под Павловым щитом почию невредим;
Но быв по мере сил споспешником твоим,
Сей слабый труд тебе я посвятить дерзаю,
Да именем твоим успех его венчаю.

Комедия была впервые представлена 22 августа 1798 г.; однако после четвертого представления она была запрещена, а напечатанные экземпляры были изъяты из продажи. Новое разрешение последовало в 1805 г. при Александре I.

308 (1). Дмитревский был в Париже два раза: в 1765—1766 и в 1767—1768 гг. С Гарриком он не мог встретиться в Париже, так что в приведенных Жихаревым словах есть несомненная неточность (см.: В. Н. Всеволодский-Гернгрос. И. А. Дмитревский, 1923, стр. 37).

312 (1). «Ода на новый год, по случаю победы, одержанной над французскими войсками 14 декабря» появилась в «Московских ведомостях» (1807, № 1); начало:

Исполнилось! о, весть златая.
Внимай со страхом смертных род,
Как бог, России поборая,
Благословляет новый год!

314 (1). Эта запись заставляет предполагать позднейшую правку, в результате которой появились ошибки, которых не могло бы быть в подлинной дневниковой записи. Во-первых, автор книги о Москве — не Виссельгаузен (и не Вистенгаузен, как напечатано в издании 1934 г.), а Вихельгаузен; во-вторых, книга эта издана в 1803 г., а описана в ней Москва 1790-х годов, так что никаких тридцати лет со времени ее написания не прошло. Откуда взялась у Жихарева

дата 1775 — непонятно. Полное заглавие книги следующее: «Züge zu einem Gemählde von Moskwa, in Hinsicht auf Klima, Cultur, Sitten, Lebensart, Gebräuche, vorzüglich aber statistische, physische und medicinische Verhältnisse. Von Engelbert Wichelhausen, Doctor und Professor der Arzneikunde, Russisch-Kaiserlichem Collegien-Assessor und ehemaligem pensionirtem Cabinetsarzte. Berlin, bei Johann Daniel Sander, 1803».

317 (1). Так было задумано литературное общество, которое получило затем название «Беседа любителей русского слова» (см. о нем выше в статье о дневниках Жихарева; ср. ниже записи от 24 января, 3, 9, 10 и 17 февраля, 10, 17, 24, 31 марта, 5 мая 1807 г.).

320 (1). В дневнике Е. А. Штакеншнейдер от 8 января 1856 г. есть следующая запись: «Один старичок, сенатор Жихарев, знакомый и товарищ по Московскому архиву дедушки, пишет в „Отечественных записках“ свои воспоминания под заглавием „Дневник чиновника“. . . Дневник этот начал он со дня вступления в службу и, как любитель театра, подробно описывает его. В то время Озеров только что написал „Дмитрия Донского“. Жихарев был на предпоследней репетиции этой трагедии и так подробно описал ее, что по его запискам дают ее в понедельник, т. е. завтра в бенефис Орловой. Мы не достали ложи, а любопытно было бы видеть, будто воскрешенными, всех тогдашних актеров и актрис» («Дневник и записки», 1934, стр. 107). Е. А. Штакеншнейдер ошиблась: репетицию «Дмитрия Донского» воспроизвели на сцене Александринского театра не по дневниковой записи Жихарева от 13 января 1807 г. (которая очень невелика), а по написанной им в 1854 г. своеобразной пьесе: «13-го января 1807 года, или предпоследняя репетиция трагедии „Димитрий Донской“. Драматическая быль в 2 картинах (из записок чиновника)». В первой картине — разговоры актеров в фойе перед репетицией; среди действующих лиц — А. А. Шаховской (заве́дывающий репертуарной частью), И. А. Дмитревский («отставной актер»), Н. И. Гнедич, С. П. Жихарев, П. Н. Кобяков («молодые писатели-театралы»). Во второй картине — самая репетиция трагедии (в отрывках): артист Л. Л. Леонидов играл А. С. Яковлева в роли Димитрия, артистка Сабурова — Е. С. Семенову в роли Ксении, артист В. В. Самойлов изображал Дмитревского. «Драматическая быль» Жихарева была представлена дважды: 9 и 11 января 1856 г. В «СПб. ведомостях» (от 15 января 1856 г.) сказано: «Мы еще ничего не сказали об отрывке из „Записок чиновника“, возбуждающих такой живой интерес и печатающихся в „Отечественных записках“. На сцене репетиция в 1807 году трагедии Озерова „Дмитрий Донской“ и чтение нескольких стихов ее не возбудили большого сочувствия, и только г. Самойлов мастерским воспроизведением личности Ивана Афанасьевича Дмитревского обратил на себя общее внимание публики». В Ленинградской театральной библиотеке им. А. В. Луначарского хранится авторизованная копия этой пьесы с режиссерскими пометками; на титульном листе рукописи — две надписи: 1) «Одобряется к представлению. С.-Петербург, 14 декабря 1855 года. Статский

советник Нордстрем»; 2) «Для бенефиса г-жи Орловой, 5 января 1856» (отд. I, шкаф XI, № 5425). Имеется цензурное дело, содержащее любопытный документ: «Выведены на сцену корифеи нашего театра Дмитревский, Яковлев, Семенова и другие, повторяющие лучшие сцены из трагедии „Дмитрий Донской“. Их таланту удивляются строгие ценители искусства — лучшие французские актеры того времени. В пиесе нет ничего противного правилам цензуры; но как одно из сих действующих лиц, Семенова, оставив театр, вышла впоследствии замуж за князя Гагарина, то цензура и не знает, прилично ли выводить на сцену женщину, вступившую в круг высшего общества? А. Гедерштерн». Ответ на этот деликатный вопрос имеется здесь же в виде краткой резолюции старого слуги Николая I Л. В. Дубельта: «Позволяется. 5 генваря 1855» (ЦГИАЛ, ф. 780, оп. 1, 1855, № 32, л. 6).

321 (1). Интересна характеристика А. А. Шаховского в «Записках» Ф. Ф. Вигеля: «Он рожден был для театра: с малолетства все помышления его к нему стремились, все радости и мучения ожидали его на сцене и в партере. Как актер, утвердительно можно сказать, он бы во сто раз более прославился, чем как комик: не будь он князь, безобразен и толст, мы бы имели своего Тальму, своего Гаррика... Сделавшись властелином русской сцены, он превратил ее в лобное место, на котором по произволу для торговой казни выводил он своих соперников. Надобно, однако ж, признаться, что страсть его, не совсем дворянская и княжеская, имела самое благодетельное действие на наш театр: его «комедий шумный рой», как сказал один из наших поэтов (Пушкин в «Евгении Онегине», — *Б. Э.*), долго один разнообразил и поддерживал его. Что еще важнее, он был неутомимым и искусным образователем всего нового, молодого поколения наших лицедеев» (I, стр. 330—331).

321 (2). *Примечание П. И. Бартенева*: „«Старик везде и нигде» — название одной из тогдашних повестей“. Это роман немецкого писателя Христиана-Генриха Шписа (Spiess) — «Der alte Ueberall und Nirgends» (1792).

323 (1). В «Отечественных записках» — очевидная ошибка: «восхищающийся своею картиною».

329 (1). Цитата из «Поэтики» («L'Art poétique») Буало — последний стих 1-й песни.

330 (1). Цитата из трагедии Расина «Британник» («Britannicus») с некоторыми отступлениями от текста: «Какое счастье думать и говорить самому себе: сейчас повсюду меня благословляют, меня любят! Нет народа, которому было бы страшно мое имя, и небо не слышит, чтобы, проливая слезы, люди называли меня; сумрачная ненависть не бежит от меня, я вижу, когда иду, как сердца всех летят ко мне!».

330 (2). Х. А. Чеботарев опять назван «покойным», хотя он умер не в 1805, а в 1815 г. (см. примечания к стр. 177 1 и 207 1). Осип Петрович Козодавлев учился в шестидесятых годах XVIII в. в Лейпцигском университете (вместе с Радищевым), а затем служил в Академии Наук и был соредактором журнала

«Собеседник любителей российского слова». При Павле I и Александре I занимал видные административные посты. В литературе был известен своими стихами и переводами (в том числе трагедии Гёте «Клавиго»).

332 (1) Цитата из трагедии Вольтера «Альзира» («Alzire»): «Тень моего возлюбленного, я обманула твое доверие!».

332 (2). Рассказ Дмитревского о встрече с Гарриком надо считать легендой (ср. примечание к стр. 308 [1]). В. Н. Всеволодский-Гернгросс, процитировав этот рассказ, говорит: «Итак, один из двух — Жихарев или Дмитревский, вероятнее последний — смешали факты. А раз допустить, что Дмитревский мог по старости лет или в порыве увлечения, отдаваясь воспоминаниям, путать даты, лица, события и даже выдавать себя за очевидца разных эпизодов, безусловно происходивших не при нем, приходится, с одной стороны, ко всему тому, что он говорит о своем прошлом, относиться с большой осторожностью, а с другой — винить во всех апокрифах, сообщенных «с его слов» П. Сумароковым, Шаховским, И. И. Дмитревским, митр. Евгением, Носовым и пр. и пр., его же самого. Вывод довольно огорчительный, но, повидимому, справедливый» («И. А. Дмитревский», 1923, стр. 37).

333 (1). Имеется в виду популярное стихотворение Сумарокова «Часы» (1769 г.):

Суетен будешь
Ты, человек,
Если забудешь
Краткий свой век.
Время проходит,
Время летит,
Время проводит
Все, что ни льстит и т. д.

335 (1). О стихотворениях А. С. Яковлева см. примечание на стр. 606.

335 (2). «Омег» — горечь, одуряющий напиток (Даль).

338 (1). Шуточная ода Пегасу была написана Панкратием Сумароковым и появилась в «Журнале приятного, любопытного и забавного чтения» (1802, ч. II) под заглавием «Ода в громко-нежно-нелепо-новом вкусе» со следующим примечанием автора: «К сочинению сего вздора подали мне мысль некоторые из новых наших стиходеев, из коих одни желают подражать Горацию нашему г. Державину, а другие Карамзину и Дмитриеву; но как вместо вкуса и таланта имеют они только непреодолимую охоту марать бумагу, то и пишут вечно такую чепуху, какую читатель найдет в сей оде, если будет иметь терпение ее прочитать». Жихарев цитирует начальные строки; во второй строке в подлиннике не «лазурно-бурый», а «лазурно-бурный» («Мнимая поэзия», под ред. Ю. Тынянова, 1931, стр. 32).

339 (¹). В «Журнале новостей на 1805 год, издаваемом Лудовиком фон Ронка» (Москва) есть следующее библиографическое сообщение: «Mozarts Geist. Дух Моцартов — главнейшие черты из жизни его и разбор эстетический (показывающий вкус и чувства) его творений. В 8 долю листа, с его портретом. Эрфурт и Геттинген. Описание жизни в сем творении взято из сочинений Шлахтегролла и Немсатека, к нему присоединены важные замечания о гении в творениях сего автора, коего память бесценна для всех любителей музыки». (№ 1, стр. 71). Фамилия Немсатек — это, повидимому, неверно прочитанная фамилия автора первой биографии Моцарта Нимчека («Mozart's Leben». Prag. 1798).

341 (¹). Речь идет о Марии Ивановне Вальберховой, которая дебютировала 30 апреля 1807 г. в «Эдипе» в роли Антигоны и стала впоследствии одной из лучших русских комедийных актрис. О ее соперничестве с Е. С. Семеновой см. в книге В. Н. Всеволодского-Гернгроса «Театр в России в эпоху Отечественной войны» (1912, стр. 59—62).

344 (¹). О полицмейстере Эртеле вспоминает Ф. Вигель: «Между гатчинскими офицерами был пруссак Эртель, которого сама природа создала начальником полиции: он был весь составлен из капральской точности и полицейских хитростей. С конца 1798 года был он обер-полицеймейстером в Москве. . . Москва весьма его не любила, потому что не любила Павла и никогда не любила большого порядка» («Записки», 1928, I, стр. 112).

344 (²). Марион Делорм умерла в 1650 г., 39 лет. В XVIII в. появились легендарные рассказы, будто Марион Делорм не умерла, а бежала в Англию, где дожила до 130 лет, т. е. до 1741 г. В «Журнале новостей на 1805 год, издаваемом Лудовиком фон Ронка» (М., № 1, стр. 95) есть биографическая статья о ней, начинающаяся следующими словами: «Мариона Лорм чудесною судьбою пережила множество французских писателей, которые почитали ее своею героинею. Она родилась в 1618 г., а умерла в 1752 г., следовательно прожила 134 года».

348 (¹). «Утренник прекрасного пола, содержащий: I. Разные занимательные сочинения в стихах и прозе. II. Некоторые необходимые гражданские сведения. III. Любопытные познания о счислении времени. IV. Белые листы для записок на 12 месяцев. Сочинение Я. А. Галинковского. В Санктпетербурге, в типографии императорского театра. 1807». Белые листы в конце книги — «не статья», а страницы для записей, по которым можно справиться, когда надобно делать: 1) визиты, 2) ехать на бал, 3) сколько выиграно или проиграно в карты, 4) какие слышали анекдоты или 5) острые слова, bons-mots». Книга издана автором на свой счет; предисловие датировано 1 марта. Яков Андреевич Галинковский, чиновник военного министерства, издавал журнал «Корифей, или Ключ литературы» (1802—1807), был членом-сотрудником «Беседы».

348 (²). Михаил Сергеевич Щулепников, друг И. А. Крылова, был поэтом

и переводчиком (псевдоним «Усолец»). См. в книге К. Касьянова «Наши чудодеи» (1875, стр. 44).

349 (1). «Гимн кротости» — стихотворение Державина, написанное в 1801 г., по случаю коронации Александра I в Москве.

350 (1). Басня Крылова называется «Крестьянин и смерть»; впервые напечатана в 1808 г. Заключительные строки процитированы не совсем точно:

Что как бывает жить ни тошно,
А умирать еще тошней.

350 (2). Послание Д. П. Горчакова «к какому-то Честану о клевете» до нас не дошло; известен только приведенный Жихаревым отрывок.

351 (1). Петр Матвеевич Карабанов — член «Беседы», поэт и переводчик (трагедии Вольтера «Альзира»). Среди стихотворений Карабанова есть особый раздел «шуточных», а среди них — те, о которых говорит Жихарев: «Кручина старого пахаря» и «Старый наездник-хвастун». Они действительно написаны простым языком — в духе «анакреонтических» стихотворений Державина:

Прощай, моя прекрасна нива!
Тебя мне больше не пахать;
Мой конь, как кляча, стал ленива,
Не сможет головы поднять.
Бывало вдруг полдесятины
Напашем и пойдем домой;
Теперь ударь хоть в три дубины,
С одной не сладим бороздой и т. д.

Во втором стихотворении речь идет о старом казаке, который «во компаньи на гуляньи» вспомнил молодость удалую и стал «калякать» про верховую езду. В том же разделе напечатаны стихотворения «Сказка Нет», «Муж хвастун», «Эпиграмма скрыпачу», «Рога» и «Три стрелка, или охотники» («Сочинения и переводы Петра Карабанова, императорской Российской Академии члена», в двух частях. М., 1812).

352 (1). Сергей Александрович Ширинский-Шихматов — член «Беседы», один из ближайших сотрудников Шишкова, автор длиннейших героических эпопей («Пожарский, Минин, Гермоген, или Спасенная Россия» 1807 г., «Песнь российскому слову» 1809 г., «Петр Великий» 1810 г., и др.), послуживших материалом для многих эпиграмм Батюшкова, Воейкова, Вяземского, Пушкина и др. В 1830 г. Шихматов постригся в монахи.

352 (2). До «Учебной книги» Греча (1822 г.) эти стихи были напечатаны в журнале «Сын отечества» (1816, ч. 31, № XXXI, стр. 205—207) под заглавием «К Фи-

лалету» (подпись «Жихарев»). Стихотворение заканчивается следующими строками:

О Филалет! не считай настоящее благо залогом
Будущих благ, не привязывай сердца к земным наслажденьям!
Счастье — весенний цветок: он прекрасен, но дышет мгновенно,
Им наслаждаясь, блаженствуй; но, помня утрату, смиряйся:
В дни злополучья поздо, поверь мне, учиться терпенью;
В тяжкое время, когда изнеможет от горести сердце,
Где обретешь ты, о юноша, силу бороться с бедами?
Муж благородный заране смиряет себя пред судьбою —
Слава ему! он превыше душою и бед и фортуны!

354 (1). «Челенг» (челенга) — султан или перо — составлял самую высокую награду в Оттоманской Порте. За взятие в 1799 г. (совместно с турецкой эскадрой) острова Корфу султан Селим III прислал адмиралу Ф. Ф. Ушакову алмазный челенг, шубу из собольих мехов и 1000 червонцев (см.: Скаловский. Жизнь адмирала Ф. Ф. Ушакова, 1856).

354 (2). «Чилим» (рогатка, рогульник, водяной или рогатый орех) — растение, которое растет по болотам и озерам и считается вымирающим. В некоторых местах (в дельте Волги, около Пензы и др.) произрастало изобильно и даже служило предметом торговли, так как плоды его («орехи») съедобны.

356 (1). «Плуг и соха» — сочинение, «писанное степным дворянином» (М., 1806, без имени автора), принадлежит действительно Ф. В. Ростопчину (доказательства см.: Н. С. Тихонравов, Соч., III, ч. 1, 1898, стр. 333 и примечание 25). Кроме эпиграфа, напечатанного на заглавном листе, есть второй эпиграф на его обороте:

Поболе другого я по свету шатался,
Учением, людьми, вещами занимался,
И оттого что вне России долго жил,
Узнал всю цену ей и больше полюбил.
Как сын, я предан ей и сердцем и душой.
Служил в войне, в делах, теперь служу с сохой.
Я пользы общества всегда был верный друг,
Хочу уверить в том и восстаю на плуг.

Эта книжка была направлена против известного в то время калужского помещика Д. М. Полторацкого, приверженца английского земледелия: «Успехи земледелия довел до толикой степени, — писали о нем в 1804 г., — что в течение лета крестьянин с плугом на двух хороших лошадях, сверх уборки сена и хлеба, легко обработать может садовым образом до 40 казенных десятин». Ростопчин, уволенный в 1801 г. в отставку, деятельно занялся сельским хозяйством и старался доказать, что «соха имеет больше выгод, чем думают, для пахотных и

мягких вообще земель». В книжке «Плуг и соха» Ростопчин утверждает, что введение английских приемов обрабатывания земли (в том числе и плуга) есть очередная мода — «и единственно по склонности к новостям и в подражание чужестранным, по множеству перемен в одежде, в строении, в воспитании, даже и в образе мыслей. Теперь проявилась скоропостижно мода на англинское земледелие, и англинский фермер столько же начинает быть нужен многим русским дворянам, как французский эмигрант, итальянского окна и скаковые лошади в запряжку». Толки о «плуге и сохе» были в то время очень в ходу: ср., например, басню Крылова «Огородник и философ» (1807 г.). В «Драматическом Вестнике» 1808 г. (ч. V) напечатана статья «О новоизобретенных земледельческих орудиях»: автор «пустился на опыты с тем, чтоб переладить английский плуг на подобие русской сохи». Подобными же опытами занимался и Ростопчин («История СССР», т. II. Россия в XIX в., 1949, стр. 33). Подробности о земледельческих нововведениях Д. М. Полторацкого в его Авчурине см. в «Русском архиве» (1877, кн. 2, № 7, стр. 249), а также в книге Н. Дружинина «Декабрист Никита Муравьев» (М., 1933, стр. 33—34).

356 (2). Цитата из стихотворения Державина «На выступление корпуса гвардии в поход» (1807 г.). Гвардия выступила в поход против французов в феврале 1807 г. Державин говорит:

Греми, рази ехидн
Илектра на волнах;
Освободи Берлин,
Лежащий во змиях.

«Илектра на волнах» — на волнах Балтики.

357 (1). Иван Герасимович Рахманинов — литератор, близкий к кругу Радищева, переводчик Вольтера и Мерсье; в 1788—1789 гг. издавал журнал «Утренние часы» и печатал в своей типографии журнал Крылова «Почта духов»; позже поселился в своем тамбовском имении (Казинка Козловского уезда), где устроил типографию и печатал разные сочинения без дозволения цензуры. Рахманинов отличался начитанностью в философии и оказал влияние на формирование взглядов молодого Крылова.

357 (2). Александр Иванович Клушин, друг и товарищ Крылова по изданию журналов «Зритель» и «С.-Петербургский Меркурий», впоследствии «покаялся» и получил должность театрального цензора. В 1801 г. написал льстивую оду в честь награждения Кутайсова андреевской лентой.

359 (1). Эта поэма С. А. Ширинского-Шихматова вышла отдельным изданием в 1807 г. В «Русском вестнике» (1808, № 1) С. Глинка напечатал подробный ее разбор, в котором говорит: «Наконец скажем, что одно намерение воспевать героев и друзей нашего отечества полезнее и похвальнее издания всех английских и французских романов, которыми загружены почти все наши книжные лавки».

360 (1). Ф. П. Львов, видно, послушался своих критиков; в печати начало этого стихотворения (под заглавием «Птичка») появилось в измененном виде:

Птичка резвая, златая,
Что тебя с пути свело?
Легкое твое крыло,
Быстрой молнией летая,
Небеса с землей смежая,
Утрудиться не могло.

(«Часы свободы в молодости Федора Львова»,
ч. I, СПб., 1831, стр. 39).

361 (1). *Примечание П. И. Бартенева*: «Предание уверяет, что за большим обедом подали князю Дашкову письмо и, прочитав его, он изменился в лице, заболел и вскоре умер; в этом письме мать его, знаменитая княгиня Дашкова, осыпала его ругательствами (слышано от сына князя Дашкова, М. П. Щербинина)».

362 (1). Слова Д. П. Горчакова о «коцебятине» (в «Послании к кн. С. Н. Долгорукову») см. в примечании к стр. 51[2]. О драме «Ненависть к людям и раскаяние» говорит Карамзин в «Письмах русского путешественника»: «Автор осмелился вывести на сцену неверную жену, которая, забыв мужа и детей, ушла с любовником; но она мила, несчастлива — и я плакал, как ребенок, не думая осуждать сочинителя» («Сочинения», 1848, т. II, стр. 72). Интересно, что в «Драматическом вестнике» 1808 г. (ч. III, № 71) появилась статья против драм Коцебу и, в частности, против драмы «Ненависть к людям и раскаяние»; это перевод из книги: C. Etienne et B. Martainville. Histoire du théatre français, depuis le commencement de la révolution jusqu'à la réunion générale. Paris, 1802, t. III, p. 160—172.

371 (1). П ** — обер-прокурор Гавриил Герасимович Политковский. Этому Политковскому (впоследствии был директором Общей канцелярии министерства полиции) посвящено как члену «Беседы» несколько строк в пародийном «гимне» Батюшкова («Певца в Беседе славянороссов»):

Хвала тебе, о наш дьячок,
Бездушный Политковский!
Жуешь, гнусишь — и вдруг стишок
Родишь славянорусский!

372 (1). Это стихотворение Жихарева напечатано в «Драматическом вестнике» 1808 г. (ч. III, № 56, стр. 30—32) под заглавием «К моей родине». В нем заметно следование Державину.

380 (1). О попытках Державина передать свою фамилию кому-нибудь из своих родственников см. в статье Я. Грота «Жизнь Державина» (Г. Р. Держа-

вин, Соч., т. VIII, 1880, стр. 1005). В разговоре с Жихаревым Державин процитировал стихотворение «Приношение монархине», где он говорит:

И алчный червь когда, меж гробовых обломков,
Оставший будет прах костей моих глодать,
Забудется во мне последний род Багрима,
Мой вросший в землю дом никто не посетит.

Державин производил свой род от мурзы Багрима, выехавшего из Золотой орды при Василии Темном.

381 (1). Слова Советника из комедии Фонвизина «Бригадир»: «Не о птицах предлежит нам дело, дело идет о разумной твари» (действие 2, конец явления III).

385 (1). Томас-Фридрих Рейнбот был пастором Анненской церкви в Петербурге и занимал должность генерал-суперинтенданта (орган высшего надзора в лютеранской церкви); в 1826 г. посещал в роли духовника декабриста П. И. Пестеля в Петропавловской крепости.

385 (2). В «Отечественных записках» (1855, № 5, стр. 158) есть авторское примечание: «См. Дневник студента. „Москвитянин“, 1853 г., дневник 23-го июля». Имеется в виду запись от 23 июля 1805 г., где первый раз говорится об Иване Кузьмиче Киселеве.

396 (1). Сражение при Пальциге произошло 23/12 июля 1759 г. (Семилетняя война).

399 (1). Ефрем Осипович Мухин — врач и профессор Московского университета, много сделавший для развития оспопрививания; в 1804 г. вышла его популярная книжка «Разговор о пользе прививания коровьей оспы».

399 (2). Поэма Жихарева вышла отдельным изданием в 1808 г.: «Октябрьская ночь, или Барды. С дозволения С.-Петербургского цензурного комитета. В Санктпетербурге, 1808. В типографии императорского театра». На особом листе перед текстом напечатано: «Его превосходительству милостивейшему государю Льву Дмитриевичу Измайлову. Усерднейшее приношение». На обороте листа: «Тебе, Человек беспримерный, посвящаю произведение незнаемой моей лиры! Одно усердие повергает его перед Тобою. Воззри на оный (так!—*Б. Э.*) благосклонно и — се венец мой!». Поэма «Октябрьская ночь», по словам самого Жихарева, «заимствована» из Синеда («Ossians und Sineds Lieder», 1784—1792, 6 томов). На самом деле Жихарев взял у Синеда только внешнее построение и некоторые особенности характерного для поэм Оссиана мрачного пейзажа. Поэма Синеда («Die Octobernacht. Eine alte Nachahmung Ossians», т. IV, стр. 121—126) написана вольным ритмом без рифм; она состоит из речей, произносимых пятью бардами; в заключение произносит речь сам покойный «владетель» места. Поэма Жихарева представляет собой выступление четырех «бардов» у могил погибших в боях за родину героев.

Каждая из этих четырех речей сопровождается характерным для поэм Оссиана пейзажем. Поэма начинается словами:

„. . . Ночь хладна и темна,
Туман окрестность покрывает,
Сокрылась полная луна,
И звезды яркие с эфира не блистают.
Я слышу шум вдали глухой:
То эхо по дебрям разносит ветров вой.
Бунтуют волны разъяренны,
Вздымаются, бегут и плещут в берегах.

Конец поэмы:

Начните пение восторгом оживленны!
Да с стройным звуком арф ваш съединяясь глас
Подымет из могил и персть благословенных!
Восславьте их дела и их кончины час,
Да тени бранные низверженных боями
Мерцают в сумраке пред нашими очами!
Друзья! скорее возгремим,
За нас скончавших жизнь обымем пепел хладный
И нам бесценного рыданьем оживим!
О, час блаженнейший, отрадный!
Так ночь должна пройти — когда же день из туч
Чрез море синее к нам первый бросит луч,
Тогда, тугой взяв лук, колчан набит стрелами,
Копье блестящее, с рождающимся днем
На отдаленный холм разить зверей пойдем
И встретим солнце за горами!

Посвящение этой поэмы помещику-самодуру Л. Д. Измайлову кажется неожиданным и странным после того, что написал о нем Жихарев в дневнике от 11 февраля 1806 г. Надо думать, что такое торжественное посвящение было сделано в связи с организованной Измайловым и прославившей его рязанской «милицией» (ополчением). О поэме говорится еще в дальнейших записях дневника: от 28 и 30 марта, 28 апреля, 4 и 5 мая 1807 г. Из этих записей видно, что поэма нравилась Державину. Экземпляр этой поэмы (библиографическая редкость) имеется в Научной библиотеке им. М. Горького Ленинградского университета (Е II 1109).

407 (1). Н. И. Гнедич начал переводить «Илиаду» с 7-й песни, продолжая перевод Е. И. Кострова (песни 1—6), сделанный александрийским стихом (шестистопным ямбом). Эту 7-ю песнь он напечатал в 1809 г., продолжая тем же стихом переводить следующие песни. С. С. Уваров обратился к нему с письмом,

в котором доказывал, что Гомера надо переводить гекзаметром и что это «стопосложение» вполне соглашается с духом русского языка. Гнедич решил последовать совету Уварова и перевел гекзаметром всю «Илиаду», которая и вышла в 1830 г. [см. работы Н. С. Тихонравова «Н. И. Гнедич» и «Обзор переводов Гомера на русский язык» («Сочинения», т. III, ч. 2)].

407 (2). Жихарев ошибся: издателем еженедельного журнала «Московский курьер» (1805—1807) был другой Львов — Сергей Матвеевич. Павел Юрьевич Львов — член Российской Академии и «Беседы любителей русского слова», автор повестей («Роза и Любим», «Российская Памела») и сочинения под заглавием «Храм славы российских ироев от времен Гостомысла до царствования Романовых». А. Е. Измайлов изобразил его в своем «Разговоре в царстве мертвых»:

Я сочинял для дам
Памелу Русскую, воздвигнул Славы храм,
Писал похвальные слова мужам великим
Надутым слогом, пухлым, диким,
Предлинные слова в шесть, семь слогов ковал
И в Академию Российскую попал.

409 (1). В «Отечественных записках» (1855, № 7, стр. 180) есть авторское примечание: «Дневник 21-го декабря 1806 г.». Имеется в виду запись в «Дневнике чиновника», в которой приведены эти слова министра юстиции П. В. Лопухина, сказанные Жихареву.

416 (1). Барон Александр Викторович де Ланглад (Делангладе), французский эмигрант из Вандеи, был, действительно, в эти годы городничим в г. Данкове Рязанской губ. Французские слова, сказанные Жихаревым по этому поводу, — перефразировка слов, сказанных Мольером, когда нищий вернул поданную им по ошибке золотую монету: «Où la vertu va-t-elle se nicher?», т. е. «Вот где нашла себе убежище добродетель!».

417 (1). Семен Семенович Филатов (Жихарев называет его Филатьевым) — переводчик, член «Беседы любителей русского слова», служил в почтовой экспедиции Коллегии иностранных дел. «Фарсалия» (или «О гражданской войне») — незаконченный исторический эпос в 10 книгах римского поэта Марка Аннея Лукана, по своей идейной направленности близкий к философии Сенеки (Лукан — его племянник): «Подобно героям Сенеки он говорит о том, что в дворцах нет места честности, что добродетель и власть несовместны, бедняк счастливее царя. Но эта оппозиционность Лукана имеет резко выраженный аристократический характер <. . .>. Особенным вниманием пользовалась поэма Лукана в XVII—XVIII вв., в период английской и французской буржуазных революций, когда она воспринималась как манифест республиканизма и ненависти к деспотии» (И. М. Т р о н с к и й. История античной литературы. 1946, стр. 442—445). «Фарсалией» эту поэму называют по одному из основных событий описанной

в ней гражданской войны между Цезарем и Помпеем — сражению при городе Фарсалии. Перевод этой поэмы, сделанный С. С. Филатовым в прозе, был издан в 1819 г.

417 (2). Примечание дается с купюрой. Повышенный интерес к Китаю в начале XIX в. ведет свое происхождение от эпохи просвещения, в частности от Вольтера, и связан с поисками идеального, разумно устроенного «философского государства» (см.: К. Н. Державин. Китай в философской мысли Вольтера. Сб. «Вольтер. Статьи и материалы», изд. ЛГУ, 1947). В России интерес к Китаю в это время был связан с вопросом о ведении с ним торговых переговоров и об установлении дипломатических отношений (см.: А. Н. Радищев, Полн. собр. соч., т. II, Изд. АН СССР, 1941, «Письмо о китайском торге» и комментарий к нему).

420 (1). Арбатский театр был построен по плану архитектора Росси, который, по представлению московского главнокомандующего Т. И. Тутолмина, был награжден орденом за «искусство, доказанное на опыте при постройке столь обширного деревянного строения». Театр открылся 13 апреля 1808 г. пьесой С. Н. Глинки «Баян». В этом театре выступала в 1809 г. французская артистка Жорж и здесь же появилась ее соперница Екатерина Семенова. В 1812 г. Арбатский театр сгорел (М. И. Пыляев. Старая Москва, 1891, стр. 141—143).

422 (1). Н. И. Гнедич читал «Гамлета», очевидно, по французскому прозаическому переводу П. Летурнера (Letourneur), который перевел всего Шекспира (издание выходило в течение 1776—1782 гг.).

422 (2). В «Отечественных записках» (1855, № 7, стр. 192) есть авторское примечание: «См. Дневник студента 26 февраля 1806 года. „Москвитянин" 1853 г., № 8». В этой записи подробно говорится о Гнедиче.

423 (1). У Гнедича есть стихотворение «Элегия», обращенное к этой самой Софье Александровне К. и написанное в 1806 г. по случаю ее отъезда. Здесь есть строки:

С подругою души навеки разлученный
И жизнью — бременем несносным — отягченный,
Я не живу теперь, но мучусь всякий час;
Услышьте ж, боги, вы страдальца скорбный глас!
Но глас несчастного до неба не доходит,
И удовольствие все небо в том находит,
Чтобы счастливых жизнь внезапно прерывать,
Несчастным же велеть томиться и страдать.

(«Лицей», 1806, ч. I, № 1, стр. 19—20).

424 (1). Семен Семенович Жегулин был в 1789—1796 гг. правителем Таврической области, затем — губернатором Белоруссии; в 1799 г. вышел в отставку и поселился в Петербурге, где у него жил В. Р. Марченко («Русская старина», 1896, № 3, стр. 475).

426 (1). «Леар» — это трагедия Шекспира «Король Лир» («King Lear»). О переводе Гнедича см. в записи от 1 апреля 1807 г.

428 (1). Петр Иванович Соколов — «непременный секретарь» Российской Академии и член «Беседы». О нем есть злая строфа в сатире А. Воейкова «Дом сумасшедших»:

Вот он, с харей фарисейской,
Петр Иваныч «Осударь»,
Академии «расейской»
Непременный секретарь.
Ничего не сочиняет,
Ничего не издает, —
Три оклада получает
И столовые берет.

429 (1). «Российская Академия» была основана при Екатерине II, в 1783 г., как отдельное от Академии Наук научное учреждение; главным ее предметом (по представленному Е. Р. Дашковой проекту) было очищение и обогащение русского языка, утверждение общего употребления слов, свойственное русскому языку витийство и стихотворство, а средствами для достижения цели предполагались сочинение российской грамматики, российского словаря и правил стихосложения. В 1841 г. Российская Академия была присоединена к Академии Наук в виде Отделения русского языка и словесности (М. И. Сухомлинов. История Российской Академии. 1874 и сл.).

Яков Александрович Дружинин, служивший переписчиком у Екатерины II, а затем личным секретарем у Павла I, был в 1800 г. избран в Российскую Академию за перевод произведения немецкого писателя Х. Виланда «Пифагоровы ученицы» (1797 г.).

429 (2). Александр I выехал из Петербурга 16 марта 1807 г. Державин написал «Молитву по высочайшем отсутствии в армию его императорского величества». В последней строфе Державин говорит:

Доколе токи крови
Велишь нам, грешным, лить?
Бог благости, любови
Жесток не может быть.

432 (1). Генрих Арресто — сценический псевдоним немецкого актера и драматурга Карла-Эдуарда Бурхарди, приехавшего с труппой Мире в Петербург и игравшего здесь в 1803—1805 гг. О дальнейшей его деятельности см. в записи от 21 мая 1807 г.

438 (1). К тому месту «Рассуждения о лирической поэзии», где Державин цитирует списанные им у Сулукадзева «руны», имеется любопытное замечание Евгения Болховитинова: «Весьма желательно, чтобы вы напечатали сполна

весь сей гимн и все провещания жрецов. Это для нас любопытнее китайской поэзии. Г. Селакадзев или не скоро или совсем не решится издать их; ибо ему много будет противоречников. А вы как сторонний и как бы мимоходом познакомите нас с сею диковинкою, хотя древность ее и очень сомнительна. Особливо не надобно вам уверять своих читателей о принадлежности ее к I или V веку» («Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота», т. VII, 1878, стр. 621). Об А. И. Сулукадзеве (так он сам подписывал свою фамилию) имеется довольно большая литература, в том числе работа А. Н. Пыпина «Подделки рукописей и народных песен» («Памятники древней письменности», CXXVII, 1898) и статья Д. Языкова «Оригинальный русский антиквар» («Русский вестник», 1898, № 7, стр. 237—242). Языков связывает «Русский музеум» Сулукадзева с рукописным и книжным собранием его приятеля «русского американца» Ф. В. Коржавина. Пыпин видит в подделках Сулукадзева не столько коммерческий интерес, сколько проявление характерной для этого времени «археологической романтики». В последнее время имя А. И. Сулукадзева появилось в печати заново в связи с вопросом о первых опытах воздухоплавания в России: см. статью проф. Н. Д. Анощенко «Первый полет на воздушном шаре» («Огонек», 1951, № 39), в которой говорится о сочинении Сулукадзева «О воздушном летании в России с 906 лета по Р. Х.». Здесь указано, будто это сочинение было издано в 1911 г.; нам такого издания найти не удалось.

443 (1). Николай Петрович Брусилов издавал в 1805 г. «Журнал российской словесности», тесно связанный с «Вольным обществом любителей словесности, наук и художеств»; в этом журнале несколько противоречиво признавались два направления, обозначавшиеся именаии Карамзина и И. Пнина. Сам Брусилов был автором повестей и стихов, по поводу которых заявил: «Карамзин и Дмитриев издали свои «Безделки», ну как же мне отстать от них? и я издал безделки. Мало этого, написал «Бедную Машу» в подражание «Бедной Лизе», «Мое путешествие» в подражание де Местру и еще две или три повести в подражание не знаю уж кому» («Очерки по истории русской журналистики и критики», т. I, 1950, стр. 165).

444 (1). Жена П. А. Нилова, Прасковья Михайловна (рожд. Бакунина), была двоюродной сестрой жены Державина и жила у него в доме; к ней обращено его стихотворение «Параше».

445 (1). В «Отечественных записках» (1855, № 8, стр. 394) есть авторское примечание: «Дневник чиновника 27 октября 1806 года». В этой записи впервые приведен отзыв Мерзлякова о трагедии Жихарева «Артабан».

446 (1). Аполлон Александрович Майков (дед поэта Аполлона Майкова) стал управляющим московскими императорскими театрами в 1810 г.; в 1821—1825 гг. был директором петербургских театров.

446 (2). В «Отечественных записках» (1855, № 8, стр. 395) есть авторское примечание: «Дневник чиновника 29 декабря 1806 года». В этой записи Жихарев приводит свой разговор с чиновником Паниным в приемной Румянцева.

452 (1). «Сатира» Шаховского напечатана в «Драматическом вестнике», 1808, ч. 1, № 18, стр. 145—150; подпись — *А*). Стих «Да на чужой манер хлеб русский не родится» (ср. примечание к стр. 356[1]) процитирован Пушкиным в начале «Барышни-крестьянки». Сатира кончается следующими стихами:

Всем странностям людским нет счету, ни конца!
И я, смотря на них, сержусь, бешусь всечасно;
Хочу исправить всех, пороки осмеять;
Начну комедию; но ах! тружусь напрасно:
Умею чувствовать, но не могу писать.
Почто, Мольер, почто в наш век ты не родился?
Здесь твоему перу труда довольно есть.
Или когда б со мной умом ты поделился,
Я б пользу сделал всем; себе бессмертну честь.

453 (1). Стихотворение А. И. Буниной, под заглавием «Сумерки» (с пометкой — «Прислано»), напечатано в «Драматическом вестнике» (1808, ч. 1, № 20, стр. 163—168; с подписью «— а — а»). Стих «В очах его огонь горит» в печати иначе: «В очах его небесный огнь горит». Стихотворение заканчивается следующими строками о Державине:

Где я?
От изумления к восторгу преходя,
Спросила я у тех, которы тут стояли.
На З в а н к е! со всех стран ответы раздались.
Постой, мечта! . . Продлись! . .
Хоть час один! . . Но ах! сокрылося виденье,
Оставя в скуку мне одно уединенье.

К предпоследней строке сделано примечание: «Сочинительница сих стихов не имела еще тогда чести знать почтенного творца Фелицы».

454 (1). Послание С. Марина к Капнисту напечатано под заглавием: «С а т и р а (взятая из Буало)» в «Драматическом вестнике» (1808, ч. 1, № 21, стр. 169—173). Это вольный перевод IV сатиры Буало.

455 (1). В предисловии к своему переводу «Короля Лира» Гнедич говорит: «Кто только знает название Шекспировых трагедий, тому известно, что Король Леар почитается англичанами лучшею из оных. Но Шекспир, дабы возбудить сострадание зрителей своих, представил Леара совершенно сумасшедшим. Французский драматический писатель Дюсис, переделав сию трагедию, в том ему последовал и изобразил Леара легкомысленным, возмутительным, властолюбивым. . . Рассудя, что человек, в сумасшествии дающий и отнимающий царство, благословляющий и проклинающий детей своих, не может возбудить сострадания в зрителях, я осмелился не подражать в этом ни Шекспиру, ни

Дюсису, а оставил Леару здравый рассудок, чтобы не в мечтах беспрерывного исступления, но истинно ощутя всю горесть отца, гонимого неблагодарными детьми, и восторг радости при нечаянном возвращении нежной и добродетельной дочери, возмог он сообщить их сердцам зрителей. В третьем только действии, когда все чувства Леара возмущены горестью и изнурены свирепствующею бурею, почел я возможным представить его в кратковременном исступлении; но, не находя разительными положений, в которых Дюсис поставил Леара и дочь его Корделию, должен я был как в сем, так и в четвертом действии прибегнуть к изобретению. Так же осмелился я в трагедии Дюсисовой, которой более, но свободно подражал, переменить некоторые явления, во многих местах преобразовать ход самого действия. Заимствовал из Шекспира некоторые положения и, переделав развязку трагедии, не почел нужным увенчать любовную страсть Эдгарда к Корделии, которою Дюсис, по мнению моему, унизил благородные чувства и великодушный подвиг сего рыцаря, защитника своего государя и несчастной царевны» («Леар. Трагедия в пяти действиях. Взятая из творений Шекспира. Н. Г. Представлена в первый раз на Санкт-петербургском придворном театре ноября 28 дня 1807 года»). Изменение завязки было сделано Гнедичем, очевидно, в согласии с Шиллером, утверждавшим, что допущенное Лиром в самом начале легкомыслие вредит нашему состраданию. Гнедич посвятил своего «Леара» артистке Е. С. Семеновой, исполнявшей роль Корделии; при посылке ей экземпляра он написал стихотворение, в котором говорит:

Прими, Корделия, Леара своего:
Он твой, твои дары украсили его.
. . . .
Свершай путь начатый — он труден, но почтен;
Дается свыше дар, и всякий дар священ!
Но их природа нам не втуне посылает;
Природа дар дает, а труд усовершает;
Цени его и уважай,
Искусством, опытом, трудом обогащай
И шествуй гордо в путь, в прекрасный путь за славой!

455 (2). Сатира Шаховского «Разговор цензора и его друга» напечатана в «Драматическом вестнике» (1808, ч. III, № 65, стр. 89—93). В этой сатире цензор, отвечая на вопрос друга: «Что сделалось с тобой? Ты пасмурен, уныл» и проч., жалуется на состояние литературы, которую ему приходится читать. Одни произведения — послания «к лужкам, к лескам, к овечкам, к фиалкам, к голубкам, к луне, к цветам и к речкам»:

На наших авторов нашли кручинны дни,
Разнежились . . . и ну крушить себя тоскою.
Им жалок целый свет: лишь только надо мною
Да над читателем не сжалятся они!

Другой род литературы — торжественные, писанные на заказ оды:

В них бури, вихри, гром древа из корня
рвут,
Трещат, крутят, вертят, вершины гор
срывают!
И наши Пиндары в восторге так ревут,
Что сами иногда себя не понимают!
А я их понимай! — Терпенья больше нет!
По милости стихов мне опостылел свет.

Наконец — «Копна немецких драм»:

От них-то худо мне на свете жить приходит!
Всяк школьник чуть начнет читать не по складам,
Тотчас за лексикон и драмы переводит!

Ср. в записках Жихарева от 18 апреля 1805 г. и 26 ноября 1806 г. — об А. Ф. Малиновском, заставлявшем молодых людей, служивших в архиве, переводить пьесы Коцебу). Сатира кончается вопросом:

Теперь скажите мне,
Не легче ль целый век жить с ябедой, с крючками,
Чем с сочинительми в всегдашней быть войне?

455 (3). Стихотворение Жихарева «Осень» напечатано в «Драматическом вестнике» (1808, ч. III, № 70, стр. 132—136). Начало — мрачный осенний пейзаж:

Ревет, бунтуя, ветр в дубравах обнаженных,
Ревет погибельный! Лиется дождь рекой!
Сокрылись радости дней лета вожделенных,
Поблекнули поля, лазурь одета мглой
И солнце — жизнь миров — покрыто облаками!
Повсюду мрачный хлад, нигде веселья нет.
Там быстрые орлы парят под небесами,
Здесь стоном черный вран зиму к себе зовет,
И мирный земледел, с полями разлученный,
В жилище дымное, склонив главу, идет.

Дальше речь идет о том, что все преходяще и мгновенно; затем обращение к другу, который

Пал в отдалении земли иноплеменной,
Безмолвно бросив взор к отчизне дорогой.

Стихотворение заканчивается обращением к лире:

Брячай! Когда ж мне рок кончину возвестит,
Когда наступит миг его определенья,
Я радостно реку: «Творец правдивых щит!»,
И дух мой излетит в восторге песнопенья!

В записи от 27 апреля 1807 г. (стр. 494) Жихарев говорит, что это стихотворение — переделка стихотворения «Осень» мистрис Мери Робинсон.

458 (1). Петр Николаевич Мысловский был в 1826 г. духовником осужденных на казнь декабристов (см. комментарий М. К. Азадовского: Воспоминания Бестужевых. Изд. АН СССР, 1951, стр. 711—712). Возможно, что в последних словах примечания (о «любопытных сведениях») Жихарев намекает, между прочим, и на рассказы Мысловского о декабристах.

461 (1). Павел Иванович Сумароков занимал пост губернатора (в 1807—1815 гг. в Новгороде, потом в Витебске) и сочинял комедии и драмы. Драма Сумарокова «Марфа Посадница, или Покорение Новаграда» вышла в 1807 г. отдельным изданием. В «Драматическом вестнике» (1808, ч. I, № 7) появилась рецензия на эту пьесу, написанная И. А. Крыловым. Отзыв Жихарева до такой степени сходен с этой рецензией, что кажется ее переложением (см.: И. А. Крылов, Соч., т. I, 1945, стр. 408—410). Возможно, что он, посещая литературные собрания «Беседы», имел возможность познакомиться с рецензией Крылова до ее появления в печати. Ф. Вигель пишет о П. И. Сумарокове очень зло и насмешливо: «Два раза был он губернатором, обе губернии должен был оставить, истощив терпение начальства, подчиненных и жителей; теперь он состоит инвалидным сенатором. Он один видел в себе государственного человека и литературного гения; никто даже в шутку его в том не уверял <. . .>. Нельзя думать, чтобы творения его дошли до потомства; библиоманам было бы, однако же, не худо их сохранять: они могут служить образцами дурного слога, дурного вкуса, наглости, самохвальства и самой грубой неблагопристойности» («Записки», 1928, т. I, стр. 84).

465 (1). Латинские цитаты проверены и исправлены по изданию: «C. Plinii Caecilii Secundi Epistolarum libri decem. Ejusdem Panegyricus». Basiliae, 1781. Русский перевод даем по изданию: «Похвальное слово императору Траяну. Сочинение младшего Плиния, переведенное орд. проф. имп. СПб. университета Яковом Толмачевым» (СПб., 1820).

Глава IV.

Часто я размышлял в безмолвии, каков должен быть тот, который бы, по власти и манию своему, правил морями, сушью, миром и бранию; составляя мысленно образ государя, равного в могуществе правителю вселенной, никогда я не мог даже пожелать монарха, подобного в совершенствах царствующему

ныне. . . не было еще государя, которого бы добродетели не были причастны никакому пороку. Но в государе нашем мы видим чудное согласие всех совершенств и доблестей! Ни сановитость его ласковостию, ни важность простотою, ни величие снисхождением не умаляются. Телесная крепость, высокий стан, величественное чело, осанистый вид, непреклонная зрелость лет и, не без особого некоего благоволения небес, преждевременною красотою старости к умножению величия увенчанные власы: все сие не являет ли в нем обладателя пространной и обширной державы?

Глава VI.

Давно уже ты был достоин усыновления: но мы не ведали бы ныне, сколько держава тебе одолжена своим благоденствием, если бы ты усыновлен был прежде. . . Поверглось на лоно твое потрясенное отечество. . со вручением тебе державы ты потерял, он приобрел спокойствие.

Глава VIII.

Поддерживая себя и отечество на раменах твоих, он укрепился твоею юностию, твоею силою.

Глава XXXV.

Имеешь друзей, ибо сам хранишь дружбу. Силою власти вселить любви никто не может. Сие чувствование есть самое высокое и свободное, гнушающееся рабством и требующее любви взаимной. Государь может иногда подвергнуться неправедной ненависти, хотя сам не будет никого ненавидеть; но приобресть любовь без любви не может. Твоя любовь к гражданам доказывается их взаимною любовью; и вся слава сего благородного чувства принадлежит единому тебе. (Ср. современный перевод в издании: «Письма Плиния Младшего», 1950).

467 (¹). Сходные суждения о драме Н. И. Ильина — в рецензии Гнедича, напечатанной в «Северном вестнике» (1804, ч. I, № 1, см. примечание к стр. 66²). Следует кстати указать и на то, что приведенные выше слова Гнедича о «людях большого света, приученных иностранным воспитанием смотреть с некоторым равнодушием на отечественные театральные произведения», повторены почти буквально во «Вступлении», которым открывается первый номер журнала «Драматический вестник» (1808 г.). Возможно, что автором этого «Вступления» был Гнедич.

468 (¹). Мери Робинсон (рожд. Darby) была артисткой Друлиленского театра в Лондоне в 1776—1780 гг.; ученица Гаррика, она особенно прославилась в ролях Корделии, Джульетты и Пердиты («Зимняя сказка» Шекспира). Кроме того, она была известна как автор стихотворений, романов и пьес. Мемуары Робинсон появились впервые после ее смерти, в 1801 г. (Лондон, 4 тома); второе издание, дополненное некоторыми посмертными стихотворениями, вышло в 1803 г. Французский перевод («Mémoires de Mistriss Robinson, célèbre actrice

de Londres. . .») вышел в 1802 г. Неясно, каким изданием пользовался Жихарев и почему в 1807 г. он называет записки Робинсон «только что появившимися». Это тем более неясно, что английским языком Жихарев, повидимому, не владел, а во французском издании нет ее стихотворений; между тем в записи от 27 апреля (стр. 494) он называет свое стихотворение «Осень» переделкой «Осени» мистрис Робинсон. Странно, с другой стороны, то, что Жихарев нашел в ее записках «множество любопытных и чрезвычайно верных замечаний об искусстве театральном». Во французском издании никаких таких замечаний нет, что поставлено в упрек автору записок редакцией «Драматического вестника», поместившей заметку о мистрис Робинсон. Сжато изложив ее биографию, автор заметки говорит: «Робинсон сама описывала жизнь свою; но сие описание, однако же, не ею было кончено и выдано в свет. Оно содержит только частную жизнь ее; но ничего о драматическом искусстве, которого всякий читатель думает найти в записках знаменитой особы, посвятившей жизнь свою театру. Все ее любовные похождения с принцем Валлийским, с герцогом Орлеанским и с прочими знатными особами ни мало не могут заменить ее нерадения о правилах театра» (1808, № 8, стр. 69—71, с ссылкой на французское издание). Таким образом, источник сделанного в следующей записи Жихарева перевода замечаний мистрис Робинсон о театральном искусстве нам неизвестен. В той же записи целая страница, насыщенная массой фактов, отведена вопросу об учениках великих актеров. Заключительная ссылка Жихарева на то, что все это рассказал ему старый актер Ларош, неправдоподобна; материал этот взят, конечно, из театральной литературы — из какой-то французской книги о театре. Как и в других случаях, Жихарев предпочитает сослаться не на книгу, а на чей-нибудь рассказ, чтобы сохранить характер дневника. Из той же книги, очевидно, взят материал об английской артистке Беллами (см. следующее примечание).

471 (1). В «Драматическом вестнике» 1808 г. (№ 11, стр. 101—103) есть заметка: «Мисс Беллами, англинская актриса» (подпись — «*И.*»). В заметке приводятся основные факты ее биографии, взятые (как сказано) из ее «Записок» и совпадающие с теми, которые сообщает Жихарев. После слов о нищете, в которую она впала, говорится о том, что она решила лишить себя жизни: «В сей роковой час Беллами сходит уже с ступеней Вестминстерского моста, чтобы броситься в реку Темзу; но, как обыкновенно со многими случается, что или нечаянно помешают случившиеся на ту пору люди исполнить предприятие или вопреки их самих почувствуют сильное раскаяние, — точно так и для мисс Беллами то и другое было большим препятствием; почему она, отложив свое намерение, снова примиряется с жизнью, кормится подаянием прежних своих знакомых и даже играет на театре». Заметка кончается сожалением, что в записках мисс Беллами не сказано ни слова о правилах театра и игре актеров, о сочинителях и театральных сочинениях, «почему сии записки весьма бесполезны для любителей и знатоков театра». Под «Записками» автор заметки разумеет, очевидно, книгу: «Апология жизни Жорж-Анны Беллами» («An Apology for the

Life of G. A. Bellamy»; 6 томов, 1785). Эта книга, написанная самой Беллами, была переведена на французский и немецкий языки. (Ср.: Memoirs of George-Anne Bellamy by a Gentleman of Covent Garden Theatre, 1785). В «Dictionary of National Biography» указано, что год ее рождения не 1731, а вернее всего 1727.

474 (1). Речь идет о сатире С. Н. Марина, адресованной И. И. Дмитриеву и направленной против бездарного стихотворца Д. И. Хвостова (начало — «Любимец нежных муз, питомец Аполлона»). Сатира напечатана в «Драматическом вестнике» (1808, № 23, стр. 187—191) под заглавием: «Сатира. (Взятая из Буало.)». Это вольный перевод 2-й сатиры Буало. Стихи, процитированные Жихаревым в примечании, находятся в разных местах и читаются иначе:

Ст. 19—20. Когда ж с Омиром я сравнить кого готов,
Херасков на уме, а под перо́м Графов.
Ст. 33—36. О! если б я умел мою принудить музу,
Чтоб, тяжких правил всех свалив с себя обузу,
Решилася в стихах искать лишь слов набор
И кстати вклеивать холодный важный вздор;
Ст. 73—74. Сам у себя весь век я находясь в неволе,
Завидую твоей, о Патрикеич! доле.

«Графов» — шутливое прозвище Д. И. Хвостова. Под «Патрикеичем» в данном случае Марин разумеет того же Хвостова. Что же касается «Эпиграммы» Патрикеича, написанной, по словам Жихарева, на Фонвизина, и ответных стихов Фонвизина, то В. Семенников считает эти указания Жихарева сомнительными. Он полагает, что уличный стихотворец Патрикеич жил позднее того времени, когда было написано «Послание к Ямщикову», которое цитирует Жихарев. «По крайней мере, архиепископ калужский Феофилакт, которому Патрикеич поднес свои нелепые вирши, был назначен в Калугу лишь в 1803 г. Жихарев упоминает о Патрикеиче под 1807 г. своих «Записок». Поэтому мы думаем, что Патрикеич славился, притом едва ли в особенно широком кругу, приблизительно в это время. Послание же к Ямщикову написано в 60-х годах XVIII в. Очень трудно допустить, чтобы этот Патрикеич в течение целого полустолетия был каким-то «уличным стихотворцем», как его называет Жихарев» («Русский библиофил», 1914, № 4, стр. 75). Запись о Патрикеиче см. у Д. И. Хвостова («Литературный архив», I, 1938, стр. 385).

475 (1). Цитата из трагедии Расина «Федра» (акт IV, сцена 2): «У порока, как и у добродетели, есть свои степени».

475 (2). Цитата из сборника песен немецкого поэта Христиана-Адольфа Овербека «Fritzchens Lieder» (1781 г.).

487 (1). Певица Жозефина Фодор (по мужу — Монвьель) — дочь скрипача, переехавшего из Парижа в Петербург; в 1812 г. уехала в Швецию, потом пела в Италии, Франции, Англии. О ней вспоминает балетмейстер А. П. Глушков-

ский: «М-ль Фодор <. . .> отличалась в это время <1811 г.> на московской сцене своим удивительным голосом и прекрасным методом пения. Она была дочь с.-петербургского театрального музыканта <. . .> училась пению у капельмейстера Кавоса, служила при С.-Петербургском театре в русской оперной труппе певицей и получала жалованья 2500 руб. асс. Находя свой талант стоящим более, она просила прибавки 500 руб. асс., но дирекция театра отказала ей <. . .> Вскоре она сделалась знаменитой европейской певицей и получала более 600 тысяч франков жалованья» («Воспоминания балетмейстера», 1940; ср.: Ф. В и г е л ь. Записки, I, стр. 337). Впоследствии Жихарев писал братьям А. и Н. Тургеневым в Париж: «Не увидите ли знакомую мою Фодор Менвиль? Поклонитесь ей от меня. Я учил ее грамоте, переводил для нее оперы и стоял за нее один против всей дирекции и Шаховского с товарищи» («Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу», 1936, стр. 493). Артистическая карьера Фодор прервалась внезапно в 1825 г. «На сцене во время пения она неожиданно потеряла свой исключительно сильный и очаровательный голос» и с тех пор «скрылась в неизвестности» («Репертуар и пантеон», 1847, т. XI, стр. 28—30). В пятидесятых годах, в Париже, с ней встретился в гостях у композитора Россини писатель В. А. Соллогуб: «Поздоровавшись со мною, Россини подвел меня к дивану, с которого навстречу мне привстало самое фантастическое существо. То была старушка лет за семьдесят, в розовом шелковом платье и с букетом свежих роз, приколотых к ее полуобнаженной, шафранного цвета, совершенно высохшей груди». Россини представил ее Соллогубу: «Я знал, что г-жа Фодор Менвиль была знаменитейшею европейской певицей, но. . . в начале нынешнего столетия, чуть ли даже не в конце прошлого. Я с ужасом себя мысленно спросил, неужели эта старая развалина станет петь?» После обеда Россини сел за рояль — и Фодор запела арию Керубини: «Пением, собственно, нельзя и назвать те звуки, что она, силясь, издавала, а скорее дребезжанием разбитой арфы, хотя метода петь, несмотря на карикатурность приемов, оставалась замечательной» («Воспоминания», 1931, стр. 460—462). В «Записках» М. И. Глинки есть намек на ее русское происхождение: «Г-жа Фодор—Мейнвиель (просто Федорова) обличала свое происхождение: вид ее, приемы, разговор на чистейшем русском наречии и даже манера носить платок и поправлять его часто — все это принадлежало более русской уездной барыне, нежели итальянской актрисе» (1953, стр. 82). П. Арапов («Летопись русского театра», 1861, стр. 183) пишет: «1808-й год был особо замечателен для театра: в январе этого года появилась в русской опере знаменитая певица Жозефина Менвьель-Фодор». К этим словам сделано примечание: «Дочь музыканта Федорова и жена французского актера Менвьеля, которая, оставив петербургский театр, играла в Италии и была увенчана в Риме, как новая Коринна, причем в честь ее была выбита медаль».

488 ([1]). «Псаммит Архимеда» — трактат, в котором знаменитый геометр доказывает возможность исчисления количества песчинок (Ψάμμος — песок). Исходя из объема макового зерна, Архимед вычислил последовательно, сколько

песчинок содержится в шаре с диаметром в один дюйм, сто дюймов и т. д. — вплоть до числа песчинок в шаре, простирающемся до неподвижных звезд; это число оказалось равным десяти в 63-й степени, т. е. числу, которое получится, если к единице приписать 63 нуля. На русском языке «Псаммит» появился в 1824 г. (перевод Ф. Петрушевского).

490 (1). Во всех прежних изданиях (начиная с первопечатного текста в «Отечественных записках» 1855 г., № 9, стр. 143) было: «не хочет посылать десанта и входить в переговоры с Бонапарте». Это противоречит (как заметил Б. В. Томашевский) не только логике, но и фактам. В апреле 1807 г. шведский король Густав IV был принужден войти в переговоры о перемирии с Наполеоном через маршала Мортье, под начальством которого шведский десант был отброшен обратно к Штральзунду: «Бегство шведов, начавшееся в первых числах апреля, закончилось 18-го. Генерал Эссен, боясь, как бы не отняли у него всю Померанию, решил спасти ее при помощи договора о перемирии. К маршалу Мортье явился парламентер с предложением нейтрализовать эту провинцию, запретив в ней всякое проявление враждебности» (А. Тьер. История консульства и империи, кн. 27). В записи Жихарева речь идет именно об этих событиях — о сепаратных переговорах Швеции с Наполеоном; в таком случае «входить» — опечатка (мягкий знак вместо твердого), которую необходимо исправить.

503 (1). Абрам Израилевич Перетц — крупный финансовый деятель, отец декабриста Г. А. Перетца.

503 (2). *Примечание П. И. Бартенева*: «Это был, кажется, брат историка Дмитрия Николаевича, позднее близкий человек князю А. Н. Голицыну, которого Пушкин в известных стихах назвал «покровителем Бантыша». Бартенев имеет в виду В. Н. Бантыша-Каменского, о котором Пушкин упомянул в эпиграмме «На кн. А. Н. Голицына» («Вот Хвостовой покровитель»). (См. о нем в «Записках» Ф. Ф. Вигеля).

505 (1). Цитата из комедии Детуша (Destouches) «Тщеславный» («Le Glorieux», 1732 г., акт III, сцена V): «Гони природу в дверь — она влетит в окно».

506 (1). Цитата из басни Крылова «Пустынник и медведь» — не вполне точная:

Вот Мишенька, не говоря ни слова,
Увесистый булыжник в лапы сгреб,
Присел на корточки, не переводит духу,
Сам думает: «Молчи ж, уж я тебя, воструху!».

Впервые басня была напечатана в «Драматическом вестнике» (1808, ч. I, № 17). Жихарев цитировал, очевидно, на память.

507 (1). Восклицанием «Да здравствует Москва!» Жихарев намекает на то, что он считает себя принадлежащим к «московской школе» (т. е. к школе Карамзина, Дмитриева и Жуковского). О принадлежности к этой школе ему ска-

зал И. С. Захаров, прибавив: «Поживите с нами, мы вас выполируем» (см. стр. 372, ср. стр. 438).

507 (2). В «Отечественных записках» (1855, № 9, стр. 159) есть авторское примечание: «Дневник студента, 25-го июля 1805. „Москвитянин“ 1853». В этой записи приводится рассказ Н. П. Архарова о том, как дед Жихарева приказал лекарям «оживить» будто бы умершую купчиху.

510 (1). *Примечание П. И. Бартенева*:

«Актриса Ежова.
Он злой Карамзина гонитель,
Гроза баллад;
Он маленьких ежат родитель
И им не рад.

Это стихи Д. Н. Блудова (писанные много позднее)». Бартенев ошибся: это стихи из сатирической «кантаты» Д. В. Дашкова «Венчание Шутовского» (т. е. А. А. Шаховского) с изменениями в строках 3—4. В подлиннике (строфа 2):

Он злой Карамзина гонитель,
Гроза баллад;
В беседе добрый усыпитель,
Хлыстову брат.

(См.: А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., в 10 томах, 1949, т. VIII, стр. 8, запись от 28 ноября 1815 г.).

513 (1). У Крылова — «говорить».

514 (1). Комическая поэма А. А. Шаховского «Расхищенные шубы» появилась в печати только в 1811—1815 гг. (в «Чтениях в Беседе любителей русского слова») — и то не полностью: напечатаны три песни, а четвертая (в состав которой входили, вероятно, рассказанные Жихаревым эпизоды) осталась ненапечатанной в связи с прекращением «Чтений» (см.: «Ирои-комическая поэма», редакция и примечания Б. Томашевского, изд. Библиотека поэта», 1933). Жихарев цитирует песнь вторую (она появилась в печати в 1812 г.), вероятно, на память; в подлиннике:

Се мастер гробовой, Фрейтод, с умильным взором,
С улыбкой радостной, как будто перед мором,
Из желтого возка вступает на крыльцо.

514 (2). Княгиня Евдокия Ивановна Голицына (рожд. Измайлова, жена кн. С. М. Голицына) получила прозвище «princesse Nocturne» («княгиня Ночная» или «Полунощница»), потому что друзья и знакомые собирались в ее салоне поздно вечером и засиживались до утра в беседе на политические, художественные и научные темы (Голицына увлекалась, между прочим, вопросами естест. вознания и физики). В числе ее друзей были А. С. Пушкин, П. А. Вяземский,

А. И. Тургенев. О ней см. статью И. А. Кубасова в «Сочинениях» Пушкина под ред. С. А. Венгерова (т. I, 1907, стр. 516—526).

516 (1). В «Отечественных записках» (1855, № 9), а затем в изданиях 1891 и 1934 гг. это место печаталось так: «Тартюфа играл Ларош; брата его — резонера — Деглиньи, Оргона — Дюкроаси» и т. д. Это очевидная опечатка: у Тартюфа брата нет, а у Оргона есть шурин (брат жены, beau-frère) Клеант, резонер; вероятно, его Жихарев и назвал братом Оргона.

519 (1). Волшебно-комическая опера «Князь-невидимка, или Личарда-волшебник» (текст Е. Лифанова, музыка К. А. Кавоса) появилась вслед за «Русалкой» и была впервые представлена в Петербурге 5 мая 1805 г. Содержание оперы и отрывки см. «Русский музыкальный театр 1700—1835 гг. Хрестоматия» (1941, стр. 186—199). Источник см. в указателе пьес.

519 (2). Волшебная опера «Илья-богатырь» (текст И. А. Крылова, музыка К. А. Кавоса) была впервые представлена в Петербурге 31 декабря 1806 г. П. Арапов пишет: «„Илья-богатырь" очень понравился и долго приносил значительные сборы дирекции. Все подобные народные зрелища обставлялись роскошно. В „Илье-богатыре" много комических и вместе с тем остроумных сцен; завистливые критики расточали разные насмешки насчет новой оперы, сравнивая ее с «Русалкою». Директор Нарышкин сказал:

Сравненья критиков двух опер очень жалки:
Илья сто раз умней Русалки!»

(«Летопись русского театра»,
1861, стр. 176).

519 (3). Мысли Вольтера об опере напечатаны в «Драматическом вестнике» (1808, ч. I, № 17, стр. 137—141): «Об опере. (Из сочинений Вольтера)», подпись переводчика — «И». Жихарев имеет в виду следующие слова Вольтера: «Опера любит нечто чрезвычайное. Когда бываешь в ней, тогда можешь сказать, что находишься в области Овидиевых превращений ... Я несколько раз слыхал, что говорят: „Ах! какую прекрасную видели мы оперу! В ней было более двухсот людей верхами". Сии простаки не знают, что четыре превосходные стиха важнее для драмы целого конного полка».

521 (1). Филипп Фабр д'Эглантин (Fabre d'Eglantine) был членом Конвента, сторонником Дантона; в 1794 г. был казнен вместе с Дантоном и его приверженцами. Среди комедий Фабра особенной известностью пользовалась «Филент Мольера, или продолжение Мизантропа» («Le Philinte de Molière, ou la suite du Misanthrope»), в которой рисуется поведение мольеровских персонажей в дальнейшие годы: Альсест изображен последовательным революционером, а Филент бесчестным эгоистом. Эта пьеса была впервые поставлена в Париже 22 февраля 1790 г. и имела большой успех. Подробно о ней и о премьере говорится в книге: C. G. Etienne et B. Martainville. Histoire du théatre français

depuis le commencement de la révolution jusqu'à la réunion générale. A Paris, An X — 1802, т. I, стр. 72—85. Автор сожалеет: «Досадно, что политика оторвала Фабра д'Эглантин от литературы: произведение, обладавшее столь выдающимися достоинствами, возбуждало самые большие надежды, и они не были бы обмануты, потому что Фабр не походил на тех писателей, которые только собираются и обещают, но никогда не исполняют» (ср. разбор этой комедии у J.-F. L a h a r p e, «L y c é e», изд. Didier, 1834, t. 2, стр. 624). Сочинения Фабра были изданы в 1803 г. («Oeuvres posthumes», 2 тома).

522 (1). Варвара Петровна Пýкалова (род. в 1784 г.), внебрачная дочь П. С. Мордвинова, была женой И. А. Пýкалова и любовницей Аракчеева («из чести лишь одной», как сказано в «Опасном соседе» В. Л. Пушкина). Она широко пользовалась своей протекцией и торговала чинами и орденами (см. в «Записках» Ф. Ф. Вигеля).

522 (2). Это был портрет маркграфа Александра — последнего ансбахбайрейтского маркграфа (умер в 1806 г.). Артистка Клерон была его любовницей и провела несколько лет в его маркграфстве; затем Александр сблизился с лэди Кревен (Elisabet Craven), на которой и женился (см. «Memoirs of the Margravine of Ansbach, forderly lady Craven»).

527 (1). Павел Сергеевич Потемкин служил генерал-губернатором Саратовского и Кавказского наместничеств и занимался переводами. Трагедия Вольтера «Магомет» шла на сцене в его стихотворном переводе с 1795 г.

532 (1). Антон Григорьевич Владыкин — востоковед, филолог; был в Пекине в числе «учеников», посланных в 1781 г. в Китай с архимандритом Иоакимом Шишковским (см.: «Материалы для истории российской духовной миссии в Пекине», ред. И. И. Веселовского, вып. I, СПб., 1905). По возвращении (1794 г.) Владыкин был назначен переводчиком с китайского и маньчжурского языков при Коллегии иностранных дел. Один из трудов Владыкина — «Грамматика и лексикон манчжурского языка» (рукопись хранится в Гос. Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина).

532 (2). Спиридон Юрьевич Дестунис, грек (родился на о. Корфу), учился в Московском университетском пансионе, потом был консулом в Смирне; историк-эллинист и переводчик. «Жизнеописания» Плутарха в его переводе были изданы в 1813—1821 гг.; в 1807 г. в Петербурге была издана книжка под названием «В о е н н а я т р у б а. Печатано по приказанию Бонапарте в бытность его в Александрии 1801 г. С греческого перевел С п. Д е с т у н и» с прибавлением замечаний на оную» (см. каталог Сопикова, № 12082). Книжка открывается «Примечанием на прокламацию под названием Военная труба», в котором Дестунис говорит о коварной политике Наполеона в отношении к Греции после взятия им Египта: «Предлагаемая здесь прокламация к греческому народу была обнародована в это самое время. Издатель оной на российском языке имеет своею целию открыть коварные умыслы французского правительства и показать свету, какие употребляет оно средства, чтоб возмутить народное спо-

койствие. Легче остеречься от злодея, когда он обнаружен». Вся книжка направлена против Наполеона. Кроме вступительного «Примечания» в ней напечатаны: текст наполеоновской «прокламации» под заглавием «Военная труба», статья «Вгляд на политические отношения России с Оттоманскою Портою. Из Северного журнала» (очевидно «Journal du Nord»), «Примечание на послание Наполеона Бонапарте к блюстительному сенату, от 29 генваря 1807 года. Из Сев. журнала». Фронтисписом служит гравюра, изображающая страдания Греции под владычеством Турции.

532 ([3]). Федор Лаврентьевич Халчинский перевел: «Наполеон Бонапарт и французский народ» (1806, с немецкого) и то сочинение, о котором говорит Жихарев: «Рассуждение генерала Жомини о великих военных действиях, или Критическое и сравнительное описание походов Фридриха II и Наполеона» (8 томов, 1809—1817).

533 ([1]). Задуманный А. А. Шаховским журнал выходил в 1808 г. под названием «Драматический вестник»; его издателями и ближайшими сотрудниками (кроме самого Шаховского) были И. А. Крылов, А. А. Писарев, Д. И. Языков и С. Н. Марин. Журнал резко критиковал сентиментальные пьесы Коцебу и его последователей. Характерна для позиции журнала статья «Смесь общих правил для театра» (№№ 56—59). В «Драматическом вестнике» напечатаны сатиры Шаховского (в том числе «Разговор цензора и его друга», о которой Гнедич говорил Жихареву), С. Н. Марина, стихотворения Жихарева («Осень», «К моей родине»). Первый номер журнала открывался «Вступлением», в котором говорилось: «Жители больших городов разделяются на два рода: одни государственною или семейственною должностию осуждены ко всегдашним трудам; другие праздностию и изобилием доводятся часто до уныния. Театр служит для тех и других убежищем: первые находят в нем приятное отдохновение после полезных занятий, а вторые не трудное занятие, прогоняющее их скуку. Театральные зрелища (не говоря о нравственной цели комедии и трагедии) уже и тем приносят важную пользу обществу, что, привлекая к себе людей разных состояний, заставляют их проводить праздное время в забавах невредных для общественного спокойствия. Для доказательства сей истины мы не имеем нужды приводить древние или иностранные примеры: сами у себя видим мы пользу театральных зрелищ. Усовершение нашего театра нечувствительно переменило образ мыслей наших ремесленников: тот из них, который за несколько лет пред сим, имея излишние деньги, пошел бы в буйстве убивать и время и здоровье, идет теперь в театр. Оно же обращает на себя внимание людей большого света, приученных иностранными воспитателями глядеть с некоторым презрением на отечественные произведения ума. Уже большая часть из них говорят без стыда, что они плакали в „Семире“, „Дидоне“, „Эдипе“, „Пожарском“, смеялись в „Недоросле,“ „Модной лавке“ и даже (боюсь, чтоб не сказать в дурной час) начинают насмехаться над слепыми обожателями иностранного. Красота драматического творения, выражаемая искусным актером, показывает им красоту того языка,

который они прежде презирали, забывая, что знание оного необходимо для людей, желающих достигнуть до высших степеней в государстве и что военачальник, вельможа и судья, не знающий хорошо природного языка, не только будет смешон, но даже и вреден своим соотечественникам».

534 (1). В «Свадьбе Фигаро» Бомарше Сюзанна восклицает (акт I, сцена 1): «Que les gens d'esprit sont bêtes!» («Как глупы умные люди!»). Шаховской имел в виду, очевидно, эти слова Сюзанны.

535 (1). Аристарх Владимирович Лукницкий был издателем журнала «Северный Меркурий» и переводчиком французских пьес. Анекдот о немце-портном напечатан в «Драматическом вестнике» (1808, ч. I, № 6, стр. 54—55; подпись — «Л»), под заглавием «Быль». В строке 2 — «а мастерством портной»; в строке 31 — «он мог два слова». Впоследствии Лукницкий примкнул к партии обиженных Шаховским авторов и актеров, распускавших о нем всевозможные неблаговидные слухи.

536 (1). «Богач Мольво» — это, вероятно, известный в то время петербургский сахарозаводчик («коммерции советник») Я. Мольво. Его фамилия стала номенклатурой сахара высшего сорта (ср. «сахар молво» в рассказе Лескова «Левша»).

537 (1). В «Отечественных записках» (1855, № 10, стр. 366) есть авторское примечание: «См. Дневник студента». В московских записях 1805 г. Жихарев часто говорит о Штейнсберге.

539 (1). Фридрих-Максимилиан Клингер, немецкий писатель, автор драмы «Буря и натиск», заглавием которой обозначается целая эпоха в истории немецкой литературы, в 1780 г. приехал в Петербург и стал чтецом при супруге Павла I; потом был директором Кадетского корпуса, затем — Пажеского, затем — попечителем Дерптского учебного округа.

546 (1). Цитата из «Послания к кн. С. Н. Долгорукову» Д. П. Горчакова:

Всем хочется писать, велик иль мал их дар,
Повсюду авторства в сердцах затмился жар;
Исполнить, торопясь, писательски желанья,
Все в ежемесячны пустилися изданья,
И наконец, я зрю в стране моей родной
Журналов тысячи, а книги ни одной.

Интересно, что эту же цитату из сатиры Д. П. Горчакова привел П. А. Вяземский в своей записке по поводу арзамасского журнала (1818 г.) и сопроводил ее сходными рассуждениями: «И взапуски тысяча голосов повторяют за ним кстати или некстати эти два стиха. Во-первых, польза журналов у нас очевидна, а во-вторых, журналов у нас большой недостаток. Во всех других просвещенных землях их гораздо более. Мы можем считать у себя двух только журналистов: Новикова и Карамзина» («Арзамас», 1933, стр. 240).

547 (¹). Это — не послание, а басня «Пастух и Соловей», посвященная В. А. Озерову и написанная в связи с нападками на его «Димитрия Донского» со стороны шишковистов — «последователей старого слога, старого сумароковского вкуса, выдающих себя с своим школярным учением сорокалетней давности за судей всех сочинителей» (как писал Батюшков А. Н. Оленину). Батюшков написал эту басню в ответ на слухи о том, что Озеров, огорченный этими нападками и интригами, собирается бросить литературную деятельность.

548 (¹). Эта запись должна стать предметом специального театроведческого исследования. Известно, что И. А. Дмитревский работал над историей русского театра. По свидетельству современников, первая рукопись, законченная им в 1792 г., была утеряна, а вторая (написанная в 1804 г. уже по заказу Российской Академии Наук) сгорела (см. подробности в книге: В. Н. Всеволодский-Гернгросс. И. А. Дмитревский, 1923). Известно также, что Дмитревский принимал участие в «Словаре» Е. Болховитинова — в тех статьях, где говорится о драматических писателях. Таким образом, Дмитревский был в это время основным и чуть ли не единственным знатоком истории русского театра начиная с сороковых годов XVIII в. Тем более важно выяснить, о какой тетради Дмитревского говорит Жихарев. В 1787 г. в Москве, в типографии А. А., был издан «Драматический словарь», представляющий собою алфавитный список пьес, шедших в России, с указанием первых постановок и изданий, успеха или неуспеха у публики, игры актеров и проч. (переиздан А. Сувориным в 1880 г.). Автор этого словаря до сих пор не установлен (см. заметку «Драматический словарь» в БСЭ, т. 15, 1952, стр. 175). П. Н. Берков высказал предположение, что автором этого словаря был сам его издатель, владелец типографии А. Анненков («Известия АН СССР. Отделение литературы и языка», 1949, т. VII, вып. 4, стр. 358); однако запись Жихарева дает основание для другой гипотезы: не был ли автором «Драматического словаря» 1787 г. или, по крайней мере, его близким участником Дмитревский? Сделанное Жихаревым описание тетради совершенно подходит к содержанию и построению словаря, дата — тоже. Отметим, кстати, что сказанное в словаре о «Мельнике» Аблесимова почти дословно совпадает с тем, что сказано об этой пьесе в «Словаре светских русских писателей» Е. Болховитинова.

549 (¹). Артистка Белье (Бельо) перешла в драматическую труппу из балетной по совету И. А. Крылова, который, по словам А. Глушковского, был ее руководителем при разучивании ролей («Воспоминания балетмейстера», 1940, стр. 144—145).

551 (¹). Личность и поведение В. Н. Каразина (как и причина его увольнения в 1804 г. из Министерства народного просвещения, где он играл видную роль) остаются до сих пор не вполне выясненными. С одной стороны, он прослыл пылкой и благородной личностью и удостоился высокой оценки Герцена [статья «Император Александр I и В. Н. Каразин» в «Полярной звезде» (1862, кн. 7, вып. 2-й)]; украинские историки (он был харьковским помещиком и основате-

лем Харьковского университета) считали его одним из самых передовых деятелей александровской эпохи, особенно в отношении крестьянского вопроса. С другой стороны, еще А. Ф. Воейков в своей сатире «Дом сумасшедших» написал о Каразине:

Вот в передней раб писатель
    Каразин-хамелеон,
Земледел, законодатель. . .
    Взглянем: что марает он?
Песнь свободе, деспотизму,
    Брань и лесть властям земным,
Гимн хвалебный атеизму
    И акафист всем святым!

Это подтвердилось найденными впоследствии архивными материалами: в 1820 г. Каразин писал В. П. Кочубею доносы на Пушкина (они повлияли на решение выслать Пушкина из Петербурга); а затем и на других «дворянских вольнодумцев» (см. главу о Каразине в книге: В. Базанов. Вольное общество любителей российской словесности. Петрозаводск, 1949, стр. 162—217).

551 (2). «Автомедон» — возница, по имени возницы ахиллесовых коней в «Илиаде» Гомера (см. конец песни XVI и песнь XVII).

553 (1). «Бисетр» (Bicêtre) — дом для умалишенных в окрестностях Парижа.

554 (1). «Трагедия „Мисс Сара Сампсон“, переведенная Левшиным» — это знаменитая трагедия Лессинга «Miss Sara Sampson» (1755 г.), родоначальница так называемых «мещанских» (т. е. буржуазных) трагедий и драм, осуществившая на деле теоретические взгляды и требования Дидро. Характерно, что в русском драматическом репертуаре XVIII в. эта трагедия занимала очень скромное место и оказалась безымянной. В «Драматическом словаре» 1787 г. сказано: «Мис-Сара-Самсон. Трагедия в пяти действиях, переведена с английского подлинника на немецкий; а потом на российский язык перевел В. Левшин. Сия трагедия была играна только два раза на Московском театре; пиеса наполнена чрезвычайною жестокостию, а особливо в роле Марвууд, которую на московском театре актриса гж. Калиграф представляла и приобрела похвалу от публики рукоплесканием беспрестанным» (стр. 80—81). Предположение об английском подлиннике возникло, очевидно, потому, что действие трагедии происходит в Англии. «Жестокость» ее заключается в том, что одна из героинь, ревнивая Марвуд, отравляет свою соперницу Сару, а герой в отчаянии кончает самоубийством. В 1801 г. «Мисс Сара Сампсон» шла в Петербурге — с той же Надеждой Калиграфовой: «27-го сентября был дебют актрисы Сахаровой, в роли Эльфриды, в трагедии этого названия, а 30-го дебют Надежды Калиграфовой в трагедии „Мисс Сара Сампсон“. Успех обеих актрис был совершенный» (П. Арапов. Летопись русского театра. 1861, стр. 156). Как

видно, Арапов тоже не был осведомлен о том, что автор этой трагедии — Лессинг.

564 (1). П. Арапов решительно возразил против этих слов Жихарева: «Старый театрал С. П. Жихарев неправ в своих воспоминаниях, что Дмитревский не давал никакого понятия артистам об изучаемых ими ролях и не вразумлял их в искусстве; составитель этих статей находился в сношении с прежними известными артистами: Ел. Сем. Сандуновой, К. С. Семеновой, с Андр. Вас. Каратыгиным, из дневных журналов коего составлен этот обзор, и он знает от них достоверно, что Дмитревский был руководителем многих талантов» («Летопись русского театра», 1861, стр. 122).

568 (1). В печатном тексте несколько иначе:

Се вид Дмитревского! любимца Мельпомены,
Который русский наш театр образовал,
Искусством коего животворялись сцены:
Он Гаррика в себе с Лекенем съединял.

(А. Яковлев, Соч., 1827, стр. 95).

570 (1). Весь этот рассказ Дмитревского — цитата из «Дневника чиновника» (запись от 15 мая 1807 г.). Так получилось потому, что «Воспоминания старого театрала» были напечатаны в «Отечественных записках» до появления там же «Дневника чиновника».

574 (1). Слово «швермер» (нем. Schwärmer) употреблено здесь не в своем обычном значении (мечтатель, гуляка), а в том, которое существовало в пиротехнике: змейка, ракета.

578 (1). Это очевидная ошибка: «Беверлей» — драма не Дидро, а французского драматурга Бернар-Жозеф Сорена (Saurin, 1706—1781), переделанная из английской драмы Эдуарда Мура «Игрок». Эта «буржуазная трагедия» в стихах была впервые представлена в Париже в 1768 г. в бытность там И. А. Дмитревского; в 1773 г. она вышла в его прозаическом переводе: «Б е в е р л е й, мещанская трагедия. С французского языка перевел Г. Дмитревской. СПб., 1773». В этой драме представлен человек, погибающий от страсти к карточной игре. О герое этой драмы говорится в «Дневнике одной недели» Радищева: «Беверлей в темнице — о! колико тяжко быть обмануту теми, в которых полагаем всю надежду! Он пьет яд — что тебе до того? Но он сам причина своему бедствию — кто же поручится мне, что и я сам себе злодей не буду?».

583 (1). Цитата из оды Горация «Exegi monumentum» («Я памятник воздвиг», кн. III, ода XXX): «весь я не умру».

585 (1). В «Отечественных записках» (1854, № 10, стр. 115) есть авторское примечание: «См. „Дневник студента“ в „Москвитянине“ (книжка 3 1853 г.)». Жихарев имел в виду запись от 3 января 1805 г., в которой говорится об обеде у М. А. Долгорукова.

586 (1). В «Отечественных записках» (1854, № 10, стр. 117) есть авторское примечание: «См. „Дневник студента“ в „Москвитянине“ (1853 г., книжка 5)». Жихарев имел в виду запись от 5 ноября 1805 г., в которой цитируется стихотворный пасквиль на Державина, сочиненный Н. И. Кондратьевым.

587 (1). По поводу этого места «Воспоминаний» П. Арапов говорит: «Старый театрал С. П. Жихарев в своих воспоминаниях ошибается, говоря, что роль Ильи Яковлев передал Глухареву; со второго представления 15 января 1807 года играл Илью Бобров и потом уже Глухарев и Чудин; несправедливо также и то, что будто говорил Яковлев, что скоро заставят его играть в „Русалке“ Видостана; Яковлев действительно играл Видостана в 1-й и 2-й части „Русалки“. При прежних постановках пьес это иначе и быть не могло» («Летопись русского театра», 1861, стр. 176).

587 (2). Эта статья («Я. Е. Шушерин и современные ему литературные знаменитости») принадлежала С. Т. Аксакову. Жихарев возражает ему не только в этом месте, но и в других местах своих «Воспоминаний», решительно защищая Яковлева.

588 (1). Историк русского театра этой эпохи А. Н. Сиротинин называет сделанный Жихаревым сравнительный разбор игры Плавильщикова и Шушерина в роли Эдипа «бесценным»: «Здесь, в этом почти протокольном отчете, восстают перед нами, как живые, два наилучших представителя сценического искусства XVIII века, и тем поучительнее и ценнее отчет, что роль Эдипа была у них обоих, так сказать, вершительным словом, высшим и совершеннейшим проявлением всей их творческой деятельности» («Русский архив», 1890, № 5, стр. 91).

596 (1). Карл Раппо — известный в свое время силач-гимнаст, прозванный «Северным Геркулесом». В 1825 г. приехал в Россию и жил до 1830 г., а затем приезжал в 1839, 1844 и 1852 гг. (См.: «Книга воспоминаний о Пушкине», под ред. М. Цявловского, 1931, стр. 45). Его имя было настолько популярным, что оно иногда появлялось как общеизвестное в беллетристике и в статьях. Так, Белинский в статье о стихотворениях А. И. Полежаева («Отечественные записки» 1842 г.) говорит: «Раппо одарен чрезвычайною силою, но играть чугунными шарами, как мячиками, еще не значит быть героем». В «Юности» Льва Толстого Николенька мечтает: «Буду делать нарочно движенья как можно больше, гимнастику каждый день, так что, когда мне будет двадцать пять лет, я буду сильней Раппо» (глава III).

597 (1). Первые строки стихотворения Державина «Г. Озерову на приписание Эдипа» (1806 г.). Это стихотворение было написано в ответ на посвящение Державину, с которым В. А. Озеров издал свою трагедию «Эдип в Афинах». В этом посвящении Озеров говорит: «Посвящая вам сию трагедию, я приношу мой дар не тем достоинствам, кои возвели вас на высокие степени в государстве. Пусть беспристрастное потомство судит ваши подвиги на службе отечества: автор „Эдипа“ желал только принести дань удивления и восторга тому великому гению, который явил себя единственным соперником Ломоносова и

с выспренним парением Пиндара умел соединить философию Горация и прелестную игривость Анакреона». Вяземский говорит в статье об Озерове, что Державин ответил на это посвящение «стихами, уже отзывающимися старостию поэта и не стоющими прозы Озеровой».

597 (²). На основании этих слов можно сделать вывод, что Жихарев вел свои «записки» вплоть до 1854 г. Как указано в статье «Источники текста», из всех этих записок нам известны только те, которые были напечатаны самим Жихаревым, т. е. дневники 1805—1807 гг.

599 (¹). П. Арапов решительно не согласен с этой защитой Шаховского и утверждает, что Шаховской преследовал Озерова («Летопись русского театра», 1861, стр. 179). В «Арзамасе» тоже считали Шаховского врагом Озерова (ср. стихотворение Пушкина «К Жуковскому» 1816 г.).

599 (²). В литературе о Семеновой принято было считать, что она «перешла» от первого своего учителя, Шаховского, к Гнедичу, потому что поняла, что «говорная читка» первого не подходит для исполнения трагических ролей. Так изображает дело и Жихарев (ср. на стр. 616). В действительности было не так. Шаховской советовался с Гнедичем относительно произнесения стихов в трагедиях Озерова и не только не порицал напевную манеру Гнедича, но просил его дать понятие об этой манере всей труппе. Так, трагедию Озерова «Димитрий Донской» актеры услышали впервые с голоса Гнедича. Такую же работу проводил Гнедич и по другим постановкам 1807—1808 гг., еще до приезда французской артистки Жорж (см.: И. Медведева. Н. И. Гнедич в общественной и литературной борьбе первой четверти XIX в., Диссерт., 1949, стр. 50—51). Интересно, что Пушкин в статье «Мои замечания об русском театре» (1820 г.) решительно возражал против превращения Семеновой в ученицу Гнедича или артистки Жорж: «Одаренная талантом, красотою, чувством живым и верным, она образовалась сама собою. Семенова никогда не имела подлинника. Бездушная французская актриса Жорж и вечно восторженный поэт Гнедич могли только ей намекнуть о тайнах искусства, которое поняла она откровением души. Игра всегда свободная, всегда ясная, благородство одушевленных движений, орган чистый, ровный, приятный и часто порывы истинного вдохновения, все сие принадлежит ей и ни от кого не заимствовано».

600 (¹). *Примечание А. А. Краевского*: «Как жаль, что до сих пор нет полного собрания сочинений князя А. А. Шаховского! Пьесы его, напечатанные отдельными книжками, сделались теперь почти библиографической редкостью; по крайней мере собрать их все в одном экземпляре очень трудно. А сколько еще пьес не напечатанных, оставшихся в рукописи у его наследников! Князь Шаховской был знаток сцены, и сочинения его очень пригодились бы многим и многим. Ред».

601 (¹). Артистка Болина, воспитанница театральной школы, пробыла на сцене всего один сезон (см. в записи от 23 апреля 1807 г.) и вышла замуж без дозволения начальства. Признавая поступок этот «самовольным и дерзким»,

дирекция представила дело самому Александру I в виде доклада, в котором она просила утвердить положение, состоящее в том, чтобы «воспитанники обоего пола императорского театрального училища, по выпуске их из оного, не могли прежде десяти лет, считая от дня их выпуска, ни под каким предлогом, даже и супружества, оставлять службу при театре без особого на то от дирекции увольнения, да и оное бы сопряжено ныне было с тем, чтоб увольняющаяся особа за все время пробытия ее в школе внесла за себя сумму, составляющую сложность издержек, употребленных на воспитание десятерых питомцев» (С. В. Танеев. Из прошлого императорских театров, вып. I, 1885, стр. 32). Дальнейшая судьба Болиной рассказана Ф. Ф. Вигелем: «Осьмнадцатилетняя певица. . . сделалась несчастнейшею из помещиц. Сперва из ревности, а потом стыдясь неравного брака, муж всегда поступал с нею жестоко и не давал ей нигде показываться. . . Лет двадцать спустя, по приглашению Маркова, случилось мне раз у них обедать: о боже! в грации, которою я некогда так восхищался, нашел я что-то хуже деревенской барыни, простую кухарку, неповоротливую, робкую, которая не умела ни ходить, ни сидеть, ни кланяться и как будто не смела говорить» («Записки», 1928, т. I, стр. 336).

602 (1). Цитата из комедии Вольтера «Шарло» («Charlot»; акт I, сцена VII): «Так вот как пишут историю!». Эти слова давно стали употребляться не как цитата, а как поговорка.

602 (2). О первых выступлениях и успехах М. И. Вальберховой (1807—1808 гг.) см. в книге: Иван Вальберх. Из архива балетмейстера. Ред. Ю. И. Слонимского, 1948.

606 (1). Иоганн Юнг-Штиллинг и Карл фон Эккартсгаузен — немецкие мистические писатели, популярные среди масонов. «Тоска по отчизне» («Das Heimweh», 1794) — мистический роман Юнг-Штиллинга, наполненный всякого рода аллегориями и пророчествами. Русский перевод этого романа начал выходить в 1807 г., но был задержан и уничтожен. Новое издание (после личного знакомства Александра I с автором) вышло полностью в 1818 г. По какому изданию мог читать «Тоску по отчизне» А. С. Яковлев — не ясно.

606 (2). Стихотворения А. С. Яковлева вышли в 1827 г. отдельным изданием: «Сочинения Алексея Яковлева, придворного российского актера. СПб., типография А. Смирдина». Книга открывается «Кратким жизнеописанием Алексея Семеновича Яковлева» (без подписи); в начале этой статьи сказано: «Яковлев бесспорно может быть включен в число тех счастливцев, кои достигли цели, им предназначенной; а Николай Иванович Перепечин, директор банка, помещен в число тех немногих благородных меценатов, покровительству коих Россия обязана отличными сынами своими». Стихотворения расположены по пяти разделам: I. Духовные сочинения. II. Лирические стихотворения. III. Послания. IV. Сатирические сочинения. V. Мелкие стихотворения. VI. Отчаянный любовник. Трагическое происшествие. Из них наиболее интересны «мелкие стихотворения», среди которых — «Мрачные мысли» (авто-

биографическое), «Меланхолия», «Справедливость». Здесь же любопытное стихотворение, обращенное к актеру Н. В. Волкову (из крепостных):

Девятыйнадесять проходит ныне год,
Как Волков, Яковлев приятелями стали;
Вселенна потряслась, войной кипит народ,
А Волков, Яковлев врагами не бывали.
О, если бы вражде и самой злобе в казнь
Не изменилася по гроб сия приязнь!

615 (1). Комедия Н. Р. Судовщикова «Неслыханное диво, или Честный секретарь» (в трех действиях, в стихах) была написана в 1802 г., вслед за «Ябедой» В. В. Капниста и в прямой связи с ней: Судовщиков повторил даже фамилии некоторых действующих лиц (Кривосудов, Прямиков). Цитаты из комедии сделаны Жихаревым очень неточно. Первая цитата — из первого действия:

Кривосудов (Асмодею)

Примолвить не забудь, что сахар нынче дорог.

Асмодей

Пожалуй, не учи, ведь я тебе не ворог.

Вторая цитата — из второго действия:

Правдин

Любовь есть чувство. . .

Кривосудов (перебивая)

Прочь с механикою, прочь!

Третья цитата — из того же действия. Служанка (Стрела) говорит секретарю Правдину:

Вы знаете, сударь, что ходит к нам квартальный —
Он ростом невелик — лицом такой фатальный. . .

Последняя цитата (из первого действия) совершенно искажена; дворник Асмодей говорит служанке Стреле:

Взглянико-сь на себя: ведь ты уж кобылица.

(«Сочинения Судовщикова». Изд. А. Смирдина, СПб., 1849).

618 (1). О неправильности такого взгляда на Семенову и на стиль ее игры в трагедиях Озерова сказано выше в примечании к стр. 599 2. Семенова брала уроки чтения стихов у Гнедича, который был теоретиком эмоциональной, на-

певной (романтической) декламации, но это не значит, что Семенова усвоила «ложное направление» и проч. Это неверно уже по одному тому, что Семенова была не декламатором, а актрисой, и в этом смысле она никак не могла быть ученицей Гнедича. Жихарев следует в данном случае традиции, идущей от актера Я. Е. Шушерина (см. в очерке С. Т. Аксакова «Я. Е. Шушерин и современные ему театральные знаменитости»), сторонника совсем другой школы игры и декламации. П. Арапов решительно возражает Жихареву: «Он говорит, что она ‹Семенова› изменила свою дикцию только с 1810 года и первая запела в русской трагедии и что это привилось к ней от неправильно понятой дикции актрисы Жорж. Это правда, что Семенова много переняла у актрисы Жорж, которая играла в Петербурге уже в 1808 году, н о ч т о к а с а е т с я д о д и к ц и и, т о в т о в р е м я о н а б ы л а в о о б щ е п е в у ч а я. Семенова, исполняя те же самые роли, в которых являлась Жорж в Петербурге и Москве, имела такие же минуты вдохновения и приводила в восторг зрителей. Никаких нот Гнедич для нее не сочинял, но только объяснял ей ситуации ее роли. Сама Жорж сознавала великий талант Семеновой. За кого принимал старый театрал своих читателей?» («Летопись русского театра», 1861, стр. 180. — Разрядка моя. — *Б. Э.*).

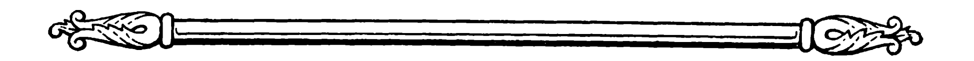
621 (1). Рукопись комедии Крылова «Лентяй» хранится в Гос. Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград). Жихарев цитирует не совсем точно начало комедии (И. А. К р ы л о в, Соч., т. II, М., 1946).

621 (2). Это «стихотворное наставление» С. Н. Марина известно только по приведенным у Жихарева строкам; дальнейший текст не найден.

624 (1). Актер Я. Г. Брянский (о нем см. в статье Пушкина «Мои замечания об русском театре», в «Записках» П. А. Каратыгина) был отцом Авдотьи Яковлевны Головачевой-Панаевой, гражданской жены Некрасова (см. ее «Воспоминания», под ред. К. И. Чуковского).

631 (1). В экземпляре библиотеки М. Н. Лонгинова [Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом)] эти инициалы раскрыты рукой Лонгинова: «Льва Кирилловича Нарышкина». К словам «в подмосковном селе его» приписано: «Кунцове».





ПЕРЕВОДЫ ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ

Стр. 12 Экоссез (франц.) — шотландский танец; а-ла-грек (франц.) — по-гречески.

Стр. 13. По-гусарски (франц.).

Стр. 15. Мальтийский рыцарь (нем.).

Стр. 16. Вперед (т. е. к рампе, нем.).

Стр. 16. За дождем выходит солнце (нем.).

Стр. 16. Новички (нем.).

Стр. 17. Никто (лат.).

Стр. 17. Не надо ничего торопить (франц.).

Стр. 20. Сказок (нем.).

Стр. 20. О, моя невинность! (нем.).

Стр. 20. Сравнение — не довод (франц.).

Стр. 21. Вот здесь обитают Грации (франц.).

Стр. 21. Шут (франц.).

Стр. 21. Сыны отечества, вперед! (франц., начальный стих Марсельезы).

Стр. 23. Каждому свое (лат.).

Стр. 23. Познай самого себя (лат.).

Стр. 24. Он, мадам, не танцует; это сельский житель, а на балы он ходит только для того, чтобы поесть мороженого (франц.).

Стр. 25. Для упражнения в немецком языке (нем.).

Стр. 27. Поцелуй (нем.).

Стр. 28. В этих священных чертогах (нем.).

Стр. 28. Радуйтесь жизни (нем.).

Стр. 28. Навсегда так не может остаться (нем.).

Стр. 37. Кутила и чревоугодник (франц.).

Стр. 39. Сказки моей матушки гусыни (франц. название сборника сказок Ш. Перро).

Стр. 39. Если хорошенько рассудить (франц.).

Стр. 40. Мы — дети одного отца (нем.).

Стр. 48. Из этого ничего не следует (франц.).

Стр. 48. Ах, тетушка, тетушка! (франц.).

Стр. 48. Мы рассмеялись — и вот мы обезоружены (франц.).

Стр. 56. Из всех представленных в Москве пьес эти две, бесспорно, написаны лучше всех прочих и потому не могут не заслужить одобрения истинных знатоков и любителей французского репертуара. Позволяем себе объявить публике, что в минувшую субботу «Перегородка» прошла с полным успехом. Жалеем только, что не было достаточного количества зрителей, чтобы восхищаться этим очаровательным произведением, достойным внимания московских дворян, и мы приглашаем их, до разъезда по деревням, почтить своим присутствием еще несколько представлений этого спектакля (франц.).

Стр. 59. Бессмыслица (лат.).

Стр. 62. Что цыплят так же приятно грызть, как и ку. . . (франц.).

Стр. 62. Господин нахал с рыбьим сукном (франц.).

Стр. 64. Здравым смыслом (франц.).

Стр. 64. Это наша отправная точка (франц.).

Стр. 64. Чтобы позолотить пилюлю (франц.).

Стр. 67. По преимуществу (франц.).

Стр. 73. Верно (лат.).

Стр. 73. Голубая лента (орден Андрея Первозванного, франц.).

Стр. 74. Развлечениях (франц.).

Стр. 75. Очень дурного вкуса (франц.).

Стр. 77. Завтрак с танцами (франц.).

Стр. 78. Т. е. обязательно певца (франц.).

Стр. 79. Хорошие манеры (франц.).

Стр. 84. В этом мире глупцы существуют для того, чтобы нас увеселять (франц.).

Стр. 84. А когда вы получите свои бумаги, вы приедете в Петербург прямо к нам и будете через неделю записаны в Коллегию (франц.).

Стр. 84. А так как в конце апреля мне, вероятно, придется вернуться в Липецк, то нельзя ли устроить так, чтобы после лечебного сезона вы могли отправиться в Петербург вместе со мной: мне будет очень приятно быть вашим путеводителем в неизвестном еще вам городе и облегчить вам приобретение хороших знакомых (франц.).

Стр. 89. Старого покроя (франц.).

Стр. 94. Отступим, чтобы лучше прыгнуть (франц.).

Стр. 103. Сестры Дорочки (нем.).

Стр. 103. Приятнее для слуха (нем.).

Стр. 103. И еще приятнее звучит в сердце (нем.).

Стр. 103. Нежный цветок знакомства всегда насаждает в сердце тернии разлуки (нем.).

Стр. 111. Когда в темной башне (франц.).

Стр. 112. Рядовая кокетка (нем.).

Стр. 118. Честь зовет, долг велит! Рука хватается за меч, и сердце каждого воина, пылающее жаром отваги, заново повторяет клятву: «за родину!» (нем.).

Стр. 125. Две эти пьесы недавно шли в Париже с огромным успехом как по причине приятного слога, так и благодаря изобретательности в трактовке сюжета. Актеры удвоят старания, чтобы этот спектакль был принят благосклонно (франц.).

Стр. 125. Гибель (нем.).

Стр. 125. Безумный день (франц.).

Стр. 126 Которая хочет досадить мне (франц.).

Стр. 126. Все пропало, все прошло (нем.).

Стр. 127. Знатные люди (франц.).

Стр. 127. Вечная природа равнодушно шествует своим обычным путем (нем.).

Стр. 140. И вот он обезоружен (франц.).

Стр. 140. Высокоуважаемое собрание! В наше время изучение живых языков есть необходимая и существенная часть хорошего воспитания (нем.).

Стр. 142. Друзья, уважим его любовные увлечения, чтобы и он уважил наши (франц.).

Стр. 143. Как вы поживаете? Очень хорошо (франц.).

Стр. 146. Теперь или никогда (англ.).

Стр. 152. Где вы были вчера? (франц.).

Стр. 152. На вас лица нет; уж не больны ли вы? (франц.).

Стр. 153. Жили мирно два петуха. Явилась курица — сразу загорелась война. Любовь, ты погубила Трою (франц.).

Стр. 153. И не без причины (франц.).

Стр. 159. Листья опадают (нем.).

Стр. 159. О, моя невинность! (нем.).

Стр. 160. Дух кружковщины (франц.).

Стр. 161. В ансамблях (франц.).

Стр. 161. Блистает на втором месте тот, кого затмевают на первом (франц.).

Стр. 162. Блистает на первом месте тот, кого затмевают на последнем (франц.).

Стр. 165. Новый магазин мод госпожи Дюпаре, бывшей актрисы французского театра в Москве (франц.).

Стр. 165. Так преходяща мирская слава! (лат.).

Стр. 168. Остроты (итал.).

Стр. 170. И все-таки ты танцевал у Веревкиных и часто танцуешь у Лобковых; как будто я этого не знаю! (франц.).

Стр. 170. Для смеху (франц.).

Стр. 170. Поедешь, мой милый; я решительно хочу этого. В твоем возрасте не отказываются ни от такого бала, как у графа Орлова, ни от такой женщины, которая видела тебя в пеленках. Это дико! (франц.).

Стр. 172. Одного недоставало в нем: <. . .> нутра (франц.).

Стр. 173. Примерно (франц.).

Стр. 175. Средство наскучить — говорить все (франц.).

Стр. 175. Лишь бы читало меня памятливое потомство (лат.).

Стр. 181. О, времена! (лат.).

Стр. 182. Со временем (франц.).

Стр. 183. Острота (нем.).

Стр. 184. Будь что будет (франц.).

Стр. 185. Мне предложено (лат.).

Стр. 185. Вывод правилен (лат.).

Стр. 190. Студент на ходулях (франц.).

Стр. 194. Подлинно осужденных на адские муки (франц.).

Стр. 198. И не без причины (франц.).

Стр. 198. Для перемены (франц.).

Стр. 198. Элегически-драматическое представление (нем.).

Стр. 198. Сюда тоже стремится беспокойное сердце, непрерывно преследуемое жестоким страданием (нем.).

Стр. 198. Улетевшая из груди друга радость (нем.).

Стр. 198. Слезы любви, тоска дружбы — неужели всего этого недостаточно, чтобы упросить судьбу не оскорблять человеческого достоинства человеческой смертью? (нем.).

Стр. 199. Если плохо теперь, не всегда так будет (лат.).

Стр. 199. Над настоящим хочет дух подняться (нем.).

Стр. 200. Неудачно объединенные головы (итал.).

Стр. 200. На море, на земле, под внезапной бурей я взываю к тебе, Мария, благосклонная звезда (лат. и итал.).

Стр. 201. Мы ночью входим в круг, чтобы сгореть в огне (лат.).

Стр. 201. Прошедшего нет, но тщетная память хранит его у себя. Будущего нет, но непокорная надежда рисует себе его. Есть лишь одно настоящее, но оно мгновенно уходит в лоно небытия. Итак, жизнь есть, действительно, воспоминание, надежда, мгновенье (итал.).

Стр. 202. Зятя (франц.).

Стр. 204. Пусть каждый учит свой урок — тогда и в доме будет прок (нем.).

Стр. 205. Не плачь — это напрасно. Каждая радость в здешней жизни — греза воображения. Постарайся забыть, что ты когда-то был счастлив; думай, что этого никогда не было (нем.).

Стр. 206. Все подобные (итал.).

Стр. 211. Ничему не удивляться (лат.).

Стр. 215. Чем же занимаются у вас? — А ничего не делают или занимаются пустяками (франц., игра слов: rien — ничего, des riens — пустяки).

Стр. 221. На свете пробуют разное, но не всякому удается (нем.).

Стр. 225. Ради своего короля народ должен приносить себя в жертву, — так гласит судьба и таковы законы мира; ничего не стоит народ, который ради своей чести не готов с радостью отдать все, что имеет (нем.).

Стр. 227. Мысли умных людей сходятся (франц.).

Стр. 228. Когда в темнице (франц.).

Стр. 228. Девушки, которых выдают замуж (франц.).

Стр. 235. Мое все, моя сладость,мое сокровище, моя душа, мой ангел (франц.).

Стр. 239. Но долг прежде всего (франц.).

Стр. 245. Так преходяща мирская слава (лат.).

Стр. 245. Угол зрения (франц.).

Стр. 245. Состязание (франц.).

Стр. 245. Я никогда не видал более неловкого растяпы (франц.).

Стр. 250. На закуску (франц.).

Стр. 261. Ну, прощай, прощай (нем. «Lebe wohl» — буквально живи хорошо).

Стр. 261. Бессмыслица (лат.).

Стр. 262. Итак, милостивый государь, беседа наша сводится к тому, что монарх погиб, коль скоро входит в сделки относительно своей неприкосновенности. Надобно, чтобы власть монарха была жизненным началом для его подданных, иначе этой власти нет; ибо сущность монархии состоит во взаимном доверии между государем и народом. Напрасно Национальное собрание полагает возможным поднять монархию посредством всяческих ограничений, которые она хочет наложить на королевскую власть, и еще более напрасно думать, что благодаря тем средствам, которые оно теперь употребляет, истина скорее будет доходить до короля. Из этого, милостивый государь, ничего не выйдет. Истина только тогда действенна, когда сам государь ее постигает или делает вид, что постигает, когда он ее самопроизвольно ищет. Что касается монархии, она может быть спасена, при настоящих обстоятельствах, только твердостью короля и непоколебимою его решимостью не склоняться на предложения опекунов, которых, по излишней доброте, он сам себе назначил. Но прежде всего королю следует поступить, как поступил Иисус Христос в Иерусалиме: взять бич и выгнать из храма торговцев. И если бы (что немыслимо) спасение монархии зависело от помощи подобных людей, то необходимость подчиниться им была бы для короля, как и для народа, величайшим бедствием (франц.).

Стр. 263. Я — портной Какаду, объездил я весь свет и с головы до самых пят я — утюжной герой; я прибыл прямо из Парижа, и т. д. и т. д. (нем.).

Стр. 265. Вот каково ты, бедное человечество! (франц.).

Стр. 266. Воспоминание и надежда цветут для сердец, которые пылают дружбой (нем.).

Стр. 267. Вот он, ваш растяпа! задушите его в своих объятиях (франц.).

Стр. 267. «Путешествие вокруг моей комнаты» (франц.).

Стр. 268. Любите меня немного, и я буду вам нежной сестрой; никем иным ни для кого я не могу быть: вы же видите, как я безобразна (франц.).

Стр. 272. О его домашнем столе (франц.).

Стр. 273. Учащийся, ученый (лат.).

Стр. 276. Это знакомство надо поддерживать (франц.).

Стр. 285. На закуску (франц.).

Стр. 294. Отжито (нем.).

Стр. 300. Знайте, что татары обращаются по-варварски только со своими врагами (франц.).

Стр. 302. Сажать капусту (франц.).

Стр. 305. Вы еще слишком безбородый, чтобы получать от кого-нибудь письма; когда у вас будет несколько больше бороды и несколько меньше претензий, я вам принесу письма (франц.).

Стр. 305. Добро пожаловать, новый год! Мы с радостью дарим тебе наш привет. Обещай нам покой и счастье! Пусть сердце и уста и взор восторженно славят судьбу и благословляют тебя. Храни, боже, Александра! Если ему дерзко и дико грозит ярость врагов, ниспошли к Александрову войску своего доброго ангела и порази их! (нем.).

Стр. 306. О, дочки мои, дочки, вы умрете под забором (буквально — «на навозе») (франц.).

Стр. 309. Увы, увы! (нем.).

Стр. 311. Роли плаща и денежного туза (франц.).

Стр. 318. Когда говорит доктор, Панталоне молчит (итал.).

Стр. 319. Вакх, смотри, как я пылаю! На пустой взгляни бокал! Эвое, Вакх! Эвое, Вакх! Мы разделяем участь людей — посмертных не будет страстей (нем. и лат.).

Стр. 323. Я тоже художник (итал.).

Стр. 328. Однако вы — ребенок: какая-то русская трагедия и какой-то Яковлев? (франц.).

Стр. 328. А вы когда-нибудь видели Яковлева? — О, кто же пойдет смотреть ваших скоморохов? (франц.).

Стр. 328. На ножах (франц.).

Стр. 329. Полное равнодушие (франц.).

Стр. 329. Глупец всегда находит еще большего глупца, который им восторгается (франц.).

Стр. 330. Какое счастье думать и говорить самому себе: сейчас повсюду меня благословляют, меня любят! Нет народа, которому было бы страшно мое имя, и небо не слышит, чтобы, проливая слезы, люди называли меня; сумрачная ненависть не бежит от меня, я вижу, когда иду, как сердца всех летят ко мне! (франц.).

Стр. 332. Тень моего возлюбленного, я обманула твою любовь (франц.).

Стр. 332. Быть или не быть (англ.).

Стр. 333. Я в этом ничего не понимаю, но это, вероятно, очаровательно (франц.).

Стр. 336. Так на что же вы годитесь? Вы не танцуете и не играете. — На то, чтобы любоваться вами (франц.).

Стр. 337. На уровне последних событий (франц.).

Стр. 341. Сильные мира причиняют меньше страданий, чем их обезьяны (франц.).

Стр. 342. Перед вами дьявол, проповедующий нравственность (франц.).

Стр. 342. Ваше превосходительство имеет в виду бережливость и порядок в делах (франц.).

Стр. 344. Так преходяща мирская слава (лат.).

Стр. 345. Мужи и жены, жены и мужи становятся подобны богам (нем.).

Стр. 346. Полная победа, кровопролитное сражение, много раненых, граф Остерман, Тучков, Кутайсов (франц.).

Стр. 350. Лучше страдать, чем умереть (франц.).

Стр. 358. На свежую голову (франц.).

Стр. 361. А как ваши любовные удачи? (франц.).

Стр. 361. В Риме этих удач так много, что уже не в удачах дело (франц.).

Стр. 366. За дождем выходит солнце (нем.).

Стр. 367. Господин статский советник (нем.).

Стр. 373. Увы, я так дурна собой; а между тем я очень хотела бы выйти замуж (франц.).

Стр. 374. Корсиканский людоед (Наполеон) (франц.).

Стр. 375. Все эти господа так раздражительны, а иногда и так глупы, что мне скучно от одного их вида (франц.).

Стр. 375. Это был мой кошмар (франц.).

Стр. 375. Превосходно болтает (франц.).

Стр. 375. Ах, я так дурна собой! (франц.).

Стр. 375. Он судил резко обо всем (франц.).

Стр. 375. Неприятный и несимпатичный (франц.).

Стр. 375. Салонные игры (франц.).

Стр. 375. И так далее (франц.).

Стр. 376. В таком случае извините (франц.).

Стр. 376. Капитан гвардии, настоящий рыцарь по своей храбрости и по благородству своего сердца (франц.).

Стр. 376. Если это мужчина, он, надеюсь, назовет себя (франц.).

Стр. 376. Извините, мосье, это я (франц.).

Стр. 377. Если вы не хороши собою, то у вас есть другие качества, которые могут сделать вас милой для человека благоразумного и здравомыслящего (франц.).

Стр. 378. Как любитель (франц.).

Стр. 389. Резкий (франц.).

Стр. 389. Настоящее прованское масло из Экс (франц.).

Стр. 389. Боже мой, боже мой! Надо быть очень глупым, чтобы считать себя мудрецом (франц.).

Стр. 395. Со дня на день (франц.).

Стр. 396. Он рассчитал, не считаясь с хозяином (франц.).

Стр. 400. Вы избегаете нас (франц.).

Стр. 416. Вот где, чорт возьми, нашла себе убежище знать (франц.).

Стр. 418. Чудо-ребенок (франц.).

Стр. 422. В конце концов это — знакомство, которое стоит поддерживать (франц.).

Стр. 422. Любовными удачами (франц.).

Стр. 430. В ролях плаща (франц.).

Стр. 430. Старого покроя (франц.).

Стр. 433. Цыгане веселы и пляшут так охотно (нем.).

Стр. 463—465. <См. в примечаниях>.

Стр. 468. Листья опадают (нем.).

Стр. 475. У порока, как и у добродетели, есть свои степени (франц.).

Стр. 475. Мы будем петь и прыгать. Дама тоже будет (нем.).

Стр. 475. То были для меня блаженные дни (нем.).

Стр. 476. Шутками (нем.).

Стр. 476. Я спрашиваю obsequialiter, т. е. почтительно, спали ли вы сегодня nocturnaliter (ночью), как кошка? (нем.).

Стр. 482. Ах, ребенок! Ах, бедный ребенок! Посмотрите, какое несчастье случилось с ним! Ведь это прелестно, преуморительно! (франц.).

Стр. 484. Что это образец старых придворных прежнего королевского двора без их напыщенности (франц.).

Стр. 485. По преимуществу (франц.).

Стр. 486. В духе Превиля (франц.).

Стр. 488. Ординарными королевскими комедиантами (франц.).

Стр. 489. Постоянный член труппы (франц.).

Стр. 489. К праотцам (лат.).

Стр. 489. Я умываю руки (франц.).

Стр. 492. Это бесспорно, и однако я хорошо видел собственными глазами, как м-ль Дюкло играла Электру в роброне с кринолином и со шлейфом, с фижмами и в трехэтажной прическе, напудренная, увенчанная цветами; и признаться, господа, это платье достал ей я (франц.).

Стр. 494. Приветливость (франц.).

Стр. 495. Вы — не поклонница высоких чувств? (франц.).

Стр. 495. Ах, мосье, я никогда не изучала метафизики и, право, не знаю, на что они нужны (франц.).

Стр. 496. Коротко и хорошо; коротко, но весело (франц. и нем.).

Стр. 496. Как будто вы не знаете нашего папеньки (франц.).

Стр. 496. Поверите ли, что она не сходила с паркета от 10 часов вечера до 5 утра и была все время весела, любезна и мила. Это прямо ангел (франц.).

Стр. 496. Да, да, это она, как есть (франц.).

Стр. 497. Предел (лат.).

Стр. 497. Стой, путник (лат.).

Стр. 500. Гуляки (франц.).

Стр. 504. Я полагаю, что вы завалены делами в Коллегии (франц.).

Стр. 505. Гони природу в дверь — она влетит в окно (франц.). (Буквально: гоните природу — она вернется галопом).

Стр. 505. Из всех животных, летающих по воздуху, ходящих по земле или плавающих в море (франц.).

Стр. 506. Комедий характеров (франц.).

Стр. 506. Комедии положений (франц.).

Стр. 514. Ночная княгиня (франц.).

Стр. 516. А Тартюф? бедняга (франц.).

Стр. 517. Для важности (франц.).

Стр. 518. Восхитительно (франц.).

Стр. 520. Доброе утро, поцелуйте меня (нем.).

Стр. 520. У меня есть деньги (нем.).

Стр. 522. Султан театра Французской комедии (франц.).

Стр. 523. В виде корзинки (франц.).

Стр. 523. Натянуты (франц.).

Стр. 523. Хорошо (франц.).

Стр. 524. Извините, мадам, я хотел бы поговорить с м-ль Дюмениль. — Это я, мосье, чем могу служить? — Дело в том, мадам, что у меня рекомендательное письмо к вам, и я счастлив, что разговариваю с знаменитой трагической актрисой (франц.).

Стр. 524. Так это вы, мосье! Я, право, очень рада видеть вас. Меня предупредили о вашем приходе, и я ждала вас. О, как я вас ждала! Это ведь удовольствие для меня — познакомиться с таким талантливым человеком, как вы, который в то же время хочет поучиться, чтобы быть полезным своей стране. Погодите, я сейчас дам вам билет на завтрашний спектакль (франц.).

Стр. 524. Вот для вас и для ваших друзей, если они у вас есть. Я играю Меропу. Я играю ее хорошо и сыграю еще лучше в вашу честь; вы будете довольны мною. А пока простите, я сегодня занимаюсь хозяйством. Не забудьте, что ежедневно с двенадцати до начала спектакля я дома для всех, а для вас особенно, вы застанете меня в любой утренний час. Мы славно поговорим. До свиданья (франц.).

Стр. 526. Мы, повидимому, накануне сражения, и я надеюсь, что его исход принесет счастье и славу нашему флоту. Что бы ни случилось, мы полны веры в божественную благость, в святость нашего дела и в диспозиции нашего храброго и превосходного адмирала, которого обожают все офицеры (франц.).

Стр. 526. Если думают, что на роль Пурсоньяка гораздо больше способных исполнителей, чем на роль Мизантропа, то ошибаются (франц.).

Стр. 527. «О драматической поэзии» (франц.).

Стр. 531. Каким образом этот человек, ничего не видевший и ничему не учившийся, сумел так хорошо исполнить столь сильно задуманную роль (франц.).

Стр. 533. Блистает на втором месте тот, кого затмевают на первом (франц.).

Стр. 534. Некоторые очень умные люди бывают иной раз очень глупы (франц.).

Стр. 539. Как вельможа (франц.).

Стр. 565. Это был актер умный, но игравший без увлечения и владевший собой даже в самых патетических местах; он был всегда кокетлив и рассчитывал на эфекты, и единственная роль, в которой он был действительно хорош, была роль Тита в трагедии того же названия — и именно потому, что эта роль холодная, состоящая из повествования и рассуждений несколько напыщенных (франц.).

Стр. 569. За такую цену я принимаю предсказание. Твоя рука, закалывая тебя, насытила мои желания — и я, наконец, наслаждаюсь плодом своих злодейств (франц.).

Стр. 570—573. <Повторение — см. выше, к стр. 522—524>.

Стр. 573. Каждому свое (лат.).

Стр. 578. Особенно первые трое — таланты первого разряда (франц.).

Стр. 578. Для ролей плаща и денежного туза (франц.).

Стр. 578. Очарован им в комедиях Мольера (франц.).

Стр. 578. Это был гений, второй Превиль, и русский театр, конечно, обладает большими талантами, но ему не хватает ансамбля, а это почти в с ё. Ансамбль иногда заставляет забыть об отсутствии талантов (франц.).

Стр. 581. Презренные льстецы, самый гибельный дар, который может поднести королям небесный гнев (франц.).

Стр. 581. Что она бьет не столько верно, сколько сильно (франц.).

Стр. 581. Я был юн и прекрасен (франц.).

Стр. 582. Не хочешь руку дать, так одолжи свой меч (франц.).

Стр. 582—583. Да, ты — сын Атрея и Фиеста... Тебе, палачу своей дочери, остается только готовить из нее для матери ужасное пиршество... Попробуй, коли посмеешь, исторгнуть ее у матери (франц.).

Стр. 599. Всемогущий (лат.).

Стр. 599. Я являюсь к кассиру Альбрехту, крайняя нужда заставляет меня просить у него денег, а у него один ответ: нет, нет, нет (франц.).

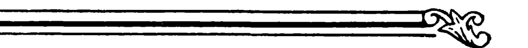
Стр. 602. Так вот как пишут историю (франц.).

Стр. 618. Это очень просто (франц.).

Стр. 618. Вот он, и будьте довольны этим (франц.).

Стр. 625. Без связи (франц.).



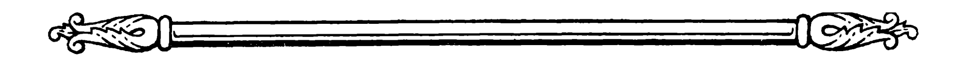


СЛОВАРЬ ИМЕН*

(Составила *Л. Л. Ганзен*)

* Курсивом выделены цифры тех страниц «Приложений» (статей и примечаний), где есть фамилии, имеющиеся у Жихарева; фамилии, названные только в «Приложениях», в словарь не введены.





СЛОВАРЬ ПЬЕС*

* Ближайшее участие в научной обработке словаря пьес принимал А. А. Гозенпуд.



СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Приложения

Печатается по постановлению Редакционно-издательского совета Академии Наук СССР

*

Редактор Издательства *В. А. Браиловский*
Технический редактор *Р. А. Аронс*
Корректоры *Э. А. Кацман* и *Л. А. Ратнер*

РИСО АН СССР № 5508. Пл. № 4—105 В. М-41660. Подписано к печати 13/VII 1955 г. Бумага 70×92/16. Бум. л. 26 1/8. Печ. л. 61,13. Уч.-изд. л. 46,56+1 вкл. (0,05 уч.-изд. л.). Тираж 10 000. Зак. № 90. Цена 29 р. 50 к.

1-я типография Издательства АН СССР, Ленинград, В. О., 9 линия, д. 12.

ИСПРАВЛЕНИЯ И ОПЕЧАТКИ

Страница	*Строка*	*Напечатано*	*Должно быть*
94	12 сверху	Fatillon	Tatillon
279	5 »	иверским	тверским
285	4 снизу	Папин	Панин
285	7 »	Папина	Панина
487	9 »	23 апреля	24 апреля
833	Правый столбец, 2 снизу	Эйлалия Мейнау — см. Ненависть к людям и раскаяние.	Эйлалия Мейнау, драма Ф. Циглера, продолжение пьесы А. Коцебу «Ненависть к людям и раскаяние» 353.

С. П. Жихарев. Записки современника.

